

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ



Игорь
Андреев



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Тишайший — с таким прозвищем царь Алексей Михайлович вошел в русскую историю. Но прозвище, как это чаще всего и бывает, обманчиво. Более чем тридцатилетнее правление второго Романова (1645–1676) исполнено бурными событиями: многочисленными войнами и мятежами, воссоединением с Украиной и присоединением к России Сибири, восстанием Степана Разина и Расколом Церкви. Автор книги предлагает читателю свой взгляд на личность московского царя и на историю России его царствования.

- [И. Л. Андреев](#)
 - [От автора](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Наследие смуты](#)
 - [Наследник престола](#)
 - [«Тихий царевич»](#)
 - [Венчание на царство](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Первые годы](#)
 - [Милославские](#)
 - [Морозов у власти](#)
 - [Московское восстание](#)
 - [Соборное уложение](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Ревнителю благочестия](#)
 - [«Собинный друг»](#)
 - [Торжество православия](#)
 - [Новый патриарх](#)
 - [Начало церковных реформ](#)
 - [«Страна казаков»](#)
 - [Ответ Москвы](#)

- [Часть четвертая](#)
 - [Первый поход](#)
 - [Моровое поветрие](#)
 - [Второй поход](#)
 - [Война со Швецией](#)
 - [Разрыв](#)
- [Часть пятая](#)
 - [Суд](#)
 - [Священство и царство](#)
 - [Церковная смута](#)
 - [Государь и человек](#)
 - [Человек и государь](#)
 - [Бесконечная война](#)
 - [«Медный бунт»](#)
 - [На путях к Андрусовскому перемирию](#)
- [Часть шестая](#)
 - [Стенькино время](#)
 - [Накануне нашествия](#)
 - [Последние годы](#)
 - [Кончина Тишайшего](#)
- [Список сокращений](#)
- [Основные даты жизни и деятельности Алексея Михайловича](#)
- [Иллюстрации](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)

- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)

- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)

- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)

- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)

- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)

- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)

- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)

- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)

- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)

- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)

- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)

- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)

- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)
- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)

- [480](#)
 - [481](#)
 - [482](#)
 - [483](#)
 - [484](#)
 - [485](#)
 - [486](#)
 - [487](#)
 - [488](#)
 - [489](#)
 - [490](#)
 - [491](#)
 - [492](#)
 - [493](#)
 - [494](#)
 - [495](#)
 - [496](#)
 - [497](#)
 - [498](#)
 - [499](#)
 - [500](#)
 - [501](#)
 - [502](#)
 - [503](#)
 - [504](#)
 - [505](#)
 - [506](#)
 - [comments](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

И. Л. Андреев
Алексей Михайлович

От автора

Едва ли существует необходимость подробно рассуждать в предисловии о значении XVII века в отечественной истории. Хотя бы потому, что нет в истории времен незначительных и неинтересных, а есть только историки, которые не умеют интересно рассказывать о них. Но для автора этих строк век XVII все же остается самым увлекательным и самым замечательным. Не стоит осуждать автора за предвзятость. Такое случается со всеми, кто делает какую-то эпоху предметом постоянного изучения. Ведь чем больше узнаешь о ней, тем сильнее осознаешь неполноту своих знаний. Бездна непонятого и непознанного — вот что затягивает и уже не отпускает.

Царствование Алексея Михайловича — центральное в истории столетия. Не только потому, что оно самое долгое (с 13 июля 1645 года по 29 января 1676-го), хотя продолжительность — важное и необходимое условие для того, чтобы не просто задумать, а и осуществить задуманное. История же занимается преимущественно осуществленным, и от этого обстоятельства трудно уйти.

Приходится удивляться, сколько всего было сделано за время правления второго Романова. Бедная, едва оправившаяся от разорения страна принуждена была ставить и решать задачи поистине богатырские, требующие огромного напряжения всех народных сил. Это видимое противоречие между возможностями и целями не осталось без последствия: самодержавие восполняло слабость экономическую и отсталость культурную мобилизацией и подчинением себе всех общественных сил. И каким бы ни называть тогдашнее общество — бунташным, смутным, бессловесным, — оно

в конечном итоге шло на это, признавая православные и государственные ценности первостепенными. Здесь была заключена великая способность к служению и жертвенности. Быть может, далеко не всегда оправданная и нередко использованная властью во зло. Но то скорее вина самой власти: общество же своей жертвенностью и самоотверженностью не раз останавливало страну на самом краю гибели.

Примечательно, что именно при царе Алексее Михайловиче, человеке по-своему совестливом и снисходительном, произошло новое возвышение самодержавной власти. Парадоксы исторического пути: еще большей несвободой пытались догнать ушедшие вперед страны. Эту модель развития и оттачивал «Тишайший» (именно под таким прозвищем вошел в историю царь Алексей Михайлович). Он же завещал ее своим наследникам. Но еще больший парадокс заключается в том, что эта модель оказалась работоспособной и казалась даже единственно верной для тех, кто мыслил исключительно государственными, державными понятиями — империя, военная мощь, неограниченное самодержавие.

В России всегда уживались самые невероятные крайности и титанические страсти. Но, кажется, никогда эти крайности не принимали таких выражений, как в XVII столетии. Здесь и раскол, с его утверждением правоверности святоотеческой старины, который доходил в своем протесте до изуверского самосожжения; здесь и бунт Степана Разина, одухотворенный желанием достижения все разрушающей и сокрушающей воли: воли не ради свободы, а ради отрицания всех скверн мира. Россия XVII века — самая дерзновенная и самая бесшабашная, самобытная и одновременно падкая до «заморских диковинок» страна.

При всей косности и отсталости Московское государство эпохи Алексея Михайловича уже обращено к Европе. Страна вслушивается, всматривается в Запад и в странном противоречии с традицией неприятия готовится принять и перенять многое. Она и перенимает. В результате во всех областях жизни происходит резкое раздвоение. Вырабатывается новый стиль существования — стиль кануна реформ.

Заманчиво рассказать о всех переменах, происходящих в середине XVII века со страной, обществом, человеком. Но едва ли это осуществимо. К тому же и тот жанр, в котором написана книга, — жанр биографии — позволяет обратиться лишь к отдельным — но по возможности самым значимым — сюжетам и сторонам жизни изучаемой эпохи^{1}.

Часть первая
Долгожданный царевич

Наследие смуты

В ночь с 12 на 13 июля 1645 года умер Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых. Умер неожиданно, накануне собственных именин. Утром 12-го, придя к заутрене, он почувствовал себя плохо. Царя отнесли в комнаты, призвали врачей, но хлопоты не принесли облегчения. К ночи Михаил Федорович совсем разнемогся и велел позвать сына, царицу и патриарха с боярами. Повесть «О преставлении благочестивого государя... Михаила Федоровича» в традиционно трогательных интонациях передает последние часы жизни царя. «Уже бо отхожу от вас», — объявил он и благословил сына своего Алексея на царство. Затем последовали причащение, прощание и тихое упокоение, «яко неким сладким сном усне»^[1]. Можно лишь догадываться, насколько описание смерти соответствовало действительности: литературный канон обязывал представлять кончину благочестивых государей в тонах возвышенных и благостных — как кончину-просветление.

Неожиданная смерть вызвала смутные толки. Тотчас пошли слухи, будто государя «опоили». Называли и другую причину смерти: будто бы царь умер от великой печали, «сиречь кручины», вызванной неудачной попыткой обвенчать дочь Ирину с датским королевичем Вальдемаром...

Слухи пустые. Скорая смерть была делом обычным для того времени. Хватало и легкого дуновения, чтобы загасить жизнь в здоровом человеке. А первый Романов крепостью не отличался и в последние годы «скорбел ножками». «Такое то... наше житие: вчерась здорово, а ныне мертвы», — с неожиданной для молодого человека житейской мудростью скажет позднее о

зыбкости человеческого бытия сын Михаила Федоровича и герой нашего повествования, царь Алексей Михайлович^[2]. Скажет, утешая заскорбевшего патриарха Иосифа, уже стоявшего одной ногой в могиле и очень не желавшего в нее сходить...

Тело Михаила Федоровича еще не успело остыть, как верхушка государева двора, высшие думные, придворные и московские чины стали приносить присягу Алексею Михайловичу. История начинала новый отсчет с переменной имени в государевом титуле, которое в продолжение следующих тридцати с лишним лет станут выводить в документах грамотеи-приказные. Это имя будет повторяться до 29 января 1676 года и еще несколько месяцев спустя, покуда известие о кончине «блаженные памяти» Алексея Михайловича не достигнет самых отдаленных городков на востоке страны^[3].

Для любой монархии смена государя — момент чрезвычайно ответственный, нередко даже поворотный. Сколько надежд, резких и не очень резких перемен связано с этим событием. Восшествие на престол — всегда сбой в пульсирующем государственном организме, настороженное дыхание подданных — что-то будет?

И не случайно!

Слишком много в монархическом государстве зависело от личности правителя, его пристрастий, взглядов, характера и темперамента. Но вот и обратная сторона медали: какие бы планы ни вынашивал новый монарх, что бы ни нашептывали ему его советники, они всегда были принуждены отталкиваться от прошлого, которое предопределяло цели, высоту и дела очередного государя.

Каким было это прошлое для Алексея Михайловича? Что унаследовал он в 1645 году? Ответ этот можно

свести к формуле предельно лаконичной — то было наследие Смуты.

Ко времени воцарения Алексея Михайловича прошло более четверти века с окончания смутного лихолетья. С годами следы страшного разорения стирались и раны затягивались. В прошлое уходили упоминания о «дворищах» и «пустых дворах» на страницах дозорных и писцовых книг. Росли и полнились города, растекались по уездам крестьянские починки. Соха, топор и купеческий насад с товаром — вот истинные символы послесмутной эпохи. Несомненно, что с завершением хозяйственного восстановления стартовые возможности царя Алексея Михайловича были несравненно выше скромных возможностей его отца, обосновавшегося в 1613 году в разграбленном и опустошенном Кремле.

Однако наследие Смуты вовсе не сводится к одной проблеме преодоления разорения. Существо происходившего было много драматичнее и сложнее, последствия — масштабнее и глубже, чем просто хозяйственное опустошение, пуск и вселенского размаха.

Смута — гражданская война, и как всякая гражданская война, она наложила отпечаток на все стороны жизни общества и государства. В какую бы сферу мы ни бросили взгляд, везде ощущается влияние Смуты и явственно видны ее следы. Смута начертала программу царствования Михаила Федоровича, и во многом — программу царствования его сына. И не только в смысле тех политических и социальных задач, которые пришлось разрешать «тишайшему» Алексею Михайловичу. Смута определила способы и средства их достижения, наметила темпы и, в отдельных случаях, даже начертала границы возможного. Из этого вовсе не следует, что XVII столетие не создало ничего нового и жило одной Смутой. Просто новое переплеталось и

вырастал из старого в такой степени, что можно без особой натяжки утверждать — «бунташный» и «богатырский» век (определение современников и потомков) долгое время жил и развивался под воздействием Смуты.

Династия Романовых взошла на престол под лозунгами обретения порядка и возврата к старине. В новоизбранном царственном отроке измученное междоусобицами общество жаждало обрести долгожданную «тишину» и всеобщее замирение «безо всяких сердечных злоб». Михаил Федорович собственно тем и был дорог, что он — живой символ возрожденной государственности и простой человеческой надежды. Вручая ему скипетр и державу, выборные люди, по словам Утверженной грамоты, видели в том промысел Божий, который «его государским призрением во всем Московском государстве расточение и разорение исправил, и во едино благочестие совокупил, и межусобие в Московском государстве утолил, и всякая благая Московскому государству устроил».

Высокопарно-выспренний тон Утверженной грамоты вовсе не означал, что Михаил Федорович был принят всеми сразу и единодушно. За опустевший трон шла острейшая борьба. Но именно эта борьба и весь обретенный за годы Смуты горький опыт побуждали искать кандидатуру не самого сильного, а самого подходящего. Нужен был тот, кто примирял и устраивал если не всех, то многих. Михаил Федорович более других кандидатов отвечал этому требованию. Не только своим родством с угасшей династией, «благоцветущая ветвь, от благородного корени отрасль», а и своей... безликостью. Последнее нередко отождествляется с заурядностью. И верно, будущий государь действительно оказался личностью неяркой. Однако это стало очевидно позднее.

В 1613 году безликость Михаила Федоровича — это прежде всего его нейтральность. В хороводе претендентов на Мономахов венец почти каждое имя вызывало или сильную неприязнь или, напротив, горячую поддержку. И то и другое было равно опасно. Имена кандидатов оказывались как бы эмоционально окрашены, проявлены и... засвечены, чего нельзя было сказать о Михаиле Федоровиче. Его, собственно, выручил возраст. В сознании общества он еще юноша, недавний отрок. А отрок всегда чист душой. Его детский лепет — «немотствование», свидетельство общения с Богом^[4]. Смута придала образу «отрока» еще больший смысл: невинный отрок Дмитрий, последний сын Ивана Грозного, зарезанный в Угличе, — исход всех бедствий; безвестный отрок в Новодевичьем монастыре, якобы прокричавший инокине-царице Александре, чтобы она побудила своего брата Бориса Годунова внять народному молению и принять скипетр; наконец, Михаил Федорович, собственно уже не отрок, недоросль. Весь этот ряд — чистота, безгрешность в море порока. В психологическом плане для людей Смуты в этих символах таилась спасительная надежда на очищение и возрождение.

К тому же Михаил Федорович, как и все его родственники, был стороной страдательной, что всегда казалось привлекательным и дорогим русскому умонастроению. Прошедший через страдания всегда поймет страдания другого, а значит — умилосердствует и поможет. Михаил отроком пострадал от злого Бориса Годунова, когда его разлучили с отцом и матерью и сослали вместе с теткой в Заонежский Толвуйский погост. Вкладывая в уста Филарета Никитича горькие причитания: «милые... мои детки маленькие, бедные остались, кому... их кормить и поить?» — книжник

вполне обоснованно рассчитывал на горячее читательское сочувствие^[5].

Безликость первого Романова имела и то преимущество, что позволяла каждой из общественных сил связывать с ним свое представление о том, каким будет будущее. Ближайшее окружение Михаила Федоровича, для которого личные качества претендента не были тайной за семью печатями, делало ставку на его покладистость и молодость. «Миша Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден», — эти слова, якобы принадлежащие боярину Ф. И. Шереметеву, непременно упоминают историки для характеристики позиции аристократии в момент избрания Михаила Федоровича.

Позиция аристократии нашла свое выражение в попытке Боярской думы ограничить власть будущего царя. Правда, сама ограничительная запись не найдена и исследователям приходится довольствоваться туманными намеками на факт ее существования. Между тем в самой идее ограничения не было ничего необычного. После опричного неистовства знатные роды стремились оградить себя от крайних проявлений самодержавного деспотизма, бессудных и безвинных опал и конфискаций. Сидевшие с 1608 года в Москве польские послы сообщали о настроениях «очень знатных людей», которым чрезвычайно импонировала «наша свобода, потому что своя неволя им уж очень надоела, особенно когда они вспомнят, что было во времена Бориса и теперь при Шуйском»^[6].

Ограничительную запись дал царь Василий Шуйский. Правовые гарантии были внесены в договоры об избрании на русский престол польского королевича Владислава. То был, по определению В. О. Ключевского, «первый опыт построения государственного порядка на

основе формального ограничения верховной власти», с которым в 1613 году столкнулись и Романовы.

В этой череде ограничительных договоров и клятв некоторые ученые усматривают один из важнейших перекрестков отечественной истории — появление уникальной возможности оградиться от самодержавного произвола правами, пускай и закрепленными на первых порах за элитарной частью правящего класса. Однако размышления о подобных вариантах развития мало связаны с реальной ситуацией начала века. Вольно было высшим чинам, хлебнувшем царского лиха, мечтать об ограничении власти государя. Но мечтания эти совершенно не соответствовали тому, чего жаждали чины меньшие, заполнявшие государев двор и принадлежавшие к провинциальному дворянству. Для них самодержавие и «холопий статус» надменной и гордой аристократии были гарантией от произвола «земледержавцев». Они хотели одной власти — власти царя, и одного права — равного бесправия всех перед монархом. Они вовсе не желали власти множества, которое представлялось дворянству именно как приобретение знатью политических прав в обход старины и обычая.

Понятно, что в подобной среде всякое ограничение, не подкрепленное серьезной силой, должно было незаметно раствориться. Тем более что большая часть аристократии искала удачу не в защите своих корпоративных интересов, а в зыбких личных связях и преимуществах, в близости к государю. Словом, не палата пэров, а покоившаяся на обычае Боярская дума; не Великая хартия вольностей, а интрига и «поваден нам будет» — вот идеал боярина.

Многолетнее разрушение государственности ради достижения узкословных целей сменилось к концу Смуты пониманием самоценности государства, воплощенного в образе православного монарха.

Восстановление единства Московского царства и выбор «всенародным множеством» богоданного и богохранимого государя воспринимались как единственный путь спасения и дополнялись готовностью к жертвенности. Весь опыт Смуты упрочивал идею монархии, поставив перед новой династией задачу ее укрепления.

Но было бы ошибкой думать, что утверждавшаяся связь между правителем и подданными была точным слепком прежних отношений. Для старой узкодинастической политики уже не оставалось места. Okрепло и получило распространение представление о взаимных обязательствах сторон — власти и сословий, всех чинов Московского государства. Едва завершилась Смута, как правительство Михаила Романова принялось «за устройство земли». Оно должно было усмирять «сильных людей» и идти навстречу многочисленным челобитным, «слезному гласу» представителей посадского населения и служилых людей.

Это становилось нормой.

Отступление — нарушением нормы, злоупотреблением, утратой «правды». Когда с течением времени голос провинциального дворянства и посада перестал доходить до царских палат, грянули события 1648 года с восстаниями в столице и в городах, с волнением служилого люда и Земским собором. При этом поведение посада и дворянства было во многом сходно с временами смутного лихолетья. Сословия выступили «едино», так же как и в Смуту, когда, спасая страну, они стояли «заодно».

Смута стала первым общенациональным движением, которое втянуло в политическую жизнь служилых и посадских людей. Правда, с ее окончанием они охотно устранились от политики, ограничившись — в полном соответствии со своими представлениями — прошениями и стенаниями. Однако власти уже опасно

было не замечать их требований. Смута с ее движением сословий и «чинов», с ее «земщиной» и взглядом на соотношение «государева и земского дела» побуждала Романовых выстраивать по-новому модель взаимоотношений с подданными. Забвение этой истины и уж тем более серьезные сбои в выстраиваемой модели дорого обошлись власти.

Еще одно обременительное наследие Смуты — самозванство и самозванцы. Этой болезнью страна захворала всерьез и надолго. Самозванцы с начала века посыпались как из рога изобилия — в великом множестве, под разными именами живших и даже никогда не живших царственных отроков. Дело дошло до тройного самозванства, связанного с именем псковского «вора» Сидорки. Сидорка выдавал себя за чудесным образом спасшегося от сабли князя Урусова царя Дмитрия Ивановича — Лжедмитрия II; Лжедмитрий II, как известно, продолжал роль Лжедмитрия I, якобы не убитого и не брошенного в мае 1606 года в навозную кучу на Красной площади; Лжедмитрий I потому и первый, что первым присвоил себе имя царевича Дмитрия. В замысловатой истории со всякого рода Лже, по меткому определению замечательного русского историка И. Е. Забелина, достигался предел — «новая ложной лжи ложь». А между тем Сидорка — пускай и на мгновение — стал политической фигурой: ведь в 1612 году ему присягали в казацких таборах Первого ополчения!

На первый взгляд самозванство противоречило тому окрепшему монархическому чувству, которое вынес народ из Смуты. Но это внешнее противоречие. Напротив, самозванство было продолжением монархизма. Смута научила различать царский сан и личность государя. Эти понятия стали разниться, и первый удар здесь — не первый самозванец, а пресечение со смертью Федора Ивановича «царского

корня». Избрание на царство Бориса Годунова волей Земского собора вовсе не уравнивало утраченную священную старину, династическую преемственность. Русский человек столетиями жил под сенью одной династии. Отрасль Калиты, казалось, никогда не пресечется. Династия поднималась вместе с Москвою, сводя бывшую родню, потомков великих и удельных князей к своему двору уже как государевых слуг. Потомок скромных Московских князей стал в конце концов помазанником Божиим, единственным наследником православных царей, фигурой сакральной, недосыгаемой для окружения. И служилый человек гордился такой исключительностью своего государства, Третьего Рима, хранящего истинную веру, где залогом всему был не только государь, но и его предки и потомки. И сам дворянин, предки и потомки которого служили и будут служить предкам и потомкам государя, тоже был таким залогом. Эта неразрывная связь казалась стержнем всей государственно-служилой системы России. Каждый знал свое место. Каждый ведал, на что может претендовать и что требовать^[7]. Но вот на престол взошел Годунов — выбранный, выкрикнутый, возвысившийся над «своей братией». Теперь уже нельзя было писать традиционное — служили-де мои родители твоим, великий государь, родителям. Оборвалась не просто многовековая цепочка родовой и служебной связи. Пошатнулись сами основы, появились сомнения в тех, кто искал и занимал престол московских государей.

Дальнейшие события Смуты еще более способствовали десакрализации личности царя и вели к кризису монархического сознания. Государь, не соответствующий образу истинного самодержца, легко обращался в самозванца и наоборот. Самозванство превращалось в апробированный способ достижения

недостижимого. «Сойдемся вместе, выберем царя», — разгульно шумели в кабаках русские люди, соблазненные возможностью обратить свои требования в «государеву волю». И далеко не всегда власти могли с уверенностью сказать, останутся ли эти слова просто «воровскими» или же станут прелюдией к новой самозванческой аванюре. Не случайно московские люди говаривали, что у Спасского набата веревка к языку привязана — слова и вправду в эпоху смут легко оборачивались делом. К этому и восходит обостренная реакция Романовых на всякого рода «непригожие слова», диапазон которой простирался от «вкинуть в тюрьму» и ободрать кнутом, «чтоб им неповадно было плутать», до виселицы и плахи. Воистину для таких неосмотрительных говорунов все получалось, как в песне:

А дружка да свашка — топорик да плашка.

Кошмар самозванства буквально преследовал первых Романовых. В условиях выборности династии самозванство ставило перед новой властью множество проблем, разрешение которых требовало терпения, политической ловкости и кропотливого труда. Романовым пришлось заново выстраивать образ благочестивого и справедливого государя, царя-батюшки. Эпоха потребовала от Михаила Федоровича и Алексея Михайловича обновить потускневший царский лик. Государю реальному предстояло совпасть с образом государя, который существовал в потрясенном Смутой народном сознании. Отныне — и как никогда прежде — надо было *соответствовать*. Такая сверхзадача диктовала своеобразную парадигму поведения, особую заботу об ореоле и высоте царской власти и сана.

Упрочивая свои позиции, первые Романовы всячески подчеркивали связь с прежней династией. Сама выборность настойчиво вытеснялась из памяти и заменялась идеей законного и естественного наследования. «Новизна» сознательно отдавалась на заклятие «старине», столь высоко почитаемой в средневековом обществе. Не случайно в молитвенном обращении к новому чудотворцу, митрополиту Филиппу Колычеву, Алексей Михайлович станет просить прощения за невольные прегрешения «деда его», царя Ивана Грозного. Второму Романову и предстояло окончательно связать прошлое с настоящим.

Новые представления, выкованные в Смуту, сильно влияли на линию поведения монархов. После пережитого государь уже не виделся единственным воплощением и носителем идеи государства. Государство — это еще, как оказалось, и «вся земля», и «люди Московского государства». Произошел этот поворот отчасти поневоле, когда государи исчезали, а идея оставалась. «Из-за лица проглянулась идея», как выразился В. О. Ключевский. Последствия подобного разделения государя и государства на сознание и политику были огромными. В перспективе то была ступенька к становой идее петровской эпохи — служению Отечеству. Но сначала Романовым предстояло вновь вернуться к исходному, к олицетворению собой всего преславного Московского государства.

«Овии к востоку зрят, овии к западу» — в этом восклицании одного из самых известных летописцев Смуты, дьяка Ивана Тимофеева, — горестный вздох по поводу разномыслия, занесенного в общество катаклизмами эпохи. Тесное общение с иноземцами, заполнившими царство, не прошло бесследно и не ограничилось лишь одной ненавистью ко всему латинскому. Упрочился интерес к происходящему на

Западе. Явились первые сомнения в собственных ценностях и укладе жизни. В первые послесмутные годы эта болезнь была еще похожа на легкое недомогание. Хворают немногие, как, к примеру, бывший любимец Лжедмитрия I князь Иван Хворостинин. Он держал у себя иконы «латинского письма» и жаловался на духовное одиночество: в Москве де всё люд глупый, жить не с кем, сеют землю рожью, а живут ложью. Возраст и монастырская келья выправили отступника. Князь «образумился» и вполне сравнялся со своим окружением.

Но судьба одного человека — еще не судьба всей страны. Вскоре оказалось, что иноземную хворь не излечить ни тюрьмами, ни внушениями. Хворь прилипчива. Она соблазняла западными диковинками и невиданными новшествами. Она питалась соображением государственной пользы, которая заставляла преобразовывать худые поместные полки в полки «нового строя» — прообраз будущих соединений регулярной армии. Она, наконец, со временем осознала как жизненная потребность учиться у Запада. Не случайно младший сын царя Алексея, отправляясь в свое первое Великое посольство, закажет себе печать, текст которой будет венчать все преобразовательное движение уходящего XVII столетия: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую».

Вот персонифицированная линия этого движения к западной культуре.

Ее начало — Лжедмитрий I, которого открыто поносят за пренебрежение к московским обычаям и склонность к польскому политесу.

Середина столетия — Алексей Михайлович. Он до кончиков ногтей, до последнего поклона перед иконописным ликом русский и православный, но уже «подпорченный» острым интересом ко всему

западному, уже болеющий сомнительными «комедийными потехами».

Исход века — Петр Алексеевич, царственный брадобрей, готовый переиначить жизнь на новый лад и ведущий себя почти так же, как всеми осуждаемый первый самозванец. За столетие многое переменилось и... вернулось к самому началу с полной заменой минуса на плюс. Преданный анафеме, «западник» Отрепьев сгинул. Петр же начал свое восхождение к Петру Великому.

Смута — исток этого замысловатого движения. Именно она во многом придала ему ту взрывчатую противоречивость, которая вычеканила «бунташные узоры» на всей истории XVII столетия.

В обстановке послесмутного хаоса православие оказалось той крепью, которая объединяла общество. Призывы к всеобщему покаянию и милосердию играли огромное значение. Они соединяли людей духовно и психологически, направляли энергию не на разрушение, а на созидание. Истории угодно было распорядиться так, чтобы во главе этого созидания встали Романовы.

Созидание это было довольно своеобразным — с сильным налетом консерватизма. И одновременно с внутренним, до излома, напряжением. В представлениях книжников, православные, погрязшие в грехе и забывшие страх Божий, «понаказались» Смутой. Повторение пережитого страшило необычайно. Спасение виделось в обретении твердости, в приверженности к православию и старине. Такое умонастроение подталкивало к самоизоляции. Отступничество каралось Смутой. Смута преодолевалась твердостью в вере и незыблемостью привычных ценностей. То была, по сути, продиктованная временем модель замкнутого социокультурного развития.

Однако то, что было спасением в прошлом, старело в настоящем. Консолидация общества и изгнание иноземных отрядов в годы Смуты возможны были лишь вокруг идеи защиты и обережения православия. Но к началу правления Алексея Михайловича все более ощущалась необходимость обращения к достижениям европейской культуры. Выстроенная Смутой замкнутая модель социокультурного развития сильно осложняла такой поворот. Речь шла не просто о прямом запрете, который побуждал московского человека далеко обходить «немцев». Обществу и восприятию мешала вся идейно-нравственная и психологическая атмосфера, сильно сгущенная горьким опытом «всеконечного разорения».

Эпоха ставила перед новым правителем трудные задачи — сделать первые шаги к восприятию европейской культуры и образованности при сильном ограничении в средствах и способах, в самом состоянии общества, почти не склонного к переменам. В итоге — духовная противоречивость и напряженность, которые, в свою очередь, ведут к потрясениям. В этом смысле церковный раскол, который стал важнейшим событием второй половины XVII столетия, в большой мере был предопределен всем предшествующим развитием.

Тяжелым было наследие Смуты во внешней политике.

Итоги Смуты на долгие десятилетия определили основные направления военных и дипломатических усилий Михаила и Алексея Романовых. Московское государство вышло из гражданской войны с двумя унижительными международными договорами. В 1617 году был заключен Столбовский мир со Швецией, по которому был утрачен выход к Балтике. Для Москвы это мирное «докончание» означало признание своего поражения в затянувшемся споре со своим северо-западным соседом. К Швеции отошли такие

старорусские города, как Ям, Ивангород, Корела с уездом. Правда, шведы вернули захваченный в Смуту Новгород и ряд других территорий. Щедрый подарок был сделан отчасти по необходимости, отчасти из-за политического расчета. Удержание Новгорода таило перманентную угрозу военного конфликта с Русским государством. В Стокгольме, где спешно готовились к новому туру борьбы с более грозным, чем Москва, противником — Речью Посполитой это прекрасно понимали и искали на востоке победоносного и одновременно высвобождающего мира. Здесь не хотели доводить дело до крайности и предпочли ограничиться более «скромными» результатами. При этом в Швеции понимали, что значат для России и эти отторгнутые земли. Внимательно следивший за всеми перипетиями переговоров в Столбове король Густав Адольф II прозорливо отмечал, что если бы Россия имела выход к морю и «подозревала собственное свое могущество, то... благодаря ее огромным средствам и неизмеримым пределам» она покрыла бы Балтийское море своими кораблями.

В Кремле были осведомлены о назревавшем конфликте Швеции с Речью Посполитой, но воспользоваться этим не сумели — здесь нуждались в мире куда сильнее, чем в Стокгольме. Потому с условиями смирились и за слабость — прямое последствие Смуты — расплатились стратегически важными территориями.

Столбовский мир осложнил русскую торговлю на Балтике. Вскоре после его заключения под контроль Швеции попала Рига, а с ней — и контроль над всей прибалтийской торговлей России. Швеция получила возможность дозировать общение восточного соседа с европейскими странами в соответствии с собственными интересами. Унизительное и невыгодное посредничество в балтийской торговле окончательно

превратило отдаленный Архангельский порт в главные морские ворота Московского государства. Правда, такая независимость дорого стоила: путь через суровые северные воды в Архангельск был не так длинен, как в Новый Свет, но не менее труден и опасен. Однако при всех сложностях он был предпочтительнее Балтийского с его услужливо-разорительным посредничеством немецких купцов и «небольшой и справедливой», по словам все того же Густава Адольфа II, а на деле прямо-таки грабительской таможенной пошлиной стокгольмского правительства.

Обременительны были и политические статьи Столбовского мира. Они еще более ограничивали возможности участия России в восточноевропейских делах, ставили ее в зависимость от западного соседа.

История показала, что в споре за обладание побережьем Финского залива этот мир стал не точкой, а многоточием. Великодержавное намерение Швеции превратить Балтику в шведское озеро вызвало противодействие всех стран балтийского бассейна. Для России и Романовых возвращение утраченных «отчин» и преодоление шведского барьера в продолжении всего XVII столетия обретали статус задачи национальной и государственной. Осознание этого ощутимо в деятельности многих государственных мужей правления Алексея Михайловича.

Однако та же Смута и последовавшая в 1632-1634 годах русско-польская война (то же порождение итогов Смуты) со всей убедительностью показали, что прочный внешнеполитический успех может быть достигнут лишь при последовательном, поочередном разрешении стоящих перед страной задач. Иными словами, как ни болезненными оказывались воспоминания об утраченных прибалтийских городах и крепостях, надо было выбирать внешнеполитические приоритеты,

отказываясь от одного ради другого, более важного и необходимого.

В этом смысле Смута почти не оставила для первых Романовых выбора. Столбовское «докончание» было горько. Но еще горше был мир, или, точнее, перемирие с Речью Посполитой. Многовековое соперничество с ней закончилось тем, что чаша весов решительно склонилась в сторону польской короны. Речь Посполитая осталась главным и бесспорным противником, против которого ослабевшее Московское государство принуждено было сосредоточивать все свои скудные ресурсы.

Преимущество Речи Посполитой было закреплено в Деулинском перемирии, заключенном в декабре 1618 года. По его условиям к Польше отходили черниговские и новгород-северские земли, всего 29 городов и городков, среди которых был и Смоленск.

Избранный в годы Смуты на русский престол королевич Владислав не отказывался от своих претензий на наследие Рюриковичей. Это привносило дополнительную напряженность в русско-польские отношения. Деулинский договор не случайно был перемирием: острота противоречий была такова, что, едва прекратив военные действия, стороны стали грезить о новом столкновении.

В Москве особенно болезненно переживали потерю Смоленска. Отправляясь на восток, к примеру на воеводство в Енисейск, служилый человек мог сетовать: путь «туда ходу, назад два года и там быть два года». Зато до западных рубежей, до приграничной Вязьмы и при неспешной езде добирались в несколько дней. Но недолгий путь от столицы на запад означал столь же короткий путь с запада на восток, к Москве. С утратой Смоленска, который был ключом-городом к Москве, страна сталкивалась с реальной опасностью уязвимости своих центральных уездов и самой столицы. Это вполне

убедительно доказали на исходе Смуты королевич Владислав и гетман Ходкевич, когда, захватив Дорогобуж и Вязьму, они объявились под стенами Земляного города.

С начала 20-х годов, несмотря на плачевное состояние казны, правительство Михаила Федоровича стало лихорадочно укреплять дальние и ближние подступы к столице. Но коренное решение проблемы лежало в возвращении отторгнутых земель. С 1619 года, когда политический курс страны стал определять вернувшийся из польского плена отец первого Романова, патриарх Филарет, эта идея стала доминирующей. Какие бы дипломатические шаги ни предпринимали в те годы, какие бы планы ни выстраивали — все они в конечном итоге оценивались через призму польско-русских отношений, по пригодности к решению основной внешнеполитической задачи.

Уже в первые годы после Деулинского перемирия, когда Речь Посполитая оказалась связанной войной со Швецией, а Турция соблазняла идеей антипольского военного союза, в Кремле всерьез задумывались о нарушении перемирных лет. Главным сдерживающим фактором, который побудил отложить воинственные планы, стали внутренняя слабость страны и нестабильность положения власти. Лишь с конца 20-х годов патриарх Филарет посчитал, что настало благоприятное время для реализации своих замыслов. В результате нелегких переговоров стали вырисовываться контуры военного союза со Швецией, острие которого было направлено против Речи Посполитой.

Однако попытка вернуть силой Смоленск закончилась полной неудачей. Русско-польская война 1632–1634 годов завершилась Поляновским «вечным миром», который пришел на место шатких «перемирных

лет». По этому миру Москва признавала за небольшими изменениями существующие границы «на вечные времена». Колоссальные и разорительные усилия пошли прахом. Правда, избранный на польский престол королевич Владислав — Владислав IV — отказался от своих претензий на царский венец. Но этому успеху Романовы были обязаны скорее не силе русского оружия, а политическому здравомыслию польского правителя.

Впрочем, Смоленская война была из тех неудач, которые хорошо учат. В Москве неплохо усвоили ее горькие уроки. Одной из причин поражения стало бегство служилых людей из царских полков. «Рать твоя, государь, разбежалась», — писал из-под Смоленска воевода М. Б. Шеин, и в этом крике отчаянья не было преувеличения. В иные дни из русского лагеря уходили по 200–300 человек сразу. Но вовсе не трусость побуждала ратных людей к бегству. В полках со страхом и тревогой внимали известиям о разорительных набегах крымских татар на южные окраины Московского государства.

Воспользовавшись ослаблением обороны юга, крымцы жгли и грабили уезды, уводили с собой толпы пленных. Оголяя на время войны с Польшей границу, правительство надеялось на лояльность султана и на то, что он удержит от набегов своего вассала — крымского царя. Надежды рухнули, просчет обернулся подлинной трагедией. В Кремле не учли степень самостоятельности, или, точнее, своеволия крымского царя, укоренившейся хищнической психологии алчной до военной добычи и полона крымской знати. Крым, по собственному признанию, «жил войной». Иногда же для «черных улусных людей», простых татар, это было более чем жить — оборачиваясь единственной возможностью выжить. Под бунчуки князей и мурз стекались сотни и тысячи человек. По степным дорогам-

шляхам крымцы двинулись на север — и застонали московские окраины, побежали, обеспокоенные за свои семьи и имения, помещики из-под Смоленска, а в самой Москве недруги Филарета со злорадством зашептали о напрасно затеянной «старцем» войне с королем.

Эти драматические события еще раз напомнили об ограниченных возможностях государства, необходимости осторожного и последовательного решения внешнеполитических задач. Оказалось, что мало было заручиться союзом со Швецией. Надо было, чтобы этот союз свелся не к пустым обещаниям шведского короля и правительства, а к вполне прозаическим военным действиям. Следовало позаботиться о безопасности юга, не надеясь на обычный русский «авось», а опираясь на единственно весомый в глазах крымских правителей аргумент — на силу.

Если Смоленск — ключ к Москве, то ключ к самому Смоленску, как это ни странно, был спрятан... на юге страны. Или по крайней мере один из ключей к городу. Этот достаточно парадоксальный вывод, вытекавший из опыта русско-польской войны 1632-1634 годов, и побуждал правительство Михаила Федоровича к наращиванию оборонительных усилий на юге. Со второй половины 30-х годов началось восстановление Большой оборонительной засечной черты, а несколько лет спустя — и создание новой, Белгородской. То была огромная, требовавшая больших затрат и человеческих усилий работа. На сотни верст непрерывной чертой вытягивались укрепления — города, городки, острожки, валы и рвы — и подправленные человеческой рукой природные препятствия — поваленные по-особому заповедные леса, перегороженные броды, которые должны были огородить южные и центральные районы страны от степных набегов. К моменту воцарения Алексея Михайловича эта работа сильно продвинулась

вперед, но не была еще закончена. Так что и она оставалась в ряду того, что унаследовал второй Романов после Смуты и царствования своего отца.

Наследник престола

В 1613 году русские люди присягали не только царю Михаилу Федоровичу, но и его детям, которых «Бог даст». Однако первый Романов долгое время не имел наследника. Впервые о государевом венчании заговорили в 1616 году. Выбор царя пал на дочь московского дворянина Марью Ивановну Хлопову. При том, что по обычаю это произошло во время государева «обирания», царь, возможно, заприметил Марью ранее, когда та участвовала в богомольных походах его матери, великой старицы Марфы Ивановны^[8]. Старица-царица благоволила Хлоповой, а ее расположение было, пожалуй, поважнее расположения самого Михаила Федоровича. При жесткой и властной матери молодой царь был что воск в мягких руках — послушен и податлив.

Хлопову нарекли царевной, по тогдашней традиции дали новое имя — Анастасия, в память Анастасии Романовой, и взяли «в Верх», во дворец — место для государевой избранницы, которая отрывалась от родных стен, очень опасное. И действительно, выпавшее счастье очень скоро сменилось на несчастье и злключения, которые пришлось пережить царской избраннице и ее семье.

Женитьбу государя всегда можно уподобить стихийному бедствию, которое обрушивается на придворных. Народная присказка про ночную кукушку, которая «всех перекукует», на деле часто оборачивалась вполне реальными и осязаемыми переменами при дворе. В самых верхах появлялись новые лица. Прежнему окружению нередко приходилось расступаться и высвобождать «места» для

родственников царицы. Бояре «по кике» — женскому головному убору — не новость уже для XVI века.

Неудивительно, что люди сильные, державшие в руках все нити власти, очень ревниво относились к царскому выбору. Правда, после того как царь платком и кольцом, отданными избраннице, закреплял свой выбор, трудно было открыто противиться государевой воле. Но трудно не значит нельзя. В арсенале придворной борьбы было немало действенных способов расстроить женитьбу. Охотников же сделать подобное среди ближних людей, которым царский выбор — нож в сердце, всегда хватало.

При дворе в это время большим влиянием пользовались Салтыковы, двоюродные братья Михаила Федоровича по матери, великой инокине Марфе. Они увидели в Хлоповых людей себе неугодных и опасных и сделали все, чтобы «остудить» симпатии тетки к Хлоповой. Воспользовавшись легким недомоганием вырванной из-под строгого родительского присмотра Марьи, они пустили слух о серьезной болезни.

Источники не позволяют сказать, в какой мере царские «сродичи» были причастны к недомоганию Хлоповой. Во дворце шептали об отраве. Сами Хлоповы, отвергнув сомнительные с точки зрения истинно православного человека «скляницы» с лекарством, предпочитали потчевать нареченную царицу святой водой «с честных крестов» и давать ей камень безуй, исцеляющий будто бы от всякой немощи, отравы и порчи. Однако прецедент был уже создан и сомнение заронено. Нареченную царицу осматривали иноземные доктора, после чего торжествующие Салтыковы объявили царице-матери и царю: «Дохтуры болезни ее (Марии Хлоповой. — *И.А.*) смотрели и говорили, что в ней болезнь великая, излечить ее невозможно».

При том, что традиция определяла предназначение царицы прежде всего как родительницы, — по

образному замечанию И. Е. Забелина, «почвы, в которой не должен иссякнуть корень государева рода», — признание непригодности к этой роли царской невесты оборачивалось крушением всей брачной затеи. Нездоровье грозило бесплодием, иссушением царского рода. Потому Боярская дума, на рассмотрение которой вынесено было дело, признала Хлопову непригодной к «государевой радости» и приговорила выслать ее из дворца. Салтыковы и дальше явили свою силу — Марию Хлопову выпроводили подальше с глаз (царских естественно!) долой и из столицы.

Михаил Федорович долго не мог забыть сосланную «юницу» и даже подумывал о ее возвращении, тем более что все попытки вернувшегося из польского плена Филарета приискать сыну невесту за пределами Московского государства оканчивались неудачей. Поневоле пришлось искать царицу среди дочерей собственных «холопов». Вот тут-то обыкновенно покладистый Михаил Федорович заупрямился и объявил, что ни с кем, кроме как с Хлоповой, под венец идти не желает. «Обручена ми есть царица, кроме ее иные не хочу пояти», — будто бы говорил царь.

Со времени ссылки государевой невесты прошло семь лет, и в таком постоянстве царя, раз сделавшего выбор, проглядываются черты по-человечески привлекательные. Однако ж дальнейшие шаги, несмотря на падение при патриархе Филарете влияния Салтыковых, требовали от Михаила Федоровича усилий чрезмерных. Против намерения сына решительно выступила великая старица Марфа Ивановна.

Позицию матери царя чаще всего объясняют тем, что она оскорбилась опалой своих родственников Салтыковых, отправленных в 1623 году в ссылку как раз за то, что они «государевой радости и женитьбе учинили помешку». Возможно, это и так. Но, должно быть, это лишь полправды, а вся правда — в характере

великой старицы. Она была крута, быть может, даже круче и упрямее своего бывшего супруга, патриарха Филарета. Жизнь ее — точно езда по ледяным горкам. Счастливая женитьба, материнство, почетное положение боярыни — все в гору-гору, а затем в один момент: опала, ссылка, насильственное смирение, разлука с мужем и с сыном. Словом, с высоты да под горку, без надежды на перемену и с несбыточными надеждами на встречу с домашними. Когда явился Лжедмитрий, все опять изменилось. Правда, жить как раньше уже никак было нельзя: монашеский платок просто не сбросишь. Но ссылка окончилась. Такие перепады закалили характер, заставили дорожить благополучием, не забывая при этом о непрочности бытия.

Великая инокиня жила в Кремле по-царски, из оскудевшего скарба прежних цариц одаривала боярынь, занималась благотворительностью и в «государские дела» не вступалась. Но женитьба сына — это было ее, материнское дело. Неуступчивая нравом старица-царица отказала сыну в благословении. И Михаил Федорович не решился идти против воли матери. Мечты о Хлоповой, окончательно оправданной и признанной «во всем здоровой», были отставлены: ее окончательно и на этот раз бесповоротно препроводили на вечное житье в Нижний Новгород, объявив, что государь ее «взять за себя не изволили».

В стоустой народной молве симпатии остались на стороне отвергнутой невесты, безвинной жертвы придворной интриги. «Одна де тамо мутит государева матушка, не велит на Хлоповой жениться», — сетовали в народе, и в этом толке — редкий случай — все было правдой^[9].

Окончательно расстроив одну свадьбу, начали хлопотать о другой. На этот раз избранницей Михаила

Федоровича стала дочь боярина Владимира Тимофеевича Долгорукова Мария Владимировна. Свадьбу сыграли 19 сентября 1624 года. Но вскоре молодая царица занемогла и 6 января 1625 года скончалась.

Михаил Федорович вдовствовал чуть больше года и 5 февраля 1626 года обвенчался с дочерью Можайского дворянина Евдокией Лукьяновной Стрешневой. О прежнем житье новой царицы злые языки судачили, что государыня была «не дорога», хаживала в простенькой обувке-жолтиках, а ныне ей повезло — «Бог возвеличил!»^[10].

В 1627 и 1628 годах в царской семье родились две дочери, царевны Ирина и Пелагея. Первой суждена была долгая жизнь, вторая умерла во младенчестве. В неустойчивой послесмутной атмосфере появления царевен, а не всеми ожидаемого царевича-наследника было достаточным поводом к темным толкам. В государевой семье что-то не ладно, но, может быть, это «неладно» пришло в Кремлевские терема по Божьему прогневлению?

Как водится, обратились к молитвенному прошению. С Соловков приехал известный своим подвижничеством монах Елиазар, который, запершись в келье Чудова монастыря, молил о наследнике^[11]. Накануне появления в царской семье третьего ребенка курские тюремные сидельцы в надежде на государеву милость говорили между собой о царевиче — когда тот родится, тогда государь непременно «пожалует, велит всех из тюрьмы распустить». Но тут же явились сомнения. Что будет, если родится царевна? «Ино худо будет», — повздыхал один из сидельцев и уточнил, кому будет хуже всего: «Худо будет государю»^[12].

10 (19) марта 1629 года, во втором часу ночи, в мыльне, царица родила царевича. По свидетельству

Григория Котошихина, после того, как духовник дал очистительную молитву, в мыльню смотреть новорожденного приходил царь. Едва ли на этот раз были какие-то отступления от обычая — слишком долгожданым для Михаила Федоровича оказался этот младенец.

17 марта 1629 года младенца нарекли Алексеем — в честь празднуемого в этот день преподобного Алексия Человека Божия. 22 марта совершенно было «рождение во Святом Духе» — крещение. Начиная с Ивана Грозного, в царской семье утвердилась традиция крестить новорожденных детей в Чудовом монастыре, где покоились мощи святого митрополита Алексея. Повелел крестить здесь своего первенца и Михаил Федорович. Крестными стали келарь Троицкой лавры Александр Булатников и двоюродная бабка новорожденного, Ирина Никитична Романова. По видимому, из-за опасения застудить ребенка его крестили в трапезной монастыря — самом теплом помещении обители. Позднее, следуя примеру отца, Алексей Михайлович крестил в монастыре своего первенца Дмитрия. Но потом переменял обычай, и следующих детей опускали в купель чаще всего под сводами Успенского собора. Однако детей от второго брака с Натальей Нарышкиной Алексей Михайлович вновь стал крестить в Чудовом монастыре^[13].

По традиции были устроены праздничные столы — родинный, а позднее крестинный. Патриарх Филарет благословил своего внука крестом, в котором находились частица Животворящего древа, Млеко Богородицы и восемь частиц мощей разных святых; великая инокиня Марфа — образом Богородицы в жестяном киоте. По мнению И. Е. Забелина, скромный подарок искупался его символическим значением. По-

видимому, это была бесценная домашняя святыня Романовых, которую старица передавала внуку^[14].

На крестинах преподнес свои святые дары сыну и царь Михаил Федорович. Помимо золотого креста с частью Ризы Христовой, это была часть мощей святого царевича Дмитрия — его зуб. Среди подношений были также мощи преподобного Михаила Малеина и святой Евдокии, тезоименитых отцу и матери Алексея Михайловича. То была как бы наследственная передача покровительства небесных охранителей родителей их новорожденному сыну.

Помимо благословенных крестов и иных святынь младенцу подносились обычные дары — от родителей, родственников и ближних людей. Подарки подносили не только придворные, но и духовенство, торговые и посадские люди. Во дворец их везли в продолжение нескольких месяцев, по мере того как собирали деньги, покупали подарок (обыкновенно кубки) и находили подходящую оказию.

Обычай требовал отвечать на подношения — отдариваться от имени самого новорожденного. Так что сладко посапывавший под неусыпным надзором мамок и кормилицы младенец и не ведал, что «раздает» обильные подарки. Так, старице Марфе для государевой радости о новорожденном были поднесены кубок и стопа серебряные золоченые, а также бархат, камка, сорок соболей. Всего на сумму в 152 рубля^[15].

Но ответные дары подносились не всем. Часть подношений рассматривалась как проявление обязательного верноподданнического чина. Соответственно, не от всех и не все дары принимали. Из даров духовенства брали только святыни. Остальное же, по исполнению чина дарения, то есть по выражению почтения, уважения и преданности, возвращалось обратно. В Кремле пристально следили за строгим

исполнением положенного, принявшего форму обряда. Таким образом оберегали государеву честь, а с марта 1629 года — и честь царевича.

Можно понять радость, которую испытывали в Кремле. Не только чисто человеческую, родительскую, но и «государственную»: все рассуждения о династии Романовых из области теоретической перемещались в область практическую. Важное событие, впрочем, долгое время оставалось условием династической стабилизации лишь в потенци: хрупкая жизнь младенца была слишком непрочным основанием для благополучия целой династии. Выживет ли он? Сумеет ли уже далеко не молодой по понятиям того времени Михаил Федорович огородить своего первенца от бед и несчастий? Успеет ли дать ему опереться и стать на крыло? Это были вопросы вовсе не праздные, особенно тогда, когда сознание современников было заражено вирусом самозванства. Однако ответ на них можно было получить только в будущем. Но вот как поворачивало и истолковывало эти вопросы настоящее: достаточно было только позднего рождения наследника, да еще рождения после двух дочерей, чтобы явилось сомнение уже в самом Алексее Михайловиче. Подлинный ли он, не подменный?

В 1633 году архимандрит новгородского Варлаамо-Хутынского монастыря Феодорит, будучи навеселе, поделился с диаконом Тимофеем Брюхановым своими сомнениями: «Бог де то ведает, что прямой ли царевич, на удачу де не подметный ли?» Речи были доводные, кнутобойные, и не удивительно, что, проспавшись, архимандрит испугался — не донесет ли Брюханов. Он кинулся выручать себя из беды. Лучшим средством здесь был посул — прозаическая взятка «сильному человеку». Дворцовому дьяку Ивану Дмитриеву была отправлена в подарок лошадь, после чего дьяк очень

своеобразно успокоил несдержанного на язык игумена: то «де обычное дело, на Москве де не тайно говорят».

Возникшее почти одновременно другое дело объясняет, откуда взялись сомнения в происхождении Алексея Михайловича. В Курске старица Марфа прямо на торгу разъяснила, что поскольку государь женился «об исходе», у него и рождаться стали дочери. В итоге царь «хотел царицу постричь в черницы», а та — так получалось со слов всезнающей старицы — родившуюся девочку заменила мальчиком. Получалось — «и то де царевич подменный». Слух укоренялся и распространялся, обретая иногда самые замысловатые очертания. Стоило позднее в семье Михаила Федоровича родиться царевичу Ивану, как народное самосознание объявляет именно его «от премова царского корени», противопоставляя таким образом «подменному» Алексею Михайловичу. «Знаем де мы такие подмены», — многозначительно добавляли авторы смутных толков [\[16\]](#).

Отсюда оставался всего один шаг, чтобы усомниться в законности прав Алексея Михайловича на престол. Второй же шаг был и того страшнее — к скопу и мятежу. Не случайно в Москве в самый разгар летнего восстания 1648 года вновь покатались слухи, что царь Алексей «непрямой государь» [\[17\]](#), то есть подменный, незаконный, а значит, и выступление против него безгреховно.

Все это были бесконечные вариации самозванческой темы, которая продолжала сохранять свою злободневность. Разговоры об очередных искателях романовского престола и после рождения царевича не прекращались. О самозванцах помнили. Их ждали. За них поднимали заздравные чаши. Понятно, что такие речи обычно звучали в хмельном угаре, во время ссор и застолий. Но при всем том это свидетельство

несомненной надломленности, нездоровья общественного сознания, готового поверить самым невероятным слухам. В этом свете болезненная реакция властей на любое неловкое, оброненное «пьяным обычаем» слово в адрес государя и его семейства вполне понятна и объяснима. Опалами пытались излечить самозванческий недуг. Тюрьмой — упрочить государственный порядок, угрозой ссылки — утвердить династические права. За стонами истязаемых по делам о так называемых непригожих речах стояла не только эпоха, но целая программа общественного «оздоровления» с помощью кнута и застенка.

Между тем Алексей Михайлович оправдывал надежды — жил и рос. Росла и царская семья. Следом за Алексеем вновь пошли дочери, царевны Анна и Марфа, в 1633 году родился брат царевич Иван Алексеевич, затем Софья, Татьяна, Евдокия и еще один сын Василий. Смерть нередко заглядывала на царицыну половину дворца, но при высокой детской смертности то было делом привычным. Последние двое детей умерли во младенчестве, не дожили до трех лет и Марфа с Софьей. 10 января 1639 года, «с среды на четверг, в 3 часу ночи», скончался пятилетний царевич Иван Михайлович [\[18\]](#).

Пристальное внимание к членам царской семьи нередко порождало домыслы самые немислимые. Беглый подьячий Григорий Котошихин, автор знаменитого сочинения «О России в царствовании Алексея Михайловича», писал, что царевич Иван Михайлович «с младенческих лет велми был жесток», и это сильно пугало окружение: будто бы оно опасалось, что с возрастом Иван Михайлович начнет творить великое зло, и потому при первом благоприятном случае царевича поспешили попотчевать отравой.

При всей своей осведомленности Котошихин передавал слухи. Далекие от того, что происходило на самом деле, эти слухи сами по себе лучше всего иллюстрируют тогдашнюю атмосферу в обществе. Любая смерть в царской семье обязательно вызывала всевозможные толки и домыслы. По убеждению людей, подобное случалось не просто так, а по порче и злomu умыслу. В пятилетнем, крепко схороненном за стены царских палат ребенке успевали заметить жестокий нрав, который напоминал всем «нрав прадеда своего, первого Московского царя». Но это скорее не личностная характеристика царевича, а тот страх, который внушил своими бессудными опалами грозный царь, и свежесть воспоминаний об этом страхе.

Впрочем, смысл этих строк Котошихина становится более понятен, если иметь в виду, что один брат противопоставляется другому. Именно в сочинении Котошихина говорится о черте характера, которая «срастется» с образом Алексея Михайловича: в отличие от «жестоконравного» Ивана, Алексей «зело тих был в возрасте своем, как и отец»^[19]. Это противопоставление — почти традиция. О злом нраве Ивана сообщает, между прочим, и Коллинс, англичанин-медик при дворе второго Романова. Его известия совсем мифические. Коллинс пишет о никогда не существовавшем старшем брате Алексея Михайловича, который будто бы находил удовольствия, убивая птиц. Здесь нетрудно провести аналогии с фактами, почерпнутыми из повествования А. М. Курбского об убийстве юным Иваном IV кошек и собак, и с «казнями» снеговиков, нареченных боярскими именами, которых лихо сокрушал маленький царевич Дмитрий.

Заметим, что смерть младшего брата Алексея Михайловича была связана с очередным «ведовским делом». Золотошвейку Дарью Ломакову обвинили в том,

что она сыпала пепел на след царицы. Та тотчас почувствовала недомогание, стала печальна и не случайно — «вскоре государя царевича Ивана Михайловича не стало». Мало того, от «злых козней» Дарьи «в их государском здоровье и в любви стало не по прежнему, и до сих лет меж их, государей, скорбь, и в их государском здоровье помешка»^[20].

«Помешка» в здоровье и любви оказалась действительно затянутой: после смерти младенца Василия (он родился через два с половиной месяца после смерти Ивана) у царствующей четы уже больше не было детей.

«Тихий царевич»

Алексей Михайлович с детства был наставлен и крепко утверждён в православной вере и благочестии. То было нравственное воспитание, взросление в страхе Божиим, а страх Божий — «начало добродетели». Уже с трёх-четырёх лет царевич «упражняется» в молитвах и отстаивает службы. В этом не было ничего особенного. «Достигнув двухлетнего возраста, они уже соблюдают посты очень строгие», — заметил по поводу религиозного воспитания русских англичанин Самуэль Коллинс, успевший за семь лет своего пребывания в Москве неплохо познакомиться с местным укладом жизни^[21].

Дворцовые разряды глухо сообщают об участии царевича в службах, причем вкупе с известиями о молитвенных и благочестивых поступках царицы Евдокии. Это понятно: по традиции до пяти лет царевич должен был пребывать под неусыпным материнским присмотром. Сообщения обыкновенно связаны с церковными праздниками. Причем царица водила детей к обедне или к молебну не только в верховые придворные церкви, но даже в приходские. Очень рано царевич вместе с матерью стал жаловать от своего имени священников за службы, славления и т. д.^[22]

Дворцовые разряды называют дату первого причастия Алексея Михайловича — 5 июля 1629 года^[23]. Косвенно это свидетельствовало о том, что младенец отличался отменным здоровьем. Заботясь о полном исполнении церковного устава, обыкновенно спешили отнести к причастию новорожденного слабого, будущее которого внушало большие опасения.

Известно имя первого духовника Алексея Михайловича. То был священник главной «домашней»

церкви царского семейства — Благовещенский протопоп Максим. В январе 1631 года, на Рождество, за славление Христа в хоромах царицы Максим получил от Евдокии Лукьяновны и царевича Алексея Михайловича по паре соболей (а одна пара — 3 рубля). Десять дней спустя царевич и его сестра Анна причащались у протопопа, и царица вновь одарила духовника, отправив 2 рубля^[24]. По мере взросления имя молодого царевича, выступающего с матерью и сестрами или в одиночестве службы по церковным праздникам, все чаще упоминается в Дворцовых разрядах.

Строгий дворцовый церемониал, включавший многочисленные богомольные поездки, очень скоро затронул новорожденного царевича. Уже 1 августа 1629 года пятимесячный Алексей ездил вместе с матерью-царицею в село Рубцово. С матерью же царевич отправляется в свое первое богомолье в Троицкий монастырь. Произошло это в начале сентября 1630 года. Евдокия Лукьяновна выехала в окружении знатных боярынь и близких родственниц. С ней ехали ее мать, Анна Константиновна Стрешнева, и сестра Феодосия Лукьяновна — то есть бабка и родная тетка Алексея Михайловича.

Как положено, царевича сопровождали его «мамка» и «нянька». Весь штат подбирали с особым старанием. «Да у того же царевича или царевны, — замечает Котошихин, — бывают приставлены для досмотру мамка, боярыня честная, вдова старая, да нянька и иные прислужницы». У Алексея Михайловича первой мамкою была дворовая боярыня Ирина Никитична Годунова. Затем на ее место заступила Ульяна Степановна Собакина. К последней царь сохранил привязанность на всю жизнь. Уже выросший, он будет справляться в своих письмах к сестрам о ее здоровье^[25]. Внучка Ульяны, вдова окольного князя

Н. И. Лобанова-Ростовского, за заслуги бабки получит в пожизненное владение родовые вотчины мужа. При этом будут отклонены все челобитья «сродников» Лобанова-Ростовского, напоминавших, на вполне законных основаниях, о своих правах. И, кажется, это был не первый случай, когда предприимчивая княгиня станет успешно «эксплуатировать» благодарную память Алексея Михайловича о его «мамке»^[26].

Заметим, что в 1630 году Ульяна Степановна еще не сопровождала царевича, а Ирина Никитична Годунова ехала в одной колымаге с самой царицею^[27]. Но зато год спустя, в октябре 1631 года, они уже вдвоем приглядывали за царевичем в поездке в Троицу.

Эти первые для Алексея Михайловича богомольные походы ничем не отличались от прежних богомольных выездов Евдокии Лукьяновны. Разве что прибавились новая колымага для царевича Алексея и новые хлопоты, связанные с сбережением наследника престола. В путь по размытой дождями дороге отправлялся огромный «поезд». Так, в 1631 году он состоял из 171 лошади и полусотни колымаг, заполненных людьми — приезжими и дворовыми боярынями, постельцами, мастерицами и даже двумя карликами. Среди сопровождавших — «казначей» Алексея Михайловича Татьяна Комынина и его постельницы Аксинья Сабурова, Анна Муханова, Настасья Лебедева, Аграфена Грекова и Лукерья Озерова^[28]. Пройдут годы, и Алексей Михайлович станет ездить в Троицу уже с отцом, потом сам, потом с царицей, которая, как некогда его мать, будет идти особым поездом в окружении царевен и маленьких царевичей. Только новые поездки против прежних окажутся куда более многолюдными и внушительными. В сентябре 1668 года, отправляясь в свое последнее Троицкое богомолье, первая жена Алексея Михайловича, царица Мария Ильинична, возьмет с собой

одних только карлиц и карликов 16 человек — росло царское семейство, возрастал и размах не только благочестия, но и дорожного веселья^[29]...

Информационная скудность источников, выстроенных к тому же в соответствии с каноном, мало что дает для понимания того, как и в каких условиях формировались характер и мировоззрение царевича. Что происходило в тереме царицы, а затем в тереме царевича, что поражало его воображение и заставляло трепетать, возмущаться или радоваться — все, или почти все — мрак и неизвестность. Мы никогда не узнаем, какое впечатление производила на подрастающего Алексея Михайловича смерть его сестер и братьев. А смертей, при всей привычности к ним — Бог дал, Бог взял — на самом деле было с избытком: когда Алексею было четыре года — умерла царевна Марфа, семь лет — царевна Софья, восемь — Евдокия, десять — один за другим, братья Василий и Иван.

Эта плотная, без щелочек зашторенность, «потаенное» взросление не были случайными. Так и полагалось растить царевича, скрытого не только от дурного людского глаза, но и от житейских бурь. Но это имело и свою отрицательную сторону: безусловно, молодой Алексей Михайлович многое из того, с чем сталкивался в юные годы Михаил Федорович, знал только понаслышке или вообще не знал. Трудно сказать, насколько был разносторонен социальный опыт молодого Михаила Федоровича. Однако положение служилого человека, пускай и очень родовитого, царского «сродника», стоявшего неизмеримо высоко над массой служилого люда, давало ему возможность общаться со многими людьми, включая самые низы общества. Первый Романов был несравненно ближе к гуще жизни, чем его родившийся в царских хоробах сын. Алексей Михайлович с первого дня был окружен

почтением, везде видел доброту и любовь. Равнодушие, пренебрежение, злость, зависть — словом, все людские большие и малые пороки долгое время если и были ему знакомы, то не из жизни, а из нравоучительных бесед и учительной литературы. Он рос, как комнатное растение на окне, не знающее ни холода, ни жажды. Сильные впечатления, не говоря уже о горестях, миновали его, оттого бойкий и живой от природы ум более питало богатое воображение. Он формировался во многом как книжный человек, всерьез принимающий *должное за сущее*. Позднее ему придется разувериться в этом. Последуют жестокие разочарования, раздадутся горькие сетования в адрес нерадивых и даже лживых слуг. Но разочарования никогда не достигнут градуса потрясения. Алексей Михайлович был для этого слишком благодушен и уравновешен. Несомненно, героическая трагедия — не его жанр. Тишайший, он и есть Тишайший. Ему никогда не будет хватать истинной, *государственной* страсти — повивальной бабки великих дел.

Это не значит, что молодой царевич был лишен темперамента. Стоит вспомнить о его увлеченности «красной соколиной охотой», зародившейся еще в юности. Известны и его вспышки гнева, доходившие до крика и тычков, щедро раздаваемых Тишайшим. Эти вулканические извержения приходились, правда, уже на годы царствования. Но вспыльчивость — черта, которая чаще всего проявляется уже в детстве, подавляясь или, напротив, получая простор в последующие годы. Однако от темперамента, даже самого горячего, до подлинной страсти — дистанция достаточно солидная. Страсть требует упорства, постоянных усилий воли, *преодоления*, а такая тяжелая внутренняя работа оказывалась непосильной для Алексея Михайловича. Царем будет двигать скорее глубоко воспринятое чувство долга, осознание того, что

государь, столкнувшись с нерадением и неисполнением его воли, должен быть грозен. Мотив самодостаточный. Но по силе своей он блекнет перед мотивацией поступков у сына Тишайшего, Петра Алексеевича, у которого страсть и сознание долга, сплавляясь, одушевляются и становятся *волей*.

Алексею Михайловичу этой всесокрушающей воли никогда не хватало. Возможно, от того, что в детстве для него все складывалось удачно и ровно. Потому и не было особого стремления ломать и изменять. Царевич был послушен и восприимчив, признавая тех, кого положено было признавать, и слушая тех, кого следовало слушать.

Любопытно, что в будущем, воспитывая своих наследников, Алексей Михайлович несколько расширит круг их общения. Это нельзя будет назвать переменной радикальной. Но в новшествах, вводимых царем, несомненно, станет присутствовать осознание того, что будущий правитель Московского государства нуждается в более обширном личном опыте.

Как и положено, по достижении пятилетнего возраста Алексей Михайлович был передан в «мужские руки». В 1634 году он покинул царицыну половину и переселился в специальные покои. Это было не первое «новоселье» царевича. Однако на этот раз он оказался в пространстве, не доступном для женской половины царского дворца. Отныне все мамки, няньки, кормилицы, постельницы, к которым он так привык за первые годы жизни, уже не окружали и не ублажали его. В новом месте начиналась иная, «мужская» жизнь с новыми людьми и непривычно суровыми требованиями. В 1636 году было закончено строительство покоевых каменных хором — Теремного дворца, верхний этаж которого был отдан Алексею и его брату Ивану^[30].

Ответственным за воспитание и обучение наследника, или, как тогда писали, для «бережения и научения», был поставлен Борис Иванович Морозов — «дядька» царевича. В товарищи ему назначили родственника царицы, Василия Ивановича Стрешнева. Оба были пожалованы в новые чины: Морозов из стольников сразу в бояре, Стрешнев — в окольников. Выбор показателен и свидетельствует о степени доверия, которое питал первый Романов к новым воспитателям, особенно к Морозову. Это не удивительно. Борис Иванович уже в марте 1614 года упомянут как царский спальник. В дальнейшем Морозов часто жалуется первым Романовым и исполняет — «приказывает государевым словом» — его разнообразные поручения^[31].

Для обучения Алексея Михайловича грамоте был приглашен дьяк Василий Сергеевич Прокофьев, письму его учил подьячий Посольского приказа Григорий Васильевич Львов, пению — певчие дьяки Лука Иванов, Иван Семенов, Михаил Осипов, Николай Вяземский.

«Москвитяне без всякой науки и образования, все однолетки в этом отношении», — писал позднее барон Августин Мейерберг, автор одного из самых интересных иностранных сочинений о России XVII века. Писал как раз в связи с рассказом об обучении Алексея Михайловича, давая уничижительную характеристику образованности как самого Морозова, не способного «запечатлеть на чистой скрижали отроческой души те образы, о которых у самого него не было в голове понятия», так и его воспитанника^[32].

Приговор суровый и далеко не справедливый. Естественно, с точки зрения просвещенного Мейерберга, Борис Иванович был вместилищем необразованности и суеверий. Однако в Московском государстве существовали свои представления об

образованности. Во главу ставились православные ценности, познания которых открывали путь к спасению. Не случайно первая фраза Алексея Михайловича на церковном соборе, судившем патриарха Никона, была: «Я рожден и воспитан во благочестии». Он этим гордился. И был смертельно оскорблен, когда Никон в своих письмах восточным иерархам пытался поставить под сомнение эту бесспорную для него истину.

Но и суетная «внешняя мудрость» не была чужда учителям царевича. Или, точнее, в соответствующих дозах она входила в православное образование. Заметим, что эти «дозы» на протяжении жизни Алексея Михайловича возрастали. Отправленный в Испанию и Францию посол П. И. Потемкин на расспросы о государе должен был отвечать, что тот «многим премудрым философским наукам» обучен. Это было, конечно, далекое от истины и столь же привычное для практики межгосударственного общения утверждение (кто из послов получал инструкции говорить, что их государь глуп, недалек и необразован?). Но показательно, что в Москве уже считали важным ставить эти знания в заслугу монарху.

Из учителей царевича более всего известен Г. В. Львов, получивший позднее чин думного дьяка и возглавивший Посольский приказ. По московским меркам он был человеком вполне образованным, интересовавшимся даже тем, чем вполне можно было и пренебречь. Известно, например, что он был заказчиком редкой математической рукописи^[33]. Трудно сказать, что удалось Львову, помимо умения писать, передать царевичу. Во всяком случае, не страстный интерес к математике, общение с которой для Алексея Михайловича в последующем сведется к бесконечным подсчетам прихода и расхода казны и людей в полках.

Не мог он, конечно, обучить своего ученика и «премудрым философским наукам». Но, по крайней мере, Львов не охладил природную любознательность царевича. А это уже заслуга, и немалая.

Повзрослев, Алексей Михайлович сохранит чувство благодарности к своему учителю. Правда, достаточно своеобразное, не лишенное налета утилитарности. Справляясь о здоровье думного дьяка, он одновременно станет наказывать прислать себе чернильницу, «а чернил возьми у Григория у Львова, да и перья ему вели очинить»^[34]. Поскольку подготовка гусиных перьев для письма — дело тонкое и «индивидуальное», то последнее приказание — свидетельство того, что царь с детства привык к очинке перьев на львовский манер.

Традиционное обучение начиналось с чтения. Одолев грамоту, ученик переходил к толковой грамоте, в которой изречения Христа и толкования о вере располагались в алфавитной последовательности. Обучение проходило вслух и нараспев, как церковная служба. Заучивались Псалтырь и Апостол. После чтения следовало обучение письму. Затем переходили к знакомству с нотной богословской книгой — Октоихом, после чего приступали к изучению песнопений Страстной седмицы. В результате учащийся должен был свободно петь по крюкам стихир и каноны. Позднее поэт-учитель Симеон Полоцкий с согласия Алексея Михайловича применит для его детей иную систему обучения: «учение грамматичное» и познание «семи свободных художеств» — грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, музыки, астрологии. Полоцким же были сформулированы дидактические принципы обучения и воспитания, пригодные всем отрокам: здесь был и добрый родительский пример, и признание вреда от чрезмерной родительской любви. Но все это будет

потом: отроку Алексею пришлось шагать путем протоптанным, в полезности которого еще ни у кого не было сомнений.

По исполнению пяти лет царевича усадили за Азбуку. Известно, что в середине мая 1634 года для Азбуки был сделан футляр, а сама книга была переплетена^[35]. По-видимому, это и есть приблизительная дата начала обучения второго Романова.

В сентябре 1635 года, покончив с первой учебной книгой, учитель и ученик принялись за обязательный Часовник — Часослов, содержащий литургические тексты суточных служб, часть которых выучивалась наизусть. За Часословом последовала Псалтырь. В мае 1636 года царевич приступил уже к Деяниям Апостолов — последней книге начального обучения. Высокие темпы обучения свидетельствовали о прилежании Алексея Михайловича и отменных способностях. «Дух его наделен такими блестящими врожденными дарованиями, что нельзя не пожалеть, что свободные науки не присоединились еще украсить изваяние, грубо вылепленное природой вчерне», — сетовал позднее Мейерберг, признавая природную даровитость царя^[36].

Старания Прокофьева не остались незамеченными. Переход от одной книги начального обучения к другой каждый раз поощрялся денежными и иными пожалованиями. Трудно сказать, в какой связи оказалась тяга Алексея Михайловича к чтению с «учительными приемами» дьяка. Но факт остается фактом: царевич не только скоро овладел чтением, но и пристрастился к нему. Очень рано у него стала формироваться своя библиотека, куда входили подаренные и купленные ему книги — Азбуки, Апостол, Октоих, Псалтырь, Тестамент (поучения византийского императора Василия сыну Льву), Космография,

Лексикон, Стихирарь, Триоди, Грамматика литовской печати^[37].

С семи лет с царевичем стал заниматься Григорий Васильевич Львов. Едва ли обучение письму отличалось от традиционного. Руку «ставили», упражняясь на прописях, с вариантами написания букв, слогов, слов. Затем последовали образцы скорописи, содержавшие нравоучительные изречения и советы. Позднейшие образцы почерка Алексея Михайловича могут привести исследователя в отчаяние: писал царь, что называется, как курица лапой, особенно если речь шла о пометках. Однако едва ли следует упрекать в этом учителя царевича. Небрежность и неразборчивость почерка в известной степени были статусным признаком. Чем выше стоял человек, тем чудовищней оказывалась его скоропись. В этом смысле Алексей Михайлович вполне «соответствовал» своему царскому сану. Однако при необходимости его рука могла выводить почти каллиграфические письма.

На восьмом году Алексей Михайлович стал осваивать Октоих, содержащий церковные песнопения. Около двух лет ушло на изучение ежедневных и праздничных служб, пока на десятом году не пришло время «Страшного пения» — служб Страстной седмицы. Царевич и здесь старался не на страх, а на совесть, и причина тому — не только искренняя религиозность, но и поэтичность его натуры: песнопения, помимо начал духовных, оказались созвучными с этическими потребностями будущего царя, его пониманием красоты. Позднее Алексей Михайлович станет даже писать распевы, дав исследователям повод причислить себя к мастерам церковных распевов^[38].

Общий надзор за обучением Алексея Михайловича осуществлял «дядька» Борис Иванович. Нам еще

придется обратиться к этой фигуре, сыгравшей огромную роль в жизни второго Романова. Здесь же отметим, что помимо контроля «дядька» должен был предуготовлять своего питомца к нелегкой науке царствовать. Трудно, однако, сказать, что было сделано в этом направлении. Панегиристы Морозова, каких было немало в первые годы правления Тишайшего, превозносили царского воспитателя. Он де царевича ради «пользы душевной» к «божественным книгам» и ко «всяким мудрым наукам» приучал, а главное, «ко управлению великого государства» подготовил — «яко губу напоял»^[39]. Но если что-то и было сделано Борисом Ивановичем, то едва ли это «напоение» можно назвать удачным. Вступив на престол, Алексей Михайлович еще долгое время будет пребывать в состоянии беспомощности и даже растерянности.

Обучение царевича окончилось на рубеже 30–40-х годов. Любопытно, что приезжавшие в Москву в конце 30-х годов польские послы должны были выяснить, «есть ли воля царская, что царевича дать учить польскому и латинскому языку»^[40]. Скорее всего, это была инициатива польской стороны, но, возможно, до нее дошли какие-то слухи о намерении царя раздвинуть для сына рамки традиционного образования. Во всяком случае, двадцать лет спустя сам Алексей Михайлович уже не побоится сделать это для своих детей.

В целом образование Алексея Михайловича носило традиционный характер. Главное, однако, что царевич по окончании обучения не утратил интереса к книге и стал в полном смысле слова «книжным человеком». Уже без всякого принуждения, по одной только охоте и внутренней потребности к самообразованию он много и постоянно читал, так что очень скоро стал вровень с немногочисленными московскими интеллектуалами.

Однако если сравнивать образование Алексея Михайловича с тем, что получали наследники престола в Западной Европе, то разница получается разительная. Так, например, в соседней Швеции одновременно с Алексеем Михайловичем воспитывалась королева Христина, возведенная на престол после гибели ее отца, знаменитого короля-воителя Густава Адольфа (Христина была на три года старше царевича Алексея). План ее обучения был самолично составлен отцом и предусматривал нравственное и интеллектуальное воспитание вровень со временем. Очень скоро королева овладела классическими и «живыми» языками, да так, что изустно переводила с греческого или латинского на французский, итальянский, не говоря уже о шведском языке. Ее собеседники — крупнейшие ученые, среди которых приглашенный в Стокгольм Декарт. Собрание ее книг включало библиотеки Гуго Гроция, кардинала Мазарини, Петотавия, Фосса. И все это было сделано ею до своего отречения от престола в 1654 году.

Мы привели этот пример вовсе не для того, чтобы оттенить «невежество» нашего героя. На самом деле это сравнение подчеркивает то огромное различие, которое существовало в культурном уровне и в принципах устройства и восприятия жизни в Московском государстве и на протестантском и католическом Западе. Различие по сути базисное, вовсе не требующее раздачи ярлыков по принципу «положительно» и «отрицательно». Монархи Московской Руси и Западной Европы были людьми разных ориентаций и ценностей. Если брать личностную парадигму, то, например, «просвещенная» Христина впоследствии совершила массу безнравственных поступков, заставивших краснеть за нее некогда так гордившихся ученостью своей королевы соотечественников. «Невежественный» же Алексей Михайлович, ставивший превыше всего нравственно-религиозные принципы, ничего подобного

себе не позволял. Люди разных цивилизаций (в рамкой одной христианской цивилизации) и разных цивилизационных уровней развития, они, строго говоря, были просто несравнимы.

Любопытно, что в Москве начали осознавать ценность обучения и были вовсе не против несколько расширенно толковать степень образованности Алексея Михайловича. Пример, на который мы сошлемся ниже, — из дипломатической практики, и в нем понятно стремление выдать идеал за действительное. Однако любопытен сам идеал — круг знаний, талантов и увлечений Тишайшего, который ему старательно приписали в посольском наказе. Дело происходило в 1653 году в Персии, на отпуске посольства окольникового Ивана Лобанова-Ростовского. С послом беседовал сам шах, поинтересовавшийся, есть ли у «брата его», московского государя, такое же виноградное вино, как у него. Полный достоинства посол ответил, что у царя «питей всяких много, и из винограда есть пития». Шах не унимался: «В Московском государстве такие цветы есть ли?» Послы и здесь не оплошали: у государя «цветы, этим подобные, есть, пианея кудрявая и других многих разноличных цветом много».

Шах все же не терял надежды обнаружить в Московском государстве что-то такое, чего у царя нет. Он поинтересовался, чем тешится Алексей Михайлович и какие игры у него есть. «У великого государя нашего, — важно ответили послы, — всяких игр и умеющих людей, кому в те игры играть, много; но царское величество теми играми не тешится, тешится духовными: органы поют при нем, воздая Богу хвалу многогласным пением, и сам он наукам премудрым философским многим и храброму учению навичен и к воинскому ратному рыцарскому строю хотение держит большое по своему государскому чину и достоянию; выезжая в поле, сам тешится и велит себя тешить

своим близким людям служилым строем: играют перед ним дробками, стреляют из луков и пищалей»^[41].

Так в ответе были выставлены две главные «научные добродетели» Тишайшего: знание премудрых философских наук и военного дела.

Жизнь царевича не сводилась к одному только обучению. Сколь ни был изолирован Алексей Михайлович от внешнего мира, его окружали не только воспитатели и учителя, но и ровесники. Набранные для услуг, игр и забав, они выросли вместе с царевичем, поневоле оказывая влияние на формирование личности Тишайшего. Само это влияние ускользает от историков. Можно лишь отметить, что из ближайшего окружения юного Алексея Михайловича никто не стал крупной государственной фигурой. Однако пребывая на ролях *ближних, комнатных* людей, запросто входящих в государевы покои, они со временем приобрели известный вес при дворе и достигли высоких чинов. Последнее свидетельствует о человеческих качествах Тишайшего, который не любил менять свои привязанности и привычки. Исключение — с точки зрения масштабов личности — составили лишь Ф. М. Ртищев и князь Ю. А. Долгорукий. Последний появился около Алексея Михайловича достаточно поздно, и едва ли его можно причислить к товарищам по детским играм. Зато Ртищев, по-видимому, стал общаться с Алексеем Михайловичем много раньше. К тому же они были ровесниками, что, конечно, немало способствовало их сближению.

Создавая «двор» царевича, Морозов предпочитал включать в него отроков из семейств не слишком знатных и от него зависимых. Для этого особенно подходили родственники и свойственники как царицы Евдокии Лукьяновны, так и самого Бориса Ивановича. В

итоге круг общения юного Алексея Михайловича — дворянские отпрыски из нехудших дворянских семейств, полутоварищи-полуслуги, призванные приучить царевича повелевать людьми.

Мир маленького Алексея — это не только мир книжного научения. Игрушки, игры и потехи — вот с чем столкнулся царевич еще до того, как его усадили за азбуку. В свое время И. Е. Забелин ввел в распоряжение исследователей не просто перечень игрушек царевича, а и время их появления, что в сумме с известиями о забавах Тишайшего позволяет проследить в самых общих чертах историю формирования его увлечений и пристрастий.

Одно из первых известий связано с появлением у царевича потешной лошадки. Она была принесена по приказу Михаила Федоровича в палаты царицы, когда мальчику не исполнилось и года. Сама игрушка была из разряда обязательных и отличалась от тех, что преподносили своим малолетним сыновьям все чадолюбивые родители, разве только богатством отделки. Саму же традицию дарить игрушечного коня исследователи связывают с древним дружинным обычаем сажать мальчика на живого коня. В таком случае появление игрушки было как бы предуготовление к будущему. Трудно сказать, насколько верна эта догадка. Во всяком случае, обряда посажения царевича на коня в XVII веке уже не было. А вот потребность в овладении искусством верховой езды имелаась. По отзывам современников, Алексей Михайлович был лихим наездником. И, вероятно, в этом немалая «заслуга» потешного коня «немецкого дела», некогда заказанного Михаилом Федоровичем для сына.

Любопытно, что в комнаты царевича попадали далеко не самые изысканные игрушки, купленные у иноземцев или заказанные в Кремлевских мастерских. Преобладали изделия «домашнего производства» из

Овощного, Пряничного или Потешных рядов. Немало игрушек покупали у случайных умельцев во время богомольных походов или поездок в подмосковные усадьбы. Нет сомнений, что это были достаточно незамысловатые, грубоватые поделки, которые можно было встретить даже в крестьянской избе. Подобная параллельность не просто значима, но и знакова. «Простонародность» многих игрушек царевича — свидетельство близости быта царского к быту народному. В свое время такие факты давали основания историкам XIX столетия говорить о патриархальном, народном характере допетровского единоподданства. Нам же хотелось бы напомнить о другом, более существенном для биографического исследования обстоятельстве: эта «общность» игр и игрушек — свидетельство культурной близости, пронизанности сословного общества некими едиными представлениями, понятиями, действиями, которые сплавлялись и проявлялись на ментальном уровне. Если говорить проще, то это означает примерно следующее: несмотря на всю замкнутость жизни юного царевича, он мог на равных сыграть с крестьянскими детьми в свайку, потому что делал это в Кремле неоднократно. Для XVIII столетия с его культурным разломом такая ситуация для наследника просто немыслима — иная культурная среда, иные, отличные от «подлого сословия», развлечения и игры.

Михаил Федорович был большим поклонником охоты и связанных с нею утех. Особенно любил он смотреть на борьбу человека с медведем. Дворцовые разряды заполнены сообщениями о щедрых царских пожалованиях псарям, стрельцам, просто молодцам, которые, решивши потешить государя, выходили на свирепого зверя. Медведи драли таких молодцов вместе с их кафтанами (царь жаловал новые кафтаны и давал деньги «на лечбу»), «изгрызали» руки и головы, но и

молодцы, к вящему удовольствию царя, не оставались в долгу, били и кололи зверя вилами, рогатинами^[42]. От полноты душевной Михаил Федорович решил приобщить к подобному зрелищу сына.

В конце 1631 года стрелец Андрей Прох тешил Алексея Михайловича в селе Тайнинском во время Троицкого похода^[43]. В чем, впрочем, заключалась сама потеха, не ясно. Скорее всего речь шла о борьбе с медведем. Тогда же придворный потешник Иван Лодыгин развлекал Михаила Федоровича и царевича соколами. Хорошо известно, каким заядлым поклонником «красной соколиной охоты» стал Алексей Михайлович. Отрывочные записи о наградах потешников и охотников — первые свидетельства зарождения этой неистребимой страсти. Забава сразу запала и пробудила интерес ко всяким птицам, включая и певчих, которых стали держать в клетках в покоях Алексея Михайловича.

Вскоре у царевича появляются свои собственные музыканты — накрачеи. Штат для развлечения трехлетнего мальчика смотрится довольно внушительно — кафтаны шьют для 18 человек. Тогда же проявились музыкальные «пристрастия» Алексея Михайловича. В октябре 1633 года токарь точит для царевича дубовые палочки к барабану.

Комнаты царевича очень скоро оказались заполнены самым разнообразным оружием. Царевич еще оставался на царицыной половине дворца, а уже явно пристрастился к оружию и военным играм. В том же октябре 1633 года для него, к примеру, шьют бархатные «пулешные мешочки» к карабину и «двойному пистолету».

Зимой 1633/34 года царевичу покупают санки и салазки. Кажется, слетает он с горок не в одиночестве: приобретено сразу трое санок и двое салазков. В

дальнейшем подобные покупки случались неоднократно. В девять лет зимние забавы Алексея Михайловича дополнились катанием на коньках. Весной и летом наступало время для качелей и мячиков. Все говорит о том, что царевич Алексей рос резвым и здоровым ребенком, охочим до всякого рода игр на воздухе.

Весной 1634 года Алексея Михайловича усадили за книгу. Обучение, кажется, не ограничилось упомянутыми выше Азбукой, Псалтырью и другими церковными книгами. В июне в Овощном ряду были приобретены немецкие печатные листы. Неизвестно, что было изображено на них. Тем не менее символично само их появление во дворце. Но не все листы предназначались для царевича. Часть В. И. Стрешнев отнес царевнам. В январе следующего года были вновь приобретены 32 листа «писанных немецких и русских». Покупали и карты. Но не игральные — географические.

Этим не исчерпывается список «наглядных пособий». Так, прапорщик Вествол изготовил из воска и раскрасил «виноградные цветы» и лимоны. Помимо «учебно-дидактических» задач эти поделки пошли скорее всего на украшение «потешной вербы» — ведь сделаны были восковые «овощи» в канун Вербного воскресенья.

В январе 1635 года для царевича была куплена плеть — пятилетний мальчик изображал из себя лихого наездника. Впрочем, прежний конь явно стал ему мал, и на следующий месяц для Алексея Михайловича и его товарищей было приобретено целых четыре деревянных скакуна.

Забавы и игры быстро усложняются. Январем 1636 года датируется первое упоминание о шахматах. Весной следующего года из Колпачного ряда для Алексея Михайловича приносят колпак. Но не для того, чтобы покрыть голову. Царевич решил подражать отцу

— большому любителю стрельбы по колпакам и шапкам. Мало какой царский поход обходился без этого развлечения. Придворные, желая угодить царю, охотно подставляли свои головные уборы под стрелы и пули. Нередко к концу забавы колпаки более походили на решето, но зато «пострадавший» не оставался внакладе: Михаил Федорович обыкновенно жаловал его прибором на новый, еще более роскошный головной убор.

Принесенный Алексею Михайловичу мужицкий колпак должен был стать мишенью для стрельбы из лука. Заметим, что лучная потеха стала одним из самых любимых занятий Алексея Михайловича и его младшего брата Ивана. В документах дворца сохранилось упоминание о стрельнике Проньке Донкове, которому приходилось не покладая рук делать стрелы для воинственных царевичей.

Вообще ратные игры и «потешное» оружие, приучавшие к воинскому чину, все настойчивее проникали в повседневную жизнь наследника. Оружие попадало в палаты в результате частых и щедрых подношений. Здесь оно оседало в личной казне царевича. Разумеется, далеко не со всякой саблей, ружьем или луком царевич Алексей мог справиться. Но немало было оружия вполне для него подходящего, «потешного», отличного от настоящего лишь весом и размерами. Оно, по-видимому, надолго покидало казну и застревало в руках царевича. Документы упоминают о пистолетиках, ножичках, сабельках, топориках, с которыми играл второй Романов.

С годами расширялся штат потешников царевича. Известны даже имена некоторых из них. Макар и Иван Андреев числились «метальниками» — акробатами и жонглерами. В штат входили также дураки и карлы (часто упоминался какой-то Ивашка Псковитин). По записям не всегда удается понять, чем, собственно,

«тешил» себя Алексей Михайлович. Зачем, к примеру, ему понадобились сукна, полотно, мотки ниток и т. д.? Но определенно можно сказать, что потехи становились разнообразнее и случались столь часто, что «дядька» Борис Иванович едва успевает отдавать нужные распоряжения.

Иные потехи были достаточно своеобразны. Так, в Потешной палате царевича хранилось немецкое платье. «Совершенно неизвестно, каким путем зашло это немецкое платье в комнаты государя, к его детям, и кто подал первую мысль об этом костюме», — замечает по этому поводу И. Е. Забелин^[44]. Ответ не найден до настоящего времени. Тем не менее иноземное платье — шубы гусарские, юпы, пукши, жупаны, шляпы, куртки, штаны и т. д. — появилось в окружении Алексея Михайловича и даже на самом царевиче.

В ряде исследований это немецкое платье преподносится чуть ли не как причина рождения интереса царевича к западноевропейской культуре. Едва ли такое предположение отвечает действительности. Напомним, что немецкое платье хранилось отдельно от всего гардероба царевича, в Потешной палате, как веселая забава и объект насмешек. Именно в таком качестве его использовали в Потешной палате самого Михаила Федоровича, которая, по заключению И. Е. Забелина, «мало по малу совсем онемечивается»^[45]. Но в таком случае корректно ли протаптывать дорожку от потешного «немецкого платья» к устойчивому интересу к западной культуре? С равным основанием можно говорить о стремлении воспитать царевича ярким приверженцем собственной старины, высмеять все то, что имело отношение к чужому, иноверческому.

С момента рождения при втором Романове стала создаваться казна, положенная ему по самой

принадлежности к правящей династии. Она как бы закрепляла статус Алексея Михайловича, приучала его воспринимать себя царевичем. Формировалась казна из подарков и поминков-почестей. Преподносили их не только родные и члены государева двора. Каждое иноземное посольство привозило богатые дары старшему царевичу. Не оставались в стороне торговые люди. Трудно перечислить все то, что стекалось в его казну. Однако из этого вовсе не следует, что попадало сюда все без разбору. Во всем была мера, к которой бессознательно приучали Алексея Михайловича. Эта была *мера чести* царевича и мера, положенная дарителю. Потому дар одного могли просто отвергнуть, а другому указать на неуместность скромного подношения.

На четырнадцатом году жизни Алексея предъявили народу. Этот акт *объявления царевича* был чрезвычайно важным как для самого Алексея Михайловича, так и для всего государства.

Церемония объявления существовала еще в Византии. Там она обрела свой особый подтекст, связанный с особенностями наследия и существованием института соправительства. Этот обряд призван был обеспечить преемственность власти и политическую стабильность. Однако на практике это не всегда удавалось. Немало соправителей, так и не взойдя на престол, оказывались поверженными более удачливыми и энергичными соперниками. И все же соправительство повышало права на престол, что и побуждало императоров короновать при жизни своих преемников^[46].

Обряд объявления царевича в Московском государстве и по форме, и по существу сильно отличался от византийского. Речь вовсе не шла о том, что царь, потеснившись, высвобождал место

преемнику. Не было ничего похожего и на обряд коронации. Объявление царевича означало, что наследник престола, до того тщательно оберегаемый от чужих взоров и злых умыслов, представал перед придворными и народом как человек, достигший совершеннолетия и получивший право публичного участия в церемониях и государственных делах.

Впрочем, в контексте XVII столетия на церемонию возлагалась еще одна, едва ли не самая важная функция: то была гарантия от самозванства в любых его проявлениях. Ведь весь опыт гражданских потрясений, приобретенный с начала века, свидетельствовал, сколь опасно с точки зрения распространения всевозможных самозванческих толков продолжительное «утаивание» наследника. В накаленной послесмутной обстановке толпа легко реагировала на всякий мало-мальски правдоподобный самозванческий слух, пресечь который можно было, явив «миру» живого, осязаемого наследника.

Позднее сам Алексей Михайлович более других уловил смысл объявления царевича, превратив его в подлинный обряд. Тишайшему пришлось объявлять наследников дважды: сначала царевича Алексея Алексеевича, а после его смерти — Федора Алексеевича. При этом царевичей «предъявляли» не только подданным, но и иноземцам. В последнем случае Алексей Алексеевич даже произнес перед польскими послами приветственную речь по-латыни и по-польски.

Появление самого Алексея Михайловича рядом с отцом было обставлено много скромнее. И все же это был важный момент в жизни второго Романова. Он приучался к царству и приучал будущих подданных, «государевых холопов» и «сирот», к себе.

Едва ли детская память Алексея Михайловича сохранила хоть какие-то воспоминания о своем деде,

святейшем патриархе, великом государе Филарете Никитиче. Он ушел из жизни в 1633 году, когда царевичу шел пятый год. Еще раньше сошла в могилу бывшая супруга Филарета, великая старица Марфа Ивановна. Она, правда, успела помянуть своих внучек и даже брала в Воскресенскую обитель, где для нее были выстроены кельи, царевну Ирину. Возможно, позднее старшая сестра что-то и рассказывала державному брату о деде и бабке. Впрочем, не приходится сомневаться, что в правление Тишайшего напомнить о великом государе, грозном патриархе Филарете, находилось немало охотников. И в первую очередь сказанное относится к патриарху Никону. Выстраивая свои отношения с царем, он «эксплуатировал» образ Филарета, психологически тем более убедительный, что для второго Романова отношения «отец — дед», «царь — патриарх» сливались воедино и эмоционально окрашивались в самые привлекательные цвета. Никогда не отличавшийся особой крепостью духа, Алексей Михайлович подсознательно искал, к кому можно было бы прислониться, кому передать часть непосильной государственной ноши, но так, чтобы это было сделано как положено, законно. Соправительство патриарха Филарета, второго «великого государя», было тем прецедентом, который рассеивал на этот счет сомнения. По крайней мере до поры до времени. Так что эти воспоминания поначалу вдохновили Тишайшего на возвышение Никона и на его активное участие в государственных делах.

Но в 1633 году для отца Алексея Михайловича царя Михаила Федоровича кончина Филарета оказалась в известном смысле освобождением: покойный патриарх был слишком властен и норовист, отчего его опека с годами становилась обременительной для великовозрастного сына. Михаил Федорович возродил

единовластие и повел себя по отношению к последующим патриархам подчеркнуто независимо. Вызывавшее немалое смущение среди подданных титулование «великий государь» уже более никогда и никому не жаловалось первым Романовым.

Зато возросло значение Боярской думы, призванной помогать государю в управлении страной. При этом в самой думе и при дворе возникли несколько борющихся за влияние на государя группировок, замешанных на родственных связях и общих интересах.

Естественно, на расстановку сил очень влияли личные симпатии царя. Постепенно со сцены сходили прежние герои Смуты, соратники покойного патриарха. Все менее заметен князь Дмитрий Пожарский, которого, кажется, уже начала тяготить нескончаемая царская служба. Падает роль князя Бориса Михайловича Лыкова, человека равно заслуженного, гордого и вздорного. Вернувшиеся из ссылки гонители несчастной Хлоповой Салтыковы, родственники покойной великой старицы Марфы, уже не получают того веса, который имели прежде, до своей опалы. Не особенно сильны, впрочем, и родственники царицы, Стрешневы.

Во главе правительства встал боярин князь Иван Борисович Черкасский. Его позиции кажутся незыблемыми и прочными — князь был сыном родной тетки Михаила Федоровича, Марфы Никитичны, жены Бориса Камбулатовича Черкасского. Среди царских родственников никто не пользовался таким доверием Михаила Федоровича. Царь благоволил к двоюродному брату на протяжении всего своего царствования. Черкасский первым из стольников был возведен в боярское звание, а в 1624 году, на свадьбе Михаила Федоровича, занял первенствующее место тысяцкого.

Важно и то, что И. Б. Черкасскому доверял патриарх Филарет. Это означало известную преемственность правительственного курса, в чем, конечно, был

заинтересован Михаил Федорович. И верно, И. Б. Черкасскому удалось отвести обвинения, связанные с оглушительным проигрышем и тяготами Смоленской войны, от имени главного ее инициатора Филарета. А ведь Филарет — это не только патриарх, а сама *династия*. Правда, для этого пришлось многим пожертвовать, в том числе и головой преданного первого воеводы М. Б. Шеина. Но надо же было кому-то отвечать за свои собственные, а главное, за чужие ошибки?

Двенадцать лет правления царя Михаила после Филарета не были отмечены сколько-нибудь крупными достижениями. Но зато не было и провалов, подобных русско-польской войне. За эти годы удалось сделать то, что действительно нужно было стране: началось возведение новых городов и строительство оборонительных черт, призванных обезопасить южные уезды от татарских набегов. Последующие события показали, насколько своевременными и жизненно важными оказались эти шаги.

Людам, далеким от истории, мало что говорит название «засечная черта». Между тем в отечественной истории ее роль можно сравнить с ролью Великой Китайской стены, о которую разбивались приливные волны набегов кочевников. Перерезая шляхи, засеки должны были первыми принять удары злой степной силы, и если не отразить, то по крайней мере ослабить их и дать возможность населению спрятаться за стенами городов, а свежим дворянским сотням — выдвинуться из глубины и опрокинуться на неприятеля.

Вместе с тем засечная черта с ее многокилометровыми укреплениями, городами, жилыми и «стоялыми» острожками, с единственными в своем роде проездными воротами, орудия которых смотрели вперед, в степь, и назад, на случай появления возвращавшихся после прорыва неприятелей — все это

вместе взятое представляло собой гигантское для своего времени инженерное сооружение, требовавшее огромных материальных и трудовых затрат, терпения и самоотверженности населения. К этому надо добавить, что засечные черты могли появиться только в стране с сильной самодержавной властью, способной мобилизовать, организовать и заставить всех возводить и защищать эти укрепления. Примечательно, что Речь Посполитая, не менее страдавшая от разорительных набегов крымцев, никогда не прибегала к столь масштабным оборонительным мерам. И дело здесь не в одном скепсисе — адекватны ли такие огромные усилия и затраты получаемым результатам? Засеки были попросту недоступны для польских государей, вечно страдавших от безденежья, своеволия и сословного эгоизма магнатов и шляхты, всегда готовых наложить «вето» на подозрительную королевскую «затейку».

Большая или Старая засечная черта, о которой уже упоминалось выше, имела своим центром Тулу. Не случайно здесь располагались главные силы прикрытия. Из Тулы легче всего было поспеть к любому пункту засечной черты, подвергшейся нападению татар. От Тулы на запад, восток и юг расходились линии укреплений. Особенно сильными были они по Крапивенским и Соловским засекам. Здесь, из-за отсутствия естественных укреплений, пришлось копать рвы и возводить вал верст в пятнадцать, который получил название «Завитай». Перед рвом в несколько рядов были пущены надолбы, а на валу поставлены острожки и башни. Строили «Завитай» голландские инженеры. Само же дело находилось под крепким присмотром И. Б. Черкасского.

В Москве хорошо осознавали, что восстановлением обороны Старой засечной черты уже нельзя ограничиться. Тучные земли Дикого поля не оставляли равнодушными ни само правительство, ни

землевладельца, ни крестьянина. Опасность была велика, но и велик был соблазн осесть, освоить и получить землю во владение. Потому с завершением Тульской черты правительство приступило к строительству засек на новых направлениях. Строились эти засеки с городками и острожками просто удивительными по скорости темпами. Строительные планы простирались в глубь Дикого поля, где раньше, как далеко выдвинутые вперед пешки, стояли лишь одинокие русские городки. Решено было поставить между ними новые опорные пункты, связанные непрерывной системой укреплений.

Так возникли города: Обоянь между Белгородом и Курском на Муравском шляхе, Чернавск на Быстрой Сосне, Козлов на лесном Воронеже, Тамбов на Цне, два Ломова — Старый и Новый, Усерд на Тихой Сосне, Хотмышск на Ворскле, возобновлен Орел и расширены прежние города.

Это не было хаотичное строительство: на самом деле все было в достаточной мере продумано: тучную степную землю «нарезали», как хорошо пропеченный каравай — ломоть за ломтем, последовательно сдвигая к югу пограничные рубежи государства.

В 1642 году скончался И. Б. Черкасский. Смерть ключевой фигуры на русской политической сцене не вызвала потрясений. Преемником стал боярин Ф. И. Шереметев, женатый на дочери Черкасского. Уже при жизни Черкасского он занимал видные позиции, и смена первых лиц обошлась без резких перемен в политическом курсе. Федор Иванович по-прежнему уделял много внимания засечным чертам, потребность в которых стала особенно ощутимой после событий под Азовом. В 1637 году донские казаки лихим налетом заняли крепость и, отразив посланные на штурм турецкие полчища, били челом Михаилу Федоровичу о взятии города в подданство. Соблазн был немалый —

тот, кто владел Азовом, контролировал нижнее течение Дона. Но присоединение Азова означало войну с Турцией. Собранные на Земский собор представители дворянства и посадских людей, на словах высказываясь за войну, дали понять, что они тяготы и нужды нести не желают. Правительство Шереметева сигнал услышало и к мнению выборных прислушалось. К тому же среди прочих факторов к отказу от Азова подталкивала и незавершенность работ на Белгородской черте.

Донское посольство получило отрицательный ответ. В 1642 году казаки оставили Азов. Войны удалось избежать, однако отношения с турецким султаном и крымским ханом настолько испортились, что приходилось ежегодно ждать «большой татарской войны».

Утверждавшиеся с началом века на московском престоле государи пытались упрочить свои позиции династическими браками. При этом искали они невест, а для царевен женихов за пределами отечества, среди членов королевских домов. Тем самым они стремились еще более вознестись над окружающими их родами, некогда стоявшими вровень или даже выше их, а теперь обратившимися в «государевых холопов». Кроме того, такие браки должны были разорвать своеобразную династическую изоляцию, в которой оказались новоявленные правители. И в данном случае не важно, что вероисповедальный вопрос или неблагоприятное стечение обстоятельств стали непреодолимыми препятствиями в осуществлении этих планов. Показательно само стремление поймать в династические паруса попутный ветер, который бы помог укрепиться и обрести союзников в Европе.

Первым в этой роли в XVII столетии выступил Борис Годунов, подыскивавший в женихи для дочери Ксении какого-нибудь владетельного европейского принца. Для этого в Москву звали изгнанного из Швеции

королевича Густава. Но тот возымел к московским порядкам такое отвращение, а к своей протестантской вере такое рвение, что из сватовства ничего не вышло. Тогда в 1602 году из Дании привезли младшего брата короля Христиана принца Иоанна. Но оказалось, что некоторым принцам противопоказано не одно датское королевство, а и Московское царство. В Москве Иоанн неожиданно заболел и умер чуть ли не на руках скорбящего Бориса.

Спустя сорок лет на Данию обратил свой взор уже царь Михаил Федорович. Старшей его дочери Ирине исполнилось 13 лет, и пришло время приискивать жениха. За своего «холопа» отдавать царевну было зазорно, равных же православных государей, за отсутствием самостоятельных православных царств, не было вовсе. Из этого заколдованного круга Михаил Федорович попытался вырваться, взявши за образец гоудоновскую задумку. Выбор пал на третьего сына датского короля Христиана IV Вальдемара, племянника умершего в Москве герцога Иоанна.

Положение Вальдемара было двусмысленное. Рожденный в мorganическом браке, он был, что называется, белой вороной. Отец возвел его в графское достоинство, пожаловав во владение Шлезвиг и Голштинию, однако это не избавляло его от косых взглядов двух старших братьев, появившихся на свет в первом, освященном церковью браке. Предложение из далекой Московии открывало хотя и не совсем ясные, но неожиданные перспективы. Просвещенный принц «жертвовал» собой, приобретая для Дании нового союзника. И если структура зыбкого восточноевропейского равновесия с этим браком и не менялась кардинально, то позиции Копенгагена и Москвы должны были усилиться — особенно по отношению к Швеции, сопернику для обеих стран традиционному и опасному.

Первая попытка прощупать намерения сторон, однако, едва не окончилась неудачей. Посланное весной 1642 года в Данию посольство окольникового С. Проестева и дьяка И. Патрикеева, грубейшим образом нарушив статьи наказа, повело переговоры к срыву. Датчанам они отвечали «самыми короткими словами, что к делу непристало», о лютеранстве принца бухнули прямо — непременно переkreщиваться, тогда как надо было «говорить гладко и пословно, а не отказывать». В итоге послы вернулись, «не соверша дела»^[47].

В русской дипломатической практике разговор «мимо наказа» — нонсенс. Для этого нужны были или невероятно веские причины, или немыслимая «простота ума». Последнее иногда случалось, но не одновременно с послом и с дьяком. И если окольниковый Семен Проестевичем особенно не выделялся, то дьяк Иван Патрикеев за свои деловые качества пользовался полным царским доверием. С 1641 года он сидел дьяком в Новой Четверти и, по слухам, должен был перейти вскоре во Дворец^[48].

Ключ к столь странному поведению послов следует искать не в Копенгагене, а в Москве. Сватовство к иноземному принцу было слишком крупным событием, чтобы придворные группировки остались безучастными. Правда, трудно согласиться со встречающейся иногда трактовкой всего дела, как с попыткой посадить Вальдемара на российский престол мимо живого наследника, царевича Алексея Михайловича. Нужно же это было якобы для того, чтобы ограничить самодержавие на условиях клятвоцеловальных записей, периодически появлявшихся еще в годы Смуты. Взгляд на Вальдемара, как на соперника Алексея Михайловича, причем соперника, которого старательно и слепо взращивал в обход прав сына сам Михаил Федорович, кажется нам малоубедительным.

Позднее Вальдемар будто бы сообщал, что в брачном деле столкнулся с таким могущественным противодействием боярина А. М. Львова, что, предугадай он такое, — не приехал бы в Москву. Более того, при европейских дворах ходили упорные слухи, «что тому браку никак не бывать, хотя он (Вальдемар. — *И.А.*) себя и перекрестить велит, но в большом страху... его со всем у себя имеющим в Сибирь в опалу не сослали». Все эти далеко не ясные, отрывочные свидетельства позволяют говорить об острейшей борьбе, которая развернулась в Кремле по поводу сватовства королевича. Кажется, женитьба Вальдемара, столь милая сердцу первого Романова, в представлении Ф. И. Шереметева и его сторонников должна была стать средством укрепления их позиции, чему, естественно, противились недруги Федора Ивановича. Для того ими было выбрано мощное средство — вероисповедальный вопрос.

Патриарх Иосиф и высшее духовенство настаивали на переходе принца в православие. При этом они, по видимому, опасались возможности религиозного компромисса со стороны Михаила Федоровича, крайне заинтересованного в браке. Пример уже был: царь Борис, хоть и не без колебаний, дал согласие на брак православной Ксении с лютеранином Иоанном. Решение Бориса казалось современникам необъяснимым: родственник царя Семен Годунов говорил, что государь «верно обезумел, что выдает свою дочь за латина и оказывает такую честь тому, что недостойн быть в святой земле — так они (русские) называют свою землю»^[49]. И это слова человека, к царю, безусловно, расположенного, прозванного за наушничество его «правым ухом»! Какова же должна была быть реакция противников?!

Со времен Годунова мало что переменилось. Поступок Михаила Федоровича в глазах большинства оставался столь же безумным, как и поступок Бориса. Потому вовсе не случайным кажется усилившаяся именно в это время антипротестантская пропаганда, пиком которой стало разрушение лютеранских кирх в Москве.

Соответственно было настроено и посольство в Данию. Известно, что его провожали из Москвы будущие противники Вальдемара, в том числе боярин князь А. М. Львов, который стоял во главе Большого дворца, куда, как уже отмечалось, якобы должен был перейти Патрикеев. Какие наставления получили послы в момент расставания — тайна. Но можно предположить, что повели они дело к срыву не сами по себе, а в надежде на крепкую поруку в Москве. Словом, это был заговор, ибо трудно поверить, чтобы послы решились говорить «самыми короткими словами» исключительно по скудоумию^[50].

Однако Михаил Федорович не пожелал смириться с неудачей. В Данию был отправлен Петр Марселиус, который повел переговоры совсем иначе. Он напирал на взаимные выгоды от сближения сторон и совсем не настаивал на смене веры принцем. Датчане, не особенно доверяя русской стороне, потребовали гарантий свободы вероисповедания и предоставления Вальдемару особого статуса. В Москве он должен был быть третьей, следом за царем и царевичем, персоной. Марселиус отделался общими обещаниями, так что датская сторона восприняла их как готовность Михаила Федоровича принять условия. Последние должны были быть окончательно утверждены с приездом в Москву датского посольства и королевича, который официально был объявлен женихом русской царевны.

Остается только догадываться, какие чувства испытывал — и испытывал ли вообще — молодой граф к царевне. Сватовство было устроено по-московски, без «парсуны». Но зато царские посланники еще в Дании добросовестно изложили жениху все положительные качества Ирины Михайловны. Они поведали Вальдемару, что царевна — девица умная и скромная, «во всю жизнь свою ни разу не была пьяна».

Датское посольство добиралось до русских рубежей через Речь Посполитую. Король Владислав, в надежде, что русско-датское сближение обернется против Швеции, принимал принца с большой торжественностью, отчего дело сразу приобретало международный подтекст.

Но еще большие торжества начались со вступлением принца на Московскую землю. Специально к его приезду на месте бывшего двора Бориса Годунова выстроили новые трехъярусные деревянные хоромы. «Волдемар Христианусович» — так, согласно русской традиции, именовался высокий гость — поселился в них в январе 1644 года. 25 января к нему пришел сам Михаил Федорович, что, конечно, изначально свидетельствовало об особом положении принца. Царь обнял королевича и объявил, что тот ему столь же дорог, как и родной сын, царевич Алексей. Через несколько дней у королевича появился и Алексей Михайлович. Беседа продолжалась около двух часов, но о чем говорили царевич и королевич — неизвестно. Встреча не носила характера официального — не случайно царевич пришел внутренними переходами. И. Е. Забелин предполагает, что именно тогда Вальдемар преподнес царевичу богатейшую алмазную запону, которую мастера Золотой палаты оценили в 6722 рубля. Алексею Михайловичу подарок понравился чрезвычайно, и впоследствии запона кочевала с одной царской шапки на другую.

Но буквально сразу возникли препятствия для заключения брака. Среди торжеств Вальдемару вдруг объявили, что от него ждут перехода в православную веру. Напрасно королевич ссылаясь на договоренность с Марселиусом, где ему было обещано сохранение вероисповедания — царь и его окружение настаивали на своем. Тогда 26 февраля 1644 года королевич запросил отпуск. Ему объявили, что ехать назад «нечестно», а без перекрещивания брак невозможен. Поступать так русскую сторону побуждало не только одно упрямство, а и ход очередной шведско-датской войны: шведы брали верх, и в Москве на свой лад рассудили, что принц и его отец должны быть более покладистыми. Тем более что сами датские послы в спор о крещении почти не вмешивались и более хлопотали о помощи и военном союзе.

В Москве даже пошли на организацию настоящего диспута о вере, который, по мнению устроителей, должен был отвратить принца от богопротивного лютеранства и обратить к православию. Стороны обменивались пространными посланиями и четырежды сходились в остром споре. Но напрасно ярились московские богословы, ссылавшиеся на авторитет самого патриарха. Вальдемар оставался непоколебим.

Нет оснований сомневаться в искренности Вальдемара, отвергавшего православие. Он не лукавил и не искал выгоды — просто верил. К тому же он был возмущен обманом: в Дании русская сторона говорила одно, в Москве — иное. Причем убеждение здесь дополнилось чуть ли не принуждением: вокруг дворца усилены были стрелецкие караулы, а самим датчанам из свиты Вальдемара было запрещено общаться со своими земляками и единоверцами, проживавшими в Москве. Как тут было не вспомнить о привычных обвинениях москвитов в природном коварстве и невежестве!

У Вальдемара кровь была горячая. Он не собирался ждать защиты из далекого Копенгагена и решил добыть свободу немедленно, самым простым и доступным средством — бегством. В ночь на 9 мая Вальдемар с несколькими десятками спутников отправился в путь. Затея была, конечно, изначально сумасбродная, равно свидетельствующая об отчаянии, смелости и мальчишестве графа. Беглецы добрались лишь до Тверских ворот Белого города, где их остановил стрелецкий караул. Завязалась свалка, принцу пришлось отступить, оставив в руках стрельцов одного «пленного». Однако когда стрельцы отправились с захваченным «немцем» в Кремль, Вальдемар по всем правилам военной науки устроил засаду и напал на них. На этот раз кровь полилась обильно — датчане лихо кололи шпагами, шесть человек ранили, одного проткнули насмерть. Принц взял на себя вину за убийство, быть может, выгораживая кого-то или желая окончательно вывести из себя «гостеприимных тюремщиков» — вдруг да и выпроводят?!

Михаил Федорович был очень опечален происшедшим. Но печаль преодолел и с новой энергией принялся за сватовство.

Ближайшее окружение царя, не отказавшись от мысли уговорить королевича принять православие, одновременно искало другие способы развязать проклятый «узел». Князь С. И. Шаховской предложил вести Вальдемара под венец без перекрещивания, ибо сказано ведь в Послании апостола Павла к коринфянам, что «святитца муж неверен от жены верны». Богословские изыски князя-письменника стоили ему дорого: взявшие верх противники Вальдемара отправили Шаховского на далекое воеводство. Когда же спустя несколько лет по своем возвращении он имел неосторожность заявить, что писал то, «исполняя повеленье блаженные памяти государя царя и великого

князя Михаила Федоровича», то едва не поплатился «за клевету» головой. Надо было быть очень неосмотрительным, чтобы в 1647 году бросить тень на благочестие почившего государя. Между тем совершенно ясно, что Семен Шаховской действовал в 1644 году если и не по прямому повелению царя, то с его молчаливого согласия, предугадывая потаенное желание государя. Но предлагал он вещи слишком смелые, или, точнее, слишком сомнительные — «королевичу быть в Московском государстве некрещену», — чтобы можно было прибегнуть к ним^[51].

После неудачной попытки побега для датчан были введены новые ограничения и строгости. Однако из этого вовсе не следует, что режим пребывания принца приравнен был к острожному. Вальдемар забавлялся охотой. Другим развлечением стало наблюдение за церемониями встречи послов. В начале сентября в Москве объявился турецкий посол, и сам Алексей Михайлович отправился к Вальдемару звать смотреть встречу. 10 сентября принц был приглашен к царскому столу, а на следующий день его вновь навестил Алексей Михайлович, и «время у них прошло в любви и дружеском расположении». Памятуя о любознательности Алексея Михайловича, можно предположить, что общался он с королевичем охотно. Здесь ему было все внове. По сути встречи с Вальдемаром помогли юному Алексею Михайловичу если не осознать (едва ли он об этом задумывался), то увидеть на бытовом уровне разность двух миров — своего, русского, и «немецкого», европейского. Проявлялась она не только во внешнем различии — то уже было для царевича делом привычным, а во множестве иных мелочей, в обхождении, в манере вести себя.

Неизвестно, уговаривал ли Алексей Михайлович принца перейти в православие. С годами Тишайший приобрел прямо-таки болезненную страсть к поучениям и наставлениям, так что он вполне мог на свой страх и риск «дебютировать» на этом поприще во время общения с Вальдемаром. При таком повороте неудача ему, конечно, не в укор — поражение потерпели уговорщики и посолднее, чем пятнадцатилетний поборник православия. Не должны были пройти мимо юноши и споры о вере, сильно будоражившие все московское общество. Тогда много говорили об учености греческого и киевского духовенства, привлеченного для одоления сторонников «богопротивного Лютера». Так Алексей Михайлович усваивал мысль если не о первенстве греческих и киевских учителей-дидаскалов, то по крайней мере об их неременном участии при устройении русского религиозного просвещения.

17 сентября царя и царевича принимал у себя на дворе Вальдемар. По русскому обычаю придворные потребовали, чтобы Хозяева были без оружия. Королевич и здесь возразил, что у них, напротив, оружие к чести и к обороне государя. Михаил Федорович не стал настаивать (!) и пришел к вооруженным датчанам. Все эти уступки, на первый взгляд мелкие и несущественные, на самом деле были вопиющим нарушением общепринятых обычаев. И уж если они нарушались с ведома и попустительства самого царя, то для этого необходимы были очень веские мотивы.

Они скоро были «обнародованы»: своей ласкательностью и вниманием царь все еще надеялся сломить упрямство Вальдемара. Иностранец, оставивший описание приема царя и царевича, сообщает, что во время обеда дядька царевича Б. И. Морозов, «перемигнувшись» с Михаилом

Федоровичем, громогласно порадовался любви между государем и графом и добавил, что она стала бы еще большей, соединись принц с царем в вероисповедании. Вальдемар тотчас парировал: он готов платить царю за его любовь даже кровью, но не верой.

Ответ этот не устроил Морозова, и он вновь принялся уговаривать принца. Настырность Бориса Ивановича вывела из себя даже царя, который велел боярину отойти. Тот спяну заупрямился, и тогда якобы Алексей Михайлович, схватив боярина за грудки, вытолкнул его вон. Этот эпизод стоит запомнить: при том огромном влиянии Бориса Ивановича на Алексея Михайловича, о котором пойдет речь дальше, последний в минуту раздражения готов был на поступки вполне «царские» — встряхнуть и выгнать, что, конечно, для людей типа Морозова было побудительным мотивом постоянно заботиться о прочности своего влияния. А вдруг когда-нибудь Тишайший в самом деле встряхнет и выгонит безвозвратно?

Общение принца и Алексея Михайловича продолжалось и в последующие месяцы. В конце декабря 1644 года они вместе наблюдали за приемом персидского посла, затем обедали у царевича. Во время обеда в палату вошел Михаил Федорович — обласкал гостя и вновь стал уговаривать принять православие. Последовали очередной отказ и новое неудовольствие государя.

Видя, что смелость и упрямство пока не дают результата, Вальдемар решил прибегнуть к хитрости. В конце июня 1645 года пронесся слух, что принц заболел сердечною болезнью — тоскою, отчего не ест и может разделить судьбу своего дяди Иоанна, жениха Ксении Годуновой. Михаил Федорович переполошился. Однако русские сторожа быстро развеяли опасения: «хворый» граф не выдержал свою роль и к вечеру весело пировал

в кругу своих придворных, обильно поглощая под звуки цимбал присланные царем романею и рейнское.

Дело затягивалось и запутывалось. Приходилось считаться с неудовольствием датчан и их короля. Правда, высказывая беспокойство о судьбе сына, Христиан IV не менее Михаила Федоровича был заинтересован в благополучном исходе сватовства. Начавшаяся война со Швецией складывалась на редкость неудачно. Подписанный чуть позднее, в 1645 году, мир в Брёмзебро лишил Данию не только островов Эзель и Готланд, но и права сбора со шведов Зундской пошлины. Понятно, что мрачная перспектива утраты «святых ключей» от входа в Датский рай — Балтийское море — побуждала к активному поиску союзников. Так что упрямство Вальдемара, при всем протестантском патриотизме, вызывало в Копенгагене вздохи сожаления, достаточно сильные, чтобы их услышал сын короля.

Между тем в Москве особенно ретивые царские «доброхоты» попытались прибегнуть к последнему радикальному средству. Они обратились к помощи «ведунов», которые должны были разом «приворожить» принца к православию и царевне^[52]. Но и колдуны не помогли. Вальдемар по-прежнему «костенел» в своей вере. Сам патриарх открыто выказывал недовольство. Однако мягкий и покладистый Михаил Федорович продолжал надеяться на лучшее. 4 июля 1645 года был устроен новый диспут. На этот раз его местом стали государевы палаты, что свидетельствовало о серьезности намерений. Но сцена была скомкана с самого начала: не пришел заболевший Михаил Федорович, которому жить оставалось всего девять дней. Узнав о болезни царя, на диспуте не появился и Вальдемар. Еще раньше он жаловался царю, что про аргументы его стороны «вашему царскому величеству

не все подлинно объявлено». Ситуация повторялась — так стоило ли попусту тратить полемический запал?

Дело вновь зависло в неловкой паузе, из которой, кажется, не было выхода. Но 13 июля последовала неожиданная развязка. Умер царь Михаил Федорович, один из немногих, кто мечтал довести сватовство до логического конца — свадебного стола [\[53\]](#).

Венчание на царство

Царь Михаил Федорович не отличался отменным здоровьем. Он часто жаловался на «телесную скорбь» и особенно на боль в ногах, отчего во время поездок царя «в возок и из возка в кресле» носили. Позднее «скорбели ножками» и телесной слабостью сыновья царя Алексея от Марии Милославской, унаследовавшие эти недуги, по-видимому, от царственного деда. К концу жизни Михаил Федорович стал нередко пропускать торжественные церемонии, и в дворцовых записях все чаще появлялись фразы типа: «А государь за кресты не ходил и стола у государя не было». Даже в шествии на осляти в Вербное воскресенье Михаил Федорович уступал свое место сыну^[54]. Это многолетнее колебание в состоянии здоровья между «плохо», «не очень плохо» и «терпимо» стало настолько привычным, что смерть царя поразила всех своей неожиданностью.

По убеждению современников, неудачное сватовство Вальдемара сильно подкосило царя. Весной 1645 года он в очередной раз слег. 23 апреля доктора смотрели «воды» — то есть мочу, «...а по воде знать, что желудок и печень и селезенка природные теплоты для слизи, которая в них копится, безсильны. И от того понемногу кровь воденеет и холод бывает; да от того же цынга и иные мокроты рождаются». Было назначено лечение — пить разогретое рейнское вино с травами, «чтоб слизь... вывести». Доктора также прописали эликсир и для потения — порошок «с инрогом».

Месяц спустя доктора вновь изучали «воду», признав, что внутренние органы по-прежнему «бессильны», «печень и селезенка заперты» «от многово сиденья... от холодных питей и от меланхолии,

сиречь кручина». Прогноз был сделан неутешительный: ноги будут пухнуть и дальше, а «ветер и колотье возле ребр» не пройдут. Внесли перемены в лекарства, отчего Михаилу Федоровичу стало легче. Правда, он начал жаловаться на шум в ушах и головные боли. 5 июля (напомним, что накануне должен был пройти религиозный диспут в присутствии царя) дали состав от «главокружения». По-видимому, лекарство понизило давление, и Михаил Федорович вновь почувствовал облегчение^[55]. Но это, кажется, и сыграло роковую роль. 12 июля, в день своих именин, все еще очень слабый царь решил отстоять службу в Благовещенском соборе, в приделе Михаила Малеина — своего небесного покровителя. Здесь с ним случился удар. Михаил Федорович потерял сознание и «едва жив» был отнесен во дворец. К вечеру стало совсем плохо, и царь позвал жену и сына. Далее последовали прощание, благословление Алексея на царство, соборование и тихая кончина в начале третьего часа ночи.

Вышедшая из кругов, близких к Морозову, «Повесть о кончине Михаила Федоровича» сообщает, что перед смертью царь призвал к себе боярина-дядьку и велел ему держать о сыне такое же радетельное попечение, какое было им показано доселе. Особое доверие Михаила Федоровича — прозаический вымысел: во время кончины государя Борис Иванович вовсе не имел того влияния, какое ему приписывается. Не говоря уже о желании царя наделить его властью. Такой ход — не новость в литературе. Одна из повестей о кончине царя Федора Ивановича, написанная в интересах Романовых, так же передавала волей умирающего скипетр и державу царства Федору Никитичу Романову. На этот раз «уровень» был несколько скромнее: автор лишь обосновывал права «дядьки-регента», в чем нетрудно расслышать отзвуки той острой борьбы за власть,

которая развернулась над телом еще не остывшего царя Михаила.

Эту борьбу можно увидеть в двух вариантах крестоцеловальных записей, появившихся сразу же после смерти государя. Первая предлагала целовать крест на имя царицы Евдокии Лукьяновны и ее сына Алексея Михайловича. Вторая, которая и стала записью официальной и по которой присягали русские люди, имя царицы переносила на второе место, следом за именем Алексея Михайловича^[56]. С известной осторожностью можно предположить, что первый вариант записи связан со сторонниками Шереметева, которые хорошо понимали, у кого окажется власть с приходом к власти сына Михаила Федоровича. Имя царицы создавало своеобразную видимость регентства-опеки, которую можно было использовать против Морозова. Но первый вариант клятвоцелования так и остался черновиком. 13-14 июля в столице и провинции стали приносить присягу Алексею Михайловичу.

Все делалось с большой поспешностью, словно главные действующие лица не были уверены в успехе. Собственно, так оно и было. Ситуация неопределенного, неустоявшегося, неясного порядка престолонаследия вызывала настоящее брожение в умах. В свете этого вовсе не случайным кажется вопрос одного тюремного сидельца, прозвучавший еще в 1634 году: «Только де государя у нас не будет, кто де у нас государь будет?»^[57] Это было сказано тогда, когда у Михаила Федоровича уже имелось два сына! Разумеется, в подобных толках многое было произнесено «от простоты». И все же эти сомнения очень ярко характеризуют обстановку в стране: ничего толком до конца не ясно, ничего твердо в головах не устоялось^[58].

Доходило до смешного. В конце 1645 года, уже после венчания Алексея Михайловича на царство,

стольник Ф. И. Годунов был отправлен в ссылку на Соловки. Неожиданно опальный стольник возвращается в столицу и объявляет за собой государево дело. Наряжен розыск, на котором Годунов поведал, что его пристав, Трубник Руженинов, в яме близ Москвы пообещал за три рубля поведать ему важную тайну. Стольник выложил требуемую сумму, и тогда пристав сообщил нечто ужасное: велено «выкинуть его, Федора, из лодыи в море». Понятно, что во время розыска Руженинов все отрицал — Годунов на него «клепает»^[59]. Между тем ситуация очень показательная. Годунова, судя по всему, убирают из Москвы от греха подальше, за фамилию. Пристав, спеша воспользоваться моментом — почему бы на этом не подзаработать? — принимается пугать колодника. Годунов, памятуя о нравах, на всякий случай... пугается и бежит, подыскав подходящий предлог — «государево дело».

В такой обстановке каждый возможный претендент вызывал опасения, а каждая охранительная мера воспринималась как остро необходимая. В крестоцеловальной записи обязывали подданных не искать «иново государя» — литовских и немецких королей и королевичей, подразумевая, по-видимому, именно королевича Вальдемара. Кое-кто так и истолковал ситуацию. В 1646 году шацкий мурза Федот Бердишев сетовал, что напрасно посадили на государство Алексея Михайловича, надо было «посадить де... королевича датского»^[60].

Не забыты были и прежние опыты с избранием государей на Земских соборах. В декабре 1645 года стрельцы приволокли из Стрелецкого приказа в Столовую избу, где сидела комиссия оставленных на Москве бояр, холопа Ивашку Ушакова. Тот, будто бы повторяя слова своего владельца, Михаила Пушкина,

сетовал, что царевич «учинился не по их выбору» царем. Приведенный к допросу Пушкин объявил, что подобных слов никогда не произносил. Ушаков подтвердил его показания: проспавшись, он признался, что говорил то «собою, пьяным обычаем»^[61]. В данном случае не столь уж и важно, кому изначально принадлежали «воровские речи»: Пушкину ли, тем самым подтверждая слова А. С. Пушкина об исконной мятежности его рода, или хмельному Ивашке. Показательно опять же другое — состояние, возможно, иногда и замутненного вином, общественного сознания, которое видело в земском избрании источник законных прав на престол.

О Земском соборе вспоминал в своем знаменитом сочинении и Григорий Котошихин. Причем в отличие от Ушакова, лишь посетовавшего на отсутствие соборного избрания, беглый подьячий говорил о соборе как о факте свершившемся. Он писал, что «патриарх, и митрополиты, и архиепископы, и епископы, и архимандриты, и игумены, и весь духовный чин соборовали, и бояре, и окольные, и думные чины, и дворяне, и дети боярские, и гости, и торговые, и всяких чинов люди, и чернь после смерти прежнего царя на царство обрали сына его, нынешняго царя... А было тех дворян, и детей боярских, и посадских, для того обрания, человека по два из города»^[62].

Сообщение Котошихина кажется трудноразрешимой загадкой. С одной стороны, в других источниках нет никаких указаний о созыве Земского собора. С другой — хорошо известно, насколько был точен подьячий в своем сочинении. Но, может быть, это противоречие мнимое? Ведь с точки зрения тогдашнего правосознания, Земский собор вовсе не обязательно должен был походять на «правильный» Земский собор, признаки которого безуспешно ищут исследователи

применительно к событиям 1645 года. В острых ситуациях правительство собирало представителей московского и провинциального дворянства, оказавшихся в столице, прибавляло к ним московских посадских людей и «выпекало» Соборный приговор, законность которого никто не оспаривал. Заметим, однако, что в данном случае нет и самого приговора.

Существовал и другой вариант: когда все было слажено, победившая сторона не упускала случая подкрепить свои позиции и права земским признанием. При этом авторов мало беспокоило отсутствие самого Земского собора. Избрание оформлялось как волеизлияние всех чинов и всей «земли». Так представил свою власть Василий Шуйский. Так объявили о восшествии на престол мимо старшего брата Ивана царевича Петра. Возможно, в сообщении Котошихина отразились толки о восшествии второго Романова на престол по воле всех «чинов», а значит, по воле собора. Подьячий именно так и написал, добавив для убедительности нормы представительства, существовавшие на последних Земских соборах.

Но какими бы неясными ни оставались отдельные обстоятельства восшествия Алексея Михайловича на престол, дело в конечном итоге решала расстановка сил при дворе. А она была в пользу царевича Алексея. Его поддерживал патриарх. На царевича ориентировались большинство членов государева двора. Наконец, в сознании людей с именем Романовых прочно связывались представления о «тишине и покое», стабильности и богоугодной старине: при «благоуветливом» юноше-царе Михаиле Федоровиче началось одоление Смуты, при его юноше-сыне все должно было закончиться, для чего тому и надлежало наследовать царство.

В этом смысле очень показателен ответ крестьянина Стеньки Коновалова помещику Федоту Бердишеву,

который, как мы помним, собрался «сажать на царство» королевича Вальдемара: «У тебя де дети есть, и только де после тебя детям твоим поместья твоего не дадут, и им каково будет?»^[63] В своей простоте приведенный аргумент имел силу сокрушительную: если уж не Бердишев, закосневший в своем неразумном упрямстве, то по крайней мере все помещики только и мечтали о превращении своих поместий в вотчины, чтобы не было для их обездоленных детей горького вопроса: «и им каково будет?». Прямое наследование казалось естественным и разумным. Будь то небольшое поместьешко, должное стать в мечтах служилых людей «отчиной», или огромное царство, переданное своей волей царем Михаилом сыну Алексею. «А отходя сего света... Михаил Федорович благословил тебя, великого государя, быть на своем царском престоле», — объявлено было в указе о восшествии на престол второго Романова^[64].

Присяга в столице прошла благополучно. Первым, по объявлении смерти царя, целовал крест двоюродному племяннику Н. И. Романов. Затем стали присягать думные и высшие придворные чины, члены государева двора. Правда, в эти дни во дворце не было видно патриарха Иосифа. Но это не проявление протеста, а следствие недомогания, из-за которого патриарх не мог присутствовать даже на праздничных службах.

Важной была реакция поместной армии, собранной летом по крымским вестям в южных городах для обороны границ. В Тулу, где располагались главные силы под началом воеводы Я. К. Черкасского, был отправлен князь Алексей Никитич Трубецкой.

Смута развела сыновей родовитого боярина, князя Никиты Романовича Трубецкого. Старший Юрий в 1611 году уехал с семьей в Польшу. Младший, Алексей

Никитич, по смерти своего дяди, боярина Дмитрия Тимофеевича, остался на время единственным представителем древнего рода в Московском государстве. Однако князь не сошелся с всесильным Филаретом Никитичем, и Трубецкого-стольника сильно теснили. Лучшим средством здесь было удалить неугодного подальше с глаз: вроде есть человек, вроде и нет... В 1628 году князя отправили воеводой в столицу Сибири Тобольск. То было по форме назначение высокое, но по существу — полуссылка. Это тем более ясно, что почти сразу по возвращении Трубецкому пришлось отправиться на воеводство в Астрахань.

С появлением в столице в 1635 году князь долгое время не занимал никаких должностей. Ситуация, правда, несколько переменилась с начала сороковых годов, когда Трубецкой стал выдвигаться на военном поприще. В 1640 и 1642 годах он стоял в Туле большим воеводой, оберегая южные уезды от прихода крымцев. Мелькает Трубецкой и в ближайшем царском окружении. В 1645 году Трубецкому было далеко за сорок. По тем временам возраст почтенный. Между тем он до сих пор не был пожалован боярским чином, соответствовавшим высоте его «отеческой чести».

Ситуация изменилась с воцарением Алексея Михайловича. Князь выдвигается на первые роли, и доказательству тому — поручение привести к присяге стоявшие в Туле дворянские сотни. Имя Трубецкого, не связанного с прежними, стоявшими у власти лицами, должно было стать для дворян своеобразным символом грядущих перемен и щедрых царских милостыней. Кроме того — а может быть, прежде всего — всесильный Б. И. Морозов не сомневается в лояльности князя.

Присяга в Туле и других городах также прошла благополучно. Из Ливен сообщали, что, узнав о смерти царя Михаила, все люди плакали, «а как прослышали,

что Бог дал на Владимирское и Московское государство... государя Алексея Михайловича, и они все обрадовались».

В Мценск 20 июля прискакал стольник князь И. Лыков. Здесь выяснилось, что накануне воевода В. Шереметев уже привел к кресту служилых людей. Лыков всполошился — было неведомо, «по каковой грамоте целовали крест»? Шереметев, однако, оправдался, доказав, что приводил к присяге правильно^[65].

Следом за присягой, по истечении сорока дней, должно было последовать венчание Алексея Михайловича на царство. Но 8 августа на молодого царя обрушился новый удар: немногим пережив своего супруга, скончалась «благоверная царица Евдокия Лукьяновна». Покуда Алексей Михайлович оплакивал смерть матери, Борис Иванович Морозов воспользовался моментом, чтобы окончательно освободиться от ненужного ему королевича Вальдемара. Покойная царица будто бы тому препятствовала: она не хотела отпускать принца и так же, как и Михаил Федорович, была чрезвычайно расстроена его упрямством. «Повесть о внезапной кончине... государя Михаила Федоровича» даже связала кручину и смерть царицы с очередным отказом королевича поменять веру^[66]. Воистину, автор повести превращал несчастного королевича в эдакого посланца смерти, нещадно истребляющего старших Романовых.

Позиция царицы была чрезвычайно важна для Ф. И. Шереметева и его сторонников в их противостоянии с Морозовым и дворецким Львовым. Опираясь на волю царицы, они уже в день смерти Михаила Федоровича объявили принцу: «...Что ни делай графская милость, а они его никуда не отпустят»^[67].

Однако со смертью царицы исчезли последние препятствия в разрешении затянувшегося дела. Заканчивали его с необычайной прытью. Едва похоронили царицу, как состоялась прощальная аудиенция Вальдемара, и 17 августа он наконец-то получил возможность покинуть опостылевшую Москву. Принц полетел домой, что называется, на крыльях, должно быть из опасения, что в Кремле возьмут и передумают.

Внешне стороны расстались вполне дружелюбно. Но вскоре в Москве заговорили о намерении принца поквитаться за нанесенные обиды. По весне ждали даже прихода датских кораблей на Север. Но тревога оказалась ложной, будто бы спровоцированной польскими лазутчиками. Прошло еще несколько лет, и о Вальдемаре заговорили как о принце-генерале, которого император якобы направил на помощь польскому королю, изнемогавшему в борьбе с Богданом Хмельницким. Слухи и на этот раз оказались пустыми. Зато вскоре Вальдемар сам дал о себе знать. В декабре 1654 года он отправил грамоту Алексею Михайловичу, где вежливо называл себя «подданственным слугой» и желал московскому царю «долгое владение и телесное здравие и... одоление всех своих врагов»^[68]. Последнее — реакция на начавшуюся русско-польскую войну. Больше того, тогда же стало известно, что Вальдемар участвует в войне против Речи Посполитой на стороне шведского короля Карла X. То было начало знаменитого Потопа, своеобразного польского «издания» Смуты. Потоп, впрочем, уносил не одних поляков, а и чужеземных завоевателей. Среди погибших в 1655 году значилось и имя Вальдемара. Известие о его смерти достигло Москвы и, конечно, царевны Ирины Михайловны. Нам никогда не узнать, какие чувства всколыхнула в ней эта новость. Давно уже не невеста, а

просто «государыня моя матушка и сестрица» — так называл любимую сестру в письмах Алексей Михайлович — она единственная из сестер Тишайшего пережила это странное и необыкновенное для царевен состояние: надежду обрести семью, стать женою и матерью, хозяйкою дома. Надежда оказалась несбыточной, но ведь должен же был остаться ее привкус, воспоминание, связанное с именем сраженного Вальдемара.

В России символика и образность ритуалов и церемоний всегда имели огромное значение. В них власть не просто выражала себя. Она в них воплощалась. Это превращало ритуал и церемонию в настоящий «театр», призванный вылепить образ власти и воплотить его в монархе. Особое место здесь занимали чины венчания. В них находили свое выражение основополагающие политические идеи об основах власти и миссии самодержца. Венчание торжественно утверждало державные, суверенные основы верховной власти. Венчание, наделяя монарха особой, сверхъестественной силой, способствовало созданию некой магии власти, призванной внушить подданным представление о ее неодолимом сакральном могуществе и всепроникновении.

Венчание Алексея Михайловича состоялось 28 сентября 1645 года. Чин венчания был составлен по образцу отцовского. Однако время и здесь наложило свой отпечаток. Примечательно, что уже после церемонии дьяки продолжали работать над описанием венчания, внося необходимые, с точки зрения окружения Алексея Михайловича, дополнения. Так что само венчание и те сценарии «чина», которые дошли до нас, совпадают не во всем. Но для средневекового сознания важна была не правда, а правдоподобие, не то, как было, а то, как должно быть.

Накануне в соборе было воздвигнуто «чертожное место» — возвышение из 12 ступеней. Утром постельничий Аничков со стряпчими водрузил на него «персицкий» трон. Рядом было поставлено сиденье для патриарха. Замечательно, что во время следующего венчания царя Федора «место» для патриарха уже не ставили: после столкновения Никона с Алексеем Михайловичем светская власть по возможности избегала всякого символического «уравнения» с властью духовной.

На трех аналоях были подготовлены места под царские регалии и животворящий крест. Они были принесены с Казенного двора боярином В. И. Стрешневым, казначеем Дубровским и царским духовником Стефаном. Последний нес крест, Мономахов венец, диадему и цепь, «поставя на главу на золотом блюде». То было самое высшее возложение, применяемое в церкви для особо почитаемых святых. «Царскую утварь», в которую входили также еще скипетр и держава, разложили на аналоях. О предуготовлении к венчанию было сообщено царю.

Пока царь шел в собор, казначей с двумя дьяками «берегли путь» — по обычаю, перенятому из брачного обряда, никто не мог пересечь путь царю — тогда не будет удачи и счастья царствию и царству!

Торжественная церемония предусматривала обмен речами патриарха и государя. Подготовленная приказными царская речь особенно много внимания уделяла законности наследственных прав Алексея Михайловича. Понятно, что во время подобных церемоний каждое слово и жест обретали особый смысл, отчего любое отступление, каждая новация должны были быть вызваны действительно вескими причинами. Потому назойливо повторяемый мотив преемственности — косвенное свидетельство того, что

новый государь и его окружение были крайне озабочены обоснованием прав на престол.

Во время венчания Алексея Михайловича впервые прозвучала особая молитва патриарха о воцарении русского царя над всей Вселенной. По наблюдению современного историка А. П. Богданова, она была заимствована в переработанном виде из молитвы Бориса Годунова, произнесенной им при заздравной чаше^[69]. Молитва, несомненно, — свидетельство растущих амбиций Романовых, стремление опереться на ту мессианскую роль, которую средневековое сознание на Руси традиционно отводило монарху.

Патриарх возложил на Алексея Михайловича царский венец и бармы, вручил скипетр, державу и произнес учительное слово. Затем Алексей Михайлович был возведен на царское место, что «на десной стороне». Началась литургия, включавшая в себя чин помазания и причащение. Византийское чинопоследование требовало при этом вхождения императора через Святые ворота в алтарь. В 1676 году этот порядок ввели при венчании царя Федора Алексеевича. Алексей Михайлович, подобно всем своим предшественникам, остался перед Святыми воротами. Вообще, чины венчания Федора Алексеевича были самыми полными с точки зрения приближения к византийским образцам. Но зато во время помазания патриарх не окроплял Федора миром «на браде и под брадою», как это было в 1613 и 1645 годах. То было прямое следствие Смуты, превратившей бороду в символ истинного благочестия, в антитезу всему католическому и протестантскому^[70].

В венчании принимали участие почти все главные действующие лица первых лет царствования Алексея Михайловича. Мономахов венец держал дед царя, боярин Стрешнев; царский венец во время обряда

помазания находился у боярина Ф. И. Шереметева. Этот, впрочем, скоро сойдет со сцены. На заглавные роли станут претендовать другие и, в частности, осыпавший царя по выходе из церкви золотыми его дядя, последний представитель нецарствующей ветви Романовых, Никита Иванович. Пожалованный Алексеем Михайловичем в бояре, Н. И. Романов станет связывать с новым царствованием большие надежды.

В церемонии участвовал «дядька» царя, боярин Б. И. Морозов. Среди первых лиц он пока еще далеко не первый. Но, в отличие от Никиты Ивановича, который только надеялся на лучшее, Борис Иванович действовал. Залог его удачи — безграничное доверие Алексея Михайловича. Царь даже не прислушивался к Борису Ивановичу — он просто дышал им и во всем слушался его.

Несколько дней в Грановитой палате продолжались празднования по случаю венчания молодого царя. Объявлено было о царских милостынях и пожалованиях. Высший думный чин получили представители старой аристократии, князя Я. К. Черкасский, М. М. Темкин-Ростовский, Ф. Ф. Куракин. Еще ранее, как отмечалось, были пожалованы в бояре Н. И. Романов и князь А. Н. Трубецкой.

Торжества завершались объездами царя «по обещанию» особо чтимых монастырей. Сначала Алексей Михайлович отправился в Саввино-Сторожевский монастырь, затем в Можайск, к чудотворцу Николе, и в Боровск — в Пафнутьев монастырь^[71].

Зная натуру второго Романова, можно утверждать, что венчание сильно повлияло на Алексея Михайловича. Нет, не в смысле его прямых признаний — таковые не дошли до нас, да и едва ли вообще существовали. И не в плане его мгновенного перерождения. К происходящему он готовился с самого детства, как

наследник, которому предназначено принять скипетр из рук отца. Но та мистическая предрасположенность, которая всегда отличала Алексея Михайловича, его серьезность в восприятии всего, что было связано с верой, — все это говорит в пользу того, что происходящее в Успенском соборе было принято, впитано и пропущено им через ум и сердце. Для него все этапы венчания, включавшие таинство исповедания, присяги, помазания святым миром, причащения по Священническому чину, молитвы за царя, были наделены важным смыслом и означали вступление в особый царский чин, обязывающий и к служению особому. Плохо ли, хорошо ли, но к этому его готовили с самого детства, наставляли и настраивали. Он вполне усвоил мысль, что царское служение дарует не привилегии и радость власти, а «многи скорби праведных». Ведь весь богословский смысл земного православного царства — это образ и путь к Царству Небесному, и ему, новопоставленному по благоволению Божьему на государство, следовало по тогдашним представлениям весь этот путь пройти, опекая и заботясь о подданных.

Психологически Алексей Михайлович был готов принять эту ответственность. Но он понимал и свою неподготовленность, боялся своей слабости. Это его страшило и побуждало с особым старанием внимать поучительным словам патриарха, которые не менялись с самого первого венчания Ивана Грозного: «Имей страх Божий в сердце и храни веру христианскую греческого закона чисту и непоколебиму, соблюди царство свое чисто и непорочно... Бояр же своих и вельмож жалуй и береги по их отечеству... К всему христоролюбивому воинству буди приступен и милостив... Всех же православных крестьян блюди и жалуй и попечение имей о них ото всего сердца...»

Тема «сердца» зацепит Алексея Михайловича и затем неоднократно будет звучать во время его царствования в его собственных речах и особенно писаниях. Слова Евангелия: «Сердце цареве в руке Божией. Бог же есть любовь» — для него всегда будут больше, чем просто наставление.

К концу 1645-го — началу 1646 года в верхах произошли заметные перемены. По замечанию австрийского посла Августина Мейерберга, живо интересовавшегося историей придворной борьбы при Алексее Михайловиче, Борис Иванович сразу же принялся теснить соперников: «Однако ж хитрый наставник Морозов, державший по своему произволу скипетр, чрезвычайно еще тяжелый для руки юноши, по обыкновенной предосторожности любимцев отправил всех бояр, особенно сильных во дворце расположением покойного царя, в почетную ссылку на выгодные воеводства»^[72].

Первым потерял значение Ф. И. Шереметев. Большая часть подведомственных ему приказов отошла к Морозову. В конце концов в руках Бориса Ивановича оказались приказы, обладание которыми свидетельствовало об особой близости к государю. Это были Аптекарский и Стрелецкий приказы. Первый давал право беспрепятственного доступа к царю, поскольку его глава отвечал за царское здоровье. На второй возлагались задачи охраны особы государя и обеспечение порядка в столице. Приказы Большой казны и Новой Четверти поставили Морозова во главе финансовой системы страны. В 1646 году Борис Иванович возглавил также важный в военном отношении Иноземский приказ. Впрочем, число приказов совсем не отражало объема реальной власти, оказавшейся у Морозова. Она была куда весомее и

значительнее. Настолько весомее, что впору говорить об эпохе Морозова, а не Алексея Михайловича.

Смена «караула» только внешне происходила безболезненно и спокойно. Напряженность в верхах, и немалая, сохранялась. Недовольных хватало. В оппозицию к Морозову встали некоторые родственники царя, не без основания посчитавшие боярина виновником их прозябания на вторых ролях. Оттесненная старая аристократия, сторонники Ф. И. Шереметева, также были разочарованы и затаились в ожидании подходящего момента для реванша.

Обострение борьбы в верхах привело к тому, что новое правительство оказалось во многом зависимо от настроений поместной армии. Это обстоятельство не ускользнуло от провинциального люда. Уездные корпоративно-служилые объединения дворян и детей боярских, так называемые «города», поспешили воспользоваться борьбой в верхах для реализации собственных интересов. В октябре 1645 года, с роспуском дворян из «береговых» пограничных полков (поздней осенью уже не приходилось опасаться прихода крымских татар), Москву «осадили» дворянские челобитчики. От каждого служилого «города» в столицу было отпущено по два человека, отчего они и назывались «двойниками». Возможно, что по прошествии многих лет именно их Г. Котошихин принял за выборных, присланных на «избирательный» Земский собор.

Челобитная от 44 служилых «городов» была подана с «большим невежеством». В своем обращении служилый люд поднял темы, давно уже знакомые по прежнему царствованию. Дворяне и дети боярские жаловались на насилия «сильных людей», безнаказанно преступавших все законы, на свое бедственное материальное положение, из-за которого государевой

службе «чинится большая поруха», на крестьянские побеги и режим урочных лет, ущемлявший их владельческие права. Рецепт оздоровления был универсален: немедленно отменить урочные лета, которые вели к разорению уездного дворянства.

На прежние подобные требования правительство Михаила Федоровича с завидным упорством отвечало лишь удлинением урочных лет. С конца 30-х по 1645 год их продолжительность выросла вдвое — с 5 до 10 лет. Но за внешней уступчивостью первого Романова скрывалась, по сути дела, лишь видимость: судебная практика к этому времени позволяла возобновлять отсчет урочных лет каждый раз заново с момента подачи новой челобитной. Иначе говоря — растягивать сыскную давность до бесконечности. Но не об этом грезили помещики. Раз за разом они поднимали вопрос о полном прикреплении земледельца, лишении его всякой надежды сменить одного помещика на другого.

Борис Иванович не посмел открыто игнорировать требования служилых «городов». К тому же к этому времени стал ясен тупиковый характер привычного «арифметического» разрешения проблемы. Простое удлинение урочных лет как средство успокоения разбушевавшегося провинциального дворянства уже не могло дать новым правителям стабильность. Глава правительства решился на отмену урочных лет. Однако Морозов не был бы Морозовым, если бы не нашел возможность повернуть все дело так, чтобы убытки «сильных людей» оказались минимальны. Для него это был вопрос вполне актуальный: ведь он сам беззастенчиво переманивал у окрестных мелких землевладельцев их крестьян. Октябрьский указ 1645 года объявил об отмене урочных лет, но лишь после составления новых крепостей — переписных книг. Практически это означало, что с появлением книг большинство помещиков-истцов утрачивали

собственнические права на беглых. Понятно, что такой поворот устраивал только тех помещиков и вотчинников, которые до этого всеми правдами и неправдами таили их у себя. Присутствовал в подобном решении и «государственный интерес»: правительство надеялось разрубить гордиев узел урочных лет, не обременяя себя разбирательством бесчисленных судебных тяжб. Однако очень скоро Морозову пришлось убедиться, что он не разрубил, а, напротив, еще сильнее затянул крепостнический «узел».

...Пройдет немного времени, и в Москву зачастят «великие» и простые иноземные посольства, участники которых оставят многословные описания Алексея Михайловича. Но в год восшествия второго Романова на престол никто из иноземцев не успел составить портрет нового московского правителя. «Пробел» — правда, на свой, очень своеобразный манер — восполнили приказные Посольского приказа. В 1645–1646 годах в разные страны были направлены гонцы с известием о воцарении Алексея Михайловича. Не обойден был даже «индийский шах». С последним дипломатические пересылки были так редки, что в Посольском приказе испытали немалые трудности при составлении наказа. Как водится, в наказе пытались предусмотреть ответы на все возможные и невозможные вопросы «индийского шаха». Но вопросы о новом московском государе нетрудно было предугадать, потому гонцы были здесь во всеоружии. Про Алексея Михайловича им велено было говорить, что государю всего семнадцать лет, «только Бог его, великого государя нашего, его царское величество, одаровал и украсил образом, и дородством, и храбростью, и разумом, и счастьем, и ко всем людям милостью и благодарием, и всеми благими делами наипаче всех людей».

Все старания, однако, пропали втуне: московские гонцы дальше Персии не добрались, так что в далекой Индии остались в горестном неведении о восшествии на российский престол государя, столь богато одаренного разнообразными «талантами». Зато собственная страна открывала перед вторым Романовым широкие возможности подтвердить — или опровергнуть — утверждения о его необыкновенных дарованиях и добродетелях.

Часть вторая
Бунташные времена

Первые годы

Перемены при дворе существенно укрепили позиции Бориса Ивановича Морозова. Однако умный и практичный боярин сознавал всю шаткость завоеванных позиций и потому пребывал в неустанных трудах и хлопотах. Подобно правителю Борису Годунову, он заботится о том, чтобы во всех приказах сидели люди, обязанные ему. Он привечал тех, кто по каким-то причинам оказался оттесненным в тень при прежнем государе, как это было с князем А. Н. Трубецким. Такие обиженные — лучшая пожива, хотя и здесь следовало держать ухо востро: человеком такой крови руководило не одно чувство благодарности, а представления о высоте «отеческой чести».

Много повидавший и испытавший, Морозов дорожил старыми связями. Он ужился с дворецким, боярином князем А. М. Львовым, человеком упрямым и властным, которому было чрезвычайно трудно угодить. Тому ничего не стоило обойтись крутенько с людьми «сильными», не говоря уже о малозначительных просителях. Так, в тяжбе Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря с соседним Корнилевским монастырем Львов принял сторону первого. Когда же в приказ пришел с челобитной келарь Корнилевского монастыря Киприян Дедешин, боярин «ево вракам не поверил, ту ево челобитную изодрал, а ево велел из приказу выбить взашей»^[73].

Но что старец Киприян! От норова строптивного дворецкого немало претерпел сам Алексей Михайлович, который совершенно по-детски радовался, когда в 1652 году Львов по дряхлости отошел от дел. Зато Морозов ухитрился жить с боярином душа в душу. При этом во взаимоотношениях между ними произошла смена мест,

и Львов, некогда игравший первую скрипку, принужден был довольствоваться второй ролью. Тем не менее эта перемена не отразилась на приятелях, и оба держались вместе.

На место старой политической элиты Борис Иванович насаждал людей новых, нередко из родов второстепенных, подобранных по одному принципу — лишь бы были свои. Не чурался боярин опираться и на приказных. В 1647 году был пожалован в думные дьяки и назначен ведать Посольским приказом и Новгородской четью Назарий Чистой, взятый когда-то в приказные из ярославских торговых людей. Ловкий делец пришелся как нельзя ко двору и зарекомендовал себя старательным и умелым исполнителем замыслов правителя.

Не спускал Морозов глаз со своих соперников, в первую очередь с родственников царя — Романовых и Стрешневых.

Родной брат царицы, Семен Лукьянович Стрешнев, пользовался полным доверием Михаила Федоровича. Правда, его карьеру при первом Романове нельзя назвать блистательной. Михаил Федорович чтит традицию и продвигал худародных родственников супруги так, чтобы не задеть аристократию. Семен Лукьянович неспешно подымался по чиновной лестнице. Но уже в деле с королевичем Вальдемаром он выполнял весьма доверительные поручения и даже, кажется, попытался самостоятельно посодействовать успешному разрешению брачной «затейки». Брат царицы якобы задумал устроить тайную встречу королевича с невестой при условии, что Вальдемар перейдет в православие. В итоге Семен Лукьянович со своими медвежьими услугами настолько надоел датчанам, что те стали избегать его.

Воцарение племянника позволило Семену Лукьяновичу сделать важный шаг в карьере. Произошло

это, правда, не сразу — сначала Стрешнева отсылают воеводой на юг, под татарские сабли. Морозов, по-видимому, присматривался к нему: как далеко заходят его амбиции, насколько он готов к «сотрудничеству»? Наконец в 1646 году царский дядя был возвращен и получил высокую должность кравчего. Так продолжалось до 1647 года, когда Семен Лукьянович неожиданно угодил в опалу. Сама опала была поставлена в связь все с тем же злосчастным делом королевича Вальдемара: Стрешнева обвинили в том, что он намеревался прибегнуть к помощи некоего «чародея» Симона Данилова и его жены, чтобы «приворожить» принца к царевне Ирине.

Сохранился приговор думы, в котором легко уловить аристократическое высокомерие людей «породных», с трудом мирившихся с выскочками типа Семена Лукьяновича. В приговоре объявлено, что был Стрешнев в великой милости, пожалован «кравчим с путем... чего был... недостоин», «почасту доступал к государю» и при этом общался с колдунами. «А ты, Семен, — грозно продолжали авторы документа, — и сам при государе и при боярех такое слово говаривал: кто с ведунами знается, и тот де достоин смерти, и то ты, Семен, говаривал воровски, лестно». Итог — по боярскому приговору сказана была ему ссылка в Сибирь, замененная царем воеводством в Вологде^[74].

Надо признать, что обстоятельства опалы далеко не во всем ясны. Обращает на себя внимание тот факт, что по времени она совпала с первой, неудачной женитьбой Алексея Михайловича на Всеволожской. Возможно, Стрешнев примкнул к тем, кто активно поддержал выбор Алексея Михайловича, чем и вызвал неудовольствие Морозова, ярого противника брака с Всеволожской. Непослушание «неблагодарного» кравчего тут же вышло ему боком, тем более что

сделать это было вовсе не трудно: общение с «чародеями» всегда вызывало подозрение, а уж если оно касалось царского семейства, то любое, даже самое благое намерение — приворожить! — было предосудительно и наказуемо. Урок Стрешнев крепко усвоил, и когда четыре года спустя Алексей Михайлович вернул его в Москву, он уже никогда не пытался интриговать против Морозова. Впрочем, к этому времени ситуация изменилась — повзрослевший Алексей Михайлович предпринимал первые, еще достаточно робкие, попытки править без поводыря.

Куда опаснее был для Бориса Ивановича двоюродный дядя царя, Никита Иванович Романов, последний представитель нецарствующей ветви Романовых. По положению, связям в высшей среде, наконец, по своим личным данным он стоял несравнимо выше ограниченного и не особенно смышленного Семена Лукьяновича.

Никита Иванович выделялся в среде московской знати. Он был человеком самостоятельным и амбициозным, способным не оглядываться на общественное мнение. Секретарь Голштинского посольства Адам Олеарий, оставивший чрезвычайно интересное описание Московии XVII века, рассказывал о пристрастии Никиты Ивановича ко всему иноземному: боярин был большим поклонником «немецкой музыки», охотно общался с «немцами» и даже сам хаживал в иноземном платье. Больше того, он обрядил в нерусское платье дворню, чем вызвал бурное негодование самого патриарха, которое гордый боярин совершенно игнорировал^[75].

Конечно, западничество Никиты Ивановича, дошедшее даже до пострижения бороды, было достаточно поверхностным. Его скорее привлекали внешняя сторона, всевозможные диковинки и бытовые

новшества. Именно Никите Ивановичу потомки обязаны появлению знаменитого ботика Петра Великого: до того, как молодой царь Петр нашел его гниющим на хозяйственном дворе в селе Измайлове, ботик был приобретен Никитой Ивановичем. Но если для боярина он, скорее всего, был не более как способом экзотического — ходить «галсами» против ветра — времяпрепровождения, то Петр превратил прогулочный ботик в «дедушку» военно-морского русского флота.

При Михаиле Федоровиче Н. И. Романов не был особенно обременен службой. Один из самых богатых людей страны, он предпочитал жить в свое удовольствие. Однако с воцарением Алексея Михайловича ситуация изменилась. Никита Иванович посчитал себя оскорбленным тем, что положенное по его представлению место при молодом государе досталось не ему, двоюродному дяде, а «дядьке» Морозову.

С недовольством Романова Борису Ивановичу справиться было не по силам. И дело не только в том, что Романов мало походил на податливого Стрешнева. Просто с Никитой Ивановичем компромисс был невозможен. Он хотел все или ничего, что, естественно, никак не устраивало Бориса Ивановича. Оставалась одно — война, и она была объявлена, хотя и протекала до поры до времени вяло и малозаметно. Морозов не пытался привлечь Романова в правительство и, по-видимому, был совсем не против частых отлучек Никиты Ивановича со двора и из думы.

Соперничество с Морозовым превращало Романова в неофициального лидера оппозиции правителю. К Никите Ивановичу примкнул боярин князь Яков Куденетович Черкасский. Унаследовавший многодворные вотчины своего родственника И. Б. Черкасского, князь Яков, не в пример болезненному и несколько инертному Никите

Ивановичу, был человеком беспокойным и деятельным. Если Романов не особенно любил политическую борьбу, то Черкасский, напротив, не упускал случая помериться силами. Вскоре вокруг фрондеров объединились все обиженные и обойденные милостями, ждавшие подходящего случая, чтобы поквитаться с ненавистным временщиком.

Сколь ни искусен был в придворных интригах Борис Иванович, он прекрасно понимал, что прочность возведенных им оборонительных бастионов против многочисленных недругов в конечном счете зависит от отношения к нему царя. Пока «дядьке» Алексея Михайловича не приходилось жаловаться на неблагодарность своего воспитанника. Царь почитал его как отца и в этом чувстве доходил до самоослепления, простительного для обычного человека, но осуждаемого для государя. Так что убийственная ирония москвичей, которые утверждали, будто царь Морозову в рот смотрит и «молчит, черт де у него ум отнял», в своем невольном гротеске все же содержала долю истины.

Позднее в царских грамотах Морозову ставились в заслугу неустанное попечение и забота о государе и государственных делах: будучи в «дядьках», он, «отставя дом свой и приятелей, был у нас безотступно», государево здоровье стерег, служил верно «и о наших и земских делех» радел^[76]. Как ни странно, этот панегирик содержит в себе долю правды. Но и эта правда, и правда мятежных москвичей, направивших свой гнев против ненавистного им Морозова, выхватывали и выставляли на обозрение лишь одну из сторон натуры Бориса Ивановича, скрывая самые глубинные побудительные мотивы его поступков. Последние же сводились к тому, что Морозов был человеком равно властолюбивым и умным: вцепившись

мертвой хваткой во власть, он принял близко к сердцу задачи государственные и ретиво взялся за их разрешение. При этом у Бориса Ивановича хватило ума, чтобы соединить свои личные интересы с государственными. Это не значит, что он не мог отступить ради первых. Но отступаясь раз-другой, боярин осознавал, что так нельзя поступать до бесконечности.

Борис Иванович во многом напоминает своего знаменитого современника, кардинала Мазарини. На первый взгляд такое сравнение кажется малоудачным: изящный и образованный кардинал-итальянец, талантливый выученик Ришелье — и простоватый, тяжеловесный Борис Морозов. Но за внешним различием немало совпадений даже во времени и в жизненных изворотах: пребывание у власти при юных монархах (Алексей Михайлович и Людовик XIV), бунт и фронда, смертельная угроза и бегство, одоление противников и триумфальное возвращение в столицы (все в 1648–1649 годах!). В борьбе за власть оба без угрызений совести прибегали к приемам, далеким от христианских добродетелей; но в той же борьбе за власть оба проводили линию упрочения королевской и царской власти.

Существовало немало способов снискать симпатию монарха. Сто лет назад, на исходе боярского правления, противостоящие друг другу придворные группировки в борьбе за Ивана IV своим ласкательством пробуждали в нем самые низменные чувства. Сами того не ведая, бояре играли с огнем, будили лихо: в юном Иване — будущего Ивана Грозного. Но действовали они вполне логично: заметив жестокие наклонности натуры великого князя, они и ублажали его жестокостями. Алексей Михайлович, по счастью, не находил удовольствия в пытках и мучениях. Если что безмерно радовало и привлекало его, так это охота и

бесконечные богомольные походы по ближним и дальним святым местам. Сколь ни важными были в глазах православных людей эти царские занятия, к текущему управлению они не имели отношения. Главные дела решались у Морозова и его людей. Появление царя если и вызывало переполох, то иного свойства. Для обретения благосклонности царя Алексея следовало просто не ударить лицом в грязь, то есть встретить как положено. Как, к примеру, это сделал в мае 1646 года суздальский архиепископ Серапион. В письме из Москвы в Суздаль казначею Савватию он писал: по слухам, государь скоро отправится в поход в Троицу, в Александровскую слободу, а затем в Юрьев, Владимир и Суздаль. Потому на всякий случай срочно готовиться к встрече — в соборной церкви «вычистить и обмести образы и стены»!

Морозов не препятствовал, а, напротив, всячески поощрял богомольные и охотничьи увлечения своего воспитанника, освобождая его от обременительных государственных дел. Как тут было не нарадоваться такому заботливому опекуну! Одновременно исподволь Тишайшему внушалась мысль, что Морозов — единственная надежная опора его царствования, прилежный «строитель царских дел». Отправляясь на охоту, молодой государь ехал с легким сердцем — покуда в Кремле его «дядька», все устоит и ничего непредвиденного не произойдет!

Нехитрая игра могущественного боярина легко была разгадана современниками. Они увидели в ней стремление как можно дольше держать царя в стороне от дел^[77]. В их представлении Морозов не хотел, чтобы хоть какая-то жалоба, хоть какая-то докука достигали молодого монарха. Все покойно, все схвачено Морозовым так, что ни единый вопль недовольного, ни единый всхлип обиженного не достигает слуха

государя. Не случайно стряпчие-служки Спасо-Прилуцкого Вологодского монастыря доносили властям о простеньком приеме, с помощью которого царя избавляли от назойливых челобитчиков: «Да ныне государь все в походех и на мало живет как и воцарился, а се будет поход в Можайск, а где поход ни скажут государев, и он, государь, не в ту сторону пойдет»^[78].

Но в этом раскладе была еще одна сторона — сам Алексей Михайлович. В эти первые годы он для нас скорее символ, чем живой человек. Внутренняя жизнь его почти сокрыта для нас: чем он живет, о чем думает, какая внутренняя работа идет в его сердце? Обо всем этом из-за недостатка источников приходится только догадываться. Здесь более уместны слова «возможно», «по всей видимости», «представляется». Конечно, подобные фразы всегда невыигрышны и малоубедительны, но зато они честнее.

Алексей Михайлович, по-видимому, вовсе не тяготился той ролью, которую ему отвел Морозов. При характерной для него позднейшей рефлексии относительно всего, что касается царственного сана, нет ни одного намека, чтобы он переживал полновластие Бориса Ивановича и свою отстраненность от дел. Слишком просто было бы объяснять это тем, что «черт у него ум отнял». Дело, конечно, не в этом. На престол вступил подросток, который просто не мог править. Для XVII века такое положение не было новостью. На протяжении столетия оно повторялось не единожды. Подростками, неокрепшими юношами, даже мальчиками всходили на престол Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор, Иван и Петр Алексеевичи. Оттого различия и особенности первых лет царствования уместнее связывать не с царями-подростками, а с их «соправителями».

Здесь же все пестрее. Править могли придворные группировки без ярких лидеров, как при первом Романове, или фигуры относительно одаренные, претендующие на первенство и безоговорочное доверие государей. Таким был Морозов. Притом Борис Иванович повел дело так тонко, что Алексей Михайлович не видел в этом ущемления своего царского достоинства. Внешне «дядька» возглавлял правительство по воле монарха, был всего лишь верноподданным «государевым холопом», радеющим всем сердцем о государевом деле.

Конечно, такой поворот несколько переставляет акценты в традиционном обвинении Морозова, который будто бы у своего воспитанника «царство отнял». Уместнее задаться иным вопросом: в какой мере второго Романова готовили к правлению? Для успешного царствования Алексею Михайловичу нужны были образование, опытность, ум и характер. Об образованности Алексея Михайловича выше уже шла речь; «науку управлять» должна была заменить опытность. Ее можно было обрести с годами, быстрее или медленнее, но обязательно участвуя в делах. Борис Иванович не особенно заботился об этой стороне воспитания. Его вполне устраивал слабый, неопытный государь, зависимый от него и постоянно в нем нуждавшийся. Этой формулой он и руководствовался, взваливая на себя многочисленные государственные дела. Что же касается ума, характера и души Алексея Михайловича, то эти «параметры» если и интересовали Бориса Ивановича, то, кажется, лишь в плане угрозы его всевластию.

От этого времени до нас дошло одно-единственное послание частного характера, принадлежащее самому Алексею Михайловичу. В нем легко угадываются стиль и манера изложения, которые в будущем станут изобличать охочего до пера государя. Но главное, этот стиль приоткрывает занавес над тем, что обыкновенно

закрото непроницаемо бесстрастной формулой актового документа, в котором царь «указал», а бояре «приговорили».

Эта царская грамотка — приглашение бояр на Озерица «потешиться» медвежьей охотой. Писана она от имени «половчан» — царских сотоварищей, в атмосфере беззаботного и шумного веселья. Видно, что здесь молодой царь чувствует себя много увереннее, чем среди седовласых бояр, подавляющих возрастом и знанием жизни. Половчане же — царские ровесники или люди, немногим его старше, все из первостатейных или хороших родов, еще не обремененные чинами. Рукоприкладства половчан раскрывают этот круг поименно. Вот Федор Михайлович Ртищев, человек духовно близкий к царю, его личный друг, если, конечно, у монархов могут быть друзья. Рядом Юрий Алексеевич Долгорукий, который в несколько лет совершит стремительное восхождение и станет заметной фигурой в царствование Алексея Михайловича. Памятуя о его назначении в новосозданный после Московского восстания 1648 года Монастырский приказ, исследователи относят Долгорукого к креатуре Морозова. Несомненно, он был близок Борису Ивановичу. Но из грамотки видна и его близость государю.

Другой близкий к царю человек, князь Ю. И. Ромодановский, предпочтет жизнь более покойную и не станет измождать себя службами. Но не станет, пользуясь близостью к государю, и выпрашивать для себя всевозможные послабления.

Среди половчан царя — Ромодановские, Долгорукие и Шереметевы, которых ждут отличия на государственных и военных поприщах. Общность времени и службы для некоторых обернется и общностью судеб, да так, что взгляд из будущего придаст этим совпадениям смысл глубинный. К таким

можно отнести П. Траханиотова и Ю. Долгорукого. Они проживут разные жизни, но оба, один — молодой, другой — убеленный сединами, падут жертвами кровавых бунтов. Траханиотова топор настигнет очень скоро, в июне 1648 года. Ю. Долгорукий будет растерзан в собственном тереме в дни Стрелецкого бунта 1682 года.

Едва не присоединится к этому скорбному мартирологу народного гнева Ф. М. Ртищев, крови которого будут жаждать восставшие москвичи в июле 1662 года. Время, случайно смешав в охотничьей компании этих людей, через их судьбы еще раз напомнит, что век был и в самом деле «бунташным» и «смутным».

В своем шутилом послании царь обращается ко всем думным чинам, которые находятся в столице, в том числе и к тем, которые открыто враждовали между собой. Грамотка открывается именем Б. И. Морозова, первенствующего в думе; затем следуют имена Н. И. Романова, Я. К. Черкасского, дворецкого А. М. Львова, А. Н. Трубецкого, М. М. Темкина-Ростовского, Ф. С. Куракина, кравчего-дяди С. Л. Стрешнева, окольничих Ф. Б. Долматова-Карпова, А. Ф. Литвинова-Мосальского, Н. С. Собакина, стряпчего с ключом М. А. Ртищева, отца Ф. М. Ртищева. Алексей Михайлович делится с ними своими планами: в среду он едет на Озерецкое брать медведя, а «как Бог даст изымет», собирается с гостями ехать в Озерецкое кушать. Отсюда царь намерен ночью отправиться в деревню Козловскую, ночевать, и поутру, в четверг, вновь «промышлять» зверя.

Царь предполагает и другой вариант времяпрепровождения: всем ехать из Озерецкого ночью в дворцовое село Павловское, и «приехавши б в четверг мне кушать, и кушавши б мне с тупными медведями тешитца старыми, а послать по них заранее». А после

этого всем в пятницу на ночь ехать в Москву. «Пожалуйста поступите, о чем я вас с своими полчаны прошу», — заключает царь, напоминая, что он-то «всем вам поступился, хто о чем бил челом». Далее следует подробная роспись боярских и окольных челобитных, любопытная тем, что хорошо передает характер общения думных людей с царем. То были сплошь личные просьбы — кого-то пожаловать в чин, отправить на воеводство, дать отсрочку в службе и в судном деле и т. д. Судя по росписи, Алексей Михайлович никому не отказывал, хотя хорошо понимал излишнюю нахрапистость иных просителей. Боярин князь М. М. Темкин-Ростовский, к примеру, бил челом о поместье. Поместье он получил, но оно ему «не полюбилось», и, продолжает государь, «тебе слово свое милостивое сказал, велел тебе приискивать да бить челом».

Боярин князь Ф. С. Куракин все время норовил отстать от «государевого дела» и заняться собственными делами в деревне. Он «бивал челом почасту в деревню», и царь его «всегда жаловал отпуская». Примечательно, что в перечне сделанного «добра» действительно нет ничего, связанного с государственными делами.

Алексей Михайлович, кажется, не был уверен, что его приглашение будет принято. Отсюда и два варианта пребывания на Озерецком, и напоминание об удовлетворенных челобитных... Вообще, не принять приглашение государя — значит задеть его честь, пренебречь царской милостью. Самому Алексею Михайловичу много лет спустя и в голову не могло бы прийти писать послание, где он, великий государь, пускай и в шутливой форме, упрашивал бояр приехать к нему. Но, судя по тону письма 1646 года, пока бояре за

«государевыми делами» могли и отговориться, сослаться на занятость и не приехать «тешиться»^[79].

Это письмецо любопытно еще в одном отношении: Алексей Михайлович, вопреки расхожему образу, вовсе не был тем царем-молитвенником, каким он рисуется во многих сочинениях. Он уже в юных летах знал меру, границы которой потом определит сам известной присказкой из «Урядника сокольничего пути» — делу время и потехе час. Веселая компания, охотничья потеха, высокий лет сокола ему были так же потребны, как полнощное бдение и душевная молитва.

...То, что Борис Иванович не особенно стремился приобщить своего воспитанника к государственной деятельности, вовсе не значит, что Алексей Михайлович совсем не принимал участия в делах. Мы видим его там, где присутствие государя необходимо и обязательно. Тишайший принимал и отпускал послов, устраивал «столы», шел с молениями по святым местам, иногда появлялся на заседаниях думы. Для молодого царя вся эта суета пока что заменяла само правление. Нужно было время, а главное, основательная встряска, даже потрясение, чтобы понять эфемерность подобного положения дел.

Милославские

Морозов не испытывал нехватки в панегиристах. Охотников пропеть дифирамбы временщику хватало. «Болярин честен, и смотритель крайний» — так назвал один из них царского воспитателя^[80]. Борис Иванович и вправду рьяно смотрел за делами. Был он и «честен», если иметь в виду «отеческую честь» Морозова, человека родовитого и знатного. Но едва речь заходит о прозаической честности, как приходится в лучшем случае пожимать плечами. И дело не только в неумной тяге боярина к стяжательству, о чем разговор ниже. Борис Иванович был нечестен и к своему воспитаннику. Во всяком случае, он легко покривил душой и пожертвовал счастьем юного царя Алексея, когда под угрозой оказалось его собственное благополучие.

Русский Мазарини не особенно полагался на такие чувства, как благодарность и привязанность. Это приятно, возвышенно, но слишком зыбко. Придворная философия диктовала иные исходные данные для строительства благополучия — выгода, сила, обман. Это вполне совпадало с миропониманием боярина, который измерял окружающих на свой лад и по собственной своекорыстной мерке. Привязанность привязанностью, но по мере взросления Алексея Михайловича Морозов предпочел строить взаимоотношения на основаниях более прочных, не подверженных эрозии времени. Такими отношениями могли быть прежде всего отношения родственные, особенно важные, поскольку именно они лучше всего могли держать удары интригующих родственников.

Словом, пора было думать о царской женитьбе.

О намерении семнадцатилетнего царя сочетаться браком было объявлено в 1647 году. По-видимому,

инициатива исходила от противников «дядьки» царя, которые таким образом надеялись подорвать позиции временщика. По обычаю были собраны лучшие невесты, из которых отобрали шесть «кандидаток» в царицы. Царь вручил платок и кольцо дворянской дочери Афимье Всеволожской, по свидетельству современников, красавице необыкновенной. Всеволожская тотчас была наречена царевной и взята в палаты сестер царя.

Насколько дворец был опасен для царских невест, мы уже знаем из истории Марии Хлоповой. Все повторилось и на этот раз, с той только разницей, что Хлопова тогда не устроила Салтыковых, а Всеволожская — Морозова.

Существуют неясные известия, что избранница царя была как-то связана с Я. К. Черкасским и его родственником, князем С. В. Прозоровским^[81]. Угроза для Бориса Ивановича явная, особенно если вспомнить, что выбор племянника с большим жаром поддерживал и С. Л. Стрешнев. К тому же Борис Иванович столкнулся с родными нареченной царевны, которые повели себя неожиданно вызывающе. Трудно предположить, что Всеволожские были столь ограничены, чтобы бросить вызов могущественному временщику, не ощущая поддержки со стороны противников Морозова. Естественно, что Борис Иванович сделал все, чтобы избавиться от опасных соперников. Говорили, будто именно по его наущению прислуга в канун венчания перетянула Афимье волосы, отчего та упала в обморок^[82]. Пошли разговоры о «порче» невесты, ее непригодности к «государевой радости». Нареченную царевну свезли сначала из царицыных теремов на московское подворье, а потом и того дальше, со всей семьей в ссылку — в далекую и завьюженную Тюмень.

Алексей Михайлович, не в пример своему отцу, скоро утешился. Однако о своей первой невесте не забыл и позднее вернул ее из ссылки. Должно быть, несчастная Всеволожская все же ущемила сердце молодого государя, который избрал ее сам, не по подсказке Морозова. Он испытывал к ней жалость, быть может, смешанную с чувством вины.

Расстроив одну свадьбу, Борис Иванович принялся хлопотать о другой. Однако на этот раз не стал доверяться слепому случаю. Им была выстроена целая комбинация, которая не просто расстраивала козни конкурентов, а раз и навсегда упрочивала его положение. Боярин измыслил породниться с царем.

Выбор Морозова пал на дочерей московского дворянина Ильи Даниловича Милославского, человека малородовитого, не лишеного, впрочем, бойкости и способностей. Главное, что привлекло в Милославском Бориса Ивановича (кроме, естественно, его дочерей), — это его готовность во всем повиноваться и следовать за своим покровителем. Правда, своим предложением Морозов отворял Илье Даниловичу двери в царские палаты, где у того голова могла пойти кругом — там и власть, и казна, и боярская шапка: сегодня Милославский согбен, а завтра, глядишь, и головы не повернет. Но царский воспитатель был человеком умудренным, а потому, делая поправку на приязнь Ильи Даниловича, решил перестраховаться. Вся комбинация была задумана им очень просто и очень надежно. Одну дочь в жены царю, другую — себе.

Борис Иванович принялся расхваливать царю сестер-красавиц Милославских. Царь живо откликнулся. Была организована встреча, оправдавшая надежды царского «дядьки». Алексею Михайловичу приглянулась старшая сестра, Мария Ильинична. Было объявлено о ее избрании царской невестой. Свадебное дело, подталкиваемое на этот раз могущественным

Морозовым, катилось точно по наледи — без препятствий и интриг.

В отличие от изображений второй супруги Алексея Михайловича, Натальи Кирилловны, подлинного изображения Марии Ильиничны не сохранилось. Иконографические образы царицы достаточно условны, а позднейшие портреты и гравюры — фантастичны. Приходится исходить из традиционного предположения, что Алексей Михайлович, обладавший отменным вкусом, выбирал хотя и по подсказке, но все же красавицу из красавиц.

На Руси свадьбе издревле придавали огромное значение. Свадьба — свидетельство зрелости. Свадьба — звено в цепи поколений, условие непрерывности рода. Не случайно это семейное торжество называли «вторым земным почетом» и праздновали шумно и весело. Но в январе 1648 года в царском дворце была сыграна свадьба, сильно отличавшаяся от всех предшествующих. Вместо привычных скоморошских плясок, гудков и бубнов — «бесовского игранья» и «трубного козлогласования» — на свадьбе звучали стройные духовные песнопения. «Да на прежних же государских радостях бывало в то время, как государь пойдет в мыленко, во весь день с вечера до ночи на дворе играли в сурны и в трубы и били по накрам. Ныне великий государь на своей государевой радости накрам, трубам быти не изволил. А велел государь в свои государски столы вместо труб и органов и всяких свадебных потех пети своим государевым певчим, дьякам, всем станицам, переменяясь... со всяким благочинием». Это из описания свадьбы, с напоминанием о прежних обычаях и с назойливым подчеркиванием несомненного превосходства нововведения.

Но, должно быть, какая это была скучная свадьба!

На том, чтобы свадьба состоялась «в тишине и страхе Божии», настоял царский духовник, благовещенский протопоп Стефан Вонифатьев, влияние которого на Алексея Михайловича становилось все более сильным^[83]. Подчеркнутая строгость и благопристойность торжества свидетельствовали о высоком религиозном настрое молодого государя и близких переменах в духовной жизни страны.

Через десять дней после женитьбы царя была сыграна еще одна свадьба. Сидевший совсем еще недавно на свадьбе Тишайшего в почетное «отцово место» Борис Иванович занял на этот раз место жениха. Человек по тогдашним понятиям старый — Морозову шел 58-й год, — боярин брал в жены младшую, «отвергнутую» сестру царицы, Анну Ильиничну Милославскую. И если у историков нет прямых данных, чтобы обвинять Морозова в интриге против несчастной Всеволожской, то сама эта свадьба очень показательна — не в ней ли можно найти ответ на sacramентальный вопрос, кому было выгодно чернить нареченную невесту и перекраивать на иной лад судьбу воспитанника?!

Борис Иванович стал царским свояком, «затесавшись» — пускай и седьмой водой на киселе — в царскую родню. Окончательно приручен был и И. Д. Милославский, не только всецело обязанный своим возвышением боярину, но и ставший его тестем (много моложе, кстати сказать, своего зятя).

17 января, на другой день после свадьбы, Милославский был пожалован из стольников в окольничие, а спустя две недели, 2 февраля, ему уже было сказано боярство. Так завершилась прозаическая сделка, в которой разбитными «продавцами» выступили Морозов и Милославский, «красным товаром» — Мария и Анна Милославские, а простоватым «покупателем»,

который по наивности думал, что «покупает» он по своей воле — Алексей Михайлович.

Будущее, впрочем, «показало» Морозова. Его семейная жизнь развивалась по канонам неравного брака, пускай и сильно придавленного теремной тяжестью домостроя. «Молодые» не питали друг к другу нежных чувств. Борису Ивановичу новая жена годилась во внучки. По едкому замечанию придворного врача, англичанина Самуэля Коллинса, бывшего в курсе многих дворцовых сплетен, вместо детей у Морозовых родилась ревность, которая «произвела на свет ременную плетть в палец толщиной»^[84].

Борис Иванович скончался в 1664 году. Несчастливая Анна Ильинична ненадолго пережила нелюбимого мужа. Умерла она в сентябре 1669 года, и отпевали ее с подчеркнутой торжественностью в Чудовом монастыре в присутствии вселенских патриархов и с поучением митрополита Газского Паисия, который «говорил своим языком и рассуждал руками (!), указуя на гроб». Затем Анну Ильиничну положили «подле мужа ея... в той же полатке». В браке жизнь все время разводила супругов — смерть соединила их^[85].

Судьба Марии Ильиничны оказалась счастливее судьбы сестры. Алексей Михайлович любил свою жену и заботился о ней. Из военных походов он почасту слал ей и сестрам грамотки, тревожась за здоровье и делясь новостями. Правда, в этих письмах мало мысли: царь ровно заботлив и внимателен, не прочь иногда даже прихвастнуть, но особенно поделиться и пооткровенничать не стремится — не ее, царицы, и не их, царевен, ума дела. Милославская иного и не искала. Она была воспитана традиционно — то было не столько воспитание, сколько питание, издавна утвердившееся в дворянских и боярских теремах. Из хозяйских дочерей здесь старательно растили будущих послушных жен,

заботливых матерей, рачительных хозяек, строгих молитвенниц. Положение царицы в этом смысле было еще более стесненным. Жизнь ее обставлялась множеством условностей и запретов.

За 21 год замужества Мария Ильинична родила Алексею Михайловичу 13 детей (пять царевичей: Дмитрия, Алексея, Федора, Симеона, Ивана и восемь царевен: Евдокию, Марфу, Анну, Софью, Екатерину, Марию, Феодосию, Евдокию). Царевичи рождались хворыми и скоро сходили в могилу: первенец Дмитрий не прожил и года, Алексей Алексеевич, с которым были связаны большие надежды, умер не достигнув 16 лет, Симеон — 5 лет. Ставшие царями Федор и Иван протянули дольше — Федор почти до 22 лет, Иван и того больше. Впрочем, Иван Алексеевич, соправитель Петра I, кроме телесной слабости, отличался расслабленностью умственной.

Ко всему этому после смерти первенца Дмитрия у Алексея Михайловича долгое время не появлялся в семье наследник. Мария Ильинична исправно рождала младенцев, но все они были женского пола, так что продолжение династии некоторое время оставалось под вопросом. Иностранцы даже писали, что расстроенный царь «не шутя» пригрозил жене пострижением^[86]. Разумеется, это были слухи. Но слухи, свидетельствующие о все еще сохранявшейся династической уязвимости Романовых. Так или иначе, рождение царевича Алексея, а затем Федора сняло напряженность.

Кто из родителей «виновен» в физической немощи сыновей — сказать трудно. В мужской линии Романовых долго наследовалась цинга. Ею страдал Михаил Федорович, несколько меньше сам Алексей Михайлович, затем сильно и остро — сыновья от Милославской. Сразу же по восшествии на престол Федора Алексеевича

врачи обследовали царя, которого даже во время похорон отца — от царского терема до Архангельского собора! — несли на носилках. Консилиум иноземных врачей пришел к выводу, что приключилась «ево государская болезнь не от внешнего случая и ни от какой порчи, но от его царского величества природы... та де цынга была отца ево государева... в персоне»^[87].

Зато хорошим здоровьем отличались дочери Милославской. Дольше всех — 63 года — прожила Мария Алексеевна, увидевшая не только Полтавский триумф сводного брата, но даже окончание Северной войны.

Царевны, как показали события конца столетия, оказались не только крепки телом, но и бойки в поступках. Пошли ли они в этом смысле в мать? Едва ли. Виноваты скорее обстоятельства, время и отсутствие твердой руки, способной приструнить не в меру разнуздавшихся царевен.

Первый брак царя Алексея длился более двадцати лет. Срок немалый. Однако почти невозможно уловить влияние Марии Ильиничны на государя. Обреченная чуть ли не каждые полтора-два года рождать ребенка, часто пребывающая в дороге — то в очередном «богомольном походе», то в поездке из одного подмосковного дворцового села в другое — царица вела совсем не простой образ жизни.

Как уже отмечалось, она не стремилась вмешиваться в дела — не так воспитана! — однако все же с ее мнениями в отдельных случаях царь считался. Он долго терпел «выходки» знаменитой боярыни Морозовой, жены брата Бориса Ивановича, боярина Глеба Ивановича, староверческие симпатии которой ни для кого при дворе не были секретом. Но за боярыню горячо вступилась Мария Ильинична, и Тишайший молча

закрывал глаза даже тогда, когда закрывать и молчать уже было просто не вмоготу.

Из родни первой царицы более всех известен Илья Данилович Милославский. Вознесенный случаем, имя которому боярин Морозов, он вскоре занял видное место в окружении царя, несравненно более высокое, чем в свое время занимали Стрешневы. Не лишенный ловкости, побывавший даже в посольской отсылке за границей, он прочно усвоил главную истину, которая неизменно приносила ему успех — крепко держаться Бориса Ивановича. Даже когда после Московского бунта 1648 года судьбе было угодно, чтобы он заменил Бориса Ивановича почти на всех его постах, Илья Данилович не сделал никакой попытки занять истинное место зятя, подлинного правителя государства. Едва ли это было вызвано недостатком честолюбия или родственной привязанностью. Просто более молодой Илья Данилович признавал первенство Бориса Ивановича.

Морозов у власти

Толки и нелестные отзывы о всевластии Морозова, к которым оказались причастны его соперники, не были безобидными. В очередной раз проигрывалась парадигма о «злых слугах» и «добром государе», которому ничего не ведомо про страдания своих несчастных подданных. Как показали дальнейшие события, это была бомба замедленного действия: из области толков и досужих стенаний на «злых слуг», отстранивших государя от его «сирот» и «холопов», она переместилась в область сугубо материальную — во взрыв все разрушающего народного гнева.

Между тем каким бы плохим ни казался «злой» Борис Иванович Морозов, он мало в чем уступал прежним правителям. Иностранцы отмечали, что вся беда московского государя в том, что у него нет «умных и понимающих что-нибудь советников». Исключение делали лишь для Бориса Ивановича^[88]. И не случайно. У Морозова была своя программа, свое видение ситуации. Можно спорить относительно того, насколько программа была хороша или плоха. Однако при Морозове громоздкий корабль российской государственности шел, не рыская, намеченным им курсом.

Многое в этом курсе было predeterminedено в последние годы царствования Михаила Федоровича. Знаменитое Азовское сидение донских казаков 1637–1642 годов привело к резкому осложнению отношений с Крымом и Турцией. Участились набеги крымцев на южные окраины Московского государства. В 1645 году султан Ибрагим прислал хану Ислам-Гирею саблю и кафтан — символический жест, разрешающий начать «большую татарскую войну», губительные последствия

которой хорошо были известны в Москве. Хан в ответ похвалялся, что заставит царя платить дань, и это «весьма полюбилось султану». Греческие информаторы умоляли Москву «не спати, а оберегати крайну свою».

В Кремле в подобных напоминаниях не нуждались. В 1646 году в Белгороде и Ливнах под началом князя Н. И. Одоевского были собраны значительные силы. Когда же противник не объявился, ратные люди приступили к укреплению самых уязвимых участков засечной черты. Перед полковым шатром был выставлен образец рва, вала и тына, и «от того образца (служилые люди. — *И.А.*) ужаснулись, что делать было тяжело»^[89].

Пытаясь удержать крымцев от набегов, Москва тогда же послала в Черкасский городок — административный центр Войска Донского — отряд Ждана Кондырева. Последнему вместе с казаками и астраханскими отрядами воеводы Р. С. Пожарского велено было «воевать» Крым. Совместные действия казаков с Кондыревым сначала не заладились. «Он человек нежный, тягости морской и пешей службы перенести не может», — объясняли казаки, хотя истинная причина несогласия была в ином — казаки хотели идти походом на Азов, а не в Крым. Однако затем отношения наладились, и действия Кондырева с казаками вызвали немалый переполох среди азовских и крымских татар^[90].

Последующие годы оказались столь же напряженными. Выбежавшие в 1647 году из татарского плена русские люди сообщали: в Крыму весь хлеб и траву поела саранча, отчего татары вместе с царем и царевичами, оставив Крым, всю зиму кочевали в поле. В Москве не на шутку встревожились: по опыту знали, что из-за такой бескормицы следует по весне ждать

прихода «с большим собраньем» крымских татар на южные уезды страны.

Военные приготовления были сопряжены с колоссальными затратами. Это, в свою очередь, вело к росту налогового бремени. Так, в 1637–1638 годах один из самых главных прямых налогов, стрелецкие деньги, составлял 240 рублей с сохи. Шесть лет спустя, в 1643–1644 годах, стрелецкий налог поднялся до 672 рублей^[91]. Но денег все равно не хватало. Казна, унаследованная от предыдущего царствования, пребывала в плачевном состоянии. Строительство новых городов и острожков на юге, заселение и привлечение на службу ратных людей — все это требовало половодья средств при том, что поступления в казну были сравнимы с жиденьким ручейком. Эти обстоятельства продиктовали Морозову главное направление усилий правительства. Следовало прежде всего добиться финансового оздоровления казны.

Новое правительство было настроено решительно. Морозов готов был использовать все средства для пополнения бюджета, особенно если они сулили скорый и ощутимый эффект. Как рачительный и даже скаредный хозяин, боярин прибегнул к традиционным способам экономии. Он начал урезать расходы, и прежде всего расходы на жалованье. Денежные выдачи были ограничены, а некоторые разряды служилых и приказных людей и вовсе лишились их. Так, подьячим воеводских изб, административных центров управления уездами, были объявлены новые оклады с большой убавкой против прежних. Обязанности приставов при избах были возложены на пушкарей и городских стрельцов, которым пришлось смириться с меньшими, чем прежде, кормовыми и денежными дачами. Сэкономили даже на сторожах воеводских изб, отобрав у них хлебное жалованье.

Стеснены материально были и московские стрельцы. Морозов посчитал, что доход, получаемый от торгово-ремесленной деятельности и иных стрелецких прибытков, вполне восполнит утраты, понесенные на государевой службе.

Кажется, от проницательного взгляда новых правителей не ускользала ни одна потраченная впустую копейка. Казна, к примеру, содержала городских кузнецов и плотников, следивших за состоянием крепостных орудий, стен и башен. Отказаться от их услуг не представлялось возможным. Но и платить, особенно когда не было надобности в штопанье стен, казалось зазорным. Соломоново решение было принято совершенно в духе скаредного Бориса Ивановича. Платить, когда казенные плотники и кузнецы заняты на городских работах. В остальное время каждый должен был кормиться как мог.

Наконец правительство коснулось статей равно расходных и опасных — жалованья дворян и приказных. Для дворянства главный источник существования — поместья и вотчины. Денежное жалованье выдавалось нерегулярно, чаще всего «на подъем» в связи с военными приготовлениями. Тем не менее суммы получались немалые, обременительные для казны. Морозов стал экономить и на этой статье, всячески оттягивая и ограничивая выплаты городского жалованья как раз в то время, когда на долю служилых в связи с возросшей угрозой с юга выпала тяжелая «береговая служба». Ясно, что проводить такую политику — означало бросить вызов целому сословию.

Правительство Морозова встало на путь пересмотра и ликвидации разного рода привилегий. Для этого требовалась решительность и даже смелость — затрагивались интересы лиц и корпораций очень влиятельных. За долгие десятилетия привилегии стали рассматриваться как неотъемлемо-наследственное

право. Потому их пересмотр воспринимался как покушение на старину, на волеизлияние прежних правителей. Тем не менее Борис Иванович и его окружение пошли на отмену ряда проезжих, торговых и иных привилегий, ранее дарованных монастырям. Подтверждение и переоформление монастырских тарханских грамот, с которых начиналось каждое царствование и которое нередко обращалось в пустую формальность, на этот раз затянулись. В приказе Большого дворца к вящему ужасу монастырских властей не спешили с новыми грамотами.

Попытались в Москве прибрать к рукам и иноземцев, слишком вольготно чувствующих себя на русском рынке. При этом правительство исходило прежде всего из собственных интересов. Однако поскольку торговые преимущества иноземцев сильно ударяли по интересам отечественного купечества, то внешне получалось, что многое было сделано как бы по их наущению.

Русские купцы без устали жаловались на конкурентов-иноземцев, особенно на «английских немцев». В челобитной 1646 года они старательно исчисляли прегрешения англичан: живут в Московском государстве большим, чем им положено, числом; товары свои не продают и не меняют у русских торговцев, а покупают «мимо» них, прямо у производителей. Притом действуют «стачкой», то есть сговором, безмерно сбивая русские цены и немисливо поднимая свои. Пользуясь правом беспошлинной торговли, англичане лишили русских торга с другими иноземными купцами — сами им все перепродают и тем своим «лукавством» лишают государя доходов.

Раз начав, купцы-челобитчики уже не могли остановиться. Всякий русский, писали они, отважившись со своим товаром за рубеж, обречен на неудачу. Договорившись, иноземцы не покупают его товар. Так случилось в Голландии с ярославским купцом

Антоном Лаптевым и в Германии с гостем Назарием Чистым.

В своих стенаниях торговые постарались не упустить ни одной мелочи, могущей разоблачить «злодейство» конкурентов. Прослышав о противостоянии парламента — торговых мужиков — королю, они тотчас напомнили, что жалованная грамота была дарована Английской компании по просьбе короля Карла, а англичане ныне ему «неподручны», отложились и четвертый год с ним воюют. Как можно таких людей принимать в Московском государстве?

На этот раз недовольство купцов совпало с намерением Морозова изыскать дополнительные источники доходов. В итоге в июле 1646 года, «для пополнения государевой казны на жалованье ратным людям», указано было собирать с иноземцев торговые пошлины наравне с русскими. Речь шла не столь уж о сильном стеснении, но дорого было начало — наступление на привилегии иноземцев.

Правительство вводило новые налоги для русских торговцев. Наводя порядок на рынке в области мер веса, оно установило клейменные аршины и весы, которые следовало выкупить за пятикратную стоимость.

Как истовый хозяин, Морозов принялся и за задолжавших налогоплательщиков. К 1645 году накопились колоссальные недоимки. И они продолжали расти. Так, с одного Устюга Великого за 1633–1641 годы полагалось собрать данных и оброчных денег на сумму 5400 рублей. На деле же поступило много меньше — 200 рублей. Несколько лучше в Устюге обстояло дело со сбором стрелецких денег, одной из главных разновидностей прямых налогов. Однако и в этом случае из положенных 8400 рублей в Москву отправили половину. Подобное положение было характерно для большинства городов и уездов страны.

Для взыскания недоимок на Руси испокон веков существовало универсальное средство — правеж. На правеже деньги выколачивали из злостного должника в прямом смысле слова палками. Однако на этот раз колоссальные размеры недоимок заставили правительство усомниться в действенности привычных мер. Давление было усилено и доведено до формулы «править нещадно», без отступлений и поблажек. Вот образчик подобного восполнения казны с недоимщиков. В Зарайске 27 октября 1647 года воевода Феоктист Мотовилов за час до рассвета разослал стрельцов по дворам посадских. Согнав их с постели, «загнали в город и начали бить на правежи нещадно». Кряхтя, горожане недоимки собрали, но Мотовилову этого показалось недостаточно. «То де вы принесли песку, а не деньги, а хотя де и деньги де ваши лежат», — объявил он и пригрозил на правеже за упорство ноги переломать. И в самом деле принялся ломать, приказав начать правеж заново. При этом, по рассказу посадских людей, били всех без разбора, долго, закрыв предварительно ворота, чтобы не разбежались ^[92].

Но даже такой правеж мало способствовал финансовому оздоровлению казны. Не потому, что тягловые люди не воспринимали морозовские батоги. Дело в другом. Они были просто не в состоянии уплатить недоимки, размер которых намного превышал их платежеспособность. Более того, требование правительства в глазах огромного большинства было вопиюще несправедливо. То был узаконенный разбой. Для такой трактовки были все основания.

Конечно, в реальной жизни «черные люди» не упускали случая уклониться от уплаты податей. Но недоимки появлялись и накапливались еще и в связи с запустением посадов и деревень, из-за бегства тяглецов. Так, к примеру, Вяземская писцовая книга

1629/30 года зафиксировала 150 тягловых дворов. Пятнадцать лет спустя, в 1645 году, дозорщики смогли насчитать уже только 78 дворов. Еще 38 дворов они отнесли к разряду самых бедных, «охудалых», владельцы которых нищенствовали и не могли нести государево тягло. Ясно, что при таком раскладе оставшиеся тяглецы не способны были уплатить недоимки за весь город. Но в Москве упрямылись. Данные дозора объявлены были подложными: дозорщики, мол, «прописывали» дворы вязьмичан «для своей бездельной корысти». Тягло же требовали платить в прежних размерах, как со 150 дворов. Праветчики тут же рьяно принялись охаживать мягкие места несчастных вязьмичан, но оказалось, что из «ничего» можно выбить только «ничего». Не считая, конечно, стонов, слез и ненависти, которую испытывали вязьмичане к Морозову и его ретиво-батожному окружению.

В конце концов морозовские дельцы принуждены были занять достаточно своеобразную позицию относительно недоимок из-за убыли тягловых мест. С одной стороны, они продолжали требовать уплату недоимок, отчего свирепый посвист батовгов оставался самой популярной мелодией начала царствования Алексея Михайловича^[93]. С другой стороны, приходилось считаться с реалиями — запустением городов, население которых бежало в иные места или перебиралось из тягловых «черных» слобод в так называемые «белые слободы». Последние принадлежали духовенству, старой аристократии и были замечательны тем, что их население было освобождено, «обелено» (отсюда и название) от тягла. Заложившись за владельца такой слободы, посадские люди надеялись обрести покой и относительное благосостояние, мало совместимое с исполнением тягла

и государевых служб. Отсюда стремительный рост «белых слобод». Так, в 1620 году в посадских владениях Спасо-Ярославского монастыря было всего 27 дворов, а в 1638-м — 313! За боярином Н. И. Романовым в 1646 году в 18 городах насчитывалось 320 дворов. Стоит, ли удивляться обезлюдиванию посадских общин, соседствующих с подобными «оазисами свободы» от налогов и служб?

Бегство в «белые слободы» и «закладничество» за «сильными людьми» стало настоящим бичом для государства. Чтобы исправить положение, Морозов приступил к так называемому «посадскому строению», которое должно было вернуть тяглеца казне. Внешне эта мера выглядела как чисто финансовая. Да так оно и было. Однако в ней, помимо воли ее устроителей, присутствовал глубокий социально-политический подтекст. Льготные частновладельческие «белые слободы», как родимые пятна ушедшей старины, противоречили потребностям развития централизующегося государства. Наступление на «белые слободы» по самой сути своей было связано с упрочением самодержавного строя.

Политика экономии, выбивания недоимок, вывертывания карманов налогоплательщиков не требовала особенных интеллектуальных изысков. Не отличалась она и новизной. Подобные рецепты, с теми или иными отклонениями, прописывали населению и прежние правители. Однако старый боярин и его сотрудники оказались способными на большее. Средство решительного пополнения бюджета было найдено в организации налогообложения на новых основаниях. Саму идею и ее реализацию связывают с именем дьяка Назария Чистого. Человек несомненно сметливый, приобретший деловую хватку в купеческой среде, откуда его и взяли в приказные, Чистый был прекрасно осведомлен о недостатках старой налоговой

системы. Так что народная молва, сделавшая его «крестным отцом» печально известной соляной реформы, опиралась, возможно, на вполне реальные факты.

В феврале 1646 года последовал указ, который налагал «на соль новую пошлину» в размере 20 копеек за пуд. Тяжесть налога должна была компенсироваться отменой главных видов прямых налогов — стрелецких и ямских денег. В исторической литературе это правительственное нововведение нередко окрашивается в мрачные цвета. Цепочка обвинений доходит до июньского восстания 1648 года в Москве, долгое время именовавшегося не иначе как Соляным бунтом. Но на самом деле налоговая реформа была смелой и неординарной мерой, заставляющей несколько иначе оценивать деятельность правительства Морозова, по крайней мере в этой области. Реформа означала смену акцентов — с привычного прямого налогообложения на косвенное, притом с учетом материальных возможностей населения. Отныне каждый должен был платить налоги в соответствии со своими потребностями, и, что немаловажно, сам, без понукания и батогов, побуждаемый не страхом — простой потребностью в соли. Об этом писали авторы указа: стрелецкие и ямские деньги заменить «теми соляными пошлинными денгами, потому что та соляная пошлина всем будет равна, и в избылых никто не будет, и лишнего платить не станет, а платить всякой станет без правеха собою. А стрелецкие и ямские денги збираются неровно: иным тяжело, а иным лехко...»^[94].

Февральским указом 1646 года правительство даже опережало развитие налогообложения в ведущих европейских странах. Здесь центр тяжести в сборе налогов с прямых на косвенные будет перенесен лишь

во второй половине столетия^[95]. Непосредственными причинами к тому станут бедственные последствия Тридцатилетней войны, более глубинными — распространение абсолютистской идеологии и практики.

В Европе новая модель налогообложения очень скоро даст свои положительные результаты. В Московском же государстве из этой затеи ничего не вышло. Модель просто не сработала. Резкое вздорожание соли вызвало протест и решительное неприятие подобного шага всеми слоями населения. При существующем типе домоводства, когда все делали запасы впрок, соль была не только важным продуктом питания, но приравнивалась к хлебу, привносила — в прямом и в переносном смысле — в повседневное бытие горьковатый привкус жизни. Соляной налог потому принимался как посягательство на привычный уклад и строй жизни. И трудно сказать, чего было больше в поднявшемся ропоте: сожаления по поводу непривычных расходов, ненависти к создателям нового налога или глубоко пессимистического взгляда на беспросветную, во всем стесненную жизнь.

Население скоро забыло, что отныне не надо платить обязательных стрелецких и ямских денег. Зато оно крепко помнило, что раньше соль обходилась дешевле. Первой реакцией стало резкое сокращение потребления соли. Не оправдались надежды получить большие деньги с имущих слоев, которые могли платить и которым соль действительно была нужна в больших количествах. Те предпочли обходиться своими запасами, которых, как оказалось, было немало. Одновременно приказы стали осаждать просьбами о разнообразных «соляных привилегиях». Особенно усердствовали монастырские власти, посылавшие во множестве своих стряпчих в столицу. По поводу одной

такой челобитной дьяк И. Патрикеев, тот самый, что некогда «провинился» с датской посылкой, разъясняя властям Спасо-Прилуцкого монастыря: нынче «с такой де челобитной сводят в тюрьму и бьют кнутом»^[96].

Подобное заявление — свидетельство политической воли правительства Морозова, не желавшего идти ни на какие отступления. Но воля не может заменить деньги. Денежного половодья, в предвкушении которого в верхах уже потирали руки, не наступило. Возможно, имей правительство запас времени и терпения — все бы сдвинулось с мертвой точки. Но ничего этого не произошло. Зато осталась острая потребность в средствах и возвращенная несвободой привычка к насилию — универсальному способу преодоления всех трудностей.

Соляной налог был признан мерой неудачной. В декабре 1647 года появился указ, извещавший о возвращении к прежней системе налогообложения. При этом население должно было уплатить ямские и стрелецкие деньги за прежние годы, пропущенные по причине «соляной затейки». Естественно, такая беззастенчивая ревизия собственного законотворчества лишь подлила масла в огонь. А памятником неудачного реформирования стала, по-видимому, невеселая притча, унаследованная следующими поколениями: «Пошли было на хлебы, да соль своротила»^[97].

Финансовые тяготы, столь щедро взваленные на плечи населения, оказались вдвойне обременительными из-за их исполнителей. Взгляд на власть как на лучший способ приращения богатства издавна был усвоен и освоен правящим сословием. Но именно эпоха Морозова в сознании современников стала временем такого вымогательства и произвола, что перед ним блекли все предыдущие образчики приказного и воеводского самоуправления. Да и что

можно было ожидать иного при сокращении или вовсе прекращении выплат служилым и приказным людям? То была прямая выдача населения на поток и разграбление воеводам и приказной братии.

Картины злоупотреблений и произвола были необычайно выразительны. С большой изобретательностью и ненасытной алчностью в приказах и съезжих избах кормились за счет просителей, прибегая к самым разнообразным приемам — от подлога до приказной волокиты. Торжествовало беззаконие и право сильного. «За кого заступы болшие, тем и дела чинятся», — констатировали люди вовсе не слабые, имеющие и деньги, и связи в приказах. Именно к этому времени относятся разговоры в народе о чудесном свитке, с которым только и можно отправляться в лапы приказных и судей: «Кто тот свиток учнет носить при себе и на суд пойдет, и того человека кривым судом не осудят»^[98]. К посвисту батогов прибавлялся и ропот заволоченных, обманутых, не нашедших правды в судах просителей.

Сам Морозов являл пример для своего алчного окружения. Было бы неверно сказать, что царский воспитатель не устоял перед соблазном власти. Такой дилеммы для него просто не существовало. Дождавшись на склоне лет своего часа, Морозов этим «часом» — властью — и пользовался, мало чем отличаясь от большинства своих предшественников. Разве что хватка у него была пожестче и аппетит волчий.

Правда, трудно обвинить Бориса Ивановича во взяточничестве и мздоимстве. Зато он с лихвой пользовался своим исключительным положением царского воспитателя и свояка. Еще в 1638 году он владел 330 дворами, из которых 11 были в совместной собственности с младшим братом Глебом Ивановичем.

То было неплохое, среднее состояние, обычное для пребывающего на вторых ролях боярина. С воцарением Алексея Михайловича все сдвинулось и пошло вперед со скоростью курьерского поезда. Борис Иванович не мелочился и счет приобретенному повел даже не на десятки и не на сотни крестьянских дворов, а на тысячи. В 1647 году во владениях боярина насчитывалось уже 6034 двора. Прошло еще шесть лет, и число дворов достигло цифры 7254. Мало кто из современников мог сравниться богатством с царским «дядькой». Разве только заклятый враг боярина, Никита Иванович Романов, владевший в 1653 году 7689 дворами, опережал его^[99]. Однако темпы его обогащения не шли ни в какое сравнение с морозовскими.

Состояние Морозова складывалось благодаря щедрым пожалованиям Алексея Михайловича. Это не мешало боярину при случае ущемить слабого соседа, переманить и укрыть за собой его крестьянина. В переписке с приказчиками и старостами он со знанием дела поучал их, как и каким образом обойти указ, отвадить настырного истца или сделать виновным безвинного ответчика. Стоя по своему положению на защите закона, боярин виртуозно же и нарушал его.

Неудивительно, что «новые господа», оказавшись у власти, взяли за образец своего лидера. Однако лишенные возможности получать щедрые царские пожалования, они по необходимости избрали другой путь обогащения — путь насилия и вымогательства. Все это окончательно дискредитировало политику правительства, а тяготы, с ней связанные, сделало непереносимыми.

Особую ненависть снискал глава Земского приказа Леонтий Степанович Плещеев. В ведении этого учреждения находились московские «черные слободы»,

так что именно с Плещеевым чаще всего приходилось сталкиваться столичному посадскому люду. Между тем Плещеев мало подходил для общения с простыми горожанами, на которых он смотрел исключительно с точки зрения собственного благополучия. Человек жестокий, с жилкой авантюриста, он в 1641 году был обвинен «в ведовстве и в воровстве», пытан, а затем сослан в Нарымский острог. Но и здесь он не успокоился — продолжал интриговать и похваляться, что вся Москва у него была в руке, а «я де и боярам указывал». При таком гоноре все закончилось тем, чем и должно было закончиться, — почти вправдашной войной Плещеева с местным воеводой и новым судебным разбирательством^[100].

Приход к власти Морозова освободил Плещеева. Он был возвращен в столицу, посажен на Земский приказ, где развернулся так, что скоро вся посадская Москва стала досаждать власти, «чтобы он отрешен был от должности, а на его место посажен был честный человек»^[101]. Но Леонтий Степанович оставался неуязвим. Постепенно имя Плещеева приобрело нарицательный смысл. Достаточно было современнику сказать «плещеевщина», как всё подразумевавшееся под этим словом — насилия, злоупотребления, беззаконие — уже не требовало пояснения.

Сильное озлобление, но только не у посадских, а у служилых людей по прибору вызывало имя главы Пушкарского приказа, шурина Морозова, Петра Траханиотова. Это был человек совсем другого склада, чем Плещеев. Единственно, что сближало их, — чрезмерная жестокость. Но Траханиотов, редкий для XVII столетия случай, «не корыстовался» и не мздоимствовал. Зато в своем служении государю и государеву делу был бескомпромиссен и никому спуска не давал. Проводя в Суздале и в других городах

«посадское строение», Траханиотов своей неуступчивостью так досадил церковным властям, что они буквально возненавидели неподкупного администратора.

Траханиотов и Плещеев — две крайности в окружении Морозова, но крайности очень характерные, ярко отражавшие существо той политики и тех методов, к которым имели склонность пришедшие к власти люди. Траханиотов — это осознание потребности в защите интересов государства, в обновленной и энергичной политике; Плещеев — это торжество своекорыстия, взгляд на власть как на средство обогащения.

Неплохо осведомленные о московских делах иностранцы сообщали о растущем богатстве царской казны, ее новых сокровищах, «каких не было в ней с самого царствования Иоанна Грозного»^[102], об интенсивных военных приготовлениях и создании на юге мощных укреплений. Все это было связано с именем Морозова.

Но с именем временщика оказывалось связанным и растущее в обществе напряжение. Произвол, мздоимство захлестывали страну. «Всему великому мздоиманью Москва корень», — открыто говорили в столице и в провинции, отчаявшись сыскать наверху правду. Лицемерные дьяки, способные «в посмех поставить» саму царскую волю, бессовестное «крапивное семя» подьячих, ненасытная морозовская креатура — все это вкупе с жесточайшим налоговым прессом неумолимо вело к взрыву. Московское государство все более уподоблялось пороховой бочке, к фитилю которой уже был поднесен огонь^[103].

Оставалось ждать взрыва.

Московское восстание

Растущее недовольство не ускользнуло от внимания Морозова. Но высокомерие, с каким верхи привыкли взирать на низы, мало помогало утверждению трезвого взгляда на вещи. Терпение народа казалось безграничным. Безнаказанность и вседозволенность притупляли чувство опасности. Застенок и стрелецкий бердыш воспринимались как несокрушимая сила, способная справиться со всеми трудностями. Разрыв между подлинными настроениями тягловых и служилых людей и тем, как все представлялось окружению Морозова, достиг угрожающих размеров.

В мае 1648 года Алексей Михайлович вместе с царицей отправился на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Между тем в столице усиливалось брожение. Собиравшиеся у приходских церквей жители черных сотен и полусотен — административно-тягловых единиц — решили по возвращении государя вручить ему петиции. О содержании последних можно лишь догадываться. Перехваченные позднее стражей и придворными, они были разорваны и растоптаны. Но из дальнейших событий ясно, что главными пунктами майских челобитных стали жалобы на Л. С. Плещеева, произвол и самоуправство которого достигли высших градусов.

1 июня толпа москвичей окружила возвращавшийся в город царский поезд. Но вручить челобитные государю не удалось. Стрельцы разогнали народ, арестовав нескольких челобитчиков. Чуть позже такая же неудача постигла просителей со следовавшим за Алексеем Михайловичем поездом царицы. Однако настроена толпа была уже более решительно. В

придворных, среди которых находился Морозов, полетели камни и палки.

Следующий день не принес успокоения. Напротив, возбуждение нарастало. По-видимому, составляя челобитные, посадские связали себя, как это часто бывало, общей записью — стоять «заединого», никого не выдавая. Потому «миры» готовы были вызволить своих челобитчиков. Момент показался вполне подходящим: на 2 июня был назначен крестный ход в Сретенский монастырь для празднования Сретения Владимирской иконы Божьей Матери.

Утром 2 июня Алексей Михайлович в сопровождении духовенства, московских служилых людей двинулся из Кремля на Сретенку. Во время хода челобитчики не досаждали царю. Основные события развернулись на обратном пути. Толпа окружила царя, оттеснила охрану и придворных. Самые отчаянные обвисли на узде коня, заставив Алексея Михайловича остановиться. По сообщению Адама Олеария, который черпал информацию в кругах, близких к Н. И. Романову, и у иностранцев, свидетелей восстания, царь был сильно напуган таким неожиданным нападением. И было отчего! Привыкнув к согбенным спинам и потупленным взглядам, Алексей Михайлович впервые столкнулся с распрявившимся народом.

Но это было только начало. Несколько дней московского гилья преподали второму Романову такой урок, какого он не получал за все прежние годы своего покойного и безмятежного царствования. И, пожалуй, именно в эти дни из-под *Символа* — царского сана, — пускай в смятении и страхе, впервые выглянул живой *Человек* — Алексей Михайлович.

В окружении негодующей толпы царь не решился отказать челобитчикам. Он пообещал рассмотреть жалобы и наказать виновных. Схваченных накануне челобитчиков, которых ждали застенки и пытка,

освободили. Быть может, еще 1 июня эти обещания и успокоили бы народ. Но толпа уже почувствовала свою силу. Следом за царем москвичи ворвались в Кремль. Тогда Морозов приказал стрельцам разогнать чернь. Но этот последний довод королей в древнерусском варианте — стрельцы вместо пушек — дал неожиданный сбой. Стрельцы отказались «сражаться за бояр против простого народа» и даже объявили, что «готовы вместе с ним избавить себя от насилий и неправд».

В поведении стрельцов была своя логика. Им так же, как и жителям посадов, пришлось вкушать дорогую морозовскую соль и платить, если они имели торги, пятикратную стоимость за новые клейменные аршины и весы. Им так же, как уездным служилым людям, урезали и задерживали государево жалованье и корма. Всего этого было достаточно, чтобы оттолкнуть стрельцов от руководителя собственного Стрелецкого приказа и превратить их в силу, которая не защищает, а опрокидывает временщика.

Решение стрелецких приказов разом склонило чашу весов в пользу восставших. Лишившись вооруженной опоры, морозовское окружение лишилось и привычного пренебрежения в обращении с «чернью». Власти вынуждены были начать переговоры. Однако первых парламентариев, боярина князя М. М. Темкина-Ростовского и окольного Б. И. Пушкина, приверженцев правителя, встретили так, что ободренные, они «одва... ушли в верх к великому государю»^[104]. В это время в Кремле и за его пределами начались погромы дворов Морозова и его сторонников.

Описание погромов попало почти во все повествования о восстании, вышедшие из-под пера иностранцев. При этом, естественно, внимание обращалось на то, что более всего поражало

воображение западноевропейского читателя. Ворвавшись в хоромы Морозова, народ будто бы крушил драгоценную утварь, перетирал в пыль драгоценные камни и жемчуг и под крики «то наша кровь!» бросал все в огонь. Едва ли это было типично. Позднее боярскую рухлядь находили в самых отдаленных уголках страны. Но насколько же, надо думать, были потрясены восставшие богатством боярина, если часть захваченной добычи они жертвовали в церковь (так, к примеру, поступили с полой изодранного на части кафтана Бориса Ивановича, которую отдали на покров иконы). Но в необычном на первый взгляд поведении толпы был свой смысл: обращая в прах несправедливо нажитое добро, «мир» утверждался в своей правде. Не разбойниками и татями выступали они, а судьями и мстителями.

Гнев народа настиг думного дьяка Назария Чистого. Ему припомнили разного рода финансовые и налоговые новшества, включая введение соляного налога. Накануне дьяк упал с лошади, ушибся и отлеживался в постели. По одной из версий, грозный рокот поднял его на ноги и заставил спрятаться в гряде веников на чердаке. Один из холопов выдал своего господина. Дьяка выволокли из укрытия и убили. В доме была найдена печать — по-видимому, малая государственная, которую хозяин прикладывал к дипломатическим документам. находка тотчас породила слухи об измене — одном из самых популярных «мотивов» народного бунта, когда восставшие находили оправдания содеянному в том, что «выводили» из государства измену и изменников.

3 июня народ уже не просил, а требовал, вполне освоившись с языком угроз и ультиматумов. И главным стало требование наказания самых одиозных фигур — Морозова, Плещеева и Траханиотова.

Царское окружение пребывало в отчаянном положении. Опереться на придворных и московское дворянство не было никакой возможности. Бунтовщики на всякий случай просто ссаживали с лошадей и разоружали ехавших на службу жильцов и дворян. Правда, у правительства еще оставались иноземцы, но их было слишком мало, чтобы задавить бунт. Потому оставалось только одно — продолжать переговоры. Но вот вопрос — кто их мог вести и к чьему голосу мог бы прислушаться народ? Поневоле пришлось вспомнить о придворной оппозиции, лидеры которой были популярны среди москвичей.

Московские события застали боярина Романова в одном из подмосковных сел. Умный боярин сразу смекнул, что движение может обернуться к его пользе. Не мешкая, Никита Иванович появился в столице. К тому времени стало ясно, что правителю ни за что не договориться с народом — одно появление Морозова приводило массы в ярость и сопровождалось криками, от которых у боярина, должно быть, леденела кровь: «Да ведь тебя нам и нужно!»

Иначе встречали низы бояр Н. И. Романова и Я. К. Черкасского. К 1648 году демонстративное неприятие правительственного курса создало Никите Ивановичу репутацию народного заступника, который «праведному государю во всем радеет и о земле болит». Так что его приезд вызвал волну энтузиазма.

Появившись в столице, Никита Иванович не спешил во дворец. Он повел себя как завзятый фрондер, выжидая, когда к нему придут из Кремля и *поклонятся*. Да он, собственно, и был фрондером, только на русский, доморощенный пошив. Стоит напомнить, что во Франции тем же летом начнется своя фронда, в которой принцы, также с помощью народа, примутся раскачивать и валить первого министра Мазарини. И

так же, как и в России Романов с Черкасским, немало в этом поначалу преуспеют.

Алексей Михайлович вынужден был сделать первый шаг — послать за дядей. Ответ на приглашение, якобы принадлежавший Никите Ивановичу, звучал как дерзость: он заявил, что если государь в мирное время правил без него, то может это сделать со своими советниками и в дни мятежа. Насколько точны эти слова, сказать трудно. Известна высокая осведомленность иностранцев о происходящем в Кремле (это их особенно интересовало и было для них жизненно необходимо). Но известно и чрезмерно вольное обращение западноевропейских авторов с фактами. Определенно можно утверждать одно: Никита Иванович и его сторонники просто так роль посредников брать не собирались и выдвинули свои условия. Все еще более усложнилось: к социальному противостоянию прибавилась острая борьба придворных группировок за власть.

В Кремле молча проглотили оскорбительный выпад боярина — было не до «мелочей» — и возложили на Никиту Ивановича миссию переговоров с народом.

Переговоры, которые повели Романов и Черкасский в присутствии высшего духовенства и придворных, свелись (в пересказе А. Олеария) к призыву, «чтоб миром утолилися». «Утоление» предполагало исчезновение из царского окружения самых одиозных фигур. Для Романова это означало устранение удачливых соперников, для народа — торжество справедливости. Но такой поворот никак не устраивал ни царя, ни тем более Морозова. В государевых комнатах решено было, откупившись головою Леонтия Плещеева, спасти Морозова и Траханиотова.

Между тем в самой Москве ширились погромы. Восставшие, кажется, уже не особенно пытались разобраться в «партийной» принадлежности

владельцев дворов. Разгрому подвергались дворы приказных, московских дворян. Очень скоро начались пожары. Огонь быстро распространился по Белому городу, от Неглинной до Чертольских ворот. Затем пламя перекинулось за Никитские и Арбатские ворота на Земляной город. Огненная стихия уже не делала никаких различий. Страдали все. Даже двор Н. И. Романова на Никитской выгорел без остатка. Тотчас поползли слухи, что огонь вспыхнул не просто так, а по морозовскому наущению.

В нашей по преимуществу «деревянной» истории поджог — средство универсальное и почти всегда безымянное. Едва ли историки получают возможность со всей определенностью утверждать, что в июне 1648 года Москву специально запалили или, напротив, Москва загорелась случайно. Но зато в этой неопределенности всегда присутствует вполне определенная позиция москвичей: сгорая от грошовой свечи, они предпочитали видеть в пожаре злой умысел и конкретного виновника — того, кого не любили, а лучше всего — кого ненавидели. Потому Борис Годунов, «убив» царевича Дмитрия, «повелел на Москве многих дома пожещи, дабы мир умолчал»^[105]. То же мы видим и в июньской Москве 1648 года: жгут по повелению Морозова, чтоб людей отвлечь, и будто бы уже схвачены поджигатели, холопы Бориса Ивановича, покаявшиеся в содеянном. Всего этого было достаточно, чтобы кипение достигло наивысшего градуса.

Первый итог переговоров — казнь Плещеева. Утром 4 июня в сопровождении палача его вывели на Красную площадь. Разъяренная толпа бросилась на него, не дав довести даже до плахи. Бесстрастный летописец позднее отметил: Плещеева «убили всем народом камнем и палками до смерти».

Пожары и расправа распалили низы. Они вновь заполнили Кремль, требуя выдачи Морозова и Траханиотова «за их великую измену и за пожар».

Траханиотова в Москве уже не было. Накануне с грамотой на воеводство в Устюжну Железнопольскую он благополучно выскользнул из столицы. Меньше повезло Морозову. Его попытка побега не удалась, и, узнанный в Дорогомиловской слободе, он едва унес ноги. Это событие стало прелюдией к «главному страху», который пришлось испытать кремлевским обитателям. Московская «чернь», посадские люди и стрельцы бушевали в Кремле, угрожая ворваться во дворец и расправиться с Борисом Ивановичем.

В этой ситуации довериться Черкасскому и Романову оказалось невозможно. Нетрудно было догадаться, что такие переговорщики были кровно заинтересованы в избавлении от всемогущего временщика руками народа. Причем так, чтобы никогда с Морозовым более не сталкиваться.

Восемнадцатилетний царь принужден был сам, без посредников, говорить с возбужденной толпой. Собственно, это был не разговор, а «умоление». Выйдя на крыльцо, Алексей Михайлович просил пощадить Бориса Ивановича, обещая навсегда удалить его из Москвы и более никогда не поручать ему никаких дел. По одному из свидетельств, царь будто бы даже плакал. Обещание было закреплено крестоцелованием.

Поступок царя произвел на всех огромное впечатление. Не случайно в провинциальном изложении московских событий это «слезное умоление» восставших неизменно оказывалось в центре повествования^[106]. Так с народом давно не говорили. Но надо отметить и поведение самого Алексея Михайловича, готового преступить ради спасения своего «дядьки» даже через собственную гордость. Это

искренняя, не на словах, а на деле, привязанность молодого государя к своему воспитателю, которого он почитал и любил как отца, приоткрывает чисто человеческие качества второго Романова, способного на благородный поступок.

Но спасение старого боярина было куплено не только царским челобитьем к народу, а и жизнью окольного Траханиотова. Посланный вдогонку князь Пожарский настиг его близ Троице-Сергиева монастыря. Напрасно привезенный в лавру окольный молил у раки преподобного Сергия о заступничестве. Связанный и посаженный в простую телегу, он был доставлен в Москву. 5 июня его вывели к плахе и отсекли голову. Официальная версия гласила, что Траханиотова казнили за многие вины, измену и поджог. Несколько месяцев спустя, когда движение пошло на убыль, его родственникам было объявлено, что Петр Тихонович сложил голову «без вины, государевы кручины и опалы»^[107]. Это, конечно, спасло репутацию Траханиотова, но не его имения, пошедшие в раздачу помещикам.

Происшедшее имело свой аналог — 1547 год. Ровно 101 год назад, в том же злополучном июне, после страшного пожара, который унес несколько тысяч жизней и 25 тысяч дворов, москвичи также ворвались в Кремль и выволокли из Успенского собора родного дядю царя Василия Глинского. Его тут же растерзали (как и Плещеева), но «не утешились» — в невероятных бедствиях винили всех Глинских — и 29 июня двинулись к подмосковному селу Воробьево, где после пожара приходил в себя Иван IV. Вид вооруженного народа, подступившего к подгородной царской резиденции, потряс Ивана. Видевший раньше лишь склонившуюся «чернь», Иван впервые столкнулся с иным народом — яростным, всепокрушающим, пред которым меркло

даже величие его власти. Реакция царей Ивана и Алексея оказалась, по сути, одинаковой — страх и потрясение от собственного бессилия. Алексей Михайлович плачет и умоляет. Иван Васильевич позднее признается: «И от сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моа».

Сказано сильно! Правда, официальный источник прибавляет, что трепещущий от страха царь будто бы повелел наказать дерзких москвичей. Но, видимо, к истине все же ближе так называемый «Летописец Никольского»: первый царь отпустил москвичей по домам, «не учини им в том опалы». Произошло это, конечно, не от Иванова мягкосердечия, а от слабости: нечем и нечем было вразумлять москвичей! Совершенно так же, как в 1648 году.

Но чувство страха и отчаяния — не единственное, что роднило двух царей в эти два памятных года — 1547-й и 1648-й. Бедствия подобного размера осмысливались в сознании людей того времени как Божественное «попущение», как наказание за грехи. «Великие пожары» в Москве представлялись не только знаком божественного гнева за зло, сотворенное боярами и воеводами, но и как наказание монарха, пренебрегшего своими обязанностями. «На ком то ся взыщет?» — гневно вопрошал знаменитый поп Сильвестр, духовный отец Ивана, имея в виду многочисленные неправды, ненависть, гордость, вражду, маловерие к Богу, «лукавое умышление на всякое зло». Биографы Ивана Грозного отмечают, что именно грозные события 1547 года вызвали резкую перемену в поведении Ивана. Царь оставил все развлечения, включая охоту, и занялся спасением собственной души и царства — молитвами и государственными делами^[108].

Мысли о Божественном «попущении» одолевали и Алексея Михайловича. Правда, в отличие от своего «деда», его личное поведение как будто бы не давало к этому повода. Те прегрешения, включая «содомский грех», которые возлагались на Ивана Васильевича, были неведомы второму Романову. Напротив, он с самых пеленок был тих и благочестив. Но он царь, и как царь ответственен пред Богом за все, что творится в Православном царстве. Московские события заставили Алексея Михайловича задуматься о своей роли и месте в управлении государством. Отныне не одно чистосердечное покаяние, но и благочестивые монаршие дела, которые никому нельзя передоверять, станут все более занимать Тишайшего. Оказалось, что для того, чтобы повзрослеть, чтобы начать править, а не просто царствовать, нужны не женитьба и не рождение сына-наследника, а сильное потрясение, способное разрушить непоколебимое благодушие. Это было первое, самое явное следствие московских событий для Алексея Михайловича.

...Параллельно с казнями и переговорами с восставшими в Кремле шла смена правящих лиц. Ключевые посты, некогда принадлежавшие царскому «дядьке», переходили в руки его противников. Князь Яков Куденетович Черкасский возглавил приказы Стрелецкий, Иноземский и Большой казны. Н. И. Романов стал появляться в думе, где, по некоторым сведениям, даже председательствовал.

Однако опомнившийся от первого испуга, «вымоленный» Борис Иванович не спешил сдавать все свои позиции. Он преподнес своему воспитаннику показательный урок борьбы за власть. Его сила — в царской приязни. А это аргумент чрезвычайно мощный, заставляющий многих в правящей элите сдержанно отнестись к победившей группировке Романова —

Черкасского и дающий Морозову шанс перехватить инициативу.

Прежде всего следовало заручиться поддержкой стрельцов — главной силы столичного гарнизона. Сторонники Морозова, среди которых числился сам патриарх Иосиф, наперебой зазывают стрельцов в свои дворы. Здесь им устраивают обильные угощения. Даже царица не остается в стороне, пожаловав стрельцам бочку вина. Задача этой «агитационной кампании» — организовать челобитье стрелецких полков и, если удастся, посадских слобод и сотен об оставлении в Москве Морозова. Перед таким напором верхов нелегко было устоять. Раздались робкие голоса в пользу царского свояка. Но ненависть к временщику быстро пересилила. Призывы отступников не были услышаны. Больше того, москвичи будто бы побили их камнями.

Морозов вновь стал появляться в думе. Это было уже демонстративное нарушение царского обещания об устранении боярина от дел. Делалось все с ведома Алексея Михайловича, хотя для последнего, человека глубоко верующего, столь открытое пренебрежение крестным целованием, несомненно, было связано с душевными муками. Выход из ситуации нашли, впрочем, вполне канонический: крестоцелование было дано под принуждением, в чем никто не сомневался, а это давало право патриарху или духовнику разрешить от него молодого государя.

Неизвестно, дошло ли до освобождения царя от крестоцелования в эти дни. Зато известно, что старый боярин слишком рано воспрянул духом. Он недооценил силу и влияние своих противников. Первыми забили тревогу бояре Романов и Черкасский. В ответ на демарш Морозова в Боярской думе Никита Иванович попросту перестал в ней появляться, объявив о своей болезни. Боярин и в самом деле не отличался крепостью тела. Однако на этот раз мало кто усомнился в истинных

причинах «недомогания» Романова. То был протест против нарушения договоренности относительно Морозова. Я. К. Черкасский прибег к не менее демонстративному приему: он перестал заниматься делами приказов и стал отсылать всех просителей и челобитчиков к Борису Ивановичу: мол, вопреки всему и даже вопреки царскому слову, Морозов по-прежнему — власть [\[109\]](#).

Все эти приемы и приемчики, пускай и стоящие на вооружении людей родовитых, едва ли могли принести успех, не поддержки их сила на тот момент решающая — посадский мир и служилые люди, включая даже провинциальное дворянство. Последних в связи с предстоящей службой немало собралось в столице. Известия о мятеже и о будто бы предстоящих денежных пожалованиях еще более увеличили это скопление: дворяне и дети боярские вереницей потянулись в столицу.

Казалось, что обремененные собственными заботами дворяне должны были раствориться среди столичных жителей. Но этого не случилось. В Москве появилась новая сила, способная наравне с посадскими людьми и стрельцами влиять на события. Уездные дворянские корпорации приучили помещиков к дисциплине и организованности. По сути, служилые «города» выполняли роль сословных объединений, и в июне 1648 года это очень скоро подтвердилось. Вместе с посадскими «мирами» дворянские «города» не упустили возможности использовать бессилие и паралич власти для достижения своих сословных требований. К тому же в горячие дни московского гиля они ощущали не меньшую, чем «черные люди», ненависть к Морозову и его сторонникам. Царский «дядька» был для них олицетворением всех бед, невзгод и несбывшихся надежд, замерцавших с

восшествием царя Алексея на трон и быстро закатившихся в правление Бориса Ивановича.

О последующих событиях мы узнаем из донесений шведского резидента Поммерининга. Резидент появился в столице в 1647 году для того, чтобы, по определению дьяков, разрешать небольшие дела без посольских пересылок^[110]. К счастью для историков, Поммерининг оказался человеком ловким и предприимчивым. По долгу своей службы — знать всё о замыслах и интригах, которые плелись при царском дворе, — он был в курсе того, о чем русские источники или не ведали, или предпочитали умалчивать. Именно из его донесения в Стокгольм от 6 июля известно о появлении Морозова в думе и реакции на это Романова и Черкасского. Но еще примечательнее следующие строки этого донесения: когда «его царское величество узнал, о чем боярские дети совещаются с простым народом», то он велел тотчас рано утром, в первом часу, отослать Морозова под сильным конвоем в Кирилло-Белозерский монастырь.

Что же это за таинственное «совещание», столь напугавшее Алексея Михайловича и заставившее его сделать то, чего не сумели добиться ни Романов, ни Черкасский? Совещание — проявление того союза, или, по определению современников, «единачества», который сложился между посадом и служилыми «городами» во время восстания. Долгое время в советской историографии существование подобного союза отрицалось. Его не видели, потому что не хотели видеть, потому что считали невозможным, чтобы помещик и посадский человек в решении своих социальных задач стояли «заедино». Но на самом деле в подобном союзе не было ничего необычайного. Посадское население феодального города и члены «города» служилого вовсе не воспринимали друг друга

заклятыми врагами. Их социальные устремления редко совпадали, а порой даже сталкивались. Существенно различался их статус. Однако это не значит, что у них не было общих точек соприкосновения и политической воли к сотрудничеству. В 1648 году их объединила общая ненависть к Морозову и его курсу. Падение Морозова означало для них торжество Правды, крушение могущества «сильных людей». «Нынеча величество ваше вершилось» — так эмоционально сформулирует эту общую мысль один из провинциальных ливенских служилых людей. А другой дворянин, Семен Колбецкий, дополнит ее: «Ныне государь милостив, сильных из царства выводит». Уточнено, и как именно их «выводят», — ослопьем и камнями.

Но чтобы утверждать такое, как раз и нужно было «вывести из царства» самого сильного из сильных — Морозова. Совещание боярских детей, то есть провинциальных дворян с «простым народом» — посадскими «мирами», проходило, по-видимому, между 6 и 10 июня. Именно 10 июня была подана выработанная на совещании Большая всенародная челобитная с решительным требованием наказать виновных. Похоже, что в отличие от первых дней восстания эта челобитная была подана не под крики мятежников. Но испугала она правительство не меньше, чем буйствующая толпа на Соборной площади. За челобитной стояла организованная сила, и угроза, исходившая от нее, побуждала идти на новые уступки.

Морозов и Алексей Михайлович без труда уловили это. Уже утром 12 июня наскоро собравшийся в дорогу Борис Иванович отправляется в Кирилло-Белозерский монастырь. Его сопровождает большой и на первый взгляд странный конвой. Это были придворные, призванные, по-видимому, охранять царского воспитателя, и представители от «городов» и

московского посада, которые скорее не охраняли, а следили за точным исполнением договоренности между царем и всем «миром».

Кирилло-Белозерский монастырь был избран не случайно. Традиция давно связывала его с московским правящим домом. Еще в 1447 году игумен Кирилловой обители Трифон во время Шемякиной смуты разрешил Василия Темного от клятвы не искать московского стола. «А тот грех на мне и на головах моей братии, мы за тебя, государь, Бога молим и благославляем», — объявил игумен, высвобождая руки Василия Темного для дальнейших действий против удачливого двоюродного брата. Неизвестно, вспоминали ли в 1648 году в Москве об этом случае. Но на прочность монастырских стен и готовность старцев услужить полагались вполне. Алексей Михайлович поспешил подкрепить настрой братии собственноручными письмами, в которых был равно щедр на посулы и угрозы: «Однолично бы вам боярина нашего оберегать от всякого дурна, а будет над ним какое дурно учинится, и вам за то быть от нас в великой опале»^[111]. В подобных выражениях — по крайней мере, если судить по тому, что сохранило от Алексея Михайловича время — он до сих пор ни с кем не разговаривал.

Сам Борис Иванович не собирался надолго покидать Москву. Он даже не считался ссыльным. В официальных грамотах Борис Иванович именовался «богомольцем» на Белоозеро. Вот показательный штрих: за день до своего отъезда, в тот самый момент, когда воспрянувшие духом соседи павшего временщика надеялись наконец-то добиться справедливости и вернуть всех своих вывезенных и утаенных Морозовым крестьян и холопов, боярин наставлял своих приказчиков, чтобы они «ни в чем бы не сумневались» и оберегали его интересы. Если же кто, включая крестьян, начнет «дурить» и «завод

заводить», то он скоро станет таких ослушников «смирять».

Эти уловки лучше всего характеризуют царского воспитателя. При всем своем уме и опытности Борис Иванович не сумел удержаться на высоте своего положения. Вторая натура боярина — корыстолюбие — одолевала его и до падения, и после, и не было у него сил не то чтобы одолеть этот недуг, а просто признать его таковым.

Неизвестно, как и насколько повлияли вскрывшиеся злоупотребления и плутни Морозова на его воспитанника. По поведению Алексея Михайловича видно, что он предпочитал смотреть на них глазами боярина — как на происки недоброжелателей и врагов. Однако к прежней идиллии возвратиться уже не было никакой возможности. Молодому государю приходилось мириться с мыслью, что многое неладно в его Православном царстве и от перемен уже никуда не уйти.

Между тем Романов и Черкасский, избавившись от грозного противника, спешили закрепить свой успех. Сторонники победившей группировки теснят проигравших в приказах. Заметны перемены во внутренних делах. Прежняя скупость сменяется неслыханной щедростью, знаменитая «московская волокита» — неслыханно быстрым разрешением затянувшихся тяжб. Морозов еще не успел далеко отъехать от столицы, как 12 июня последовал указ об отмене правей недоимок. Отныне указано было «доимку выбирать исподволь». В действительности на тот момент это означало совсем «не выбирать» их, поскольку одно явление сборщика недоимок вызывало бурный протест населения. Падение временщика приветствовалось всеми, включая дворянство, которому, как писали современники, все происходящее было «очень приятно».

Однако торжество романовской «партии» не было полным. Сохранил позиции и даже выдвинулся вперед тесть царя и боярина Морозова И. Д. Милославский. Чистка приказов также не была всеобъемлющей. Но главное, не удалось пошатнуть приязнь царя к своему воспитателю. Нетрудно было предугадать, что достигнутое Романовым и Черкасским превосходство непрочное. Да и само противостояние придворных группировок с отъездом Морозова вовсе не закончилось.

В такой ситуации противники Морозова могли чувствовать себя относительно прочно лишь при активной поддержке посада и провинциального дворянства. Эпизод с высылкой Морозова наглядно показал, насколько она значима и эффективна. Но за поддержку необходимо было платить. Этим, собственно, победившая группировка и вынуждена была заняться, оправдывая авансированное им доверие служилого «города» и посада.

На практике это оказалось не простым делом. Средние слои вовсе не были скопищем неразумных и доверчивых простаков. И если в своей борьбе Романов и Черкасский неплохо использовали в своих целях их ненависть к Морозову и его людям, то и служилые и посадские, в свою очередь, поворачивали раскол в верхах к своей пользе. Они не просили милостыню, но требовали, настаивали, грозили. Поток челобитных все время нарастал, превратившись в конце концов в настоящие социальные программы «средних слоев», игнорировать которые не смели ни проигравшие, ни победители, ни сам Алексей Михайлович. Отныне одними угощениями, обещаниями и царскими слезами нельзя было отделаться. Вопрос «кто кого» переместился в сферу социальную: кто полнее и решительнее удовлетворит требования посадских «миров» и служилых «городов», тот и получит если не

решающее, то, по крайней мере, осязаемое преимущество.

Требования посада и уездного дворянства наиболее полно прозвучали в Большой всенародной челобитной 10 июня 1648 года. Той самой, которая появилась в результате совещания детей боярских с «простым народом» и которая заставила скромного «богомольца» Морозова удалиться из Москвы. Эта челобитная удивительна в своей противоречивости. Просительная по форме (челобитная!), она была вызывающе дерзка по содержанию и тональности. Этот документ насквозь пропитан духом разгульного торжества улицы, заговорившей с властью языком силы.

Представители «всенародного множества Московского государства» были неутомимы в исчислении злоупотреблений и непорядков. Они писали об обидах и незаконном самоуправстве «сильных людей» и приказных, на которых невозможно было сыскать суд и управу. Вспоминая о прежних своих жалобах, челобитчики сетовали на царское долготерпение и нежелание первых Романовых «суда и гнева пролити» на народных обидчиков: «...А все плачутся на государя, что государь де за нас бедных и малородных и беспомощных не вступается, выдав свое государство на грабленье». И тут же авторы Большой челобитной напоминали, к чему может привести подобное пренебрежение народными нуждами: «Ведомо тебе, праведному государю, самому, что Бог над Московским государством преж сего учинил, дондеже мало не всех потребил». И далее: Бог, избрав Романовых на царство, вручил им «царские менночоты (здесь: мечи. — *И.А.*) во оттишение злодеем, в похвалу добродеем».

Челобитчики недвусмысленно предупреждали, что бездеятельность Алексея Михайловича при «умножении злодеев, которые будучи у твоих государевых дел,

только богатство собирают и мир губят», ведет к тому, что государь ссорится со всею «землею». Оттого и многое «нестроение» — бунт и «огненное запаление». Выход челобитчики видели прежде всего в созыве Земского собора, на котором каждое из сословий поведало бы о своих горестях и добилось бы коренной перемены суда, судопроизводства и права.

Большая челобитная выражала твердую уверенность посадских «миров» и служилых «городов» в том, что со справедливым и грозным государем они смогут одолеть бояр-изменников и воров-приказных и сменить их разорительное всевластие на справедливое управление. Было бы совсем просто причислить подобный взгляд к очередному проявлению наивного монархизма. Здесь скорее иное: осмысление земщиной, служилым людом на свой лад самого существа сословно-представительной монархии, призванной прислушиваться и опираться на мнения сословий и мирские устои. Такая модель естественно не могла примириться с тем, что было прежде, когда «о чем де они ему, государю, не бьют челом, и он де, государь, за них не стоит»^[112].

Авторы «челобитенки всемирного плача» перечислили то общее, что объединяло служилых и посадских людей: это прежде всего недовольство существующим судом, законодательством и собственным социально-юридическим статусом. В контексте прежних обращений торгово-ремесленного и служилого люда такая направленность обращения свидетельствовала о более глубоких причинах движения, чем одно только неприятие и протест против политики Морозова. То были, по сути, причины видимые, но не единственные.

Городские восстания середины столетия были рождены острой социальной неудовлетворенностью,

которую испытывали средние слои русского общества. Эта неудовлетворенность копилась в продолжение 20-40-х годов, когда самые заветные чаяния уездного дворянства и посадского населения не получали удовлетворения; затем она испытывалась на долготерпение морозовской солью и батогами, пока, наконец, не взорвалась набатным всполохом московского восстания.

В исторической литературе нередко подчеркивается, что дворяне и дети боярские воспользовались движением низов, «черни» и заставили правительство пойти на уступки. Это в самом деле так. Но правда и то, что служилые «города» долгие годы с завидным упорством пытались придать своим владельческим и крепостническим мечтаниям четкие юридические формы. Поскольку же правящие круги шли им навстречу с понуканием и отступлениями, то стоит ли удивляться, что в решающий момент Алексей Михайлович и его окружение оказались один на один не только с восставшими посадом и стрельцами, но и с враждебно настроенной поместной армией. Она заняла позицию своеобразного враждебного нейтралитета, недвусмысленно объявив о своей готовности встать на сторону того, кто поддержит ее требования.

Авторы Большой челобитной настаивали на том, чтобы царь воевод и «судей бы неправедных потребил», заменив их «праведными судьями»; если же такое государю затруднительно, то ему следует положиться «на всяких чинов на мирских людей», которые «выберут в суди меж себя праведных и расудителных великих людей, и ему государю будет покой от то всякие мирские докуки ведати о своем царском венце, а ево государевым боярем будет время от ратных росправах и разсудех в своих домех»^[113]. По сути, это предложение реформы местного суда и управления с широким

привлечением посадских и служилых людей. Притом само предложение, если вдуматься, звучало дерзко, почти оскорбительно, хотя и было преподнесено как стремление освободить государя от «мирской доуки».

Примечательно, что два года спустя правительство Алексея Михайловича, не без удовольствия, выговорит от имени царя псковским мятежникам на аналогичное предложение соучастия в управлении: «А мы, великий государь, з Божиею помощью ведаем, как нам, великому государю, государство свое оберегать и править... И нам, великому государю, указывать не довелось, холопи наши и сироты нам, великим государем, николи не указывали»^[114]. Но в июне 1648 года, когда перед глазами стояли разграбленные хоромы морозовских приверженцев, на такую отповедь смелости не хватило. Да и не желали, при всем своем несогласии со многими положениями Большой челобитной, Романов с Черкасским ссориться в этот момент со столь необходимой им улицей!

16 июля 1648 года в Москве был собран Земский собор. Он не отличался ни широким представительством, ни правильными выборами. Служилые «города» послали, по-видимому, на него своих представителей из числа тех дворян и детей боярских, которые оказались в июле в столице. Это было тем проще сделать, что Москва не пустела, и в нее продолжали съезжаться дворяне, чтобы ударить челом о своих нуждах. Требования посада прозвучали из уст москвичей. Но неполнота собора никого не смущала и вполне укладывалась в рамки тогдашнего правосознания. Сам же собор интересен как реакция правительства Романова и Черкасского на требования средних слоев. Со времени восстания в Москве прошло более месяца. На улицах царило спокойствие. Но в условиях, когда главные требования челобитчиков так и

остались без ответа, это спокойствие мало кого могло обмануть. Приходилось в любой момент ожидать нового взрыва. Собственно, взрывы и происходили, переместившись из столицы в провинцию. Почти каждый день приносил новые известия о волнениях в городах. Так что напряжение, подобно июньскому, и было тем фоном, на котором принимались решения Земского собора.

Насколько были жаркими споры на июльском соборе 1648 года, можно лишь догадываться. Известно, что выборные люди били челом «о всяких своих делах», которые в конце концов вылились в главное требование — провести судебную и правовую реформы. В новом своде законов — Уложении — представители средних слоев видели главное средство для лечения язв, которыми была поражена власть. Но для разработки и принятия столь важного свода законов следовало собрать более представительный Земский собор. Как было сказано в грамотах об организации выборов на новый собор, это было необходимо для того, чтобы государево и земское дело «утвердить и на мере поставить, чтоб те все великие дела по нынешнему государеву указу и соборному уложению впредь были ничем нерушимы»^[115].

Всю подготовительную работу, связанную с созданием проекта нового законодательства, должен был выполнить Уложенный приказ (комиссия). Он появился сразу же по окончании июльского Земского собора. Для противостоящих придворных партий было совсем не безразлично, кто окажется во главе этого учреждения. Приказным судьям предстояло общаться с выборными, а значит — привлекать к себе служилые «города» и посадские «миры» и отваживать их от соперников. В июле сторонники Морозова еще были слабы, чтобы посадить в приказ своих людей. Но они

были достаточно влиятельны, чтобы не допустить в Уложенную комиссию ярых приверженцев Романова и Черкасского. В итоге во главе приказа оказались люди нейтральные, до сих пор стоявшие в стороне от противоборствующих придворных «партий».

Возглавил Уложенный приказ боярин князь Никита Иванович Одоевский. В 1648 году ему было далеко за сорок. Возраст почтенный. Однако Никита Иванович пока не мог похвастаться весомыми успехами в своей карьере. Впрочем, он оказался долгожителем. Князь проживет еще почти столько же, сделает блистательную карьеру и достигнет первенствующего положения в думе. При Алексее Михайловиче он станет ближним боярином, хотя уже с середины 60-х годов старость и болезни, по замечанию одного знатного поляка-пленника, нередко будут препятствовать ему «присутствовать в Тайном Совете своего государя»^[116]. Между тем мало кто из председательствующих в думе мог видеть сидящими рядом на боярской скамье и сына, и внука, и племянника. Одоевский видел. Одно это превращало Никиту Ивановича в целую эпоху, вобравшую в себя царствование пятерых (!) Романовых, трех из которых князь умудрился проводить в могилу!

Правда, начало правления Алексея Михайловича не сулило Одоевскому ничего хорошего. Никита Иванович был женат на дочери Ф. И. Шереметева, и одно это заставляло Морозова смотреть на него с подозрением и при случае удалять из Москвы. В 1646 году боярин был отправлен большим воеводой в Белгород, затем возглавил Казанский дворец. Однако Одоевский вел себя по отношению к царскому «дядьке» вполне лояльно. С другой стороны, аристократическое происхождение и прежние связи сближали его с «обиженными» боярами Романовым и Черкасским. Так что в момент назначения на пост главы Уложенного

приказа Одоевский, по-видимому, устраивал всех. Хотя бы потому, что у каждой из противоборствующих «партий» сохранялась надежда привлечь его на свою сторону. Но Одоевский «перехитрил» всех: он сумел заслужить доверие Алексея Михайловича, сохранив самостоятельность и не примкнув открыто ни к одной из сторон.

Товарищем Одоевского стал князь Федор Федорович Волконский по прозвищу Мерин. Службу он начал еще в годы Смуты, когда в звании стряпчего защищал столицу от отрядов царевича Владислава. Вскоре он приобрел репутацию человека решительного, предпочитающего иметь дело с саблей, а не с пером. В 1634 году, после капитуляции смоленской армии М. Б. Шеина, он возглавил оборону плохонькой крепостицы Белой близ Дорогобужа. Войска польского короля Владислава IV в эйфории победы собирались забрать ее мимоходом — и споткнулись о мужество немногочисленного гарнизона и его энергичного начальника. «Шеин мне не в образец!» — такими гордыми словами отвергал князь все предложения о капитуляции. Крепость сопротивлялась так, что, по признанию поляков, Белая скоро стала красной от крови осаждавших и осажденных.

За свою службу Волконский был пожалован в окольничие и стал ведать Челобитным приказом. В 30-е — начале 40-х годов он был близок к Черкасскому и Шереметеву. В 1643 году его отправили в Астрахань для борьбы с калмыками. Здесь он застрял надолго: пришедший к власти Морозов не спешил возвращать его в Москву. Появился Волконский в столице лишь в 1647 году. Продолжительное отсутствие позволяло смотреть на него как на человека нейтрального и сговорчивого — следовало же ему к кому-то приткнуться?!

Третьим судьей Уложенного приказа стал окольный князь Семен Васильевич Прозоровский. Он был в родственных отношениях с Черкасским и, конечно, при нем его карьера сложилась бы лучше, чем при Морозове, посадившем Прозоровского на незавидное место начальника Ямского приказа. Неизвестно, какую линию поведения избрал Прозоровский в Уложенной комиссии. Зато по окончании работы Земского собора и Уложенной комиссии он не был оставлен в Москве. Его ждало воеводство в Путивле.

Дьяками Уложенного приказа стали Ф. Грибоедов и Г. Леонтьев. Всем этим лицам, вместе со съезжавшимися в столицу земскими выборными, предстояло работать над Уложением, призванным унять нежданно-негаданно обрушившиеся на страну и власть «бунташные времена».

Соборное уложение

С созывом Земского собора спешили. В грамотах, рассылаемых по городам, воеводам строго было приказано «не волочить» с выборами. И не случайно: в середине лета 1648 года для власти не было ничего важнее Земского собора и нового Уложения. Эти два события представлялись судьбоносными для страны и ее будущего. Но история нередко распоряжается по-своему, вовсе не обращая внимания на то, что нужнее власти. В ней одновременно могут происходить события, одни из которых из-за производимого шума кажутся почти эпохальными, а другие, неприметные и бесшумные, — совсем не заслуживающими внимания. О них до поры до времени даже не знают! А потом все оказывается наоборот.

Нечто подобное случилось в июле: пока писались, рассылались, читались и исполнялись грамоты о выборах, на восток из Нижнеколымска (одна изба с нагородней!), «для прииску новых неясачных людей», двинулся немногочисленный отряд Семена Дежнева. Этот очередной поход «встречь солнцу» в исторической ретроспективе оказался не менее значимым, чем предстоящий Земский собор и Соборное уложение. Последние очень быстро из настоящего стали достоянием прошлого. Дежнев же, того не ведая, больше трудился для будущего. Казаки, обогнув на ладьях Чукотский Нос (то есть открыв пролив между Америкой и Азией), весной 1649 года в устье реки Анадырь срубили острог — один из первых форпостов России на Тихом океане. Многотрудная сибирская эпопея в своем движении на северо-восток подошла к естественному рубежу — дальше был океан.

В Москве ничего не было известно об этих событиях. Да если бы и узнали, едва ли придали им большое значение. Такие новости обыкновенно не выходили за стены Сибирского приказа и интересовали верхи разве только с точки зрения пополнения государевой казны сибирским «мягким золотом» — мехами. К тому же верхи в эти месяцы погрязли в борьбе и интригах. Быть может, эта борьба не отличалась французской утонченностью или не достигала трагического накала английской революции, уже соткавшей траурное полотно для эшафота Карлу I. Однако и острота противостояния, и ставки, и даже борение страстей вполне сопоставимы. Из скромного отечественного арсенала придворной интриги были извлечены почти все средства, за исключением разве только злосчастных «корешков».

На этот раз Алексей Михайлович был не сторонним зрителем. Он поневоле оказался втянут в борьбу, решая задачи, которые раньше даже во сне не могли ему привидеться. Надо было «утишать» бунт и нормализовать положение в столице и в провинции. Следовало позаботиться о возвращении Морозова. В эти недели Кремль и Кириллов монастырь беспрестанно обменивались гонцами. Правда, от этих пересылок до нас дошло немного: то, что писал царь своему воспитателю, не сохранилось. Зато сохранились царские грамотки монастырским властям. И эти грамотки очень показательны. Забота Алексея Михайловича о благополучии и жизни боярина доходила до мелочей. Царь знает, что на праздник Успения в обители собирается множество богомольцев, и выражает беспокойство: вдруг случится какое «дурно»? Тотчас следует пространное наставление игумену, чтоб тот жил «с великим береженьем».

В конце августа — новый поворот. Решено перевести Бориса Ивановича ближе к Москве. Алексей

Михайлович вновь берется за перо. На этот раз он признает общеизвестное — Морозов принужден был покинуть столицу «для смутного времени», но теперь оно «нашим государьским счастьем... утихает», и потому скоро боярину следует в тайне оставить обитель. «Да отнюдь бы никто не ведал, хотя и выедет куды, — поучал царь монастырские власти, — а есть ли сведаю, и вам быть казненными, а если убережете его, так и мне добро сделаете, и я вас пожалую так, чего от зачяла света такой милости не видали»^[117].

Вскоре становится известным и новое местожительство боярина. «Игумен Афонасей и строитель Феоктист и келарь Саватей, — писал царь. — Как ся грамота придет, и вы известите приятелю моему и вместо отца моего родново боярину Борису Ивановичю Морозову, что время ему, воспитателю моему, ехать в деревню в тверскую ево, и сю грамоту ему покажите, и верьте ей. А вверху приписал я, государь царь, своею рукою у сей грамоты. А как придет ко мне Борис Иванович, и скажет про вас, по тому и милость моя к вам будет. И печать моя у сей грамоты, и вам бы верить сей грамоте, и отпустить ево с великой честью и з бережатыми, и чтобы берегли ево здоровья накрепко»^[118].

Впрочем, утверждение царя, что «его государьским счастьем» мятеж унялся, оказалось несколько преждевременным. Очень скоро выяснилось, что Морозову не так-то легко вернуться. Противников у него по-прежнему было предостаточно. И не только при дворе. Царь и Милославский изо всех сил пытались переломить настроение низов. За челобитье о возвращении боярина стрельцам и посадским в октябре сулили большие награды. Будто бы от Алексея Михайловича по десять рублей, а от патриарха Иосифа по четыре.

Первыми дрогнули стремянные стрельцы, элитное кавалерийское соединение, сопровождавшее царя в его дальних и ближних походах. Среди московских стрельцов они занимали особое место, и нет ничего удивительного, что они с готовностью откликнулись на просьбу царя и первыми подписали челобитную. Следом явились новые охотники заступиться за Б. И. Морозова. Позднее стрельцы приказа Ивана Головленкова напоминали царю о своих «заслугах»: как пришли к ним просить, «чтоб его (Морозова. — *И.А.*) взяли к Москве», так они раньше других, «следом за стремянным (стремянным полком. — *И.А.*) руки прикладывали безо всякие задержки». Больше того, в своем «великом радении» они подали сверх состряпанной в Стрелецком приказе общей челобитной свою «особную челобитную о боярине». Естественно, едва Морозов появился в столице, как эти «заступники» потребовали за свои неустанные хлопоты особое вознаграждение: не только прибавки по рублю в оклад и в кормовую «додачу», какую получили все челобитчики, а что-нибудь более существенное. Просьба была уважена: велено было приказ Головленкова на службу в степные и украинные города не посылать ^[119].

Покладистость Алексея Михайловича в общении со стрельцами легко объяснима. 1648 год не прошел даром, и царь вполне усвоил ту простую истину, что за московскими стрельцами — главной столичной силой — надо прилежно ухаживать. И он ухаживал так, что позднее, в трудные для стрельцов годы царствования Федора Алексеевича и Петра Алексеевича, про второго Романова в стрелецких слободах вспоминалось со вздохом умиления — то-то было время! В самом деле, их не гоняли ежегодно под турецкие сабли в Чигиринские, Крымские и Азовские походы (хотя в походы ходили), не урезали жалованье и радовали богатыми «кормами».

Какой из сыновей Алексея Михайловича заботился о благополучии луженых стрелецких желудков? Тишайший же, когда один из рачительных дворцовых подьячих предложил отправить в награду стрельцам бочку подпорченного меда — не пропадать же царскому добру, — сопроводил свой отказ выразительной репликой: «Сам пей!»^[120]

С годами пожалованные стрельцам пивные и винные бочки, сукна и «корма» складывались в суммы приличные. И когда в июне 1662 года мятежные толпы окружили царя в Коломенском, стрельцы уже не помышляли выступить на стороне «простого народа». Напротив, повинувшись царскому слову, они с превеликим рвением принялись рубить и «сажать в воду» безоружных москвичей.

Награды и обещания делали свое дело. Гнев на Морозова остужался, таял, и с ним таяли версты, отделявшие боярина от Москвы. В начале сентября он уже пребывал в Городне в Тверском уезде, в сентябре перебрался в Троицу. Сюда же в середине сентября приехал Алексей Михайлович. Встреча должна была произойти в тайне — от прежней высокомерной самоуверенности, с какой до этого относились к черни, не осталось и следа. Опасались и Я. К. Черкасского с Н. И. Романовым. Но, как ни старался царь сберечь свой секрет, о встрече стало известно. Черкасский кинулся следом за царем в Троицу, чтобы если не помешать, то по крайней мере испортить свидание.

На скорую руку было изготовлено дело, которое Яков Куденетович объявил царю в селе Воздвиженском, близ Троицы. То был «довод» — донос князя Ивана Юсупова на собственных холопов, которые еще в июне толковали, будто Алексей Михайлович «не прямой государь». Тема не отличалась большой оригинальностью. Вся соль заключалась в

«первоисточнике» — будто бы те «воровские речи» холопы слышали от подьячего, который, в свою очередь, узнал про страшную тайну от самого боярина Морозова. Имя Бориса Ивановича не оставляло сомнений, против кого была направлена вся затейка. Дело, впрочем, было так плохо сшито, что ничего, кроме неприятностей, его организаторам принести не могло. Тишайший, конечно, не поверил доносу. С 17 декабря, уже после падения Черкасского, следствие перешло к Милославскому, и тот крепко взялся за князя Юсупова: отчего не донес про воровские речи холопов сразу, почему дотянул до сентября? Не сам ли доводчик причастен к «воровству»? Перетрусивший князь стал оправдываться: «Учинил так с малоумия, без хитрости». Это мало помогло: пытали и холопов, и доносчика (о Морозове, естественно, более не упоминали). По окончании же следствия Юсупова приговорили к конфискации имений и ссылке в Сибирь. Алексей Михайлович смягчил приговор. Вместо Сибири князя отправили на исправление на Белоозеро, где совсем еще недавно «замаливал» свои грехи Морозов^[121].

Попытка скомпрометировать Морозова провалилась. Так же, как и стремление свалить И. Д. Милославского руками посадских и служилых людей, якобы настаивавших на удалении «всех приверженцев Морозова»^[122]. Все это свидетельствовало о слабости группировки Романова — Черкасского. Однако возвратиться в сентябре из Троицы вместе с царем Морозов еще не смог. Именно в эти дни улица вновь заговорила языком бунта. «Да и тем достанется, которые руки прикладывали», — объявили противники павшего временщика, угрожая расправой всем, кто подписался под челобитной о возвращении боярина.

Вернувшись в столицу, царь с неожиданным рвением Принялся за дела, обещая «сделать то, о чем

просит простой народ». С начала октября он вместе с думцами слушал проект первых глав Уложения, подготовленных приказом Н. И. Одоевского. Царь «ежедневно работает сам со своими (то есть сотрудниками. — *И.А.*) над тем, чтобы устроить хорошие порядки, дабы народ, насколько возможно, был удовлетворен», — доносил вездесущий Поммеринг, немало удивленный законотворческим зудом Алексея Михайловича^[123].

Непривычное для современников трудолюбие Алексея Михайловича имеет свое объяснение: Борис Иванович, давно смекнувший, у кого ему надо искать ключ от стольного града, побудил своего воспитанника всерьез заняться законодательством. Выдвижение на первый план царя ослабляло позиции Черкасского и Романова. Заинтересованность в сотрудничестве с ними у уездного дворянства и представителей посадских «миров» пошла на убыль. Выяснилось, что можно сговориться и с царем, то есть с тем же Морозовым и Милославским, поскольку ни для кого не было секретом, кому симпатизирует государь.

В столицу между тем изо всех уголков Московского государства съезжались выборные люди. Грамоты по городам обязывали их прибыть в Москву к 1 сентября — началу работы Земского собора. Дата, по-видимому, была выбрана преднамеренно: в сознании русских людей это было время обновления, начало нового года, и не случайно к 1 сентября традиционно приурочивались важнейшие события. Но на этот раз затея с «правовым обновлением» провалилась. Выборные съезжались неспешно. Кто-то объявился в срок, кто-то сильно запоздал, и в этой одновременности проглядывается разное отношение к самому собору. Одни связывали с ними надежды на поворот к лучшему, другие оставались равнодушны и не

видели в выборах и в соборе ничего, кроме измышленных властями новых тягот.

Так было, к примеру, в Рязани, где воевода Григорий Огарев дважды собирал дворян и детей боярских для выборов. До того на торгах бирючи не один день надрывались в крике, объявляя дворянам о выборах; о том же по селам и деревням разносили известия рязанские пушкари и затонщики. Тем не менее одна из самых многочисленных дворянских корпораций, насчитывающая около двух тысяч дворян, оказалась в момент выборов представлена тремя десятками служилых людей. Бедный воевода посчитал августовские выборы с такими «малыми людьми» недействительными. В результате из приказа он получил выговор: там расценили действия воеводы как своеволие и «дурость». Сентябрьские выборы оказались удачнее. Но не потому, что в воеводской избе сошлось больше народу, а потому, что после выговора воевода не осмелился оспорить результаты и поспешил отослать выборных в столицу.

Но были и совсем другие выборы, с высокой активностью выборщиков и острейшей борьбой за право послать на собор своего представителя. В небольшом Ельце, в среде мелкого служилого люда, и в крупном Новгороде между «молодшими» и «лучшими» посадскими людьми развертывались настоящие баталии. В ход шло все: угрозы, побои, жалобы и полновесные, скроенные на русский лад характеристики. В Новгороде, к примеру, партия «нарочитых» язвила по адресу своих малосостоятельных оппонентов, что они «окроме смуты, никаких дел не знают»?^[124]

Съезд дворянских и посадских выборных проходил на фоне продолжавшихся волнений в городах Московского государства. При этом каждое

выступление имело и свою индивидуальную окраску, и, одновременно, общие черты. В богатых северных поморских и пермских городах, где расслоение внутри «мира» было особенно ощутимо, городские и сельские низы нередко ополчались не только против воевод и приказных, но и против «лучших» людей, которые «весь мир выели». Здесь особая боль — извечный спор о раскладке государевых повинностей и служб, когда получалось, что одним — легко, другим — тяжело. У каждой из сторон были свои аргументы и своя правда, но, вырвавшись за бревенчатые стены земских изб, эта правда чаще всего утверждалась силой и криком. А «горланов», естественно, было больше в низах. Победа обыкновенно закреплялась расправой над «обидчиками мира» — зажиточной верхушкой. Несмотря на стихийность, этот момент мирского поведения в общем-то традиционен и чуть ли не восходит к древним вечевым приговорам о потоке и разграблении «явных злодеев». «Мир» выступал заедино, убедительно демонстрируя свою силу и солидарность.

На юге события развивались по несколько иному сценарию. Военно-административный уклад здешних городов сильно отражался на структуре населения: малочисленный посадский люд при преобладании мелкого приборного. Последние задавали тон. Их гнев обрушивался на местных притеснителей — воевод, начальных людей и на свою же более удачливую братию из служилых людей.

Заволновалась даже далекая Сибирь. В Томске восстание началось раньше московского. Острием своим оно было направлено против первого воеводы, князя Щербатова. Тот вел себя в духе времени и в соответствии с бескрайними сибирскими расстояниями, когда путь до Москвы и обратно занимал несколько месяцев. Попробуй здесь ударь челом да дождись управы! «Я и сам не Москва ли?» — не без основания

вопрошал воевода, выступая перед томичами сразу в трех ипостасях — обидчика, судьи и палача.

Доведенные до отчаяния томичи самовольно отстранили от воеводства и арестовали Щербатова. Власть была передана второму воеводе, который и шагу не мог ступить без согласия местных служилых и посадских людей. Томичи прекрасно осознавали всю предосудительность своего поведения: пускай Щербатов — «ведомый вор» и изменник, но свергнули его без государева дозволения, по своей воле, или, точнее, своеволию.

Из Томска в Москву потянулись посольства. Покуда в Москве и вокруг нее полыхали восстания, верхи принимали томичей без прежней кнутабойной суровости и даже одаривали сукнами и жалованьем. Но по мере умиротворения в центре позиция власти ужесточалась. Правда, некоторые требования томичей признали справедливыми, но самоуправство с воеводой было решительно осуждено. Еще не хватало, чтобы на местах сажали и ссаживали воевод! Томичам предписано было принести повинную, освободить князя Щербатова и терпеливо ждать его смены, тем более что с ней обещали не затягивать.

Однако дело неожиданно осложнилось. Томичи были уверены в своей правоте и ждали грамоту, которая санкционировала бы их действия. Из Москвы же пришла грамота «с осудом». Столкновение идеала — надежды на доброго царя — с жестокой реальностью по обыкновению обернулось чисто народным мифотворчеством, созданием «обманного мира». Трудно было примириться с тем, что Алексей Михайлович не понял и не принял ясную и чистую, как вода в ключе, мирскую Правду. Легче было считать, что государь был обманут или его правую грамоту «у печати переменяли». «А мы стоим в правде за весь град, хоть велит государь и перевешать, в правде бы умереть,

ожидаем государские милостыни», — писали из тюрьмы своим землякам задержанные челобитчики-томичи, соединяя, казалось бы, несоединимое — милость и наказание. Однако для человека XVII столетия в этом не было противоречия. Неуслышанная правда соединялась в нем с готовностью пострадать за нее при неизбывной уверенности в царской милости. Надо лишь устоять, не дрогнуть, не отречься. В этом упорстве легко можно разглядеть и будущую неуступчивость старообрядцев, предпочитавших огненное крещение отступничеству, и лютость разинцев, выкорчевавших под корень народных недоброжелателей — воевод, бояр и приказных.

Прокатившаяся по стране волна городских бунтов показала масштаб и глубину недовольства. Но стихия бунта, обыкновенно способного лишь к разрушению, дополнилась на этот раз борьбой посадских «миров» и служилых «городов» за свои права. Именно эти силы оказались способными направить энергию взрыва на созидание, и именно потому городские восстания, в отличие от многих других выступлений, оказались столь результативными. Особенно в плане законотворческом, реализованном во многих главах и статьях принятого на Земском соборе 1648–1649 годов Уложения. «И то всем ведомо, что собор был не по воле, боязни ради и междоусобия от всех черных людей, а не истинные правды ради», — справедливо отмечал по этому поводу впоследствии патриарх Никон^[125]. Но в том-то и суть, что «боязни ради» — это для правящих кругов, не желавших идти на глубокие уступки «средним слоям» (определение С. Ф. Платонова). Для последних же все происходящее на соборе было, перефразируя патриарха, «надежды ради». И надежды во многом реализованной, изменившей социальное

самочувствие уездного дворянства и ремесленно-торгового люда.

Собравшийся осенью 1648 года Земский собор сильно отличался от всех предшествующих соборов. Не только своей численностью, уступавшей разве что избирательному собору 1613 года. На соборе присутствовало чуть меньше 300 выборных, причем от уездного дворянства — более 170 человек, от городов — 89, от московских сотен и слобод — 12 и от стрельцов — 15. Обращает на себя внимание решительное преобладание представителей уездов. Никогда еще голос провинции не звучал так явственно, никогда еще перепуганные правящие круги не прислушивались к нему с такой чуткостью, как осенью 1648 года.

Выборные объявились в столице, имея разные цели. Многие привезли с собой челобитные, затрагивающие вопросы, быть может, и частные, но сильно волнующие дворянство и посад. Дворянские представители били челом о выдаче служилым «городам» жалованья, о прибавках к денежным и земельным окладам, об облегчении службы; посадские выборные — о переменах в раскладке повинностей и служб, о воеводах, торговле и т. д. Но частные просьбы не мешали поднимать вопросы и более глубокие. Посадские «миры» и служилые «города» через своих земских представителей оказались способными формулировать свои сословные требования и отстаивать их, причем не одним только криком. Многие выборные привезли с собой указы избирателей.

Текст одного из таких наказов сохранился. Представители владимирского дворянства должны были на соборе всем «безстрашно о всяких делах и обидах говорить», включая и «нашу братью» (то есть об обидах от других дворянских корпораций); «сильных и богатых встречать правдою» и заставить их навсегда оставить насилия и «душепагубную корысть»; у

государя просить, чтобы был устроен «праведный суд всем людям ровен, каков большому, таков бы и меньшему»^[126].

Выборные составили нижнюю, «ответную палату» Земского собора, где предварительно обсуждались статьи Уложения, выработанные в приказах и в комиссии Н. И. Одоевского. Здесь же впервые озвучивались дворянские и посадские коллективные челобитные, адресованные наверх — государю и боярам^[127]. Руководил этой палатой один из бывших «половчан» Алексея Михайловича, стольник князь Юрий Алексеевич Долгорукий.

В истории XVII века этому человеку суждено было оставить заметный след. Проигрывая в глубине и оригинальности ума другому доверенному сотруднику Тишайшего, знаменитому Ордину-Нащокину, Долгорукий с лихвой восполнял «отставание» властным и твердым характером. Князь умел добиться своего, не особенно разбираясь в средствах и уж совсем не рефлектируя по этому поводу. От своего деда, прозванного Чертом, он унаследовал уменьшительное прозвище Чертенок. Но чертенком он был, возможно, лишь в детстве, вырос же в настоящего черта. Да еще какого! Не случайно Алексей Михайлович прибегал к услугам князя в особенно трудные минуты. Так было в годы русско-польской войны. Так случилось во время разинщины, когда Среднее Поволжье захлебывалось в крови, обильно пролитой главным карателем и воеводой Долгоруким. Даже острый на язык Аввакум, не щадивший ни самого царя, ни его окружение, лестно отзывался о князе. Но похвала эта была сомнительного свойства: собираясь «перепластать во един день» всех никониан — была б на то только царская воля (челобитная была обращена к Федору Алексеевичу) — протопоп просил для этого «доброе дела» дать ему в

помощники лишь одного человека — «воеводу крепкоумного» Юрия Алексеевича. Он надежен, ему приказы — «перепластает», не подведет^[128].

Алексей Михайлович ценил князя не меньше Аввакума. Он часто хвалил его, редко распекал, но даже распекая, берег самолюбие — старался выговаривать за непослушание и промахи чуть ли не в тайне, без свидетелей. Царь деликатничал, по-видимому, не только по душевному складу, но и из-за умения боярина внушить к себе невольное уважение. Не случайно после смерти Алексея Михайловича, при болезненном Федоре Алексеевиче, Юрий Алексеевич окажется среди первых самым первым. Он всегда умел выбрать для себя подходящее место.

В 1648 году Долгорукий получил возможность отличиться. Оказавшись приставленным к выборным людям, Юрий Алексеевич сумел повернуть их настроения в пользу Морозова. Услуга была немалая, высоко оцененная. Долгорукий был пожалован в бояре и поставлен во главе Приказа сыскных дел. Однако как бы ни сильна была хватка «чертенка», едва ли ему удалось столь удачно справиться со своей деликатной миссией, не изменив власть своей позиции по отношению к «средним классам».

Один из центральных вопросов придворной борьбы поздней осенью 1648 года — какая из группировок окажется проворнее и сговорчивее в своем общении с посадом и дворянством. Как это ни странно на первый взгляд, свалившая Морозова группировка Романова — Черкасского оказалась менее «радикальной», чем ее противники. Не потому, что не ценила и не понимала значение поддержки снизу. Существовали причины, сильно ограничившие поле социального маневра сторонников нового правительства.

Важнейшее требование посада — ликвидация «белых слобод» и возвращение закладчиков в государево тягло. Но как быть Романову, Черкасскому и их немногочисленным сторонникам из среды старой аристократии, которая как раз и владела закладчиками? Пойти навстречу посадским людям было все одно, что зарезать курицу, несущую золотые яйца; не пойти — сильно потерять в поддержке. Сам боярин Никита Иванович понимал необходимость таких уступок и готов был идти на жертвы. Но это была его позиция. Придворная «партия» Романова — Черкасского медлила, теряла темп и разочаровывала своих недавних союзников.

В противоположность Черкасскому и Романову окружение Морозова было свободнее в маневре: обретенное в первые годы царствования Алексея Михайловича богатство складывалось главным образом из поместных и вотчинных пожалований. Ликвидация «белых слобод», закладничества, если кого и задевала, то не особенно больно. Зато выигрыш был ощутимый — власть. И вовсе не случайным кажется совпадение двух дат — возвращения Бориса Ивановича в Москву и первой коллективной челобитной о ликвидации закладничества.

События в октябре разворачивались стремительно. С участием царя идет кодификационная работа. Одновременно продолжается агитация за возвращение Морозова. Не всем это по нраву. Поммерининг в своем донесении от 4 октября сообщает: царь обещал стрельцам улучшение, но неизвестно, чью сторону они все же станут держать после своего дерзкого выступления. Потому на шведское подворье знатные люди свозят свое имущество — на случай нового восстания и грабежей. Но челобитные о Морозове все же написаны и подписаны. Находится и подходящий повод исполнить «прошение» — рождение 22 октября у

царственной четы первенца-наследника, царевича Дмитрия.

В конце октября Борис Иванович появился в Кремле. Боярин остался верен себе: он тотчас принялся восстанавливать владельческие документы на свои поместья и вотчины, сожженные и изодранные в дни июньского мятежа^[129]. Штрих примечательный, говорящий об уверенности в будущем «смирненного богомольца».

Возвращение Морозова вызвало раздражение Якова Куденетовича Черкасского. Но что на этот раз можно было противопоставить царской воле? Обращение к служилым и посадским людям? Однако за несколько месяцев правления Черкасского и Романова приязни к ним заметно поубавилось. К тому же с возвращением Бориса Ивановича возрастала и покладистость государя, готового выслушивать самые заветные чаяния представителей выборных. Словом, почва уходила из-под ног совсем недавно победившей группировки, а с ней ускользала и власть.

Последние числа октября оказались решающими. Рождение наследника — долгожданное и радостное событие, по традиции сопровождаемое праздничными столами, щедрыми наградами и милостынями. Династия получала будущее. Одна мысль об этом должна была придавать молодому государю чувство уверенности и желания настоять на своем.

26 октября, на праздник ангела Дмитрия Алексеевича великомученика Димитрия Солунского, состоялся праздничный стол в Грановитой палате. Среди приглашенных — царский «дядька» боярин Морозов. Три дня спустя, 29 октября, прошла церемония крещения царевича в Чудовом монастыре, которую завершал крестильный стол. Можно лишь представить, что испытывал в эти праздничные дни Черкасский при

виде торжества еще недавно поверженного соперника. Струна была натянута до предела, и нужно было лишь легкое усилие, чтобы она лопнула. 31 октября Черкасский, не сдержавшись, резко заспорил с Морозовым. Перебранка за столом закончилась тем, что Яков Куденетович демонстративно покинул дворец.

Понятно, что поводов для ссоры у них было предостаточно. Возможно, особенно сильное раздражение Черкасского вызвало в этот день челобитье посадских выборных и поддержавших их дворян о ликвидации «белых мест» в городах. Обращение последовало в канун открытого столкновения, 30 октября, и, имея в виду всю предшествующую цепь событий, трудно отделаться от мысли, что происшедшее — результат умело закрученной интриги: удар для Черкасского был вдвойне болезненный — тут и вернувшийся Борис Иванович, и потерянные дворы в городах! В итоге — взрыв эмоций, отчаянье и дерзкий проступок, к которому Черкасского подталкивали. Ибо боярская выходка во дворце — оскорбление самого государя. Потому следом, уже глубокой ночью, за Черкасским послали для объяснения дьяка. Черкасский объясняться не пожелал. Тотчас последовала опала — отстранение боярина от всех дел.

Номинально власть оказалась в руках И. Д. Милославского. После падения Черкасского и его сторонников царский тесть возглавил Стрелецкий, Иноземский, Рейтарский, Большой казны, Казенный и Аптекарский приказы. Но это вовсе не значило, что Морозов сошел со сцены. Просто он, памятуя о недавнем прошлом, предпочел держаться в тени. Однако это мало кого обмануло. Тотчас пошел слухок: Морозов все то «делает умыслом, будто он ныне ничем не владеет».

Переворот в верхах в конце октября произошел быстро, безболезненно и на первый взгляд не имел последствий. Но именно на первый взгляд. Выше уже говорилось о коллективной челобитной, требовавшей уничтожения «белых слобод» и института закладничества — чтобы «езде было все его государево». В интерпретации челобитчиков торгово-промышленная деятельность в городах превращалась в сословную привилегию посадских людей. Спустя десять дней, 9 ноября, «все выборные люди» подали челобитную, предлагая отписать на государя церковные вотчины, оказавшиеся во владениях монастырей и кафедр после 1580 года. Нет сомнения, что на этот раз инициатива исходила от дворянства, которое и собиралось заполучить конфискованные земли^[130].

Бурная деятельность выборных легко объяснима. Они спешили воспользоваться моментом — сменой лиц у кормила государственного управления. В «ответной палате», по-видимому, неплохо разбирались, что, у кого и когда следует просить. Основные требования посадков о «белых слободах» и о пригородных землях, в которых москвичи испытывали острую хозяйственную нужду, начали наконец-то получать правовое решение.

Немалые сложности в верхах вызвало требование дворянства о монастырских вотчинах. Не так-то было просто его игнорировать. Больше того, мысль поправить дела служилых людей за счет монастырского и кафедрального землевладения уже не раз посещала головы московских правителей. Но в 1648 году имелись свои сложности. Церковные власти во главе с патриархом Иосифом, предугадывая исход придворной борьбы, были лояльны к Морозову. Потому дворянская челобитная ставила Морозова и Милославского в трудное положение: ссориться с высшим духовенством

не было никакого резону. Но не было резону и отталкивать от себя служилых людей категоричным отказом. Новые власти прибегли к испытанному средству — они «заволочили» дело.

В ответ на челобитную крупным монастырям было указано представить в Поместный приказ всю поземельную владельческую документацию о новоприобретенных вотчинах. Одновременно подьячие должны были составить поземельные выписки и предоставить их наверх^[131]. За этими делами прошли два месяца — ноябрь и декабрь. К концу года монастырские стряпчие уже объявились с документами в Москве, но в Поместный приказ идти не спешили, убедившись, что о них попросту забыли. Разумеется, это была забывчивость особого сорта, с оглядкой на поведение уездного дворянства, в ожидании: пронесет — не пронесет? Пронесло, и о конфискации церковных земельных владений на Земском соборе более не говорилось. То был, что называется, классический образчик знаменитой «московской волокиты».

Едва ли подобный поворот — лишь результат ловкости и проницательности правительства Морозова — Милославского. Те, кто бил челом в надежде поживиться за счет монастырей, беспамятливостью не страдали. Но дело в том, что новое правительство решительно пошло навстречу дворянским требованиям в других областях. Челобитье об отмене урочных лет и восстановлении крепостнической силы документов писцового описания конца 20-х — начала 30-х годов было полностью удовлетворено. Потерявшие было надежду вернуть после составления переписных книг в 1646–1647 годах своих беглых крестьян помещики воспрянули духом.

Удовлетворены были также челобитья о валовом разборе служилых людей и выдаче жалованья.

Последствия сказывались быстро. Излишний «социальный пар» стравливался, накал противостояния слабел, открывая возможность говорить помещикам не только приятное им «да», но и мягкое «нет»^[132].

Алексею Михайловичу было чему поучиться в эти недели. Реализуя во многом, но далеко не во всем, сословные требования посадов и служилых «городов», Морозов и его окружение не забывали и о самих исполнителях — земских выборных. Точнее, о их слабостях. За выборными ухаживали, их одаривали, не оставляя без внимания ни одного челобитья. Такое внимание стимулировало провалы в памяти. По крайней мере в вопросе о церковном землевладении выборные как язык проглотили. Зато церковные власти испытывали немалую признательность к правительству Морозова — Милославского. Столкнувшись с реальной угрозой потери части монастырских вотчин и «белых слобод», они предпочли из двух зол меньшее. Новое старое правительство повернуло ситуацию к своей пользе, ухитрившись удовлетворить требования посада и при этом ни с кем не испортить отношения. Не считая, разумеется, противников при дворе.

Отстраненные от власти Романов с Черкасским вернулись к привычной роли оппозиционеров. Несомненно, эта роль давалась им лучше. Никита Иванович удалился в свои имения, отговорившись от посещения дворца привычным нездоровьем. Этот секрет полишинеля сильно повышал его репутацию народного защитника, не успевшую поблекнуть за несколько месяцев бесцветного пребывания у власти.

Яков же Куденетович добавил к образу противника Милославского и Морозова еще и реноме невинно пострадавшего. Игнорируя все царские приглашения, он не появлялся в Кремле, заявляя, что ему там «нечего делать»! Столь вызывающее поведение в обычных

условиях должно было окончиться удалением из Москвы на воеводство или даже прозаической ссылкой. Но проза — жанр не бунташных времен. Трогать строптивного боярина просто-напросто боялись. Попытались было отправить Черкасского на воеводство в Астрахань и будто бы даже прислали подводы под имущество. Но боярин наотрез отказался ехать, пока ему не объявят, в чем он виноват. В Москве в это время ходили упорные слухи о желании повторить «летошнее», о скорой новой «замятие», во время которой удастся поквитаться уже со всеми обидчиками. Стрельцы будто бы уже составили заговор и собирались на Большое водосвятие зарезать Бориса Ивановича. Наверху переполошились. Если раньше в царских теремах не слышали даже крика, то после июня пугались и шепотка. Потому из опасения дать повод к выступлению молчаливо снесли все выходки Якова Куденетовича и оставили его до времени в покое.

Колебались не только стрельцы, но и бывшие жители белых слобод, отныне обязанные нести государево тягло наравне с остальными. В январе 1649 года закладчик Н. И. Романова Савка Коренин жаловался, что с того момента, как его взяли за государя, ему стало жить «недобро, а зделали де то бояре Борис Иванович и Илья Данилович». Савка грозил новым междоусобием, когда им, восставшим, придется «ходить по колению в крови», а Морозову с друзьями быть «побитым камнем». Слышавший подобные речи посадский человек Пестов ему возразил: что ты «вракаешь»? Савва в ответ пригрозил: «Толко де государь изволит, и мы вас всех побьем... а холопи ваши все с нами ж будут».

Надежда на государя не помешала Савке отпустить по его адресу несколько скептических замечаний. Государь-де у нас «молодой глуп», «глядит де все изо рта у бояр» Б. И. Морозова и И. Д. Милославского,

которые «всем владеют». При этом царь обо всем «ведает», но «молчит, черт де у него ум отнял». Поворот в разговоре был потенциально опасен для Алексея Михайловича: раз ему ведомы «неправды», значит, не злые слуги огородили стеной царя от народных страданий, а он сам от них отстранился. Тут уж ничего не остается, как «завод заводить». Отметим, что Савка без опасения произносил свои дерзкие речи в присутствии даже служилых людей, царских сокольников. Все это свидетельствовало о том, что «черные людишки» и холопы совсем «распоясались» и пора было их призвать к порядку, вразумляя словом, кнутом и топором.

Савка Коренин был схвачен и по царскому приказу подвергнут пыткам перед всей Боярской думой. Подобная практика не была новостью. К ней прибегали в особо важных случаях, как это случится, к примеру, два десятилетия спустя, когда в Москву привезут Степана Разина. Савка, конечно, не чета грозному атаману. Однако думных собрали, по-видимому, не без тайного умысла: Савка в своих речах взывал к Н. И. Романову и Я. К. Черкасскому. Они, мол, выйдут на площадь, кликнут клич — весь «мир» и впадет в бунт. Такие речи перед членами думы должны были если не изолировать, то по крайней мере вызвать недоверие к низвергнутым правителям. На большее Морозов с Милославским не решались.

За свои «воровские речи» Савка поплатился головой. 29 января 1649 года дума приговорила его к смерти. В тот же день он был казнен^[133].

Весь конец 1648-го — начало 1649 года прошли в интенсивной кодификационной работе. Смена лиц у власти лишь подстегнула законотворцев, включая земских выборных, не устававших напоминать правительству о нуждах своих избирателей. К январю

Уложение было в основном закончено. Включающее в себя 25 глав и почти тысячу статей, оно было переписано и склеено в столбец длиной в 309 метров, на обороте которого приложили свои руки думные чины, духовные власти и большинство выборных. Правда, и на этот раз не обошлось без фронды. Среди думных нет подписей Я. К. Черкасского и Н. И. Романова. То был очередной протест и одновременно невольное признание своего поражения — ведь боярские рукоприкладства открывало имя Б. И. Морозова, которое оказалось в соседстве с теми, кто еще недавно валил его — с выборными от посадских «миров» и дворянства. Такое могло случиться потому, что Уложение воплотило в юридическую норму самые заветные чаяния этих социальных групп.

В отличие от прежних Судебников Уложение в своем стремлении регламентировать все важнейшие стороны жизни стало настоящим сводом законов.

Оно было современно, как может быть современен юридический документ, ответивший на самые жгучие общественные запросы и нужды. Оно же было фундаментально, поскольку нормативно закрепило то, что определяло существо отечественного исторического процесса: крепостничество и самодержавие. Оно было декларативно и публично, в том смысле, что формально делало доступным право для всех.

На протяжении десятилетий закон вел наступление на земледельца. Сначала его ограничивали во времени и сроках выхода, который, в конце концов, стал единым для всех; затем появились стеснения в условиях выхода; в последней четверти XVI столетия выход сменили заповедные годы. Объявленные как временная мера, они «затянулись» на столетия; следом пришли «урочные лета», позволявшие крестьянину в рамках всеобщей неслободы сменить помещика, отчего,

столкнувшись с угрозой утраты владельческих прав, землевладелец поневоле должен был быть покладистее. Все подытожило Соборное уложение с утверждением вечной и бессрочной потомственной крестьянской крепости.

Если вдуматься, то крепостнический закон не «набрасывался» на нашего земледельца и не «пожирал» его, а лишь понемногу «откусывал» от его прав и свобод, вроде бы не причиняя сильной боли. Но это пока не больно, а потом, в одночасье, — и боль, и нарыв, и русский бунт, «дикий и беспощадный». Таким «одночасьем» стало Уложение. Не случайно именно от него потянется дорога к восстанию Степана Разина.

Новый свод приблизил дворянство к тому идеалу, который был высказан в преамбуле к Уложению: сделать так, чтобы «от большего и до меньшего чину, суд и росправа была во всяких делах всем равна». Выписывая эту новеллу, законодатели отнесли ее исключительно на счет доброй воли Алексея Михайловича. Но достаточно сопоставить ее с требованиями служилых людей, чтобы не сомневаться в истинном «авторе» такого равенства. Понятно и то, что само это равенство мыслилось сословно и было направлено на уравнивание в правах служилой провинции со столичными чинами. Так складывалось юридическое равенство — важнейшее условие для консолидации всех слоев и групп дворянства в единое сословие.

Испокон веков самодержавие в России — не только царь-помазанник, в руках которого сосредоточивалась огромная власть. Самодержавие — это еще и «самодержавная идея как сущностное выражение царственного священного бытия», абсолютная данность, присущая и имманентная сознанию русского человека, вне которой он не мыслит своего существования. Вот почему составители Уложения не испытывали никакой потребности в обосновании и в

определении пределов царской власти и ее органов. При этом сам законотворческий зуд, пускай и отчасти вынужденный, свидетельствовал о важных изменениях в состоянии самодержавия. Средневековая тема Правды, насаждаемой и охраняемой монархом, утрачивала в Уложении свое сакральное сияние и начинала тяготеть к более «светской» в своем существовании юридической норме.

Современники не упускали случая поставить Уложение в заслугу Алексею Михайловичу. Боярин Н. И. Одоевский, с явным намеком на новый свод законов, писал в 1652 году царю: «...Даровал Бог премудрость, якоже древле царю Соломону», и «возлюбил суд и правду и милость и возненавидел беззаконие». Понятно, что боярин был лицом заинтересованным: рассыпаясь в похвале государю, он одновременно хвалил и самого себя, главного создателя Уложения. Однако факт остается фактом: тема Правды и Справедливости, естественно осмысленной на свой лад, в рамках самодержавной идеологии, стала для Алексея Михайловича наиважнейшей. Она постоянно присутствует в его письмах. Она декларируется в самом Уложении, которое если и не ликвидировало монополию судей и приказных дельцов на знание и толкование юридической нормы, то по крайней мере сильно ее стеснило. А значит, несколько ограничило пространство произвола и злоупотреблений. В контексте эпохи подобное воспринималось как зримое торжество Правды.

...Много лет спустя Петр I поинтересовался у князя Я. Ф. Долгорукова, в чем он, как государь, преуспел, а в чем отстал от своего отца. Яков Федорович мог сравнивать — за его плечами стояла долгая жизнь. Восславив многие деяния царя-реформатора, старый боярин отметил и упущения: отстал Петр «во внутренней россправе», где «главное дело ваше есть

правосудие». «В сем отец твой больше, нежели ты, сделал», — резюмировал Яков Долгорукий. В самом деле, страна и после Петра жила во многом по Соборному уложению.

Часть третья
Эпоха устройства

Ревнителі благочестія

Едва ли будет ошибкой утверждать, что духовную, нравственную и даже психологическую атмосферу русского общества второй четверти XVII века во многом определило смутное лихолетье. Православные люди хорошо помнили, что за совершенные грехи и шатания в вере они «показались» Смутой. Книжники не скупались на исчисление вин православных. Бог наказует их «за попустительство злодеяниям», «от неумения сплотиться и действовать дружно»^[134]. Грехов, впрочем, так много, что они, «аки волны морские: едва погибнет, другая встает, также и наши беды и напасти: та беда полегаше, а другая грех ради наших встававше»^[135].

Памятуя об избранности Руси, единственной хранительницы истинного христианства, ревнителі православия приходили в ужас от того, что могло случиться, не опомнись и не покайся они вовремя. Но — опомнились и покаялись, и Бог в безмерном своем милосердии отвел беду. Однако урок был слишком суровым, раны еще сильно кровоточили, чтобы все, казавшееся далеким от спасительного благочестия и благочиния, не волновало и не заставляло задуматься о настоящем и о будущем.

Подвижники и радетелі за веру продолжали размышлять над тем, как могло «единственное и последнее Православное царство» дойти до последней черты. И не может ли страшное прошлое повториться вновь. Ведь буря улеглась, но где зарок, что грешное безверие не подымет новые волны?

Оглядываясь вокруг, многие из них предавались горестным мыслям. Мир возрождался в разительном контрасте с тем, чего они жаждали. По их убеждению, в

этом мире вновь было мало места для истинной веры и благочестия. А это могло закончиться новой смутой, еще более страшной, потому что не бесконечно милосердие Божье к тем, кто этим милосердием пренебрегает. И тогда рухнет Москва — Третий Рим, и не быть Риму Четвертому, и наступит конец мира, поскольку не останется царства, где было бы место истинной, «неиспакаженной» православной вере.

Апокалипсические картины, рожденные messiанским мировосприятием, страшили и побуждали русских ревнителей благочестия к действию немедленному. Их уже не могли удовлетворить привычные пути подвижничества — земляная келья в глухой чащобе и одинокая молитва о спасении суетного мира. Формировался новый тип подвижника и новая, непривычная модель его поведения — спасение мира спасением в миру. Подвижники выступали на историческую сцену как пастыри, готовые ежечасно и ежеминутно обращаться к пастве с учительским словом, ревностные не только в вере, но и в поведении. Очень скоро не один только храм становится местом их проповеди. Они готовы были произносить ее везде. Этот неожиданный всплеск активности вполне вписывался в контекст переходной эпохи, еще не отринувшей покойного созерцания, но уже потянувшейся к бурной деятельности.

Ревнители начинали скромно, так что едва ли кто мог ожидать, к чему приведет их подвижничество. Один из духовных отцов ревнителей — знаменитый Троицкий архимандрит Дионисий. В 1611 году, услышав страстный призыв патриарха Гермогена к сопротивлению, он стал рассылать по городам грамоты с призывом объединяться и «стояти заодно» против литовцев и поляков. Книгочей и любитель «учительных словес», Дионисий в последующем ратовал за обновление и исправление церковной жизни, далекой

от заветов Христа. Он много размышлял о значении греческой культурной и религиозной традиции. В период междупатриаршества архимандрит возглавил ответственное дело исправления и правки богослужебных книг, пытаясь дать прочное основание редакции с помощью православной догматики. Он готов был даже идти на исправление древних образцов, если текст казался ему не каноничным и лишенным смысла. Это дало хороший повод недругам старца обвинить его чуть ли не в ереси. За исправления в Требнике старец был осужден: в праздничные дни его водили в кандалах по московским улицам в назидание народу, кричавшему: «Вот еретик!» Спас Дионисия вернувшийся на родину патриарх Филарет. Он достаточно настороженно относился к безусловному грекофильству пострадавшего настоятеля, но еще большую неприязнь вызывали у него недруги и гонители Дионисия. Это и решило дело. Дионисий был вызволен из монастырского узилища и на церковном соборе полностью оправдан. Исправлением книг занимались теперь уже другие. Но именно такие люди, как Дионисий, своим поведением и своей проповедью напоминали о религиозных и духовных ценностях, затемненных в период Смуты. Нравственное их воздействие было огромным, хотя до поры до времени мало кто мог осознать это. Не случайно бесновавшаяся толпа бросала в осужденного страдальца чем ни попадя.

При жизни Филарета, владыки строгого и самовластного, движение ревнителей не могло получить сколько-нибудь самостоятельное и широкое распространение. Но после его смерти — а умер Филарет в 1633 году, в один год с Дионисием, — ситуация несколько изменилась. Среди ревнителей на первые роли выдвинулся ученик и почитатель Дионисия Иван Неронов. Некогда юношей он прибред к Дионисию,

надеясь найти у него защиту и учительское слово. Ушел же он от него не только устроенным и сытым, но и на всю жизнь вдохновленным и нацеленным на обновленческую работу.

Неронов — подлинный подвижник. Неистовый, фанатично настроенный. Родился он около 1590 года в Заволжье, в семье вологодского крестьянина. Рано вступив на духовное поприще, он проявил столько неистовства и рвения, что решительно разошелся с местным причтом. Священнослужители предпочитали проводить время в безделье и пьянстве, молодой же причетник — в молитве и обличении их «многого бесчиния». Понятно, что он сильно колол глаза. Конфликт разрешился тем, чем должен был разрешиться: глубокой ночью Неронову пришлось спастись от побоев разгневанных служителей [\[136\]](#).

Позднее нечто подобное повторится с другим знаменитым ревнителем, протопопом Аввакумом. И это вовсе не кажется случайным: изгнание и избиение ревнителей — лишь следствие одинакового отношения их к жизни, яростного неприятия того, с чем они не хотели и не желали мириться. Конечно, куда легче было не замечать слабости и пороки окружающих. Так и поступали большинство приходских священников, снисходительных к пастве, а еще более — к себе. Неронов и Аввакум именно потому и ревнители, что они все замечали и ничего без покаяния и наказания не прощали. Они чувствовали в себе силу и нравственную уверенность, чтобы выступить против большинства. В них уже угадывается характер бойца, пускай иногда еще и обращаемого превосходящими силами в позорное бегство. Но это отступление всегда после боя! Это были люди одной закваски, одного темперамента, одной роли.

После изгнания Неронов и прибрел к Дионисию. Тот ввел его в круг учеников, приохотил к чтению. Особенно полюбились Неронову проповеди Иоанна Златоуста, жестоко осуждавшего пороки утратившего благочестие общества. В конце концов, убедившись, что молодой священник «истинен и верен есть во всем», Дионисий напутствовал его на работу в миру: «Чадо Иоанне, буде на тебе милость Пресвятой Троицы и преподобных Сергия и Никона и мое грешное благословение отныне до века».

По рекомендации Троицкого архимандрита Неронов отправился в столицу, где предстал перед самим Филаретом. С патриаршего благословления он возвращается диаконом в то самое село Никольское-Соболево, откуда некогда был изгнан. Понятно, что это было триумфальное возвращение, значимость которого подчеркивалась грозным посланием Филарета к провинившимся пастырям и пастве. Позднее Неронов обосновался в богатом селе Лыскове.

После всего случившегося будущий ревнитель должен был до гроба молиться за заступника-патриарха. Но не таков Неронов. Ему не страшны никакие власти, преступающие Божественные заповеди. Он готов принять за Слово Божие любые муки. Здесь как раз приспела Смоленская война, развязанная по инициативе Филарета, великого ненавистника поляков, и Неронов осмелился громогласно осудить пролитие «всуе» христианской крови. Во всяком случае, именно так объяснялась ссылка Неронова в его позднейшем «Житии»^[137].

Патриаршая грамота назвала более приземленную причину разрыва: Филарет не остался безучастным к противному слову. Оно наказуемо, особенно если исходило от того, кто должен лишь молчаливо повиноваться. В результате за «гордость и высокую

мысль, во иступлении ума бысть, и ныне не в совершенном разуме, и в людях многую смуту чинил, и людей учил без нашего благословения и священником лаял и еретиками называл от своего безумства», Неронов был препровожден в Николо-Корельский монастырь. Впрочем, внимательный анализ «Жития» и патриаршей «опальный грамоты» позволяет предположить, что наказание Неронова последовало скорее по «совокупности» всех его проступков — за длинный и невоздержанный язык^[138].

Смерть Филарета освободила Неронова. В дальнейшем его священническая карьера протекала в Нижнем Новгороде. Здесь он продолжил свою проповедь, толкуя «ясно и зело просто» божественные книги, причем не только в церкви, а прямо на улицах и площадях. Не случайно в «Житии Неронова» герой не расстается с книгой «великого светильника» Иоанна Златоуста «Маргарит»^[139]. Из Нижнего началась широкая известность Неронова, которая привела скромного нижегородского священника не только в Москву, а даже в царские терема.

Нижегородский край занимает особое место в истории движения ревнителей. Именно из этих мест вышли почти все главные его деятели. Здесь сошлись, набрали силу и голос те, кто был недоволен неустройствами в церкви и образом жизни духовенства. Религиозное рвение и крепость в вере измеряли в крае по самой высокой мерке. Возможно, столь сильная концентрация «религиозного духа» и энергии — следствие патриотического движения, которое охватило Среднее Поволжье в годы Смуты. Его импульс не утих с изгнанием интервентов и передался обновленческому движению. Центрами движения стали сам Нижний Новгород и возрожденный почти через два

столетия некогда разоренный татарами Макарьевский Желтоводский монастырь [\[140\]](#).

В 1636 году девять нижегородских священников во главе с Нероновым подали патриарху Иоасафу челобитную с перечислением церковных беспорядков и нестроений и способами исправить дело. То был настоящий манифест будущих боголюбцев-ревнителей. Челобитчики видели в небрежении, невежестве и пьянстве духовенства едва ли не главную причину упадка благочестия в народе. Пафос обличения был столь высок, что авторы замахиваются на церковную иерархию. Пастыри церкви, утверждают челобитчики, только «именем пастыри, а делом волцы, только наречением и образом учителя, а произволением тяжцы мучители...». В контексте времени такие слова — больше, чем просто обличение: это почти бунт — бунт бедного приходского духовенства против епископата, напроць забывшего о своем предназначении.

Поразительны картины, изображенные в челобитной. Во время литургии священники, «омраченные пьянством... вскочут безобразно в церковь» и служат без соблюдения правил и устава. Чтобы скорее покончить с обременительным занятием, они не читают внятно и последовательно положенные поучения, а предпочитают петь и читать все одновременно, в несколько голосов. От такого многогласия в итоге ничего нельзя разобрать, и паства покидает храм, ничему не научившись и духовно не очистившись. Заканчивается послание призывом к исправлению нестроения. «Исправи, государь, хромое, да не како до конца совратится, но да исцелеет...» [\[141\]](#)

Нижегородское духовенство было не одиноко в своем рдении о чистоте веры и поправлении народной нравственности. В эти годы были поданы и другие аналогичные челобитные. Причем при участии светских

лиц^[142]. Даже в виршах, все более становившихся предметом интеллектуального наслаждения книголюбцев, зазвучала тема обличения духовенства и отсутствия религиозного рвения:

...Токмо дома своя и чрева строите,
И токмо паки брадами и брюхами своими взяли,
А божественное писание ногами своими едва не
попнали^[143].

Точнее и полнее, чем другие, выразив общие устремления, нижегородцы сильнее повлияли и на общественные настроения. Скоро у ревнителей появился настоящий идейный и организационный центр. В середине 40-х годов в столице возник так называемый кружок ревнителей благочестия, или кружок боголюбцев. В истории XVII столетия этот кружок занимает особое место. Боголюбцы не просто спорят, что и как надо реформировать в церкви и жизни, не просто выступают против формального благочестия. Они стали общаться с молодым Алексеем Михайловичем, который до такой степени увлекся их идеями, что сам может быть причислен к ревнителям. Одно это придало ревнителям огромный вес. До того они были кучкой единомышленников, над которыми иногда смеялись, к которым иногда прислушивались, но которых чаще всего просто не замечали. С царем все менялось. Они уже сила — правительственный кружок.

С известными оговорками ситуация напомнила события столетней давности, когда рядом с только что венчавшимся на царство Иваном IV появилась Избранная Рада. Правда, масштабы и направленность деятельности Рады и ревнителей несопоставимы. Однако последствия в обоих случаях были ощутимы для современников. Рада провела реформы, укрепившие

государство. Ревнителю пришли к церковной реформе, которая закончилась расколом.

Был у боголюбив и «свой» Сильвестр — Стефан Вонифатьев. У этих двух церковных деятелей на самом деле имелось много общего. Оба — протопопы Благовещенского собора, царские духовники. Оба ревностно, до видений и пророчеств, отдавали себя пастырскому служению. Оба, наконец, имели большое нравственное и идейное влияние на своих духовных чад — на Ивана Грозного и на Алексея Михайловича. Впрочем, Грозный со временем переменит свое отношение к Сильвестру, который в конце концов превратится в «проклятого попа», будто бы до смерти запугивавшего богобоязненного юношу-государя. Алексей Михайлович будет до конца почитать Стефана, что, однако, не мешает ему в последующем приискать себе куда менее строгого исповедника.

Фигура Стефана Вонифатьева в окружении Алексея Михайловича столь же ключевая, сколь и таинственная. Его биография полна пробелов. Неизвестны точная дата и место рождения протопопа. Одни исследователи называют родиной будущего царского духовника Новгород, другие, опираясь на факт хранения синодика с записью рода Вонифатьевых в Макарьевском Желтоводском монастыре, склоняются к другому Новгороду — уже Нижнему^[144].

Не ясно, как, когда и каким образом Вонифатьев оказался в столице. По мнению исследователей, около 1645 года он стал царским духовником^[145]. Как истинный ревнитель, Вонифатьев стремился придать своему служению то значение, какое было изначально заложено в исповедальном чине. В нем духовный отец представлял не просто «послухом» покаявшегося пред Богом, но как бы ответчиком за содеянное и потому — безусловным и неограниченным нравственным

руководителем, «поручником», которому предстояло привести духовное чадо «в вышний Иерусалим». Покаяльного отца следовало беспрекословно слушаться и почитать «яко Бога». Древнее «Слово о покаянии» сравнивало духовного сына с нивой, которая без «делателя» — духовника — рождает лишь сорные травы. А Вонифатьев хотел собрать богатый урожай!

Конечно, здесь чрезвычайно важен был нравственный облик самого духовника. Для молодого царя благовещенский протопоп стал авторитетом бесспорным. «Муж благоразумен и житием добродетелен, слово учительно во устах имея» — так характеризовала Вонифатьева панегирическая литература.

Нестяжатель по духу, Вонифатьев призывал бояр творить «суд правый без мзды, и не на лица зряще да судят». В стоянии за Правду он не побоялся в феврале 1649 года обрушиться на членов Освященного собора, которые отклонили предложение ревнителей о строгом соблюдении «единогласия» во время церковных служб. При этом казавшийся до сих пор человеком ровным и покладистым, царский духовник вдруг обнаружил неожиданный темперамент, приоткрыв, быть может, свою истинную сущность. Между тем горячность Стефана вполне объяснима: для ревнителей литургия — главное звено во внутреннем единении верующего с Богом. Достижимо же подобное при единогласном пении. Отсюда и требование протопопа петь везде «единогласно», не делая различия для уставов монастырских, где пели единогласно, и приходских «многогласных» церквей.

Выступление протопопа сильно задело патриарха Иосифа. Дело было не просто в произнесении «хульных словес» о пастырях. Слова Стефана — вольный пересказ слов апостола Павла против ложных пастырей: «...Не вы ли влезли в стадо, не вы ли те свирепые волки?.. Не вы

ли не жалеете стада?» Оскорбленный патриарх Иосиф потребовал «дати на него, Стефана, собор»^[146]. При этом патриарх ссылался на только что принятую первую главу Соборного уложения, предусматривавшую за оскорбление церкви смертную казнь. Понятно, что это требование более демонстрация, чем жажда крови взбунтовавшегося протопопа. Понятно и то, что последнему много легче было настаивать на церковных реформах и обвинять архиереев, зная о царском сочувствии и поддержке. Но все же именно Стефан Вонифатьев первым бросил открытый вызов противникам ревнителю, осмелился заговорить не шепотом, а во весь голос.

Вонифатьев был умерен и справедлив. Место благовещенского протопопа давало ему большую власть. Одного его слова могло быть достаточно, чтобы навсегда очернить человека в глазах государя. Перед ним заискивали, ему льстили. Но Стефан старался держаться в стороне от дворцовых интриг. Не прельщали его и деньги. Протопоп был, что называется, бессребреником. Немалые средства, пожертвованные богатой паствой, были им розданы бедным. По-видимому, не без влияния Вонифатьева сам царь сделался великим нищелюбом и милостником.

При этом протопоп вполне уживался с Морозовым, поведение которого было далеко не идеальным с точки зрения ортодоксального православия: ведь «умножение беззаконий», в глазах Вонифатьева, — свидетельство приближения «последнего времени». Но источники не сообщают нам ни об одном выпаде протопопа против Бориса Ивановича. И наоборот. Такое могло быть только при одном условии: Стефан не был опасен для Морозова. Он не осуждал и не настраивал против него Алексея Михайловича. И пускай он «владел» душой царя — реалиста-боярина интересовали вещи куда

более прозаические — власть. Боярин и протопоп дополняли друг друга. Дополняя же, приоткрывали две достаточно отличные друг от друга стороны личности Тишайшего — прагматизм и возвышенную, одухотворенную религиозность.

Царский духовник стал душой кружка ревнителей, идейного и организационного центра, готовившего перемены в церковной и общественной жизни. Он — на острие споров, за ним последнее, едва ли не самое весомое для Алексея Михайловича слово.

Протопоп стоял у истоков церковных реформ и, значит, был ответствен за их последствия, одно из которых — раскол. Ответствен хотя бы потому, что содействовал выдвигению на первые роли Никона. Несомненно, он обманулся в будущем патриархе, как обманулись в Никоне Неронов и Аввакум, уже настороженные, но все же поддержавшие его избрание в патриархи. Однако если последние возмущены были воинствующим грекофильством Никона, то благовещенский протопоп это грекофильство вполне разделял. Вонифатьев ошибся в ином: за внешней почтительностью Никона он не разглядел его амбиции, усугубившие глубину раскола. В результате сотряслось все здание церкви, о процветании и благополучии которой так пекся поп Стефан.

Раскол между бывшими единомышленниками омрачил последние годы жизни Вонифатьева. Он и позднее продолжал поддерживать Никона, по-видимому, осуждая в узком кругу ту жестокость, с какой патриарх утверждал нововведения. Но здесь коса нашла на камень: заступничество протопопа лишь раздражало Никона. Образ всепокрушающего владыки, не отступающего ни перед чем, был патриарху больше по душе. У Вонифатьева же не нашлось ни сил, ни возможностей «укротить» Никона. Благовещенский протопоп постепенно отходил от дел и искал

успокоения в молитве и уединении. Почтенный возраст здесь — скорее следствие, чем причина. В 1653 году Стефан основал в Москве Зосимо-Савватиевскую пустынь. Три года спустя половодье снесло все постройки, и обитель была перенесена в запустевшую после губительного морового поветрия 1654 года деревню Фаустово близ Бронниц. Здесь Стефан принял постриг и стал чернецом Савватием. Умер он в том же году, на Валдае, в Иверском монастыре. Похоронили бывшего царского духовника в Московском Покровском монастыре «на убогих домех», где находили приют нищие и убогие. Стефан, всю жизнь проповедовавший милосердие и нищелюбие, остался верен себе в выборе последнего места успокоения.

Но вернемся к началу царствования Алексея Михайловича, когда Вонифатьев еще был полон сил и его вдохновляли надежды на скорое поправление дел церкви. Благодаря трудам протопопа множились ряды боголюбивых. В Москву, в Казанский собор, перебрался Иван Неронов. Место, что называется, на виду: храм, возведенный князем Д. М. Пожарским в память об освобождении Москвы в 1612 году, стоял на Красной площади, против Никольских ворот. Сюда, как минимум дважды в год, совершал богомольный ход сам Алексей Михайлович.

В Казанской церкви Неронов стал произносить свои знаменитые проповеди. Проповедь — тоже одно из новшеств ревнителей. До того проповедничество занимало довольно скромное место в жизни церкви и обыкновенно сводилось к так называемому уставному чтению. Неронов поднял проповедь на новый уровень. Он поучал, увещевал и остерегал свою паству. Он превратил проповедь в поучение с сюжетами, взятыми из гущи самой жизни и к этой жизни обращенными. К тому же он мастерски владел словом — и не случайно народ валом валил в небольшую церковь, терпеливо

выстаивая долгую одногласную службу. Сам царь приходил в церковь послушать нижегородского Златоуста.

Ревнителю активно действовали в провинции. Это священники Даниил из Костромы, Логин из Муромы, Даниил из Темникова. Наконец к кружку примкнул знаменитый впоследствии Аввакум. Именно своим московским покровителям он был обязан протопопством в Юрьевце. Все это были люди разных способностей, темперамента и чувствования и одновременно удивительно схожие в своем фанатизме и бескомпромиссности. Они — люди идеи, которых легче сломать, чем согнуть.

В кружок к боголюбам были вхожи люди светские. Сам по себе этот факт — свидетельство того, что постепенно оформлявшаяся программа ревнителю выходила за рамки одной только церковной реформы. Отсюда и живой интерес к ней, соучастие в делах боголюбам царедворцев. Первое место среди них по праву принадлежит Федору Михайловичу Ртищеву. Кажется, он был тем человеком, который во всей полноте воплотил в себе идеал светского православного человека в представлении боголюбам. Общение с ними — душевная потребность Федора Михайловича, который, «во многия ноци в дом его (Стефана Вонифатьевича. — *И.А.*) приходя, беседовал с ним».

Близкий к Морозову Ртищев имел все возможности для стремительного восхождения вверх. И хотя он действительно добрался до самых высоких чинов и званий, произошло это как бы само собой, помимо хлопот Ртищева. В нем не было жажды власти, неумеренного стремления повелевать. Кажется, что чины мало волновали Ртищева и чем выше они были, тем сильнее обременяли. Много лет спустя, когда Федора Михайловича, назначенного воспитателем царевича

Алексея Алексеевича, по обычаю собрались пожаловать боярством, он воспротивился. Воспитателем, «дядькой» царевича — да, но в прежнем, «заслуженном» им чине окольникового.

При этом нельзя сказать, что Ртищев был не способен к государственной деятельности. Напротив, все, что ему поручалось (а как близкому к Алексею Михайловичу человеку ему поручалось многое), он выполнял успешно или, во всяком случае, с великим старанием. Тем не менее он не был корыстолюбив и не спешил обратить заслуги в прибыль. В окружении второго Романова Федор Михайлович оказался одним из немногих, кто не лихоимничал и не преступал закона ради собственной выгоды. Даже А. Л. Ордин-Нащокин, равно требовательный в делах службы к себе и другим и оттого постоянно сетовавший на скудость в государственных мужах, делал для Ртищева исключение. Он считал его «крепкостоятельным» и способным человеком.

Лестно отзывался о нем столь же жесткий в оценках Аввакум. Федор Михайлович для него — «дружище наше старое Федор Ртищев». Впрочем, позднее протопоп все же рассорился с Ртищевым. Он проведал, что тот уговаривал знаменитую раскольницу, боярыню Морозову, уступить государю и прилюдно махнуть трехперстное знамение, а потом тайком креститься, как ей угодно. Такое отступничество для Аввакума было неприемлемо, и Федор Ртищев в момент превратился у него в «шиша антихристов».

Ртищев был сторонником идей столичных ревнителей. Но проповедовал их не столько словом, сколько своим поведением. Он исправно создавал образ «светского боголюбца», во всем старался быть справедливым и безупречным, радел о просвещении, был нищелюб. На свои деньги открыл училище,

отстроил богадельню и больницу для солдат, в голодные годы покупал хлеб и раздавал его голодным.

Благотворительность и милосердие обходились дорого. Ртищев нередко оказывался в затруднительном материальном положении. Однако это его не останавливало. Не хватало денег — на продажу несли из дома утварь и мягкую рухлядь. В свое время борьба москвичей за возвращение пригородных земель-выгонов, захваченных светскими и духовными феодалами, стала одной из причин выступлений 1648 года. Ртищев, прослышав о том, что жителям Арзамаса негде пасти скотину, сам отдал им свои близлежащие земли. В другой раз, продавая село Илинское, Федор Михайлович снизил цену с условием, что новый владелец не будет отягчать крестьян чрезмерными работами и податями.

Лишенный алчности и чувства зависти, Федор Михайлович казался белой вороной при дворе. И, несомненно, он был бы сильно стеснен и даже «заклеван» властолюбивыми соперниками, если бы не близость к Алексею Михайловичу. Эта духовная связь возникла еще в ранние годы и отчасти прослеживается в восхождении Федора Михайловича по придворным должностям. Мы почти всегда видим его около государя. В 1646 году он унаследовал отцовскую должность стряпчего с ключом. Четыре года спустя вновь сменил отца, на этот раз на ответственной должности постельничего. Видно, что Алексей Михайлович чувствовал постоянную потребность в этом человеке и старался держать его вблизи и почаще общаться с ним.

Неудивительно, что такие личности, как Вонифатьев и Ртищев, сделали Алексея Михайловича своим горячим сторонником. Царь готов был вести жизнь, скроенную по меркам и лекалам ревнителей. В этом смысле его первая свадьба, во время которой девятнадцатилетний,

полный жизни юноша находил отдохновение в духовных песнопениях, символична. Не веселье и грубое «бесовское» скоморошество, не обильное возлияние за заздравными тостами, а торжество благочестия и благочиния! В контексте последующих событий царская свадьба — своеобразная декларация о намерениях. При всем почитании Ивана IV, которому второй Романов во многом пытался подражать, молодой Алексей Михайлович не желал совершать сомнительные поступки и уж тем более плясать с придворными скоморохами в «машкарах» под загульные молодецкие песни.

Голос ревнителей слышен и в мартовском указе 1647 года, запрещавшем православным работать в воскресные и праздничные дни, предназначенные для молитвы и пребывания в церкви, а также в указах, преследующих скоморохов^[147].

Даже на события 1648 года молодой государь взглянул глазами ревнителей. Для него скопы и бунты в городах — несомненное свидетельство остужения православного чувства в народе. Да и как иначе было реагировать на воеводские отписки с описанием народного своеволия, когда завсегдатаи кабаков похвалялись, что «не диковина» де им само государево дело и сама государева казна! Потому вовсе не случайно, что в самый разгар работы над Уложением царь и дума занялись законотворчеством, казалось бы, очень далеким от злобы дня, — заботой о народном благочестии.

В начале декабря 1648 года по городам была разослана грамота, навеянная проповедями боголюбив. Властям стало известно, что народ к «церквам Божиим не ходят и умножилось в людях во всяких пьянство и всякое мятежное бесовское действо, глумления и скоморошество со всякими бесовскими играми и от тех

сатанинских учеников в православных крестьянх учинилось многое неистовство». Осуждались зернь, карты и даже шахматы. Указано было ходить в церковь, слушать службы, пение и поучения «со страхом и со всяким благочестием»^[148].

Конечно, практические «рекомендации» ревнителей оказывались много уже их идей. Но на самом деле они попытались решить труднейшую нравственную задачу — обновить православные ценности и сплотить вокруг них общество. При этом само обновление на поверку оказывалось не простым повторением забытой старины, не точной иконописной прописью, переходящей от одного поколения иконописцев к другому. Ни на минуту не забывая об особой ответственности Московского царства за судьбы христианства, ревнители стремились придать новый импульс религиозно-нравственной жизни. Они жаждали совместить ее с религиозным просвещением и образованием, ратовали за более тесное общение со всем православным миром.

Забегая вперед, скажем, что попытка была с изъяном. Она, строго говоря, и не могла удасться в том виде, в каком ее задумали московские боголюбцы. Стремительно приближалась эпоха иных, светских ценностей, сильно отличных от прежних образцов. Однако нельзя не заметить, что ревнители создали одну из тех переходных форм, в которых отливалось национальное самосознание.

Естественно, что с наибольшей полнотой ревнители сформулировали свою «церковную программу». Само исчисление ими накопившихся «церковных неурядиц» было пространно: утраченное литургическое единообразие, включая расхождения в обрядах и отступления от чина службы, многочисленные ошибки и разночтения, накопившиеся в литургической литературе и т. д. Острой оставалась

все та же проблема возвращения к единогласию. Для ревнителей, мечтающих о религиозно-нравственном перерождении паствы, служба в два, три и более голосов была абсолютно неприемлема. О каком, собственно, воздействии на верующих могла в этом случае идти речь, когда многогласие превращало службу в шумное действо, схожее с торжищем?!

Уже Стоглав, высоко почитаемый ревнителями, решительно запретил подобное отступление, «занеже то в нашем православии великое безчиние и грех». Однако многогласие продолжало благополучно существовать, лишая литургию всякой чинности, стройности и назидания. Для ревнителей такая служба — чистая формальность, путь не к спасению, а к «погублению».

Высшие церковные иерархи, современники священников-ревнителей, прекрасно видели все негативные стороны многогласия с его отступлением от устава. Но что было делать, если занятая мирскими заботами паства предпочитала храмы с «короткой» многогласной службой? Со временем явилась привычка, и уже мало кого смущало, что во время литургии один пел, другой читал, третий произносил октеньи: зато все шло скоро и с произнесением положенного по чину. Приходское духовенство, зависимое от пожертвований мирян, потакало их вкусам и быстро перенимало многогласие. Те же храмы, где соблюдался полный церковный устав, стояли полупустыми, отчего причт их нищенствовал, а прихожане уходили в «многогласные» церкви.

Церковным властям приходилось считаться с подобной практикой. Они искали компромиссы, соединяя, казалось бы, несоединимое — низменный мирской интерес и строгий чин. В 1638 году патриарх Иосиф разослал «память», в которой разрешил вести службу в два голоса. Впрочем, в грамоте содержалась

еще более пагубная, с точки зрения ревнителей, оговорка: разрешалась служба «...по нуже и в три голос». Лишь шестопсалмие, в котором исчислялись грозившие христианину опасности и звучала надежда на милосердие Божие, указано было всегда возглашать единогласно: «И в те поры ни псалтири, ни канонов говорить не дозволяется».

Для боголюбов, максималистов по натуре, такой компромисс не подходил. Послание архипастыря только укрепило их в недоверии к высшим властям. Вехой здесь стала схватка Стефана Вонифатьева с церковным собором в феврале 1649 года, о которой речь шла выше. Тогда дело выиграл Иосиф. Патриарх понимал, что столкновение с благовещенским протопопом на почве единогласия — это нечто большее, чем просто спор о дозволенном и недозволенном. Речь шла о том, кто станет определять церковную политику. Иосиф не желал отступать. Уступка в одном влекла уступку в другом. И кому? Тем, кто по своему положению в церковной иерархии должны были подчиняться и безмолвствовать!

Иосиф, который по натуре был склонен к компромиссам, стоял на этот раз непреклонно. Его даже не остановило ни явное сочувствие царя намерениям боголюбов, ни отказ ряда участников собора, среди которых был и Никон, подписать его решения^[149]. Правда, он опирался на большинство собора, отклонившего «домогательства» Вонифатьева о повсеместном введении единогласия.

Вскоре выяснилось, что против планов ревнителей настроены миряне. «Меня и самово за то (за единогласие. — *И.А.*) бывали (бывали. — *И.А.*) и гоняли безумнии: долго де поешь единогласно! Нам де дома недосуг!» — признавался позднее протопоп Аввакум, приводя вполне бытовую, но едва ли не самую весомую

причину мирского протеста. Даже «братия» ревнителей, приходские священники, в подавляющем большинстве и вполне искренне поддерживали патриарха. Когда в 1651 году боголюбцы принялись собирать подписи под новую челобитную о единогласии, они натолкнулись на общее непонимание. «Нам де хотя и умереть, а к выбору о единогласии рук не прикладывать!» — шумели столичные попы, более всего заботившиеся о своих доходах.

Обнародованы были и аргументы против. «Свечам де большой расход», — вздыхал один из старцев по поводу продолжительного единогласного пения в Казанской церкви. А Никольский поп Прокопий в своем споре с поклонником ревнителей, гавриловским попом Иваном, приводил другой довод: «Заводите де вы, ханжи, ересь новую — единогласное пение и людей в церкви учите, а мы де людей прежде сего в церкви не учивали, а учивали их в тайне». Подобные аргументы не могли поколебать решительный настрой боголюбцев. Ересью называлось решение Стоглава; поучение на исповеди ими вовсе не отрицалось, а лишь необходимо дополнялось прилюдным поучением во время проповеди. Больше того, подобные речи лишь укрепляли их мнение о невежестве и нерадении духовенства, избегающего долгих и тягостных служб по чину и правилам.

Спор о единогласии превращался в оселок, на котором проявлялось, с точки зрения ревнителей, истинное благочестие. Обнаружился в этом споре и еще один водораздел: между сторонниками и противниками церковного обновления. Неудивительно, что Вонифатьев со своими единомышленниками не собирался отступать. Большим подспорьем для них стало царское сочувствие. С таким союзником можно было смело оспаривать решения церковного собора.

Под давлением боголюбив патриарх принужден был обратиться в 1650 году в Константинополь в поиске ответов о «великих церковных потребах»^[150]. То был сильный ход: Иосифу по необходимости приходилось считаться с мнением первого из Вселенских патриархов. Ответ от патриарха Парфения был в пользу Вонифатьева и членов его кружка: единогласие «не только подобает, но и непременно должно быть».

В итоге новый февральский собор 1651 года принял решение, обратное прежнему: «Пети во святых Божиих церквах чинно и безмятежно... единогласно», псалмы и Псалтырь говорить в один голос, неспешно и тихо^[151]. Иосифу поневоле пришлось делать хорошую мину при плохой игре: все было представлено так, что новое положение было принято без давления, по одной только доброй воле патриарха и властей.

Особая печаль ревнителей — отсутствие христианского воспитания народа, его низкий духовный и нравственный уровень. Но для этого следовало прежде всего позаботиться о повышении образованности духовенства. Учительство — вот о чем ратовали боголюбивы, выступая, по сути дела, не только с религиозной, но и с просветительной программой. Важными элементами здесь были школа и Печатный двор.

Потребность в создании школы ощущалась давно. Еще Филарет просил константинопольского патриарха Кирилла Лукариса направить в Москву учителей. В 1632 году в столице появился посланец Александрийского патриарха Иосифа, человек ученый и к тому же знающий славянские языки. Но тут началась несчастная Смоленская война, и стало уже не до школы. Затем последовала смерть Филарета, а следом и самого «дидаскала» — учителя Иосифа. В итоге все само собой заглохло.

Эстафету подхватили ревнителю. С 1645 года они принялись упрашивать заезжих греков взять на себя обучение русских детей философии, богословию, греческому языку. Греки откликались не особенно охотно. Немало трудностей представлял и языковой барьер. Неудивительно, что взоры ревнителей все чаще устремлялись на образованных киевлян.

Инициативу взял на себя Ртищев. Его стараниями в Андреевском монастыре близ Москвы была открыта школа, учительствовать в которой стали украинские и белорусские монахи, искусные в славянской и греческой грамматике, риторике и других науках^[152]. Новшество породило немало толков. Ярые приверженцы московской православной старины с великим подозрением взирали на ученость наезжих «дидаскалов», находя в ней сильный налет латинства. «Кто по-латыни научится, тот с правого пути совертается» — такой суровый и безапелляционный приговор по поводу «затеек» ревнителей точно выражал общую убежденность ортодоксально настроенных православных.

Не остался в стороне от общего дела и Вонифатьев. Под его попечительством появилась греко-латинская школа при государевом Печатном дворе. Понятно, что это были лишь первые робкие шаги. Но важно было само намерение боголюбов. Алексей Михайлович поддержал их начинание. Царь был причастен и к вызову украинских ученых-монахов.

Ревнителю дали новый импульс книжному делу. Государев Печатный двор в 40-х годах работал с большим напряжением. По числу названий именно это десятилетие опередило все остальные десятилетия XVII века. Даже отрезок петровского царствования, совпавшего с концом столетия, уступает «книжному десятилетию», во время которого книги выпекались,

как подовые пироги. Всего с 1642 по 1652 год — то есть за время патриаршества Иосифа — было издано 113 названий книг. При этом новейшие исследователи связывают напряженную работу Печатного двора не с патриархом, а со Стефаном Вонифатьевым, определявшим, по крайней мере с середины 40-х годов, содержание и направленность всей книгоиздательской работы.

Вся эта разнообразная деятельность Стефана Вонифатьева и его единомышленников продвинула вперед дело подготовки церковных реформ, прежде всего тем, что заронила в общество мысль о грядущих изменениях. Произошло это вовсе не безболезненно — явилось ощущение религиозного напряжения. Но все это оказалось лишь легким дождичком перед никоновской грозой.

Пессимистический взгляд ревнителей на современное им состояние церкви и общества сочетался с твердой убежденностью, что русскому православию предначертана высокая миссия сохранения и возвеличивания «истинного христианства». Заглянув в годы Смуты за край бездны, подвижники связали все свои надежды с Московским царством. Ибо падет Москва — падет и истинное православие, настанет царствие Антихриста. Под удушливым бременем такой ответственности ревнители взирали на слабости и отступления не с милосердным снисхождением, а с апокалипсическим ужасом.

В самом деле, все поведение боголюбов было таково, будто они везде ощущали приближающееся дыхание Зверя. Отсюда и торопливость. Церковная реформа для них стала не просто насущной задачей, но своего рода идефикс. Но имея эту общую, объединяющую в начале пути цель, боголюбы решительно разошлись в методах и принципах ее достижения. Сходясь в диагнозе, они не сходились в

способах лечения, едва только получили возможность врачевать. В этом — объяснение одной из самых драматичных страниц отечественной истории, получившей название «раскол» и превратившей в непримиримых врагов людей, некогда начинавших вместе и считавших себя единомышленниками.

Многие из ревнителей очень тяжело переживут эту ситуацию. Не станет исключением и сам Алексей Михайлович, со скорбным вздыханием принявший раскол боголюбцев. Уговорами и лаской он будет пытаться склонить упрямец к покаянию. С годами это окажется все труднее. Не только потому, что царю придется столкнуться не с искателями личных выгод, а с людьми идеи, фанатиками. Будет меняться сам Тишайший, все более проникавшийся той властностью, при которой неповиновение раздражает настолько, что не остается место никакому терпению.

Обратной стороной высокого почитания московского православия стал пренебрежительный взгляд на православие восточное. Авторитет греческой церкви долгое время на Руси был непререкаем. Греческая апостольская церковь дала Древней Руси христианскую веру. Константинопольская патриархия слала на Русь иерархов и была высшим судьей в вопросах веры. Но то все относилось к грекам древним, творившим литургию под сводами Святой Софии, кресты которой еще не были сменены на мусульманские полумесяцы.

Уже Флорентийский собор 1439 года, эта отчаянная попытка византийцев с помощью унии с католическим Западом устоять перед натиском турок-османов, заставил Москву усомниться в правоверии греков. Уния была с негодованием отвергнута, учителя-греки обратились в сребролюбцев. Отныне на Московское царство Бог обратил «свет благочестия», оставив прозябать в «латинской ереси» Константинополь.

С падением Византийской империи восточная церковь не исчезла. Однако в Москве сильно сомневались, что утратившие царство греки сумеют сохранить в чистоте православие. Греки сами посеяли подобные сомнения, укоренив мысль о неразрывной связи Царства и Веры. Царство утрачено. Могла ли устоять Вера?

Каждый год приносил с востока известия, подтверждавшие самые мрачные прогнозы. Под натиском турок почти все население Сирии и Малой Азии, часть населения Македонии, Греции, Боснии и Болгарии приняли мусульманство. Ареал восточного православия сжимался, как шагреновая кожа. Зато в ином свете представлялось свое собственное благочестие, теперь уже вне всякого сомнения самое высшее и совершенное во всем православном мире!

Смута с еще большим трепетом побудила относиться к собственному православию. Прошедший через горнило Смуты русский человек с особой гордостью оглядывался на свое многовековое прошлое и еще более укреплялся в мысли, что Русь жила недаром, что она приобрела славные традиции, собственных святых и угодников, что под покровами ее бесчисленных храмов покоятся мощи не только русских, но общехристианских святых, что она, наконец, не Византия и, пошатнувшись, все же сумела устоять в своем благочестии и не утратить православного царства.

Всем этим были обделены греки. Едва кончилось лихолетье, они толпами устремились в Москву за милостью и принялись бойко торговать привезенными мощами и другими сомнительными святынями. Все это происходило на глазах русских людей, и уже не традиция, а личный опыт общения побуждал косо смотреть на пришельцев. В обыденной жизни греков нередко называли попрошайками и иной раз одаривали

обглоданной костью, оскорбительная символика которой едва ли нуждается в разъяснении.

Не лучшим было церковное прошлое самих искателей милостыни. В их жизни православие менялось на «латынство», «латынство» на мусульманство с легкостью, которая не укладывалась в сознании строгих приверженцев восточного христианства. Понятно, что такие гости предпочитали умалчивать о своем сомнительном прошлом. Но скрыть его оказывалось нелегко. Сами греки, ревниво следившие друг за другом, спешили при первой возможности донести на соперника и обойти его в симпатиях новообретенных покровителей. Постоянные обвинения, взаимные дразги, наушничество и доносительство сопровождали едва ли не каждый приезд греческих архиереев.

Приходилось с осторожностью относиться даже к самим восточным патриархам. Только на константинопольском патриаршем престоле за 60 лет, с 1595 по 1657 год сменилось более сорока патриархов. Немногие из них оставили престол по своей воле или из-за смерти. Бесконечная череда патриархов — результат интриг, соперничества, гнева султана. Знаменитый патриарх Кирилл Лукарис, семь раз свергнутый и шесть раз возвращавшийся на престол, в конце жизни склонялся к соглашению с протестантами. Турки, подстрекаемые соперниками, низвели и умертвили Лукариса. Патриарший посох угодил в руки его непримиримого соперника, Кирилла Контариса, который в 1638 году тайно принял католичество. Но тайна стала явной, и Контарис в третий — и последний раз — оставил патриарший престол.

Подобные случаи воспринимались некоторыми ревнителями как новые доказательства неполноты и неблагополучия греческого православия. К тому же греки лишились своей школы и богословскую ученость

получали в Италии под присмотром папы и иезуитов, а значит, вольно или невольно пропитывались духом «латынства». Даже книги их печатались в Европе и проходили папскую цензуру и редактуру, после которых, по их же собственному признанию, грекам приходилось вымарывать различные «смутки».

Православие греков казалось настолько сомнительным, что некоторых из них перестали по приезду в Москву пускать в православные храмы. Отныне им следовало сначала пройти исправление в монастырской келье^[153].

Скептическое отношение к грекам и к восточному православию ярко выразилось в так называемых «Прениях о вере» Арсения Суханова.

В конце 40-х годов в Москве возникла мысль о посылке на восток сведущего человека для сбора древних греческих книг. Выбор пал на троицкого монаха Арсения Суханова, известного своим хорошим знанием греческого языка. Случай казался вполне подходящим: в 1649 году Москву покидал патриарх Паисий, который мог бы на первых порах покровительствовать монаху. Паисий, однако, не спешил возвращаться в бывшую свою патриархию и надолго застрял в Яссах. Здесь в мае 1650 года был устроен религиозный диспут с греками, содержание которого, в соответствии с тогдашней практикой, было изложено Сухановым в статейном списке — отчете о поездке. Понятно, что список — это мнение одной стороны, которая к тому же не могла удержаться от заурядного хвастовства: греки у Арсения нередко покидали словесное ристалище «кручиноваты». Но именно своей односторонностью сухановские «Прения» и любопытны. Перед нами предстает очень живой и очень русский человек, мыслящий и чувствующий подобно большинству своих соотечественников. Своей

«прей» — спором — ученый старец лучше многих толстых книг объясняет, отчего всякая неуклюжесть и неловкость в делах касательно соотнесения русского и восточного православия могли легко привести к непоправимой беде.

Первая тема спора — развенчание претензий греков на учительство и наставничество. В самом деле, как можно и чему можно научиться у «исшатавшихся» в вере греков? В пылу спора троицкий монах готов даже отступить от исторической правды. Православие на Руси было принято не от греков, а от самого апостола Андрея, провозглашает старец, претендуя таким образом на равенство апостольских церквей. Впрочем, встретив яростные протесты и чувствуя свою уязвимость в этом вопросе, Суханов прибавляет: если и приняли веру от греков, то от тех, «которые непорочно сохраняли правила Святых апостолов, а не от нынешних». Одним словом, коли и был когда-то источник — греческое богословие, — то «ныне он пересох», отчего и сами греки «страдают от жажды».

Вторая тема спора — греческое «отступничество». Суханов с энтузиазмом исчислил все вины, в которых погрязли греки с точки зрения ортодоксально настроенного русского человека: склонность к латинству, нетвердость в вере, восприятие чуждых православной старине обрядов. Он спокойно выслушивает своего оппонента, митрополита Власия, о допустимости и двух-, и трехперстного знамения и даже как будто соглашается с ним, когда тот прибавляет: «Только нам мнится, что наше (то есть троеперстие. — *И.А.*) лучше, мы — старее». «Знаю, владыко, что вы старее», — ответил московский ритор и из дальнейшего совершенно ясно, что, кроме как «старее», ни с чем остальным он не согласился, потому что для него все московское не просто лучше — святее.

Третья тема — высота московского «большого православия». По Суханову Москва во всем обошла несчастных греков. «Был у вас царь благочестивый, а ныне нет, и в то место воздвиг Господь Бог на Москве царя благочестивого»; были монастыри и церкви «без числа» — все ушло, всем ныне завладели басурманы; были христианские бесценные ценности — «вы их разносили по землям, и ныне у вас нет, а у нас стало много». Все доброе благодатью Христовой перешло в Москву, заключает старец, и выносит приговор, предвосхищающий будущее поведение старообрядцев: Москва «может без вашего учения быть» и всех четырех восточных патриархов, как папу, «отринуть... если не православны будут». Так оно и случится, только «отринут» старообрядцы в первую очередь своего, пятого патриарха.

Рассуждения бойкого и словоохотливого Арсения Суханова очень типичны ^[154]. Но из них следовало, что, опираясь на подобную систему воззрений, исправление всех неурядиц и непорядков необходимо осуществлять по святорусским, а не греческим образцам и уставам. Здесь сами действия, подчиняясь внутренней логике, выстраиваются в определенную цепочку. Сначала нужно исправление церкви, но не перенимающее новогреческое, а возвращающееся к совершенным старорусским образцам; затем или даже одновременно — проповедь и научение, чтобы никто не сбился с праведного пути, «но вси спасения да улучат».

Перед нами та основа и тот предел в церковных реформах, за которые ратовали твердые сторонники святости и полноты отечественного православия. Таких было немало в стане ревнителей, особенно среди выходцев из провинции. Для них верность святорусскому православию и традициям была жизненным кредо.

Но далеко не все ревнители были столь скептически настроены в отношении восточного православия. Среди боголюбов имелось немало грекофилов. При этом они, так же как их единомышленники-оппоненты, опирались на традицию. Только иную — глубокого почитания восточного христианства, взгляда на греков как на учителей. Конечно, и им были известны случаи сомнительного поведения греков, их шатания в вере. Однако для них это всего лишь досадные отступления. По убеждению грекофилов, восточная греческая церковь ни в чем не отступает от правил и уставов и по-прежнему «светится правую верою».

Ревнителей-грекофилов оказалось больше всего в столице, что дало повод историкам причислить их к столичным ревнителям в противовес провинциальным. К первым относят Стефана Вонифатьева, Федора Ртищева и самого Алексея Михайловича, ко вторым — Неронова, Аввакума. При всей условности подобного деления здесь схвачено главное. Близость ко двору делала для людей круга Вонифатьева важными не одни только церковные проблемы. В сравнении с провинциальными ревнителями их кругозор был шире, подход — свободнее. Само пребывание в столице заставляло их внимательно и взвешенно присматриваться ко всем новшествам и не спешить с их категоричным осуждением. Это дало им весомое преимущество при ответе на насущные вопросы, которые поставило перед государством и обществом само время.

Несомненное мессианское чувство боголюбов требовало от них определиться в вопросе о месте и роли московского православия в православном мире. Ответ здесь давался в зависимости от принадлежности к тому или иному лагерю. Столичные ревнители видели себя во главе православного мира, которому предстояло сойтись в едином Московском православном царстве.

Совсем иную перспективу предлагали провинциальные ревнители, ратовавшие за сохранение чистоты путем изоляции от всего восточного православия. Суть спора точно и образно сформулировал историк русской церкви А. В. Карташев: «Теократическая идеология „единого вселенского православного царя всех христиан“ толкала московских царей на пути сближения с греками и всеми другими православными. А доморощенная Москва, загородившая свое православие китайскими стенами, не пускала своих царей на вселенское поприще. Это значит, что столичные ревнители как раз помогали московским государям выбраться на вселенское поприще, провинциальные же огораживали их „китайскими стенами“» [\[155\]](#).

Но вот центральный вопрос: можно ли было отсидеться за этими «стенами»?

Все XVII столетие было пронизано движением России к европейской культуре. Само это движение шло неровно, прерывисто, но с несомненным ускорением, которое увенчалось в конце концов петровскими реформами. В истории этого движения середина столетия занимает важное место. Москва по-прежнему «потребительски» взирала на достижения западных соседей. Аристократия, двор, сам Алексей Михайлович охотно перенимали все то, что украшало и делало приятным быт. Явилась мода — подражание Западу, которую осуждала церковь, но которую так и не удалось изгнать. «Болезнь» оказалась прилипчивой и получила распространение при дворе.

«Обиходное» заимствование шло рука об руку с «государственным», еще более важным, поскольку оно было связано с фундаментальными потребностями развития страны. В верхах полагали, что просто перенять вполне достаточно, чтобы решить все проблемы. Потребность в сравнении, в сопоставлении

пока отсутствовала. Сознание отсталости, этой повивальной бабки петровских реформ, явится тогда, когда секуляризованное сознание станет оперировать понятиями и ценностями, взятыми из одной системы координат с европейскими. В середине века до этого еще было далеко. Однако именно столичные ревнителю, не ведая того, немало поспособствовали мировоззренческим переменам.

При Алексее Михайловиче общество столкнулось с проблемой общенациональной: что, как и в какой мере следует заимствовать на Западе? И надо ли заимствовать вообще? Модель, предлагаемая провинциальными ревнителями, отвечала на все эти вопросы отрицательно. Ориентированная на московское благочестие, она предлагала, по сути, изоляцию. При этом имеется в виду не некий запрет или неприятие одного какого-то новшества, а само мироощущение и мировосприятие, которые органически складывались из системы взглядов старолюбов. Как, скажем, мог чувствовать и вести себя человек закала провинциальных ревнителей, отправленный на выучку к немцу? Как вообще могло осуществляться расширяющееся заимствование при твердой уверенности, что любое общение с иностранцами для каждого православного человека отдельно и православного царства в целом греховно? Не случайно швед Поммеринг доносил в Стокгольм, что две тысячи московских дворян рейтар никак не хотят позволить командовать собою немцам, называя их некрещеными. В итоге правительству пришлось срочно думать об организации обучения московских дворян, чтобы иметь пускай и не лучших, но все же своих, «православных» офицеров.

Признавая необходимость перемен и тем самым невозможность прежнего бытия, провинциальные ревнителю искали идеал в прошлом и были

решительными противниками сближения с Западом. Они жили другим временем, не замечая, что оно плохо согласовывалось с настоящим.

Взгляды столичных ревнителей предполагали создание иной модели развития, лишенной замкнутости и неподвижности. Грекофильство столичных ревнителей подразумевало обращение к «еллинской мудрости». Правда, к XVII столетию греческая образованность была тупиковой. Но уравнивание в чинах и обрядах с восточной церковью было одновременно и уравниванием с православной церковью Украины и Белоруссии, а это имело не только религиозное и политическое, но и культурное значение: благодаря посредничеству малороссийских и белорусских старцев Московская Русь получала возможность приобщаться к европейским знаниям.

Конечно, это было весьма скромное приобщение. Да и сама европейская образованность новоявленных учителей не блистала глубиной — ведь Речь Посполитая и тем более ее православные окраины не претендовали на интеллектуальные глубины. Но та доля «латинства» киевских учителей, которая для старолюбов была синонимом католичества, для столичных ревнителей была ученостью. И в самом деле, латынь была языком не только мессы, но и науки, университетов, книг. Грекофильство на поверку оборачивалось возможностью расширить кругозор, повернуться к европейской культуре и образованности. Правда, сам этот поворот поначалу слабо заметен: настолько еще православно ортодоксально первое поколение приезжих старцев из Малороссии. Но Аввакум скорее не холодным разумом, а интуицией гениального писателя уловил западническую ориентацию происходящих перемен и выразил весь свой ужас насмешливо-горьким восклицанием: что-то тебе, Русь, захотелось немецких порядков и обычаев!

Просветительская программа столичных ревнителей была чрезвычайно умеренной. Но именно в этой умеренности и была ее сила, поскольку она точнее всего отвечала сознанию современников. Вся обстановка в стране подталкивала к единственному пути, соответствовавшему духовному и психологическому состоянию общества. Пути, отражавшему потребность использования достижений европейской культуры и образованности. Пути, который предлагали столичные грекофилы, нашедшие первых учителей в непугающем русского православного человека обличье мудрых киевских старцев.

Восприятие западноевропейской культуры при украинско-белорусском посредничестве было приемлемым еще и потому, что дозы ее были гомеопатическими. Только такие дозы и было способно на тот момент «переварить» общество, питавшее после Смуты великую подозрительность в отношении всего иноверческого. Петровское реформирование с сильно действующими лекарствами было просто невозможным — организм страны его бы отторгнул.

В споре бывших единомышленников, столичных и провинциальных боголюбцев, столкнулись, по сути, две различные модели социокультурного развития страны. Модель Вонифатьева и его сторонников с ее умеренной просветительской ориентацией возобладала. Возобладав же, остро поставила проблему ее создателя.

«Собинный друг»

Первые «авангардные бои», которые не без успеха провел на излете 40-х годов Стефан Вонифатьев, обнаружили главную слабость ревнителй — отсутствие авторитетного и деятельного лидера, способного превратить высокие мечтания в прозаическую явь. Сам царский духовник при всем своем бесспорном авторитете для такой роли подходил плохо: то ли по преклонности своих лет, то ли по душевной доброте, а скорее всего — из-за того и другого одновременно. Острое столкновение Вонифатьева с патриархом Иосифом на февральском соборе 1649 года — предел, далее которого он не посмел ступить. Между тем было абсолютно ясно, что заставить патриарха пойти на новые уступки необходимо, и не единожды, что само дело церковного «исправления» потребует невероятного напряжения всех сил и воли. Словом, нужен был не просто единомышленник, а человек церкви, способный провести церковную реформу. Алексей Михайлович, несмотря на малоопытность в подобного рода делах, вполне понимал это. Тем более что это понимание разделял и подкреплял сам Стефан Вонифатьев, озабоченный будущностью планов ревнителй. Складывалась ситуация неординарная: судьба в лице царя-ревнителя и его духовного окружения как бы заранее предуготовляла будущему церковному реформатору взлет необычайный, почти фантастический. Ветер поднимался штормовой, и дело было за тем, кто осмелится наполнить им свои паруса.

Осмелился Никон.

Родись Никон тремя десятилетиями раньше, он со своим темпераментом и наклонностями легко мог бы угодить в атаманы «вольных казаков» или сыграть

роль, подобную роли Прокопия Ляпунова в событиях Смуты — по натуре он был разрушителем и ниспровергателем. Но Смута закончилась, и с ней канули в Лету возможности нетрадиционного раскрытия личности, ее реализации вопреки происхождению и социальному положению. Изменить статус, особенно крестьянскому сыну, каким был Никон, — дело весьма и весьма трудное. Одним из немногих законных путей оставалась церковная карьера. Ее и избрал Никон, в миру Никита Минич.

Священствовать Никон стал рано, «в некоем селе» близ Макарьевского Желтоводского монастыря. В 1627 году его «сманили» в Москву купцы. Но вскоре благополучно складывавшаяся жизнь неожиданно дала трагический сбой. В один год один за другим умерли все три его сына. Для нас навсегда останутся тайной страдания Никиты Минича. Но точно известно, что обрушившиеся несчастья молодой священник истолковал как знак свыше, призыв уйти из мира.

Уговорив жену постричься в монастырь, Никита отправился в Анзерский скит, расположенный в Белом море близ Соловков. Здесь на тридцать первом году жизни он принял постриг. Внутренняя мистическая предрасположенность и трагическая случайность, столкнувшись, высекли искру, от которой через два десятка лет запылает раскол. Разумеется, связь здесь не столь прямолинейная, и не одна «никоновская искра» распалила раскольничьи гари. И все же сколько случайностей, непредвиденных обстоятельств, из которых слагаются судьба человека и история страны!

Кто знает, как повернулась бы линия жизни священника Никиты, не оборвись так рано нити, связывающие его с миром? Ведь малолетних детей нельзя было уговорить постричься, как жену. Нравственный долг был прост, как Моисеева заповедь: поднять сыновей и уже потом, по влечению или

стечению обстоятельств, надеть монашеский клобук. Нет оснований сомневаться, что и через десять лет Никон мог это сделать и сделал бы. Но маловероятно, чтобы он сумел тогда сменить скромный клобук на патриарший омофор. Просто не успел бы за своей невостремленностью.

Никоновский уход из мира обернулся его возвращением в этот мир. Время, как мы помним, создало новый тип подвижничества: не молитвенное затворничество, а наставничество и учительство в миру. Этот тип очень подходил деятельному Никону, аскетизм которого в личной жизни, кажется, лишь фокусировал избыток жизненных сил для церковного и общественного служения. Никон мог вполне искренне в момент ссоры с царем уверять, что патриарший посох он взял не по своей воле, уговором и с оговором — владеть им не более трех лет. Но это все поза. Никон жаждал подвижничества. Подвижничество предполагало дело. Делом стала власть.

Вся тайна Никона в его темпераменте, тонко заметил историк русской церкви и русского богословия протоиерей Георгий Флоровский^[156]. Действительно, будущему патриарху одинаково чужды были нравственные рефлексии и ученое мудрствование. Последним он занялся скорее по принуждению, лишившись иных способов бороться со своими противниками. Темперамент вознес Никона до патриаршества; он же стал одной из причин падения.

Никон ничего не умел делать вполсилы. Высокого роста, крепкого телосложения, он даже одежды привык носить под стать себе и своему сану — саккос в четыре пуда весом и омофор в полтора. Но прежде чем возложить на себя эти драгоценные в прямом смысле «патриаршие вериги», Никон носил вериги железные.

В Анзерском скиту, который был известен необычайной суровостью и строгостью устава «по образу древних отец скитских», — а именно этого и жаждал новопринятый инок, — Никон взвалил на себя бремя подвига поистине богатырского. Ему мало было просто одиночества (все на острове жили особо, в кельях, раскиданных по пустынному берегу), обычных молитв и поклонов. Он усердствует и во время еженедельных всенощных бдений кладет «по тысяче поклонов... сна же зело мало употребляше».

Никона часто посещают видения. Для него они — знак, неоспоримое свидетельство избранности. Едва ли уместно сомневаться или иронизировать по поводу искренней веры Никона в видения. Для человека Средневековья это норма. Сомнения если и приходили, то не в плане существования и существа видений, а в их источнике, божественной ниспосланности. Ведь они могли быть и происками дьявола, обманом, ибо истинные откровения ниспосылаются не просто благочестивым людям, а лишь избранным, пророкам. Никон в истинности своих откровений, а значит, и в своей предначертанности не сомневался. В этой вере — исток внутренней монолитной силы, которая исходила от этого человека и завораживала окружающих. Он был по рождению, по недюжей своей натуре харизматическим лидером.

Учителем и наставником Никона в Анзерах стал старец Елеазар, основатель Анзерского скита. Как мы помним, имя этого сурового подвижника было хорошо известно в Москве. Именно с его молитвами было связано долгожданное событие в семье первого Романова — рождение царевича Алексея. Михаил Федорович благоволил к старцу. С воцарением Алексея Михайловича почитание Елеазара еще более упрочилось. Но старец продолжал вести суровую жизнь отшельника. Никон многое перенял от Анзерского

игумена. Больше того, по мнению исследователей, имя Елеазара, раскрывая многие двери, помогло Никону в начале его стремительного восхождения^[157]. Все это, однако, не помешало Никону разойтись со своим наставником.

Произошло это довольно неожиданно. Елеазар, вознамерившись построить вместо обветшавшей церкви новую, отправился в столицу за милостыней. С собой — и это говорит о многом — он взял Никона. Поездка оказалась удачной: Елеазару, обласканному при царском дворе, мало кто осмелился отказать.

Вернувшись в скит, Елеазар не спешил со строительством. Братия по-прежнему сходилась по субботам на общую молитву в продуваемую всеми ветрами деревянную церковь Святого Николая. Из «Извещения о рождении и воспитании и о житии святейшего патриарха Никона», написанного клириком патриарха Иоанном Шушериным, известно, что Никон, встревоженный этим промедлением, начал «начальному старцу Елиазару о оных деньгах совет предлагати, дабы на оные деньги благоволил церковь созидати или в Соловецкий монастырь на сохранение отдати». Совет не был принят. Напротив, «того ради в ненавидинии у старца нача он Никон быти». Остается лишь догадываться, что вызвало столь резкое неприятие у старца — сам совет или же одно только намерение Никона выступить с советом — посягнуть на авторитет игумена. Скорее всего, это лишь внешнее проявление конфликта, суть которого — столкновение двух неординарных натур. Никон был слишком деятельным, слишком самостоятельным, слишком властным, чтобы долго пребывать в послушании. Двум таким инокам стало тесно на Анзерском берегу. И Никон уступил. Ушел. Как он сам признавался — а ясно, что Шушерин излагал версию именно Никона, — в слезах и скорби, не

имея никакой иной возможности «унять гнев» Елеазара^[158].

Возможно, за столкновением основателя Анзерского скита со своим иеромонахом стояли какие-то трения с Соловецкой братией. Из «Жития Елеазара» известно, что последние, «стрелою зависти устрелены быша, и вознегодоваша на преподобного», всячески препятствуя строительству обители. Елеазар оттого и медлил. А нетерпеливый Никон негодовал. Трудно сказать, насколько близко к истине это объяснение конфликта. Зато несомненно другое: ситуация невольно воспроизвела будущее никоновское столкновение с Алексеем Михайловичем, когда патриарх повел себя с царем так же, как иеромонах с Елеазаром — посторонился, дал «место неправедному гневу». Получалось, что Никон как бы отрабатывал одну и ту же поведенческую модель. Разнились лишь масштаб, декорации и актеры. Характер же главного действующего лица оставался неизменным. Но недаром же говорят, что характер — это судьба.

В 1639 году на утлой лодочке Никон покинул Анзеры. Поступок едва не закончился трагически. Буря выбросила полузатопленную лодку на безлюдный берег Кийского острова в Онежской губе. Свое спасение Никон связал со своей избранностью: Бог не допустил его гибели, приберег для будущего. Никон ставит на берегу крест и дает обет основать на Кие обитель.

Свое новое пристанище Никон находит в небольшом Кожеозерском монастыре, расположенном в 920 верстах от Новгорода. Очень скоро он затосковал по суровому анзерскому иноческому чину и упросил келаря отпустить его жить особо, на безлюдном острове посреди озера Коже. Здесь он стал проводить время в беспрестанных молитвах и в трудах — ловил для иноков рыбу.

После смерти игумена в 1643 году немногочисленная братия стала упрашивать Никона встать во главе обители. По словам Шушерина, Никон долго отказывался. Неизвестно, так ли это было на самом деле. Но нельзя не отметить еще одно повторение в биографии патриарха, подчеркнутое, по-видимому, в рассказе Шушерину им самим: подобно кожеозерским монахам, вскоре его столь же слезно станут упрашивать принять патриаршество царь, бояре и духовенство. И Никон так же будет отказываться, пока его чуть ли не принуждением заставят дать согласие. Конечно, все это описано в духе житийных традиций. Однако нельзя забывать, что подобные традиции формировали стиль и манеру поведения человека; их ставили в образец и им искренне следовали.

Игуменство в заштатной обители стало прелюдией к восхождению Никона. В этом первом превращении будущего патриарха много таинственного и до конца необъяснимого. Возможно, своим подвижничеством Никон напомнил братии высоко ими почитаемого отшельника Никодима, который после 36 лет затворничества на реке Хозьюге провел последние два месяца жизни в монастыре. Память Никодима настолько почиталась в обители, что один из монахов, старец Боголеп, написал его Житие.

Автор этого Жития, в миру Борис Васильевич Львов, занимал в Кожеозерской пустыни совершенно особое место. Выходец из столицы, он сохранил связи при дворе, и среди его почитателей якобы числился сам Ф. М. Ртищев. Значимость этих связей для обители заключалась еще и в том, что родным братом Боголепа был думный дьяк Григорий Львов, один из учителей царевича Алексея. Он не забывал о молитвенном убежище своего брата, делая, между прочим, богатые вклады в монастырскую библиотеку. Понятно, что слово

Боголепа было в Кожеозерах очень весомым. И если именно он склонился в пользу игуменства Никона, то это многое значило. Но еще большее — если он писал о Никоне своим московским знакомым.

Исследователи делают осторожное предположение, что благодаря Боголепу имя Никона стало известно в придворных кругах еще до его появления в столице ^[159]. Если к этому добавить стремление Стефана Вонифатьева собрать под свое крыло единомышленников и возможные связи Никона, нижегородского выходца, с земляками, к числу которых принадлежало немало ревнителей, если вспомнить, наконец, о знакомствах, приобретенных во время поездки в столицу за милостынею с Елеазаром, то выдвижение Никона вовсе не покажется делом одного слепого случая. Никону помогли. Хотя бы тем, что обратили на него внимание и подогрели интерес царя.

В то же время совершенно ясно, что нельзя сводить историю необыкновенного возвышения Никона лишь к поиску людей, обеспечивших начало его карьеры. Важной представляется та духовная атмосфера, в которой произошла встреча царя с Никоном. А эта атмосфера и само умонастроение Алексея Михайловича, несомненно, были предрасположены в пользу Никона. При этом речь идет не столько об индивидуальности царя, сколько о том религиозном типе, идеал которого сложился у второго Романова под влиянием ревнителей. То был тип, востребованный самим временем — благочинный и одновременно воинствующий, готовый словом и делом стоять на защите православия и Православного царства. Никон стал живым воплощением этого типа. По определению биографа Никона Шушерина, душа царя «спряжеся» с душой Никона.

Никон появился в Москве в 1646 году. То был традиционный приезд, который совершали настоятели больших и малых монастырей для сбора милостыни. Часто они получали возможность встретиться с царем. Можно лишь строить предположения относительно первых впечатлений, вынесенных Алексеем Михайловичем от общения с Никоном. Но вот бесспорные исходные «параметры» этой встречи: семнадцатилетний юноша, не только нуждавшийся в опеке, но и жаждущий ее, впечатлительный, истово верующий, благоговеющий перед святостью личной жизни — и сорокаоднолетний, богатырского сложения старец, почти ровесник недавно умершего отца государя, много повидавший, много переживший, от которого исходила зрелая, уверенная сила. Царь был человеком мечущимся. Никон — твердым, точно монолит. Он, как мы помним, был лидером по натуре, Алексей Михайлович — по царскому сану. И сан «склонился» перед натурой.

Царь не отпустил Никона назад в Кожеозерский монастырь. В том же 1646 году он был поставлен архимандритом одного из самых почитаемых московских монастырей — Новоспасского. Привычный к богатым вкладам и знатым инокам, искавшим молитвенное уединение после долгих государственных и воинских трудов, монастырь был все время на виду. Но особенно его положение упрочилось с избранием на царство Михаила Федоровича, поскольку именно за стенами этой обители находилась фамильная усыпальница бояр Романовых. Архимандрит Новоспасского монастыря — частый гость в Кремле. Но Никон ко всему прочему становится гостем желанным. Алексей Михайлович чувствует постоянную потребность в общении с ним. По словам Шушерина, государь, «желая его богодухновенною беседою наслаждаться, повеле ему архимандриту по вся пятки (пятницы). —

И.А.) приезжати к себе великому государю в верх к заутрени. Он же по повелению царскому по вся пятки к нему, великому государю, ко утрени приезжая, многих обидимых вдов и сирот, прошением своим от насильствующих им избавляше».

Слух о заступничестве Никона за всех «беззаступных» очень скоро привел к тому, что в пятницу — день его встречи с государем — к Новоспасской обители стекались многочисленные просители с челобитными. Никон, облеченный правом собирать прошения и объявлять о них государю, собирал челобитные, и царь, «не исходя из церкви», вместе с ним разбирал их и выносил приговор — «подписывать веляше и архимандриту сам вручаше»^[160].

Подобная деятельность не могла не приветствоваться ревнителями: не случайно все они, от скромных приходских священников до царского духовника, осуждали несправедливые поступки воевод и иных «сильных людей». «Кто изволит Богу служить, тому подобает стоять и за мирскую правду», — провозглашал совершенно в духе ревнителей протопоп Аввакум^[161]. А сам глава боголюбив Вонифатьев увещевал бояр «со слезами непрестанно, да имут суд правый без мзды, и не на лица зряще да судят»^[162].

Никон в защите «мирской правды» достиг самых высот. Но не менее показательна и позиция Алексея Михайловича, творящего без промедления, прямо в церкви, правый суд. Царь, выученик ревнителей, будто бы спешил искупить свое прежнее равнодушие к делам, восстанавливал образ истинно православного государя, отца над своими подданными.

Общение Никона и Алексея не проходило бесследно друг для друга. Царь все более проникался доверием к архимандриту. Ему импонировали твердость и

бескорыстие Никона, его устремленность к идеалу. Едва ли кто из царского окружения мог сравниться с Никоном в этом отношении. Духовник царя Вонифатьев был столь же высок в помыслах и чист в поступках, но лета давали о себе знать: его жизнь давно уже текла под уклон, и в нем не было той силы и энергии, какая ощущалась в Новоспасском архимандрите. Вонифатьев чувствовал это и сам в беседах с царем указывал на Никона как на самого достойного продолжателя дела ревнителей. Был еще Морозов, твердой рукой подпиравший престол. Но царь слишком много усвоил нравственных уроков в общении с боголюбями, чтобы не видеть корыстолюбия своего воспитателя. Этого, кажется, совсем не было в Никоне. В глазах царя Никон воплощал в себе все лучшее. На такого можно было опереться. Пока эта мысль — словно семя, оброненное в землю. Но семя прорастающее, а земля — жаждущая...

Происходят перемены и с самим Никоном. Это кажется почти невероятным, особенно если вспомнить о тех приступах упрямства, какие станут его посещать в годы патриаршества. Но Никон, восходящий вверх, вовсе не был таким, каким он стал на самой вершине своей карьеры. Он не оставался слепым к тому, что происходило вокруг него, и пытался приспособиться. Так, его подпись стоит под Соборным уложением, при том, что отдельные статьи Уложения вызывали у него резкое неприятие и критику. Непоследовательность Никона его противники объясняли по-разному и всегда не в его пользу: то «страх земной», то прозаический расчет. На самом деле, выступление против Уложения могло стоить ему карьеры. Никон слукавил, смолчал, рукоположился, тем более что рукоположились чины вышестоящие. Возможно и то, что в это время он еще сам до конца не осознал главную тему своей жизни — защиту священства, в священстве — патриаршества, а в патриаршестве — себя.

Но еще большие изменения претерпели религиозные «пристрастия» Никона. Появление его в 1646 году в столице означало пополнение рядов провинциальных ревнителей. Неронов, в будущем великий ненавистник патриарха Никона, позднее не упустил случая уколоть его неприятным воспоминанием. Ныне, мол, греков хвалишь, «а прежде сего от тебя же слышали, что многжды ты говаривал нам: гречане-де и Малые Росии потеряли веру и крепости и добрых нравов нет у них».

Стиль Никона в эти первые месяцы московского пребывания — аскетизм, идеал — святорусская церковная старина. Иного трудно было ожидать от игумена пустынной северной обители, гордой своей уверенностью в собственном непоколебимом благочестии. Однако очень скоро Никон убедился, что нападки на греческое благочестие не вызывают сочувствие ни у царя, ни у столичных ревнителей. Смена «веры» дала повод будущим староверам упрекать Никона в лицемерии. Верил в одно, потом переменился, убедившись, что царь и его ближайшее окружение исповедуют другое. Упрек серьезный и тем более важный, что ставит под сомнение искренность Никона. Лукавил ли он или сознательно уверился в превосходстве греческого благоверия? На этот вопрос трудно ответить определенно. Вся прежняя жизнь не дает оснований подозревать Никона в желании сделать церковную карьеру. Для того следовало бы остаться в Москве, а не ехать на север и уж тем более не оседать в Анзерском скиту. Но затем в поведении Никона появляется нечто такое, что прежде было ему чуждо: его начинает одолевать жажда власти, заставляющая при необходимости и угождать, и молчать.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов право Новоспасского архимандрита перемениться внутренне: ведь обращали его в «грекофильскую веру» люди,

несомненно, авторитетные, опиравшиеся на развернутую богословскую аргументацию и традицию. Возможно, в итоге сошлось все сразу: честолюбие, расчет, вера в собственную избранность, готовность, наконец, поверить в то, во что очень хотелось и надо было поверить.

К 1648 году Никон уже ярый грекофил. Заезжие греки на все голоса поют ему осанну. Появившийся в эти месяцы в Москве иерусалимский патриарх Паисий с особым рвением обхаживал Никона. Причина, конечно, не в особой предрасположенности к Никону, а в желании угодить царю. Хитрый грек быстро смекнул, что лучшее средство для этого — расхваливать Новоспасского архимандрита. В канун Великого поста иерусалимский патриарх подал в Посольский приказ письмо с уверенностью, что оно дойдет до государя. «Находясь в прошедшие дни у вашей милости, я говорил с преподобным архимандритом Спасским Никоном, и полюбилась мне беседа его, — писал грек. — Он муж благоговейный, и досужий, и преданный вашему царскому величеству. Прошу, да будет он иметь свободу приходить к нам для беседований на досуге...»^[163] Устоять перед такой лестью было трудно. И царю, возвысившему Никона, и самому Никону.

В жизни Никона Паисий сыграл не последнюю роль. Беседы с ним сильно повернули Никона к грекам. Если столичные ревнители при всем своем грекофильстве все же оставались людьми осторожными, понимавшими всю сложность и опасность резких перемен в обрядах, то Никон пошел дальше своих учителей и под влиянием Паисия все более склонялся к мерам жестким и решительным. Отчасти в этом сказывался его бурный темперамент, неумение и нежелание ждать. Но присутствовала в этой перемене и «идеологическая» подоплека. Традиционная гордость святоотеческим

православием приобретала в сознании будущего патриарха новые формы. Ему уже тесно на одной русской почве, он уже мечтает об экуменическом расширении христианской церкви, с тем только условием, что первенствовать в этом едином православном мире станет пятый — Московский патриарх. «И последние станут первыми»...

Впрочем, в 1648 году разногласия между провинциальными и столичными ревнителями пока еще отходили на второй план перед общими задачами. И новоспасский архимандрит воспринимался всеми как один из лидеров движения. На февральском соборе 1649 года Никон был среди тех, кто открыто поддержал выступление Стефана в защиту единогласия — его подписи нет под соборным приговором.

Однако близость к ревнителям не помешала ему принять близко к сердцу интересы и церковных иерархов. Новоспасский стряпчий, вопреки указу, не спешит подать в ноябре 1648 года в Поместный приказ список монастырских вотчин, приобретенных с конца XVI века. Едва ли он осмелился на такое без ведома Никона. Примечательно, что, памятуя о положении Новоспасского архимандрита, на поведение его стряпчего ориентируются и другие монастырские власти, совсем не жаждущие потакать алчному до чужих земель провинциальному дворянству и бессребреникам-протопопам, склонным к нестяжательству^[164]. Дело до земельных конфискаций, как известно, не дошло: дворянство остыло, а светские власти, не желавшие ссориться с духовными, о своем первоначальном намерении забыли. Но едва ли забыл о нем Никон, не просто проигнорировавший указ, а подавший пример всем остальным в обережении церковных богатств. При таком поведении Никон казался высшему духовенству своим: во всяком случае,

он был лишен радикализма Вонифатьева, который разводил царского духовника с патриархом.

Царь все более доверяет Никону, видит в нем образцового пастыря. Но образцовому пастырю нужно приискать достойное место. Весной 1649 года оно как раз подвернулось. Немощный новгородский владыка оставил свою митрополию и удалился в монастырь. Было ли это сделано по подсказке из Москвы, или митрополит в самом деле лишился с возрастом последних сил — неизвестно, да и не суть важно. Важно, что одна из самых крупных святительских кафедр, в пределах которой было более двух тысяч церквей и около 150 монастырей, досталась Никону^[165].

Возводил Никона в святительский сан иерусалимский патриарх Паисий, пожаловавший новопоставленного «за добродетели» еще и правом носить мантию «с червлеными источниками»^[166]. В марте 1649 года Никон торжественно отправляется на новое место своего служения.

В церковной иерархии новгородский митрополит занимал второе, вслед за патриархом, место. Это, конечно, вовсе не означало, что новгородская кафедра — обязательная ступень к патриаршей митре. Но Никон отправился в Новгород с несомненным прицелом на патриаршее место. Порука такой блестящей будущности — прочно завоеванные им позиции царского «собинного друга».

Царь расставался с Никоном с тяжелым сердцем. Но интересы дела пересилили личные чувства. Никон наконец-то обретал поприще, соответствующее его неумеренной энергии. В Новгородской епархии можно было развернуться. Очень скоро Никон превратил митрополию в «испытательный полигон» для реформ в духе ревнителев. Он утвердил в церквях единогласие.

При нем вместо нестройного «хорового пения» в Новгородской Софии зазвучали стройные киевские песнопения, «пение одушевленное», для чего митрополит не поскупился и зазвал к себе украинских певчих^[167].

Хор был настолько хорош, что в своих частых наездах в Москву митрополит брал его с собою ублажить государя. Алексей Михайлович вскоре станет ярким поклонником гармоничного пения. Пройдет немного лет, и он за военными буднями не забудет о заботах певческих — так приворожило его малороссийское «одушевленное» славение Бога. «Да промыслить бы тебе спеваков болших 5 человек да малых 10 человек, чтоб всему были гораздо гаразди по партесу и головы б были хороши и отлики бас и дышканы и прочие», — наставлял он со знанием дела боярина В. Бутурлина, оказавшегося в 1655 году на Украине^[168].

В духе требований ревнителей Никон отказался от всяких послаблений. Новый владыка строго взыскивал с нерадивых мирян и еще жестче — с попов и дьяконов, забывших о своем пастырском долге. Одновременно митрополит являл пример нищелюбия и милосердия. Благотворительность при нем достигла огромных масштабов. Он чуть ли не ежедневно кормил и наделял милостыней на митрополичьем дворе сотни убогих и сирых.

В это время открывается еще одна сторона личности Никона, сделавшая его тем, кем он, собственно говоря, и вошел в историю. Он не просто ведет себя властно. Пользуясь близостью к государю, новгородский владыка начинает решительное наступление на те статьи Соборного уложения, которые ограничивали церковную юрисдикцию. В 1651 году Никон добился права «ведать судом и управою во

всяких управных делах, и судить... и указ чинить по его митрополичу рассмотрению». Исключение по традиции было сделано для особо тяжелых уголовных дел, оставшихся в компетенции светской власти.

Таким образом, среди архиереев он постепенно приобрел репутацию защитника епископата, человека, способного возвратить если не всё, то, по крайней мере, часть потерянного. Ревнителю о подобном никогда не помышляли и в этом, конечно, были отличны от Никона.

Репутация защитника епископата принесла в последующем немалую пользу новгородскому владыке. Явная слабость Иосифа, откровенно пасующего перед Уложением и Монастырским приказом, оборачивалась тоскою по сильному патриарху. А это уже — стартовая площадка для очередного взлета Никона. Видимые перемены, происходящие в Новгородской митрополии, выгодно отличались от того, что происходило в других епархиях. В глазах царя Никон обретал репутацию не просто одного из ревнителей, а единственного ревнителя, способного реализовать их планы.

Но Никон укреплял свои позиции не одними делами, а и неординарным поведением. Особенно это бросилось в глаза в 1650 году, во время волнений в Новгороде. В отличие от того, что довелось увидеть и пережить Алексею Михайловичу летом 1648 года, Никон не оробел и не стушевался. Больше того, 17 марта, в день царских именин, он пропел бунтовщикам анафему. В ответ те ударили в набат и вломились на митрополичий двор. Никон их встретил собственной грудью и не испугался побоев, хотя били его свирепо и подло — ослопьем и камнями, трусливо упрятыми в шапки. Так, по крайней мере, излагал события сам митрополит в своем послании царскому семейству. Когда же в город пришел с карательным отрядом боярин князь И. Н. Хованский, Никон, забыв об обидах, по у молению раскаявшихся новгородцев вступился за них перед

царем, чем и отвел гнев. Что могло больше укрепить популярность Никона-пастыря, чем вот такая гроза и такое милосердие?

В эти дни он успел примерить еще и страдальческий венец. В грамотке, адресованной Алексею Михайловичу и его семейству, Никон поведал о ниспосланном ему знамении: 18 марта митрополит служил заутреню перед образом Спаса и внезапно «увидел венец царский на воздухе злат над Спасовою главою. И помалу тот венец стал приближаться ко мне, и я, богомолец ваш, от великого страху, аки забылся, точию своима очима на тот венец смотрю и свещу перед Спасовым образом, как горит, вижу. И то в разуме помыслил, как тот венец движится, и то в памяти есть, что тот венец собою двигся и пришед стал на моей главе грешной...»^[169].

Никон, по-видимому, хорошо изучил впечатлительную и склонную к религиозному восторгу натуру Алексея Михайловича, его неизбывную жажду чуда, столь свойственную человеку в переломные эпохи. Да и не одного его — всего царского семейства, особенно женской его части — этого подлинного, по определению историка И. Забелина, «женского синклита теремных затворниц», легко впадавших в религиозный экстаз. Для них видение Никона в Святой Софии стало очередным свидетельством избранности пастыря, подтверждавшейся прежде всего тем, что эта избранность — обреченность на муки и страдания. Но страдания и мучения, принятые за Правду!

Новгородские события еще более расположили Алексея Михайловича к Никону. Царь не скупится на эпитеты, которые до сих пор не раздаривал никому: «крепкостоятельный пастырь», «наставник душ и телес», «собинный друг душевный и телесный». Эти обращения щедро рассыпаны в письмах к новгородскому владыке и поневоле характеризуют и их

автора, склонного доходить в своем восторге до крайности. Кажется, царь не видит у своего «собинного друга» ни одного недостатка — сплошные достоинства.

Трудно сказать, что в этом стремительном взлете можно отнести на счет самого митрополита, а что — на счет неопытности и благодушия Алексея Михайловича. Выше уже отмечалось, что Никон, восходивший к патриаршеству, несомненно приспособлялся к окружению. Но едва ли можно было без конца смирять властную и вспыльчивую натуру. Став патриархом, он совершил столько неловких поступков, что, право, приходится удивляться, как ему удавалось избегать их ранее. Отгадка между тем кроется в том, что он никогда особенно и не пытался их избегать. Расчет во взаимоотношениях с царем дополнялся интуицией, которая долго не подводила Никона. Он вел себя с царем очень естественно, без особого насилия над собой, утверждаясь в роли твердого, хотя и не лишённого житейской мудрости архиерея. Но это как раз и было по сердцу Алексею Михайловичу, который в своих взаимоотношениях с Никоном постепенно утратил всякую взвешенность. Последнее было бы простительно для обычного человека, но непростительно для государственного деятеля.

Угадав внутреннюю неуверенность, мнительность Алексея Михайловича, Никон внушил государю, что его пастырское рдение и молитва — надежная защита во всех государственных и семейных начинаниях. Авторитет Никона среди родных царя был столь высок, что даже после того, как он разошелся с Тишайшим, государевы сестры осмеливались поддерживать с ним отношения. Несомненно, в этой семейной симпатии к Никону сокрыт один из самых действенных рычагов его влияния на царя.

Обыкновенно удаление человека от двора способствует ослаблению его позиций. Он не

появляется перед «пресветлыми государевыми очами», забывается и вытесняется новыми людьми. Не случайно в придворной борьбе победившие всегда стремятся отправить проигравших если не в ссылку, то на дальнейшее воеводство, по известному принципу — с глаз долой, из сердца вон.

С Никоном такого не случилось. Оказалось, что чем он дальше, тем сильнее его притяжение. Царь нуждался в постоянном общении с «собинным другом». На станциях — ямах — между Москвой и Новгородом не успевали менять лошадей: столь часты были пересылки между царем и митрополитом. Сам Никон пребывал в постоянном движении, почасту наезжая в Москву. Влияние его возросло настолько, что уже ни одно маломальски серьезное дело не обходилось без его совета и благословения.

подавив выступление в Новгороде, Никон был совсем не против приписать себе заслуги «утешения бунта» во всех северо-западных городах. Это было, конечно, сильное преувеличение. В Пскове и в Псковской земле, где настроение было куда решительнее, а единомудушие прочнее, митрополичьи призывы к покаянию не произвели впечатления. Грамотки Никона были встречены бранью и нелестными комментариями: «Полно де ему, митрополиту, и того, что де он Новгород обманул, что подали государю новгородцы повинные челобитные. А мы де не новгородцы»^[170].

В самом деле, новгородский бунт удалось затушить так быстро, что он толком и не успел разгореться: больше было крика и угроз, чем поступков. Иначе вышло в Пскове. Здесь восставшие арестовали воевод и передали власть «всегородовой избе», руководившей действиями посадских и приборных служилых людей. Иные в своем радикализме посягали даже на самого

царя. «Хотя бы и сам государь был под городом Псковом, и то бы пульку в брюхо ввязили», — грозились они по адресу Тишайшего^[171].

Подобные высказывания, конечно, не были типичны: мятежники крепко надеялись на государеву «милость» и признание правоты их «мирской правды». Вот почему они изначально стремились придать своему выступлению всеословный характер. Для этого в Пскове прибегли даже к насилию и фальсификации: было объявлено о присоединении к движению псковских дворян, некоторых из которых действительно принудили к появлению в мятежной толпе. В Москве, не сразу разобравшись, упрекнули псковских дворян в отступничестве. В грамоте им с укоризной напоминали: «Ныне ведомо нам учинилось, что вы, забыв наше государское крестное целованье и свою природу, приставали к ворам», тогда как предки псковичей верою и правдою служили государю, «головы свои складывали» и за то была им «наша государская милость».

Однако правительство на этот раз беспокоилось напрасно. Поместная армия, вполне удовлетворенная статьями Уложения 1649 года, не примкнула к псковичам. Дворяне и дети боярские приняли участие в боях с мятежниками, и впоследствии, в ноябре 1651 года, все погибшие, по указу Алексея Михайловича, были занесены в синодики монастырей и соборов для вечного поминовения. По псковским синодикам таких набралось 75 человек, среди которых оказались 19 новгородцев и 33 псковича^[172]. Все они входили в карательный отряд князя И. Н. Хованского, которому была поручена борьба с непокорными подданными.

Псковские события вызвали сильное беспокойство при дворе. Ждали самого худшего — второго издания московского гилля. Шведский резидент Родес писал, что

в Москве все «живут в немалом страхе», что мятеж, «как бегущее пламя», пойдет далее и это «может совершенно легко случиться»^[173]. Бояре И. В. Морозов и В. П. Шереметев допрашивали старост и сотских в надежде найти авторов слухов о будто бы предстоящих волнениях. Приказано было всех подозреваемых в распространении таких речей хватать и вести в приказ для допроса^[174].

В Кремле стремились как можно скорее развязать псковский узелок. Потому полагались не на одну силу, а и на переговоры, призванные образумить мятежников. Замечательно, что и восставшие попытались сыграть на розни в верхах. Они тайно послали людей к боярину Н. И. Романову с просьбой о заступничестве. Намерение псковичей вызвало сильное раздражение морозовского окружения. Правительство, чтобы положить конец всяким надеждам на раскол при дворе, поспешило выговорить бунтовщикам: «Написали вы это по воровскому заводу: нам он, боярин, наш холоп, служит с своею братьею вместе, а недоброхота между боярами никого нет. При предках наших никогда не бывало, чтоб мужики с боярами, окольными и воеводами у расправных дел были, и впредь того не будет».

Однако за грозной тональностью царских грамот скрывалась прозаическая нерешительность. К правительственным уговорам и угрозам решено было прибавить авторитет земских выборных, собранных специально для унятия псковского мятежа в столице. Мысль была иезуитская: лишить земским осуждением псковичей нравственной правоты, которая спланивала и вдохновляла гильявщиков. В город отправилась делегация от Земского собора во главе с коломенским епископом Рафаилом. Миссия завершилась успешно: делегации удалось убедить псковичей покаяться и отворить ворота.

Архивы не сохранили следов личного участия царя в псковских событиях. Его позиция растворилась в позиции думы и в царских указах: несомненно, все было сделано с его ведома, но что было высказано им самим, а что сформулировано окружающими — можно лишь предполагать^[175]. Зато достоверно известно, что пока «качался» Новгород, а Псков кипел в мятеже, Тишайший не пренебрегал своим любимым занятием — охотой. Именно весной — началом лета 1650 года датированы несколько писем из окрестностей Калязинского монастыря, где царь Алексей тешился соколиными забавами. В письмах царь детально описывал охоту, но ни разу не обмолвился о событиях в стране. Это даже дало основание известному историку М. Н. Тихомирову говорить об «удивительном политическом невежестве» государя в момент, «когда шаталось самое основание его престола»^[176]. Представляется, что исследователь сильно преувеличил масштаб событий. При том, что мятежи в Новгороде и Пскове смешали правительственные планы, до крушения «основания престола» было далеко.

Однако вопрос о степени участия Алексея Михайловича в управлении государством на самом деле остается открытым. В свое время Н. М. Карамзин, оценивая влияние Московского восстания на царя Алексея, пришел к выводу, что тот воочию убедился, «сколь опасно для монарха излишне полагаться на бояр», и «с этого времени... начал царствовать сам собой». Но мы видим, что и в 1650 году с самостоятельным царствованием у Тишайшего дела обстояли далеко не так благополучно. Для этого Алексею Михайловичу пока еще не хватало ни опытности, ни характера.

Бесспорно, события 1648-1650 годов сильно повлияли на царя, заставив его вплотную заняться

законотворчеством. Но из этого вовсе не следует, что он стал сразу править «сам собою». О самостоятельности Тишайшего в принятии решений вообще говорить трудно. Не только в силу особенности его личности. Позднее «взросление» и обретение самостоятельности — вовсе не удел одного второго Романова. Вспомним, что Петру I было далеко за двадцать, когда он всерьез взялся за государственные дела. По сути, до самых Азовских походов всеми делами в государстве заправляли царские родственники и доверенные лица, такие, как корыстолюбивый и не очень умный дядя Лев Кириллович Нарышкин или умный, но редко бывавший трезвым князь Борис Алексеевич Голицын. Но вот ирония! Образ царя-делателя, плотника и воина настолько владеет сознанием потомков, что мало кто бросает упрек в продолжительном «безделье» младшему сыну Алексея Михайловича. Зато последнему претензии предъявляются по самому строгому счету: второй Романов в представлении историков и писателей чаще всего выглядит человеком праздным.

Как мы уже знаем, это утверждение далеко от истины. Время «взросления» государей — вообще время особое и не совпадает с тем, что у современников считалось совершеннолетием. Отправить сына-новика на службу, повести его под венец — эти события были совсем иного порядка, чем начало самостоятельного царствования. Здесь многое должно было сойтись, включая обретение внутренней уверенности и исчезновение из окружения государя прежних наставников и воспитателей. С этой точки зрения Алексей Михайлович от своих предшественников и потомков мало чем отличается: в делах он стал принимать участие не особенно рано и не особенно поздно — вовремя, и уж во всяком случае, чуть раньше Петра. Другой вопрос, что из затянувшихся петровских забав в конце концов выросли реформы, а из

охотничьих утех Тишайшего не выросло ничего. Но ведь Петр идет по особой шкале, которую едва ли уместно прилагать к остальным Романовым.

Не следует забывать и о том, что Алексей Михайлович — воспитанник ревнителей, вполне усвоивший их высокое понимание долга. Мужествуя сердцем от поучительных словес боголюбцев, царь испытывал страстное желание встать вровень, соответствовать высокому предназначению православного государя. Отсюда и та старательность, с какой он выполнял под присмотром Морозова все то, что входило по традиционным представлениям в круг обязанностей благочестивого монарха. Потребовалась настоящая смена вех для того, чтобы ощутить неудовлетворение от подобного рода «соответствия» царскому сану.

Даже выявление следов систематического участия Тишайшего в управлении государством — а они обнаруживаются в документах по крайней мере с 50-х годов и связаны с созданием Тайного приказа — не позволяет в полной мере оценить Алексея Михайловича как государя. Насколько он был действительно самостоятелен? Руководил ли он своими советниками или, напротив, всецело подчинялся им? Хватало ли Алексею Михайловичу ума и прозорливости в клубке разнообразных задач выделить приоритетные и найти пути их достижения? Словом, насколько хватало ему ума, воли и силы *государить*?

Здесь самое время обратиться к политической истории начала 50-х годов, когда с прекращением городских восстаний в Москве наконец-то смогли обратиться к реализации внутри- и внешнеполитических планов. Эти планы давно уже волновали Алексея Михайловича. То было поприще, которое казалось ему не просто великим, а достойным

для приложения всех накопившихся душевных и физических сил.

Торжество православия

В середине столетия произошли события, которые историки не без основания назвали «торжеством Православия». Царь принял в них самое непосредственное и живое участие. Если вспомнить о глубоком и искреннем религиозном чувстве Алексея Михайловича, то едва ли это вызовет удивление. Однако на сей раз стараниями царя происходившему был придан и политический смысл: торжествовало не просто православие, а Православное царство под скипетром Романовых.

К подобной акции и светскую, и духовную власть подтолкнуло несколько обстоятельств. Среди последних были обстоятельства вполне личного свойства, которые кажутся даже случайными и мелкими. Но это ошибочное мнение. Ведь при монархическом режиме все случайное и мелкое невольно обретает важное значение, если исходит от монарха. Таковым была приязнь Тишайшего к Саввино-Сторожевскому монастырю. Приязнь, которая имела самое непосредственное отношение к «торжеству Православия».

Алексей Михайлович питал к Саввину монастырю особую любовь. То был как бы его «домашний» монастырь, процветающий благодаря его неустанному попечительству. Возможно, здесь присутствовало не одно религиозное чувство, а еще и чувство эстетическое, рожденное необычайной красотой окружающих мест. Чего стоила одна дорога на Саввино богомолье! Н. М. Карамзин в XIX столетии так писал о ней: «Нигде я не видел такого богатства растений; цветы, травы и деревья исполнены какой-то особенной силы и свежести; липы и дубы прекрасны; дорога

оттуда в Москву есть самая приятная для глаз...» Со времен царя Алексея дорога мало переменилась, и, надо полагать, не меньший восторг испытывал и Тишайший, отправляясь из Москвы на богомолье.

Второй Романов щедро одаривал обитель. Исследователи подсчитали, что одних только денежных пожертвований царским семейством было сделано на общую сумму около 36 тысяч рублей. Это — не считая земельных пожалований и приписанных к «Саввину дому» более бедных монастырей и пúстынь.

С преподобным Саввой, основателем обители (он умер в 1407 году), и связаны события, которые вызвали необычайное религиозное воодушевление царя Алексея Михайловича. В декабре 1651 года царь отправился в окрестности Саввина монастыря на охоту. Случилось так, что свита отстала, и царь в одиночку вышел на медведя. Дальнейшее известно было из рассказа самого государя. Зверь, поднявшись на задние лапы, уже шел на охотника, когда неизвестно откуда появившийся старец отогнал его. Старец назвался Саввой, иноком Сторожевской обители. Вернувшись в обитель, Алексей Михайлович по иконе, написанной, согласно преданию, одним из учеников Саввы, игуменом Дионисием, признал в своем спасителе преподобного старца.

Царь был потрясен. Он тотчас отправил гонца к Никону, настаивая на его немедленном приезде. 14 декабря Никон покинул Новгород. Близ Торжка он встретил нового гонца с царским наказом: спешить, спешить! Царь прямо-таки сгорал от желания поделиться с «собинным другом» пережитым. По-видимому, именно тогда созрело решение об открытии и освидетельствовании мощей угодника Саввы, более ста лет назад причисленного к лику святых.

Характерно, что сама мысль об открытии мощей Саввы не была нова. Есть известия, что первой должна была совершить это... Марина Мнишек. Так первый

Самозванец будто бы собирался упрочить авторитет царицы-католички^[177]. Трудно сказать, насколько это известие достоверно. Но в нем бесспорно отразилось особое почитание чудотворца. Этим же можно объяснить стремление Романовых придать культу Саввы общегосударственное значение. Новая династия, почитая «старых» святителей, стремилась прибавить к этому ряду и «своего», особо чтимого и особо выдвигаемого святого.

Позднее преподобный Савва еще не раз будет являться в видениях к Алексею Михайловичу. В 1654 году, двигаясь на Смоленск, царь остановится на ночлег в деревне Наре. Здесь царю будет видение старца Саввы, который поведаст ему о грядущих победах над поляками и литовцами. Поутру в монастырь за образом Саввы тотчас будут снаряжены люди — икона займет почетное место среди святынь, сопровождавших войско. Предсказание сбудется, царские полки войдут в Смоленск, и в благодарность Тишайший пожалует Сторожевской обители Нару.

Обретение мощей святого Саввы произошло в начале 1652 года. 17 января в обитель прибыл Алексей Михайлович вместе с патриархом Иосифом, митрополитом Никоном, царицей, боярами и духовенством. 19 января мощи святого были открыты и положены в новую дубовую гробницу. Возвышенно-эмоциональное состояние молодого государя, по видимому, позволило Никону высказаться за продолжение церковных торжеств. Царь охотно согласился. Было решено перенести в Успенский собор прах трех выдающихся московских архипастырей — патриархов Иова и Гермогена и митрополита Филиппа Колычева. Подбор имен выдает грандиозный замысел организаторов церемонии. То были иерархи-страдальцы,

принявшие мучения и смерть за православную веру и церковь.

Иов был первым московским патриархом, тесно связанным с Борисом Годуновым. Естественно, что восторжествовавшему Лжедмитрию он оказался неугоден. По приказу Самозванца Иов был сведен с патриаршего престола и отправлен в Старицкий монастырь, где скончался в 1607 году.

Другим страстотерпцем стал московский патриарх Гермоген, отличавшийся необычайной твердостью и силой духа. Еще будучи казанским митрополитом, он осмелился требовать перекрещивания Марины Мнишек, за что поплатился ссылкой. Возведенный при Василии Шуйском в патриархи, Гермоген оказался чуть ли не единственным, кто осудил низложение царя-неудачника. Не потому, что питал слабость к «боярскому царю», а потому что предугадывал катастрофические последствия подобного шага. Когда настал черед избрания королевича Владислава, то Гермоген выставил непременным условием принятие королевичем православной веры. Нарушение польской стороной этой статьи позволило патриарху освободить русских людей от клятвоцелования Владиславу. Тогда же Гермоген призвал всех православных к защите веры и к борьбе с интервентами. Призыв не остался неслышанным: ранней весной 1611 года под Москвой появилось Первое ополчение.

Позднее, после распада Первого ополчения, когда для очищения столицы в Нижнем было создано новое ополчение, поляки и их сторонники из числа русских «доброхотов» стали понуждать патриарха отказать ополченцам в благословении. Гермоген в ответ пригрозил анафемой противникам князя Пожарского. Дело будто бы дошло до обнаженного ножа в руках Михаила Салтыкова, с которым тот бросился на «столпа веры». Патриарх не дрогнул — оборонился крестом и

проклял своих мучителей. Тогда Гермогена, «безчестно связавши», сволокли с патриаршего двора в Чудов монастырь. Умер он в феврале 1612 года, уморенный голодом, но непокоренный и несмирившийся.

Митрополит Филипп Колычев едва ли не единственный осмелился публично выступить против бессудных опал Ивана Грозного. Митрополит исполнил свой долг, осудив неблагочестивые деяния кровавого царя. Это потребовало немало человеческого мужества. По приказу царя послушные иерархи низвергли Филиппа. Бывший митрополит был сослан в Тверской Отрочь монастырь. Но мстительный царь и здесь не оставил строптивного старца в покое. В декабре 1569 года царский приспешник Малюта Скуратов явился в келью Филиппа и, исполняя волю главного опричника, задушил его «возглавьем» — подушкой. В 1591 году по челобитью Соловецкой братии останки Филиппа, бывшего некогда игуменом северной обители, перевезли из Отроча монастыря на Соловки, в церковь Зосимы и Савватия.

Имея в сонме своих святых таких святителей, церковь превращалась в национальный символ, в твердого охранителя истинного христианства и Правды, причем не только от иноверцев, но и от собственных «мучителей», преступавших божественные заповеди. Последнее особенно привлекало митрополита Никона, отстаивавшего право церкви на религиозно-нравственную оценку деяний светской власти. Канонически само это право не ставилось под сомнение. Другой вопрос, что в конкретной политической практике оно давно было вытеснено раболепием церковных иерархов. Филипп тем и привлекал Никона, что не побоялся воспротивиться царю, который считал себя исполнителем божественной воли. Никон готов был идти даже дальше: Филипп напомнил о праве церкви оценивать и выносить приговор светским

правителям в условиях чрезвычайных, опричных — он же собирался делать это повседневно.

Отсюда понятно, почему Никон приложил столько усилий, чтобы придать культу Филиппа общерусское звучание и поставить его в ряд особо чтимых святых владык — митрополитов Петра, Алексея и Ионы. До того имя Филиппа хотя и упоминалось в службах, но по своей чести не приравнивалось к трем московским митрополитам-чудотворцам. Чтобы добиться своего, Никону пришлось убеждать Алексея Михайловича в особом величии Филиппа. С признанием этого факта дальнейший порядок действий определялся сам собой: когда в канун окончания рождественского мясопуста наступали поминальные дни и во всех церквях служили панихиды по прежним государям и митрополитам, царь имел обычай прощаться с «предками» и первосвятителями на их гробницах. Но гробница такого великого святителя, как митрополит Филипп, за дальностью оказывалась недоступна для моления и поклонения. Это следовало исправить!

То, что Алексей Михайлович был приуготовлен Никоном к подобному исправлению «исторической несправедливости», видно по щедрому пожертвованию, совершенному 23 декабря 1651 года. В день памяти Филиппа (то есть еще до начала январских торжеств в Саввином монастыре!) царь пожаловал Никону 600 рублей — несомненно в связи со стремлением владыки придать культу Филиппа новое звучание^[178].

Никон умел добиваться своего. С 1653 года в память Филиппа-митрополита в Успенском соборе стали проходить торжественные службы с участием патриарха и царя. В Кремле, на месте храма Соловецких чудотворцев, Никон возвел церковь во имя апостола Филиппа, тезоименитого московскому святителю-митрополиту. Он также построил церковь во имя

Филиппа в своем любимом Иверском Валдайском монастыре. Наконец, службы святителю Филиппу были внесены в церковные служебники и приобрели официальный и обязательный характер^[179].

Культ святителя Филиппа свидетельствовал о политических симпатиях Никона. Больше того, здесь присутствовала фундаментальная для Средневековья идея уподобления: Никон брал за образец земной путь московского митрополита и в дальнейшем все перипетии собственной жизни соизмерял с его судьбой. В 1660 году в письме своему любимцу, патриаршему боярину Зюзину, он писал о «первообразных», чью злую участь — несправедное гонение от власть предержащих — он разделил. Перо Никона выстроило список от Иоанна Златоуста до «здешни Филиппа митрополита», в который, вольно или невольно, опальный патриарх включал и свое имя^[180].

Если прах Гермогена находился в Кремле в Чудовом монастыре, то за прахом Иова и Филиппа надо было снаряжать настоящие посольства в Старицу и на Соловки. Последнее возглавил сам Никон. Выглядело это вполне естественно: сравнительно молодой, полный энергии и сил митрополит отправлялся в далекую обитель, находившуюся в пределах его епархии. К тому же Никон — выходец из Анзерского скита, тянувшегося к Соловкам. Но можно не сомневаться, что Никон отправлялся в далекий путь, подчиняясь еще и собственному душевному порыву.

Посольства за мощами Иова и Филиппа были устроены по одному образцу. Их возглавляли архиереи и бояре с многочисленной свитой из духовных и светских лиц. Оба посольства везли послания со словами покаяния и просьбой о прощении. Но на этом сходство кончалось. Уже упомянутое царское послание Филиппу сильно отличалось от патриаршего,

отправленного в Старицкий монастырь, где московский первосвященник молил Иова «прибыть» к своей пастве.

Алексей Михайлович приносил публичную повинную перед гробом митрополита за «согрешения прадеда нашего», царя Ивана Васильевича. Стиль мышления требовал опереться при создании подобного послания на аналоги из прошлого. Пример был найден достойный: в свое время византийский император Феодосий молил о прощении перед гробом Иоанна Златоуста за гонения, к которым оказалась причастной его мать. Это вдохновило царя на пространную сентенцию: с преклонением царского сана за согрешение — изгнание святителя, с искренним раскаянием и надеждой на прощение^[181].

То, что царь черпал свое вдохновение в прошлом, видно из его собственного признания боярину Н. И. Одоевскому: Алексей Михайлович сравнивал себя с императором Феодосием, перенесшим мощи Иоанна Златоуста в Константинополь^[182]. Но нельзя не заметить известной разницы в позициях Никона и Алексея Михайловича. Это различие, правда, пока еще в акцентах, в ударе. Однако это именно та разность, которая в конце концов дорастет до размеров пропасти и разведет царя и патриарха.

В Послании Филиппу-митрополиту говорится о единстве («несть никакого разделения») и о согласии, которые наступят после покаяния. Покаяние, таким образом, условие «единомыслия», социального мира — темы вообще популярной после Смуты и к тому же злободневной из-за недавних городских восстаний. Эта мысль была близка Тишайшему и без Никона и не могла вызвать никаких споров. Истоки несогласия и разномыслия в другом — в оценке согрешения правителей. Иван Грозный согрешил, низвергнув Филиппа. Но, по Алексею Михайловичу, он сделал то

«неразумно завистию и неудержанием ярости». Приговор же Никона категоричнее: царь Иван «возненавидел» митрополита за правду и, опалась, поступил с ним «неправедно».

Для человека XVII столетия разница между «неразумно» и «неправедно» огромная. «Неправедно» — из арсенала высшего, сакрального. «Неразумно» — более приземленно и повседневно; нерассуден и дитя, послушавшийся родителей. Никон своим «неправедно» невольно возносил священство, подчеркивая его духовное превосходство над земными правителями. Алексей Михайлович вкладывал в происходившее иной смысл.

Во-первых, он молил простить грехи «прадеда своего», подчеркивая крайне важную для Романовых мысль о естественной связи, династической преемственности.

Во-вторых, Тишайший писал о «невольных грехах», совершенных царем Иваном под влиянием «злых советчиков». Это — строки уже из письма царя Н. И. Одоевскому, в котором царь описывал церемонию встречи и погребения в Успенском соборе мощей митрополита Филиппа. В сравнении с Соловецким покаянным посланием в грамотке боярину «мизансцена» сильно изменена. Главное — не прегрешения Ивана IV, а торжество Правды, возвращения им, царем, «изгонимого». «Где гонимый и где ложный совет?.. Где обавники (клеветники. — И.А.), где соблазнитель, где мздоослепленные очи, где ходящие власти воспряти гонимаго ради? — риторически вопрошал Алексей Михайлович и сам же отвечал. — ...Не все ли зле погибоша?.. Не все ли здесь месть воспряти от прадеда моего, царя и великого князя Ивана Васильевича?» Если вдуматься, то здесь под пером Тишайшего происходит настоящая фальсификация: Иван IV превращается в грозного

мстителя, воздающего за неправду. Подобная партия, пускай и исполненная в частном письме, звучала уже совершенно не в унисон с заглавной никоновской партитурой.

Потому не стоит удивляться, что позднее, разойдясь с патриархом, Алексей Михайлович уже открыто осмыслит упреки Никона в адрес Ивана Грозного как стремление унижить царский сан. В 1666 году, когда во время суда над Никоном прочтут строки из его письма к патриарху Константинопольскому о том, что Грозный «неправедно» мучил митрополита Филиппа, царь буквально взорвется: «Для чего он, Никон, такое безчестие и укоризну блаженные памяти великому государю и великому князю Ивану Васильевичу всеа Руси написал?»^[183]

Не совсем ясно, был ли в 1652 году царь абсолютно слеп к своему «собинному другу» или просто не видел в происходящем большой опасности для своей власти. Скорее всего, последнее ближе к истине. Причем нельзя не заметить, что подобное разрешение несогласия — то есть просто игнорирование его, стремление не замечать, было вполне в духе Тишайшего. Он не любил конфликтов. Однако в сознании современников вся акция с перенесением мощей московских архиереев воспринята была с никоновским подтекстом, как возвышение духовной власти над царской.

...Поездка на Соловки привнесла новые краски в историю взаимоотношений царя и новгородского митрополита. Покинув в начале марта Москву, Никон и его спутники вечером 18 марта увидели купола вологодских церквей. Далее движение застопорилось: пришлось ждать целый месяц, пока откроются реки и «поспеет водяной путь». Чтобы хоть как-то заполнить невольный досуг, митрополит принялся выяснять более короткий путь на Соловки. Вскоре он был найден: по

реке Шексне на Белоозеро, Вож-Озеро и на Каргополь. Дорога получалась вдвое короче, чем через Тотьму, Устюг и Архангельск, как планировалось первоначально, — не две тысячи верст, а 920, из которых лишь 90 сухопутьем. Вся эта «история с географией», изложенная в отписке митрополита в Москву, свидетельствовала о нетерпении Никона, который явно тяготился дорожным бездельем. Однако менять маршрут на Соловки было уже поздно. Речь шла лишь об обратном пути. Поскольку это было отступление от наказа, то разрешение о подобной перемене следовало получить от царя. Для этого Никон поспешил привести самый убедительный аргумент: «От такого дальнего пути (речь идет о традиционном пути. — *И.А.*) уберечь чудотворцевых мощей от повреждения никоими мерами будет не мочно. Путь трудный во многих местах, грязи великия и речки топкие»^[184].

Москва ответила не сразу. Сначала здесь перепроверили у торговых людей-каргопольцев точность сведений и лишь затем отправили грамоту с согласием на изменение маршрута. Мелочь, свидетельствующая о том, с какой трогательной заботой молодой Алексей Михайлович относился к Никону.

Во время путешествия на Соловки произошел случай, крайне любопытный для понимания общей ситуации при дворе. Никон вел себя полновластным главою экспедиции, требуя от своих спутников неукоснительного соблюдения всех правил, приличествующих благочестивым целям посольства. Он усердствовал, принуждая говеть и молиться больше обычного. Непривычные к подобным строгостям московские дворяне усмотрели в действиях митрополита превышение святительской власти. В

Москву полетели грамотки с жалобами на жестокости и произвол владыки. Из терема в терем поползли слухи, над которыми стоило призадуматься: то творит Никон в митрополичьем сане, а что будет, если он царской волей сменит его на патриарший?

Нашлись такие, кто поспешил «перешептать» толки Алексею Михайловичу. Прежде всего донесли о жалобах боярина князя Хованского, светского главы посольства: «Николи де такого бесчестья не было, что ныне государь нас выдал митрополиту». Затем последовал пересказ слов московского дворянина Василия Отяева. Лучше «за Сибирью пропасть», сетовал тот, «нежели с новгородским митрополитом быть».

Выразителен в этом инциденте и царь. Ему ужасно не хочется доводить дело до скандала, и он ищет разумный, по его мнению, компромисс. «Перешептывая», или, точнее, донося Никону о стенаниях его попутчиков, царь настоятельно советует ему быть снисходительнее. На то у царя была даже запасена житейская мудрость: силой никого не заставить сильнее верить. «Не заставляй у правила стоять: добро, государь владыко святой, учить премудра — премудрее будет, а безумному — мозолие ему есть», — писал он. Чувствуется, что Никон и царь — люди разных стилей и характеров, причем Алексей Михайлович, который почти вдвое моложе митрополита, ведет себя так, будто он вдвое старше, снисходительнее и осмотрительнее.

Но замечательно, что в официальном послании членам посольства Тишайший поддержал будущего патриарха. «Занеже и к нам, земному царю, едут со страхом и трепетом, а то колько паче подобает ехать к такому великому светильнику со страхом и трепетом», — не преминул он попенять Хованскому^[185].

Пока шла эта переписка, просохли дороги. Посольство снова двинулось в путь. В середине мая оно дошло до устья Двины и, севши в десять судов, двинулось морем к Соловкам. Но тут случилось несчастье: «Глубник» — северо-западный ветер — нагнал страшную бурю. Никон, по собственному признанию, едва уцелел: «...Ушибло и зазило волной в кормовом чулане, одва ожил»^[186]. И все же Бог в очередной раз уберег его. Эта мысль, должно быть, немало изморщила чело будущего патриарха после того, как пришло известие о судьбе других спутников: несколько дней спустя в успокоившемся море нашли «переломленную» ладью дьяка Гаврилы Леонтьева, одного из составителей Соборного уложения. Судно было пустое — по словам Никона, нашли только иконы и «подушко». Все люди, бывшие с дьяком, погибли^[187].

В Соловках Никон долго не задержался. Совершив посольскую миссию пред гробом преподобного, скоро собрался в Москву. Путь назад с мощами святителя проделали много быстрее. Причина тому — не только преимущество нового маршрута. Существовал веский мотив, побуждавший новгородского владыку спешить и понукать спутников. 15 апреля скончался патриарх Иосиф, и царь торопил Никона с возвращением в столицу. Близилась развязка, исход которой требовал обязательного присутствия новгородского митрополита.

Иосиф занемог в начале апреля 1652 года, после торжественного положения в Успенский собор мощей патриарха Иова. Словно предчувствуя скорую смерть, он указал царю на место рядом с гробом Иова: «Кому ж в ногах у него лежать?» «Ермогена тут положим», — ответил Тишайший. «Пожалуй, государь, меня тут, грешнаго, погresti».

Этот эпизод — отрывок из царского письма Никону, которое вошло в историю как «Повесть о преставлении

патриарха Иосифа». Повесть поражает живым человеческим чувством, выразительностью и искренностью. Именно она дала основание говорить об Алексее Михайловиче как о литературно одаренном человеке, а о самом произведении — как о явлении в истории древнерусской литературы. Удивительно, и вместе с тем парадоксально, что в «Повести» Алексей Михайлович, консерватор по натуре и традиционалист по складу характера, оказался новатором.

«Повесть» близка к житийной литературе. При этом нельзя не видеть контраста между высокой — таковы требования жанра — формой повествования и постоянным стилистическим снижением образа патриарха. Царь высоко ставит и чтит патриарший сан. Однако от него не ускользают слабости Иосифа, человека корыстолюбивого, непостоянного, лишенного той искры Божьей, которой были отмечены ревнители. Патриарх то «выпрашивает место» для своего погребения в Успенском соборе, то, отвергая всякую мысль о смерти, уже успевшей охолодить его члены, отказывается от исповеди и причащения. Согласившись же, вместо просветления, которое посылается при причащении истинным праведникам, лишь «тупо поновляет» (то есть повторяет), «хочет молвить, да не может».

В агонии на умирающего обрушиваются «видения», от которых он «почал руками закрыватца и жатца к стенке». Царь, бывший при этой сцене рядом с постелью умирающего, осмыслил ее традиционно: для него видения должны были выступать как явления духа, доступные чувственному удостоверению. При этом добрые дела — суть прообразы ангелов, злые — бесов. В «час исхода души от тела» преображенные ангелы «в радости и в веселии» подхватывают душу умершего на небо; но и порождение злых дел — бесы — не дремлют, «люте свезавше убогую ту душу грешнаго

поведаю, рыдающе и плачущую горце в место темно и смрадно»^[188].

Эта сентенция из любимого Алексеем Михайловичем сборника «Измарагд» явно припомнилась Тишайшему у постели патриарха. Для него агония Иосифа — спор между добрыми и злыми делами, ангелами и бесами за душу почившего, «Походило добре на то, как хто ково бьет, а ково бьют — так тот закрывается», — с печалью отметил Алексей Михайлович, всерьез размышлявший об этой неблагочинной кончине, ибо для него тот, кто «бьет» и одолевает, — несомненный «враг человеческий», явившийся за душой патриарха.

Подтекст послания неутешительный. Кончина Иосифа неблагочинна. Так истинные святители, праведники веры не умирают. Житие в каноническом смысле слова из такой жизни и кончины никак не получается: слишком бренными и изменными оказываются дела и помыслы патриарха.

В этом смысле любопытно сравнить «Повесть» с другим посланием Алексея Михайловича — адресованным в Казань, боярину князю Никите Ивановичу Одоевскому. Царь взялся за перо по человеческому и христианскому побуждению — умерить скорбь Одоевского, только что потерявшего сына. Царь сочувствует и всячески успокаивает боярина, приводя тот извечный довод, которым только и следует утешиться: молодого князя изволил взять к себе Бог, а «ведаешь ты и сам, Бог всегда на лучшее нам стоит». По Алексею Михайловичу Бог взял Одоевского «с милостию своею», о чем свидетельствует сама смерть: юноша умер «в добром покаянии» и «слезы пролил безмерныя». Описание смерти этого мирского человека сильно отличается от описания смерти Иосифа^[189].

Взявшись за перо, Алексей Михайлович печалится и скорбит. Не столько о смерти, сколько о слабости

Иосифа, не устоявшего перед соблазнами. Это несоответствие сана и человеческой сущности более всего заставляет задуматься самого Алексея Михайловича. Он задается вопросом, который глубоко волнует молодого государя, — а соответствует ли он сам высоте царского сана, Божьему предназначению?

Для Тишайшего это вовсе не праздный вопрос. За ним — серьезные размышления и напряженные искания. Может быть, именно ввиду этих исканий и размышлений личность второго Романова оказывается столь притягательной для историка. В самом деле, много ли монархов, волей судьбы или случая возведенных на престол, склонны были к столь мучительным нравственным поискам и сомнениям? Сама мысль о соответствии своему предназначению для большинства из них казалась крамольной.

Ответ на этот гамлетовский вопрос у Тишайшего не укладывался в однозначную формулу. Зная о своих слабостях, не приличествующих сану государя, он испытывал немалые затруднения и колебания. Идеал государя для него — Иван Грозный, столь высоко державший «хоругвь самодержавия». Царь постоянно примеривается к грозному монарху: по плечу ли он ему? дорос ли? При этом Алексей Михайлович — человек иной, «послесмутной выпечки», и для него неблагочинные поступки государя — понятия слишком близкие и важные, чтобы забыть о них. Он хочет остаться праведным, справедливым и милостивым государем, не пролившим безвинно и капли крови. Но одновременно с этим его точит и другая мысль: не слишком ли он милостив и добр? Не роняется ли тем самым царский сан?

Эта рефлексия Тишайшего объясняет многое в его поведении. Здесь и непонятная на первый взгляд неуравновешенность: то снисходительное отношение к слабостям подданных, ограничивающееся отеческим

внушением даже за проступки тяжелые, то неожиданная строгость, почти жестокость за мелкие прегрешения. Первого было больше в молодые годы, второго — в зрелые, но и то и другое простили вместе с Тишайшим на протяжении всей его жизни, косвенно свидетельствуя о постоянном стремлении этого государя к преоборению самого себя.

...Царь стал душеприказчиком умершего патриарха. Алексей Михайлович очень серьезно отнесся к этому делу. Сам принялся разбирать келейную казну покойного. И здесь его посетила новая печаль, с которой он поспешил поделиться с Никоном. В казне патриарха оказалось множество вещей, взятых, по всей видимости, под заклад. Эта страсть к стяжательству и, возможно, даже к ростовщичеству гнетет государя. Самые худшие подозрения подтвердились. Иосиф вновь роняет в глазах царя высоту своего сана.

Роль душеприказчика полна соблазнов. Некоторые из вещей покойного чрезвычайно понравились царю. Но душеприказчику не пристало ни оценивать для самого себя вещи, ни тем более их присваивать. Алексей Михайлович устоял. Это внутренняя честность, честность, доходящая до болезненной щепетильности, очень характерна для него.

Тема преодоления и смирения прозвучала в Послании митрополиту и в связи с погребением Иосифа. Алексей Михайлович повествует, как трудно ему было преодолеть страх перед смертью, отвращение, чувство брезгливости. Раскрывая душу, царь не стыдился быть предельно правдивым — ведь он одолел в себе и эту слабость.

Искренность Алексея Михайловича — то новое, что вносит «Повесть» в древнерусскую литературу. В этом отношении она невольно перекликается со знаменитым «Житием Аввакума». Ведь и протопоп рассказывал — с полной уверенностью, что это нужно его читателю, — о

том, как ему пришлось одолевать физическую и духовную немощь и стоять за веру. И царю, и Аввакуму, и читателям менявшиеся времена настойчиво диктовали свои правила: ныне важно рассказывать не только о том, во что человек верит, но и как верит. Это означало, что внутренний мир человека становился интересным и самоценным.

Алексей Михайлович старался точно выполнить долг православного человека и государя. Не обнаружив точных указаний Иосифа о том, как поступить с его келейной казной, он начал распоряжаться ею по своему усмотрению. Прежде всего царь позаботился раздать средства на помин души усопшего. Далее следовало позаботиться о вечном поминании патриарха. Царь сообщает Никону, что Иосиф перед смертью «хотел купить себе вотчину и дать по себе в собор и перед смертью дни за два торговал, а Бог не изволил, а я купить без его именного приказы не смел»^[190]. По-видимому, щепетильный царь нашел выход из затруднительной ситуации в том, что разрешил приписать к Троицкому монастырю одно из патриарших владимирских сел^[191].

Но исполняя свой долг, царь с грустью обнаружил, что много людей им пренебрегают. Никто не оплакивал умершего. Игумены, которые должны были быть при гробе, «все розъехались», патриаршие слуги боярские побежали следом. Ночью в пустом соборе царь нашел лишь одного насмерть перепуганного священника, который пред гробом «кричал» Псалтырь. А ведь совсем недавно множество людей искали патриарших милостей! Столкнувшись с этим, Тишайший даже не возмущается — просто скорбит. Но для нерадивых подданных это опасная скорбь. Чувствуется, что царь копит свой гнев против равнодушных.

...Встреча мощей митрополита Филиппа — последнего из трех владык-мучеников — завершала грандиозную акцию, задуманную Никоном. Правда, смерть патриарха Иосифа несколько скомкала заключительную сцену. Ее участники поневоле думали уже о другом — о предстоящих выборах патриарха. Никон даже обогнал посольский поезд с гробом святителя и загодя появился в столице. Тем не менее атмосфера была торжественная, и, что главное, все происходящее играло на руку новгородскому владыке. Православная церковь в лице трех ее первосвятителей, нашедших упокоение под сводами соборного храма, продемонстрировала силу своего влияния, перед которой склонилась даже царская власть. Именно она, церковь и ее высшие иерархи, оказались истинными хранителями Божественных заповедей. Воистину, то был настоящий апофеоз Православия. Апофеоз, тесно связанный с именем Никона — первого претендента на освободившийся патриарший престол.

Новый патриарх

И без того склонный по натуре к частым воздыханиям и жалобам, патриарх Иосиф в последние годы жизни имел для того множество веских причин. Это и строптивные ревнители, на которых он не мог найти управы; и епископы, попрекавшие за глаза патриарха в слабости; наконец, сам царь, чаще обращавшийся не к нему, а к Никону. «Свести, скинуть меня хотят», — сетовал в минуты душевной слабости Иосиф, имея в виду будто бы намерение царя и его ближайшего окружения лишить его патриаршего посоха.

Иосиф говорил неправду, причем заведомо зная, что это — неправда. Каким бы сильным ни было недовольство царя-ревнителя пассивностью патриарха, как бы ни хотелось ему видеть на патриаршем месте человека иного закала и устремлений, у Тишайшего и в мыслях не было осуществить свою мечту прозаическим насилием. Человек послесмутной эпохи, Алексей Михайлович имел страх Божий в душе и знал границы положенного. «...И тут как мне одному отставить его без вашего собора: отнюдь в помышлении нашем того не бывало у нас», — писал царь, намекая на единственное условие законной «отставки» первосвященника — решение церковного собора.

Но у собора не было никаких оснований для подобного решения. Проблема таким образом могла разрешиться лишь естественным способом — кончиной Иосифа, тем более что патриарх был стар и часто хворал. И хотя молодому нетерпеливому Алексею Михайловичу томиться было тягостно, он честно ждал предначертанного скорбного часа. Час этот, впрочем, был приближен утомительными для престарелого

патриарха церемониями встречи мощей Иова и участием в шествии на осляти в Вербное воскресенье.

Несмотря на уверения царя в послании к Никону, что его имя — имя реального кандидата в патриархи — известно немногим: лишь самому царю, царскому духовнику и казанскому митрополиту Корнилию, едва ли это оставалось на тот момент тайной. Симпатии царя ни для кого не были секретом, а стремительное восхождение бывшего кожеозерского игумена по ступеням церковной иерархии лишь подтверждало намерения второго Романова. Это, в свою очередь, определяло линию поведения как самого Никона, так и большинства людей, общавшихся с ним. В нем уже видели будущего архипастыря.

Верными себе остались лишь провинциальные ревнители. Они били челом «о духовнике Стефане, чтоб ему быть в патриархах». Но царский духовник решительно отклонился от подобной чести. Какими бы мотивами ни руководствовался благовещенский протопоп, его отказ открывал дорогу для Никона. Больше того, отказавшись, Вонифатьев прямо указал на новгородского митрополита как на самого достойного кандидата. Авторитет протопопа был очень высок. В итоге Иван Неронов с товарищами, поколебавшись, составили новую челобитную в пользу новгородского владыки.

Едва ли это обращение могло на что-то существенно повлиять. Тем не менее искатель патриаршего посоха тонко прочувствовал ситуацию и не поленился предстать перед бывшими «соратниками» приветливым и заботливым человеком. Приехал с Соловков, пишет протопоп Аввакум, «яко лис: челом да здорово!». Позднее Аввакум не мог простить ни себе, ни своим товарищам такого легковерия — прозевали, поверили, ударили о Никоне челом государю и получили в

архипастыри служку антихристову! Как могло снизойти на них такое помячение?!

Конечно, недруги Никона готовы были со временем приписать ему все что угодно, даже рожки под митрой. Но в 1652 году провинциальные ревнители сделали свой выбор вполне осознанно: они видели в Никоне единомышленника, хотя, по-видимому, уже тогда опасались тяжелого и властного норова пастыря.

Процедура избрания московского первосвященника не была строго установлена. Это единственное, что могло спутать планы царя. Избирали патриархов по-разному. В 1634 году Иоасаф, архиепископ Псковский, был избран «по изволению» царя на заседании Собора и при участии думы. Следующие выборы прошли в 1642 году по иному порядку: собор отобрал шесть кандидатов, судьбу которых решил жребий. Царь лишь вскрыл жребий и первым «узрел» Божественную волю — имя нового архипастыря, архимандрита Симонова монастыря Иосифа. Но в 1652 году Алексей Михайлович не решился довериться жребию, ибо может «случится содейство дьявольское и падет жребий на единого непотребного и худаго». Проще сказать, царь, возжелавший увидеть на патриаршем престоле Никона и только Никона, не хотел полагаться на случай.

В итоге выборы прошли следующим образом: члены церковного собора назвали «12 духовных мужей», имена которых отослали царю. Алексей Михайлович просмотрел список и возвратил назад с пожеланием избрать из 12 достойных самого достойного. В результате было названо имя Никона, о чем участники собора поспешили известить Тишайшего.

Здесь ровно текущая процедура избрания неожиданно дала сбой. И виновником оказался сам Никон. Трудно сказать, что это было — экспромт, столь свойственный импульсивной натуре патриарха, или заранее тщательно продуманные действия. Во всяком

случае, мечтая обрести полномочия чрезвычайные, могущие восстановить в его представлении подлинную власть патриарха, Никон рассчитал все точно.

Многоактовая пьеса, сыгранная Никоном, впечатляет. Ее первый и второй акты были разыграны на новгородском подворье в Кремле, где в молитвенном уединении пребывал новоизбранный московский первосвященник. На «государев зов» Никон отвечает отказом — посланные царем и властями духовенство и думные люди возвращаются ни с чем.

Новая посылка первостатейных бояр и митрополитов к успеху не привела. Никон упорствовал. Чувствуется, что ему близка режиссура Бориса Годунова, в свое время также отказывавшегося от престола, только царского, а не патриаршего. Конечно, отчасти такое поведение следует списать на этикет. Но зная действительную подноготную событий и 1598 года, и 1652 года, нельзя не увидеть здесь искусной игры гениальных лицедеев. Позднее Аввакум найдет более злые слова для определения поведения владыки: он принялся «мрачить царя и людей».

Повторилась картина 1598 года, но только в каком-то обратном, фантазмагорическом варианте. Тогда патриарх Иов молил «упорствующего» Годунова принять венец; в 1652 году сначала бояре и духовенство, а затем и сам царь принялись уговаривать Никона дать согласие занять опустевшее место главы московской церкви.

Третий акт развернулся 22 июля в Успенском соборе, куда чуть ли не под руки привели упорствующего владыку. Мольбы и здесь долго не помогали: Никон называл себя неразумным и не могущим пасти словесных овец стада Христова. Тогда царь говорил «речь Новгородскому митрополиту Никону, чтоб он был в патриархах». Речь закончилась тем, что все присутствующие, включая государя, пали

на землю^[192]. Никон должен был быть доволен: после прошедших со смерти патриарха Филарета восемнадцати лет то было первое зримое подтверждение возрождения «истинной» святительской власти, которая обретала положенное ей место и значение рядом с властью царской.

Никон дал себя уговорить. Но, начав с того, что ныне не исполняется ни заповедей евангельских, ни законов благочестивых царей, потребовал: «Если вам угодно, чтобы я был у вас патриархом, дайте мне ваше слово и произнесите обет в этой соборной церкви... что вы будете содержать евангельские догматы и соблюдать правила святых апостолов и святых отец и законы благочестивых царей. Если обещаете слушаться и меня как главного архипастыря и отца во всем, что буду возвещать вам о догматах Божиих и о правилах, в таком случае я по вашему желанию и прошению не стану более отрекаться от великого архиерейства»^[193].

Условия были приняты и закреплены клятвой перед чудотворными иконами и мощами. Никон, впрочем, поспешил упрочить «победу», приказав упомянуть о царском обещании во введении к Служебнику 1655 года.

Но вот вопрос: какой смысл вкладывался в саму клятву? Позднее выяснилось, что каждая из сторон — царь, его окружение и Никон — по-разному понимала дарованные права и торжественные обещания.

Грек Павел Алеппский писал, что Никон согласился принять патриаршество, когда было установлено, что царь не станет «вступаться в дела церкви и духовенства, как это было при прежних царях». Другой современник, дьякон Благовещенского собора Федор Иванов, свидетельствовал, что царь будто бы дал в начале постановления Никону запись за своею рукою «еже во всем его послушати и от бояр оборонить и его

волю исполнять». Наконец, несколько лет спустя сам Никон в письме патриарху Константинопольскому Дионисию объяснял свое согласие достаточно просто — пастырской обязанностью: «Тут я вспомнил, что сердце цареву в руке Божией, и убоился отречения»^[194].

Как бы то ни было, Никон предпочитал трактовать эту клятву предельно широко, имея в виду не только полноправие в делах церковных, но и участие в делах государственных и мирских. Это полнота власти сфокусировалась для него в титуле «великий государь», которым некогда был наделен отец Михаила Федоровича, знаменитый патриарх Филарет. Однако в отличие от большинства современников, для которых соправительство Филарета объяснялось и оправдывалось кровным родством, Никон связывал свой новый титул и, как следствие, свое особое положение с достоинством и высотой патриаршего сана. Словом, для него это не царская милость, а признание истинного места главы всего священства православного царства.

Сохранился чин поставления на патриарший престол с правкой Алексея Михайловича. Сама правка незначительна, однако она свидетельствует о том, насколько серьезно относился к процедуре выборов царь. Это вообще характерная черта Тишайшего, для которого любая церемония всегда была наполнена глубоким смыслом: она — не форма, не внешнее, а неотъемлемая часть, выражение сути дела. Потому вовсе не мелочность побуждала его на протяжении жизни самым тщательным образом заниматься разного рода церемониями, будь то торжественные проводы войска в поход или обряд посвящения в сокольничие.

В царской правке чина поставления патриарха явственно ощутимы два стремления: во-первых, не уронить высоту царского сана там, где возвышается сан патриарший, сохранить и соотнести их достоинство и

значение; во-вторых, обойти острые углы, связанные с особенностями избрания Никона — патриарха «не по жребию».

Примечательно, что в самом чине поставления первоначально присутствуют два малосовместимых положения: избрание «по велению благочестивого» царя «и по жребию поставлен бысть». Последнее, возможно, было включено по настоянию самого Никона, который будто бы склонялся к выборам по жребию. Но, как уже отмечалось, это никак не устраивало Алексея Михайловича. Он решительно зачеркивает «по жребию поставлен бысть» и предлагает свою формулу: «по избранию всего Освященного собора» и «по дару всемогущего Бога», где «дар» означает обязательное присутствие Божественного Промысла, но отнюдь не в форме пресловутого жребия.

Царь также вычеркнул фразу о том, что все присутствующие, включая и его, «распростершись ниц», молили Никона. Все это заменялось общей и более краткой фразой, присутствующей и в тексте настольной грамоты: «удалось умолить Никона быть патриархом с великою нуждой».

25 июня 47-летний Никон был посвящен в сан патриарха. Все происходило по самому торжественному чину. Обретя высшее церковное достоинство, Никон мог быть доволен: то было достойное завершение апофеоза Православия или, если быть более точным, открытие своеобразного апофеоза патриаршества.

В разыгравшемся «представлении» Алексей Михайлович невольно следовал режиссуре «собинного друга». Он уговаривает, преклоняет колени, клянется. Он готов со многим примириться, многое принять и пойти на уступки. Однако уже тогда и сами уступки, и их мера должны были исходить и определяться волей одного государя. Никон это не заметил. Или постарался не заметить.

Начало церковных реформ

Едва ли те, кто подходил в эти июньские дни под благословение Никона, могли предположить, чем окончится это патриаршество. Между тем за шесть лет своего архипастырства Никон столь сильно сотряс основы религиозной жизни, что с ним не сравнится ни один из владык, обладавших посохом митрополита Петра ни до, ни после. Но Никон — это не только церковная реформа, приведшая к Великому расколу, а еще и впечатляющая схватка патриарха и царя, драматическая по сценарию и глубокая по историческому смыслу.

По замыслу и царя, и боголюбив Никон должен был провести в жизнь главную идею столичных ревнителей — реформировать церковь и церковную жизнь. Была сформулирована и программа этого реформирования. Однако новый патриарх был слишком самостоятелен, чтобы послушно следовать чьим-то указаниям. У него имелись свое понимание путей спасения и своя заглавная тема жизни. Никону и реформа была нужна в первую очередь для того, чтобы осуществить ее. Иначе говоря, реформа становилась для него не целью, а средством достижения цели более значимой — восстановления поправленных прав священства. Именно для этого он потребовал при избрании чрезвычайных полномочий. Вместе с переменами и наведением порядка в церковной жизни это должно было привести к торжеству Правды и благочестия.

Потомки свели реформу Никона к реформе обряда и «книжной справе». Сам же Никон воспринимал свою деятельность много шире: как очищение и возвращение к подлинным основам христианской жизни, как торжество православного стиля. «Церковь не стены

каменные, но каноны и пастыри духовные», — говорил патриарх. Поэтому и начинал он с нравственного оздоровления. Размах его помощи нуждающимся впечатляет: ни один из патриархов не был столь милосерден к убогим и нищим, как Никон. Здесь с ним мог поспорить только Алексей Михайлович.

Патриарх объявил настоящую войну пьянству. Через 17 дней по восшествии на кафедру он добивается от царя указа, который запрещает продажу горячительных напитков в праздничные и постные дни. На улицах уничтожают кабаки — отныне велено оставить по одному питейному дому на город. При этом строго запрещается продавать водку монахам и священникам — Никон всерьез озабочен нравственным состоянием духовенства, успевшего пристраститься к горькому зелью. Царь, как истинный ревнитель, принимает эти указы, несмотря на их видимую ущербность для казны [\[195\]](#).

Не менее энергично Никон обрушивается на все то, что связано с иноверческим влиянием, особенно католического или протестантского толка. В этом он выступает таким же ригористом, как и его будущие оппоненты из старообрядческой среды. По инициативе патриарха в конце 1652 года из Москвы выселяются на берег Яузы все иностранцы-иноверцы. По мысли Никона, если уж никак нельзя обойтись без всевозможных «немцев», то надо по крайней мере выстроить между ними и православными настоящую стену. Но если бы Никон обладал пророческим даром, он бы ужаснулся результатам устроенного им «исхода»: его стараниями на берегу Яузы был сотворен настоящий уголок Европы, который никогда бы не сумел появиться в самой Москве. Здесь бы он просто растворился, затерялся и, уж конечно, не приобрел магнетическую силу Образа Европы, заморозившего Петра.

Впрочем, в 1652 году все это выглядело весьма своевременной мерой: именно таких шагов ждали от своего патриарха ревнители. Но Никон очень скоро стал делать то, чего от него не ждали. По крайней мере, провинциальные ревнители.

Сама реформа включала в себя реформы обряда, богослужения и книжную «справу». Одной из задач было преодоление обрядовых и литургических различий с греческой церковью. Впрочем, сужая задачу, Никон пошел по крайнему пути: преодоление через *подчинение* русского обряда греческому.

Расхождения в обряде между восточной и русской православными церквями имели историческую основу. Уже в первые века христианства существовали различные уставы и тексты церковных служб. Когда Древняя Русь восприняла христианство, Византия знала два разнившихся между собою церковных устава: Иерусалимский, составленный в V веке преподобным Саввой Освященным, и Студийский (Константинопольский). Русь восприняла Студийский устав, преобладавший на момент крещения. Однако в XII-XIII веках в Византии предпочтение начали отдавать Иерусалимскому уставу. Московские митрополиты Фотий и Киприан следом за греческой церковью стали заменять Студийский устав на Иерусалимский. Но довести обрядовую реформу до конца не успели. С падением Константинополя эта проблема вообще потеряла на время свою остроту. Москва продолжала жить по прежним или, точнее, отчасти «переходным» обрядам, так что, когда знакомый нам книжник Арсений Суханов соглашался с греками, что все «у них старее», он ошибался. «Старее» как раз было в Москве.

К XVII столетию вся эта запутанная история с уставами была забыта и греками, и русскими, что и выявилось в споре старца Арсения. В итоге греки и русские, творя знамение, складывали разное число

пальцев и по-разному творили поклоны; священники обходили амвон в разных направлениях — «посолонь» (по солнцу) и против солнца — и, следуя служебникам, рознились в произносимых молитвах. Все эти и иные различия в службе и обрядах не ускользали от внимания верующих, и уже в XV–XVI веках давали повод москвитам утверждать, что они «честнее» греков. Те, мол, оступились и отступились, мы же от отцов стоим нерушимо.

Необычайная приверженность к обряду дала основание светским историкам говорить о формализме старинного русского благочестия. Уместнее, однако, говорить о типе русской религиозности, сводившей собственно веру к обряду и связанным с ним молитвенным формулам. Ограниченность подобного восприятия веры улавливалась самими людьми XVII столетия. Но таких было ничтожно мало в силу традиции и укоренившейся склонности к начетничеству. Призыв обращать внимание не только на букву, но и на смысл не находил в религиозной среде «московского замеса» ни понимания, ни сочувствия. В устройстве своего мироздания молитвенное сложение пальцев так, как складывали святые с потемневшей родовой иконы, казалось важнее всякого рода сомнительных новаций.

Больше того, со временем утвердился взгляд, что все, что не похоже и отлично от греческого, и есть высшее благочестие. Уже в одном этом положении кроется зерно будущей розни: ведь как можно заставлять походить на греков, если до этого все было напротив? И какова должна быть реакция на такое понуждение, ведущее не к спасению, а к гибели? Словом, если греческая церковь не крестится двумя перстами и трои́т аллилуйю, тем хуже для нее. Значит, именно она ложно толкует догмат Святой Троицы и неверно понимает отношения между двумя естествами

Богочеловека. И то же в хождении в духовных процессиях: если греки ходят не по солнцу, а против, то, стало быть, они не хотят идти вослед Христу и предпочитают спускаться в страну мрака^[196]. Так, или почти так рассуждали сторонники святорусской старины, находя в одной только древности подобных аргументов неоспоримую правду.

Сами греки по-разному относились к расхождениям в обряде и в церковных службах. Когда встретивший сопротивление своим реформам Никон поспешил заручиться поддержкой константинопольского патриарха Паисия и вынес на его суд вопрос о разночтениях в уставе, ответ был обескураживающим: главное — единство в догматах, в исповедании веры. Различия же в обрядах разных поместных церквей вовсе не страшны. И такое помимо константинопольского патриарха подписали двадцать четыре митрополита и четыре епископа!^[197] Понятно, что такой подход был чужд русскому человеку, будь то сторонник или ярый противник патриарших реформ. По их общему мнению, обряд требовал немедленного исправления, стоило лишь признать его ошибочным или даже несовершенным.

Но были и другие греки, совсем не склонные к спокойному созерцанию розни в обрядах и службах. Иерусалимский патриарх Паисий в первые дни своего приезда в Москву в 1649 году быстро нащупал самую чувствительную струнку московских правителей — уязвленное самолюбие — и ловко стал играть на ней, соблазняя идеей общеправославного единения под скипетром царя-освободителя. Изворотливый архиерей буквально заморозил Алексея Михайловича — стоит только вспомнить пасхальное христосование царя с купцами-греками.

Но поманив, Паисий тут же начал корить русских неправильностью их церковного устава и разного рода уклонениями. Рождалось ощущение неполноценности московской церковной жизни, крайне выгодное для греков: понижая русскую церковь, они автоматически возвышали свою. Это сулило им возвращение роли авторитетного и высшего судии и обильные материальные пожертвования. Словом, в упреках Паисия и его последователей было немало своекорыстного: разыгрывалась простенькая пьеса о двух братьях, один из которых умный, но бедный, другой — богатый и глупый...

Никон был среди тех, кто охотно слушал Паисия. Спустя три года, уже облаченный в патриаршие одежды, он столь же доброжелательно отнесся к приехавшему патриарху Макарию Антиохийскому. Тот также станет корить патриарха в несхожести с греческими совершенными образцами. Никон будет соглашаться. Он, собственно, уже начал обрядовую реформу, и упреки Макария должны были адресоваться не ему, а тем русским архиереям, которые пребывали в сомнениях.

Но гораздо важнее, нежели позиция греков, был настрой русских религиозных деятелей. Последние в лице столичных ревнителей «амнистировали» греческую церковь и высказывались за тесное единение с ней. Никон принялся воплощать эту идею в жизнь со всей страстностью своего необузданного темперамента. Это означало утрату всякой меры. В конце концов грекомания крестьянского сына будет доходить до смешного — до «реформы» в трапезной, куда из поварни станут носить греческие блюда, мало привычные для русского человека. В подобном неловком подражании усматривается неизжитый Никоном провинциализм, повадки «мещанина во

дворянстве», желающего во всем перещеголять своих учителей.

Но Никон слишком самобытен, чтобы просто подражать. Избрание для него — предназначение, патриаршая власть — способ воплощения предназначенного. Никон воодушевлен. Любое сопротивление, слово и даже мысль против воспринимается им как неповиновение, как неприятие одному ему ведомого пути Спасения. Ответ один — подавление, принуждение.

В представлении Никона, как, впрочем, и большинства его современников, чем больше грозы, тем более власть походит на власть. В этом смысле Никон, как и все ревнители, — максималист. Он из тех натур, которые искрометно горят и быстро прогорают. И эта черта его характера, до сих пор отчасти придавленная окружением и обстоятельствами восхождения вверх, бурно дает о себе знать после 1652 года.

Мечты о Вселенском московском православном царстве, которые в равной мере кружили головы царю и новому патриарху, делали вопрос о различиях в обрядах уже не частной проблемой. Не могла же в самом деле Москва со своими особенностями в уставах и обрядах претендовать на роль главы вселенского православия?! Русский церковный обряд как бы отдалял Московское царство от Вселенской церкви, и это было нестерпимо, особенно в тот момент, когда мечта о первенстве стала претворяться в жизнь. Совсем не случайным оказалось совпадение в координатах времени церковной реформы и начала борьбы за Украину и Белоруссию. Одно подталкивало и стимулировало другое. Присоединение Украины и война с Речью Посполитой осмысливались как начало «территориального строительства» Православного царства, церковная реформа — как достижение его церковного единения.

В феврале 1653 года, в канун Великого поста, Никон разослал по московским приходам «память», чтобы во время молитвы «Господи владыко живота моего» клали вместо обычных семнадцати четыре земных поклона, а остальные делали в пояс, а также «еще и тремя персты бы есте креститься». При внешней неожиданности эта мера вовсе не была случайной: в том же феврале на Печатном дворе закончилось печатание служебной Псалтыри, в которой не было привычных текстов о перстосложении и о поклонах^[198]. Так что патриаршая память, оказавшаяся в конечном счете эпохальной, — с нее историки обыкновенно начинают отсчет церковной реформы — была лишь логическим шагом в планах Никона.

Позднее протопоп Аввакум чрезвычайно выразительно передал чувства, охватившие провинциальных ревнителей. Прочитав грамоту Никона, «мы, сошедшиеся со отцы, задумались; видим, яко зима хочет быть: сердце озябло и ноги задрожали». Иван Неронов удалился в Чудов монастырь; там, изможденный молитвами и строгим постом, он услышал глас: «Время преспе страдания, подабает вам неослабно страдати!»^[199]

Можно согласиться с тем, что описание Аввакума, сделанное много лет спустя, под воздействием иных чувств и эмоций, во многом отлично от того, что было на самом деле. Однако едва ли мирочувствование экзальтированного Неронова и его последователей искажено до неузнаваемости. Ведь страдальческий, мученический путь для них издавна был путем утверждения благочестия и Правды. Так что внутренне они даже жаждали столкновения и страдания столь же сильно, как Никон — неповиновения.

Патриаршая память вызвала ответную челобитную провинциальных ревнителей с решительным протестом

против нововведений. Она была подана Алексею Михайловичу, но, как подозревал Аввакум, передана им патриарху. «Устранение» Алексея Михайловича от спора не было случайным: не говоря уже о том, что царь сам был сторонником перемен, он строго следовал своему обещанию не вмешиваться в дела церкви.

Никон проигнорировал челобитье протопопов. В ответ бывшие товарищи стали обвинять его «в высокоумном и гордом житии». Тогда патриарх стал давать ход различным жалобам на провинциальных боголюбив, благо, что при их рвении недовольных было предостаточно. Но предупреждение оказалось непонятым.

Первым пострадал Логгин Муромский. Поводом послужило его столкновение с женой местного воеводы Бестужева. Протопоп укорил ее в пристрастии к белилам, которые воеводская женка, в соответствии с тогдашней модой, накладывала на щеки. Когда же священнику возразили, что белила идут и на писание икон, он якобы в ответ изрек хулу на святые образа. Слова Логгина, возмущившегося такой «мирской» аргументацией, конечно же, были передернуты. Но противникам неистового протопопа было не до тонкостей. Логгин угодил «за приставы». Неронов горячо вступился за пострадавшего, требуя справедливого рассмотрения дела на соборе, в присутствии самого государя. Итак, вновь было названо имя Алексея Михайловича.

Эта настойчивая апелляция к царю — не только дань традиции, столь ценимой староверами, но и понимание истоков силы Никона. Разорвать эту связь, пошатнуть авторитет патриарха в царских глазах, доказать, что Никон творит «не церковное строительство», а церковное разрушение — вот цель будущих староверов. Нет смысла повторять, что провинциальные ревнители жестоко просчитались в отношении Алексея

Михайловича. Но было бы слишком просто подозревать их в полной слепоте. На самом деле, идейно расходясь с царем и Стефаном Вонифатьевым, многие из них ухитрились сохранить с ними неплохие отношения. Сильным было влияние провинциальных ревнителей и на членов царского семейства. Не случайно вскоре они станут адресовать свои послания царице и царевнам. То была слабая, но надежда — царственные жены напоют, наговорят, напугают, и в итоге Тишайший одумается и урезонит разошедшегося Никона.

В июле 1653 года церковный собор рассмотрел дело Логгина. Неронов яростно защищал муромского протопопа и наговорил Никону дерзостей: «Доселе ты друг наш был, на нас восстал. А коих ты разорил, и на их место поставил иных, и от них добраго ничего не слышать».

Сторонники патриарха набросились на Неронова с упреками. «Что вы кричите и вопите? — взъярился тот. — Я не Святую Троицу погрешил и не похулил Отца и Сына и Святого Духа, но похуляю ваш собор». За такое дерзновение оскорбленные архиереи присудили протопопа к наказанию: снятию с него скуфьи и отправке под крепкое начало в Спасо-Каменный монастырь.

Насколько была напряженной атмосфера, видно из слов Никона, произнесенных, по-видимому, в сильном гневе: «Мне де и царская помощь негодна и ненадобна, да таки де на нее и плюю, и сморкаю». Должно быть, услышав запальчивые слова патриарха, Неронов пришел в неописуемый восторг: за такую фразу и Никон мог крепко пострадать. Однако свидетели — митрополит Иона и протопоп Ермил — патриарших слов не подтвердили. Сам инцидент очень показателен с точки зрения настроения патриарха. Оказывается, Никон, еще не успев толком обжиться на патриаршем престоле, уже собирался «теснить» престол царский.

Неронов «проиграл» дело. Но нравственная победа оказалась на его стороне. Он даже обвинил патриарха во лжи, когда тот заговорил о доносе казанского причта на протопопа, но самого доноса предоставить не сумел. Именно в этот момент Неронов бросил: «Воистинну, патриарх, лжешь»^[200]. Стоит ли удивляться острому желанию Никона избавиться от бывших друзей, одерживающих убедительные победы в очном поединке?

Конфликт разгорался. Неронов открыто укорял Никона в пренебрежении старыми друзьями. Доброе ли то дело? «Тебе и кто добра хочет, и ты их ненавидишь... Доселе ты друг наш был, а (теперь) на нас восстал». Досталось от протопопа и собору: «Не знаю, чем ваш собор назвать, потому что не заботы ваши о законе Господнем, но укору и разносы»^[201]. После подобных нападок Никону нетрудно было настроить участников собора против протопопа. Тот был обвинен в сеянии раздоров, арестован и в начале августа посажен в Новоспасский монастырь.

Облегчить участь своих товарищей попытался Аввакум. Он обратился за помощью к царскому духовнику. Но признанный глава ревнителей, возможно, уже тогда испытывавший душевное неудобство от чрезмерно жестких мер Никона, не собирался выступить против патриарха. «А про Стефана сказать не знаю что, всяко ослабел», — сокрушался Аввакум.

Неудачей окончилось и обращение к царю. Аввакум позднее сообщил арестованному Неронову о судьбе этой челобитной. Подали они ее вместе с костромским протопопом Даниилом в Дворцовый приказ, «а в ней написано слово так: о, благочестивый царю, откуда се привнидоша во твою державу? Учение в России не стало. И глава от Церкви отста...»^[202]. Однако Алексей

Михайлович не стал вмешиваться в тяжбу и просто передал челобитную патриарху.

Все эти «происки» явно раздражали Никона, подогревая его стремление избавиться от недавних друзей. Неронова недолго продержали в Новоспасском монастыре. Через несколько дней он был жестоко избит на патриаршем дворе. В соборе крутицкий митрополит Сильвестр снял с протопопа скуфью и запретил ему священствовать. Тут же было объявлено о высылке провинившегося протопопа в Вологодский уезд в Спасо-Каменный монастырь. Неронова провожала плачущая и мало что понимающая толпа. И не приходится сомневаться, кого в этой толпе обвиняли в несправедном гонении на нового Иоанна Златоуста.

4 августа 1653 года арестовали Аввакума. Поводом послужил донос священника Казанского собора Ивана Данилова. Аввакум, считая себя «законным» наследником Неронова, стал претендовать на первенство в Казанском соборе: «Яз де протопоп!» Но старшинство приезжего протопопа из Юрьевца на Москве священники не признали. Аввакум тотчас объявил, что казанские попы у него «книгу отняли и из церкви выслали». В чем причина столкновения, не совсем ясно: то ли Иван Данилов собрался служить по-новому, с чем, конечно, не мог согласиться Аввакум, то ли стороны сцепились из-за первенства. Но только для юрьевского протопопа с его неукротимо-правдолюбным норовом подобная ситуация оказалась лучшим поводом для экстравагантных поступков. Покинув храм, он стал служить прямо в сушильне во дворе Неронова. Это «сушильное всенощное бдение», естественно, привлекло внимание властей — каноническими правилами богослужение в сарае было строго запрещено. В импровизированную молельню нагрянул со стрельцами патриарший боярин и стольник Нелединский. Сушильня была разгромлена,

«прихожане» разогнаны и арестованы, неукротимый Аввакум посажен «на чепь». Около месяца он просидел в заточении, упорно отклоняя все уговоры покаяться и подчиниться патриаршей воле.

Пока прикованный Аввакум томился в монастырской тюрьме, 1 сентября, в Семенов день расстригли Логгина. Тут уж страсти закипели нешуточные. Логгин с началом обряда «разжегся ревностью божественного огня» и принялся при царе хулить Никона и даже плевать в него. Когда протопопа распоясали, он содрал с себя рубашку и бросил ее в патриарха. Пройдет немного времени, и подобные сцены станут повторяться достаточно часто. Но тогда все происходящее, по-видимому, озадачило Алексея Михайловича. И если Никон в ответ на оскорбления только ожесточался, то царь печалился и скорбел. Не таким ему виделось упорядочивание церковной жизни.

Аввакум, повествуя о расстрижении Логгина, привел «доказательства» божественной поддержки страдальца. Когда избитого и раздетого расстригу бросили в холодную келью Богоявленского монастыря, «ему же Бог в ту ночь дал новую шубу и шапку». О чуде поведали патриарху. Тот только рассмеялся: «Знаю су я пустосвятов тех!»

Имя «доброхота», сотворившего «чудо» с шапкой и шубой, не было названо. Сочувствующих в верхах хватало. В роли «доброхота» мог выступить даже сам Алексей Михайлович, любивший выказывать милость опальным. Во всяком случае, Никон, посмеявшись, ограничился тем, что приказал отобрать у Логгина одну только шапку. Лишенного сана Логгина сослали в деревню отца со строгим приказом не называть «ево попом и протопопом». Оговорка из разряда обязательных: тринадцать лет спустя так же распорядятся относительно самого Никона, с той только

разницей, что «изъятие» окажется более весомым — того запрещено будет величать патриархом.

Две недели спустя настал черед Аввакума. Когда его привели в Успенский собор, Алексей Михайлович поднялся с царского места и стал упрашивать Никона пощадить протопопа. Едва ли царское вмешательство оказалось по нраву патриарху. Однако царь не приказывал — молил, и Никон уважил просьбу. Так Алексей Михайлович, по признанию самого Аввакума, «упросил» его у патриарха. Но царское заступничество не нарушало прежней договоренности. Не случайно Вонифатьев, отказывая сосланному Неронову в просьбе о царском вмешательстве в церковные дела, писал, что Алексей Михайлович «на себя такого чина не взимает, что управити ему, государю, благочестие». В другом месте эта мысль была высказана духовником еще более образно: «Царь государь положил свою душу и всю Россию на патриархову душу»^[203].

Алексей Михайлович вступился за Аввакума отчасти потому, что сумел оценить всю незаурядность этой своеобразной личности. Эта тяга Тишайшего к талантам — несомненно, привлекательная сторона его натуры. Позднее ее унаследует Петр I, обладавший особым даром распознавать и привлекать на службу людей недюжинных.

Но Никон уступил, по-видимому, не только потому, что трудно было отказать государю. Не следует забывать, что в 1653 году вовсе не Аввакум, а Неронов рассматривался как бесспорный лидер оппозиции патриарху. Позднее станет ясно, что Аввакума сторонники церковных нововведений недооценили. Героем раскола стал не уступивший Неронов, а негибемый Аввакум. Пока же его «за многое бесчинство» ждала долгая сибирская ссылка — начало

невероятных духовных и физических страданий, вылившихся в великую книгу «Житие Аввакума».

Следом за Нероновым, Аввакумом и Логгиным пострадали и другие провинциальные боголюбцы — Даниил Костромской, Ермил Ярославский и другие. «Бунт», учиненный ими, остался главной вехой в их жизни. Все они вскоре умерли, не успев, в отличие от Аввакума и Неронова, оказать сколько-нибудь сильное влияние на тяжбу с Никоном ^[204].

Столкновение с провинциальными ревнителями кажется неизбежным — ведь за этим на самом деле стоял серьезный спор о направлении и моделях духовного развития. И, разумеется, совершенно невозможной была ситуация, о которой мечтали бывшие товарищи Никона по кружку: чтобы патриарх действовал, «внимая прилежно отца Иоанна глаголом». Такое еще могло пройти со Стефаном Вонифатьевым, но никак не с самовластным и гордым Никоном. Потому он рвал прежние связи решительно и резко, отказываясь от полутонов и признавая лишь две крайности — вражду или покорность.

Узнав о расправе над единомышленниками, Иван Неронов в ноябре 1653 года написал из своего заточения на Кубенском озере письмо царю, призывая его прекратить опасный для церкви раздор. Неронов говорил об утраченном благочестии, утерянном правоверии и бедах, выносить которые ему было нестерпимо. Послание осталось без ответа. Тогда в конце февраля 1654 года неугомонный протопоп вновь пишет царю, умоляя отставить пагубные новшества. Алексей Михайлович промолчал и на этот раз. В переписку с монастырским узником вступил Стефан Вонифатьев. Но писал царский духовник совсем не то, что жаждал его адресат. Он призывал Неронова смириться и покаяться перед патриархом. Бывший

казанский протопоп заупрямился, объявив, что каяться и просить прощения должен не он, а Никон.

Вонифатьев прочел грамотку Алексею Михайловичу. Царь был удивлен упрямству Неронова: ведь они-то, царь и благовещенский протопоп, «блазни (сомнений. — *И.А.*) не имеют о патриархе — все он доброе творит». Признание, сделанное в ответной грамотке Неронову, очень характерное. Оно приоткрывает стиль мышления и Вонифатьева, и, главное, его царственного духовного чада: государь за патриархом ничего худого не видит — значит, и остальным противиться ни к чему!

Неронов не внял разумному совету. Все попытки Стефана примирить его с патриархом успеха не приносили. Вонифатьев тяжело переносил этот разлад. Он, кажется, все более усматривал в разрыве спор уязвленных гордынь, а не канонические расхождения. А ведь речь шла о людях ему близких, о тех, кого он долгие годы пестовал и подымал! Уставший Вонифатьев все чаще задумывается об уходе в монастырь. И зовет Неронова послужить Господу «по силе нашей» в монашеской скуфье. Ему это кажется наилучшим выходом. Монашеский клобук должен усмирить Неронова; усмирение же протопопа смягчит и ожесточившееся сердце Никона.

Неронов соглашался принять постриг. Но первым все же оказался Вонифатьев. Он скрылся от мира за монастырской стеной, сменив имя Стефан на имя Савватий.

Помимо обрядовой реформы Никону следовало подумать и об исправлении богослужебных книг — о «книжной справе». Необходимость в ней была вызвана многочисленными разночтениями и расхождениями в службе и в церковных чинах, которые возникли по разным, в том числе и по чисто техническим, причинам. Особенно остро проблема унификации и исправления текстов встала с возникновением книгопечатания,

когда ошибки могли тиражироваться в великом множестве, да еще по патриаршему благословению. Книжная «справа» — исправление и издание богослужебной литературы — приобретала общецерковное и даже общегосударственное значение и налагала на организаторов и справщиков ответственность, которая была немыслима в эпоху рукописных книг. А это, в свою очередь, потенциально придавало конфликту по поводу «справы» масштаб и остроту, которые едва ли могли предугадать сами участники.

С необходимостью исправления книг в Москве столкнулись сразу же по окончании Смуты. Создалась на первый взгляд парадоксальная ситуация: страна лежала «в пусте», люди едва оправались «от страха и ужаси», а на Печатном дворе денно и ночью трудились справщики и печатники. Делалось все, чтобы преодолеть книжную скудность — печальное наследие лихолетья. При этом часть тиража рассылалась по монастырям и храмам безвозмездно. Убытки несли сознательно, ради выгод духовных и высших ценностей — только правильное Слово вело к спасению!

Постепенно выявился главный вопрос книжной «справы»: что принять за образец, признать за правительный, «неиспокаженный» текст? Проблема изначально приобрела не только сакральный, но и политический подтекст и оказалась напрямую связанной с борьбой за влияние в церкви и при дворе.

Ощущение национально-религиозной особенности, столь характерное для тогдашнего русского самосознания, находило выражение и при исправлении богослужебных текстов. В Прологах и в Послесловиях часто подчеркивалось, что книги исправлены «по древним харатейным славянским спискам». Большое недоверие питали к новогреческим книгам. В Москве крепко помнили, что греки ныне не те, что они «живут в

теснотах великих» и оттого, не смущаясь, вносят «иные веры в переводы».

Настороженное отношение было и к книжному потоку, идущему от ближайших соседей, из православной Украины и Белоруссии. Их книги также были под подозрением. В западнорусской письменности наряду с церковно-славянским употреблялась и «просто мова», тогда как в Московской Руси единственным литературным языком оставался церковно-славянский. Для русских людей многие книги «литовской печати» становились литературой на другом языке. Сама же «просто мова» воспринималась как еретическое заблуждение, поскольку слово неотделимо от содержания — оно есть Слово Божие.

Однако очень скоро скептическое отношение к единоверцам вошло в противоречие с общими духовными и культурными переменами, происходящими в обществе. Обходиться своими «старцами добрыми, в грамоте гораздыми», становилось все труднее. Их ученость была недостаточна для того, чтобы двинуть вперед школу, просвещение, церковное и книжное исправление. Помимо воли приверженцев старины украинско-белорусская книжность приобретала все большее значение. На нее опирались в поисках веских аргументов для опровержения «латинян» и «лютерев», продолжая при этом подозревать авторов... в ереси и лукавстве. Диапазон этих колебаний был значителен: от перевода текстов и их издания на Печатном дворе, то есть полного признания, до изъятия и публичного сожжения — книжного «аутодафе» — «за слог еретический и составы».

Подобное подвешенное состояние не могло продолжаться вечно. Обретение прочного фундамента и верного ориентира было равно необходимо светским и церковным властям. Взявшие при Алексее Михайловиче силу столичные ревнители отказались от

узкомосковского взгляда на восточное православие, что, естественно, делало пригодным новогреческие служебники для исправления и перевода. Уже при патриархе Иосифе стали выходить книги, исправленные на основе не только старославянских, но и греческих текстов.

Никон придал этому делу новый импульс. Требуя исправления книг по греческим оригиналам, он сменил справщиков^[205] Московского Печатного двора, осмелившихся ставить под сомнение авторитет «позакосневших в неволе» греков. Да и трудно было не сделать это, когда уже при нем с Печатного двора сходила продукция, ставившая греческой церкви в укор утрату благочестия. Осенью 1652 года Печатный двор покинули старые, заслуженные справщики, старцы Иосиф (Иван Наседка) и Савватий. Следом за ними ушел и мирянин Сила Григорьев. На их место приходят новые, грекофильствующие люди, сторонники Никона. Патриарху к тому же удается полностью взять под свое начало Печатный двор: Приказ Большого дворца, в ведении которого ранее находилось издательское дело, был отстранен от него.

Во главе «книжной справы» Никон поставил двух монахов — Епифания Славинецкого и Арсения Грека. Первый принадлежал к «киевской ученой братии» и был приглашен в Москву Федором Ртищевым для возрождения училищного Андреевского монастыря. Епифаний оставался вполне православным человеком, называл «латинскую мудрость» ересью, но с точки зрения провинциальных ревнителей страдал существенным изъяном — был грекофилом. Зато Никон нашел в Епифании исправного и образованного помощника. В 1653 году по поручению патриарха он перевел Деяния Константинопольского собора 1593 года, на котором восточные патриархи утвердили

создание московского патриархата. Собор поставил неизменным условием соблюдение русской церковью всех православных догматов, что и было, с подачи Епифания, истолковано Никоном как обязанность во всем, включая и обряд, следовать за греческой церковью. Так Никон, в частности, пытался обойти многие положения Стоглава, на которые ссылались его недруги. Даже не будучи официально в штате Печатного двора, Епифаний Славинецкий сильно влиял на его деятельность. К его мнению прислушивались многие, включая самого царя.

Куда меньше повезло Никону со вторым справщиком — Арсением Греком. Человек образованный, учившийся в Риме и Падуе, он вместе с иерусалимским патриархом Паисием в 1649 году приехал в Москву. Здесь он стал предлагать себя в качестве учителя риторики, имея в виду планы создания греко-латинской школы. Однако преподавательская деятельность Арсения, едва начавшись, оборвалась. Возвращавшийся в Яссы Паисий с дороги прислал письмо, в котором поведал о прошлом грека. Оно было предосудительным. Арсений «прежде был иноком и священником и сделался бусурманом, потом бежал к ляхам и у них обратился в униата». Вывод Паисия был смертельным приговором для бывшего спутника: «способен на всякое злое безделие».

По получении письма старец Арсений был подвергнут строгому допросу. Он покаялся и попытался объяснить свое отступничество: униатом стал, чтобы попасть в латинское училище; «обусурманен» же был насильно, после чего с разрешения духовных властей вернулся к истинной вере. Но запоздалое признание мало помогло греку. Для исправления Арсений был отправлен на Соловки под надзор суровых тамошних старцев.

В 1652 году Никон возвращает Арсения в столицу. Обласканный патриархом, Арсений получает место

справщика и переводчика. Первые его переводы в книге «Скрижаль», утверждавшие патриаршие нововведения, появились в середине 50-х годов.

Никон, конечно, понимал, сколь уязвим его выбор. Такая одиозная фигура сильно компрометировала все его начинания не только в глазах завязтых противников, но и всех русских православных людей. Но в ученых книжниках, к тому же знающих языки, была острая нехватка. Так что особенно выбирать не приходилось. «Исполнен скверны и смрада езувитских ересей», — злословили про Арсения расколоучителя. Тем не менее именно Арсений, а не протопоп Аввакум, мечтавший о месте справщика, оказался на Печатном дворе.

«Книжная справа» остро поставила вопрос о том, что брать за образец при исправлении книг. Одним патриаршим волеизлиянием в таком деле обойтись было нельзя. Постепенно становилось ясно, что разогнать, расстричь, «содрать ряску» с противников нововведений вовсе не значило двинуть реформу вперед. Патриаршего авторитета оказывалось уже недостаточно, чтобы унять всех недовольных и сомневающихся. Особенно если эти недовольные — не просто крикливые протопопы, а люди, занимавшие высокие места в церковной иерархии.

В начале 1654 года Никон собрал Поместный собор для обсуждения церковной реформы. Патриарх, открыв собор, сослался на решение Константинопольского собора 1593 года, по которому Москва должна была отказаться от всех «церковных новин». Тут же Никон перечислил различия в чинах и печатных книгах. Речь завершалась вопросом: «Новым ли нашим печатным служебникам последовати, или греческим и нашим, старым, которые купно обои един чин и устав показывают?»

Собор признал необходимость исправления «противу старых и греческих книг». Решение было далеко не единогласным. Из 35 присутствующих постановление подписали 29 человек. Характерно, что Никон на этот раз не внес в перечень отступлений различие в перстосложении. Он, по-видимому, опасался остаться в меньшинстве и предпочел на этот раз обойти острый вопрос. Да и само компромиссное решение исправлять чины против «древних харатейных и греческих книг» красноречиво говорило о настроениях участников Собора. Ведь такое решение исключало исправление по новогреческим книгам, по которым уже трудились новые патриаршие справщики. Что касается «древних харатейных и греческих книг», то с этим решением готовы были согласиться даже провинциальные ревнители. Впрочем, принимали такое решение члены собора вовсе не потому, что поддались давлению «взбунтовавшегося» белого духовенства. Излишне смелые нововведения Никона испугали почитателей церковной старины, и они поспешили обозначить предел, за который не должен был преступать реформатор. Никон на этот раз не стал настаивать, смекнув, насколько шатким окажется его положение в случае открытого протеста части архиереев.

При таком раскладе очень многое зависело не от соборных деклараций, а от вполне конкретных шагов в повседневной церковной политике. Здесь же вся сила оказалась у Никона, и он, не церемонясь, охотно прибегал к ней. На Печатном дворе по-прежнему правка шла по новогреческим книгам «венецианской печати». Но трудно было спорить с Никоном, которого всецело поддерживал царь. Предостережением для многих была судьба коломенского епископа Павла, воспротивившегося патриаршим «новинам». Павел лишился архиерейской мантии и подвергся мучениям,

после которых, по официальной версии, впал в умопомешательство, а по утверждению старообрядцев, был задушен или уморен голодом. Сама же Коломенская епархия вошла в состав патриаршей области, разросшейся при Никоне до пределов необъятных.

Но подобная расправа — палка о двух концах. Слабых духом она пугает и прогибает, сильных — ожесточает и раззадоривает. Сосланные протопопы, не успев толком освоиться в своих узилищах, получили своего первого мученика-епископа. Выходило, что они не просто бунтари и «церковные безчинники», осмелившиеся противиться патриаршей воле, а защитники веры, которых поддержали даже архиереи. Расправа с Павлом сильно походила на поражение, и если у самого Никона были на этот счет какие-то сомнения, то через несколько лет они рассеялись. Ссора Никона с царем вызовет к жизни целый реестр патриарших прегрешений, одно из которых — превышение святительской власти в деле с коломенским епископом. Так царь и поддерживавшие его греческие и русские архиереи в своем обвинении сомкнутся со старообрядцами.

Весной на Печатном дворе началась работа над Служебником, в основание которого было положено венецианское издание 1602 года. Этот новогреческий вариант, составленный с точки зрения литургической науки, был не хуже и не лучше современных ему русских. Но он, естественно, был свободен от влияния древнего Студийского устава, так что в сравнении с прежними русскими служебниками тотчас выявилась масса разночтений, о которых возопили по выходе будущие расколоучители.

В том же 1654 году на печатный станок ложится «Скрижаль» — свод церковных правил. Переводили и

набирали «Скрижаль» с греческого издания 1574 года, которое послал Никону патриарх Паисий^[206].

Сопrotивление, с которым столкнулся Никон, побудило его прибегнуть к помощи восточных иерархов. Уже в начале реформы, как нельзя кстати, в московских приделах появились антиохийский патриарх Макарий и сербский митрополит Гавриил. Макарий быстро сошелся с Никоном и, войдя во все трудности его положения, принялся во всеуслышанье укорять москвитов в отступлении от истинно православных чинов.

Такая поддержка подогривала реформаторский пыл Никона, влияние которого на царя достигло апогея. Стоит отметить, что это было страшное время, последовавшее после московской чумы 1654 года. То, что царская семья не поредела в моровое поветрие, когда смерть выкашивала всех без разбору, было всецело приписано попечению Никона. Алексея Михайловича, правда, смущали резкости патриарха. Но в этом смущении была, кажется, и немалая толика восторга. Так громовержно гневаться царь не умел.

Поддержка царя давала возможность Никону двигаться дальше. 4 марта 1655 года, в Неделю православия, в Успенском соборе происходило пышное богослужение, блеск которому придавали присутствие царя и участие двух патриархов — Московского и Антиохийского, а также митрополита Сербского. Стечение народа было огромным. Никон при поддержке восточных архиереев открыто выступил против старинного русского перстосложения.

Происходящее преподносилось как стремление вернуться во всем к истинному благочестию. При этом истинное благочестие трактовалось Никоном «по греческим образцам». Никон, как и следовало ожидать, с жаром обрушился на двухперстие. «Он говорил, — писал Павел Алеппский, — что москвитяне неправильно

полагают на себя знамение креста: крестясь, они складывают персты руки не так, как складываем мы, а как святители благословляют». Последнее очень примечательно: Никон увидел в прежнем знамени еще и покушение на святительскую власть — ведь так складывать персты могут только священнослужители.

Патриарх обрушился не только на старое знамение, но и на навеянное западноевропейским влиянием «живописное» иконописание. Еще в 1654 году стрельцы по приказу Никона изымали иконы подобного письма из домов родовитых людей. У таких икон патриаршие служители вымарывали глаза, а затем носили их по городу к огромному смущению москвичей, недоумевавших — не иконоборец ли их новый патриарх? В августе все это едва не закончилось всенародным бунтом и намерением расправиться с патриархом. Но Никона угрозы никогда не пугали, и теперь он решил устроить этим «франкским образцам» публичную казнь. Картина получилась впечатляющая. Патриарх подымал вверх икону, провозглашал имя ее владельца и кидал на плиты собора. Иные образа были брошены с такой силой, что трескались и разлетались. Но патриарху и этого показалось мало: доски приказано было собрать и сжечь. Можно представить, какое смятение царило в церкви — в щепы и огонь летели образа, пред которыми еще вчера молились и клали поклоны. При этом родовитые люди, недавние обладатели икон, публично позорились! Но никто не посмел одернуть разбушевавшегося пастыря. Лишь Алексей Михайлович, собравшись духом, выпросил разрешение закопать отвергнутые и разбитые иконы: «Нет, батюшка, не вели их жечь, а лучше прикажи зарыть в землю»^[207].

В конце марта состоялся новый церковный собор, призванный утвердить новый устав и тексты

Служебника. Именно на этом соборе Никон произнес известные слова, что он «русский и сын русского, но моя вера и убеждения греческие». Слова эти были произнесены им не просто так. Если вспомнить, что 4 марта, осуждая старое знамение, он заставил патриарха Макария через переводчика провозгласить всем присутствующим, что «ни в Антиохии, ни в Константинополе, ни в Иерусалиме, ни на Синае, ни на Афоне, ни даже в Валахии и Молдавии никто так не крестится, но всеми тремя пальцами вместе», то это для него — аргумент. При этом Никон не желал считаться с тем, насколько этот аргумент оскорбителен для русского самосознания, привыкшего видеть все в ином свете.

Участники собора не осмелились открыто выступить против Никона — всем памятна была судьба Павла Коломенского. Если возражения и звучали, то слишком робко, чтобы помешать Никону истолковать решение собора в свою пользу.

Давление Никона нарастало. 24 февраля 1656 года, во время службы в Неделю православия в Успенском соборе, Никон уговорил патриарха Макария провозгласить анафему всем, кто крестится по-старому. Антиохийский патриарх не хуже остальных греческих архиереев видел всю опасность радикализма Никона. В частных беседах со своим сыном-секретарем, знаменитым Павлом Алеппским, оставившим нам свои воспоминания о посещении Москвы, он сетовал на неразумность московского владыки: «Бог да даст ему чувство меры»^[208]. Но хорошо быть воздержанным вдалеке от Москвы и ее богатств! Попавши же в Москву, хотелось покормиться, и здесь уж поневоле приходилось танцевать под музыку того, кто ее заказывал. В 1656 году в главных «заказчиках» ходил Никон, и беспринципный Макарий не стал с ним

спорить. Взявши слово после Никона, он обратился ко всем, призывая креститься трехперстно — а кто не делает так, «тот проклят». Проклятие было подтверждено митрополитом Гавриилом и никейским митрополитом Григорием. Авторитет трех живых патриархов легко перевесил предупреждения прочих греков о важности единства в вероисповедании, а не в элементах обряда. Да и предупреждения эти почти никому не были известны.

Отлучение было закреплено решением церковного собора, собравшегося 23 апреля 1656 года. Так, при молчаливой поддержке Алексея Михайловича, завершился первый этап «эллинизации» русского обряда. Никон добился своего, ухитрившись отчасти даже отойти в тень и выставить на первый план приезжих греков, ратовавших за полное и спасительное единение русских со Вселенской церковью. Но на вершине успеха уже ощутимы были первые обжигающие порывы штормового ветра. Ведь все, что ныне превозносилось, еще совсем недавно осуждалось и осмеивалось. Авторитет патриархов, старательно собранных Никоном в Москве, решения церковных соборов и аргументация исправленных книг — все это вместе не могло разрешить сомнения, разъедавшие души православных людей.

Впрочем, большинство из них не были искусны в богословских спорах. Но зато они были восприимчивы ко всему, что звучало просто и привычно, без всяких сомнительных новшеств. Еще убедительнее было, когда об этом говорили люди гонимые. Известная оппозиционность всему официальному, впитавшаяся в кровь человека XVII века и находившая свое повсеместное выражение в едкой насмешке и «воровском» толке, превращала этих гонимых в апостолов. На беду Никона один из таких апостолов «старой веры» — Неронов — вскоре появился в Москве.

Прибыв на исправление в 1653 году в Спасо-Каменный монастырь, Неронов был встречен иноками с большим пиететом. Во время службы архимандрит ставил его выше келаря, второго лица в монашеской братии. Однако ригорист Неронов очень скоро усмотрел в обиходе монахов отсутствие должного рвения. Он тотчас принялся осуждать и поучать старцев. Результат был печален: выведенный из себя архимандрит вспомнил, в качестве кого пребывает в обители опальный протопоп. Когда-то, во времена своей молодости, Неронов в том же Вологодском уезде дерзнул обличать местного владыку, в доме которого «славили» ряженые и скоморохи. За такой проступок «начаша Иоанна бити немилостиво». Все повторилось, с той лишь разницей, что теперь архимандрит вразумлял пощечинами не юношу, а шестидесятидвухлетнего старца. Тычкам настоятеля придавало силы сознание того, что, вопреки ожиданию, за Неронова из Москвы никто не спешил вступиться. Больше того, вскоре пришло патриаршее распоряжение отправить Неронова в отдаленный Кандалакшский монастырь. Здесь его ждал еще более суровый режим. Бывшего казанского протопопа указано было держать на цепи и не давать бумаги и чернил. Никон хорошо знал, как наказывать проповедника и книжника!

Неронов не выдержал не столько сурового режима, сколько своей оторванности от событий. Его неугомонной натуре было невмочь долгое пребывание в изоляции. Ночью на маленьком баркасе с тремя спутниками он пустился в плавание под парусом, сшитым из двух рогожек. По удивительному стечению судьбы протопоп, сам того не ведая, почти дословно переписывал в свою биографию страничку из уже написанной биографии Никона — его бегство с Анзер.

Едва не утонув во время бури, беглец с трудом добрался до Кемского устья. Отсюда путь пролегал на

Соловки. Затем Неронов двинулся на юг и вскоре оказался в Москве, где стал вести по-настоящему «подпольную жизнь». Павел Аллепский писал, что Неронов «менял свою одежду и перебегал с места на место»^[209]. Попытки Никона схватить беглеца оказались безуспешными. Не столько из-за прити «нового Ария», как назвал антиохийский патриарх говорливого старца, сколько из-за того, что ему сочувствовали и покровительствовали люди влиятельные. Неронов прятался даже у Стефана Вонифатьева. Пришлось Никону, который всегда с большим уважением относился к старцу, искать иной путь одоления Неронова. 18 марта 1656 года, после службы, Никон и Макарий отлучили протопопа с его приверженцами от церкви, и хор с духовенством трижды пропели анафему.

В ноябре 1656 года, после смерти Вонифатьева, Неронов перестал скрываться. Он явился к Никону и стал обличать его: «Что ты един ни затеваешь, то дело некрепко; по тебе иной патриарх будет, все твое дело переделывать будет: иная тебе тогда честь будет, святой владыко». Казалось бы, обличение должно было вызвать ответную реакцию. Но Никон промолчал. Чем объяснить столь несвойственное Никону поведение? В его добросердечие верится с трудом. Историки предполагают, что умирающий Вонифатьев умолял патриарха простить протопопа. Тот внял просьбе. Обличения Неронова остались без последствий, тем более что в декабре того же года Неронов принял постриг и превратился в старца Григория. Больше того, патриарх разрешил Неронову служить по-старым служебникам: «Обои-де добры, — все равно, по коим хочешь, по тем и служишь»^[210]. И если такое признание в общем-то не противоречило букве решения церковного собора начала 1654 года, то оно явно

входило в столкновение с духом всего того, что позднее творил Никон.

Так в чем же дело?

Дело, по-видимому, не в одном только обещании старцу Савватию (то есть Вонифатьеву). Во взаимоотношениях патриарха и царя намечался кризис. Кризис, к которому приложит немало усилий красноречивый монах Григорий. Он, в отличие от Вонифатьева, сменив мирское имя на иноческое, остался все тем же неукротимым отцом Иоанном, вещающим истину. Острый язык Неронова продолжал извергать на Никона разоблачительные слова. И им теперь охотно внимали.

Во-первых, потому что они исходили от уважаемого и немало претерпевшего от «злого норова» патриарха старца.

Во-вторых, потому что по-медвежьи проводимая Никоном обрядовая реформа и правка книг, затронув не только национальное, но и православное самосознание русских людей, к концу 1656 года создали сильную и обширную оппозицию патриарху.

Наконец, в-третьих, потому что если раньше внимать Неронову и его сторонникам было опасно, то ныне — нет. Для придворных не ускользнула перемена во взаимоотношениях царя и патриарха. Прежний, обжигающий всех огонь угас. Прогорали, не найдя новую пищу для огня, и угли. Похоже, лучше других это почувствовал сам Никон. Он, кстати, был очень раздражен постоянным заступничеством за Неронова. Это настроение находило свое выражение в мелочах. Когда царь попросил патриарха благословить прощенного Неронова, тот грубо обронил: «Изволь, государь, помолчать, еще не было разрешительных молитв»^[211].

«Страна казаков»

В исторической науке синхронная история — скромная падчерица, привыкшая уступать место хронологическому принципу изложения. Правда, существует подозрение, что падчерица со временем может обратиться в Золушку. Но пока это плохо получается. Заклание синхронной истории продолжается, и она обильно проливает свою кровь на алтарь богини Клио, сложенной из кирпичиков-монографий.

Конечно, читатель, следуя за автором хронологического исследования, получает завидную возможность увидеть проблему в развитии, не отвлекаясь на «мелочи» и не оглядываясь по сторонам. Но при этом по отношению к самим участникам событий получается все как бы наоборот: им-то не было известно будущее, итог развития. Зато они без устали оглядывались по «сторонам». Для них, собственно, и «сторон» не было: все — настоящее, все впресовано в сейчас происходящее, в неразорванное, единое время. И в этом времени нередко случалось так, что то, что мы ныне принимаем за второстепенное, для современников на самом деле было самым главным. Хотя бы потому, что вызывало общую реакцию и общий стимул к действиям, которые лишь на первый, поверхностный взгляд кажутся несоединимыми. Словом, нацеленная на изучение отдельных проблем история невольно саму историю и анатомирует. Но разве расчлененное тело — это живое тело?

Если с этой меркой подойти к истории середины XVII века, то, как уже отмечалось, сразу заметней станет взаимосвязь между такими событиями, как церковная реформа и раскол, столкновение царя с патриархом и

русско-польская война. В самом деле, торжество Никона над сторонниками старорусского благочестия, грекофильство царя и патриарха и мечты о создании Вселенского православного царства трудно понять вне малороссийского вопроса, в ракурсе одной истории церковной распри. И наоборот: синхронный срез свидетельствует о тесной связи церковных реформ с событиями на Украине, с намерением правительства второго Романова начать очередную тур борьбы с Речью Посполитой. Лучше всех это прочувствовали пронирливые греки, заморозившие Алексея Михайловича и патриарха Никона невероятными, невысказанными перспективами. Бывший константинопольский патриарх Афанасий Пантикларий, приехавший в Россию в 1653 году, объявил московского государя «столпом твердым и утверждением веры, помощником в бедах, прибежищем нашим и освобождением», а Никону даже посулил Вселенское патриаршество, поскольку тому самую судьбою предназначено «освещати соборную апостольскую церковь, Софию Премудрость Божию»^[212]. Тут было от чего ощутить учащенное сердцебиение!

Итоги Смуты сделали почти неизбежным новое столкновение Московского государства с Речью Посполитой. Правда, жестокое поражение в Смоленской войне образумило горячие головы. Однако это вразумление было особого свойства: из тех, когда надежды на счастливый исход остаются, а настойчивость удваивается.

Польский король Владислав IV всячески пытался нормализовать и даже упрочить русско-польские отношения. К этому его подталкивало не только стремление избежать извечного и изнурительного для обеих стран противостояния, но и личные соображения. В 1645 году турки стали готовиться к очередному

столкновению с Венецией, и последняя лихорадочно искала союзников. На призывы откликнулся король Владислав. Венеция выделила Владиславу субсидии, которые дали ему возможность начать военные приготовления, не обращаясь за содействием к Сейму и Сенату. Королевские резиденты объявились у запорожцев: последние, получив деньги от короля, должны были начать набеги на Крым и Турцию. Военственные планы короля держались в строгой тайне, поскольку предполагали в конечном итоге втянуть в конфликт всю Речь Посполитую. При Варшавском дворе заговорили о крестовом походе против татар и турок всех христианских правителей, включая Московского государя. В Кремле к подобным планам отнеслись настороженно. Однако явно враждебная позиция крымских правителей побудила сделать встречные шаги. С 1645 года заговорили о союзе против Крыма.

Между тем в самой Польше стали известны планы Владислава и его связи с Венецианской республикой. Это вызвало всеобщее негодование. Никто не желал войны. Кроме того, в намерениях Владислава усмотрели тиранические устремления: навязанная Речи Посполитой война должна была будто бы способствовать возрождению королевской власти, сильно стесненной шляхетскими «злата вольностями» и привилегиями магнатов. Шум поднялся изрядный. В Польше вспоминали о жителях древней Македонии, которые выступили в поход с Александром Македонским свободными, а возвратились бы рабами, не случись Александру вовремя умереть. То была прямая аналогия, и нетрудно было догадаться, кого прочили на роль «свободных греков», а кого — на роль тирана. Великий канцлер Литовский Альбрехт Радзивилл громогласно объявил, что он лучше лишится руки, чем примет королевский план. В итоге

Варшавский сейм распустил набранные Владиславом войска, заодно утвердив положение, согласно которому король не мог по своему соизволению, без согласия Сената и Сейма собирать войско.

Но «победа» привилегированных сословий над собственным королем вовсе не значила победу на южных границах. Владислав, какие бы личные цели он ни преследовал, действовал, сообразуясь с обстоятельствами. Поводов для конфликтов с Крымом и Турцией, и помимо Венеции, у Речи Посполитой было с избытком. Потому правительству следовало позаботиться о безопасности территории Украины от вторжения татар.

В 1647 году прерванные было переговоры с Московским государством возобновились. В августе в Москву прибыл посол Адам Кисель. Выбор был не случаен. Посол был одним из немногих знатных панов, сохранивших верность православию. Так что появление этих «украинских костей, обросших лядским мясом», по мысли Варшавского двора, должно было польстить Москве.

Кисель приехал с предложением союза против татар. Предложение показалось заманчивым. В Москве вовсе не стремились к обострению отношений с Турцией. Иное дело, вассал Порты — Крым, враждебность которого вызывала особую обеспокоенность. Оборонительный союз казался перспективным. Оставляя известную свободу действий, он вместе с тем позволял оказывать дипломатическое, а при необходимости и военное давление на крымского хана. Однако заключить действенный союз стороны так и не сумели^[213].

В 1648 году в Сечи, а затем и во всей Украине вспыхнуло народное движение, направленное против панского владычества. Во главе движения встало

запорожское казачество с гетманом Богданом Хмельницким. В результате события повернулись так, что правительству второго Романова очень скоро пришлось выбирать между союзом с Польшей и войной против нее^[214].

Освободительное движение на Украине сильно изменило акценты старого противостояния Москвы и Варшавы. Неизмеримо возросли ставки: победителю доставались не отдельные города и области, пускай даже такие, как Смоленск и Северская земля, а вся Украина. В перспективе это означало борьбу изнурительную, с мобилизацией всех средств и ресурсов. И так — до надлома и полного истощения. Существовали и другие варианты исхода противостояния — от вхождения Украины «третьей составляющей» в состав Речи Посполитой до создания полувассального, по типу Молдавии или Валахии, Украинского государства. Но, как показали события, это были именно варианты: слишком труднопреодолимыми оказались преграды для их реализации.

Русско-польская война началась в 1654 году. С самого начала никто не сумел преугадать, по какому она пойдет сценарию. Провидцев не оказалось ни в Москве, ни в Варшаве. Но уже в ходе борьбы впервые за XVII столетие выявилось преимущество Московского государства. Прежние жесточайшие уроки-поражения пошли Москве впрок, тогда как громкие победы сыграли с Варшавой злую шутку. Прежние московские триумфы воспитали кичливое и пренебрежительное отношение к восточному соседу. В результате Речь Посполитая, для которой война вовсе не была неожиданностью, все же вступила в нее в состоянии внутреннего разброда. Знаменитая присказка — Польша держится беспорядком, — в которой не без кокетства подчеркивалась горделивая особость шляхетской

республики, начинала приобретать трагический оттенок.

Впрочем, говоря о слабости Речи Посполитой, не следует забывать и о ее силе. Взгляд на Польшу через историю потери ею государственности и независимости часто побуждал исследователей искать корни трагедии в далеком прошлом. Но всегда ли это точно исторически? И не слишком ли рано исследователи отмечают ту развилку в историческом пути Польши, после которой ее трагедия стала неизбежностью?

Конечно, в глазах правящих домов Речь Посполитая сильно уступала первым королевствам Европы. Когда в 1574 году избранный на польский престол французский принц Генрих Анжуйский, узнав о кончине своего бездетного брата, короля Карла IX, не раздумывая бросил корону Ягеллонов и бежал во Францию, это всем, кроме оскорбленных поляков, было понятно — короны и страны казались несоизмеримыми. Однако и соизмеримость — вещь относительная. Речь Посполитая конца XVI столетия — сильная восточноевропейская держава, с которой считались и которую принимали в расчет даже отдаленные страны. За полвека и сами поляки, и их западные соседи привыкли, что столкновения Речи Посполитой с Московией неизменно заканчивались поражением «схизматиков». Так что с началом военных действий «акции» Алексея Михайловича при европейских дворах котировались очень низко.

Начавшееся в 1648 году освободительное движение на Украине вызвало к жизни идею о подданстве Запорожского войска и всего населения Малороссии московскому государю. Сама эта идея не была случайной. Решение о подданстве было буквально выстрадано. Иезуит Скарга, ярый гонитель православия и ненавистник украинского крестьянства, должен был признать, что нигде не обходятся столь бесчеловечно с

земледельцами, как в восточных областях Речи Посполитой: «Владелец или королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что он зарабатывает, но и убивает его самого, когда захочет и как захочет, и никто не скажет ему за это дурного слова»^[215]. И даже если часть старшины обращала свой взгляд на восток в поисках выгод сиюминутных, с готовностью легко отречься от принятых на себя обязательств, не эти настроения были определяющими. Что бы ни писали позднее русские и украинские историки и как бы ни складывались в последующем русско-украинские отношения, выбор, сделанный на Переяславской раде в 1654 году, носил характер национального.

При этом было бы опрометчиво упрощать и сводить все дело к некому неодолимому взаимному притяжению народов. Воспоминание об общем историческом прошлом и этническая близость вовсе не были самодостаточными, чтобы обеспечить объединение. В основе таких решений лежит своеобразный «консенсус» интересов как всей нации в целом, так и ее ведущих социальных групп и властных элит. Достигался же он долго и мучительно.

В XVI веке на территории Западной Руси шло быстрое ополячивание и окатоличивание православной шляхты и магнатства. Утрачивала свои позиции православная церковь, терявшая самую влиятельную и могущественную часть своей паствы — православных магнатов-вельмож. В глазах последних вера предков уже не имела прежней привлекательности и не искупала тех жертв, на которые приходилось идти ради нее. С нарастанием социальной, культурной и религиозной отчужденности православие стало восприниматься как вера «хлопов», недостойная истинных шляхтичей-рыцарей. Даже униатская церковь

адресовалась уже в основном податным сословиям: православная шляхта в большинстве своем за одно-два поколения перешла в католичество и приняла польскую культуру. В итоге знать уже не воспринималась как часть народа. «Князья и паны наши, дома великие и знатные фамилии... где ж суть ныне? Немаш их», — горестно вздыхали малороссийские публицисты.

Последствия этого разрыва были очень тяжелыми. Вне политической борьбы оказались социальные слои, которые по своему положению могли бы отстаивать национальные интересы, организовать и вести за собой низы общества. Требовалось время для появления сил, способных восполнить эту утрату. Отчасти на роль национальных лидеров стали претендовать казачество и так называемые православные братства — всеобщие организации, созданные по благословию Константинопольского патриарха Иеремии при храмах и монастырях и имевшие долгое время независимый статус по отношению к местным иерархам. Первые «воплотили» в себе силу материальную и в принципе могут быть названы социальным слоем; вторые, вместе с гонимым православным духовенством, представляли силу духовную. Именно они разрабатывали и распространяли идеологию национального освобождения.

В своем становлении эта идеология прошла несколько этапов, каждый из которых оставлял все меньше возможностей для компромиссов и все больше — для решительного разрыва. Центральным пунктом здесь был религиозный вопрос, особенно остро поставленный в первые десятилетия XVII века в связи с фронтальным наступлением униатов и католиков на православную церковь. Последняя с захватом православных храмов и гонением на православных

архиереев поистине оказалась перед гамлетовским вопросом: «быть или не быть»^[216].

Не случайно в самом начале 20-х годов киевский митрополит Иосиф Борецкий в «Протестации», оглашенной от имени «всех сословий народа русского», трактовал свободу православного вероисповедания и существования церковной иерархии как коренное право, обретенное изначально, с древности, волей древних киевских князей, а не милостями польских королей. Отсюда следовал простой вывод: не правителям Речи Посполитой было посягать на это право. Столь же решительно отстаивались и права казачества, включая освобождение их от налогов и неподсудность местным властям. Вопреки исторической правде, Запорожское войско в «Протестации» отсчитывало свою историю со времен Древней Руси. Уже тогда оно будто бы молодецки сотрясало Византийскую империю, как позднее — Турецкую. Древность в глазах автора и его читателей была сама по себе священна и самодостаточна для обоснования прав и вольностей.

При таком понимании происхождения прав и вольностей их защита — такая же добродетель, как забота о небесном спасении. Причем защита, допускающая даже вооруженное сопротивление, ибо в замыслах противников казацких вольностей было намерение, «чтобы Руси не оставили в Руси». Так формировался порог допустимого. Восстание против панов и короля превращалось уже не в акт отчаянья, а в справедливое, Богом освященное деяние.

В «Протестации» Борецкого не была обойдена и тема Москвы. Московский государь трактовался как естественный союзник и покровитель, верный защитник православия: «У нас одна вера и богослужение, одно происхождение, язык и обычай».

Социальная и религиозная напряженность на Украине находила свое выражение в многочисленных протестах и выступлениях казачества и духовенства. Нередко они сопровождались обращением на восток, где малороссы искали сочувствия и помощи. К этой идее привыкали, она становилась естественной и необходимой.

Для Речи Посполитой самым беспокойным элементом в восточных землях было казачество. Не в силах отказаться от услуг Запорожского войска, важного звена в обороне страны, власти стремились к ограничению его численности и жесткому контролю над своевольным казачеством. Для этого в ход шли все средства, вплоть до противопоставления старшины казачеству, реестрового казачества — казачеству «выписанному», не внесенному в официальные списки. «Старшина в разладе с чернью», — не без самодовольства писал в 1617 году королю о подобной политике гетман Жолкевский, умевший при случае сталкивать казаков^[217]. Однако такая политика далеко не всегда была эффективна: правящие круги Польши, щедрые на обещания и скупые на их исполнение, нередко сталкивались с вооруженными мятежами всего Запорожского войска.

Противоречия на Украине несколько ослабили в начале 30-х годов. Смоленская война побудила вступившего на польский престол короля Владислава IV пойти на уступки. Часть требований православных подданных была удовлетворена. В конце 1632 года православному духовенству вернули права, утраченные после Брестской унии. Была официально восстановлена церковная иерархия. Прежний реестр Запорожского войска был отменен. Это сразу же сказалось на ходе русско-польской войны. Владислав обрел прочный тыл, его православные подданные сохранили верность

присяге, а украинские казаки под началом гетмана Орандаренко и Иеремия Вишневецкого приняли участие в военных действиях.

По окончании войны вновь началось наступление на права православного духовенства и казачества. Произошло это отчасти вопреки намерениям короля, предпочитавшего лояльных подданных. Но в том-то и дело, что в рамках Речи Посполитой украинские земли были обречены на прозябание и нищету, а все слои населения — на ущемление своих прав, хотя и в разной степени. Политику в конечном итоге определяли не королевские намерения и даже не государственная целесообразность, а интересы польского дворянства. Последние так же не хотели поступиться своими землями и крепостными в XVII веке, как русские помещики — в XIX.

Поляновский мир «навечно» закрепил в составе Польши Черниговские и Северские земли. Новосозданное Черниговское воеводство было использовано в качестве плацдарма для нового наступления на Запорожское войско. Казацкие отряды были распущены, реестр опустился до планки в семь тысяч человек. В 1635 году у первого Днепровского порога была возведена крепость Кодак, назначение которой ни для кого не было секретом: она должна была быть польской удавкой на непокорной казацкой шее.

Тем горше было разочарование, испытанное казачеством. Надежды сменились озлоблением. Однако восстания казаков в 1637–1638 годах закончились поражением. На время сопротивление было сломлено. Настало так называемое «золотое десятилетие» панского владычества на Украине, протекавшее без видимых потрясений. Шляхетство восприняло это замирение как бесспорное подчинение украинцев.

Никогда еще произвол и поборы не достигали в Малороссии подобных масштабов, как в этот период.

Стеснено было и Запорожское войско. По «Ординации» 1638 года оно утратило свое самоуправление. Отныне казаки, проживавшие вне Сечи, пребывали под властью комиссаров и полковников, назначенных из шляхтичей. Сотников выбирали из казаков, известных своей преданностью королю и Речи Посполитой (среди последних Чигиринским сотником стал Богдан Хмельницкий). Рухнули надежды части казацкой старшины, что ей удастся укрепиться в составе правящего класса Речи Посполитой. Они этого очень хотели — но их не пускали.

Последовавшие события показали, что торжество панов оказалось преждевременным. Предпринятые меры можно сравнить с закручиванием предохранительного клапана парового котла: росла отдача — доходы с золотых украинских маетностей, но возрастало до критического и давление. Власти и владельцы малороссийских имений не видели того, что все показатели социальной напряженности на Украине давно зашкаливали и тишина, опустившаяся на села и хутора, была вовсе не гробовая, а предгрозовая.

Начало нового этапа освободительного движения связано с именем Богдана Хмельницкого.

Человек даровитый и осторожный, Богдан Хмельницкий немало пережил на своем веку, прежде чем стать тем, кем он вошел в историю, — знаменитым гетманом Запорожского войска, вождем национально-освободительного движения на Украине. Последнее получилось отчасти неожиданно для самого гетмана. «Мне удалось совершить то, о чем я никогда и не мыслил», — признавался он.

Хмельницкий участвовал еще в неудачной для Речи Посполитой Цецорской битве с турками и татарами, в

которой пал его отец, чигиринский сотник, а сам Богдан попал в плен к крымским татарам. В непрерывных столкновениях с татарами подобный сценарий был привычен. Немало действующих лиц русской, украинской и польской истории прошли через «перекопское пленение». Но Хмельницкий принадлежал к тем немногим, кто обратил свою беду к своей пользе: энергичный и любознательный, он свел знакомства, узнал обычаи и язык. Когда настанет время, все эти знания и связи с толком и основательностью старого казака пойдут в дело, и крымские татары, как бы они ни были переменчивы, немало потрудятся на пользу гетманских замыслов.

Принадлежа к старшине, Хмельницкий исправно служил польским королям и даже обнажал саблю против сечевиков, непослушных порядкам Речи Посполитой. Он стал известен королю Владиславу, который пытался использовать авторитет Хмельницкого в своих интересах. Другой вопрос, что Хмельницкий оказался неподходящей фигурой на роль марионетки. Напротив, он повернул королевские планы к своей выгоде.

В планах Владислава запорожцам отводилась сомнительная роль застрельщиков войны. Их морские экспедиции должны были вызвать ответные репрессивные действия турок и татар, которые, в свою очередь, оправдывали в глазах шляхетства несанкционированные военные приготовления короля и даже саму войну. Но для этого следовало столкнуться с запорожцами. В апреле 1646 года несколько человек казацкой старшины, среди которых был и Хмельницкий, тайно встретились в Варшавском замке с королем. Владислав, прекрасно осведомленный о сокровенных желаниях Войска, обещал восстановить казацкие вольности и увеличить реестр. Обещаны были также средства для строительства стругов-чаек и покупки

военных припасов. Взамен казаки должны были отправиться в набеги на владения Порты. В заключение аудиенции старшине было вручено знамя — королевское «благословение» на будущие походы. Но планы Владислава рухнули. В потоке упреков, которые обрушились на королевскую голову, припомнили и приязнь Владислава к казакам: король желает обратить «хлопа в шляхтича, а шляхтича в хлопа»!

Принужденный отступить, Владислав все же надеялся на казаков. Однако старшина, за редким исключением, отшатнулась от короля. Раздумывал и колебался и Хмельницкий. Сохранилось свидетельство, что коронный канцлер Оссолинский, поддерживающий в то время Владислава, в августе 1647 года предлагал Богдану от имени короля гетманство и деньги на «охотчие казацкие войска».

Все эти события совпали с переменами в личной жизни Хмельницкого. Вражда с чигиринским подстаростою Чаплинским обернулась разрушением всего, что было создано им на протяжении многотрудной жизни. Наезд, разорение и отчуждение владения Богдана Суботово; смерть младшего сына, избитого слугами подстаросты; похищение сожительницы сотника; наконец, тщетные попытки найти управу и защиту, закончившиеся обращением к королю. По преданию, Владислав, расписываясь в полном своем бессилии, будто бы посоветовал Богдану полагаться не на закон, а на силу.

Столкнувшись с обстоятельствами жизни Хмельницкого, соблазнительно связать последующие события именно с этой личной трагедией. Но подчеркнем иное: теснейшую связь личной драмы будущего гетмана с порядками, которые утвердили на Украине «Коруна Польская» и панское владычество. Хмельницкий оказался беззащитным, потому что, принадлежа к казачеству, он волей судьбы столкнулся с

этим порядком. Панский каток прошелся по нему, как прокатывался по всему казачеству. Его злоключения лишь оттеняли общее бесправие, распространявшееся даже на старшину, если она только не пресмыкалась, не искала покровительства у панов и не держала в жесткой узде свою же братию, «вольных лыцарей».

Уже по дороге домой из Варшавы Хмельницкий, растерявший последние иллюзии, стал готовить восстание. Сыскать нужные зажигательные слова оказалось нетрудно: обиды были налицо, а у иных и на лице — панская плеть уравнивала казаков с хлопами. Агитация Богдана не осталась незамеченной. Преследования и нависшая угроза смертной казни побудили его к побегу в Запорожскую сечь. Кипение в Сечи способствовало задуманному.

Число сторонников Хмельницкого множится. Однако этого еще недостаточно для успеха: очередное повторение прежних выступлений, во главе которых оказывались люди храбрые, но политики никудышные, было обречено на неудачу. Но Хмельницкий умел видеть много дальше кончика казацкой сабли. Опытный и изворотливый политик, он понял, что без всенародной поддержки, с одними лишь призывами к отмене ограничений 1638 года и восстановлению войсковых вольностей, ему едва ли удастся победить. Поняв же это, не побоялся обратиться к народу.

Вопреки многочисленным легендам об украинском казачестве как яром защитнике угнетенных селян, на самом деле, оно преследовало в первую очередь свои узкие, корыстные цели. Особенно это относится к казацкой старшине. Раздувая огонь народного восстания, Хмельницкий и его окружение меньше всего думали об уничтожении панского гнета над селянами. Народ был средством, способом справиться или, по крайней мере, «столкнуться» с неуступчивыми панами. По замечанию исследователя истоков «украинского

сепаратизма» Н. И. Ульянова, «не о свободе шла тут речь, а о привилегиях. То был союз крестьянства со своими потенциальными поработителями (то есть со старшиной. — *И.А.*), которым удалось с течением времени прибрать его к рукам, заступив место польских панов»^[218].

Хмельницкий искал союзника не только в народе. Его интересовал и международный «расклад», возможные противники и союзники в борьбе с Речью Посполитой. Но в 1648 году его взгляд обращен вовсе не на Москву, а в Крым. Во-первых, потому что из Сечи до Крыма много ближе. Во-вторых, потому что у него на руках важнейшие козыри, с помощью которых можно договориться с ханом. Из Сечи Хмельницкий лично отправился в Крым. Не колеблясь, он раскрыл все «коварные замыслы» короля относительно «турецкой войны» и, по-видимому, предъявил даже похищенные королевские универсалы. Воинственный хан Ислам-Гирей был возмущен. Он отправил в помощь казакам перекопского мурзу Тугая-бея с ордою^[219].

По возвращении Хмельницкого в Сечь 19 апреля 1648 года войсковой круг выкрикнул его гетманом. Но Богдан был не из тех, кто терял голову от одного вида бунчука и гетманской булавы. Ему нужна власть прочная, не подверженная сиюминутным настроениям. А такую власть могла дать лишь общеказацкая поддержка. Богдан объявляет: гетманом он станет, лишь получив на то согласие не только сечевиков, но и городского казачества. Этот демонстративный отказ от войсковых клейнот не менял, однако, сути дела: в Сечи Хмельницкий верховодит, ему повинуются.

Известия из Сечи встревожили коронного гетмана Потоцкого. По опыту прежних лет он знал, как важно подавить мятеж в зародыше. Буйные сечевики его пугали. Но куда страшнее казалось украинское

множество. «Число его сообщников простирается теперь до 3000, — пишет он королю о Хмельницком. — Сохрани Бог, если он войдет с ними на Украину, тогда эти три тысячи возрастут до ста тысяч». По всей Украине у сельчан и мещан отбирали оружие. Только во владениях Вишневецких у холопов было конфисковано сотни пищалей. Но сколько оружия было припрятано до заветного часа?

Еще до первого столкновения заколебались реестровые городские казаки, готовые отпасть от Потоцкого. В их среде появились агенты Богдана. Они хорошо знали, на какие тайные пружины надо надавить: «За чем лучше вам стоять: за костелами или за церквями Божиими? Короне ли польской пособлять, которая платит неволею, или матери своей Украине?» То были веские аргументы.

В начале мая 1648 года последовало победоносное для казаков сражение при Желтых Водах. Затем Хмельницкий настиг отступавшего Потоцкого при Корсуни. От бывшей шляхетской спеси не осталось и следа. Пятнадцатитысячное войско сечевиков в сознании шляхтичей разрослось до сотысячного войска, а одна перекопская орда превратилась в бесчисленные орды крымского царя. Поражение поляков было полным. В плен попали оба коронных гетмана. Вся Украина воспрянула духом и взялась за оружие.

«Теперь каждый крестьянин — наш враг, каждое селение, каждый город мы должны считать вражеским отрядом», — писал в Варшаву киевский воевода Криштоф Тышкевич. Это не было преувеличением. По всей Малороссии действовали «загоны» — казацкие и крестьянские отряды, расправлявшиеся с католической шляхтой. Уцелевшие владельцы имений должны были спасаться бегством.

Судьба как никогда была благосклонна к старому гетману. В самый ответственный момент смерть Владислава IV привела к очередному параличу власти. Хмельницкий выигрывал не только сражения, но и время, столь необходимое для того, чтобы осмотреться и укрепиться.

В Варшаве в это время по обыкновению много кричали об опасности для Отечества и при этом мало что делали, чтобы его спасти. Руководствуясь больше амбициями, нежели государственной целесообразностью, во главе наскоро сбитого шляхетского ополчения Сейм поставил сразу трех полководцев из числа крупнейших магнатов Речи Посполитой — князя Доминика Заславского, Миколая Остророга и Александра Конецпольского. Первый, далекий от ратных дел, славился изнеженностью; второй — безрассудной храбростью; третий — ученостью, вовсе не связанной с военным дарованием. В итоге получалось скорее не сложение умов, а вычитание. «У панов Бог ум отнял, каждый хочет быть старшим, а где старших много, там войско нездорово», — резюмировал Хмельницкий, остроумному языку которого приписывается еще и меткая характеристика новоявленного триумвирата, соответствующая личным качествам польских военачальников: «Перина, дытына и латина».

Стороны маневрировали. Сейм, не отменяя военных приготовлений, начал переговоры с казаками. Хмельницкий объявил, что Войско восстало из-за стеснения его коренных прав и вольностей, чуть ли не с согласия покойного короля. Приемлемый компромисс мог устроить казацкую старшину. Но иными были настроения низов, не желавших возвращения панов и возрождения прежних порядков. Все громче раздавались речи о продолжении борьбы. Все чаще

обращались взоры на восток, к Московии: не там ли надо искать помощи?

В Варшаве не осознали, что на Украине формируется своя, своеобразная государственность, в основе которой — военно-полковая система казачьих территориальных полков. По обе стороны Днепра шло образование новых и пополнение старых полков. О реестре уже не вспоминали: казаковать шли все, кто мечтал о лучшей доле.

В свое время француз Боплан, строитель крепости Кодак, которая по правительственному замыслу должна была урезонить сечевиков, назвал Запорожье «страной казаков». Теперь такой страной стала, по сути, вся Украина. С ней уже нельзя было говорить прежним высокомерным языком угроз и понукания. Однако перестроиться шляхте было трудно. На сейме и сеймиках вновь возобладал воинственный тон.

Война возобновилась с новой силой. На топких берегах речушки Пилявка сам Богдан воодушевлял своих товарищей: «За веру, молодцы, за веру!» Рядом с казаками сражались крымцы. В польском стане паны пугали друг друга страшными слухами: скоро подойдет сам царь Ислам-Гирей, а с ним татар, что травы в степи. В ночь на 23 сентября 1648 года шляхетское ополчение, бросив огромный лагерь, начало поспешное отступление. Позднее польские историки признали случившееся «самым постыдным в истории Речи Посполитой поражением».

«Пилявицкий позор» способствовал подъему новой волны освободительного движения. Запыхали самые западные окраины Украины. В октябре Хмельницкий появился под стенами Львова, а затем повернул к Замостью. Однако в его планы не входило вторжение в коренные польские земли. В канун избрания нового короля гетман задумал многоходовую комбинацию, надеясь превратить Украину в третье политическое

образование в составе Речи Посполитой. Такой вариант привлекал и казацкую старшину, и православных шляхтичей, и, наконец, самого Богдана, поскольку предполагал уравнивание в правах и вольностях со шляхтой и первенство в управлении на Украине. Эти планы не мешали Хмельницкому одновременно посылать в Москву своих гонцов с призывами о помощи в борьбе с «ляхами».

Но надеждам «врасти» в состав Речи Посполитой вновь не суждено было сбыться. Здесь политическое чутье изменило гетману, человеку трезвому и вовсе не склонному к заоблачному парению. О подобном разрешении конфликта и слышать не хотели все сколько-нибудь влиятельные силы Речи Посполитой. Многочисленное шляхетство, вплоть до голутвенного, привыкло свысока смотреть на казачество. Даже такой деятель, как Адам Кисель, хорошо осознававший необходимость уступок ради «утешения пламени мятежа», позволял себе пренебрежительные выпады в адрес Войска. «У этих хлопов ничего не значит величие республики. А що то есть Речь Посполита? Мы сами Речь Посполита, але король-то у нас пан!» Далее следовало заключение, уравнивавшее политическое сознание казаков с сознанием московитов, привыкших к рабству и не знающих свобод: «Король у них, хлопов, что-то божественное».

Элекционный сейм избрал королем брата покойного Владислава, Яна Казимира, кандидатуру которого поддержали казаки. Правда, при этом никто не собирався допустить на выборы посланцев Запорожского гетмана. Не только из-за нежелания нарушать порядок выборов, но и демонстрируя неуступчивость, неготовность идти навстречу заветным чаяниям казацкой старшины.

С получением известия об избрании Яна Казимира Хмельницкий снял осаду с Замостья. Король ответил не

менее «дружественным жестом» — обещал начать переговоры. Одновременно Богдану были посланы знаки гетманского достоинства, а Войску обещано возвращение «древних рыцарских прав» и прямое подчинение королю. Однако такой поворот вызвал резкий протест в Речи Посполитой. Особенно роптали те, кто не желал примириться с потерей имений на Украине. Кричали, что лучше всем погибнуть, чем «уступать своим хлопам».

Не менее непримиримыми были настроения на Украине. В такой атмосфере Хмельницкий ощущал себя вождем всего народа и от его имени объявлял польским послам, приехавшим в Киев: «Вибью з ляцькой неволи народ руський весь». Понятно, что это не способствовало переговорам. Весной 1649 года польские послы сообщали в Варшаву о полном провале своей миссии: «...Неприятельское войско наготове, земля русская поднимается». Перемирие сменилось новой войной.

Едва ли когда-то под знамена Хмельницкого собиралось столь большое войско, как в 1649 году. На зов запорожцев откликнулись даже донские казаки. Вся эта пестрая, разновооруженная масса, в которой многоопытный сечевик соседствовал с поселянином, державшим копье, как косу, готова была кровью отстаивать освобожденную от панского гнета родную землю.

Подкрепленная ордами крымского хана, эта громада растревожила стоявшее под Збаражем польское войско. Летом 1649 года оно было плотно окружено казацкими и крымскими отрядами. Два месяца продолжались упорные бои. На помощь полякам, дошедшим до крайности, поспешил сам Ян Казимир. Но движение короля не стало неожиданностью для Хмельницкого. Встреча произошла 5 августа близ Зборова, в нескольких верстах от

осажденного польского лагеря. В завязавшемся сражении казаки стали теснить противника. Чтобы избежать окончательного разгрома, король поспешил вступить в переговоры с Ислам-Гиреем. Крымский царь, утомленный затянувшимся противостоянием, не просто охотно пошел на них, но и принудил примкнуть к переговорам гетмана.

8 августа был подписан Зборовский договор, по которому король признавал значительную часть Украины — Киевское, Черниговское, Брацлавское воеводства — казацкой территорией; Войску возвращались его права и вольности, а реестр увеличивался до сорока тысяч. Украина, таким образом, возвращалась в подданство Коруны, но получала право на своеобразную казацкую автономию. Замирение и восстановление подданства подкреплялось появлением в ряде городов Украины польских гарнизонов и возвращением в свои имения панов. Наконец, сама война должна была быть предана «вечному забвению».

Среди украинских историков Зборовский договор издавна почитается «блистательной страницей нашего бытописания». Но в понимании, например, Н. И. Костомарова, эта «блистательная страница» была полна горечи. По убеждению известного историка, Украина потеряла редкую возможность обрести полную независимость без попытки «прислониться» к кому-то из соседей. «Что могло быть несправедливее такого приговора? — писал Костомаров, имея в виду восстановление на Украине «панщины» и стремление казачества возвыситься над остальными. — Народ, который помогал Хмельницкому трудами и кровью, постыдно отдавался своим избранным главою в руки прежних врагов!»^[220]

По Костомарову, в 1648–1649 годах национально-освободительное движение было столь мощным, что

потенциально могло завершиться созданием независимого Украинского государства. С этим, по-видимому, можно согласиться. Но нельзя забывать и о другом: об умонастроении, устремлениях политической элиты украинского общества, оказавшейся неспособной преодолеть границы сословного мышления и подняться вровень с общенациональными задачами. Это была и беда, и вина руководителей движения.

Торжественно объявленное по договору «забвение» получилось лишь на бумаге. Очень скоро скроенный из компромиссов Зборовский мир затрещал по всем швам. Первой его преступила польская сторона. Это произошло на самом сейме, который должен был утвердить условия мира. В Варшаву прибыл киевский митрополит Сильвестр Коссов, чтобы занять согласно договоренности свое место в сенате. Но представители католического духовенства решительно воспротивились этому и объявили о своем намерении покинуть столицу, если православный епископ посмеет переступить порог Сената. Коссов уехал ни с чем, поставив под сомнение выполнение всех условий Зборовского договора. Это очень скоро подтвердили украинские крестьяне. Несмотря на строгие гетманские универсалы и давление казацкой администрации, они вилами встретили польских шляхтичей, осмелившихся появиться в своих бывших владениях.

Взаимная ненависть истачивала мир. Но истачивалось и прежнее доверие, которое имели сельчане и горожане к старшине. Неудивительно, что в преддверии предстоящего столкновения Хмельницкий принялся искать новых союзников «на стороне». Он ссылается со шведами, исконными врагами Речи Посполитой. Ведет дипломатическую игру с Константинополем, откуда ему присылают вместе со знаменем и булавой обещание покровительства и

военной помощи. Нужно выполнить лишь одно условие — признать власть самого султана.

Война возобновилась с конца 1650 года. Недавние горькие уроки, преподнесенные казаками, заставили поляков на этот раз всерьез отнестись к противнику. В дело вступили регулярные хоругви. Решающее столкновение произошло в июне 1651 года под Берестечко. Казаки потерпели поражение. Подписанный в сентябре того же года Белоцерковский договор отразил наметившийся перевес Речи Посполитой. Казацкая автономия отныне распространялась только на Киевское воеводство. Реестр Войска был сокращен вдвое. На Украине должны были появиться польские войска и помещики. Хмельницкий «снова сделался охранителем рабства».

Потребовалось немного времени, чтобы превратить Белоцерковский мир в достояние истории. Возобновившаяся борьба выявила одну суровую истину: казаки нередко брали вверх, но победы не приносили желаемого. Весной 1652 года Хмельницкий одолел гетмана Калиновского под Батогом. На следующий год под Жванцем была окружена новая армия, на этот раз во главе с самим королем. Положение поляков была крайне тяжелым, почти трагическим, однако от разгрома их вновь спас сговор с союзником Хмельницкого, Ислам-Гиреем, который был заинтересован во взаимном ослаблении Украины и Польши. Но так можно было воевать до бесконечности!

Непрерывная война обескровила Малороссию. «Страна казаков», то сжимая, то раздвигая свои пределы, лежала разоренная и обескровленная. Сама логика противостояния, его ожесточенный характер побуждали мыслить категориями более широкими, чем просто дипломатические комбинации и военные союзы. Осознание того, что в одиночку трудно добиться решающего перелома, вновь и вновь побуждало

окружение Богдана возвращаться к идее подданства. Но какого подданства и кому?

Сам гетман и казацкая старшина не имели однозначного ответа на эти вопросы. Опасения Варшавы, что старшина перекинется к Московскому государю, потому что «одна кровь и одна вера», существенно корректировались последующими событиями. Старшина — и это естественно — руководствовалась не столько воспоминаниями о «киевском наследии» и «православном единстве», сколько собственными интересами, которые, впрочем, была не прочь преподнести как общенациональные. Зато основная масса населения Малороссии была далека от подобных соображений. Она не сомневалась в том, где надо искать помощь и в какую сторону обращать свой взор.

Ответ Москвы

В Москве пристально следили за событиями на Украине. Даже в день отъезда Морозова в ссылку в Кириллов монастырь — день, несомненно, окрашенный для Алексея Михайловича в самые печальные тона — царь слушал воеводские отписки о первых победах Хмельницкого над гетманом Потоцким: «А запорожские (казаки. — *И.А.*) и черкасы с ляхи бьютца за веру и черкасы де ляхов побили»^[221].

Очень скоро казаки заговорили о подданстве московскому государю. Для Алексея Михайловича мысль о православных землях в составе Речи Посполитой как о землях, принадлежащих ему по праву и по достоянию «предков наших», великих князей Владимирских, была усвоена с детства: то было наследие и завет прежних правителей. Но одно дело завет, воспоминание о котором грело душу, другое — реальная политика, превращение мечты в явь, в «праведную», по позднему определению Симеона Полоцкого, войну. Сколько раз до того прежние правители подступались к этой заветной цели и сколько раз обжигались о горячую польскую удаль! Неудивительно, что Алексей Михайлович и его окружение колебались.

Кроме того, существовали крепкие подозрения в отношении намерений запорожцев. Дух казацкой вольницы внушал опасения, особенно на фоне неповиновения собственных подданных. Не случайно в среде мелкого служилого люда очень скоро начались толки о том, что неплохо последовать примеру «черкас», перебивших панов. В новоустроенном на юге страны городке Карпове ратные люди кричали, что «на Дону и без бояр живут», а «в Литве черкасы панов больших побили и повывели ж». При этом возражение

одного из оппонентов, что государство не может стоять «без больших бояр», — «как де мужику великим человеком быть? Всегда де наш брат мужик свинья», — не были приняты во внимание. Побить бояр, «корень их вывести» — и все тут!^[222]

К тому же отношения с сечевиками издавно складывались сложно. В памяти еще были свежи воспоминания об отрядах гетмана Сагайдачного, огнем и мечом прошедших по уездам Московского государства на исходе Смуты. Единоверие вовсе не мешало запорожцам участвовать в военных предприятиях польских королей против России, что они подтвердили и в последней войне.

Даже выступление Хмельницкого не принесло успокоение на границе, где казаки не упускали случая «пошарпать» в порубежных московских уездах. Городовые воеводы летом 1648 года закидывали столицу отписками: «А от черкас, государь, стало воровство большое». Все это, сложившись, побуждало к серьезным размышлениям: можно ли верить казакам? Стоит ли отзываться на их призывы и жертвовать мирными отношениями с Речью Посполитой, скрепленными к тому же столь необходимым оборонительным союзом против крымского царя? Наконец, была ли готова сама страна к новой войне, которую, конечно же, не стоило затевать без крепкой надежды на успех?

Окружение Алексея Михайловича достаточно быстро сформировало для себя все эти вопросы. Но сформировав, не спешило с окончательным ответом.

Во-первых, потому, что из-за городских восстаний правительству долго было не до малороссийских дел. Такой внимательный и осведомленный наблюдатель, как Родес, сообщал в Стокгольм о возможностях правительства Алексея Михайловича: «Мне кажется, что

им нелегко было бы что-нибудь предпринять, что могло бы вызвать войну, и это я вывожу из того, что (здесь) непрерывно боятся внутреннего восстания и беспорядка»^[223].

Во-вторых, сама ситуация настоятельно требовала не спешить. Гетман и старшина своей переменчивостью внушали мало доверия: они то брали в союзники крымского царя и свирепо рубились с поляками, то возвращались в подданство к королю, то искали покровительство султана. На фоне таких известий все челобитные о подданстве заставляли усомниться в искренности и подозревать авторов в намерении просто-напросто разыграть московскую карту.

Конечно, немало зависело от осведомленности Алексея Михайловича относительно истинных планов гетмана. В окружении Богдана было немало «доброхотов», которые спешили сообщить царю обо всем услышанном и подслушанном в стане гетмана в Чигирине. Даже войсковой писарь Выговский, человек близкий к Хмельницкому, состоял в тайной переписке с царским двором. За то Выговского жаловали равно с гетманом. Впрочем, чтобы не скомпрометировать доносителя, его уравнивали с Хмельницким тайно: положенное по чину войскового писаря Выговский получал прилюдно, остальное царские посланники доплачивали наедине.

Нет сомнения, что бо́льшая часть рьяных осведомителей действовала по наущению самого Хмельницкого, который, как никто другой, умел вводить в заблуждение своих корреспондентов. При этом сам старый гетман был хорошо информирован о раскладе сил в Кремле и умел извлекать из своих знаний немалую пользу. Но, главное, человек наблюдательный, быстро угадывающий и еще лучше использующий чужие промахи, Богдан скоро заметил за Алексеем

Михайловичем такую слабость, как легковерие. По неопытности молодой государь предпочитал верить тому, во что ему очень хотелось верить. Потому Хмельницкий, а впоследствии и Выговский не жалели слов и усилий, чтобы убедить государя в своей абсолютной преданности. Царь, уверившись в этом, потом уже упорно не замечал всего того, что не соответствовало его сложившемуся мнению. Чисто по-человечески это обернется для Алексея Михайловича жесточайшим разочарованием, особенно после предательства Выговского. Реакция окажется обратной — и опять же не к пользе дела: Алексей Михайлович в малороссийской истории неизлечимо заболит «манией недоверия», чем невольно оскорбит и оттолкнет от себя людей, готовых честно ему служить.

С Хмельницким следовало быть постоянно настороже. Он обещал одно, думал о другом, делал третье. Он мог позволить себе это, поскольку за «русским Кромвелем», как называли Хмельницкого в Европе, истово ухаживали все окрестные монархи. Это открывало возможности для маневра, но вместе с тем — и для самообольщения. «Я себе волен, кому захочу, тому и послужу», — похвалялся гетман. Москве нелегко было разобратся в переменчивых чигиринских ветрах и окончательно определиться в своей линии. Потребовалось долгих пять лет — с 1648 по 1653 год — прежде чем Алексей Михайлович и его ближние люди, отбросив все сомнения, решились на разрыв Поляновского мира.

Этому повороту немало поспособствовали ревнители. Мессианские настроения, столь свойственные им, нашли свое воплощение в идее освобождения единоверцев и соединении их в Православном царстве под скипетром Романовых. В политическом смысле сама доктрина долгое время оставалась лишь своеобразной «декларацией о

намерениях». Однако Алексей Михайлович всем сердцем уверовал в нее. Греческое духовенство не упускало случая «поэксплуатировать» подобные настроения царя. Ведь разговоры об освобождении Новым Константином Царьграда сулили большие дивиденды: царь с явным удовольствием внимал таким речам и щедро одаривал ораторов.

С началом освободительной войны на Украине о подобных планах горячо заговорил уже знакомый нам патриарх Паисий. Иерусалимский владыка по дороге в Москву оказался в Киеве, где стал невольным свидетелем торжества Хмельницкого, которого после Пилявиц, Львова и Замостья встречали как народного героя. Паисий при этом сильно упрекал гетмана за союз с Ордой и убеждал обратиться за помощью к православной Москве.

Вместе с Паисием в столицу прибыл полковник Мужилковский. Формально, как глава почетного эскорта, на деле — для переговоров. В начале 1649 года гетманский посланник был принят царем. Если вспомнить, что происходило тогда в Москве, то надо признать, что это было неподходящее время для переговоров: еще не успели высохнуть чернила под Соборным Уложением, и в столице с содроганием ждали «замятию» похлеще «летошной». Ясно, что в такой ситуации мало чего можно было добиться и еще меньше сделать.

Грамота, переданная Мужиловским, разнилась с тем, что говорил Паисий. Патриарх представлял все дело так, что просветленный его речами гетман жаждал перейти под покровительство Алексея Михайловича. Послание Богдана было куда сдержаннее: в нем мало говорилось о подданстве и много — о кознях короля и вельможных панов и о необходимости совместной борьбы с ними.

Занятая своими проблемами Москва холодно ответила Мужилловскому. Послу было объявлено, что с Польшей у нее вечный мир и разрывать его беспричинно нельзя. Царь вызывался посредничать между королем и гетманом для защиты православия и казаков. С тем посланец гетмана и был отпущен.

Последующие переговоры уже проходили на Украине, куда был направлен Григорий Унковский. Хмельницкий вновь настойчиво призывал разорвать мир с Польшей, ставя себе в заслугу, что отклонил предлагаемый крымским царем союз против Русского государства. Унковский от разговоров о войне всячески уклонялся, прибавив только, что царь, несмотря на взаимные обязательства по договору 1647 года, отказал Варшаве в военной помощи против казаков. Жаловался Унковский на разбои «черкас» на границе, которые стали еще более опустошительными, чем при короле.

Первые обмены посольствами мало что дали в практическом отношении. «Торг» шел тяжело — запросы были велики, предлагаемые взамен выгоды сомнительны. Алексей Михайлович отказывался идти на конфликт с Речью Посполитой. Царское же обещание принять Войско под свою руку, если его освободит от подданства Ян Казимир, было пустой отговоркой, побуждающей гетмана ориентироваться на союзника уже реального — крымского хана. Однако нельзя забывать, что это было только начало. Начало извиистой тропинки, которая выведет на Переяславскую дорогу.

Топтания дипломатические с лихвой окупались успехами «идеологическими». Призывы Паисия «сподобить вас восприяти вам превысочайший престол великого царя Константина, прадеда вашего, да освободить народ благочестивый и православных христиан от нечестивых рук» давали обильные всходы. Тем более что они все более совпадали с

умонастроением молодого государя. При этом речь шла не столько об Украине, сколько о начале освобождения всех томящихся, стесненных единоверцев, взывающих о спасении к православному государю. Алексею Михайловичу открывалось поприще, единственно достойное высоты его сана. Он уже видел себя наследником великих и благочестивых царей, охранителем и опорой всего вселенского православия. Тут, кстати, и имеретинский царь Александр после нескольких просьб о помощи объявил себя подданным московского государя и принес ему присягу (1650 год). Казалось, важный шаг уже сделан и негоже отказываться от следующего...

Крепнувший настрой второго Романова все более проявлялся в общении с греками. Провожая антиохийского патриарха Макария, Алексей Михайлович признался: он, Алексей, молит Бога, прежде чем умереть, видеть его — Макария — в числе четырех патриархов, служащих во Святой Софии вместе с пятым, Московским. Царские воздыхания поддержали все присутствующие: «Да услышит Господь!»

Существует и другой рассказ: христосуясь с греческими купцами на Пасху 1650 года, Алексей Михайлович спрашивал: «Желаете ли, чтобы я освободил вас от неволи?» и прибавлял, что он, если то будет угодно Богу, готов принести в жертву войско, казну и даже кровь свою для их избавления^[224].

Но, конечно, проливать слезы и раздаривать раскрашенные пасхальные яйца было много легче, чем воевать за Константинополь. Иначе обстояло дело с освобождением единоверцев в Малороссии. Здесь заоблачные планы и умонастроение царя неожиданно стали сближаться с реальными возможностями, открывшимися в результате событий на Украине.

В течение первых двух лет восстания на Украине на развитие русско-украинских отношений оказывали влияние два фактора. Первый был связан с тем, что политические и военные возможности Запорожского войска противостоять Речи Посполитой исчерпывались. В королевском окружении верх брали сторонники силового разрешения конфликта с казачеством. При таком положении не спасали даже блестящие победы казаков. Не оправдывались надежды на союз с Крымом, в чем Хмельницкому приходилось убеждаться не раз прямо на поле боя. Крым издавна процветал на распрях, и сильный, независимый гетман был так же не нужен ему, как и могущественный король. Потому хан, как это уже не раз случалось, не допускал полного разгрома одной из сторон: изматывание и противника, и союзника — вот какой была истинная политика Крыма.

По мере того как возрастала усталость общества, все притягательнее становилась мысль о подданстве московскому государю. Весь прошлый опыт, самосознание народа работали на эту идею. И если в 1648 году Хмельницкий имел достаточно разнообразные варианты выхода из кризиса, то с началом 50-х годов, по мере ожесточения и втягивания в борьбу всех слоев населения поле для маневра резко сузилось. Сама логика событий ставила гетмана в положение, когда надо было делать решающий выбор.

С другой стороны, произошли важные перемены в самом Московском государстве. По мере внутреннего успокоения малороссийский вопрос из области досужих мечтаний перемещался в сферу повседневной политики. Едва ли Алексей Михайлович при всем своем стремлении «здраву веру крепко соблюдать и храните», решился бы идти навстречу просьбам Запорожского войска о подданстве, если бы не был уверен в прочности собственного тыла.

Изменения решительным образом повлияли на политику сторон. Правда, это не значит, что не было колебаний и попятных движений. Гетман в зависимости от успехов и неудач менял тональность — то просил, то умолял, то требовал. В иные моменты от него слышали речи, за которые в Москве резали языки и заталкивали в остроги. Пригрозив досаждавшим ему государевым пограничным воеводам: «Я де и города Московские и Москву сломаю», он мог прибавить: «Кто де на Москве сидит, и тот де от меня не отсидится». Обыкновенно такие слова слетали с языка Богдана после обильного застолья с еще более обильным возлиянием. Но ведь в конце концов важно то, что гетман позволял себе говорить такое, а Москва — не замечать. Ничто так убедительно не свидетельствует о растущей заинтересованности в гетмане и в казачестве, как это красноречивое молчание.

Какие бы перипетии ни претерпевали русско-украинские отношения с начала 50-х годов, в целом они развивались по нарастающей. В сентября 1651 года в Москву приехал полковник Семен Савич, весной следующего года — Иван Искра. К тому времени правительство Алексея Михайловича сделало выразительный жест, который должен был обнадежить казаков и насторожить поляков. После недавних восстаний, в преддверии возможной войны, оно решилось заручиться поддержкой сословий. Для этого был созван Земский собор. Благодаря этому «литовское дело» — война с Речью Посполитой — и «черкасское дело» — принятие в подданство Украины — обретали как бы статус не только государева, а и всей земли, Земского дела. Дворянство должно было взвалить на себя не только по приказу, но и по призыву всех «чинов» кровавую повинность, податные сословия — разорительные расходы.

Земский собор состоялся в феврале 1651 года. Главной его темой стало осуждение «королевских неправд» — многочисленных случаев оскорбления царского величества. Речь шла прежде всего об искажении титула, который писался польской стороной с пропусками, «с безчестием и укоризной», в нарушение «вечного dokonчания». Сама тема собора свидетельствовала о готовности разорвать Поляновский мир: искали повод, который, конечно, при желании всегда находился. Но повод должен был быть еще и весомым, чтобы освободить государя от клятвоцелования, взвалить вину за вынужденное нарушение договора на противную сторону. Апелляция к государевой чести для средневекового человека для этого была вполне самодостаточной.

Земский собор признал необходимым потребовать от поляков наказать виновных в оскорблении его царского величества. В противном случае следовало разорвать Поляновский договор. Что подразумевалось под наказанием, сформулировал еще боярин Г. Пушкин во время своей поездки «великим послом» в Польшу в 1650 году. Ссылаясь на решения сейма 1638 года, он потребовал смертной казни для всех виновных в оскорблении московского государя. Король и вельможные паны оказались в щекотливом положении. В самом деле, принятые на сейме статьи предполагали наказание виновных, но они вовсе не касались частных лиц, авторов памфлетов и книгоиздателей. Однако это обстоятельство не принималось во внимание русским посольством. Не только потому, что его не хотели признавать по причинам чисто политическим. Давал о себе знать разный менталитет, при котором ограниченная власть короля искренне осознавалась Пушкиным с товарищами как попустительство: король не столько не может наказать, сколько не хочет. К тому же на свою беду поляки называли спор о государевой

чести «малым делом», чем несказанно оскорбили противную сторону. Москва крепко ухватилась за неосторожно оброненную фразу и не упускала ни одного случая выставить ее в качестве убедительного доказательства неискренности поляков.

Решения собора 1651 года не означали войны немедленной и бесповоротной. Алексей Михайлович оставлял еще пространство для маневра. Дальнейшие отношения отныне как бы зависели от ответных шагов Речи Посполитой. Однако судить о лояльности короля должна была Москва. Лояльность же предполагала возвращение Москве утраченных по Поляновскому миру земель, о чем достаточно своеобразно объявило в Кракове новое посольство А. Прончищева и Алмаза Иванова. Задуманная в Посольском приказе комбинация сводилась к тому, чтобы возвращаемые королем города рассматривать как компенсацию за моральный ущерб, нанесенный Алексею Михайловичу «убавками» в его титуле. В Польше, конечно, смекнули, что это — московские условия за нейтралитет в делах Украины. Однако плата была признана чрезмерной, и сейм решительно отклонил эти требования^[225]. Кажущаяся безрезультатность миссии Прончищева и Алмаза Иванова, однако, многого стоила: московские правители, ссылаясь на итоги посольства, напоминали подданным о «коварстве» западного соседа.

Последовавшие после Земского собора месяцы прошли достаточно спокойно. Алексей Михайлович, казалось, был занят совершенно иными делами. Вскоре началась «компания», связанная с перенесением в Успенский собор мощей московских первосвященников. Затем последовала смерть Иосифа и выборы нового патриарха. Однако отдаленность происходящего от «литовского» и «черкаскою» дел была видимой. В действительности Торжество православия уже

напрямую было связано с планами освобождения единоверцев и с началом создания Вселенского православного царства. Не случайно Никон при своем поставлении на патриаршество пожелал Алексею Михайловичу распространение царства «от моря и до моря и от рек до конца вселенная», где будут собраны «воедино» все православные. То было не просто этикетное обращение, а политический призыв, своеобразная программа для прежнего царствования при новом патриархе.

Возвышение Никона сильно продвинуло вперед «черкаское дело». Никон был ярким сторонником присоединения Украины. И если покойный Иосиф с подозрением смотрел на «киевских старцев», смущавших Алексея Михайловича рассуждениями о необходимости реформы на греческий образец, то царский «собинный друг», напротив, всячески поддерживал эту идею. В Чигирине это поняли еще до того, как Никон взял в руки патриарший посох. Не случайно он оказался в числе постоянных корреспондентов гетмана. Хмельницкий, прекрасно осведомленный об отношениях патриарха с царем, писал ему часто и подобострастно, находя это лучшим способом достижения своих целей. Богдан «низко и смиренно до лица земли» бил челом «великому святителю, святлейшему Никону», умоляя его быть «неусыпным ходатаем» у «пресветлого царского величества», чтобы тот с «прескорейшую ратью» явился на помощь и взял Запорожское войско «под крепкую руку и покров».

Никон был падок на лесть. Но содействовать делу присоединения он стал не потому, что его склонили к тому умильные речи из Чигирина. Он делал то, что считал полезным, в том числе для патриаршего престола, власть которого мечтал распространить на Киевскую митрополию. Но пройдет совсем немного

времени, и Никон и Хмельницкий разойдутся в вопросе об отношениях со Швецией, и уже никакие медоречивые грамотки не помогут гетману заручиться поддержкой патриарха. Богдан слишком хорошо разбирался в людях, чтобы не уловить этой перемены и тешить себя напрасной надеждой переубедить владыку. Он поступит просто — обратится к противникам патриарха.

В конце 1652 года в Москве появился Самуил Богданович. Войсковой судья вновь повел разговоры о подданстве. Назначенные вести переговоры боярин Г. Пушкин и посольский думный дьяк Алмаз Иванов на этот раз не уходили от прямых вопросов ссылками на «вечное dokonчание» с Польшей. Напротив, они потребовали от посланца гетмана ответа на вопрос, что значит в понимании гетмана подданство и покровительство? Здесь выяснилось, что Богданович не имел на этот счет ясных представлений. «О том они не ведают, — объявили войсковые посланцы, — и от гетмана с ними о том ничего не сказано, а ведает то гетман».

Год назад такой ответ заставил бы призадуматься относительно истинных намерений Хмельницкого. Но с конца 1652 года мысль о неизбежности вмешательства в малороссийские дела окончательно овладела Алексеем Михайловичем. Не случайно царь спрашивал у патриарха «благославение на сие благое дело». Для Алексея Михайловича война с Польшей и подданство Украины — необходимое дело, за которое он впервые берется с той энергией и жаром, которые ранее выказывал разве что отправляясь на охоту.

Правда, в хоре кадящих фимиам раздавались голоса и против войны. Все тот же упрямый Неронов в письме к царице советовал ей удержать царя от похода, ибо прежде чем на «иноплеменных» войною идти, следует

«со враги церкви брань сотворить»^[226]. Разумеется, Неронов, запугивая царицу, адресовал эти строки царю: подтекст послания пророчествовал неудачу всему предприятию, поскольку царь не исполнял одну из своих главных обязанностей обережения церкви «от волк, губящих ея». Но едва ли Алексей Михайлович обратил внимание на предостережение Неронова. Мечтающий о вселенском поприще, он не видел в подобных пророчествах ничего, кроме надоедливого повторения будущими расколоучителями одной и той же мысли об обуздании Никона и его реформы. В конце концов, это становилось даже скучно!

Определение «Тишайший» сыграло престранную шутку с восприятием Алексея Михайловича потомками. Он представляется царем тихим, миролюбивым. Между тем благодушный Алексей Михайлович половину своего правления провоевал. «Отец его имел склонность к миру, но у этого царя все помыслы направлены к войне», — писали о нем иностранцы, в глазах которых Тишайший был воинственным правителем^[227]. Цветастая характеристика второго Романова, который «храброму учению навичен и к воинскому ратному рыцарскому строю хотенье держит большое», при всем своем соответствии обычному посольскому этикету, имела под собой, как оказалось, вполне реальное основание.

В фондах Тайного приказа сохранилось немало документов, свидетельствующих, что Алексей Михайлович занимался военными вопросами с большим старанием и охотой. Чувствуется, что это ему нравилось и нравилось настолько, что именно его, а не Петра I, следует признать «основоположником» фамильной страсти Романовых — любви к военному делу. Правда, у большинства Романовых она по преимуществу свелась к муштре или игре в солдатики и в оружие.

Повзрослевший Алексей Михайлович более предпочитал рукописные упражнения. Одно из таких ранних сочинений имело пространное название: «Как оберегать истинную и православную христианскую и непорочную веру и святую соборную и апостольскую церковь и всех православных христиан и недругу бы быть страшну и объявить бы себя, великого государя, помощью всещедрого Бога... поспешением в храбрстве и в мужестве к ополчению ратному, такоже бы и людей своих объявить в ополчении ратном храбрствено и мужествено». Столь многообещающее начало, казалось, должно было содержать необычайно глубокомысленные размышления. Но на деле все свелось к прозаическому объявлению смотра московских ратных людей в канун войны с Речью Посполитой. Собирали их к 20 мая, построив на Девичьем поле «царское место» — возвышение на столбах с перилами, обитое красным бархатом^[228].

Военные познания царя — познания по преимуществу книжные, почерпнутые из западноевропейских сочинений, которые были переведены по его указу. Кое-что он, по-видимому, узнал, общаясь с иностранными офицерами^[229]. Опираясь на эти знания, Алексей Михайлович не без удовольствия распекал и поучал своих воевод, объясняя им, когда и с какого расстояния открывать стрельбу, как целиться и т. д. Он даже рисует (не совсем ясно, перерисовывая или придумывая самостоятельно) схемы с расположениями полков и направлением огня. Забегая вперед, скажем, что личный вклад царя в то, что можно отнести к общей стратегии, почти не ощутим. Связано это, однако, не с тем, что Алексей Михайлович уклонялся от планирования операций, а с отсутствием прямых документальных свидетельств. Вмешательство царя становится бесспорным, когда оно

исходит из руководимого им Тайного приказа. Но отменял ли Алексей Михайлович решение собственное или ранее вынесенное на думе — далеко не всегда удастся установить.

Зато куда более заметно участие царя в решении тактических вопросов и особенно в военном строительстве и в организации снабжения. Возможно, здесь сказалась любовь царя к мелочам, его домовитость и рачительность. Он, как истовый хозяин, постоянно считает и пересчитывает количество людей в полках, число подвод и стругов, четвертей хлеба, аршин фитилей и пудов свинца. Его легко узнаваемый, небрежно-корявый «царский» почерк можно встретить прямо на полях или на обороте приказных столбцов: чувствуется, что потребность подсчитать настигала его в самый разгар работы, и он, не мудрствуя, схватив первый попавшийся клочок бумаги, тут же принимался за дело. И оно вовсе не казалось ему зазорным — но вполне «царским». В итоге, к примеру, в росписи против «масло рядовое 2 тож» (то есть 2 пуда) следует царская приписка-распоряжение, сколько же все-таки купить масла: «Будет дешевле, 40 ведер, будет дорого, 30 ведер»^[230].

Словом, Алексей Михайлович более интендант, чем военачальник. Но каким бы экстравагантным и неожиданным ни было подобное пристрастие Алексея Михайловича, нельзя не отметить, что царь выбрал то, что более всего было необходимо на данный момент. И не столь важно, что его к этому более подталкивало — стечение обстоятельств или свойства характера. Ясно, что для роли военачальника он мало годился. Зато в условиях, когда в войне дело решали «полки нового строя», содержание которых не шло ни в какое сравнение с содержанием дворянского ополчения, задачи их материального обеспечения и организации

становились первостепенными. Алексей Михайлович приступил к ним перед русско-польской войной и продолжал заниматься этим делом до самой смерти. Это было рутинное, иссушающее своим однообразием занятие — где найти деньги, порох, хлеб, куда, кому и сколько послать, как, с кем и на чем... Царь добровольно взвалил на себя этот труд и занимался им систематически, превращая однообразную и малоэффективную работу в одну из главных сфер деятельности Тайного приказа.

Разумеется, для автора было бы куда приятнее видеть своего главного героя в пороховом дыму, в самом центре сражения. Но из песни слова не выкинешь: воевал Алексей Михайлович преимущественно за столом, вооружившись гусиным пером. Однако и такая «война» оказалась чрезвычайно нужной.

Создание полков «нового строя» было делом трудоемким и новым. Был, правда, опыт их организации в годы Смоленской войны. Но по возвращении жалких остатков армии М. Б. Шеина солдатские полки были распущены, а иноземцы-ланкастеры отправились на родину. На службе были оставлены немногие, такие, как шотландец полковник, а позднее генерал Лесли. В конце 30-х годов правительство Михаила Федоровича попыталось вновь воссоздать драгунские и солдатские полки. Предназначались они для пограничной службы и собирались, подобно дворянскому ополчению, сезонно. От такой службы было, впрочем, мало проку.

Военные планы Алексея Михайловича были много обширнее.

Сначала правительство попыталось привлечь солдат «старых служб» и живших в Москве «немцев», но оказалось, что и первых, и вторых было мало даже для того, чтобы сформировать костяк новых соединений. Пришлось прибегнуть к найму иноземцев и

призыву в солдатские и рейтарские полки служилых людей.

Масштабы военных приготовлений, однако, были таковы, что сразу же возникли большие трудности. Как и в канун Смоленской войны, провинциальные дети боярские всячески пытались избежать службы в «полках нового строя», особенно в солдатских. Для них старая «сотенная служба» была предпочтительнее и престижнее, чем пребывание в новообразуемых полках. В 1632 году правительство Филарета Никитича формировало солдатские полки, широко привлекая «кормовых детей боярских» (беспоместных или пустопоместных помещиков) и даже «вольных охотчих людей». В начале 50-х годов правительство Алексея Михайловича предпочло другой путь: указной перевод целых категорий провинциального служилого люда в рейтарские и солдатские полки. Позднее, исчерпав и эту статью пополнения поредевших полков, власти раздвинули рамки призыва. В ход пошли даже «даточные люди» — выходцы из тяглового сословия.

При формировании «полков нового строя» сразу же возникла проблема офицерских кадров. Дело не только в том, что иноземцев не хватало и их содержание обходилось чрезвычайно дорого: была осознана необходимость в появлении своих собственных кадров. Причем речь шла о подготовке десятков и даже сотен человек к службе офицерами. Попытка решения проблемы отразила узость тогдашних подходов: Алексей Михайлович в отличие от своего сына Петра Алексеевича, еще не думал о создании военных школ. Поступили иначе: отправили русских дворян на выучку иностранцам. Их обучали строю, ружейным приемам и командам — всему тому, что поначалу составляло солдатское ремесло, а затем оказывалось нужным для службы младшими офицерами.

Впрочем, для иного большинство «учителей» и не были пригодны. Среди понаехавших на службу в Москву оказалось много авантюристов, приобретших себе офицерские патенты неведомо какими путями. Им верили и не верили, но по невежеству перепроверить не могли и потому мирились. Вездесущий Родес рассказывал, как глава Иноземского приказа, боярин И. Д. Милославский, принимал «экзамены» у приехавших офицеров. Вне зависимости от чинов они должны были продемонстрировать владение ружейными приемами и показать «правильное понимание обязанностей». Сам боярин в этом мало что смыслил, для чего в помощь экзаменатору были призваны генерал Лесли и полковник Буковен. Неудивительно, что у сколько-нибудь знающих иноземцев, подобных знаменитому Патрику Гордону, такой способ определения профессиональной пригодности вызывал настоящий шок.

Тот же Буковен с сыновьями обучал русских рейтар. Родес отмечал их высокую выучку. Буковену принадлежала и инструкция, «как всяких чинов урядников спросить про ратное ученье, что всякому ряднику в ратном строе подобает ведать, и против тех вопросов ответы», написанная в 1651 году по указанию И. Д. Милославского [\[231\]](#).

Приходилось заботиться и о более серьезной военной литературе. Еще в 1647 году была отпечатана книга Вильгаузена «Военное искусство пехоты», которая в русском переводе получила название «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». С момента первого издания книги прошло почти полвека, и она успела несколько устареть. Тем не менее по труду Вильгаузена еще долгое время учились русские начальные люди. Алексей Михайлович, который также черпал свои книжные военные познания из «Учения»,

распорядился снабдить ею каждый новообразуемый солдатский полк. В 1650 году с голландского языка был сделан перевод книги об обучении рейтар.

Характерно, что для командных кадров полков «нового строя» правительство привлекло служилых людей из числа московских чинов. По разбору И. Д. Милославского 200 человек дворян были взяты «к учению рейтарского строя» к упомянутому полковнику Буковену^[232]. Мера вызвала явное недовольство дворян, и правительству пришлось немало потрудиться для того, чтобы новая система чинов с такими малопонятными званиями, как прапорщик, капитан, ротмистр, подполковник и т. д., стала привлекательной для всего дворянства. Первыми это уловили люди «неразрядные», представители провинциального дворянства. И в самом деле, продвижение по новой лестнице чинов оказалось не столь жестко зависимым от происхождения и «отеческой чести», как в «сотенной службе». Во внимание брались прежде всего личные заслуги. В исторической ретроспективе это означало, что принцип личной выслуги начал утверждаться еще до появления знаменитой петровской «Табели о рангах». Взятые в прапорщики и поручики молодые жильцы и стряпчие — а молодых брать было легче и сподручнее — сражались, ходили в походы, подрастали в чинах, незаметно для себя свыкаясь с новой системой службы.

Из прошедших в 1651–1653 годах военное обучение вышло немало начальных людей, составивших впоследствии командный костяк полков «нового строя». Некоторые из них выдвинулись на видные должности уже на исходе русско-польской войны и заметно отличились в войне с Турцией во время царствования Федора Алексеевича. То были первые, ныне почти

забытые русские генералы и полковники — А. Шепелев, М. Кровков, Г. Косагов, В. Змеев.

В отличие от поместного ополчения, отправлявшегося на войну с собственной «воинской снастью» и кошем, полки «нового строя», единообразно вооруженные и одетые, посаженные — если речь шла о рейтарах и гусарах — на коней, создавались и содержались, хотя и не полностью, за счет казны. Для Алексея Михайловича это было источником вечной головной боли: надлежало заботиться о выплате «кормов» и государева жалованья, вовремя снабжать войско провиантом, порохом, свинцом. Ситуация порождала массу новых вопросов: сколько всего полагается на солдата, роту, полк? Приходилось идти на поклон к знатокам — иноземным офицерам. Кажется, иные выкладки ставили царя просто в тупик. Полковник Александр Краферт, например, представил расчеты, по которым выходило, что на всякого человека в месяц уходит по фунту пороху. Но это — в мирное время: на караулы и на три выстрела в неделю для навыка, «чтоб были стрелять смелы солдаты». Что касается расходов в бою, то «ведать нельзя, потому сколь частые бои будут, и сколько время с недругом биться». В итоге получалось — сколько ни запасись, все мало.

Подобных проблем было великое множество. На первый взгляд, все они казались мелкими и ничтожными, но, не решивши их, не то что войну не начнешь — не выстрелишь. Надо было учиться считать людей и деньги. Алексей Михайлович, как уже отмечалось, безропотно взвалил на себя этот нелегкий груз.

Но уметь считать — еще полдела. Было бы что считать. Стараниями Б. И. Морозова, столь дорого обошедшимся ему в дни московского гиля 1648 года, казна была приведена в удовлетворительное состояние: в приказных сундуках скопилось достаточно денег,

чтобы оплатить начало военных приготовлений. Однако Алексей Михайлович уже был хорошо знаком со странным свойством казны необычайно быстро опустошаться и оставлять государя без полушки в самый решающий момент. Следовало всерьез позаботиться об источниках пополнения казны. И о них позаботились, доводя дело в некоторых случаях до неловкостей и курьёзов.

В 1651 году в столице появились «доктор богословия» Жан де Грон с братом, которые якобы горели желанием «до российской веры допущены быть». 11 января 1652 года царь дал братьям аудиенцию и принял их на службу. Грон выдвинул проект пополнения казны строительством... судов для продажи. В год — ни много ни мало — он собирался спускать на воду до 100 судов и продавать их за 10 тысяч рублей каждый. При этом Грон называл себя адмиралом и обещал поставить корабельное дело в России на поток^[233]. Разумеется, затея окончилась крахом еще не начавшись. Но в ней угадывается характер Алексея Михайловича, любознательность которого делала его падким ко всякого рода необычным проектам.

Но были планы куда более реалистичные. Приближающаяся война заставила царских сотрудников задуматься о денежной реформе. Заговорили и о привычных экстраординарных поборах.

Военные смотры и разборы ратных людей свидетельствовали об умножении сил Московского государства. По росписи 1651 года в армии числилось около 90 тысяч человек, из которых в сотенном строю — то есть дворянском ополчении — было чуть меньше 40 тысяч. Полки рейтарские и драгунские достигли цифры примерно в 10 тысяч человек. Впрочем, численность последних к началу войны с Речью Посполитой успела

еще возрасти. Остальное пришлось на долю пехоты, прежде всего солдатских полков, значение которых, в полном согласии с военной практикой XVII столетия, непрерывно возрастало. Пехота, сомкнув строй и упрятавшись за рогатки, уже не бежала панически при виде всадников. Она поражала их залпами, обращала в бегство, теснила и в конце концов вытесняла конницу как главную силу с полей сражений.

Несмотря на интенсивные военные приготовления, 1652 год и начало следующего года прошли мирно. В мае 1653 года на одной из своих сессий новый Земский собор в ответ на очередное обращение Хмельницкого «единодушно говорил, чтобы черкас принять». Но это еще не означало разрыва с Польшей. В апреле в Речь Посполитую было направлено посольство во главе с боярином князем Б. А. Репниным-Оболенским. После последних неудач Хмельницкого в столкновении с Яном Казимиром оно должно было ходатайствовать о восстановлении условий Зборовского договора. Добровольно взятая роль посредника в любом случае усиливала позиции Алексея Михайловича. Неудача давала повод обвинить поляков в неуступчивости. Успех же, на который, впрочем, не приходилось особенно рассчитывать, предоставлял Алексею Михайловичу роль своеобразного судьи в польско-украинских отношениях.

Сомнительное посредничество Москвы было отклонено. Позднее коронный канцлер С. Корицынский увидел в этом одну из причин несчастий Речи Посполитой: «...Когда Москва хотела нас примирить с казаками, не хотели мы того принять, с насмешкой их (послов. — *И.А.*) отправляя». Но к подобному заключению легко было прийти, испытав все горечи страшного «Потопа» — нашествия шведов, которое следом за казацкой и русско-польской войнами нахлынуло на Речь Посполитую. А в августе 1653 года в королевском лагере в Глинянах подо Львовом, куда

прибыл Репнин с товарищами, все представлялось совсем в ином свете: ожидаемый разгром казаков должен был разом разрешить все проблемы в отношениях как с бунтующей Украиной, так и с угрожающей Москвой.

В своей уверенности поляки не обратили внимания даже на жесткость тона великого посла. Между тем Репнин выдвинул несколько обвинений, каждое из которых могло послужить поводом для начала войны. Помимо украинских дел, Речь Посполитая была обвинена во враждебных для Москвы ссылках с ханом и в оскорблении царского величества. Поляки все обвинения отклонили. В итоге посольство оказалось безрезультатным: «Король и пана рада по договору исправленья не учинили и отпустили их (послов. — *И.А.*) без дела».

Но отсутствие результата — тоже результат. Противники войны внутри страны лишались последних аргументов, тогда как сторонники, напротив, могли еще громче кричать о гордости и высокомерии поляков. К тому же великое посольство убедилось в слабости Польши: больше было крика и горделивого подкручивания усов, чем действительной мощи и решимости бороться. Этот вывод особенно пришелся по душе Алексею Михайловичу. Великие послы были щедро награждены за свою службу, а дьяк Алмаз Иванов заступил на вакантное место главы Посольского приказа, освободившееся после смерти думного дьяка М. Ю. Волошенинова. Таким образом «черкасские и литовские дела» поставили во главе внешнеполитического ведомства страны человека бесспорно умного и талантливоего.

Алмаз Иванов происходил из торговых людей, причем удачливых — в 1626 году он числился по гостинной сотне. Отсюда он попал в дьяки Казенного приказа. В 1646 году его взяли в Посольский приказ, по-

видимому, за расторопность, изворотливость и знание языков. Еще в молодости он побывал в Персии и Турции и, по замечанию Адама Олеария, «в короткое время так изучил языки этих стран, что теперь может говорить с людьми этих наций без переводчика»^[234]. К 1654 году за плечами Алмаза был большой дипломатический опыт. Имперский посол Август Мейерберг, столкнувшись с думным дьяком в 1661–1662 годах, вынужден будет признать его «хитрость, коварство и находчивость». Иными словами, он признал, что Алмаза было трудно провести.

Обстановка складывалась так, что оттягивать решение вопроса об Украине и Польше дальше было уже нельзя. Нерешительность могла подтолкнуть гетмана к шагу для царя крайне болезненному и труднопоправимому. Хмельницкий мог броситься в объятия султана и хана, чем, кстати, он умело «шантажировал» Алексея Михайловича^[235]. Кроме того, гетман мог быть попросту разгромлен — ведь Малороссия уже выдыхалась, а Речь Посполитая только расправляла плечи — или же оказаться повязан новым, еще более тяжелым договором с королем.

В начале сентября, еще до возвращения посольства Репнина, в Чигирин отправились ближний стольник Матвей Стрешнев и дьяк Мартемьян Бредихин. Они везли царскую грамоту о подданстве. Но Хмельницкого царские посланцы не застали — гетман уехал к войску. Следом за ним Стрешнева и Бредихина не пустили: Хмельницкий тщательно скрывал от своего союзника, крымского хана, все контакты с царем.

Едва только в столицу вернулось великое посольство и доложило Алексею Михайловичу о своей неудаче в посредничестве, как была собрана сессия Земского собора. Она была приурочена к 1 октября, празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Все, что

предстояло «решить» на соборе, было давно решено Алексеем Михайловичем и его ближними боярами. Но соборный приговор придавал решению авторитет «всей земли», а совпадение с праздником — торжественность и небесное покровительство. После обедни в Покровском соборе царь с придворными и духовенством прошествовали в Грановитую палату, где собрались выборные. Заседание последнего в отечественной истории Земского собора открылось чтением письма о «неправдах» польских королей и челобитной Запорожского войска о подданстве.

Основная идея этого послания к собору была не нова: во всем виновата польская сторона, нарушившая все, что только можно нарушить. На вооружение были взяты доводы, некогда выпестованные украинскими книжниками: о неотъемлемых, коренных правах утесненного «русского народа». Правда, московское политическое сознание сузило толкование этих прав до прав религиозных. В интерпретации авторов письма Ян Казимир при своем избрании присягал «на свободе разнствующих христианских вероисповеданий» и заранее освобождал от клятвы подданных в случае нарушения их прав. Клятву король нарушил. Запорожское войско обрело свободу и право выбора нового государя. Алексей Михайлович внял слезному челобитью единоверцев и принял казаков под свою опеку.

После чтения царского письма все сословия и чины «высказали» свои мнения с той долей торжественности, которая отвечала моменту. Духовенство воззвало к защите православной веры. Следом и бояре заскорбели о гонимом православии. Было добавлено, что промедление может принудить Запорожское войско податься под покровительство «бусурманских государей». С боярами оказались в единодушии все остальные выборные. По традиции дворяне объявили о

своей готовности биться «за государеву честь», а торговые люди чинить «вспоможенья». Тут же последовал и вывод: «Войну вестъ, а терпеть больше того нельзя». Приговор заканчивался прощением всех чинов Московского государства ко второму Романову принять под свою высокую руку Украину.

Позднее Алексей Михайлович не посчитал за труд отредактировать описание Земского собора. Правка была призвана придать этому описанию более торжественный, выпренный характер, соответствующий важности момента. К примеру, по окончании собора и торжественной литургии царь объявлял боярам, кому в каких чинах быть: добравшись до князя Черкасского, Тишайший, «мало постояв... молвил: князь Яков Куденетович, тебе быть в Большой полк». Слово «молвил», однако, царя не устроило — слишком просто и низменно — и было собственноручно заменено Алексеем Михайловичем на торжественное: «рек»^[236].

Приговор «всей земли» нужен был Алексею Михайловичу еще и для того, чтобы окончательно сломить всякую оппозицию своим воинственным планам. Как уже отмечалось, нам мало что известно о составе и влиянии этой оппозиции. Источники донесли лишь слабые отголоски о некоем несогласии с планами царя. Причем трудно понять, что это — осознанная позиция или простое нежелание подвергать себя опасностям и тяготам войны. Шведский посланник Эберс сообщал, что «царь находил мало поддержки в дворянстве и духовенстве. Общие интересы государства мало кого вдохновляют, и царь остается одиноким»^[237]. Под духовенством Эберс подразумевал противников Никона, которые, подобно их лидеру Иоанну Неронову, выступали против всего, что проводил в жизнь и поддерживал патриарх, — от

церковной реформы до кровопролития с «христианским государем».

По-видимому, готовившаяся война не вызывала приливы восторга и у части придворных. Ясно, что противоборство двух придворных «партий», столь явно обозначившееся летом 1648 года, не могло исчезнуть по мановению волшебной палочки. Тот же родственник царя, боярин Н. И. Романов, после возвращения Морозова ко двору продолжал демонстративно фрондировать. Логика этой «придушенной фронды» требовала скептически отзываться относительно планов победившей «партии», а ограниченность в средствах — злословить и мешать. Это противодействие раздражало Алексея Михайловича необычайно. С известной долей наивности он жаждал единодушия в «Божьем и государевом деле», а обнаружив, что единодушия нет, был поражен и раздосадован. В послании А. Н. Трубецкому, написанному во время Смоленского похода, он жаловался на лукавство своих тайных противников: «А у нас едут с нами отнюдь не единодушием, наипаче двоедушием»^[238].

Реакция Тишайшего очень показательна. Там, где Иван Грозный давно бы нашел повод сколотить плаху, Алексей Михайлович лишь сетовал и негодовал. Для него «злехитренные обычаи московские» еще недостаточны для опалы. Вины должны быть явные. Царь страшится переступить грань, отделяющую его от деспота.

Но это не значит, что Алексей Михайлович сидел сложа руки. Он по-своему боролся с оппозицией, для чего... привлек ее лидеров к «службе». Когда весной 1653 года, в связи со слухами о задержке русских купцов в Смоленске, в Москве заговорили о враждебности Польши, к заседаниям боярской думы был привлечен Н. И. Романов. На это обстоятельство

тотчас обратил внимание Поммерининг — до сих пор боярин не появлялся в думе. Позднее Никита Иванович принял участие в царском походе под Смоленск. Он не получил или не захотел получить никакого назначения. Тем не менее пребывание представителя нецарствующей ветви Романовых при Романове царствующем должно было демонстрировать единство и сплоченность аристократии вокруг дела, затеянного молодым государем.

26 июня 1653 года на Девичьем поле прошел смотр служилых людей. Затем разрядный дьяк Семен Заборовский от имени царя похвалил московских дворян за усердие, особенно нужное, когда придется воевать с «супротивниками». Намек был более чем прозрачный: «супротивник» — польский король, и значит, слухи не пусты — в самом деле придется седлать лошадей и готовить воинскую снасть. Лето, однако, прошло спокойно. Только 23 октября было объявлено о решении идти войной «на недруга Яна Казимира». Тогда же последовал указ о безместве — то есть об отказе от местнических споров при назначении на те или иные посты. Не особенно расторопная государственная машина стала постепенно набирать обороты и разворачиваться курсом на войну. Городовые воеводы, получив из приказов грамоты, рассылали по уезду стрельцов и воротников объявлять о подготовке к дальнему походу. О том же по торговым дням, надрываясь, кричали глашатаи-биричи.

В октябре же было объявлено об отправке посольства боярина В. В. Бутурлина на Украину. Оно должно было привести к присяге казаков и «всяких жилецких людей». Послов снабдили грамотами и наказом, а также казною для раздачи старшине и духовенству. Позднее Бутурлину пришлось еще поджидать предназначенные для Хмельницкого булаву, знамя, ферязь и горлатную боярскую шапку — символы

гетманской власти с московским «акцентом». На этот раз все делали непривычно скоро из-за опасения упустить время: кажется, Москва всерьез решила проиллюстрировать известную присказку про то, как долго она запрягает и сколь быстро ездит. Но, как показало будущее, быстро ездить по «ухабистой» Малороссии как раз и не следовало: просчеты 1653–1654 годов очень скоро дадут о себе знать...

Прием послов произошел не в Чигирине, ставке гетмана, городе небольшом и неудобном для большого стечения народа, а в Переяславле, куда по приказу Хмельницкого съезжались полковники и сотники с казаками. Сам гетман, обещавший ко дню Богоявления целовать крест государю «безо всякаго размышленья»^[239], запаздывал: Днепр еще не встал, и трудно было переправиться на левый — переяславский — берег.

6 января 1654 года Хмельницкий наконец появился в городе. На следующий день он пришел на посольское подворье, где Бутурлин объявил ему об ответе государя на челобитье Войска о подданстве. Здесь же зашла речь о присяге. Гетман от имени старшины и казаков изъявил согласие: «Киев и вся Малая Русь — вечное их, великих государей, достояние. Мы же к его царскому величеству служить, прямить во всем душами своими и головы за него, государя, складывать рады». Такие речи были по сердцу послам и вполне укладывались в предполагаемый сценарий. Но если Бутурлин надеялся, что и дальше все пойдет без сбоев, то он крепко ошибся. Не таковы были Хмельницкий и старшина, чтобы, не торгуясь и не выгадывая для себя прав и привилегий, пойти в тяжелое московское подданство.

Утром 8 января к Бутурлину пришел Выговский и объявил, что ночью Хмельницкий собрал «тайную раду» с генеральной и с войсковой старшиной, на которой

«все они под государеву высокую руку поклонилися». Имея в виду, что в руках старшины находилась реальная власть, это было важное решение. Но еще недостаточное. Обычаи требовали испросить волю всего Войска на общей, вольной раде.

«Явная рада» собралась перед домом Хмельницкого. Знаменитая речь гетмана открылась описанием «беспрестанных браней и кровопролитий», наступивших с тех пор, как Малороссия стала жить без государя. Говорил он также о стремлении поляков искоренить само «имя русское» и церковь Божию, о невозможности «нам жить боле без царя».

Далее ситуация напомнила известный отрывок из «Повести временных лет» о выборе веры князем Владимиром. Но если в летописи речь Владимира — это неоднократно повторяемый в ранней средневековой литературе «бродячий» вымысел-сюжет, то речь гетмана, где он перебирал окрестных государей «из четырех, котораго вы хошнете», — вполне реальна. Впрочем, есть между этим вымыслом и этой реальностью и общее: при видимости альтернативы исход был предрешен. Там выбор православия, здесь выбор православного государя.

Турецкого султана и крымского царя гетман «отринул» как бусурман и врагов христианства: «Мы его по нужде и в дружбу к себе брали, и какия нестерпимыя беды от него приняли!» Королю было поставлено в вину жестокое утеснение с панами и шляхтой православного «русского народа». Оставался один единоверный и благочестивый Алексей Михайлович: «Кроме его высокия царския руки благодатишайшего пристанища не обрящем, а будет кто с нами не согласуется, теперь куды хочет вольная дорога».

Охотников искать «вольную дорогу» не нашлось. По крайней мере их голоса не были слышны на раде. Круг кричал: «Волим под царя восточного, православного!»

Полковник Тетеря, соблюдая порядок, стал опрашивать все стороны: «Все ли так соизволяете?» «Все!» — неслось в ответ. На гетманское «буди тако» последовало единодушное: «Боже утверди, Боже укрепи, чтоб есми вовеки едино были!» Затем Богдан получил от Бутурлина государеву грамоту, вычитанную писарем.

После рады гетман со старшиной и послами отправились к соборному Успенскому храму для присяги. Тут вышла заминка. Хмельницкий потребовал, чтобы московские посланцы от имени царя учинили не просто обещание, а присягу «вольностей наших не нарушать», маетностей не трогать и королю их не выдавать. Послы воспротивились: такого «николи не бывало и впредь не будет», чтобы за государя веру учинить. Сомневаться же казакам в царском слове не пристало, государь его не нарушит — присягайте смело!

Спор затягивался. Полковники с гетманом, оставив Бутурлина с товарищами в церкви, отправились совещаться в дом полковника Тетери.

Старшина предприняла еще одну попытку преодолеть упорство послов, найдя прецедент: польские короли присягали своим подданным. Бутурлин был искренне возмущен подобным сравнением: оно для нас не в образец, говорил он: польские короли — не «самодержавцы». Послы не удержались и от напоминания: известно, что королевская присяга крепостью не отличается, тогда как «у нас государское слово пременено (переменено. — *И.А.*) не бывает».

Тогда старшина изменила тактику. Было объявлено, что они царскому слову верят и во всем на него полагаются, но казаки не поймут и без государевой присяги войсковым вольностям присягать не станут. Но эта хитрость тоже не прошла. Бутурлин упрекнул гетмана с полковниками, что царь принял их в

подданство по их же, войсковому неоднократно челобитью; они же, гетман и полковники, должны свою службу показать и «незнающих людей», которые потребуют от имени царя приносить клятву, «унимать». После такого ничего не оставалось делать, как присягать или расходиться. Гетман и старшина объявили, что они «во всем полагаются на государеву милость и веру», и вернулись в церковь.

В свете последующих событий происшествие вовсе не выглядит случайной заминкой в выверенном сценарии. Это не недоразумение, а столкновение двух политических сознаний и менталитетов, разность которых вскрывает причины будущих конфликтов. Послы привнесли с собой московский взгляд, где все — «государевы холопишки». Старшина же исходила из шляхетских представлений, которые они, не получив статуса шляхты, вполне усвоили. Эта представления предусматривали некое «договорное начало», взаимные, присягой скрепленные права и обязанности. Бутурлин недаром возмущался поведением полковников. Для него, аристократа «московской закваски», подобное требование воспринималось как покушение на «государеву честь».

На этот раз царские послы настояли на своем. Но это совсем не значит, что московский взгляд был одобрен, усвоен и принят. На самом деле стороны еще долго будут говорить на разных языках. Это приведет к недоразумениям, затем перерастет в обиды и конфликты, разрешить которые в тех исторических рамках в конечном итоге можно будет лишь подчинением одного политического видения другому.

По окончании церемонии присяги Хмельницкому были вручены символы его власти. В Москве этому обряду придали большое значение: гетман выборный — к чему трудно было привыкать, — и потому власть его должна быть утверждена и признана властью высшей,

царской. Кроме традиционных символов, таких, как булава, Хмельницкий получил боярскую шапку: то был чин высший, думный, но все-таки чин государева служилого человека. Церемония вручения шапки была сопровождена пожеланием: «Главе твоей, от Бога высоким умом вразумленной и промыслом благоугодном о православии защищении смышляющей, сию шапку пресветлое царское величество дарует, да Бог здраву главу твою соблюдая, всяцем разумом ко благу воинства преславного строению вразумляет».

После утверждения Хмельницкого в его гетманском достоинстве настал черед генеральной старшины и полковников. Раздача государева жалованья проходила на московский образец, пышно и несколько тяжеловесно. Преподавая первый урок, послы одновременно приучали и к щедрым «царским кормам». С этим, впрочем, полковники не спорили и соболей принимали, выказывая большую преданность.

На следующий день по церквям приводили к присяге сотников, есаулов, простых казаков и мещан. Готовились присягать и в других городах, куда должны были отправиться члены посольства и люди из их свиты.

Присяга вовсе не означала завершение переговоров. Напротив, они продолжились в следующие дни. Однако поведение Бутурлина изменилось. Малороссия превратилась в отчину великого государя. Отныне общение с казаками могло происходить не как с равной стороной, а как с государевыми подданными-челобитчиками.

Гетман просил оставить всех в тех же чинах, в каких были казаки до присяги. Просьбу уважили без споров: никто и не желал социальных потрясений и перемен. Особая забота старшины — имения-маетности, захваченные ими после изгнания поляков. Вопрос был острый: украинское крестьянство, помогая казакам

избить панов, вовсе не жаждало впрягаться в новую «панщину». Но помещичья Москва мыслила своими категориями. Обещано было сохранить маетности за старшиной, причем Хмельницкий настаивал на том, чтобы после смерти владельца имения оставались в семье, а не отдавались сторонним казакам. Москва и здесь пошла навстречу, даровав по сути вотчинное право и отказавшись от одного из важных рычагов давления на служилого человека, какой имела при праве поместном.

Старшины-челобитчики просили о реестре Войска в 60 тысяч и больше, поскольку жалованья они «у царского величества на тех казаков не просят». При этом старшина хотела сохранить за собой право сбора и распределения налогов на Украине. И это им было обещано. Также просили с Войска не взимать мостовщину и мыто. Ответили, исходя из статуса служилых людей: «У царского величества с ратных людей того не емлют».

В течение всего января-февраля в 17 малороссийских полках и во всех городах проходили церемонии присяги. Не везде все шло гладко. Однако отдельные инциденты не могли испортить общую картину. Линия Богдана на разрыв с Речью Посполитой и на подданство московскому государю получила всеобщую поддержку. В Посольский приказ непрерывно стекались сведения о реакции населения Украины. Проезжие «гречане царегородцы» извещали: «А которыми де черкасскими городами они ехали, и они де во всех городех и местех слышали, что везде православные христиане благодарят Бога о том, что пожаловал государь, изволил их принять под свою государскую высокую руку. И радуютца де все от мала и до велика великою радостью, что Господь Бог над ними умилосердился и дал им его, государя христианского благоверного царя».

Радовались и в Москве, хотя радость эта была приправлена немалой толикой страха: чем-то ответят Речь Посполитая и Крым? По зиме военные действия откладывались, но уже было известно о твердом намерении Алексея Михайловича самому идти в поход «на неприятеля своего, на польского короля».

Возвратившееся в феврале посольство Бутурлина встречали необычайно милостиво. В особую заслугу им поставили то, что они не обесчестили царя и уклонились от присяги государевым именем. В разгар празднеств пришло известие о рождении царевича Алексея. Алексей Михайлович, лишившийся в октябре 1649 года царевича-наследника Дмитрия, испытывал необычайное воодушевление. В подобном совпадении обычно виделась благая предрасположенность и особое покровительство. При благоверном царе Алексее, вобрав исконные отчины — наследие киевских князей, расширилось Православное царство, которое не останется в сиротстве, ибо есть кому передать его по смерти православного государя. По всем церквам Великой и Малой России прошли благодарственные молебны с возгласением многолетия царю, царице, новорожденному царевичу и царевнам.

Между тем одной Переяславской радой дело не было закончено. Следовало закрепить официально статус казаков и других слоев населения Малороссии. С этой целью в Москву было снаряжено войсковое посольство. Первоначально его должен был возглавить Хмельницкий, но он, сославшись на сложность обстановки, от поездки уклонился. Известная парадоксальность ситуации заключалась в том, что Богдан, побывавший во многих странах, в Москве так никогда и не появился. Ни до 1654 года, ни в 1654 году, ни после. В Москву были посланы войсковой судья Самойло Богданов и переяславский полковник Павел Тетеря.

Появление посольства поставило власти в затруднительное положение. Как принимать его? Сам Алексей Михайлович занялся этим вопросом. Была выбрана золотая середина: торжественный и милостивый прием, но прием подданных. 13 марта Богданова и Тетерю принял Алексей Михайлович. Царь выслушал приветственную речь, затем сам спросил послов о здоровье гетмана и велел посадить их на скамью. Было обещано рассмотреть войсковую челобитную и учинить по ней государев указ.

Для переговоров, призванных определить статус Войска, была создана комиссия во главе с боярами князем А. Н. Трубецким и князем В. В. Бутурлиным. Начались переговоры в тревожной обстановке, когда Переяславскому соглашению настало время держать первое испытание на прочность: на Украину двинулись войска под командованием польского коронного гетмана и великого литовского гетмана.

Ловкий Хмельницкий, впрочем, не преминул использовать ситуацию к своей пользе. Польское вторжение открывало возможность сделать московскую сторону податливее. Согласно гетманским инструкциям послы должны были напомнить, с какой «приязнью» к Богдану и Войску относился «цезарь турецкий», который «не токмо наши вольности подтвердил», а и «права, и веры, и вольности позволял, и никакой дани от нас не требовал». Получалось, что если бусурманин готов был сохранить права и вольности старшины и войска, то уж тем более православный государь в канун решающих боев должен сделать такое.

Гетман напрасно беспокоился. Алексей Михайлович не спорил и 27 марта в жалованной грамоте подтвердил все права и вольности Войска. Решительное возражение вызвали лишь два пункта. Московские власти воспротивились намерению гетмана сохранить за собой право на самостоятельную внешнюю политику.

Подобное стремление никак не укладывалось в представления о подданстве, и без того, по московским меркам, до предела «раздвинутые». Гетману отказали в праве ссылаться с королем и султаном без государева ведома. Он должен был информировать центральное правительство о дипломатических контактах с другими государями.

Трудности возникли и в вопросе об уплате жалованья Войску. Казацкое посольство поставило вопрос об уплате жалованья всем реестровым казакам. При этом послы поставили в пример Речь Посполитую и стали пугать Алексея Михайловича казацким возмущением, если он не пойдет на уступки. Требование было признано справедливым. За службу надо платить. О том и было объявлено боярской комиссией, с которой Богданов и Тетеря вели переговоры. Однако жалованье должно было идти с украинских доходов, с того самого момента, как размеры выплаты реестровому казачеству будут определены и зафиксированы.

Приехавшая в Москву старшина пеклась не только об интересах Войска, но и о своих собственных. Каждый спешил воспользоваться благосклонностью царя и получить что-то. Хмельницкий соединил с гетманской булавой Чигиринское староство. Кроме того, он исходатайствовал себе в потомственное владение город Гадяч. Не упустили свое Богданов и Тетеря.

Договоренности в Москве дали старшине то, чего они не смогли добиться в Речи Посполитой. Они были приравнены к московским служилым людям по отечеству, причем в отдельных случаях объем полученных прав превышал то, что имело русское дворянство. Другой вопрос, что старшина, привыкшая соизмерять права шляхетства и московского дворянства, очень скоро почувствовала себя

обделенной. Тем не менее в социальном отношении она получила почти все просимое.

Совсем иначе в Москве отнеслись к попытке Хмельницкого и его послов говорить от имени всей Украины. Трубецкой и Бутурлин дали понять, что видят в посольстве посланцев только Запорожского войска. Ему и дарованы права и вольности, о которых казаки били челом на раде. Черода пожалований прав и вольностей украинским городам последовала той же весной, но не по обращению войска, а по челобитью жителей самих городов и их магистратов. Правительство и здесь в целом подтвердило существовавшие права, существенно отличавшиеся от того, что имели посадские люди собственно русских городов.

Таким образом, Украина вошла в состав России, во многом сохранив сложившуюся за годы освободительной войны национальную государственность. Почти неизменными остались военно-административное устройство, финансовая и налоговая системы, суд, войско.

В Москве, разумеется, прекрасно понимали, что происшедшее касается не только России и Украины или Польши и Крыма. Перемены были слишком значительными, чтобы пройти мимо внимания европейских столиц. В Восточной Европе рушилось привычное равновесие, менялся баланс сил, что, конечно, должно было обеспокоить всех — и традиционных царских недругов, и союзников, столь же незаинтересованных в чрезмерном усилении Московского государства. Словом, подобная акция требовала дипломатического «прикрытия».

В 1654 году во многие европейские столицы отправились посланники и гонцы, которые должны были разъяснить причины разрыва «вечного докончания» с Речью Посполитой и заручиться если не

поддержкой, то по крайней мере нейтралитетом в предстоящей русско-польской войне. Итоги миссий оказались не особенно обнадеживающими. Европейские дворы в своих ответах, как правило, исходили из двух посылок — традиционного международного расклада сил и, естественно, собственных интересов. Первое определило сдержанность реакции: в дипломатической колоде польская карта считалась сильнее московской, так что дразнить варшавский двор демонстративной поддержкой царя охотников не нашлось.

Далее реакция зависела от задач, которые решали в 1654–1655 годах европейские государства. Париж и Вена, хотя и по разным причинам, высказались за мирное урегулирование спора. Имперские дипломаты, стремившиеся освободить руки своего традиционного союзника, даже предложили себя в качестве посредников при переговорах. Несколько благожелательнее оказалась позиция Швеции, извечного соперника Речи Посполитой. Тем не менее в ответной грамоте королевы Христины новоприбылый титул Алесея Михайловича — царь «Малой России» — был опущен^[240]. В Стокгольме не спешили признать происшедшие перемены не только из-за надежды продолжить переговоры с гетманом Хмельницким о военном союзе, но и из-за того, что за признание подобных перемен в титуле полагалось платить, причем платить весьма дорого.

Часть четвертая
Эпоха противостояния

Первый поход

Присоединение Украины к Московскому государству означало разрыв Поляновского «вечного мира» и начало войны. Стороны по-разному были готовы к ней. Политический кризис, который переживала «шляхетская республика», парализовал королевскую власть. Из-за действия оппозиции в 1652–1654 годах два сейма из пяти оказались сорванными. В результате не были вотированы необходимые средства для содержания войска. Лишь в июне 1654 года чрезвычайный сейм выделил средства на сбор войска. Но время было упущено. Москва уже привела в движение свои войска и опережала Речь Посполитую даже не на один, а на два хода.

Крайне сложным и в целом неблагоприятным оказалось международное положение Речи Посполитой. Правда, после разрыва украинско-крымского союза Польше удалось укрепить свои позиции на юге. Крымский хан Ислам-Гирей был крайне недоволен сближением Хмельницкого с Москвой. Хан собственноручно отхлестал посланника гетмана, который привез известие о Переяславской раде: «Как де ваш гетман и все вы черкасы забыли мою цареву дружбу и совет?» Хмельницкий не спасовал и в ответной грамоте пообещал нагряться с войной в Крым, объявив: «Ты не посланца, а меня бил по щекам». Перепуганный хан начал сосредоточивать у Волчьих Вод сорокатысячную орду. Однако военные приготовления оказались сорванными в самом начале. 30 июня Ислам-Гирей скончался.

Неожиданную смерть хана тотчас связали с грозным внушением гетмана. Едва ли в этом слухе есть хоть какая-то доля правды — скорее ближе к истине версия с

отравлением грозного царя украинкой-полонянкой^[241]. Но разочарование из-за Переяславской рады Ислам-Гирей в последние месяцы жизни испытал несомненно. Неудивительно, что из попыток Москвы привлечь его к участию к войне с королем или, по крайней мере, добиться нейтралитета Крыма, ровным счетом ничего не вышло. Напротив, для восстановления столь милой сердцу крымских Гиреев системы «равновесия» в Бахчисарае решено было поддержать на тот момент «слабейшего» — Польшу^[242].

Впрочем, путь от обиды и негодования до реальной военной помощи Яну Казимиру оказался неблизким. В 1654 году крымцы были парализованы военной демонстрацией запорожцев, чайки которых до смерти перепугали прибрежное население Крыма и Тамани. Лишь ближе к осени ординцы активизировали свои действия на Правобережной Украине. Не решились татары воевать и южнорусские уезды, поскольку, по признанию татарских царевичей и мурз, укрепления на засечных чертах «никоторыми мерами пройти не уметь». Затем последовала смерть хана. В итоге в первые годы русско-польской войны татары так и не обрушились с «большой войною» на окраины Московского государства. В Кремле могли вздохнуть с облегчением: печальный сценарий Смоленской войны не был повторен.

Но если в отношениях с Крымом Речи Посполитой удалось рассеять грозные тучи, то на севере, напротив, вот-вот должна была разразиться страшная буря. Со времен Сигизмунда III польско-шведские отношения постоянно балансировали на грани войны и мира. Причем стоило одной из сторон ослабнуть, как противная сторона спешила заговорить языком ультиматума. В неблагоприятной международной обстановке избежать нового столкновения со Швецией

можно было лишь ценой уступок. Но это слишком противоречило политической линии, к которой привыкла Речь Посполитая после Штумсдофского перемирия 1635 года, завершившего последний конфликт со Швецией. Да и такое качество, как дальновидность, никогда не числилось среди достоинств Яна Казимира. Итог оказался плачевным. Шведский король Карл X склонился к силовому решению всех спорных вопросов. В результате последовало нашествие шведов на Речь Посполитую, которое вполне можно сравнить с польским вариантом русской Смуты. Забегая вперед, отметим, что Алексей Михайлович не воспользовался чрезвычайно благоприятной ситуацией и не пошел на союз со шведским монархом. На единого противника они навалились порознь, оставив Речи Посполитой шанс отдышаться и нанести ответный удар, что она — по крайней мере в отношении своего восточного соседа — в конце концов и сделала.

Мало что реально переменилось в 1654 году и в политическом курсе Варшавского двора по отношению к Украине. Здесь так и не осознали, какая катастрофа разразилась в 1653 году в Переяславле. Рада была воспринята в одной плоскости: как измена, предательство, отступничество казаков, для которых самый лучший и самый подходящий язык — язык силы, дополненный разными обещаниями, призванными расколоть старшину.

Когда стало известно, что на съезде в Переяславле не присутствовал браславский полковник Богун, его тотчас принялись манить гетманскою булавою. Полковника уверяли, что отныне Богдан ему не товарищ, а пан. Тронули даже религиозные чувства: после соединения Москва принуждает малороссийскую православную церковь податься под руку московского владыки взамен константинопольского, под которым

здесь пребывали с времен киевских князей. Но хороши же были новоявленные защитники малороссийского православия из Варшавы, что даже Богун усомнился в искренности их слов! Увещевания закончились не словесной, а пушечной канонадой польского полковника Чарнецкого против Богуна.

Позднее слава Чарнецкого, злого гения шведского короля, разольется по всей Речи Посполитой. Но с Богуном ему справиться не удалось. Тот заперся в Умани и отбился. В отместку Чарнецкий выжег весь край. Это означало, что в действиях Коруны военное разрешение казацкой проблемы по-прежнему оставалось предпочтительнее политического.

Впрочем, была предпринята робкая попытка уговорить старшину одуматься. Взятый в плен киевский полковник Жданович был освобожден и отправлен для этого к казакам. Но затея провалилась. Да и вряд ли можно было ожидать иного результата, учитывая, с одной стороны, характер королевских посулов, а с другой — все те преимущества, которые получила старшина после ликвидации панщины, раздела собственности польских магнатов и первых, достаточно весомых результатов, полученных по заключении союза с Москвой.

14 февраля 1654 года, в разгар торжеств, связанных с рождением царевича Алексея, в Москве было объявлено о походе против польского короля. Как водится, назначили сроки для сбора ратных людей. Государев полк собирался в столице к первым числам мая, само же его выступление было назначено на вторую половину месяца. Еще раньше должны были выступить Передовой, Большой, Сторожевой, Ертаульный полки. Но первым столицу предстояло покинуть наряду — тяжелой осадной артиллерии. Он был отпущен 27 февраля. Тяжелые, малоповоротливые орудия спешили провести по зимнику поближе к

литовскому рубежу, пока оттепель не изъела окончательно все дороги.

23 апреля состоялся торжественный отпуск полка князя А. Н. Трубецкого. Вся церемония была обставлена чрезвычайно пышно, подчеркивая смысл происходящего — войска отправлялись защищать православную веру и оскорбленную «государеву честь», возвращать похищенные злым временем и иноверческой силой «дедины и отчины» московских царей. Война, таким образом, в устах ее инициаторов трижды обосновывалась как справедливая — конфессионально, политически и исторически. В свое время именно так поступали византийские императоры, объявлявшие войну «варварам»: ведь и они вели борьбу за восстановление своих погранных прав — границ Византии в рамках старых границ Римской империи!^[243]

В Успенском соборе патриарх Никон с высшим духовенством, напутствуя войска, отслужил торжественную литургию. Царь передал Никону воеводский наказ для Трубецкого; патриарх положил его в киот иконы Владимирской Божьей Матери, а затем, вынув, вручил первому воеводе. Проводы завершились обрядом целования царской руки. Ратников Трубецкого было так много, что для соблюдения порядка пришлось поставить трех окольных. Тут же, укрывшись за запоною, стояла сама царица Мария Ильинична. При том строгом, теремном образе жизни, какую по традиции должна была вести царица, ее присутствие лишней раз подчеркивало важность происходящего.

После литургии Алексей Михайлович позвал всех к себе «хлеба есть». Царь трижды жаловал гостей чашами и сам подавал боярам Богородицыну чашу. Столование вновь закончилось обрядом целования царской руки. Трубецкой прикладывался первым:

Тишайший приложил голову князя к груди «для его чести и старшинства». В ответ до слез растроганный Трубецкой кланялся в землю раз до тридцати.

Следом за воеводами и начальными людьми подступали «полочане» Трубецкого — дворяне и дети боярские. В иерархии служилых «городов» первыми в Большом полку шли ярославцы, к которым Алексей Михайлович и обратился с наставлением. Он помянул «неправды» польских королей и их гонения на православную веру, заговорил о предстоящем походе, в который и сам пойдет и «с радостью всякие раны примет». Здесь уж этикет предполагал буйное проявление верноподданнических чувств. Ярославские служилые люди обещали — раз сам царь готов кровь свою пролить! — «за вас, государей наших, и за всех православных христиан без всякой пощады головы свои положить». Царь прослезился: «Обещаетесь, предобрые мои воины, на смерть: но Господь Бог за ваше доброе хотение дарует вам живот, а мы готовы будем за вашу службу всякого милостию жаловать».

Не следует думать, что подобные заявления — одна лишь дань этикету. Это были обязательства, торжественно провозглашенные царем и ратными людьми, что само по себе должно было служить гарантией исполнения. Вообще, в идеологическом отношении ситуация 1654 года сравнима с немногими войнами. Участие Алексея Михайловича изначально придавало походу знаковый смысл. Это — царский поход, судьбоносный, первостепенный, подобный походам Ивана IV на Казань. Не случайно вся процедура выступления войска была не просто подробно расписана и записана, но и позднее тщательно просмотрена и отредактирована самим Алексеем Михайловичем.

Эта работа, выдававшая вкус и привязанности царя, чрезвычайно интересна: Алексей Михайлович

«выстраивает» идеальную, по его представлению, церемонию, где действуют идеальный православный монарх и его идеальные подданные. Воеводы подступают к царю «един за единым благочинно»; Трубецкой произносит свою речь «тихо, опасно (то есть с почтением. — *И.А.*), с радостными слезами», при том, что всё «молвит ясно». Царь в воеводской речи не просто «пресветлый, премилостливый и премудрый», а и «отец и учитель». Хотя форма обращения этикетная, в ней ощутима особая склонность Алексея Михайловича именно к последней роли — к роли благочестивого учителя. Выслушав царское напутствие, все насладились от «душевных и полезных учительных слов, какова источника живых вод искали, такова и обрели». «Мы же не токмо телесныя снеди напиталися от твоих царских уст, — выпренье объявлял Трубецкой, — но и душевныя пици пресладких и премудрых глагол Божиих исходящих ото уст твоих царских обвеселилися душами и сердцами своими».

Далее следует описание обряда целования царской руки. Царь и здесь внес мелкие поправки, подыскивая стилистически точную окраску слов. Когда Трубецкой подошел к государю, тот «своими царскими руками принял к перею своим главу его для его чести и старшинства, зане многими сединою украшен и зело муж благоговеин...». Князь же, видя такую «премногую и прещедрую милость к себе, паки главою на землю ударяется». Алексею Михайловичу слова «ударяется» и «главою» не понравились. Он зачеркивает эту фразу и пишет сверху: «...поклонился со слезами до земли до тридесят крат».

Не прошло царское перо мимо строк, описывающих прием у Постельного крыльца ярославских дворян. Тишайший собственноручно жаловал их «ковшом с белым медом», призывал вступаться за веру, отечество и «за всякую обиду к Московскому государству». Здесь

царь нашел еще один повод для вмешательства: «...И за насилие православных у них же». Далее наказывалось: «Итить по нашему государеву указу с нашими... воеводы с радостию («с радостию» вписано рукою царя сверху. — *И.А.*) и Богу работать от всея души и сердца своего... А нам, великому государю, служить со усердием («со усердием» опять же вписано Тишайшим. — *И.А.*) и у бояр... во всяком послушании [быть] готовым»^[244].

Три дня спустя полк Трубецкого выступил из Москвы. Следом, в мае, двинулись и остальные — Передовой полк Н. И. Одоевского, Большой полк Я. К. Черкасского, Сторожевой М. М. Темкина-Ростовского. Не обойден был царским вниманием и Б. И. Морозов, получивший почетное звание большого дворового воеводы — начальника «государева полка».

Войну начинали с традиционным делением армии на полки. Это деление восходило ко временам, когда все силы участвовали в одном решающем сражении. Но эпоха сильно изменила и саму войну, и организацию армии. Рядом с дворянскими сотнями выступали обученные на европейский лад полки «нового строя». Сама армия разрослась так, что почти каждый из полков решал самостоятельные стратегические задачи, превращаясь в отдельную армию. Борьба уже не сводилась к одному сражению или к занятию главного города, пускай и такого важного, как, например, Смоленск. Это вскоре станет окончательно ясно, и с этой ясностью из разрядов постепенно исчезнут старые полковые росписи с делением воевод и служилых людей.

18 мая 1654 года в первый свой военный поход выступил Алексей Михайлович. Царь, по-видимому, пребывал в эти дни в восторженно-приподнятом настроении. В письме Трубецкому царь описывает свое

выступление из столицы. Войск было так много, что следом за ним все выйти не успели и «остались для ночи 67 сотен на поле на Девичье»; когда же утром 19 мая выступили оставшиеся, то выходили все равно очень долго — последняя сотня покинула город «в полчаса ночи», то есть около девяти часов вечера^[245].

В поход с государем выступили едва ли не все высшие думные и придворные чины. В этом аристократическом многолюдстве был, по-видимому, свой подтекст. Взятые в поход противники столкновения с Польшей лишались возможности мутить воду в Москве.

Война началась слишком удачно, что, как выяснилось скоро, имело и неблагоприятные последствия для Алексея Михайловича. Уже за Вязьмой к нему со всех сторон стали приходить известия о занятых городах. Быстрый успех вскоре стал восприниматься как должное. Потому, когда придет пора неудач, у молодого государя опустятся руки. Алексей не сильно походил на сына Петра, для которого неудача была лишь поводом удешевить усилия: ведь первый, проигранный Азов породил Азов второй, победоносный; первая Нарва — Нарву вторую, за которой последовали Полтава и Гангут. Алексей Михайлович так удары судьбы не держал. Победы 1654–1655 годов окрылили его; с неудачами же явилась неуверенность, и мы уже не увидим того воодушевления, которое отличало второго Романова в начале войны. Царь делается сдержаннее, опасливее и вообще перестанет ходить в военные походы.

Но пока до этого было еще очень далеко. Пока Алексей Михайлович спешит и надеется на новые победы. 26 мая он прибыл в Можайск, где, впрочем, задержался всего на день. 4 июня в дороге его настигло известие о взятии Дорогобужа. Царь тут же поспешил

порадовать семью, собственноручно приписав к посланию: «Вашими светов моих молитвами подаровал Бог сии богоспасаемый град Дорогобуж. Помолитесь, и больши тово Бог подаст милость свою»^[246].

По его приказу «за рубеж» отправлялись разведывательные партии. Возвращались они с пленными, расспросы которых радовали Тишайшего. Он с удовлетворением писал домой, что противник не готов к решительному сопротивлению. Не обошлось и без огорчений. К полякам попытался перебежать смоленский сын боярский Василий Неелов. Перебежчик был пойман, пытан и четвертован. Царь сообщил об этом неприятном инциденте в письме родным с примечательной припиской: «Да не покручитесь, государины светы, что не своею рукою писал — голова тот день болела, а после есть лехче».

Приход к Смоленску на исходе июня совпал с двумя важными известиями: о взятии Шереметевым Полоцка и Трубецким — Рославля. Под такой аккомпанемент стыдно было ударить лицом в грязь, и войска энергично приступили к осаде. Тем более что в окружении царя не без основания считали положение осажденных почти безнадежным. Еще с дороги царь писал своим «сестрицам-светам»: в Смоленске сидят «не большие люди, всего две тысячи с лишком, а моево походу не чают»^[247]. Последнее утверждение было, конечно, неверно — приход уже «чаяли». Но войск в Смоленске в самом деле было крайне мало.

Взгляд на восточные земли, как на земли, призванные лишь обогащать шляхетство и казну, плачевно сказался на обороне Смоленска. Хотя формально на укрепление городских стен должны были идти известные суммы, за 52 года, прошедшие с тех пор, как талантом зодчего Федора Коня и твердою волею Бориса Годунова было закончено строительство

первоклассной Смоленской крепости, стены и башни обветшали и порушились. Из 38 башен к 1654 году сохранились лишь 34, из которых пригодными для обороны признавались лишь 10. Картину дополняли прогнившие помосты, лестницы и дырявая кровля. Отдельные участки стен, разрушенные подкопами во время двух прежних осад (сначала Сигизмундом III в 1609-1611 годах, а затем уже русскими войсками в 1632-1634 годах), так и не были полностью восстановлены: дело свелось к строительству земляных валов и заплатам из глины. «Эта пограничная крепость почти в течение 20 лет оставалась без всякого досмотра», — печально резюмировал один из поляков^[248]. Нетрудно увидеть в таком отношении к укреплениям Смоленска пренебрежение к соседу. При взгляде на восток любой застенковый шляхтич пренебрежительно опускал кончики губ — после побед над шведами и татарами Москву уже ни во что не ставили.

Слабость укреплений можно было компенсировать численностью артиллерии и гарнизона. Но и в этом ощущался сильный недостаток. В канун осады на башнях и стенах стояло 41 орудие и еще 14 пушек находилось в цейхгаузе. Пушки были преимущественно московской работы — трофеи прежних войн. Конечно, воспоминания о былых победах могли воодушевлять защитников крепости. Но проку от такой артиллерии было слишком мало, чтобы произвести впечатление на царские войска.

Еще хуже обстояли дела с людьми. Горячие речи о защите отчизны оказывались в разительном контрасте с реальными поступками окрестной шляхты — немногие поспешили на помощь малочисленному гарнизону. Для Речи Посполитой такие настроения были очень опасны: боеспособность шляхетского ополчения напрямую

зависела от душевной стойкости воинов. Уступая в выучке королевским хоругвям, шляхтичи-ополченцы в минуты воодушевления способны были творить чудеса героизма. Но в 1654 году до этого было далеко. Особенно сильным было шатание среди православного населения Литвы. Заздравные чаши православные шляхтичи и мещане подымали в честь Яна Казимира, а шептались или о бегстве, или о выгодах подданства московскому государю. Доводов для последнего было предостаточно: русские войска, обтекая редкие островки верных королю гарнизонов, половодили Великое Литовское княжество. Те же, кто должен был составлять опору короля и наводить в наступающем хаосе порядок, бежали. Сам хорунжий Смоленский Ян Храповицкий, один из предводителей шляхетского ополчения, уехал в Варшаву. Его примеру последовали многие, отчего список собравшегося в городе поветового ополчения пугал своими пробелами.

Смоленский воевода Филипп Обухович, человек опытный и энергичный, прекрасно осознавал всю сложность положения. С началом войны, когда беспечности поубавилось, а страха прибавилось, он заставил гарнизон и жителей города днями и ночами работать на строительстве укреплений. Но трудно было за несколько недель сделать то, на что требовались годы.

Обухович сильно надеялся на помощь великого литовского гетмана Януша Радзивилла. Но вместо войск и обозов с припасами из Орши прибыл лишь гетманский посланник с письмом. «Дивлюсь я, — не без иронии писал Радзивилл, — как ты не можешь понять, что еще не придумано способа из ничего сделать что-нибудь»^[249]. Тем не менее Обухович не падал духом. Воодушевляли воспоминания: в декабре 1632 года, когда к Смоленску подступал Шеин, положение

защитников было немногим лучше. Но тогда отсиделись, а затем подошел король Владислав IV и кончил все победоносным миром. Следовательно, надо было выиграть время, устоять, в надежде, что Радзивилл все же найдет способ из «ничего» сделать «что-нибудь».

В русском стане о подобном сюжете тоже помнили. И, естественно, предпочитали иное его развитие. Тогда бездеятельность Шеина позволила польской стороне сосредоточить силы сначала в Орше и Вильно, а затем в селе Красном и постоянно взламывать блокаду города. Теперь решено было таких ошибок не повторять и лишить смоленский гарнизон всякой надежды на помощь. Воеводы Черкасский, Трубецкой и Темкин-Ростовский почти сразу же двинулись на Радзивилла. Царь и его окружение исходили из того, что великий гетман располагал всего десятью тысячами человек без особых надежд на их скорое увеличение. Об этой «военной тайне» простодушно обмолвился сам Алексей Михайлович в очередном послании семье: «А корунное войско все пошло против гетмана Хмельницкова, а против нас корунное войско не много хочет быть»^[250].

После выдвижения части сил против литовского гетмана у царя осталось еще достаточно полков, чтобы приступить к правильной осаде. Тридцатитысячное войско, окружив город, принялось энергично возводить окопы, шанцы и батареи. В июле раздались первые залпы. Тотчас обнаружилась слабость обветшавших укреплений. Со стен летели зубцы, вместо которых осажденные спешно возводили «избицы», набитые глиной. Скоро из-за сильного огня находиться на отдельных участках стен стало совершенно невозможно. Пришлось от так называемого пролома Шеина до Авраимиевского монастыря, под прикрытием

остатков стены, возводить на скорую руку земляной вал.

Август прошел так же, как июль: в дыму, в канонаде и в пожарах. За это время царские полки сумели блокировать Смоленск с другого берега Днепра. Разрушив часть Днепровского моста, по которому в 1633 году поляки ухитрились мимо стана Шеина провозить в город обозы и подкрепления, русские поставили против Елецких ворот батарею. 10-11 августа ворота были разбиты. Было ясно, что близится общий приступ.

Жизнь царя в смоленском лагере значительно отличалась от размеренного кремлевского бытия. И дело здесь вовсе не в различии декораций. Походный шатер царя при всей своей пышности, естественно, не мог сравниться с царскими палатами. Важно другое. В строгий придворный церемониал, отчасти сохраняемый в походном стане, постоянно и властно вмешивалась война. У войны же был свой особый распорядок, к которому приходилось подлаживаться. Однако нельзя сказать, чтобы такой поворот раздражал Алексея Михайловича. Скорее напротив, для него все было ново и необычно.

Была еще одна причина, которая примиряла царя с превратностями и трудностями походной жизни. Они были сопряжены с известиями приятными, заставляющими учащенно биться сердце. С самого начала осады в смоленский лагерь зачастили сеунщики с воеводскими отписками, в которых те извещали, что «Божиею милостию, а его государевым счастьем» одержана очередная победа; после таких вестей поневоле менялся весь распорядок: вестовщики бежали «отбивать ясаки», оповещая ратных людей о новом успехе; начальные люди и головы по «гласу» собирались к царскому шатру; Алексей Михайлович выходил принимать поздравления, ронять милостивые

слова и стоять в походной церкви торжественную службу.

Из многочисленных успехов лета 1654 года два были самых важных — взятие Полоцка и поражение Радзивилла.

На Полоцком направлении действовал Василий Петрович Шереметев, один из лучших царских воевод. Правда, один из его товарищей, ясельничий Ждан Васильевич Кондырев, был другого мнения и обвинял Шереметева в медлительности и нерадении. Ясельничий, по его собственным словам, предлагал первому воеводе не терять времени на осаду мелких городов, а идти, не мешкая, сразу под Полоцк, потому как там «никово ратных людей нет». Шереметев не послушался и потерял понапрасну три недели под Невелем; когда же после Невеля двинулся к Полоцку, то занял его на следующий же день, 18 июня!

Таким образом, Кондырев оказался прав, предлагая действовать смело и быстро. Но склонность к самостоятельности не была в традициях воевод, даже таких неплохих, как В. П. Шереметев. Да она и не поощрялась Алексеем Михайловичем, который мог лишь пожурить за поражение, понесенное при неукоснительном соблюдении статей наказа, и крепко осерчать за самоуправство и «высокоумие» — претензии на самостоятельность. Шереметев и не «высокоумничал», а выполнял наказ. Так было покойнее. И никто, кроме беспокойного Кондырева, не ставил вопрос иначе: а лучше ли так?

Падение Полоцка, о котором воеводы не преминули известить защитников Смоленска, сильно поубавило у последних решимости. Но еще более удручали известия от Радзивилла. В начале августа в московском лагере отпраздновали взятие Орши и отступление Радзивилла. 7 августа пришла весть о новом поражении гетмана. Отныне опасаться деблокирующего удара не

приходилось. Сценарий 1633–1634 годов стал совершенно невозможным, и осада пошла под диктовку царя и его воевод.

В ночь на 16 августа последовал общий штурм. Источники не дают возможности выявить степень участия царя в его разработке. В Разрядной книге глухо упомянуто, что к Днепровским воротам и Наугольной башне по указу царя приступал стрелецкий голова Артамон Матвеев. Должно быть, царский любимец не захотел оставаться в стороне и сам напросился на участие: царь, который вообще-то оберегал Артамона, снизошел до просьбы и сам указал, где атаковать. Это все, что можно выудить из документов: ясно, что на военном совете царь присутствовал; ясно, что не молчал, говорил, но не ясно, как — предлагал, соглашался или что-то отвергал?

В военном смысле план штурма был отменный. Приступ шел с нескольких направлений, удар наносился по самым слабым и уязвимым местам. Дело было за храбростью и за точностью исполнения. Первого хватило, во втором, как скоро выяснилось, обнаружился большой недостаток.

Официальные источники — разрядные записи — глухо обмолвились о неудачном штурме. Несколько многословнее был сам Алексей Михайлович. В письме родным от 23 августа он так описывал приступ: «Наши люди зело храбро приступали и на башню, и на стену взошли, и бой был великой», но в самый разгар боя поляки подкатили под башню порох и взорвали ее. Пришлось отступить. При этом, сообщает царь, литовцы потеряли человек с 200, «а наших ратных людей убито с триста человек да ранено с тысячу». Закончил послание Алексей Михайлович несколько необычной собственноручной припиской: «А о приступе не кручинетеса: ей, дородно и славно наши люди учинили

и их побили»^[251]. Остается не совсем ясным, что же «славно» учинили «наши люди», если их «побили»? Но царь, кажется, не задавался проблемами формальной логики. Он успокаивал родных.

Коротенькое письмоцо царя невольно наводит на сравнение. Сравнение эпох и личностей. Тишайший — созерцатель. Он наблюдает за боем, тогда как Петр непременно полез бы в самое пекло. Ему и в голову не могло прийти, что это не его «царское дело». «Лечу тело водами, а подданных примером», — говаривал царь на первом русском курорте, адресуя для «тела» — марциальные воды, а для подданных — свою неустанную службу Отечеству.

И еще одно размышление, связанное с письмом Тишайшего. Понятно, что выдавши, как людей «пушечным духом» в воздухе разрывает, Петр просто бы усомнился в побасенках о расторопных смоленских защитниках, которые в разгар боя сумели подкатить под башню порох и взорвать ее. Тишайший же, не испытывавший себя ни в одном бою, принял такое объяснение неудачи штурма без всяких сомнений: поляки не растерялись, подкатили бочки, взорвали их — значит, на то Божья воля и о неудаче приступа нечего и «кручиниться». Между тем сами поляки описывали дело совсем иначе. После захвата русскими участка стены и башни положение сложилось критическое — еще напор, и солдатские полки ворвались бы на улицы. «Но дивным промыслом Божиим, когда от пушечного выстрела помост с неприятелем на башне обвалился, произошел взрыв пороха, который они притащили с собой в башню. Пушки и люди, бывшие при них, взлетели на воздух... Наши воспрянули духом и снова вскочили на кватеры (участки стены. — *И.А.*), занятые врагом». Таким образом, никто из защитников мины не подкладывал, да и невозможно это было сделать под огнем, на виду,

среди камней и развалин. Похоже, что помог, как это часто бывает, случай — прихваченный самими штурмующими (!) порох.

Вообще, польские источники сообщают о штурме 16 августа более подробно и, как водится, с сильным преувеличением потерь противной стороны. По их описанию, русские полки пошли на приступ в два часа ночи, разом приставив 4 тысячи (!) лестниц. Успех сначала обозначился на Большом валу — месте, взорванном королем Сигизмундом III при осаде города в 1611 году. Но поляки контратаковали стрельцов и положили «несколько сотен с полковником Зубовым». Сильный приступ был на Днепровские ворота, за которым следил сам царь: здесь шел со своим приказом Артамон Матвеев. У защитников скоро вышли все заряды, они отбивались камнями, бревнами и даже ухитрились сбросить на головы атакующих два улья. Под конец наибольшая опасность случилась у упомянутого выше пролома Шеина, но взрыв пороха остановил атакующих. Штурм длился семь часов и, по признанию поляков, «сам Бог спас город. Если бы неприятель еще на полчаса продлил штурм, он ворвался бы... в крепость». Далее идет сообщение о потерях, сильно отличное от данных царя. Ссылались для убедительности на противника: «По словам самих москвитян», при штурме пало до 7 тысяч русских и около 15 тысяч было ранено^[252].

Во что действительно обошелся сторонам этот приступ, сказать затруднительно. Царю, кажется, не было резона лгать в письмах родным. Но ему могли соврать, как это случалось и до, и после 1654 года. Защитники же Смоленска вообще имели склонность прибегать к цифрам мифическим, что, впрочем, вполне простительно для оборонявшихся. Русскую армию они оценивали не в 30, а в 300 тысяч человек.

Соответственно умножались и потери. К тому же приведенные цифры исходили от сына смоленского воеводы, которому два года спустя на сейме пришлось защищать отца от обвинений в сдаче Смоленска. Потому препарировать события ему приходилось с особым старанием, подавая потери противника сообразно законам геометрической прогрессии. Но несомненно, что в одном упомянутый польский источник точен: прояви царь и его воеводы большую твердость и согласованность, поддержки вовремя атакующих резервами — город был бы занят уже в середине августа.

В русском стане неудаче придали куда меньшее значение, чем поляки победе. Алексей Михайлович духом не пал. Да и известия из полков, действующих на других направлениях, не давали для этого повода. Через несколько дней после августовского приступа Трубецкой и Черкасский у города Борисова в очередной раз настигли Радзивилла. По отпискам, гетман едва «утек с небольшими людьми ранен». Победителям достался гетманский бунчук и 12 полковых знамен. Трофеи были доставлены в царский лагерь, и Алексей Михайлович не удержался, чтобы не выставить захваченные знамена в шанцах напротив смоленских стен. Но главное, в царские руки попало письмо Обуховича к Радзивиллу, в котором воевода подробно описывал бедственное положение гарнизона и исчислял все слабости обороны. Грамотка была написана тайнописью, но то ли у царя оказался ключ к шифру, то ли смысленные подьячие его разгадали. Послание расшифровали и копию отправили Обуховичу, поступив совершенно так же, как поляки с перехваченными грамотками Шеина в предыдущую осаду. Эффект был одинаков: уныние, падение духа, чувство безнадежности. К тому же Обухович, из-за опасения быть обвиненным в тайных сношениях с неприятелем,

письмо прочитал перед шляхтой. Перечисление слабостей, о которых стало известно русским, окончательно смутило защитников. Надеяться было не на что.

Между тем в русском стане непрестанно грохотали пушки, извещая о новых победах. В конце августа — начале сентября были взяты Озерище, Гомель, Могилев, Пропойск, Нижний Быхов, Усвят и Шклов. В такой ситуации Обухович согласился начать переговоры. Возможно, он надеялся выиграть время, а там, кто знает, как повернется изменчивое военное счастье. Но смоленскому воеводе вольно было мечтать о чем угодно — последнее слово на этот раз было за Алексеем Михайловичем. Из русского лагеря в Смоленск давно уже протянулись тайные нити к сторонникам капитуляции, панам Голимонту и Соколинскому. Когда заговорщики получили от царя гарантии сохранения их имущества и привилегий, когда указано было «их ведать и оберегать от всяких обид и расправу меж ими чинить судье Галимонту», участь города была решена.

10 сентября под стенами города Обухович съехался с ближними стольниками Иваном и Семеном Милославскими и Артамоном Матвеевым. По русской версии, договорились о сдаче города и отпуске шляхты и горожан в Литву, «а которая шляхта и мещане похотят служить государю, и тем остаться в Смоленску». Изложение содержания переговоров Обуховичем несколько рознится: на съезде обговаривали условия сдачи, но еще не саму сдачу. Но обыватели сами устроили сеймики и приговорили немедленно сдаться Алексею Михайловичу. Обухович, узнав об этом, протестовал, однако протесты не помогли — гарнизон взбунтовался. У воеводы отобрали знамя, незаложенные камнями ворота отворили, и в Смоленск торжественно вступили русские полки.

Нет никаких оснований не верить Обуховичу, тем более что царская грамота главе «промосковской партии» судье Голимонту была дана до начала переговоров, еще 8 сентября. Но протестовал Обухович на самом деле не так громко, как позднее ему приписывали: с двумя тысячами деморализованных солдат и целыми участками стен, которые уже некому было защищать, всерьез об обороне думать не приходилось.

23 сентября остатки польского гарнизона через Молоховские ворота покинули Смоленск. Победители не упустили возможность обставить капитуляцию по подобию смоленской катастрофы Шеина. Это придавало победе терпкий привкус особого торжества, наделяло ее символическим смыслом. Тем более что в толпе победителей нашлись живые свидетели прежнего унижения. Это был престарелый шотландец Лесли, обрусевший и даже принявший, пускай и не без принуждения, православие. У Молоховских ворот был сыгран спектакль торжествующего православия. Но, в отличие от подобных спектаклей, поставленных Никоном, здесь еще присутствовала и вторая тема — тема торжества самодержавия, торжества Романовых, возвращавших «природные отчины».

Алексей Михайлович стоял в остроконечной шапке, в платье, унизанном жемчугом, с крестом и державой в руках. Перед ним было развернуто знамя с золотым орлом. Выехавший из ворот Обухович со знатными панами и начальными людьми сошли с лошадей и поклонились. Тотчас к царским ногам были положены польские знамена. Затем паны поднялись, знамена выпрямились, и гарнизон отправился восвояси.

В Смоленске остались почти все мещане и немало шляхты, среди которых были представители известных фамилий, в том числе подкоморий Смоленский, князь Самуил Друцкий Соколинский. Впрочем, шляхта в

большинстве своем передалась неискренне, ради спасения своих имений. Ясно, что при случае она готова была податься назад, в подданство польского государя.

После сдачи Смоленска ждали сеунщиков от Шереметева, топтавшегося под Витебском. По наказу воевода промышлял все больше «зговором», чтобы государевым людям «изрону не было». Но на этот раз это не принесло желаемого результата: на все уговоры защитники отвечали жестокими вылазками. Из-за зарядивших дождей срывались все попытки поджечь город. Так что Алексей Михайлович, не дождавшись приятных новостей, принужден был выступить из Смоленска назад. По дороге он устраивал смотры служилым людям, после которых распускал их по домам. Отпуск был непродолжительным: приказано было к весне быть готовым ехать в полки, а зимой вести запасы в Смоленск.

21 октября царь был уже в Вязьме — городе, еще совсем недавно числившемся порубежным. Теперь граница отодвинулась далеко на запад, и одно это делало возвращение царя триумфальным. Однако едва ли настроение Алексея Михайловича соответствовало моменту. С приближением к Москве было отчего впасть в беспокойство — в столице лютвало моровое поветрие.

Моровое поветрие

Первые признаки чумы объявились летом 1654 года. Люди вдруг покрывались язвами и умирали в три-четыре дня. Были больные и без язв. Тогда болезнь — легочная чума — протекала несколько дольше, в семь-восемь дней, с кровохарканьем и с тем же трагическим исходом.

На болезнь поначалу не обратили внимания. И лишь с умножением числа смертей по Москве поползли страшные слухи о «прилипчивой болезни», от которой нет спасения. Людей охватила паника. Началось бегство. Первыми «в подмосковные деревнишки ради тяжелого духа» потянулись те, кому было куда бежать, — придворные чины, столичные дворяне. «Все приказы заперты, дьяки и подьячие умерли, и все бегут из Москвы, опасаясь заразы», — сообщали царю. Оставленные ведать столицу бояре князя М. П. Пронский и И. В. Хилков перебрались из домов на открытые места. «В Москве в слободах помирают многие люди скорою смертью, и в домишках наших тоже учинилось, и мы, холопи твои, покинув домишки свои, живем в огородах»^[253].

Встревоженный Никон вздыхал: «Не положил ли Господь Москву и окрестные города пусты»?^[254] По его настоянию, царица с царевичем Алексеем Алексеевичем и сестрами царя в середине июля отправились в Троицкий поход — и уже не возвращались в столицу, закружив по дворцовым селам и дорожным станам. В августе к ним присоединился и патриарх, которому было велено находиться при царской семье для «бережения ее от морового поветрия». От Никона, царевича и царицы к боярам М. П. Пронскому и И. В. Хилкову постоянно слали грамотки с главным

вопросом: «не тишает ли моровое поветрие»? Но оно не «тишало», а напротив, «множилось» и «день ото дня больше пребывало», опустошая уже не отдельные дворы, а целые улицы и слободы.

Царское семейство в конце концов обуял такой страх, что 7 сентября со стана на реке Нерли боярам была отправлена грамотка с запрещением «наших и никаких дел не делати и к нам ни о каких наших делех не писать». Пронскому указано было, минуя царицу и царевича, пересылаться прямо с государем. Но боярину о такой «милости» не довелось уже узнать. «Ждем часу смертного», — вздыхал он в надежде все же этого печального часа не дожидаться. Увы, дождался. 11 сентября Пронский умер. На следующий день скончался его товарищ, боярин Хилков. Третье лицо, ведавшее Москву, окольниковый князь Ф. А. Хилков лежал при смерти. Странное стечение обстоятельств: под Смоленском царь ликовал по поводу только что взятого города, а опустошенная Москва пребывала «в безначалии». Князь Иван Андреевич Хилков и думный дьяк Алмаз Иванов самочинно, без государева указа, принуждены были взять на себя управление столицей.

Все попытки остановить поветрие, изолируя больных, успеха не приносили. Несмотря на строжайший наказ дворы с больными «затворить и завалить», чума распространялась. Не успевали отпевать и хоронить мертвых. Да и отпевать скоро стало некому. Из столицы доносили: попы отпоют умершего, придут домой, «разнемогутца» и помрут [\[255\]](#).

В начале осени И. А. Хилков сообщил, что из шести стрелецких приказов не наберется людей уже на один полк. Умножились разбои и грабежи. 5 сентября «тюремные сидельцы», проломив стену Тюремного двора, разбежались по улицам. За малолюдством ратных людей пришлось затворить Кремль. Оставлена

была одна калитка на Боровицком мосту. Церкви стояли без пения, монастыри — без монахов. На улицах из моровых дворов валялись «вымятанные постели и всякое рухлядишко»: их никто не подымал, и все лежало обметанное и вмерзшее в снег.

Традиционное сознание объясняло обрушившуюся катастрофу как наказание за грехи и шатания в вере. «Бога убегнуть кто может?» — вопрошали отчаявшиеся москвичи, имея в виду бесполезность всяких суетных попыток избежать смерти. Но то же традиционное сознание искало главного виновника, ответственного в пролитии «Спасова гнева». Расколоучителя давно уже смущали народ открытой критикой никоновских «новин», затоптавших древнее благочестие. Здесь, кстати, подоспело солнечное затмение в начале августа, никоновское «иконоборство» и, наконец, патриарший отъезд из города, воспринятый как бегство, забвение пастырского долга. Все это в разгоряченных головах оборачивалось против Никона.

25 августа толпа окружила вышедшего после обедни из Успенского собора боярина М. П. Пронского, предъявив ему образ «Спаса Нерукотворены» со стертым ликом. Толпа шумела, что сделано это было по патриаршему повелению. Обвинители не искали доказательств: вся Москва знала, что по приказу Никона повсюду изымались иконы, написанные «фряжским письмом». Каков был на этот раз образ Спаса — неизвестно, но его владелец, посадский человек Софронко Лапотников, тут же поведал о ниспосланном ему видении: вымаранный образ должен был предстать перед мирскими людьми, а те должны «за такое поругание стать».

Волнения, правда, не получили продолжения. Пошумев, толпа разошлась. Причина того — не вялые уговоры вконец растерявшихся властей, а сама чума: моровая язва и здесь выстудила все страсти самым

сильным средством — смертью. Но власти были немало напуганы. По-видимому, именно в связи с московскими событиями 27 августа из стана царицы и царевича из-под Троицы были наскоро отправлены в столицу увезенные «святости» — иконы Казанской божьей Матери и преподобного Сергия, «чтоб Господь Бог утишил праведный свой гнев»^[256].

Чума не ограничилась Москвой. Болезнь объявилась во многих городах. На заставах велено было всех пришлых из чумных мест без всякой пощады гнать назад, при ослушании или попытке обойти заставу потаенными тропами — ловить и казнить. Жесткие меры помогали плохо: беглецы всеми правдами и неправдами обходили заставы, расширяя зачумленное пространство. Удалось остановить напор болезни лишь на Смоленском направлении. Здесь и застав было больше, и строже спрашивали за нерадивость: карантинная линия оберегала государя и войско.

В середине сентября царская семья отправилась искать спасения от чумы за стенами Калязинского монастыря. Добирались туда с великими предосторожностями. Когда узнали, что через дорогу накануне перевезли гроб с телом умершей от чумы жены влиятельного деятеля Ивана Афанасьевича Гавренева, велено было на крестце, по обе стороны сажень на десять и больше, «накласть дрова и выжечь то место гораздо», а уголья и землю собрать и свезти подальше^[257].

Однако и в монастыре, за частыми заставами и сторожами, страх не отпускал. Никон указал разведывать безопасные дороги на северо-запад, в новгородские земли. Не ясно, был ли это почин самого патриарха, недавнего главы Новгородской митрополии, или о новгородской земле упомянул сам царь, но в выполнении замысла скоро отпала нужда. В середине

октября от И. А. Хилкова пришли грамотки с обнадеживающими известиями: «А моровое поветрее на Москве октября с 10, милостию Божию, учало тишеть и болные люди от язв учали обмогаться».

Алексей Михайлович вызвал семью в Вязьму. Пока те ехали — очень беспокоился. «А что едете ко мне и зело о том радуюсь и жду вас, светов, как есть слепой свету рад», — писал он в начале ноября сестрам [\[258\]](#).

С приближением зимы и холодов эпидемия пошла на убыль. В декабре сообщали царю, что поветрия уже нет, и в рядах сидят и торгуют. Царь, однако, требовал более точных сведений и чрезвычайно раздражался с их задержкой. «И то знатно, не опасаясь нашего государева здоровье и без ума пишите неподлинно! — в сердцах выговаривал он в январе 1655 года боярину И. В. Морозову, посчитав его очередную отписку о состоянии дел в столице совершенно недостаточной. — Пригоже было вам и еженедель про смертоносную язву, также что и в царствующем граде Москве, писать» [\[259\]](#).

Частые запросы московским властям, унялось ли поветрие «или еще порывает», не были случайными. Тишайший намеревался приехать в январе в столицу. Были разосланы даже грамоты, собственноручно отредактированные царем, где было объявлено о желании государя идти в столицу «лехким делом», чтобы поклониться церквям и всех людей «от печали обвеселить и утешить». После чего Алексей Михайлович должен был, не мешкая, двинуться «противу полского короля». Однако этим планам не скоро было суждено воплотиться в жизнь: то ли поопасался сам Алексей Михайлович, то ли его уговорили повременить придворные, но приезд царя был отложен до полного «выздравления» столицы.

Чума не просто испугала молодого государя. В начале 1655 года Алексей Михайлович признавался в

письме «верному рабу» Артамону Матвееву в утрате душевного равновесия: «Мы пребываем по-прежнему в тяжестях великих душевных, но не отчаиваемся своего спасения, к сему же что речет великое солнце, пресветлый Иоанн Златоуст: не люто есть вспоткнувся, люто есть, вспоткнувся, не поднятца...»^[260] Душевная тяжесть была порождена вопросом — в чем же провинился он, благочестивый государь, и его Православное царство?

Объяснение и средства исправления положения между тем таились в самом вопросе: Господь насылает наказание за грехи поветриями или нашествиями иноплеменных. Спасение — в усердных молитвах об избавлении от приходящей скорби, неустанное покаяние и еще большее радение в делах. Последнее было в духе времени, предлагающем достижение благочестия не одними молитвенными подвигами, но и земными делами.

Возвращению государя предшествовал приезд в Москву дьяка Новой Четверти Кузьмы Моншина. Ему предстояло хотя бы примерно выяснить размеры и последствия поветрия. Они оказались катастрофическими. Число «убылых людей» ввергало в ужас. Особенно запустевшими оказались места большого скопления людей — монастыри и боярские дворы, в которых в великой тесноте ютилась челядь. В Чудове монастыре, сообщал дьяк, живых старцев 26, «умре» 182; в женском Вознесенском монастыре, последнем пристанище цариц и царевен, из 128 стариц осталось 30. Но здесь еще служили службы, а в Ивановском женском монастыре, где умерли все священники и дьяконы, было тихо и беззвонно — лишь немногие уцелевшие монахини, затворившись, молились по кельям.

Тихо, было и в боярских усадьбах. У Б. И. Морозова в доме осталось в живых 19 человек, 343 умерло. У князя А. Н. Трубецкого соответственно 8 и 270. Многолюднее было у Я. К. Черкасского — выжило 110 человек. Но 423 человека унесло поветрие^[261].

Миссия Кузьмы Моншина не привела да и не могла привести к выявлению точной цифры потерь. Современники говорили о семидесяти тысячах умерших^[262]. Не приходится сомневаться, что картина была не просто тягостна — ужасна.

Страх перед чумой — «посещением Божиим» — будет преследовать Алексея Михайловича всю жизнь. Весной Петр Марселис предложил купить три «инроговых рога» — рога носорога, обладавших, по представлениям того времени, чудодейственными лечебными свойствами. Была объявлена и цена в 10 тысяч рублей^[263]. Алексей Михайлович загорелся: «дохтуру» Артману Граману было приказано осмотреть «инроги» и дать свое заключение. Иноземный лекарь объявил, «что те рога, по признаком, как философии пишут, прямые инроговые рога» и оценил их в шесть тысяч рублей. Здесь в Алексее Михайловиче заговорил рачительный хозяин. Рога очень хотелось приобрести, поскольку, по уверению Грамана, «от морового поветрия те рога имеют силу болшую, у которого человека объявится моровое поветрие, и того рога тотчас принимать с безуем и потеть, и после того моровое поветрие минуется». Но цена показалась царю чрезмерной, и он наказал торговаться, предлагая за два лучших рога соболей, «а будет задорожится, пождав, один купить, что надо»^[264].

Поветрие обошло царскую семью. Это обстоятельство еще более упрочило положение Никона: патриарх своевременно увез все царское семейство, что и было поставлено ему в заслугу. Сам Никон

«приволокся» в столицу 3 февраля 1655 года. Впечатление от увиденного было очень тяжелым. Более всего архипастыря поразили нетоптанные снега на улицах. «Непрестанно смотря плакал, — сообщал он царю. — Великие пути в малу стезю потлачены, дороги покрыты снеги и некем суть не следимы, разве от пес». Это «разве от пес», кажется, самое страшное в скорбном описании...[\[265\]](#)

Ощущение Никона можно сравнить с тем, что увидели в столице люди, прежде никогда не бывавшие в ней. Сын приехавшего в Москву Антиохийского патриарха Макария, архидиакон Павел Алеппский, рассказывал: Макарий после долгих мытарств, связанных с войной и чумой, въехал в Москву за день до появления Никона. Греки были поражены размерами города. Но «когда мы въехали в город, наши сердца разрывались и мы много плакали при виде большинства дворов, лишенных обитателей, и улиц, наводящих страх своим безлюдьем».

Чума сильно усложнила военные действия. В Москве и в царском стане опасались, что болезнь обрушится на полки. Такое было бы пострашнее нашествия всего польского войска. На смоленском направлении были приняты самые строгие карантинные меры: указано было под страхом смертным «засечь» все дороги и дорожки.

Однако если людей можно было придержать, то как быть со всякими запасами «для приступных промыслов» или с казною? Поветрие потому и поветрие — «в воздушном растворении» кинет болезнь на казенные сундуки, из которых «язвенные деньги» перейдут в карманы служилых людей — вот и несчастный поворот в счастливо начатом деле. Без денег же войну вести было никак нельзя. Пришлось выискивать способы их

получения: Алексей Михайлович распорядился деньги «перемывать» и лишь затем раздавать [\[266\]](#).

Охранительные меры дали свои результаты. Поветрие не опрокинулось на царское войско, осложнив лишь его снабжение, а затем, по окончании кампании, — процедуру роспуска полков.

Между тем всему, в том числе и моровому поветрию, приходит конец. 10 февраля, почти следом за Никоном, царь въехал в Москву.

После всех громких побед царский въезд должен был отличаться особой торжественностью. Но чума сильно испортила общую картину. Правда, Алексею Михайловичу не грозило безлюдье — на улицы выгнали всех, кто остался в живых. Однако прежней густоты уже не было. Как символ запустения стояла почерневшая Фроловская (Спасская) башня с испорченными часами и замолкшим голосом столицы — часовым колоколом. Из-за пожара, которого некому было тушить, колокол, проломив своды, упал и разбился. Павел Алеппский не преминул отметить, что царь еще издали, кинув взгляд на обгоревший верх Спасской башни, стал «проливать обильные слезы».

Никон в окружении высшего духовенства встретил царя у ворот Земляного города. Посадские по традиции поднесли государю подарки и хлеб с солью. Затем процессия двинулась к Кремлю. Войско шло по трое в ряд «в ознаменование Святой Троицы». Греков поразил стройный порядок движения войска и пышные знамена с образами Богородицы, Спаса, святых Михаила Архангела, Георгия и Димитрия и двуглавыми орлами — «изображениями печати царя».

О приближении царя к Кремлю «известили» стрельцы, которые, метлами «выметали снег перед царем». Царь шел пешком, с непокрытой головой, беседуя с Никоном. «Всего замечательнее, —

продолжает Павел Алеппский, — было вот что: подойдя к нашему монастырю, царь обернулся к обители монахинь, что в честь Божественного Вознесения, где находятся гробницы всех княгинь; игуменья со всеми монахинями в это время стояла в ожидании; царь на снегу положил три земных поклона пред иконами, что над монастырскими воротами, и сделал поклон головой монахиням, кои отвечали ему тем же и поднесли икону Вознесения и большой черный хлеб, который несли двое; он его поцеловал и пошел с патриархом в великую церковь, где отслушал вечерню, после чего поднялся в свой дворец»^[267].

Впрочем, то, что так поразило Павла, не вызвало никакого удивления среди москвичей. Это для греков, православие которых издавно было стеснено чужеверием завоевателей, а религиозное рвение остужено привычкой к послаблению, подобная демонстрация благочестия оказалась в диковинку. Для русских поведение царя было обычным — обычно благочинным.

Второй поход

Успехи Москвы произвели большое впечатление в Восточной Европе. Планы следующего, 1655 года уже выстраивались с учетом произошедших изменений. Швеция в переговорах с Речью Посполитой заняла еще более неуступчивую, жесткую позицию. Все разговоры о компенсации «шведского наследства» — прав польских Ваза на шведский престол — были оставлены. Шведский король Карл X окончательно склонился к мысли о войне с Яном Казимиром. Ситуация представлялась ему крайне благоприятной. Польша ослаблена: внутренние раздоры, потеря Украины, неудачи в войне с Москвою. Больше того, надо спешить, опередить Москву: ведь под владычеством царя оказалась почти вся восточная часть Великого княжества Литовского. А это прекрасный плацдарм для броска к вожделенным балтийским берегам.

В Варшаве уловили перемену в позиции Швеции. Но надеялись отвести угрозу бесконечными переговорами и мелкими уступками. Большие надежды возлагались и на предстоящие победы на востоке, которые должны были укрепить положение страны и образумить Стокгольм. Уже в конце 1654 года оба литовских гетмана, Радзивилл и Гонсевский, получив подкрепления, перешли в контрнаступление. Несколько позднее коронный гетман Потоцкий, соединившись с крымскими и ногайскими ордами, двинулся на Украину.

В декабре Радзивилл осадил Новый Быхов. Однако штурмовать город гетман не стал и лишь «тесноты чинил и дороги отнял». В начале февраля 1655 года Радзивилл подошел к Могилеву. В надежде взять город он полагался на помощь православной шляхты, успевшей присягнуть Алексею Михайловичу, а затем,

через своих посланцев, объявившей гетману о своем намерении искупить прежние вины и вернуться в королевское подданство.

«Шатость» православной шляхты не была случайной. Москва немало давала, но немало и требовала, причем на свой тяжеловесный, самодержавный лад. «Золотые слова шляхте и городам на бумаге надавали, а на ноги шляхте и мещанам железные вольности наложили», — жаловались православные шляхтичи, и в этих стенаниях была большая доля правды. Привычные для них и для жителей городов права и вольности плохо укладывались в сознание московских воевод. Очень скоро шляхта завопила про «пущую неволю», в какую она угодила по «доверчивости» и «приверженности к вере». Впрочем, особой доверчивости, как мы помним, и не было. Был расчет — желание сохранить свои владения, и предосторожность — стремление вовремя примкнуть к победителю.

На третий день после начала осады Могилева полковник-шляхтич К. Полонский пропустил с Зарецкой стороны за большой земляной вал поляков. Застигнутый врасплох русский гарнизон с трудом отстоял «меньшой вал» и острог. Однако дальнейшие приступы были отбиты, и в начале мая, отчаявшись взять Могилев, Радзивилл подался назад за Березину. Эта неудача положила конец наступательным действиям литовских гетманов в Белоруссии. Инициатива вновь перешла в руки царских воевод.

Зимой ожесточенная борьба развернулась на Правобережной Украине. Когда в начале 1655 года Потоцкий в очередной раз осадил Умань, в осаду с Богуном сели не только казаки, но и горожане и селяне. Кроме того, в Умани оказалось шесть рот русских драгун под командой майора Х. Графта и капитана В. Колупаева. Защитники залили водой склоны вала и,

укрывшись за рукотворными ледяными кручами, поражали противника. Вскоре к ним на помощь из Белой Церкви выступили Хмельницкий и воевода В. П. Шереметев. Объединенное русско-украинское войско насчитывало более 30 тысяч человек.

Потоцкий устремился ему навстречу и в жестоком январском ночном бою под Ахматовым едва не разгромил русских и казаков. Уже были захвачены орудия, уже царские сотни показали спину, как в тыл коронному гетману ударил с горсткой казаков Богун. Смятение, охватившее поляков, позволило Хмельницкому и Шереметеву навести порядок в своих рядах. Два последующих дня объединенное войско, укрывшись за рядами саней, пятилось к Белой Церкви. Потоцкий наседал, бросая в бой лучшую прусскую пехоту из ленных Короне областей, но рассечь боевые порядки украинцев и русских не сумел. Этот «малороссийский Аннабазис» проходил в такую лютую стужу, что казаки позднее прозвали урочище, через которое проходил их путь, Дрижиполем — полем дрожи от холода.

Потоцкий очень надеялся на помощь татарских отрядов нового хана Менгли-Гирея. Но ординцы совсем не горели желанием наскакать на ряды сцепленных телег и рогаток. Верные себе, они предпочли уклониться от прямого боя. Более всех негодовал горячий Стефан Чарнецкий, искренне считавший, что одно только «алалаканье» — боевой клич татар — позволило бы успокоить Украину «вечным покоем».

Упустив противника, польские войска принялись с неистовством громить и выжигать украинские местечки и селения. «Горько будет вашему величеству уведать о разорении вашего государства, но иными средствами не может усмириться неукротимая хлопская злоба, которая до сих пор только возрастает», — оправдывал свою жестокость в донесении Яну Казимиру

С. Потоцкий. Жолнеры руководствовались еще более простой установкой: лучше пускай все обратится в прах, чем отчизна станет страдать от «изменников». Пуще всех неистовствовали крымские татары, число которых резко возросло с подходом калги Кази-Гирея. Они широко растеклись по Правобережью, убивали, грабили, брали ясырь. Когда по весне, отягченные добычей, орды тронулись назад в Крым, поляки заговорили об украинском полоне в 200 тысяч человек. Даже если иметь в виду склонность современников к преувеличению — в исторических исследованиях фигурирует цифра вчетверо меньше^[268] — все равно следует признать несоразмерно огромной плату Речи Посполитой за свой союз с Крымом. Разоренная Украина пылала ненавистью к тем, кто навел степняков на ее села и городки.

Весной 1655 года в ход пошли аргументы весомее прежних — царские полки. Предполагалось, что В. П. Шереметев двинется на Вильно. В том же направлении — из Смоленска на Борисов — Минск — Вильно выступит Большой полк и казаки Золоторенко. А. Н. Трубецкому предстояло взять Старый Быхов, который сумел устоять в боях 1654 года, и затем наступать на Слуцк и Брест. Наконец В. В. Бутурлину наказано было совместно с гетманом Хмельницким очистить Западную Украину.

Успехи 1654 года распалили Алексея Михайловича. Царь жаждал новых, еще более весомых побед и потому решил принять и на этот раз личное участие в боевых действиях. При большой доле тщеславия, в общем-то для него несвойственного, это стремление второго Романова было достаточно разумным: надо выжимать из благоприятной ситуации все возможное.

Раннее начало новой кампании было предрешено еще в октябре в Смоленске, когда, распуская по домам

ратных людей, Тишайший повелел им собраться на службу к Вязьме к 17 марта 1655 года. Чтобы самому успеть к сроку, он покинул Москву 11 марта. Но съезд ратных людей по обыкновению затянулся. Царь вынужден был прибегнуть к угрозам. По городам были разосланы грамоты с жесткими упреками воеводам в нерадении. Всем приезжающим после срока было объявлено, что за их вину они достойны конфискации поместий и вотчин, однако государь в честь своего ангела велел наказание отставить. Но если «впредь хотя едино хто слово молвить и поставить ни во што нашу государскую милость... или на нашу государскую милость надеючись больши тово дуровать и в оплошку поставить наш государев указ, и тем людем быть разореным бесповоротно»^[269].

Угрозы подстегнули нерадивых. Вскоре царь не без удовлетворения сообщил сестрам о скором съезде ратных людей: «почали» съезжаться человек с 500 и ныне «беспрестани едут»^[270].

31 марта царь прибыл в Смоленск. Здесь пришлось задержаться. Наступавшие войска испытывали большие трудности с продовольствием, и Тишайший вынужден был вплотную заняться этой проблемой. Лишь в конце мая Алексею Михайловичу удалось частично справиться с ней и отдать приказ о выступлении. Этому предшествовало обращение к служилым людям, в котором угадывается стилистика Тишайшего: «Если король не вспомнит Бога, не признается к нам, великому государю, в своей неправде и не станет мириться так, как угодно Богу и нам, то мы, великий государь, прося милости у Бога и у престрашные и грозные воеводы, Пресвятые Богородицы, которая изволила своим образом и до днесь воевать их Литовскую и Польскую землю, и не могут нигде противу нее стати, ибо писано: лихо против рожна прати...

Будем зимовать сами и воевать... и как, даст Бог, перейдем за реку Березину, то укажем вам везти хлеб и животину брать в приставство. И вам бы служить, не щадя голов своих; а деревень бы не жечь для того, что те деревни вам же пригодятся на хлеб и на пристанище. А кто станет жечь, и тому быть во всяком разорении и ссылке. И вам бы потщиться верою и правдою, от всего чистого сердца, с радостью, безо всякого сомнения, безо всякого ворчания, и переговоров бы о том отнюдь не было: кто скуден, тот пусть милости просит у государя, а не ворчит и не бежит со службы. А кто будет с радостью нам служить до отпуску, тот увидит, какая ему государская милость будет».

Царское обращение приоткрывает стиль мышления Алексея Михайловича. Горячее религиозное чувство не мешает царю обращаться к разуму подданных — не стоит жечь деревни, самим пригодятся. Но в этом прагматизме не только выражение личностных свойств Тишайшего, а и выражение эпохи, для которой понятия полезности и целесообразности становятся не пустым звуком.

В июне царская ставка разместилась под Шкловом. Здесь войско вновь настигла досадная заминка: пришлось ждать подводы с продовольствием, а «кой час запас придет, и мы, прося у Бога милости... пойдём за Днепр к Борисову»^[271].

Военные действия между тем развивались не столь удачно, как в 1654 году. Взяв Велиж, Шереметев не пошел, как первоначально предполагалось, на Вильно: известия о том, что Карл X увеличил численность своих войск в шведской Ливонии, заставили позаботиться об охране собственных рубежей. Военные приготовления шведов объяснялись просто. В Стокгольме всерьез опасались, что русские займут все земли Великого княжества Литовского. «И Смоленск им не таков

досаден, что Витепск да Полоцк, потому что отнят ход по Двине на Ригу», — отмечал Алексей Михайлович, вполне разобравшийся в целях шведов.

Царь, однако, пока мало задумывался над тем, к чему может привести растущее взаимное недоверие между Москвою и Стокгольмом. Его более привлекала внешняя сторона происходящего. Алексей Михайлович тешит свое самолюбие тем, что отныне стал грозен своим соседям. Карл X, не без иронии замечает государь, в своих посланиях «братом не смеет писаться», а про вечный мир говорит «не от братской любви, а вдвое того от страху». Политика — это столкновение не только интересов, но и характеров, и Тишайший вполне подтверждает это. Из его письма легко видеть, сколь много тщеславия, пусть и разбавленного насмешкой, присутствует в его мыслях.

Между тем положение Речи Посполитой с вторжением на ее территорию войск Карла X резко ухудшилось. Польша уже не имела возможности выделить сколько-нибудь значительные силы для обороны восточных областей. Неудивительно, что к середине лета военные действия здесь стали развиваться под диктовку Москвы. В начале июля в ставку пригнали сеунщиков с известием о взятии Минска. Алексей Михайлович поспешил сообщить о победе домой, мелочно перечислив все трофеи: языков взяли 15 человек, «да знамя белое, а на нем клеймо, да 2 барабана»^[272].

В конце июля Я. К. Черкасский и наказной гетман Золотаренко атаковали Радзивилла и Гонсевского, людей их «побили и гнали, и на спинах их в город въехали, и город Вилню взяли»^[273]. Весть о падении столицы Литовского княжества застала Алексея Михайловича в деревне Крапивна, в пятидесяти верстах

от Вильно. Победа была весомая, и в ставке установилась радостная и оживленная атмосфера.

В августе пали Ковно и Гродно. С начала сентября стали приходить известия об успехах А. Н. Трубецкого, вступившего в Клецк, Ляховичи, Столовичи и в другие белорусские городки и местечки. Литовские гарнизоны удержались в немногих городах — в Старом Быхове, Слуцке и Бресте. Все попытки взять их приступами окончились неудачей. В октябре С. Урусова и Ю. Борятинского сильно потрепал под Брестом гетман Сапега. Впрочем, воеводы скоро оправались и сами перешли в наступление, «гетмана и польских людей побили наголову, а секли их, гоняли... за шесть верст до Брести». В город, правда, и на этот раз не сумели ворваться.

Между тем шведы, спеша ограничить победное шествие русских, вступили на территорию Великого княжества Литовского. Это заставило на ходу вносить изменения в планы. Но вот вопрос: какими они должны были теперь стать?

С этого времени в царской переписке все чаще появляется имя А. Л. Ордина-Нащокина. Правда, до звездного часа Афанасию Лаврентьевичу было еще далеко. Но царь уже приметил этого бойкого и умного служилого человека, способного не только исполнить задуманное в Разряде или в Посольском приказе, но и предложить свое. В начале войны Ордин был отправлен воеводой в приграничный городок Друи с более широкими, чем просто городской воевода, полномочиями. Действия шведов побудили его заговорить о необходимости похода к Динабургу. Стоявший на берегу Западной Двины городок был важен в стратегическом отношении. Тот, кто владел им, контролировал речной путь к Риге. Царь, не без колебаний, разрешил поход. Но малочисленных сил Ордина-Нащокина для штурма не хватало, а боярин

Салтыков посчитал унижительным стать «сходным воеводой» при малородовитом Ордине. В очередной раз в планы вмешалась хроническая болезнь русских воевод — местнические счеты.

Местничество давно уже было признано «враждотворным» и «пагубным» обычаем. Однако все попытки избавиться от него оканчивались неудачей. В лучшем случае удавалось ограничивать сферу местнических счетов. И все же местничество повинно во многих поражениях, причем в большинстве случаях мы можем лишь предполагать его «соучастие» в неудаче — ведь воевода мог просто «опоздать» с появлением на поле сражения или строго следовать наказу и не оказать помощь и т. д.

Алексей Михайлович, как и его предшественники, всеми мерами боролся с местническими счетами. К традиционному для военной поры ежегодному указу о «безместии» он добавил в 1655 году собственную подпись, призванную подчеркнуть важность предпринимаемой меры: «...Наша царская рука в разрядной книге будет потому, что в нынешней службе мест нет и быть всем без мест»^[274]. Но, как видно, и этого было недостаточно. Причина вовсе не слабохарактерность Тишайшего. Подобные указы в продолжение многих лет пасовали перед всем строем жизни аристократии, для которой потеря «отеческой чести» была пострашнее государевой опалы. Чтобы изменить этот пагубный порядок, требовались иные представления о чести и службе, то есть перемена во взглядах и в отношении как власти, так и самой аристократии.

Из-за трений между Ординым и Салтыковым время было упущено. Литовцы отогнали друйского воеводу, а позднее передали Динабург шведам. То был прямой результат договора Я. Радзивилла о переходе Великого

княжества Литовского под протекторат Швеции. Москва не пожелала признать этот договор. Но с союзом шведов с великим гетманом принуждена была считаться. Потому воевода Большого полка Я. К. Черкасский отказался от нападения на стоявшего в Кейданах Радзивилла.

Бои шли не только в Белоруссии, но и в Западной Украине, куда двинулись полки Хмельницкого и В. В. Бутурлина. Летом им удалось овладеть Брацлавщиной, Подолией и Волынью и в середине сентября 1655 года подойти к Львову. Здесь, в местечке Гродека, расположились польские войска, совсем еще недавно активно действовавшие на Правобережной Украине, а теперь пребывавшие в состоянии растерянности и даже паники.

Причина тому — разномыслие и падение духа. Речь Посполитая переживала одну из самых трагических страниц своей истории. С июля 1655 года к войне с Московским государством добавилась война со Швецией. Наступление Карла X оказалось не просто победоносным — триумфальным. В конце июля великопольское посполитое рушение — шляхетское ополчение — сложило оружие перед генералом Виттенбергом. В августе в Кейданах гетман Радзивилл признал протекторат Карла X над Литовским княжеством. При этом магнатам и шляхте было гарантировано сохранение их прав и привилегий и в перспективе — восстановление территориальной целостности княжества, то есть возвращение занятых русскими городов в Белоруссии. 29 августа Карл X занял Варшаву. В начале октября пал Краков, древняя столица Польского государства.

Все эти драматические события произошли вскоре после того, как войска Потоцкого отступили ко Львову. Но сам воздух, каким дышали польские ополченцы, уже был пронизан метастазами предательства и

разложения. У шляхты еще хватило смелости подняться в поход и сбиться в шумные хоругви. Но в этих хоругвях не было ни воодушевления, ни стойкости духа, которые бы компенсировали слабость дисциплины и воинских навыков.

В конце сентября царские полки атаковали лагерь у Гродека. Жолнеры дрались мужественно и даже потеснили рейтар, которые навели противника на казацкую пехоту. Последовали удары по флангам. Жолнеры поддались. Ополченцы не сумели оказать им помощь и сами стали отступать. Последние остатки мужества растопили панические крики: «Новое войско идет на нас!» Все смешалось. О сопротивлении уже мало кто думал. Гетман Потоцкий едва во второй раз не угодил в плен к Хмельницкому. Между тем «новое войско», принятое шляхтичами за противника, на самом деле было перемышльским ополчением, спешившим им на помощь. Опоздало оно совсем немного. Но в таких сражениях и немного — очень много, если итог — поражение.

Победа позволила приступить к правильной осаде Львова. Но осаду Хмельницкий повел вяло. Больше было пересылок парламентарями, чем ядрами. Богдан требовал капитуляции, при этом много оправдываясь и демонстративно высказывая свое недовольствие союзником — русскими. Позднее польские послы в стане гетмана обратили внимание на то, что духовник гетмана, читая молитву, не упомянул царского имени.

Осада продолжалась весь октябрь. «Не надейтесь более на вашего короля Яна Казимира, — уговаривал Хмельницкий защитников Львова. — Об нем говорить нечего: уже шведский король овладел Краковом, а мы с ним вошли в братство и положили такой договор, что шведский король и московский царь с казаками в союзе все разом наступят на Польшу. Мы уже поделились. Король шведский держит то, что ему Бог дал, а нам

помог Бог овладеть нашей русской землею, там мы за нее стоим и хотим, чтобы и волки сыты и овцы целы».

Гетман преувеличивал, подавая дело так, будто все противники Речи Посполитой навалились на нее в полном согласии между собой. На самом деле они рвали страну порознь, ревниво поглядывая друг на друга. Но вот «братства» с Карлом X Хмельницкий действительно искал. Подо Львовом к нему прибыли посланцы шведского короля, сообщившие о согласии Карла X признать Богдана правителем всей Украины. При этом король готов был заключить с гетманом союз, направленный как против Яна Казимира, так и против Алексея Михайловича.

Здесь же, подо Львовом, Ян Казимир поспешил опровергнуть заявления Хмельницкого, что «об нем, короле, говорить нечего». К казакам приехал королевский посланник Станислав Любовицкий. Горькие уроки многому научили короля. Он изъявил согласие пойти на значительные уступки. Но Хмельницкий отказался вернуться в подданство. В беседах с Любовицким гетман заговорил о полной самостоятельности Украины, для чего приводил в пример испанского короля, даровавшего суверенные права Голландии. При этом стороны делали вид, будто Переяславльского договора не было вовсе.

Поведение Хмельницкого свидетельствовало, что одной только Рады, жалованных грамот и взаимных обещаний было слишком мало для прочного политического единения. Оно должно было прорасти годами, видимыми выгодами, которые раньше, до принятия подданства, представлялись бесспорными, а после стали сомнительными. В итоге, как только ситуация изменилась и для гетмана со старшиной открылись новые перспективы, все вновь заколебалось. Иным показалось, что с началом Первой Северной войны плата подданством царю за освобождение от короля

слишком большая и надо искать новых выгод; другие готовы были удовлетвориться покладистостью короля и шляхты и вернуться в прежнее подданство. Старшину залихорадило: то были симптомы страшной болезни, которая подтачивала единство и вскоре привела к пагубному для судеб Украины расколу. Правда, присутствие старого гетмана не давало пока болезни обостриться. Авторитет Хмельницкого был столь высок, что амбициозное окружение гетмана терпеливо ожидало именно его решения.

Несомненно, что в эти недели Хмельницкий колебался. Не поспешил ли он с подданством царю? Не слишком ли связал себя? Но он был достаточно опытным политиком, чтобы принимать поспешные решения. Легко было оборвать непрочные узы, соединившие его с царем. Но что это даст ему, казачеству, Украине? Хмельницкий слишком хорошо знал цену королевских обещаний. Не торопился он довериться и королю Карлу X. Сколь ни соблазнительным казался статус независимого владыки, старый гетман искал для своей власти прочного основания и покуда предпочел следовать прежним курсом.

Тесное общение с поляками, тем не менее, отразилось на отношениях с царскими воеводами. Сразу повеяло холодом. Старшина принялась обвинять царских воевод и начальных людей в невежестве и гордыне. Воеводы, в свою очередь, с растущим недоверием взирали на частые пересылки казаков с поляками и выискивали признаки измены. Все это не ускользнуло от внимания поляков. Комендант Львова писал: «Я удостоверился собственными глазами, что между москвитянами и казаками нет согласия и ладу. Сам Хмельницкий мне сказал, что не хочет знать Москвы: она очень груба».

Весть о появлении в тылу крымских татар, союзников польского короля, дала основание Хмельницкому отказаться от осады Львова. Царские полки двинулись следом за казаками. Шли порознь. Порознь и отбивали наскоки татар, которые, впрочем, пока не очень упорствовали — добыча была явно им не по зубам. Наконец в начале ноября у местечка Озерное Мухаммед-Гирей со своей стотысячной ордой попытался остановить русско-украинское войско. Сражение окончилось поражением хана. Он принужден был уйти с Украины, подписав с Хмельницким договор о мире.

Кампания 1655 года затянулась. Соскучившиеся родные настойчиво звали царя приехать повидаться с ними в Москву хотя бы на время. Алексей Михайлович и сам истосковался по семье. Но дел было столько, что надежды вырваться почти не оставалось. «Да разсудите себе, государыни мои, — не без вздыхания разъяснял царь, — толи лучше, что по осени на время у вас побывать да по последнему пути апать на службу и с вами опять не видитца; или то лутчи, что ныне помешкать да вовсе... отделатца и вовсе с вами быть на Москве»^[275]. Это короткое послание подкупает своей житейской простотой и искренностью. Оказывается, и царю иногда так надоедала его «служба», что и он, подобно простому дворянину, мечтал от нее побыстрее «отделаться». Чувство долга, однако, перевешивало сокровенное желание: да, отделаться, но только все сделав...

В октябре царь собирался двинуться из Шклова в Быхов, а затем вернуться домой: «...А потом здравствуйте, светы мои». Но события внесли свои коррективы в царские планы. Кампания закончилась лишь в начале зимы. Только после этого Алексей Михайлович получил возможность свидеться с родными. 7 декабря, остановившись в селе Кубинском, он

обрадовал родных долгожданным известием: «А я наскоро еду: готовьтесь с радостью воспринять меня грешного»^[276].

В Москве царю была устроена пышная встреча. Алексея Михайловича чествовали как победителя и защитника православия. Особую значимость происходящему придало участие во встрече трех патриархов — Иерусалимского, Антиохийского и своего Московского. Царь ехал в белой собольей шубе, его коня вели сибирский царевич и Федор Ртищев; за царем шел грузинский царевич. На Лобном месте Алексей Михайлович спросил о здоровье и благополучии всего народа — в ответ все низко поклонились.

Дворянин из Дубровника Франциск Гундулич, прибывший в Россию в составе имперского посольства Фердинанда II, оказался свидетелем того, как царь вступил в Кремль. «Мы подивились такому смирению и такой набожности царя, шедшего с непокрытой головою при таком морозе», — отметил он. Поведение царя так поразило его, что он не поленился еще раз повториться: «Из всего этого замечательного торжества меня больше всего поразило редкое смирение и набожность этого могущественного царя»^[277].

Год 1655 заканчивался с заметными прибавлениями и победами. Граница в Белоруссии еще более отодвинулась на запад. Царские гарнизоны стояли не только в центральных, но и в западных областях Белой Руси. Успешным был признан поход русских и украинских войск в Западную Украину. Речь Посполитая казалась надломленной до такой степени, что ее слабость теперь внушала не меньшее беспокойство, чем прежняя сила.

Победы сильно отразились на Алексее Михайловиче. Кажется, сбывались все предсказания и пророчества. Греки уверяли, что если государь возьмет Смоленск (он

его взял!), а затем Литву (ее он вот-вот возьмет), то «тогда и турецкому царству от войны и раззоренья не избыть». Из Константинополя шли известия о необычайном воодушевлении всех угнетенных православных, которые надеются на воссоединение «всея вселенная церкви под высокой рукою царя»^[278]. До последнего было, конечно, еще очень далеко, но не положено ли тому славное основание? Как тут было не вспомнить псковского старца Филофея и не ощутить порывистые удары взволнованного сердца: «Все царства православная христианская веры снисдошася в твое едино царство; един ты во всей вселенной христианом царь»...

Новые политические реалии закреплялись в титуле. В июле 1654 в связи со взятием Полоцка и Мстиславля велено было именовать царя Полоцким и Мстиславским. Успехи в Белоруссии и на Украине вызвали новые изменения. 3 сентября 1655 года указано было титуловать Алексея Михайловича «Великим князем Литовским, Белыя России, Волынским и Подольским». При этом верный себе Алексей Михайлович поспешил сделать «разъяснения» по поводу новаций: те титулы были по справедливости «изъяты» им у польского короля, поскольку земли «предков наших государских великих государей князей Российских великого княжества Литовского стольной город Вилно и иные многие города и места поимали и заступили также и Белую Русь». Волынь и Подолия также были отнесены к владению «предков наших великих государей князей Российских». 19 сентября последовал новый указ, обязавший писать титул царя так: «Всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец»^[279].

Война со Швецией

Обе силы, московская и шведская, терзая и растаскивая на части Речь Посполитую, стремительно накатывались друг на друга. При этом было не ясно, к чему могло привести столкновение. Неясность побуждала к активизации дипломатических контактов. Еще в начале 1655 года в Москве объявилось шведское посольство, общение с главой которого вызвало приступ смеха у Алексея Михайловича. В письме к Матвееву Тишайший так представил шведского посланника: «А таков смышлен и купить ево то дорого дать, что полтина, хотя думный человек». Мимоходом брошенная фраза — свидетельство здорового чувства юмора царя. Надо, однако, заметить, что в своей насмешливости государь не всегда был последователен: в его собственном окружении имелись не менее скудоумные думные люди. Но, должно быть, всегда было приятно сознавать, что среди умных «свейских немцев» тоже встречались дураки.

Шведский король прислал заведомого дурака обвести московского государя. Это, конечно, обидно, «да што же делать, така нам честь»! Царь иронизирует, но в этой иронии улавливаются и довольные нотки. В своем послании, склоняя царя крепко держать Столбовское «докончание», Карл X твердит о любви между государями. «А мы мним, — роняет по этому поводу Тишайший, — сколько от любви, а вдвое тово от страху». Замечание, пусть и не требующее глубоких умственных изысков, по существу очень точное. Московское государство выходило на международную арену с неожиданной и пугающей стремительностью, путая привычные дипломатические расклады. Эти быстрые изменения грозили имперским планам Швеции,

которая мечтала превратить Балтийское море в Шведское озеро.

К середине XVII столетия шведское великодержавие «насчитывало» почти столетнюю историю. По крайней мере, так полагают сами шведские историки, взявшие за исходный момент события начала Ливонской войны. Именно тогда под сокрушительными ударами войск Ивана Грозного в Прибалтике развалилось орденское государство. Образовавшийся вакуум затянул все сопредельные страны. Правда, это была сила не физического, а чисто «исторического свойства» — прозаическая заинтересованность в контроле над южнобалтийскими землями, дополненная стремлением опередить соседа. Шведы в этом немало преуспели, закрепившись в Северной Эстонии. Но наивысшие успехи были достигнуты в следующем столетии. Начало им положил «Лев Севера», король-полководец Густав Адольф IV, с именем которого связана новая глава в истории соперничества в северо-восточной Европе. Эту главу, несомненно, можно назвать шведской, поскольку написана была она под их диктовку. Из этого не следует, что у них не было соавторов. Хотя бы потому, что главное содержание новой главы — войны, бесконечной чередой протянувшиеся через все столетие. Мир был скорее исключением, чем правилом, прозаическим способом перевести дух перед новым столкновением.

В этих бесконечных войнах сравнительно небольшая Швеция теснила своих противников. Шведские правители претендовали на ключевые территории и постепенно прибирали один лакомый кусок побережья за другим: Финляндия, Карелия, Прибалтика. Под контролем сине-желтого флага в XVII веке находились устья рек — Невы, Одера, Эльбы, Западной Двины — и важнейшие торговые города, стоящие на них: Штеттин на Одере и Рига на Западной Двине. Лишь устье Вислы с

Данцигом оставались во владениях польских королей. Проповедь фанатического национализма — «*Dominiun maris Baltici*» (господство над всем Балтийским морем) — давала свои осязаемые плоды^[280]. В середине столетия особый интерес Швеция стала проявлять к прибалтийским владениям Речи Посполитой. Явные признаки ослабления некогда могущественной державы, стоявшей на пути шведского великодержавия, давали надежду преодолеть и этот барьер. Задачей минимум стало превращение всей Ливонии в шведскую провинцию.

Остроту в сложные и запутанные польско-шведские отношения добавляло династическое противостояние. В 1587 году на польский престол был избран Сигизмунд III, сын шведского короля Иоанна и ревностной католички Екатерины Ягеллон. Однако после смерти короля Иоанна в 1592 году протестантская Швеция предпочла поддержать не его сына, воспитанника иезуитов, а брата покойного короля Карла. Дело дошло до войны, в которой верх взял Карл IX. Сигизмунд III и два его сына, поочередно занимавшие польский престол, не желали отказываться от своих номинальных прав на шведскую корону, что, в свою очередь, чрезвычайно раздражало реальных носителей этой самой короны — Карла IX и Густава Адольфа IV. После гибели последнего королевой стала его дочь Христина, уступившая в 1654 году престол своему двоюродному брату Карлу Густаву — Карлу X. Это перебрасывание короны среди шведских потомков династии Ваза прибавляло жару амбициям польских Ваз и служило неисчерпаемым источником для новых конфликтов. Так что, когда одна из противоборствующих сторон находила момент подходящим для нападения на другую, повода выискивать не приходилось. Летом 1655 года Карла X

повел свое 20-тысячное войско из шведской Померании на Познань и Калиш. Уже к осени во многих польских городах стояли шведские гарнизоны, а покинутый всеми Ян Казимир искал спасения во владениях императора Фердинанда III в соседней Силезии.

В Москве очень ревниво смотрели за действиями Карла X. Еще до начала Потопа в Кремле испытали настоящий шок от сближения Великого Литовского гетмана со шведским королем. Получалось, что Карл X без единого выстрела мог прибрать к рукам то, за что русские полки проливали кровь второй год. Напряженную ситуацию не рассеяла даже позиция Швеции, которая всячески стеремилась избежать осложнений, пойти навстречу России. Стокгольм изъявлял готовность признать за царем право на Украину, Белоруссию и даже восточную часть Литвы^[281].

Алексей Михайлович и его окружение оказались перед выбором: или продолжение войны с Речью Посполитой, или новый крутой поворот и новая война — со Швецией. За каждым из вариантов развития были свои преимущества и недостатки. Выбор определялся в столкновении мнений и разрешался в координатах личностных, где одна ось — масштаб государственного деятеля, другая — его умение воздействовать на Алексея Михайловича. Очень скоро в Москве стали брать верх сторонники войны со Швецией. Сам патриарх Никон, влияние которого на Тишайшего казалось неодолимым, ратовал за нее. «Царь в зависимости от патриарха», — сообщали шведские дипломатические лица, абсолютно уверенные во враждебности Никона^[282].

Патриарха горячо поддерживал А. Л. Ордин-Нащокин, звезда которого стремительно восходила на тусклом небе московских политиков. Нельзя сказать,

чтобы этот взлет дался Афанасию Лаврентьевичу легко. Скромное происхождение не давало ему больших шансов на быстрое продвижение и высокие посты. Ордин-Нащокин изначально был «обречен» годами тянуть служебную лямку в надежде на получение низшего думного чина, уготованного для людей его «породы». В таком раскладе таилась своя опасность: до высокого чина можно было и не дослужиться не только из-за многочисленных жизненных злоключений, но и по присущей государю короткой памяти: человек, пребывающий на дальней службе, легко мог забыться, выпасть из поля зрения царя. Ордин-Нащокин нашел выход в сознательном избрании дипломатической стези, которая давала ему больше возможностей напоминать о себе государю.

Проявив незаурядное знание психологии, Ордин-Нащокин быстро нащупал «слабости» Алексея Михайловича — его страсть к «слагательному слову». «Говорун и бойкое перо», — так лаконично охарактеризовал Афанасия Лаврентьевича историк В. О. Ключевский. Но и разговор, и перо его не были лишены остроты и таланта. Если суровый Никон подавлял Тишайшего внутренней мощью своей богатырской личности, то Ордин-Нащокин более взывал к разуму государя. Он не ошибся. Очень скоро Алексей Михайлович почувствовал такую потребность в постоянном общении с «говоруном», что включил его в узкий штат постоянных корреспондентов Тайного приказа. Ордин-Нащокин получил возможность напрямую обращаться к царю. Так служба соединилась с «подходом» — умением сделаться необходимым для Алексея Михайловича, что очень скоро поставило скромного дворянина выше иных высокородных чиновных людей.

Последние не могли простить худародному Ордину его взлета и всячески мешали ему. Претерпевший от

того немало невзгод, Афанасий Лаврентьевич как-то признался царю: «У нас любят дело или ненавидят, смотря не по делу, а по человеку, который его сделал: меня не любят и делом моим пренебрегают». Точность наблюдения и острота стиля делают честь автору. Но надо воздать по заслугам и его адресату. Ордин при его уме, конечно же, знал, с какой мерой откровенности и смелости можно было так говорить с царем. А мера это была велика: царь позволял ему спорить с собой и говорить такое, что не всегда было приятно. Зато выбор делался в пользу этого самого дела.

Многие исследователи пытались объяснить антишведскую позицию Ордина-Нащокина его псковским происхождением. Это звучит не очень убедительно. Роль «лоббиста» псковского дворянства, немало натерпевшегося из-за неудобного соседства, мало подходила для Афанасия Лаврентьевича. Обладая умом государственным, Ордин был одним из немногих, кто всерьез задумывался над проблемами будущего страны. Именно поэтому он и выступал за преодоление «шведского барьера». Псковские мотивы, если и присутствовали, то скорее на уровне эмоциональном. Все остальное — уже позиция, осознанная, выверенная, хотя, как показали дальнейшие события, и не бесспорная.

Разумеется, влияние Никона и Ордина-Нащокина на царя сильно разнилось. Власть первого достигла своего апогея, ко второму Алексей Михайлович, пускай и охотно, но лишь прислушивался. Однако все вместе они составляли внушительный хор, способный заглушить голоса противников войны.

К последним, по-видимому, относились Н. И. Одоевский, В. В. Бутурлин, Г. Г. Ромодановский. Весомым был и голос Богдана Хмельницкого. Гетман ратовал за военный союз со шведским королем, призывая царя «не откидывать всех тех, кто готов

помочи подать»^[283]. Он даже попытался завязать с Карлом X активные дипломатические отношения, чем вызвал неудовольствие Алексея Михайловича. Гетман разошелся даже с самим Никоном, у которого прежде находил поддержку. Но на этот раз «милостивый заступник и ходатай» оказался глух к его призывам.

В конце 1655 года обстановка для обуздания «агрессии» шведов казалась чрезвычайно благоприятной. Своими действиями воинственный Карл X переполошил многих. О нормализации польско-шведских отношений не приходилось думать — они казались непримиримыми, смертельными. Остры были противоречия Швеции с голландцами и особенно с датчанами. Вот почему можно было надеяться на успех миссии князя Даниила Мышецкого, которому надлежало склонить Копенгаген к войне. Попутно дипломат должен был склонить к союзу или, по крайней мере, к дружественному нейтралитету бранденбургского курфюрста и герцога Курляндского. Миссии Мышецкого придавали столь большое значение, что пошли на новации, призванные подчеркнуть особое расположение московского двора к копенгагенскому. Впервые царь сам подписал грамоту, адресованную датскому королю Фредерику III. Наконец, обещали не остаться в стороне от конфликта со шведами Габсбурги. В перспективе вырисовывалась могущественная коалиция, сильно взбудоражившая воображение кремлевских политиков.

Однако начинать новую войну, не развязавшись со старой, было опасно. Следовало прежде всего договориться с Польшей. Поэтому русское правительство согласилось принять посредничество Австрийской империи в надежде, что оно поможет благополучно завершить конфликт. В октябре 1655 году в Москву приехали имперские послы Лорбах и

Аллегретти. Последний, славянин из Рагузы, владел русским языком. Этот штрих — признание Империей всей серьезности и важности предстоящей ее послам миссии. Москва неожиданно подорожала, и это выразалось в самом главном — в мелочах.

Однако «посредник» оказался не из лучших. С точки зрения Алексея Михайловича, австрийские дипломаты слишком много пеклись об интересах католической Польши. Упрямство поляков не давало оснований говорить о продвижении к миру. Но зато, памятуя о временном совпадении интересов — борьбе против Карла X — и о печальном положении Речи Посполитой, не способной к активному сопротивлению, можно было подумать о перемирии. Исходя из этих соображений, правительство второго Романова пошло весной 1656 года на его заключение. Одновременно решено было начать войну со Швецией.

Таким образом, аргументы сторонников войны со Швецией перевесили все аргументы против. Несомненно, что весомость всех этих аргументов определял Алексей Михайлович, оставивший за собой последнее слово. Царь уже не желал играть роль статиста при всемогущем временщике. Решение о войне — его решение. Конечно, из этого вовсе не следует, что окружение перестало влиять на царя, а он — поддаваться этому влиянию. Но теперь нужно было сделать так, чтобы царь принял доводы одной из сторон как свои. Прежнее слепое доверие, какое имел он, к примеру, к Морозову, ушло в прошлое.

К этому следует прибавить последствия недавних событий и впечатлений, давших обильную пищу для размышлений и эмоциональных потрясений. Победы 1654–1655 годов и сопровождавший их многоязычный хор восторженных голосов вскружили голову даже осмотрительному Алексею Михайловичу. Благоразумие и осторожность покинули его. В этом плане очень

показательна история с «новоприбылыми титлами» Великого князя Литовского. После завоевания значительной части Литовского княжества московские политики поспешили прибавить этот титул к царскому. Акция, впрочем, носила и антишведский подтекст: ведь по договору в Кейданах Великим князем Литовским становился Карл X.

Однако вольно было кремлевским политикам (как и вскоре скончавшемуся Радзивиллу) без реальных на то оснований жонглировать заманчивым титулом! На самом деле, важна была позиция политической элиты Литвы. Правда, на «согласие» шляхты, присягнувшей царю, еще можно было надеяться. Но как быть с теми, кто не сложил оружия и остался верен Яну Казимиру? Здесь неожиданно и, как оказалось, совсем ненадолго появился просвет. Начался он с того, что... пропал Ф. М. Ртищев. Он отправился к литовцам с дипломатической миссией — и как в воду канул: ни гонцов от него, ни известий о нем. Алексей Михайлович, души не чаявший в своем друге, изрядно переволновался. Но тут пришла грамотка от Ртищева: Федор Михайлович сообщал о большом успехе в переговорах с гетманом Сапегой, который готов был признать Алексея Михайловича Великим князем Литовским. Алексей Михайлович возликовал. На полях грамотки появилась восторженная приписка: «Вот гораздо». Ртищев за его «великую и прямую службу», «без твоего челобитья» был пожалован в окольничие с окладом, размер которого было велено не брать «в образец» при последующих назначениях. Жалованная грамота носит все следы работы Алексея Михайловича, который выступал в данном случае скорее даже не как редактор, а как автор. Ртищев получает награду, «потому что и служба твоя к нам, великому государю, отмена»; и потому, что «тово не бывало, что в ратной брани, меж великими государями и не учиня миру, титл

сполна послы и посланники не имали». Новоприбылый же титул — государь «всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец»^[284].

Эмоциональность царя — свидетельство того, что под бременем успехов начала войны в Алексее Михайловиче политик нередко уступал место человеку. Человеку, теряющему чувство меры. Отсюда неудивительна болезненная реакция Тишайшего на каждое действие шведского короля. Карл X посягал на его княжество Литовское. Это уже ущемление «государевой чести», личная обида, которую стерпеть никак было нельзя.

15 мая 1656 года царь торжественно выступил с полками из Москвы против шведов. До Орши шли хорошей посольской дорогой. Погода стояла великолепная, и Алексей Михайлович предпочитал останавливаться на воздухе — через каждые семьдесят верст посланные вперед слуги разбивали шатры «по полям, у кормы и у воды»^[285]. Зная, чем окончится вся кампания, царя можно упрекнуть в медлительности. Однако не стоит забывать, что в те времена войска вообще передвигались чрезвычайно медленно. Дневной переход обычно не превышал 5-10 верст. Особенно замедляла движение артиллерия. Даже в хорошую погоду лошади с трудом тянули громоздкие осадные орудия, колеса которых оставляли на дорогах устрашающие рытвины.

Кроме того, Алексей Михайлович имел, как ему казалось, веские причины не торопиться. Он ждал, во-первых, окончания переговоров с Курляндским герцогом и, во-вторых, появления под Ригой датского флота, который должен был лишить защитников города всякой надежды на шведскую помощь со стороны моря. Больших оснований так думать у Тишайшего, строго говоря, не было: сколь ни остры были отношения Дании

со Швецией, война между ними еще не стала фактом. Общие же соображения, что датчане должны воспользоваться благоприятной ситуацией и напасть на шведов, оказались слишком зыбкими, чтобы строить на них реальную политику. Но таков уж был Алексей Михайлович образца 1656 года, готовый на гребне успехов принимать желаемое за действительное. Заметим, что датчане в конце концов начнут военные действия против шведов, но позднее, в 1657 году. Разумеется, новая война отвлечет силы шведов и облегчит положение русских войск. Однако после Рижской неудачи прежнего пыла и размаха в действиях царских воевод уже не будет. К тому же шведы очень быстро разгромят датчан, заставив их по Роскильскому миру 1658 года отказаться от Сконе.

В Полоцке царю была устроена торжественная встреча близ Борисоглебского монастыря. Игумен монастыря Игнат Иевлевич приветствовал «пресветлаго, благовернаго, Богом хранимаго и христоролюбиваго» Алексея Михайловича. Высокопарная речь, скроенная по всем канонам ораторского искусства, была милостиво выслушена — то было время особой тяги царя и его окружения ко всякого рода новинкам. Царь присутствовал при освящении возвращенных православной церкви Спасского и Софийского соборов. Из последнего царь взял с собой в поход на шведов в Ливонию чудотворный образ Полоцкой Божьей Матери.

Ко времени выступления к Риге численность армии достигла внушительной цифры — более ста тысяч человек. Правда, в это число входили слуги, обоз и гребцы на стругах, плывущих по Западной Двине. Ядро войска составляли 18 тысяч солдат, разделенных на 13 полков, успевших хорошо зарекомендовать себя в боях; 6 тысяч рейтар, 8 тысяч стрельцов и около 26 тысяч поместного войска. Ударной силой «большого наряда»

были десять «верховых пушек» или мортир, крупный калибр которых позволял надеяться на скорое сокрушение рижских твердынь [\[286\]](#).

По дороге к Риге предстояло взять несколько крепостей, прикрывающих город. 18 июля передовым полком С. Л. Стрешнева был осажден Динабург. От перебежчиков удалось узнать, что гарнизон составляет не более четырехсот человек, «а хлеба де и пороху много». 31 июля Динабург пал. Довольный Стрешнев прислал сеунч: «А взяли его твои, великий государь, ратные люди взятъем своим дородством, за твою к себе великого государя милость» [\[287\]](#). Алексей Михайлович, по своему обыкновению, тут же взялся за перо — порадовать известием о победе родных: «...А на приступе было 3400 человек, а убито и ранено немного». Короткое письмецо заканчивалось любопытной припиской: «Писан в нашем городе преже имянованном Диноборге, а ныне нареченном Борисоглеbove городе, августа в 3 день».

Интересно, сколько по меркам Алексея Михайловича значила цифра «убито и ранено немного»? По официальным данным, на приступах тяжело было ранено 167 человек, легко — 84. Итого — 251 [\[288\]](#).

Победы обрадовали Алексея Михайловича. Между тем, если вдуматься, для радости не было особого повода. Первые успехи пришли на исходе лета, в канун переменчивой дождливой осени. При этом с небольшим Динабургом провозились почти две недели. Сколько же времени надо было потратить на Ригу? И было ли оно, это время? Не случайно со следующей крепостью, Кокенгаузенем (Кукейнос) решено было поспешить. Сначала — на привычный лад, «сговаривая» и «обнадеживая» жителей «государьскою милостью». Но «осадные сидельцы... отказали и на сговор не вышли» [\[289\]](#).

14 августа последовал штурм, за которым наблюдал Алексей Михайлович. Позднее в письме родным он описывал укрепления Кокенгаузена: «Крепок безмерно, ров глубокой, меньшей брат нашему кремлевскому рву, а крепостию сын Смоленску граду; ей, чрез меру крепок». Однако, несмотря на внушительные укрепления, победа обошлась без большого кровопролития. «А побито людей наших 67, да ранено 430», — заключал Тишайший свое послание. О потерях шведов царь ничего не сообщал. Побывавший пять лет спустя в этих местах имперский посол барон Августин Мейерберг, со слов сопровождавших его русских, писал о разгроме семи тысяч шведов^[290].

Динабург был взят ровно через неделю после дня памяти первых русских святых — князей Бориса и Глеба (24 июля). Но выбор нового названия города был не случаен еще в одном отношении: сами святые то ли в канун взятия, то ли после явились в чудесном видении самому царю.

Чудесные знамения сопровождали и взятие Кокенгаузена. «Да по явлению мне страстотерпец Бориса и Глеба повелевающу мне праздновать новому страдальцу царевичу Дмитрию, — писал царь, — ...и отселе нарекли сему граду имя — Царевичев Дмитриев град».

Для Алексея Михайловича и его окружения все эти переименования были полны мистического смысла. Это не просто новозавоеванные государевы земли. Это овеществленная связь с прошлым, преемственность и неразрывность царств и святости: святые Древней Руси Борис и Глеб и московский страстотерпец царевич Дмитрий, Киевская держава и ее продолжение — Московское царство. С выявлением этой связи иначе виделись претензии Тишайшего, явившегося за своими «законными» «прародительскими» отчинами.

9 августа в царский стан на Западной Двине приехал А. Л. Ордин-Нащокин. Среди множества обязанностей, которые взвалили на воеводу Друи в связи с войной со Швецией, были задачи дипломатические. Ордин должен был отправиться в Митаву, чтобы заручиться поддержкой Курляндского герцога Якова.

Герцог пребывал в состоянии выбора: в канун решающих столкновений между Швецией, Московией и Речью Посполитой политика лавирования имела свои минусы: можно было ошибиться с победителем и, значит, ничего не получить в будущем. Шведское хозяйничанье в Прибалтике сильно стесняло герцога, но и появление Москвы пугало, особенно в свете традиционного негативного отношения к «варварам-москвитам». Красноречивый Афанасий Лаврентьевич, предпочитавший взывать не к эмоциям, а к интересам, если и не поколебал предубеждение против России, то, по крайней мере, ослабил его. В царский стан он вернулся, заручившись обещанием союза и всяческой помощи России в приобретении Риги. Взамен Митавы требовала безопасности своих границ, в чем Ордин-Нащокин, руководствуясь наказом, заверил герцога.

Едва появившись, Ордин стал настаивать на немедленном движении к Риге. Себя же он предлагал в качестве воеводы отряда, который должен был обойти город и занять расположенную в самом устье Западной Двины крепость Динамюнде. В этом предложении — весь Ордин. Предложение было очень разумным, как разумен был Ордин-Нащокин: считалось, что с падением Динамюнде Рига не могла долго сопротивляться (именно так поступили в 1700 году союзники Петра I саксонцы, впрочем, отброшенные от Риги шведами). Вместе с тем предприятие обещало быть трудным и опасным — и это опять же совершенно в духе Ордина, которому не занимать было мужества.

Наконец, Афанасий Лаврентьевич рассуждал как человек государственный: слишком много времени было потрачено впустую и дело мог спасти неожиданный и быстрый успех. Он готов был рискнуть. Но это как раз менее всего устраивало Алексея Михайловича и его воевод. Предложение Ордина-Нащокина осталось без ответа.

Царские войска подошли к Риге в двадцатых числах августа. Главный лагерь был разбит в пяти верстах от города. Побывавший здесь восемь лет спустя голландец Николаас Витсен был поражен его размерами. «Мы проехали мимо покинутого русского лагеря: это большое пространство более получаса езды в окружности, огороженное бруствером и сухим рвом; посередине — небольшая речка, видны два кладбища и большие кучи костей убитых. Здесь стоял сам царь и с ним около 200 тысяч людей; еще было видно, где стояла его палатка»^[291].

К осадным работам приступили 23 августа и уже 1 сентября ударили из шести батарей по городу. Однако осада шла вяло, так что перепугавшиеся поначалу шведы пришли в себя и принялись потешаться над противником: русские, говорили они, держат нас под почетным арестом.

Рига была сильно укреплена. Современники писали о ее глубоком рве, наполненном водою, высоком вале, а главное, о ее мощных бастионах. Но ведь за последние два года и русские войска поднаторели в осадах. Однако на этот раз дело не пошло. Не пошло изначально — царские полки не двигались, а в буквальном смысле тащились, растрачивая столь ценное для осад летнее время. Было бы слишком просто объяснить эту медлительность благодушием Алексея Михайловича. На самом деле существовали весомые

причины не спешить. Весомые, по крайней мере, в глазах царя и его полководцев.

Об одной из таких причин говорилось выше. Мы помним, что Алексей Михайлович решился на войну, не подготовив ее дипломатически. Для этого попросту не хватило времени. Потому восполнять этот пробел приходилось прямо на ходу. Здесь выяснилось, что возможные союзники вовсе не спешат воспользоваться «благоприятным» моментом, чтобы поквитаться с Карлом X. Напротив, они предпочитали использовать ситуацию, которая делала Швецию сговорчивей, чтобы выторговать у нее уступки. Вот почему, в частности, царь так и не увидел датские суда под Ригой. Он ждал, но ждали и датчане, когда русские, потеряв терпение, нападут на шведов и повяжут их по рукам и ногам.

Начавшиеся в июне 1656 года переговоры с бранденбургским курфюрстом также, вопреки ожиданиям, закончились заключением не союзного договора, а договора о нейтралитете. Несколько больше удалось достичь на переговорах в Митаве, где в конце концов было заключено соглашение о дружественном нейтралитете, которое позволяло не опасаться за фланги и коммуникации царских войск. Само по себе это было неплохо, но слишком мало, если вспомнить о надеждах, которые еще совсем недавно питали в Москве относительно союза против Карла X.

Не оправдались надежды и на распри между населением Риги и ее шведским гарнизоном. Основания думать так были: Рига лишь год назад перешла под владычество шведов, добровольно раскрыв ворота перед войсками Карла X. Почему бы ее жителям, изменившим польскому королю, не повторить это еще раз? Действительно, когда черепичные крыши Риги посыпались от обстрела «верховых мортир», в Рижской ратуше заговорили о том, «чтоб государю добить челом и город здать». Но ситуацию контролировали военные,

а они были настроены решительно. «Служилые люди здатца не хотят, ожидают к себе на выручку короля и больших людей вскоре», — сообщали лазутчики.

Перед осаждающими стала вырисовываться мрачная перспектива. В сентябре зарядили длинные, нескончаемые дожди. Дороги раскисли. Начались перебои в снабжении продовольствием. В довершение всего появились больные холерой. В царской ставке заговорили о необходимости снять осаду и отступить. Но Алексей Михайлович медлил. После двух лет громких успехов трудно было свыкнуться с неудачей. Решено было, несмотря на отсутствие брешей и проломов, все же штурмовать город. Однако гарнизон Риги спутал все планы. Утром 2 октября в передовые траншеи осаждающих ворвались шведы. Вылазка оказалась настолько неожиданной, что четыре солдатских полка были опрокинуты. Правда, вскоре положение удалось восстановить, но дух войска уже был подорван.

5 октября полки стали оставлять позиции. Дорога на Полоцк оказалась слишком тесной, чтобы сразу вобрать огромное войско с обозами. Было много суеты и неразберихи. Местами отступление походило на бегство. Тот же Витсен отметил красноречивые следы этого отступления, сохранившиеся спустя несколько лет: «Когда я в тот день (22 октября 1664 года. — *И.А.*) для развлечения пошел гулять (по окрестностям Риги. — *И.А.*), то увидел на полях кости убитых, непохороненных русских, ямы, полные трупами, едва покрытые землей. Это осталось от недавней осады города...»[\[292\]](#).

Поражение под Ригой оказалось очень болезненным. Зато шведы, завязнувшие в боях с поляками, вздохнули с облегчением — царь «стукнулся головою о Ригу». Алексей Михайлович действительно тяжело переживал

неудачу. Не случайно, что именно после Риги он перестал ходить в походы и предпочитал наблюдать и руководить военными действиями из Москвы. Он, по-видимому, пришел к выводу, что царю не пристало участвовать в кампаниях с сомнительным исходом. Престиж государя требовал быть лишь там, где безусловно будет одержана большая победа. Исключение он готов был сделать лишь для особых случаев. Так, уже на исходе своего царствования он вознамерился возглавить войска, направленные на оборону Киева от турок и татар. Надобность в этом, впрочем, скоро отпала, и второму Романову так и не довелось увидеть город, за который было пролито столь много крови его подданных.

Сумрачное настроение от рижского «невзятия» несколько развеяли донесения воевод, действовавших в Ливонии и Ингрии. Здесь что ни название и имя, то памятная страница из отечественной истории. В октябре неторопливый и обстоятельный князь А. Н. Трубецкой после десятидневной осады взял Дерпт-Юрьев. Пали и другие небольшие крепостицы, в том числе и Мариенбург. Через сорок шесть лет повторивший Мариенбургское взятие Б. П. Шереметев получил здесь в качестве «приза» скромную служанку пастора Глюка Марию Скавронскую — будущую Екатерину I. В середине XVII века о таком превращении и помыслить было невозможно: полон отпускали за выкуп или везли домой: холопить и сажать крестьянствовать на землю, но никак не тащили во дворец.

Другой воевода Петр Потемкин подошел к Нотебургу — бывшему Орешку — но «разгрызть» его не сумел. Зато спустившись по Неве, Потемкин с ходу взял Ниеншанц, даже не подозревая, что полвека спустя из здешних топей подымется «парадиз» царя Петра — Санкт-Петербург.

Следующее дело происходило на море, у острова Котлин. Патриарх Никон по собственной инициативе и на свои средства направил на помощь Потемкину несколько сотен казаков. Казаки славились своими морскими экспедициями на Черном море. Патриарх вознамерился повторить их подвиги на Балтике. При этом он занимался далеко не пастырским делом, планируя и благословляя предстоящие морские операции, включая нападение на Стокгольм! Сохранились памятные записки патриарха, датированные еще концом мая: «О посылке донских казаков в полк к Петру Потемкину и о благословении им в Стекольной (Стокгольм. — *И.А.*) и в иные места морем»^[293].

Замыслы воинственного архипастыря оказались неосуществимыми. Во всяком случае, выжечь прибрежные шведские земли казаки не сумели. Но посаженные на лодки, они захватывали мелкие шведские суда, среди которых оказалась даже шестипушечная шведская галера. На Балтике подобное молодечество было в диковинку. Но любопытно иное: 7 мая 1703 года Петр с Меншиковым, посадив охотников преображенцев и семеновцев на лодки, в жестоком абордажном бою взяли на шпагу два небольших шведских судна, неосмотрительно вошедших в Неву. Царь был в восторге от победы, сделавшей его кавалером ордена Андрея Первозванного. Он приказал выяснить, случалось ли раньше так пленять корабли? Остается гадать, по нерадению ли или, наоборот, из-за слишком «большого радения», но приказные ничего подобного не обнаружили. Обрадованный Петр приказал вычеканить медали с надписью: «Не бываемое бывает», вовсе не ведая, что подобное «не бываемое» уже случалось и даже не так далеко, близ Котлина,

облюбованного им для морской крепости Кроншлот — будущего Кронштадта.

Военные действия против Швеции происходили одновременно с переговорами с поляками в Вильно. Последние шли трудно. Тактика польских представителей сводилась к затягиванию переговоров. Полякам необходимо было выиграть время, не допустив при этом новых столкновений. Другими словами, противная сторона остро нуждалась в перемирии, но не в мире, который, несомненно, был бы продиктован Алексеем Михайловичем на невыгодных для Речи Посполитой условиях.

Между тем положение Речи Посполитой несколько улучшилось. Еще совсем недавно Карл X был почти полным властителем этой страны. Но волны шведского Потопа вызвали к жизни еще более мощные волны освободительного движения, и страна воспряла, поднялась и стряхнула интервентов. Если вдуматься, в этом нет ничего удивительного: малозаселенной протестантской Швеции не по силам было «затопить» огромную католическую Польшу. Но легко рассуждать об этом задним числом, зная, чем закончилось страшное нашествие. Тогда же требовались воля и национальное пробуждение, на которые оказалась способной даже шумная и крикливая шляхта, сумевшая переступить через печально известное «не позволяй!» и объединиться в общей борьбе против шведов. Покинутый всеми Ян Казимир снова обрел силу и власть. С началом 1656 года по всей Польше начали бить, теснить и запирают в городах неприятельские гарнизоны. Карл X, оставив Великую Польшу, отошел ближе к Пруссии. Правда, уже летом он перешел в контрнаступление и занял Варшаву. Положение Речи Посполитой, а значит, и ее представителей в Вильно вновь заколебалось. Но все же это было положение выздоравливающего, а не умирающего.

Прекращение военных действий на востоке сильно помогло Речи Посполитой в борьбе с шведским нашествием. Это ясно понимали не только в Варшаве, но и в Вене. «Это было к великой выгоде для поляков», — не без удовлетворения замечал по этому поводу имперский посол барон Августин Мейерберг, славно поработавший в пользу польской короны в Москве^[294].

Не менее важным для поляков было вступление Московского государства в войну со Швецией. Русские не просто оттягивали от Речи Посполитой силы главных противников. Окончательно перечеркивалась угроза возникновения русско-шведского антипольского союза, противостоять которому было бы вдвойне трудно. Больше того, с началом русско-шведского конфликта открывались совершенно новые дипломатические перспективы: отныне легче было договориться с одним из соперников, чтобы, собравшись с силами, обрушиться на другого.

Все эти изменения тотчас дали знать о себе на переговорах в Вильно. Польская сторона заняла более неуступчивую, чем ожидалось, позицию в одном из главных вопросов — территориальном. В Москве, конечно, понимали всю трудность этой проблемы. Отправлявшихся в Вильно послов, боярина Н. И. Одоевского с товарищами, снабдили тщательно разработанным наказом, который предусматривал и меру запросов, и меру уступок, далее которых не следовало отступать. Смоленск следовало закреплять «навечно», не дожидаясь сейма, на волю которого постоянно ссылались польские послы. Сейм следовало поставить перед свершившимся фактом, ибо там много «голосов вольных... денги возьмут, а дела не сделают, а ратем путь помешают и к отпуску учинят, а сами собрався свою волю сотворят». Украина также

рассматривалась русской стороной как бесспорное владение царя. Здесь основаниями были «наследственные права» и Переяславльский договор.

Главные бои русские послы должны были повести за Великое княжество Литовское. Одоевский объявлял следующее: так как Бог даровал царю это княжество, то «того николи за милостью Божиею уступат не будем». Взамен королю сулили помощь против шведского короля. При этом начавшаяся война с «обчим неприятелем» — Швецией, преподносилась как уже совершенное благо для Речи Посполитой, «дабы впредь его (короля Карла X. — *И.А.*) пронырство лукавственное не ширилось»^[295].

Русские предложения с порога были отвергнуты польскими комиссарами, которые потребовали возвращения всех занятых городов. Начался торг — поиск реального компромисса. Поляки изъявили готовность уступить в обмен на мир Смоленск и Чернигово-Северскую землю. Одоевский тогда отступил на второй «рубеж обороны», потребовав Белорусские земли до реки Березина, а на Украине — Волынь и Подолию, входившую в состав коронных земель. Но и этот вариант был отвергнут.

Съезды послов продолжались, но стало ясно, что переговоры заходят в тупик. Разрыв и возобновление военных действий казались естественным выходом из положения. Но такой поворот, приемлемый, может быть, в будущем, пока никак не устраивал поляков. Не устраивал он и русскую сторону — связав себя войною со Швецией, Алексей Михайлович утратил прежнюю свободу маневра. К тому же польские послы прибегли к еще одному верному средству, побуждавшему Москву к долготерпению. Они заговорили об избрании после Яна Казимира на польский престол Алексея Михайловича.

Разговоры об избрании царя на престол не были новостью в Речи Посполитой. О польской короне и Великом литовском княжении говорили и ранее. Часть магнатов даже видели в этом один из способов разрешения всех территориальных споров: перспектива отторжения белорусских земель от Великого князя литовского Алексея Михайловича к... царю Алексею Михайловичу как бы утрачивала свой смысл. Больше того, гетман Сапега отчасти даже разыграл этот вариант развития событий, «признав» московского государя Великим князем литовским. Ход оказался не из худших: Алексей Михайлович, присвоив себе титул, принялся оборонять «свои владения» от посягательств шведской короны.

В Вильно польские и литовские послы принялись всеми способами поддерживать надежды царя на благополучное разрешение вопроса о престолонаследии. Они уверяли, что избрание — дело решенное и надо запастись лишь терпением и дожидаться сейма. В проекте Виленского договора первая статья прямо говорила об избрании на польский трон Алексея Михайловича, так что московскому государю остается рассматривать Речь Посполитую как свое будущее достояние. И, соответственно, беречь ее.

К осени на переговорах сложилась своеобразная ситуация: территориальные споры по-прежнему свидетельствовали о полной несовместимости позиций: здесь, кажется, только и оставалось, что обнажать сабли и палить фитили; зато разговоры об избрании Алексея Михайловича рождали сладкие надежды на мир и союз двух государств.

В итоге 24 октября 1656 года было заключено перемирие с условием возобновления переговоров. Это была нежданная, прямо-таки с неба свалившаяся удача для Речи Посполитой. Князь Н. И. Одоевский мог сколько угодно поздравлять царя с «обращением» на

польский престол, но потребуется совсем немного времени, чтобы оправившиеся шляхтичи заговорили о двадцати одном условии, по которым Алексей Михайлович не мог получить корону Ягеллонов. Впрочем, и сам Алексей Михайлович почувствовал двойную игру польских послов и в конце августа приказал Одоевскому на время прекратить все разговоры о мире и условиях избрания царя на польский престол и сосредоточиться на вопросе о заключении антишведского союза. Но и этого не удалось достичь: поляки вовсе не хотели связывать себя подобной договоренностью. Каждая из сторон должна была вести борьбу — или договариваться — с Карлом X самостоятельно.

Получив отсрочку по Виленскому перемирию, Речь Посполитая сумела в следующем году заключить Велявско-Быдгощский договор с Бранденбургским курфюрстом Фридрихом Вильгельмом. Договор еще более укреплял положение Речи Посполитой: Фридрих Вильгельм вступал в союз с Яном Казимиром и поворачивал оружие против Карла X, своего недавнего союзника. Разумеется, для этого пришлось пойти на значительные уступки. Ян Казимир отказывался от своих прав на Восточную Пруссию. Но чем больше Речь Посполитая уступала на Западе, тем больше твердости она проявляла на Востоке.

Вскоре всем станет ясно, что на дипломатическом поприще Ян Казимир «переиграл» Алексея Михайловича. В этом виноват сам Алексей Михайлович, начавший в 1654 году «игру» со всеми козырями на руках. Сколь ни искусны были польские дипломаты, как ни заманчива была корона Ягеллонов, которой приманивали и обманывали не одного русского государя, роковые решения в конечном счете принимались в Кремле. А эти решения основывались на

переоценке собственных сил и недостаточном понимании истинных намерений противника.

Между тем далеко не все были столь близоруки. Узнав в декабре о перемирии с королем, Хмельницкий пророчески предупредил: королевские эмиссары для того договор сделали, чтобы «немного отдохнув... снова воевать». Этот ведущий лейтмотив тогдашнего настроения гетмана — не верьте королю и шляхте — был дополнен ропотом старшины: в Чигирине настойчиво муссировались слухи, что «будущий король» Алексей Михайлович брал обязательство привести казаков к повиновению. Все это было далеко от действительности. Но как бы то ни было, соглашение еще более усложняло отношения с Хмельницким. Утверждали даже, что невоздержанный Хмель от подобных новостей пришел в такое негодование, что грозился отступить от царя «под бусурманского государя».

Негодование старого гетмана, а еще более неудача под Ригой и неясные перспективы в отношениях с Речью Посполитой заставили призадуматься и Алексея Михайловича. Правда, до полного отрезвления было еще далеко. Но, по крайней мере, в Москве стали смотреть сквозь пальцы на попытки Хмельницкого сколотить антипольский союз с участием Трансильванского князя Д. Ракоци и господарей Валахии и Молдавии. Союз, который, по сути, превращал Карла X в союзника... России. Отправленный в Чигирин Авраам Лопухин от имени царя даже «жаловал и похвалял» гетмана за его усилия. То был для Кремля, по сути, один из запасных вариантов выхода из ситуации, в которую московские политики сами себя так неосмотрительно загнали.

Отступавшее из-под Риги войско в октябре 1656 года вернулось в Полоцк. Царя вновь встречал борисоглебский игумен Игнат Иевлевич. На этот раз,

сдабривая горечь неудачи, пришлось писать особенно великоречивое приветствие, сравнивая царя с императором Константином и князем Владимиром. В Полоцке царя застало известие от русских послов, что поляки согласились избрать его королем после смерти Яна Казимира. Неизвестно, насколько второй Романов поверил этой договоренности. Однако в Москву с радостным известием был отряжен Стрешнев.

Сам Алексей Михайлович успел сильно соскучиться по семье. Да и из дома, как водится, приходили «воздыхательные» грамотки. В конце октября царь в ответ на очередной призыв о возвращении не без сожаления писал: «А скорее того поспешить никак нельзя: сами видите какая по дороге росторопица стоит и груды и облом».

Лишь первые холода позволили двинуться в путь. Войско растянулось на многие версты, пугая множеством телег, на которых везли занедуживших служилых людей. Царь, однако, не стал печалиться себя столь безрадостной картиной и, обгоняя полки, поспешил вперед.

Затруднения, которые возникли на Виленских переговорах, заставили более критически взглянуть на опрометчиво начатую войну со шведами. Не нужно было большого ума и опытности, чтобы поставить несговорчивость поляков в связь с новым конфликтом. В феврале 1657 года Боярская дума приговорила «промышлять всякими мерами, чтобы привести шведов к миру». Мир, естественно, мыслился с приобретениями, для чего следовало проявить необходимую жесткость и энергию. К такому решению отчасти подталкивали сами шведы, демонстрировавшие явную заинтересованность в мире [\[296\]](#).

Это, однако, не помешало шведам в начале 1657 года попытаться перехватить инициативу. В феврале

они открыли военную кампанию нападением на Псковско-Печерский монастырь. В июне под Валком потерпел жестокое поражение Матвей Шереметев. Затем, на исходе лета, восьмитысячный отряд Магнуса Делагарди осадил Гдов. Шведы несколько раз безуспешно подступали к городу, пока не получили известия о движении на помощь к осажденным воеводы князя Ивана Андреевича Хованского.

В отечественной истории с именем этого человека оказались прочно связаны бурные события 1682 года — кровавый майский бунт стрельцов, ожесточенная борьба за власть придворных группировок, отъезд царевны Софьи с царствующими братьями из Москвы в Троицу и казнь Хованского. Во всех этих событиях Иван Андреевич играл столь видную роль, что в конце концов даже дал название этому смутному периоду — «хованщина». Между тем выдвинулся князь еще в годы правления Алексея Михайловича, прославившись прежде всего как храбрый военачальник. Скупой на похвалы Патрик Гордон почитал Хованского за «человека чрезвычайно смелого, внушавшего отвагу и другим». Ему вторит Августин Мейерберг: Хованский у него «бешено смелый», «безрассудно горячий». Характеристика, однако, заканчивается эпитафией прямо-таки убийственной: князь — «невежда во всех воинских науках»^[297].

Действительно, трудно отказать Ивану Андреевичу в храбрости. Но это была храбрость особого сорта, приправленная большой долей сумасбродства и рисовки. Хованский — горячая голова — вскипал при одном только виде неприятеля и готов был сразу кидаться в бой, что нередко приводило к самым печальным результатам. Алексей Михайлович не упускал случая жестко выбрать князя за такую «беспутную храбрость», однако от услуг воеводы не

отказывался. Отчасти потому, что Хованский оставался одним из немногих, кто был способен на самостоятельный поступок.

Отвага князя внушала уважение. Не случайно в дни Медного бунта царь отправит именно его на переговоры с ропщущими москвичами. Его не тронули. Ты «человек добрый», объявили ему восставшие и... тихо спровадили вон — им дела до него нет, надо, «чтоб им царь выдал головы изменников бояр».

Хованский искренне любил военное дело, предпочитая его всякому иному. Фантазия князя простиралась даже до проектов создания... кожаных пушек. Над последними, конечно, можно поиронизировать, но ведь в этом безумном поиске и тактическое чутье — осознание необходимости создания легкой, подвижной артиллерии^[298] — и бурный темперамент неугомонного князя, склонного к стремительным и быстрым ударам, когда сначала начинаешь драться, а потом только думать.

В Хованском все было преувеличено, все доведено до крайности: воеводы должны были, выказывая свою власть, теснить ратных людей — Иван Андреевич затеснял их почти до бунта. Трудно было тогда кого удивить заносчивым нравом; Хованский и здесь превзошел многих, игнорируя даже строгие окрики государя. Современники не случайно наградили Ивана Андреевича прозвищем Тараруй, что значит пустомеля, хвастун. При самых разнообразных и порой просто необъяснимых причинах возникновения прозвищ то был, несомненно, меткий выстрел — точная и одновременно убийственная характеристика.

Движение Хованского к Гдову не ускользнуло от Делагарди. Он стал поспешно отступать, но был настигнут и опрокинут Хованским. Шведы потеряли более трех тысяч солдат и рейтар. Алексей Михайлович

был чрезвычайно доволен этой победой. Он даже не удержался и в письме от 12 октября похвастался перед Матюшкиным: Хованский взял знамя и перебил «немецких генералов и полковников и подполковников и иных начальных людей» до 20 человек. «Человек по природе мстительный, царь доволен теперь тем, что гдовским поражением шведов смыл неудачи под Ригой, Эдзелем и Вальком», — замечал по этому поводу один из иностранных информаторов [\[299\]](#).

Сентябрьский успех Хованского умножил торжества в царском дворце по случаю рождения царевны Софьи, в угоду которой ровно через четверть века (как дорогой подарок — в канун ее именин!) на троицкой дороге снесут голову гдовского победителя.

Хованский и далее действовал удачно. К началу 1658 года он хозяйничал в Сыренском, Ямском, Ивангородском, Нарвском уездах, осадил Ревель и даже подступал, хотя безрезультатно, к Нарве. Однако успехи храброго князя не могли решающим образом повлиять на исход войны, ставшей обременительной для обеих сторон. Между тем истекал срок перемирия с Речью Посполитой, проявлявшей по мере упрочения внутреннего положения все большую твердость. В ситуации возможного возобновления войны с Речью Посполитой следовало заключать прочный мир со Швецией. Но прочный мир — это мир по условиям Столбовского договора 1617 года. Возвращать завоеванное Алексей Михайлович не привык и не хотел привыкать — казалось проще тянуть и верить, что какая-то из сторон, или поляки, или шведы, первыми примут его условия и избавят от одной из войн.

В мае 1658 года было объявлено о прекращении военных действий между Россией и Швецией. Во время посольского съезда шведы объявили, что война началась чуть ли не по недоразумению, «с подущения

злых людей за малыми причинами». Последнее, конечно, было неправдой. Причины были не менее вескими, чем в 1700 году. Другой разговор, что существовал приоритет целей и последовательность их достижения. В эйфории успехов Алексей Михайлович и его окружение забыли об этом, неосмотрительно раскидали свои далеко не безграничные силы, за что жестоко поплатились. Причем не в 1658 году — это еще не плата, — а несколько лет спустя.

То, что причины были вовсе «не малые», видно из посольского наказа царя Ордину-Нащокину, который отправлялся на переговоры в местечко Валиесари близ Нарвы. Тишайший требовал, чтобы Ордин всеми силами цеплялся за море и выторговал хотя бы полоску, хотя бы пядь прибрежной земли. Называлось даже желаемое место: русские Канцы — почти что Петровский Петербург! Получалась, что эта точка, как магнит, притягивала и отца, и сына, хотя силы этого притяжения были несравнимо разные.

С ноября 1658 года начались переговоры. По обыкновению обе стороны запрашивали много больше в надежде получить хоть что-то. Русский посол просил Ливонские города, Ижорскую и Корельскую земли. Шведы соглашались мириться только на условиях Столбовского мирного договора. Препирательствам не видно было конца, а мир, или хотя бы перемирие, был необходим обеим сторонам. В результате шведские и московские послы согласились на трехлетнее перемирие с сохранением завоеванного. Последнего за царем числилось поболее, и Валиесарское перемирие, подписанное 20 декабря, было признано бесспорным достижением. Это, однако, не помешало Алексею Михайловичу искать «злых людей» — виновников столь несвоевременной войны, о которых говорили шведы.

В списке «злых советчиков» числился патриарх Никон.

Разрыв

Это не было случайностью. Время доброго согласия, редкой приязни миновало, и взаимоотношения царя с патриархом незаметно приобрели несвойственную им натянутость и холодность. На то было множество причин, причем причин достаточно глубоких, так что худой совет патриарха начать войну со Швецией выглядит скорее одним из поводов к разрыву, чем причиной. Постепенно, из месяца в месяц, копилось внутреннее недовольство Алексея Михайловича своим «собинным другом», которое, если учитывать натуру царя, долгое время находило свое выражение в упреках, ворчании и... стремлении избежать открытого объяснения. И если бы не война со Швецией, так что-то иное непременно было бы поставлено патриарху в вину как пример неуместного вмешательства архипастыря в мирские дела. Да, собственно, и было поставлено: по старорусскому обычаю, с проявлением царского недовольствия на голову Никона посыпались всевозможные обвинения. Что-то в них было справедливо, что-то настолько спорно, что и сейчас трудно разобраться. Но немало обвинений было таких, к которым Никон не имел никакого отношения. Что ж, возводить напраслину на *пошатнувшегося* — один из законов придворного стиля, где бьют лежачего и пресмыкаются перед удачливым.

Против патриарха возникла пестрая и разночинная «коалиция».

Будущие расколоучителя видели в Никоне главного виновника утраты православной церковью древнего благочестия, поборника и проводника пагубных реформ.

Рядовое духовенство, далекое от существа споров между никонианами и раскольниками, не испытывало особого восторга от перемены в обрядах и книгах, хотя бы потому, что всякая перемена — это всегда неудобно, ново и волнительно.

Высшие архиереи с трудом мирились с патриаршим деспотизмом. Никон подавлял всякое иномыслие, всякое встречное слово. Не особенно теоретизируя, он реализовал свою жизненную парадигму: возвысить «священство», в «священстве» — патриаршество, в патриаршестве — себя. При этом все страдали от чрезмерных строгостей владыки, который утверждал порядок скоро и жестоко, мало считаясь с положением провинившегося. В церковную иерархию внедрялось чувство страха, неуверенности в будущем, от которого уже успели отвыкнуть при прежних патриархах и к которому трудно было привыкать заново. Правда, при этом архиереи не упустили случая перенять у патриарха его властолюбие. Жалуясь на никоновские жестокости, архиепископы и епископы превращались в таких же деспотичных владык в собственных епархиях. Их вполне устроила главная линия Никона на восстановление стесненных Уложением и Монастырским приказом прав «священства». Именно благодаря шестому патриарху они осмелились громогласно объявлять, что «мы суду царскому не подлежим, судит нас сам патриарх». Парадоксальность ситуации заключалась в том, что многие из архиереев вовсе не хотели, чтобы это делал именно Никон.

Сложные отношения складывались у Никона с боярством. Аристократия вообще очень ревниво относилась к любым попыткам патриархов вмешиваться в политические дела. Негодование думных чинов достигало здесь высших градусов, и первым, кто столкнулся с этим, оказался патриарх Иов, на которого боярство обрушило многие «клеветы и укоризны» за

активное участие в выборной кампании Бориса Годунова. Право же на соправительство, которое Никон присвоил с титулом «великого государя», воспринималось аристократией как нарушение всех традиций. Соправительство еще терпели в условиях чрезвычайных, послесмутных. Первым «великим государем» стал патриарх Филарет, властный нрав которого принуждены были сносить не только бояре, но и родной сын, царь Михаил Федорович. Но едва Филарет умер, как все вернулось на круги своя. Из оборота исчез применительно к патриархам титул «великий государь», а сами патриархи подбирались таким образом, чтобы были «ко царю не дерзновенны». Вмешательство церкви в светские дела — отчасти в силу слабости личностей последующих патриархов, отчасти в связи с возвратом к прежней модели взаимоотношений власти и церкви — было сильно ограничено. На Земском соборе 1642 года церковные власти подчеркнуто уклонились от поставленного правительством вопроса: воевать или не воевать с «турским салтаном» из-за захваченного донскими казаками Азова? То было дело государево и земское, а отнюдь не святительское и молитвенное, оно нам «не за обычай», объявили иерархи в своем ответе, добавив, что если царь решит воевать, то «мы, твои государевы богомольцы, ратным людям в подможение рады помогать, елико сила наша может»^[300].

Никон отверг эту традицию и попытался вернуться ко временам патриарха Филарета. Это особенно стало ясно с началом польской войны, когда царь часто и надолго оставлял Москву. Никон председательствовал в Боярской думе и был столь строг, что выгонял слишком уж нерадивых думных чинов освежиться на воздух — на крыльцо дворца.

Из приказов рассылались грамотки, в которых вместо привычного «царь указал» стояло: «святейший патриарх указал». Поведение Никона, усугубленное его бескомпромиссным норовом, воспринималось боярством как посягательство на неотъемлемые права. Сложилась даже присказка о властолюбии и гордыне патриарха, удивительная прежде всего «светским» выражением оценки его поведения: он, патриарх, любит сидеть высоко, ездить далеко!

Ненависть бояр к Никону складывалась в том числе и из мелочей. Но именно эти мелочи придавали боярской травле то неодолимое упорство, с какой волчья стая преследует свою жертву. Вот Никон принимает гостей во главе с Тишайшим по случаю новоселья в новоустроенном патриаршем дворе. Войдя, царь кланяется патриарху и подносит от себя сначала хлеб-соль и сорок соболей, затем — от имени царицы, царевича, дочерей — всего 12 хлебов и 12 сороков соболей. При этом царь, как пишет Павел Алеппский, все время ходил к дверям за подарками, «принимая на себя не малый труд, крича на бояр... чтоб они подавали скорее». В итоге Алексей Михайлович показался греку простым «слугой». Но кем тогда казались и что чувствовали бояре?

Однако одно дело — недовольство и недовольные, другое — действительная оппозиция и борьба с патриархом. Как бы ни были крикливы первые раскольники, не они составляли главную опасность для Никона. Аристократия, боярство — вот кто принялся валить властолюбивого патриарха. Эта «потаенная работа», по-видимому, навсегда останется для нас до конца неизвестной и о ее размахе можно лишь догадываться по случайным, в запальчивости произнесенным словам, поскольку поднаторевшие в интригах противники патриарха вовсе не стремились афишировать свою неприязнь и действовали

осторожно, исподволь, нередко чужими руками. Кое-что доносят до нас свидетельства иностранцев, но и они, как правило, темны и неопределенны. Приехавшему в Москву уже после разрыва патриарха с царем Севастьяну Главиничу, славянину по происхождению и домовому священнику имперского посольства по положению (1661 год), удалось выведать следующее: «...Никон изгнан оттуда (из Кремля. — *И.А.*) по заговору, составленному против него придворной знатью. Некоторые сказали, что он оказался первым зачинщиком войны, предпринятой против поляков; другие — что он главный виновник чеканки медных денег, из-за чего многих привел в бедность, а некоторые утверждали, что большой был охотник управлять царским дворцом единственно по своей только мысли»^[301].

Боярство прекрасно понимало, в чем сила Никона. Отнюдь не в уме, не в темпераменте и даже не в масштабе личности патриарха, а в царской приязни. Патриарх прочувствовал две ведущих черты в характере Алексея Михайловича: его желание соответствовать высоте царского сана и стремление к прочности, устойчивости быта и бытия. Поняв это, Никон надолго сумел убедить царя, что именно он — единственный и необходимый «собинный друг», который разделит с ним все тяготы и обережет от неудач. Долгое время Никон и был таковым для царя. Даже властные поползновения Никона и все громче звучавшая в его исполнении тема «священства» не сразу была осознана Тишайшим как покушение на его власть. Ратуя за торжество православия и церкви, патриарх одновременно возвышал Московское Православное царство и сулил Алексею Михайловичу вселенское поприще, а значит, в глазах царя исправно тянул вперед его самодержавство.

В этой ситуации многоопытные враги Никона избрали единственно возможный путь — развеять, разрушить, истребить «сердечное согласие» царя с патриархом. Это была заурядная интрига, подобная тем, что плелись во все времена при всех дворах. Разнясь в декорациях и антураже, они были до смешного схожи по сценарию: очернить соперника, отворотить от фаворита государево сердце. Была избрана и самая болезненная для Алексея Михайловича тема — его соответствие высоте царского сана. Некогда на этом сыграл Никон. Теперь настал черед его соперников.

Здесь пришлось ко двору даже противники церковных реформ. В московской среде у них было немало сочувствующих. Не только из-за сомнений в благочестии нововведений. Люди шумные и ярые, расколоучителя как нельзя кстати подходили для открытых нападок на Никона. Причем не только по вопросам реформы обряда и правки книг. Как мы помним, именно сторонники древнего благочестия первыми открыто обрушились на патриарха в умалении власти государя.

Особенно допекал Никона Неронов. Патриарх, должно быть, поминал «старца Григория» не только в поездках на могилу Стефана Вонифатьева в Покровский монастырь. Бывший казанский протопоп не унимался, отравляя владыке каждый день существования. В начале 1658 года он прямо обращается к царю: «Доколе терпишь такова Божию врагу? Смутил всею рускою землю и твою царскую честь попрали и уже твоей власти не слышать на Москве, а от Никона всем страх, и его посланники пуще царских всем страшны».

Капля камень точит. Слова Неронова и его единомышленников не пропадали даром. Для Алексея Михайловича не было более разящих ударов, чем намек на то, что он — царь лишь по названию.

Боярство также не упускало случая бросить тень на патриарха. Оппозиция не жалела черных красок для Никона и много в том преуспела: в глазах Тишайшего золотой саккос Никона почернел еще до того, как тот снова облачился в мрачное иноческое платье.

Когда-то бунтующие новгородцы били новгородского владыку камнями, упрятанными в шапки. Придворные недруги Никона ударяли изощреннее: не имея возможности прямо оскорбить патриарха — его охранял сан первосвященника, — они повсюду теснили патриарших слуг. Но поражая слугу, оскорбляли и господина, особенно если тому отказывали в законном разбирательстве и защите. Царское молчание особенно уязвляло Никона. Недруги патриарха проявили себя как тонкие знатоки человеческой натуры. Несдержанный Никон должен был сорваться. И он сорвался, хотя далеко не все в этом срыве — оставлении патриаршества — одни эмоции.

Внешне конфликт патриарха с царем выглядит как столкновение характеров и темпераментов. Это действительно так. Но еще историки конца XIX — начала XX века справедливо отмечали, что происходившее выходило далеко за личностные рамки. Можно даже сказать, что столкновение в известном смысле было неизбежно — к нему вело само развитие государства и общества.

Выступая наследником Константинополя, московское самодержавие перенесло на русскую почву и византийские представления о власти и ее взаимоотношении с церковью. При этом следует иметь в виду, что это не было прямым заимствованием. В русском историко-культурном контексте византийские представления нередко становились символами культурной и политической ориентации, заполненными измененным или даже новым смыслом.

Это утверждение вполне проецируется на конфликт Никона с Алексеем Михайловичем. В начале 50-х годов всегда выступавшие вместе патриарх и царь — живое олицетворение идеи о неразрывной связи православного царства и церкви. Такое положение — прямая калька слов константинопольского патриарха Антония, высокомерно поучавшего в 1393 году московского князя, что «невозможно иметь церковь, но не иметь царя». Упрек был воспринят русскими книжниками, и Арсений Суханов два с половиной столетия спустя оборотил его уже против самих учителей. В памятном споре с греками он доказывал невозможность сохранить в чистоте «большое православие» и оберечь церковь, потеряв царство и царя.

Предназначение царской власти — охранение и забота о процветании православной веры и церкви. Божественное происхождение царской власти предполагало обожествление личности монарха, наделение его сакральными качествами. Московские государи, подобно византийским, претендовали на высшую юрисдикцию в церковных делах. Правда, византийский василевс в момент венчания на царство сам обращался в архиерея и как бы входил в высшую церковную иерархию. Такой взгляд не был воспринят на Руси. Это, однако, не означало, что царская власть оставалась вне церковных дел. Еще Иосиф Волоцкий утверждал, что «Бог милость и суд, церковное и монастырское, и всего православного христианства всея Русския земли власть и попечение вручил» московскому князю, отчего даже «царский суд святительским судом не посуждается ни от кого».

Официально взаимоотношения светских и духовных властей выстраивались согласно византийской «симфонии» властей. Ее основные положения предполагали гармоническое существование

самобытных по существу и происхождению властей^[302]. Однако на деле «симфония» давно была переиначена на русский лад и русским же опытом приправлена. Оттого к XVII веку церковная независимость вылилась в известную автономию, которая также не оставалась неизменной. Все дело было в мере. А мера, несмотря на ее сакральный смысл, на практике сводилась к личностному истолкованию. В итоге, когда Никон, исходя из суверенности своей святительской власти, стал ставить и низводить епископов без участия государя, это было воспринято как нарушение «симфонии». Иными словами, патриарх поступил в соответствии со своим представлением о мере патриаршей власти. Но его мера вошла в противоречие с мерой его противников и дала повод к осуждению.

Неприемлемыми новациями казались и другие патриаршие поступки с объявлением царя и патриарха «двоицею, сугубицею богоизбранную». В предисловии к Служебнику 1655 года говорилось: Бог даровал «богоизбранную и богомудрую двоицу» — благочестивого и христоролюбивого Алексея Михайловича и великого государя, святейшего патриарха Никона, «да возрадуются вси живущии под державою их... и да под единым их государским повелением вси, повсюду, православнии народы живущи».

Тогда же появилась Кормчая книга (сборник церковных постановлений), где впервые была напечатана «Вена Константинова». В ней провозглашалось господство власти архиерейской над душами, а царской — над предметами «видимого мира»: «В этом власть духовная и светская не выше друг друга, но каждая происходит от Бога». Мысль была не новая, но еще никогда она столь явственно не декларировалась в Кормчей^[303].

Все эти «теоретические» обоснования прав священства получали сильный резонанс прежде всего из-за постоянного вмешательства патриарха в дела государственного управления. Светские притязания Никона воспринимались как нечто из ряда вон выходящее, находившее аналогию с действиями папы римского, желавшего «уничтожения царства». Все тот же Иван Неронов открыто говорил в Крестовой палате перед Собором: дал Никону благочестивый государь «волю, и ты (Никон. — *И.А.*), не узнав, тако ругания творишь». Для Неронова исходное в этой части патриаршей власти — царская воля, а ее чрезмерность — самоуправство Никона, предосудительное злоупотребление доверием государя. В полемическом запале старец даже забыл, что это самоуправство во многом поощрил и спровоцировал сам царь, не только давший Никону титул «великого государя», но, к примеру, подаривший в день празднования Успения Богородицы золотую митру-корону, которую до того никогда не носили московские патриархи. А такая митра в глазах современников уже чистое «папство»^[304].

Однако в своем общении со светской властью Никон не всегда и не везде выступал как наступающая сторона. Образ властолюбивого владыки, стеснившего до удушья богобоязненного и почтительного Алексея Михайловича, был создан в значительной мере усилиями патриарших недругов. Тем более что это было нетрудно сделать: характер Никона таков, что он и обороне придавал агрессивную окраску. Между тем патриарх в большинстве случаев именно защищался, будучи твердо уверен, что он отстаивает незаконно стесненные светской властью права церкви.

В самом деле, дальнейшее движение по пути централизации государства, становление

абсолютистской власти приводили к тому, что многие права и привилегии церкви вступали с ними в противоречие. Сама автономность церкви, претендующей на известную обособленность, превращалась в анахронизм. Трудно было примириться с ее положением своеобразного государства в государстве. Светская власть утверждала свою юрисдикцию над населением церковных вотчин и даже претендовала на участие в суде над духовенством. Это была общая тенденция уравнивания сословий в несправедливости перед самодержавной властью.

Ограничение монастырских тарханных грамот — следствие все того же развития государства — ставило под вопрос судебные и имущественные привилегии церкви. Был нормативно прекращен рост церковного недвижимого имущества. Служилые люди открыто обсуждали судьбу земельных владений духовенства: секуляризация в иные моменты казалась делом вовсе не отдаленным — она заставляла церковные власти все время обороняться.

Наконец, огромные изменения в положении церкви были вызваны переменами в культуре. Начавшееся обмирщение не могло не повлиять на положение церкви. И пускай секуляризационные процессы были только запущены, поправки в «симфонию» властей вносить стало необходимо. Ведь церковная духовная монополия истачивалась, и светская власть принуждена была искать новые аргументы и идеи в общении с подданными.

В 70-е годы протопоп Аввакум сумел угадать в поверхностном западноевропейском модничании своих современников будущность древнерусской православной культуры. Она была печальна. Культурная переориентация означала смену самого типа культуры: «Ох, Бедная Русь! Что это тебе захотелось латинских обычаев и немецких проступков?»

Но еще до этого пророчества в своих яростных нападках на «проклятую книгу», Соборное уложение, Никон сумел предугадать петровское посягательство на церковь и патриаршество, низведение их во взаимоотношения с государством до принципов Духовного регламента. Оба пророчества, хотя и касались разных сфер — из одного ряда. Это реакция на перемены, которые несло Новое время.

Неотвратимость этих перемен определяла будущность человеческих судеб. Тот, кто хотел выжить, должен был принять их, кто противился — сгинуть. Аввакум и Никон воспротивились. И каждый по-своему сгнули. Но, право, в этом упрямстве больше привлекательности, чем в бесхребетном пресмыкании перед неодолимостью обстоятельств, которые демонстрировали многие владыки.

Человек поступка, а не пера — это уже позднее жизненные обстоятельства принудят к писательству, — Никон пытался на деле утвердить модель взаимоотношения двух властей, которая была обращена в прошлое. Будучи еще новгородским владыкой, он восстановил судебный иммунитет и судил население своих вотчин помимо Уложения и Монастырского приказа. Царь немало помог Никону. При нем росли земельные владения трех основанных патриарших монастырей и патриаршей кафедры. Правда, при этом Алексей Михайлович был достаточно сдержан, предпочитая, чтобы патриаршие земельные владения округлялись преимущественно за счет мены, а не вкладов или пожалования. Характерно, что он не пожаловал ни одной десятины Новоиерусалимскому монастырю, владения которого Никон приумножал собственными хлопотами и средствами^[305]. В такой позиции легко усмотреть известное противоречие с общим движением эпохи. Но, сужая действие норм

Уложения, Алексей Михайлович оставался верен общему самодержавному принципу: его воля и власть — источник всего, даже отступления назад в развитии светского законодательства. Но при этом и на пике своего влияния Никону не удалось добиться отмены вызывающих его гнев статей Уложения.

Для Никона обширное церковное землевладение и огромные доходы с подвластных областей — условие независимости церкви, возможность творить милосердие и множить молитвенные обители. Тем не менее в вотчинничестве патриарха проглядываются те же теократические поползновения, что и в его «светской политике». Государству трудно было мириться с особым статусом патриаршего «домена», в котором к моменту падения Никона только городов было восемьдесят пять ^[306]. Не случайно, что после Никона патриаршая кафедра потеряла часть владений и уже никогда не достигала тех границ, которые она имела в конце 50-х годов.

Алексей Михайлович долго шел рядом с Никоном. То была, несомненно, прочная духовная связь. Однако было бы упрощением представлять, что она питалась лишь одним бескорытием. Существовал вполне определенный взаимный интерес. Когда Никон мечтал о вселенском лидерстве, он находил полную поддержку Тишайшего. Это лидерство отвечало всему строю мыслей русского человека, гордившегося своим православием. И уж тем более подходило оно царю, увлеченному идеей строительства Православного царства, под руку которого соберутся все православные и все церкви. Ведь ясно, что рядом с таким монархом должен стоять вселенский патриарх. Так некогда случилось с Константинопольским владыкой, которому было дано первенство «ради царствующего града». Но где ныне этот град и какова «честь»

Константинопольского патриархата? Лидерство московского патриарха для Алексея Михайловича было столь же желанно и необходимо, как и для Никона.

На этом сходство оканчивалось и начинались разногласия. Учение о Православном царстве оборачивалось спором о приоритетах. Причем не только в делах церковных и духовных, но и касательно деяний светской власти. В последнем случае Никон претендовал не только на нравственную оценку, но и на наставничество, которое в его трактовке становилось чуть ли не обязательным для государя в смысле послушания и исполнения патриарших советов.

Противники Никона примешали к спору о приоритетах много разного сора, отчего почитатели патриарха впоследствии стали отрицать всякую вину патриарха. Да и в самом ли деле имел место цезарепапизм Никона? Выше мы сами писали, что Никон во многих случаях пытался вернуть то, что совсем недавно «отвоевала» у церкви светская власть. Так не есть ли это лишь восстановление «симфонии властей»?

Ответ на этот вопрос не может быть однозначным.

Тогда, когда Никон, опираясь на святоотеческое писание, пытался отстаивать право священства в делах церковных «преболе царства есть», он действительно отстаивал каноническую старину от абсолютистских притязаний царя. Понятно, что все остальное становилось для него следствием, так что в запале Никон крушил каждого, преступившего эту заповедь. Доставалось всем, не исключая самого Алексея Михайловича, ибо, по твердому убеждению патриарха, «яко идеже Церковь под мирскую власть снидет, несть Церковь, но дом человеческий и вертеп разбойников».

Но сколь ни велика была в усилиях Никона доля мер «оборонительных», вызванных реакцией на Соборное уложение, Монастырский приказ и иные стеснительные действия Царства, в споре о главенстве патриарх

пытался изменить традиционное и перетянуть одеяло на себя. Это выразилось не только в манере и стиле его поведения, вызвавших негодование светских элит. Никон перетолковывал теорию о Третьем Риме, и в этом его оппоненты видели непозволительные для патриарха посягательства на прерогативы «благочестивого государя». В идее Третьего Рима Никон подчеркивал духовное; истинное благочестие связывалось им с Московской церковью, ведущей свою паству к спасению. Он делал акцент не на имперскую идею, исподволь присутствующую в идеологии Третьего Рима, а на Новый Иерусалим. Русская земля — Новый Иерусалим — горний мир, достигаемый неусыпными трудами и молитвами священства. И этот Новый Иерусалим выносился им за стены царствующего града, из-под царской опеки — под опеку церкви, или, точнее, под его собственную опеку.

Рядом с Москвою — Третьим Римом, возникает еще один центр святости, наделявший Святую Русь до сих пор несвойственным ей вселенским смыслом. Вся символика Нового Иерусалима была пронизана этим замыслом. И в этом замысле первенство отдавалось пятому — московскому патриарху. Не случайно среди престолов Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, основанного Никоном, главный предназначался самому Никону, который таким образом превращался в центральную фигуру Вселенской церкви. Но при этом невольно получалось, что «подмосковная Палестина», претендуя на роль духовного средоточия мирового православия, затмевала Москву, столицу Православного царства. Алексей Михайлович воспринял это как вызов, посягательство на его право быть во главе православного мира, как вариацию все той же темы верховенства «священства» над «царством».

Обмирщение культуры, централизация государства и развитие самодержавной власти в сторону

абсолютистской монархии — из всего этого и складывалась та объективная основа, которая делала конфликт между светской и духовной властями неизбежным. Однако какую форму примет этот конфликт, насколько он сотрясет общество, саму власть, как он будет протекать — все это зависело от многих обстоятельств, главными из которых были его участники. И Никон, и Алексей Михайлович привнесли в него поистине краски неповторимые!

Напряженность между царем и патриархом нарастала постепенно. К 1656 году конфликт приобрел зримые очертания, находя выражение в неожиданных вспышках царского гнева. Может быть, не стоило бы придавать им большое значение — царь скоро закипал, но еще скорее остывал. Но ведь речь шла о Никоне, на которого вспыльчивый Тишайший еще совсем недавно не осмеливался повысить голос. Так что за всем этим явно проглядывалось растущее царское недовольство первосвященником.

Особенно скандальный характер приобрел эпизод с водосвятием в 1656 году. По русской традиции в канун праздника Богоявления вода освящалась единожды. Антиохийский патриарх обратил внимание Никона на расхождение в этом с греческой церковной практикой, где освящение происходило дважды — в навечерие, как у русских, и в самый праздник. Никон проигнорировал замечание Макария и провел службу по-старому. Сам по себе этот факт очень показателен и свидетельствует о разочаровании, которое испытывал патриарх по отношению к результатам обрядовой реформы. Совсем еще недавно готовый во всем следовать за греками, он вдруг отдает предпочтение своему «святорусскому» обряду. Отступление от «грекофильства» поначалу прошло незамеченным. Макарий промолчал, Алексей Михайлович остался в уверенности, что Никон последовал наставлению Антиохийского владыки.

Последний, кстати, в канун Пасхи был торжественно отправлен на родину. После его отъезда Алексей Михайлович и узнал о «проступке» Никона. Случилось ли это неожиданно, или кто-то из патриарших недругов специально улучил момент и донес о происшествии государю — неизвестно. Но не приходится сомневаться, что отзвуки царского гнева прокатились по всем кремлевским закоулкам.

Тишайший взорвался: «Мужик, невежда, б... сын!», — с этими бранными словами обрушился он на Никона. «Я твой духовный отец, зачем ты оскорбляешь меня?» — возразил тот. «Не ты мой отец, а святой патриарх Антиохийский воистину мой отец», — парировал царь и приказал вернуть Макария.

За Макарием в самом деле послали и из-под Волхова, по раскисшим от весенней распутице дорогам, повезли назад в Москву. Правда, к моменту его появления в столице Алексей Михайлович успел отойти и помириться с Никоном. Но это уже был мир, омраченный гневливой выходкой государя.

Разумеется, памятуя о характере Алексея Михайловича, от него не приходится ожидать разрыва решительного и бесповоротного. В редких случаях его расставания с ближайшими сотрудниками подобные нарывы вскрывались долго, а уж назревали и того дольше. Но сценарии в целом схожие: царь раздражается, обрушивается на виновного с градом упреков. Разрядка на время снимает напряжение, и все снова течет по-прежнему. Так, в октябре 1657 года царь по приглашению Никона приезжает на Истру на освящение Воскресенского деревянного храма. Здесь же официально было принято решение о «признании» обители и окрестных мест Новым Иерусалимом.

И все же во взаимоотношениях царя и патриарха оставалось все меньше сердечности и доверительности. О том говорят косвенные данные, особенно значимые в

сравнении с тем, что было раньше. По возвращении из Воскресенского монастыря Алексей Михайлович пишет письмо, по тону совершенно не похожее на письма 1652 года: «Ты ж жалуешь, пишешь, тужишь о нас, и аще Бог даст живы будем, за твоими пресвятыми молитвами, не зарекались и паки не зарекаемся, и паки приезжать». «Значит, были какие-то обстоятельства и высказывания Алексея Михайловича, дававшие Никону повод думать, что царь „зарекается“ приезжать к патриарху», — пишет новейший биограф Никона, церковный историк Лев Лебедев, первым обративший внимание на эту странную оговорку Алексея Михайловича^[307].

Постепенно отношения патриарха с царем приобретали сугубо официальный характер. Никона устранили от участия в государственных делах. С ним перестали советоваться. Одновременно царь, забыв о прежнем своем обещании, начинает вмешиваться в дела церкви. По его настоянию — «повелением великого государя» — архимандритом Троицкого монастыря становится Иоасаф (будущий патриарх)^[308]. Никон «благословляет» решение царя, но для него это — известное ущемление его, патриарха, прав. Не приходится удивляться, что тонкая нить, все более источаемая взаимными обидами и недоверием, нить, которую столь умело подтачивали придворные, в конце концов должна была оборваться. Это и случилось в июле 1658 года.

6 июля 1658 года, во время торжественной встречи грузинского царевича Теймураза, Богдан Хитрово ударил палкой патриаршего стряпчего князя Мещерского. Ударил, возможно, и непреднамеренно, расчищая дорогу царевичу среди любопытствующих придворных. Но узнав Мещерского, махнул палкой по лбу уже явно, «уязви его горко зело». Князь побежал жаловаться патриарху. Никон и без того находился в

положении оскорбленного. Ибо его не пригласили на встречу с православным царевичем, посчитав, что это дело можно уладить и без патриарха.

Никон потребовал немедленно наказать виновного. Хитрово был его открытым врагом, к тому же и опасным — благоволением царя ходил в «сильненьких». Зная о склонности Хитрово к интригам, можно предположить, что, замахиваясь палкой на патриаршего стряпчего, он уже был уверен — плод созрел, можно бить!

Так оно и вышло. Алексей Михайлович пообещал Никону разобраться. Однако попозже. Для патриарха это выдвинутое и повисшее в воздухе обещание стало горькой обидой. Вся его гордая натура требовала немедленного удовлетворения. Дело было ведь не в одном государевом любимце: патриарх стремился поставить всех на место. «Волен де Бог и государь, коли де мне оборони не дал, а я де стану управливаться с ним церковию», — возбужденно пообещал он, когда стала очевидной затяжка с наказанием обидчика.

Два дня спустя последовал новый удар. 8 июля был праздник Казанской иконы Божией Матери, на всех службах которого обыкновенно присутствовал царь с двором. Сами службы исполнял патриарх, по обычаю посылавший за государем. Но Алексей Михайлович на этот раз в Успенском соборе не появился.

Не присутствовал он и 10 июля на празднике Положения ризы Господней. Зато после утрени в Успенский собор пришел князь Юрий Ромодановский и объявил Никону о царском гневе. К этому было прибавлено, что патриарх «пренебрегает» государем, называя себя «великим государем, а у нас един великий государь — царь». Нетрудно было догадаться, с чьего голоса пел посланник, — излита была прежде всего не царская, а боярская обида.

Никон возразил, что этот титул он получил от самого Алексея Михайловича. Здесь последовало

внушение: царь «почте тебя, яко отца и пастыря, но ты не уразумел, и ныне царское величество повеле... отныне не пишешься и не называешься великим государем, а почитать тебя впредь не будет». Внушение выглядело крайне неуклюже: получалось, что потребовалось шесть лет для выяснения того, что патриарх был просто «почте», а Никон этого «не уразумел» и по недогадливости своей вмешивался в управление государством.

Никон вскипел. Глубоко уязвленный, он уже не желал и не хотел ждать. Если и были какие-то колебания, то непродолжительные. Никон взял бумагу, стал что-то писать, потом разорвал (для историков навсегда утраченные бесценные строки!) со словами: «Иду-де». Он решился. Все или ничего! И незамедлительно!

В тот же день, по окончании заамвонной молитвы, Никон прочел поучение Иоанна Златоуста о значении церковных пастырей, а затем отставил в сторону свой святительский посох и объявил об уходе: «От сего времени не буду вам патриарх!» Позднее иностранцы приписали Никону еще более решительное выражение протеста, свидетельствующее о полном непонимании ими поведения православного пастыря: Никон будто бы, разоблачившись, топтал патриаршее одеяние и «золотой крест, которым он благословлял народ»^[309].

Конечно, речь уходящего Никона была более пространна и позднее заставила правительство провести настоящее расследование, главной целью которого было выяснить: отрекался ли Никон от патриаршества «с клятвою», то есть пригрозив себе «проклятием» в случае перемены решения, или нет. Следствие мало что дало: свидетели путались, противоречили друг другу или отговаривались тем, что стояли далеко и ничего не могли расслышать. Так что

из затеи сместить Никона его же словами ничего не вышло. Но бесспорно, что Никон произнес слова, которые можно истолковать как обвинение царю, — он «оставляет град сей и отходит оттуда, давая место гневу»^[310].

Переодевшись в монашеское одеяние и взяв простую «клюку», Никон двинулся к выходу. Началось смятение. Растерянные священнослужители и народ стали удерживать владыку.

Крутицкий митрополит Питирим побежал докладывать о происшедшем царю. Но даже известие о патриаршем уходе не заставило Алексея Михайловича появиться — так царь распалился на патриарха. Прислан был князь А. Н. Трубецкой. Боярин пришел выяснять, отчего Никон оставляет патриаршество, не посоветовавшись с царем, «и от чьево гоненья, и кто его гонит?» Никон объявил, что оставляет патриаршество по своей воле, «ни от какого гонения, государева гнева на меня никакого не бывало». Ответ очень выразителен: при том, что в нем легко угадывается голос поправной гордыни, Никон рассудил здраво и не стал напрямую задевать государя — пусть того изгрызает его собственная совесть.

Несомненно, мечущую душу Никона вдохновляли воспоминания. Он помнил о царе, мягкосердечном и податливом. Ныне им верховодят его противники. Но верх в конце концов возьмет тот, кто овладеет царской волей. Поступок патриарха выглядит как шаг, продиктованный отчаянием. Но что может сильнее испугать такого государя, как уход гонимого им архипастыря? Никон делает ставку на слабость и страх, и нельзя сказать, памятуя о личности царя и прежних их отношениях, что это было абсолютно безрассудно.

Есть, впрочем, в поступке Никона еще один мотив, который редко берется во внимание. Натура его была

столь горяча и противоречива, что расчет вполне уживался с бескорыстным порывом. Никон поступал вполне в традиции русской святости. Он не просто готов был принять мучения за правду. Он принимал мучения кротким страдальцем, намеренно не желая сопротивляться злу. В греховном мире он — добровольная жертва.

...Диалог с Трубецким Никон закончил просьбой: передать грамоту царю и испросить для него, смиренного богомольца, келью. Алексей Михайлович письмо не взял^[311], патриаршество просил не оставлять, а насчет кельи выразился в таком смысле, что — если передавший царские слова Трубецкой ничего от себя не прибавил, — похоже, просто посмеялся над Никоном: келей на патриаршем дворе и так много, «в которой он (Никон) похочет, в той и живи».

Не на такой ответ рассчитывал строптивый патриарх. Он пугал. Царь не испугался.

Никону оставалось одно — остаться непреклонным. «Уже я слова своего не переменю. Да и давно у меня о том обещание, что патриархом мне не быть», — объявил он и мимо Патриаршего двора двинулся к Спасским воротам. Их не сразу отворили, и, должно быть, присевши в ожидании на ступеньку, он еще таил в душе надежду — одумаются, вернут, расскаются... Но не одумались и не вернули. Никону приоткрыли калитку, и новоявленный странник пошел из Кремля вон. Некогда Неронов пророчествовал Никону: «Да время будет и сам с Москвы поскочишь». Старец Григорий и не подозревал, как скоро сбудутся эти слова.

Никон остановился на подворье Воскресенского монастыря, повинувшись рапоржению царя никуда не уезжать и ждать с ним встречи. Но прошел день, второй — Кремль молчал. Тогда Никон 12 июля без спроса

собрался и уехал в Новый Иерусалим. Наступило восьмилетнее «сиротство» русской церкви, привнесшее великое смятение в умы современников.

Но что же на самом деле переживал в эти дни Алексей Михайлович? Этот вопрос, быть может, и не особенно важный для политической истории, интересен для биографа. Царь, несомненно, был разгневан поступком Никона. По-видимому, он воспринял его как лишнее доказательство правоты придворных недругов владыки: Никон «умалил» царскую власть, он ни во что не ставит царские милости. А чем можно было больнее задеть Алексея Михайловича, как не этими доводами?

И все же уход Никона для Тишайшего — нож в сердце. Вполне возможно, что пойдя патриарх в тот момент на попятную — царь вздохнул бы с облегчением. Он ведь мечтал не о разрыве, а о том, чтобы поставить возгордившегося патриарха на место. Но Никон не был бы Никоном, поступи он иначе. Никон весь — оскорбленное, кричащее достоинство! Ведь как иначе расценить этот смиренный уход через калитку Спасских ворот? Пускай в Кремле вопиют, что идет он никем не гонимый. А вот он, в простой одежде инока, с посошком в руке. Гоним. Очень гоним.

В середине июля в монастырь приехали боярин Трубецкой и думный дьяк Иларион Лопухин. Если патриарх, увидев гостей, и надеялся на благоприятную весть, то напрасно. Князь уведомил первосвященника, что царь просит у него благословения себе, семейству и на избрание нового патриарха. Пришлось Никону проглотить обиду и подтвердить свое намерение оставить патриаршество: «Кому государь укажет быть патриархом, благословлю». До патриаршего же избрания он поручал ведать церковные дела митрополиту Питириму. Однако на самом деле Никон вовсе не собирался отказываться от продолжения

борьбы. Об этом красноречиво свидетельствует его ответ патриаршему боярину Зюзину, лицу особо доверенному и преданному. Сразу же за событиями 10 июля тот спросил: «Что, государь, оставил престол свой? Оставь свое упорство и возвратись». «Будет тому время, возвращусь», — многозначительно отвечал Никон^[312].

Между тем в столице комиссия в составе все того же А. Н. Трубецкого и Р. М. Стрешнева наложила «арест» на бумаги и келейную казну «бывшего патриарха Никона». Действовала комиссия достаточно сурово — ведь ее возглавляли люди, люто ненавидевшие патриарха. Зато в поведении других видна нерешительность. Это не было случайностью — многие не исключали возможности примирения патриарха с царем. Отсюда сдержанность и осмотрительность: что-то будет? Путала и несогласованность, связанная с тем, что «официальное отношение» к ушедшему патриарху еще не было обнародовано.

Примеров тому было немало. В указе от 15 июля о передаче одного судного дела в Тайный приказ читаем: «А к отцу нашему, великому государю святейшему Никону архиепископу царствующего града Москвы... патриарху того вотчинного дела посылать не велели». В тот же день из царских хором в Коломенском следует указ Трубецкому и Стрешневу, разрешавший выдать из арестованной келейной казны Никона нужные ему вещи^[313]. Указу предшествовал допрос в следственной комиссии приехавшего из Новоиерусалимского монастыря дьяка Ивана Кокошилова с любопытными формулировками (допрос был отправлен государю): «О чем... *бывший патриарх* Никон бил челом, чтоб ты, великий государь, его пожаловал, велел ему из ево келейные казны выдать?» Так в один день Никон в

разных документах упоминался и как «бывший патриарх», и как «великий государь и святейший патриарх».

Заметим, что царь приказал отдать Никону все, о чем он просил, — деньги, книги, домашние и церковные вещи, за исключением больших кипарисных крестов и иконы, на которой были изображены «царь Константин и Елена и ваши государевы лица». Большие кипарисные кресты — это «выносные кресты», которые по указу Никона несли перед ним. Понятно, что в Коломенском рассудили, что они более не нужны «бывшему патриарху». Царь также приказал оставить за Никоном все три монастыря его строения: Крестный, Иверский и Воскресенский со всеми приписанными к ним четырнадцатью монастырями и пустыньками.

Тяжба между Никоном и Алексеем Михайловичем кажется во многих отношениях странной. Начавшись, по крайней мере внешне, как реакция Никона на нанесенную ему обиду, она по мере своего развития превратилась в речах и писаниях патриарха в принципиальное противостояние. В устах Никона царь дал место «неправедному гневу»; «церкви обид много стало», «преступив Божественные правила», государь «суд церковный отнял». Царь по Никону из защитника церкви превращался в ее распорядителя, что противоречило всем установлениям и традициям. В итоге патриарх не стерпел, восстал и ушел.

Особенно пространными были обвинения в знаменитом Никоновском «Возражении или разорении». Царь для него — клятвопреступник, гонитель Божественной Правды, «восхититель церкви». «Царь при избрании нас на патриаршество, — писал Никон, — дал клятвенное обещание перед Богом и всеми святыми хранить непреложно заповеди Евангелия, святых апостолов и святых отец, и пока пребывал в своем

обещании, повинуюсь святой Церкви, мы терпели. А когда царь изменил своему обещанию и на нас положил гнев несправедливо, мы... вышли... из града Москвы, отрясли прах от ног наших... Кто же укорит меня, что я поступил вопреки воле Божией, а не по правде, и какое тут отречение?».

Алексей Михайлович двигался в обратном направлении. Он защищал те же принципы, но в том смысле, или, точнее, в той мере, как он их понимал (и в первую очередь принцип «царства»), но в своей защите претерпел от Никона такие оскорбления, что вскоре ни о каком примирении говорить не приходилось — неприязнь стала еще и личной, превратилась в нестерпимую обиду.

В минуты, когда Никон напоминал прежнего неукротимого Никона, он с гневной настойчивостью твердил о гонениях и злых гонителях, заставивших его покинуть престол; о царе, нарушившем свои же клятвы и «презревшем святыя заповеди и правила». «Откуда ты принял такое дерзновение сыскивать о нас и судить нас?.. — сурово вопрошал он царя. — Не довольно ли тебе судить в правду людей царствия мира сего, о чем ты мало заботишься?.. Все законы святых отец и благочестивых царей... ты обратил в ничто».

Тишайшего возмущали подобные обвинения. Как праведный государь и благочестивый христианин, он чувствовал себя глубоко оскорбленным. Если он и вмешивался в церковные дела, то по праву, данному ему саном Помазанника Божия, и по нужде, возникшей из-за того, что патриарх бросил на произвол паству и Церковь. Такие раны не затягивались и не рубцевались, а лишь обильнее кровоточили после каждого нового выпада опального владыки.

Но второй Романов, при всем своем преклонении перед Иваном Грозным, — не Иван Грозный. Тот разрешил бы тяжбу просто, как с митрополитом

Филиппом — низложил бы собором послушных архиереев, а затем и отнял бы жизнь. Алексей Михайлович по своим человеческим качествам стоял неизмеримо выше. Справедливое дело должно торжествовать по самой своей сущности, по Правде. Царь ведет дело к суду церковному, соборному осуждению патриарха и уже в этом намерении проявляет несвойственную ему настойчивость и твердость.

Сначала казалось, что конфликт удастся разрешить скоро и мирно: Никон уйдет сам, ибо громогласно объявил, что «сошел с патриаршества собою». Однако надеждам этим не суждено было сбыться. Никон заявил, что оставил престол, а не архиерейство. Именно потому и было затеяно упомянутое выше дело о том, как уходил из собора Никон — с «заклятием» или нет? Но Никон не уступал и все показания свидетелей об «анафеме» начисто отметал — не говорил такого, и все тут! При этом он по-прежнему не возражал против избрания нового архипастыря, но только с его, Никона, рукоположения. Он даже писал об этом самолично царю, изменив — и это очень показательно — прежнюю подпись с «бывший патриарх» или «смиренный Никон» на «Никон, Божьей милостью, патриарх». С этим уже никак не могли смириться в Кремле. Было ясно, куда гнет Никон: новый пастырь, получивший благословение из рук старого, сохранившего архиерейство, оказывался в подчиненном положении.

В марте 1659 года в Неделю ваий (Вербное воскресенье) Крутицкий митрополит Питирим совершил шествие на ослы. Никона это известие привело в великое раздражение. В действиях Крутицкого митрополита и царя он увидел посягательство на патриаршие права. Тотчас в Москву было отправлено гневное письмо. Тон послания задел Алексея Михайловича. Тем не менее он сдержал себя и решил

объясниться. В монастырь отправились думные дьяки Прокофий Елизаров и Алмаз Иванов. Оба были опытными администраторами, умевшими добиваться своего. Но здесь коса нашла на камень: рассерженный Никон становился невероятно упрямым и своевольным, так что все уговоры и увещевания отскакивали от него, как от стены. Никон передавал — «приказывал» — Алексею Михайловичу через его посланников: «...В том во всем стоит и ныне непреткновенно, и говорил с клятвою, что ни в мысли его о возвращении на престол великия России нету, только имени патриарха не отрицался и ныне не отрицается, и московским не именуясь»^[314].

В позиции Никона была своя логика. В конце концов, на православном Востоке оставивший свою кафедру патриарх продолжал именоваться патриархом до самой смерти. Это, правда, противоречило отечественной традиции. Но разве не перенимала русская церковь при нем же, Никоне, греческие порядки? Возможно, царь признал бы обоснованность такой позиции, но только не с Никоном. Во-первых, потому что противостояние приобрело принципиальный характер. Во-вторых, потому что Никон был непредсказуем и неуправляем. «Я ни за какие вины от церкви не отлучен, и хотя своею волею оставил паству, но попечения об истине не оставил, и впредь, когда услышу о каком духовном деле, требующем исправления, молчать не буду», — говорил воскресенский затворник, и неудивительно, что после таких заявлений окружение Алексея Михайловича предпочитало иметь дело просто с иноком Никоном, а не с «безместным» патриархом.

История с шествием на осляти в Вербное воскресенье имела продолжение. Питирим и в дальнейшем, не обращая внимания на протесты Никона, участвовал в церемонии «в патриаршее место». Тот

ярился и протестовал. Для Никона «в образе Господа нашего Иисуса Христа» мог выступать только он, патриарх. Разгорячившись, он, наконец, предал Питирима анафеме. А над Алексеем Михайловичем зло посмеялся. В своем «Возражении» Никон писал: «А что государь царь под Крутицким митрополитом лошадь водит, как государь царь изволит. Хотя ино что посадит, да повезет, но ево то воли»^[315]. Иными словами, в его, государя, воле, вести лошадь под Питиримом, но только это уже не будет полное мистического смысла шествие, а обыкновенное выгуливание, во время которого царь окажется в сомнительной роли слуги.

Инцидент с шествием на осляти 1659 года в который раз напомнил об импульсивности и непредсказуемости Никона. Ведь он, отставленный от престола, вновь вмешался в церковные дела. Царь не упустил случая выговорить за это Никону. Одновременно по приказу Алексея Михайловича были просмотрены личные бумаги Никона в Патриаршем дворе. Реакция была бурная: «Удивляюсь, как ты дошел до такого дерзновения, — в великом раздражении выговаривал Никон государю, — прежде страшился судить простых церковных причетников, потому что этого святые законы не повелевают, а теперь захотел ведать грехи и тайны бывшего пастыря, и не только сам, да еще попустил мирским людям».

В Москве упрямство Никона приписали отчасти его связи с духовенством, которое будто бы поддержало своего упрямого владыку. Потому духовенству было запрещено без особого на то разрешения светских властей ездить в Новоиерусалимский монастырь. На дорогах были даже расставлены заставы с приказом останавливать всех идущих в обитель. Естественно, Никон узнал о распоряжении и возмутился. В свою

очередь, в Москве возмутились возмущением патриарха. В мае 1659 года в монастырь приехал думный дьяк Дементий Башкаков.

Дементий — фигура знаковая, лицо не просто доверенное — посвященное в самые сокровенные тайны Алексея Михайловича. Его появление — свидетельство намерения Тишайшего выяснить отношения и все же договориться с Никоном. Условия этой устной договоренности не совсем понятны. Но Никон явно смягчился: в июле он направляет Алексею Михайловичу письмо с разнообразными просьбами и характерной концовкой: «богомолец ваш, смиренный грешный Никон, бывший патриарх».

Однако это вовсе не капитуляция. Никон не оставляет мысли о примирении и возвращении. Причем по инициативе царя и на его, патриарха, условиях. Время надеяться на такой поворот было «выбрано» самое подходящее. Возобновившаяся война с Речью Посполитой пошла совсем по другому сценарию, чем кампании 1654–1656 годов. Теперь инициативой владела Польша, взявшая себе в союзники своеволие казацкой старшины и алчность крымского царя. Никон же до сих пор знал Алексея Михайловича как человека, который плохо держит удары судьбы и легко приходит в смятение. Значит, пошатнувшись, он вновь станет искать сочувствие и опору. Надо лишь подождать, пока плод созреет...

Лето 1659 года грозило Московскому государству «большой татарской войною». Прошел слух о намерении крымского хана идти воевать столицу. Тишайший даже предупредил бывшего патриарха о возможности появления крымских отрядов. Едва ли Никон испугался. Но ему уже в каждом обычном проявлении вежливости мнилось желание царя пойти на уступки. Сославшись на опасность — в монастыре нет гарнизона, — он попросил разрешения прибыть в столицу. Не успел Алексей

Михайлович разомкнуть грамотку, как в тот же день, оправдываясь известием о приходе неприятеля, Никон и в самом деле приехал в Москву.

Но напрасно Никон на что-то надеялся. Едва стало ясно, что слухи о приходе татар беспочвенны, как его тотчас выдворили обратно в обитель. Раздражение царя из-за своевольничанья патриарха было столь велико, что он прекратил с ним переписку. Всякий, кто имел дело со вторым Романовым, хорошо знал, что это значит. Изгнание из списка царских адресатов означало опалу.

Осенью 1659 года Никон отправился в давно задуманную поездку в Крестный монастырь на Белое море. Власти не препятствовали этому намерению. Беспокойного владыку давно хотели «отселить» подальше от столицы. Ему был даже предложен Калязин монастырь. В ответ Никон заявил, что в таком случае уж лучше сразу кинуть его в тюрьму... Тогда заговорили о Крестном монастыре. Для Никона это была «инспекционная» поездка — построенная по обету обитель находилась под его неусыпным контролем; для властей — слабая надежда на добровольное удаление бывшего патриарха. При этом светские и духовные власти преследовали еще одну цель: было признано, что с удалением Никона легче будет собрать давно задуманный церковный собор для суда над ним. Впрочем, верный Зюзин был начеку и своевременно известил о соборе Никона. Для владыки известие стало громом среди ясного неба: несмотря ни на что, он самоуверенно продолжал считать, что царь не решится на его низложение. Да и кто из епископов, многие из которых были обязаны ему своим возвышением, осмелился бы низвергать его?

Действительность оказалась жестче. Епископат, уставший от «тиранства» первосвятителя, отступился от Никона. Оставалось лишь удрученно качать головой

и морализировать. «Когда вера евангельская начала сияться и архиерейство честью по царствию благочестивыми любопочитанися, тогда и тим паче неблагочестивых почтошася. Когда же злоба гордости распространилась и архиерейская честь изменилась, увы! Тогда и началось царстве неспадеся»^[316]. Это — из письма, отправленного в феврале 1660 года все тому же патриаршему боярину Зюзину, ставшему поверенным всех патриарших горестей и разочарований.

Февральский собор 1660 года осудил Никона за самовольное оставление святительского престола. Он был лишен архиерейства и священства. Но Никон отказался признать законность этого решения и потребовал суда равных — вселенских патриархов. На самом деле собор русских епископов был вполне правомочен решать подобные вопросы. Тем не менее Алексей Михайлович признал правоту новоиерусалимского затворника. В свое время он сам ратовал за то, чтобы придать московскому патриарху «вселенское» значение. С этим следовало считаться, и смещать Никона, в недавнем прошлом «пастыря всего мира», надо было с учетом этого собственноручно возведенного препятствия.

За Никона вступился и Епифаний Славинецкий, доказывавший неправомочность соборного осуждения. К слову Епифания прислушивались. Решение Собора не получило силу. Церковь по-прежнему пребывала в «нестроении» и «сиротстве», с неясной перспективой выхода из кризиса — трудно было собрать в Москве для суда над строптивым владыкой сразу нескольких восточных патриархов, пускай и падких на царские щедроты. К тому же на единодушие греков надежд было мало. Никон за время патриаршества своим покровительством и прикармливанием греков завоевал

большой авторитет на христианском Востоке. Его поддерживали, стараясь примирить с царем, Константинопольский и Иерусалимский патриархи. Тем не менее другого выхода не было. Началась пересылка грамотами с восточными владыками.

Никон тоже не оставался безучастным. Он не упускал случая подчеркнуть свои заслуги. Даже случившуюся вскоре после смерти Хмельницкого измену нового гетмана Ивана Выговского он попытался обратить к своей пользе. При нем «его (Выговского. — *И.А.*) никакие неправды не было», — заявлял он, не без хвастовства прибавляя: стоит ему написать изменившему гетману «хотя две строчки», и тот сразу одумается и вернется в царское подданство.

Осуждал Никон и возобновление военных действий с Речью Посполитой. «Святая кровь христианская из-за пустяков проливается», — уверял он в свой приезд в Москву в 1659 году.

Никон, конечно, выступал со своими обвинениями не просто так, но чтобы внушить: именно при нем, охранителе и заступнике, Православное царство процветало. Но делал он все по обыкновению так грубо, так непоследовательно — ведь еще совсем недавно он сам жарко ратовал за войну, — что это вызывало сильное раздражение.

Вообще, та неопределенность, которая возникла после неудачных попыток низложения Никона, много способствовала несуразным и даже низким поступкам с обеих сторон. Противники патриарха, окончательно избавившись от страха быть наказанными в случае его возвращения, принялись мстить и травить поверженного гиганта. Возмущенный Никон огрызнулся, но, как всегда, нервно, впадая в крайности и прибегая к не менее сомнительным приемам, которые, быть может, и соответствовали нравственному уровню времени, но никак не украшали архипастыря.

Будучи в Крестном монастыре, Никон тяжело заболел. Заподозрили отравление. Подозрение пало на дьякона Феодосия, будто бы подосланного злейшими врагами Никона Питиримом и чудовским архимандритом Павлом. Феодосий сознался, но то было признание, выбитое услужливыми слугами патриарха, быстро смекнувшими, что хочет услышать Никон. Неудивительно, что на суде дьякон отказался от своих речей. Никон, однако ж, остался при своем мнении, и это лучше всего говорит об атмосфере, в которой он жил, — атмосфере страха, неопределенности и подозрительности.

В эти годы Никона стали донимать многочисленными тяжбами. Иногда их возбуждали соседи, иногда истцом выступал сам патриарх. Здесь не столь важно, какая из сторон была права. Существенно другое — открытое стремление уязвить Никона, контраст между тем, что было прежде и что стало теперь.

Особенно задела Никона тяжба со стольником Романом Бобарыкиным. Бывший патриарх обвинил стольника в захвате монастырской земли и пожаловался государю. По указу государя Бобарыкин получил за свои строения деньги, а землю должен был отдать по старым писцовым книгам в Левкин монастырь. Никон воспротивился такому решению — ведь земли он считал принадлежащими Новоиерусалимской обители по именному царскому указу. Отстаивать свои права в суде он не стал и толкнул монастырских крестьян на захват спорных четвертей. Ответчик возопил о насилиях, чинимых патриархом и его крестьянами, прибавив, что первый подталкивает вторых на его, Бобарыкина, убийство: «И грозят мне воры от патриарха смертным убийством». По царскому указу был даже произведен обыск среди монастырских крестьян с целью выяснения

причастности Никона к преступному умыслу. Расспросы ничего не дали. Не приходится сомневаться, что Никон щедро сыпал гневными филиппиками в адрес стольника. Но едва ли при этом он грозил «смертным убийством». Обвинение в подстрекательстве было или просто выдуманно, или выведено из слов монастырских крестьян, которые, как водится, не упустили случая пригрозить недругам своим «великим государем». Но тень обвинения на Никона пала.

Тяжба затянулась. При этом чем более вызывающе становились челобитные Бобарыкина, тем слабее оказывались позиции Никона при дворе. В 1663 году Бобарыкин добился разрешения дела в свою пользу. Никон отреагировал по-своему: 26 июня 1663 года во время молебна он помянул своего обидчика и положил перед образом Богородицы грамоту. Стольник тоже не оплошал — ударил челом царю, обвиняя Никона в том, что тот его, безвинного, проклял перед образом Богородицы.

Челобитная вызвала переполох. Алексей Михайлович собрал бояр и духовенство. Раздались голоса о ссылке «разнуздавшегося» владыки в монастырь. Но Алексей Михайлович взял сторону меньшинства: решено было сначала разобраться с тем, что все же произошло во время службы. Правда, для «разбора» были назначены люди, на непредвзятость которых надеяться не приходилось. Ставшие «специалистами» по преследованию Никона, Н. И. Одоевский и Р. М. Стрешнев одними своими именами провоцировали патриарха на экстравагантные поступки с заранее predetermined исходом. Так что симпатии царя были ясно обозначены, несмотря на всю видимость попыток сохранить внешнюю непредвзятость.

Судьи прибыли в обитель вместе со стрельцами. Через несколько дней, 22 июля, когда патриарх

вознамерился совершить прогулку по окрестностям, ему было объявлено, что он имеет право покинуть стены только с царского разрешения. То был домашний, или, точнее, «монастырский», арест, коснувшийся, впрочем, не одного Никона, но всех обитателей монастыря.

Конечно, подобные выпады не решали самого главного — вопроса о «сиротстве церкви» и избрании нового, угодного Алексею Михайловичу патриарха. Но зато ничего лучше не могло испортить отношения между царем и патриархом, чем эти в общем-то мелкие, далекие от принципиальных вопросов, тяжбы из-за крестьян и земли. В этом придворные недруги патриарха были сведущи и ловки, как никто другой. Царский суд отобрал у монастыря крестьян и угодья. Никон тотчас обличает государя: «Какие законы Божии повелели тебе обладать нами, Божиими рабами?» Тут же, во время службы, громогласно зачитывается жалованная грамота Новоиерусалимскому монастырю на владения (теперь уже проигранные) с никоновским «комментарием» — проклятием тем, кто преступил царскую волю. Но ведь царская воля нарушена по новой царской воле! Проклятие падает на Алексея Михайловича и всех его домашних — а сам царь лишь сетует на патриаршее злонравие: «Пусть я грешен, но чем виновата жена моя и любезные дети мои, и весь двор мой, чтобы подвергаться такой клятве?»^[317] В этой печали сквозит даже удивление — как можно было так ошибиться в «собинном друге»?

В эти годы Никон поневоле много писал. Особенно пространным оказался его ответ на вопросы боярина Стрешнева и рассуждения на эти темы грека Паисия Лигарида. Первого Никон вполне обоснованно числил среди своих главных недоброжелателей, второго всей душой ненавидел и презирал.

Паисий в самом деле того стоил. Он окончил греческий коллегиум Святого Афанасия в Риме, созданный еще папой Григорием VIII в 1577 году специально для соединения греческой и римской церковей, но приобретенную ученость, в отличие, скажем, от учившегося здесь же замечательного ученого-просветителя Юрия Крижанича поставил всецело для достижения собственного благополучия. К моменту появления в Москве он уже был пожилым, «почтенным», по выражению вездесущего Николааса Витсена, человеком, отличавшимся «большой ученостью»^[318]. Схоластические познания придавали его трудам убедительность и богословскую ученость, которые в соединении с неразборчивостью и нравственной беспринципностью превращали Паисия поистине в человека бесценного: он мог, кажется, доказать все, что угодно — лишь бы польстить сильному. А сильный — как понимал Паисий с первого своего появления на Московской земле — находился в Кремле, а не в Воскресенском монастыре. Справедливости ради надо сказать, что в случае с «Паисием Лигаридиусом» (так прозвучало имя приезжего грека в названии сочинения патриарха) Никон пожинал собственные, горькой всхожести плоды. Еще совсем недавно он сам привечал подобного рода дельцов-авантюристов. Так что один из главных ученых гонителей патриарха был своеобразным возмездием ему.

Паисий обворожил царя начитанностью и обходительностью. Он поведал о пророчестве, согласно которому греков должен освободить от турок именно Алексей Михайлович. Как было не полюбить такого бойкого и велеречивого грека? Царь был падок на похвальбу, Паисий же, как патока, прилипчив и сладок.

Приезжий митрополит был привлечен к делу Никона. Позднее, когда выявились многие щекотливые обстоятельства его жизни, Алексей Михайлович оказался в крайне двусмысленном положении. Обнаружилось даже, что за сочинение «История Иерусалимских патриархов», в которой Паисий прославлял власть папы, патриархи Константинопольский и Иерусалимский предали его анафеме. Под сомнение был поставлен даже его сан Гаазского митрополита. Заметим, что и в Москве «откровения» Паисия (хотя он, в принципе, знал, с кем можно было быть откровенным) должны были насторожить новых покровителей. Но Паисий ловко усыпил их бдительность. Тому же Витсену он признался: «Кто хочет быть приятным великим мира сего, должен льстить им». И он льстил, как мы видели, с первого шага, на все лады восхвалял благочестие и познания царя, царицы и наследника. Когда на небе появилась комета, совпавшая с рождением царевича Симеона, Паисий объявил, что то — к великому счастью, «хотя я знаю (это слова митрополита, сказанные Витсену. — *И.А.*), что эти вестники являются вестниками не добра, а зла»^[319].

Алексей Михайлович был слишком благодушным человеком, чтобы разобраться в пронырливом греке. К тому же он сильно доверился ему с делом Никона. И когда всплыли многие проделки Лигарида, осудить его оказалось затруднительно: это значило бы дать повод к торжеству патриарха. Потому оправдания Паисия царь принял или сделал вид, что принял. В 1669 году Алексей Михайлович даже вытребовал для своего протезе у патриарха Досифея прощение — снятие анафемы. Иерусалимский патриарх уступил, но ненадолго: два месяца спустя, получив новые доказательства того, что Паисий — тайный католик и

содомит, он послал в Москву новую грамоту. В конце концов царь посчитал за лучшее с почетом выпроводить Паисия из Москвы и таким образом избавиться от него.

Но в начале «московской карьеры» репутация ученого грека стояла чрезвычайно высоко. Именно он предложил выход из по сути тупиковой ситуации, которая сложилась после неудавшегося собора 1660 года — обратиться, как того требовал Никон, к вселенским патриархам, чтобы те выступили судьями в этом щекотливом и затянутом деле. Мысль понравилась, и ее инициатор сочинил 25 вопросных пунктов, которые разослали православным архипастырям. Памятуя о пристрастии греков к «грекофилу» Никону, его имя из осторожности не называли. Но это был, что называется, секрет полишинеля. Известия о московских потрясениях очень скоро мутными ручейками стали просачиваться на православный Восток, вызывая к жизни всевозможные толки и домыслы.

Паисию Лигариду была также поручена «шлифовка» обвинения. Он должен был придать ему весомость и богословскую аргументированность. Это было серьезно, и Никону пришлось публично отвечать на заданные вопросы.

Главная тема «Возражений» Никона хорошо известна — священство выше царства. Патриарх разворачивал эту тему достаточно многопланово: священство «честнее» царства, священство «преболе» царства, священство приемлет «начальство» не от царей, царей же священство «на царство помазует». Именно в «Возражениях» Никон нашел краткую формулу для своих взглядов, впрочем, не особенно новую и оригинальную по содержанию и форме: «Господь Бог всесильный, егда небо и землю сотворил, тогда два светила — солнце и месяц на нем [небе] ходяще, на земли светити повеле: солнце нам показа

власть архиерейскую, месяц же показа власть царскую, ибо небо в ящи светит во дни, яко архиерей душам, меньшее же светило в нощи, еже есть телу».

Само по себе утверждение Никона не было новацией. И в учениях отцов церкви говорилось о превосходстве священства. Но только, конечно, в духовном отношении, поскольку небесные блага, даруемые через церковь, не могут быть равнозначны благам земным, получаемым и охраняемым государством. «Не императорам, — учил святой Иоанн Дамаскин, — дана власть связывать и разрешать, но апостолам, преемникам, пастырям и учителям».

— Во исполнение идеи симфонии властей объявлялись неприкосновенными все установленные властью Вселенских соборов святыя каноны. На них смотрели как на что-то неизменное, чему должны были подчиняться все. Эти каноны по богословским представлениям неизмеримо выше гражданских законов. Больше того, последние должны были находиться в согласии с первыми. При таком взгляде Никон, конечно же, чувствовал себя вправе обрушиться на Соборное Уложение и на Монастырский приказ, ставившие церковь в зависимость от светских лиц в делах гражданских и даже духовных. Для него это — явное покушение на основы симфонии, нарушение почитания священства. Эта мысль особенно занимала Никона в другом его сочинении — «Раззорении». Оно не стало фактом общественной мысли, ибо осталось, по сути, сочинением неизвестным. Зато здесь перед нами — позиция Никона в том виде, в каком он сформулировал ее для себя к 1664 году.

Вмешательство светской власти в церковный суд по гражданским делам было для Никона нарушением всех традиций, восходящих еще к Церковному Уставу святого Владимира, Крестителя Руси. Устав, к вящему удовольствию Никона, грозил нарушителю карами

страшными: «...Лишается он имени христианина, и все такие да будут прокляты святыми отцами». Но особенно был возмущен Никон вмешательством Монастырского приказа в управление самой церковью. Для него это бесспорное нарушение принципов симфонии. Здесь можно было, не сдерживаясь, дать волю своему гневу. «Что же сказать о митрополите Питириме, — писал патриарх, — который в епархиях других епископов и по приказу царя и вельмож совершает посвящение. Какого великого проклятия он заслуживает, согласно тому, что избранный светской властью низвергается вместе с посвятившим! Но теперь архиепископы, архимандриты и попы в монастыре избраны самим царем, и митрополит Крутицкий их посвящает».

Заметим, что в этом случае Никон был последователен не только на словах, но и на деле. Когда в 1664 году царь послал Крутицкого митрополита Павла за патриаршим посохом к Никону, тот попросту выгнал его да и еще выговорил: «Тебя я знал в попах, а в митрополитах не знаю, кто тебя в митрополиты поставил — не ведаю». Стоит ли удивляться, что именно Павел и поставивший его в митрополиты Питирим были яркими гонителями Никона? Последний даже не желал встречаться с ними на суде в 1666 году — мол, и отравить хотели, и удавить.

По твердому убеждению автора «Раззорения», у светской власти не было и не могло быть никаких оснований для вмешательства в церковные дела. Цитируя слова апостола Павла: «и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями», Никон вопрошал: «Почему же царь не назван на первом месте по высоте царской власти? Каждый должен знать свою меру».

Согрешения светской власти, по убеждению Никона, уже повлекли за собой неисчислимые бедствия. Власть посягнула на церковное имущество, необходимое для

церковного просвещения и воспитания паствы, — и Бог наслал и чуму, и поражения в войне. Но Никону грезятся бедствия еще худшие. Его по-прежнему посещают «видения» и «зовы». В 1661 году за заутреней ему виделся Московский митрополит Петр, который через патриарха предостерегал Алексея Михайловича от посягательств на церковную собственность и восприятие непринадлежащего ему архиерейского суда.

Царь, однако, не внял ни предостережению, ни предлагаемому в письме Никона «посредничеству». Безвозвратно прошли те времена, когда он слепо верил владыке и его «зовам». Хорошо было Никону, пугая, предостерегать и с торжеством в голосе исчислять все неудачи. Но как выбросить из памяти, что Никон сам был не безгрешен, что именно он насоветовал начать войну со Швецией, после которой и посыпались все беды?

Начав с защиты «священства» и византийского идеала «премудрой двоицы», Никон едва ли существенно уклонился от канона. Но все сказанное Никоном-писателем невольно соотносилось с действиями Никона-патриарха, оттого симфония властей, восходящая к знаменитой шестой новелле императора Юстиниана, в его трактовке воспринималась современниками резко и дисгармонично. По Никону, патриарх имел право и долг контролировать по меркам христианского идеала всю государственную жизнь, обличать все уклонения от канонических норм, не щадя даже и самого царя. Но, по мнению современников, он же обратил это право в прямое соучастие в управлении «царством». Отстаивая права «священства», он придал им самодовлеющий характер, так что симфония, предполагающая параллелизм существования самобытных по существу и происхождению властей, уподобилась весам, одна

чашечка которых — а именно духовенство — перевесила. Не говоря уже о том, что такое положение противоречило всему духу эпохи, видимо, нарушенной оказывалась мера участия патриарха в управлении государством и в жизни общества. Для противников патриарха она стала чрезмерной. В итоге Никон был обвинен в стремлении к цезарепапизму.

Примечательно, что подобные обвинения в адрес Никона звучали и из среды старообрядческой, уже вступившей на путь конфронтации с церковью официальной. В канун суда над Никоном патриарший приказный Ф. Трофимов, сочувствовавший сторонникам старого обряда, старательно переписал все случаи «вторжения» опального патриарха в сферу царской власти. Это исчисление оскорблений царского сана должно было засвидетельствовать всю глубину проступка Никона, покушавшегося на законные прерогативы православного государя. В перечне для нас особенно интересна сама трактовка современниками-простецами понятия «царевой чести». «Он же, Никон, — писал Трофимов, — сделал себе пояс златный з большим украшением и говорил: ни в царских де такова нет. И то ево на царскую державу гордость». В свое время пояс выступал как символ великокняжеской государевой власти — вспомним хотя бы пролог к феодальной войне второй четверти XV века, когда мать московского князя Василия Темного Софья Витовтовна на свадьбе сына сорвала с Василия Косого якобы украденный пояс Дмитрия Донского. К середине XVII века пояс уже не относился к государственным регалиям. Однако воспоминания об этом еще цепко держались в памяти. По крайней мере, так можно интерпретировать обвинения, брошенные Трофимовым.

Не прошел патриарший приказный и мимо никоновских «новостроек». Как посягательства на «цареву честь» и «государево дело» им было

воспринято строительство патриаршей крестовой церкви выше соборной, а патриаршего терема, увенчанного светлицами и чердаками, — выше царского терема. «И то явное его на царскую державу возгоржение», — провозгласил Трофимов, следуя здесь логике Соборного Уложения с его первыми главами об охране «государевой чести» и «государева двора».

Даже в смене патриаршего облачения новоиспеченный обвинитель углядел посягательство на власть монарха. Никон завел себе митру, а это — чистое «папство», стремление «царскую власть себе похитити»^[320].

Укоряя царя за покушение на власть святительскую или давая гневную отповедь своим многочисленным гонителям, Никон не переставал мечтать о возвращении. Нельзя сказать, что он избрал для этого самый удачный способ. Но именно в этой неловкости лучше всего проявлялась его натура. Иногда он, правда, хитрит, изъясняет согласие пойти на уступки, но затем, словно внезапно вспомнив о своем великом архиерействе, упрямится и все рушит. Воистину, он слишком резок, принципиален и самобытен, чтобы быть искательным. Не всегда даже можно уловить логику его поведения. Точнее, она улавливается — но в чисто человеческом аспекте, который историки обыкновенно отдают на откуп литераторам, — в настроении, в состоянии духа, в темпераменте.

По-видимому, у Никона все же были основания надеяться на примирение. Не следует забывать, что в царском окружении у него имелись не одни только недоброжелатели. Хватало и сочувствующих. Так, у царевны Ирины Михайловны висела парсуна Никона. Конечно, это деталь, но деталь многозначительная.

Иногда кажется, что для примирения ему не хватило одного шага. Шага в виде покаяния и компромисса. Но в том-то и дело, что Никон жаждал иного примирения. А потому этот шаг всегда у него получался как падение в пропасть: шаг — вызов, а не покаяние. Особенно это ярко видно на примере предпоследнего приезда Никона в столицу. Неутомимый Зюзин уверил владыку в том, что Алексей Михайлович раскаялся и зовет его. Надо лишь разорвать порочный круг, первым объявиться в Москве, и все устроится! Никон поверил. Да и как было не поверить, если очень хотелось?!

В ночь на 16 декабря 1664 года патриарх появился в Кремле. Появился почти как тать, распахнув городские ворота ложным выкриком: «Власти Саввина!» Клич, между прочим, безотказный: никому, даже страже у Кремлевских ворот, и в голову не пришло усомниться и остановить власти «домового» царского Саввино-Сторожевского монастыря.

Появление Никона в Успенском соборе во время утрени вызвало страшный переполох. Он же повел себя как вернувшийся после долгой отлучки хозяин. Взял оставленный шесть лет назад патриарший посох, позвал для благословения Ростовского митрополита Иону, человека вовсе не робкого. Иона, то ли подавленный несокрушимой волей Никона, то ли заподозривший тайный сговор последнего с царем, о котором ему было неизвестно (но — слухи, слухи!), подошел к патриарху. А раз подошел, значит признал его первенство. Между тем известие о приезде патриарха достигло царских палат. Все забежали, заметались. Во дворце стали собираться думные люди и духовенство.

Замешательство, впрочем, очень быстро уступило место чувству всеобщего негодования. Да как Никон осмелился на такое?! Пришедшие в Успенский собор

бояре Н. И. Одоевский и Ю. А. Долгорукий объявили царскую волю: «Ступай в монастырь по прежнему». Не помог и последний аргумент Никона — его письмо царю с описанием очередного «зова», в котором ангел объявил волю Божью — вернуться на патриаршество. Он и вернулся, как ему казалось, «в кротости и смирении». Но вещий сон не произвел на Тишайшего впечатления, а слова о «кротости и смирении» проскользнули мимо сознания. Зато само видение было растолковано бывшему «собинному другу» с открытой издевкой: он, должно быть, ошибся: то был посланник не Христа, а Сатаны, принявший образ ангела Света.

Уходил из Успенской церкви Никон прежним, непримиримым, каким его и должна была сделать вновь нанесенная обида. Он двинулся к дверям с патриаршим посохом. «Оставь посох!» — завопили царские посланцы. «Отнимите силою!» — загредел в ответ патриарх. Конечно, на такое никто не решился. Да и смешна бы была эта картина — пыхтевшие бояре, пытающиеся вырвать у дюжего патриарха посох митрополита Петра.

Попытка Никона была авантюрой. Царь вовсе не собирался мириться, да еще так, как предлагал Никон. Тот намеревался поставить Алексея Михайловича перед фактом, заставить не помириться, а примириться: сошел с престола никем не гоним, вернулся никем не зван! Однако такой способ разрешения конфликта для Алексея Михайловича был оскорбителен.

И еще одно нельзя не заметить в поведении патриарха. Ему, как актеру, постоянно нужна была сцена. И этой «сценой» чаще всего оказывался Успенский собор. В 1652 году он разыграл здесь грандиозную пьесу — умоление на патриаршество; в 1658 году была сыграна пьеса иного жанра — трагедия оставления кафедры. Но последняя пьеса превратилась для него в настоящий фарс...

Более всего во всей этой истории пострадал боярин Н. И. Зюзин. Алексея Михайловича чрезвычайно интересовали истинные причины приезда в столицу бывшего патриарха, тем более что тот сам обронил: кроме «видения» была ему и «весть». Это признание случилось уже при выезде из Москвы. Провожавший патриаршие сани Ю. А. Долгорукий, прежде чем повернуть коня, подошел проститься с Никоном:

— Великий государь велел у тебя, святейшего патриарха, благословения и прощения просить.

— Бог его простит, если не от него смута, — ответил Никон.

— Какая смута?

— Ведь я по вести приезжал.

Естественно, тут же возникла необходимость узнать, что это за «весть» и какой тайный доброжелатель ее послал. Никон высказал готовность объясниться: из монастыря он отправил вместе с посохом митрополита Петра письмо, в котором испрашивал разрешение приехать и переговорить с царем. Тон письма был примирительным и даже уничижительным. Никон просил никого не посылать к вселенским патриархам, обещая на патриарший престол не возвращаться; жить хотел в монастыре, неподсудно новому патриарху; умолял не обходить его царскими «милостями», где милость — обиходные, «потребные вещи». «...А век мой не долгий», — заключал Никон, которому, к слову сказать, еще предстояло пережить Алексея Михайловича.

Послание не разжалобило царя. Во встрече и в приезде в Москву Никону было отказано: «...От твоего в Москву приезда... ждатель в народе всякого соблазна, потому что патриарший престол оставил ты своею волею, а не по изгнанию». Подтверждено было намерение царя по приезде вселенских патриархов устроить над Никоном суд, где «великий государь

станет говорить обо всем». Должно быть, от последних слов Никона пробила оторопь — то была угроза.

Никон сам выдал имя автора «вести». Боярин Зюзин был схвачен и на допросе назвал имена Ордина-Нащокина и Матвеева, которые будто бы поведали ему о сокровенном желании Тишайшего помириться. Царь якобы уверял, что «душою своею от патриарха... неотступен» и пускай тот «как пошел, так и придет — его воля, я ей-ей в том ему не противен». С пытки Зюзин признался, что возвел напраслину на Ордина-Нащокина и Матвеева. Впрочем, допрос и признания самого Ордина-Нащокина выставили того в довольно неприглядном свете: он общался с Зюзиным, хотя Алексей Михайлович и запретил ему это делать, «потому что он человек опальный»^[321].

Инициатива Зюзина окончилась для него печально. Он был приговорен к смерти, помилован и отправлен в ссылку.

Неудача сильно подкосила Никона. В нем все реже пробуждался его неукротимый дух. Он чувствовал, что в Москве ему уже не найти поддержки. Но есть еще вселенские патриархи, которые — он уверен — сочувствуют ему и могут расстроить суд. Не сумев добиться отмены самого суда, он попытался настроить судей-патриархов в свою пользу.

Никон вступил в активную переписку с восточными патриархами. Но именно здесь его ожидал удар, более всего повредивший его репутации в глазах богобоязненного Алексея Михайловича. В феврале 1665 года Никон направил письмо константинопольскому патриарху Дионисию, в котором представил свое положение в самом мрачном свете — всюду «злобство, вражда и ложь». Да если б дело касалось только его?! Печально представлено было положение всей церкви. Никон не скупился на самые черные краски — ведь он

знал, что царские посланцы уже отправились на восток в поисках тех, кто готов судить его. Пространный перечень обвинений царю не был нов. В минуты раздражения, более всего вредившие владыке, Никон уже выговаривал и выплескивал их в посланиях государю. Царь беззастенчиво вмешивается в церковные дела: «Когда повелит царь быть собору, то бывает, и кого велит избрать и поставить архиереями, избирают и поставляют, велит судить и осуждать — судят, осуждают и отлучают». Царь учредил Монастырский приказ, где «повелено... давать суд на патриарха, митрополитов и на весь священный чин» и судят в нем священство мирские люди. Царь утвердил Уложение, во всем «противное» Евангелию, книгу «беззаконную», полную беззаконий настолько, что и описать их всех нельзя — «так их много!»

Никон писал не без лукавства. В послании он обвинил царя в намерении подчинить Московской церкви Киевскую митрополию, которая пребывает «под благословением вселенского патриарха». Алексей Михайлович, уверяет владыка, даже подбивал его поставить в Киев своего митрополита, но он благородно отказался. На самом деле, именно Никон выступал за переподчинение Киевской митрополии Московской патриархии. Но времена переменились, и теперь, все переиначив, можно было подобной угрозой разбередить раны вселенского патриарха. А то, что именно этим можно было больше всего задеть Дионисия, автор послания хорошо знал — не случайно этот аргумент был придержан напоследок.

Темно было письмо. Не менее темным оказался и способ его пересылки. Поскольку пересылка бывшего патриарха находилась под пристальным контролем, тайный гонец Марисов был выдан за племянника правобережного казака. Племянник, мол, был взят в плен во время похода Бутурлина под Львов, а теперь

возвращался на родину. Затея провалилась. Про Марисова проведали и схватили его в дороге вместе с грамоткой Никона. Нетрудно догадаться, насколько был возмущен царь. Для него послание было гнусной клеветой, порочащей его славное имя перед всем православным миром. Поля перехваченного послания пестрят собственноручными царскими пометками. Про тяжкие и бесполезные, по Никону, «дани» Алексей Михайлович, к примеру, с гневом вопрошает: «А у него льготно и что пользу?»

Никон был уведомлен о царском гневе. После этого решительно не осталось никаких надежд на соглашение. Никон это понимал. Он не претендовал ни на что — лишь бы позволили дожить свой век в любимой обители. Но было поздно. В Москву уже ехали для суда два патриарха.

Часть пятая
Великий государь

Суд

Отказ Константинопольского и Иерусалимского патриархов участвовать в соборном суде над Никоном сильно осложнил дело. Первоначально даже казалось, что царь натолкнулся на неодолимое препятствия. Но не зря староверы шептались о «шатаниях» греков не только в вере. Охотников снискать московские милостыни нашлось с избытком, и отказ одних лишь разохотил других, ранее обойденных и не званых. Посланный в поисках судей иеродиакон Мелентий оказался счастливее своих предшественников. Он уговорил отправиться в Москву Александрийского патриарха Паисия и Антиохийского патриарха Макария.

Правда, Мелентий, согласно наказу, не осмелился прямо говорить патриархам, для чего их столь настойчиво зазывают в Москву. Опасались, что известное всем грекофильство Никона и осторожная позиция Константинопольского и Иерусалимского первосвятителей могут остудить намерение Макария и Паисия. Звали восточных патриархов, по формулировке самого царя, «для умирения церкви».

Остается неизвестным, насколько были в курсе предстоящего им дела приезжие архиереи. Судя по их дальнейшему поведению, они о многом догадывались и взялись за осуждение Никона вполне сознательно, побуждаемые главным образом не медовыми разговорами красноречивого иеродиакона, а надеждами на особую царскую благодарность. Последнее для обоих патриархов было немаловажно. Оба давно лишились кафедр и пребывали в положении «бесприходных попов». Заметим, что уже во время суда Паисий ставил в заслугу себе и Макарию, что пришли они «в царствующий град Москву не для какой-либо

милостыни или нужды, а по твоей царской грамоте, что патриарх Никон оставил соборную церковь... и потому русская церковь вдовствует 9 лет». Заявление это, однако, было сделано, что называется, задним числом и свидетельствовало скорее не о бескорыстии патриархов, а об их ловкости и умении подстраиваться под настроение Алексея Михайловича. Что же касается «бескорыстия» судей, то оно обошлось казне чуть ли не в 200 тысяч рублей на каждого. Именно в такую сумму были оценены услуги патриархов^[322]. К этому стоит добавить содержание остальных греков, съехавшихся на собор и составивших почти половину его участников.

Известие Мелентия о скором приезде патриархов вызвало в Москве вздох облегчения и одновременно — настоящий переполох. Ввиду предстоящего суда патриархов следовало встретить с особым почетом. С другой стороны, нельзя было допустить к ним никоновских «доброхотов» — всю информацию о конфликте следовало скормливать судьям-патриархам из нужных рук. Словом, патриархов предстояло «посадить» в клетку, но в клетку невидимую и, главное, золотую.

Гости добирались в столицу через Астрахань. Местным воеводам и астраханскому архиепископу были направлены специальные указы, главная мысль которых: «во всем быта опасну и бережну» с патриархами. Особенно деликатная роль отводилась архиепископу Иосифу. Последний, немало претерпевший от Никона, уже участвовал в суде 1660 года. Теперь, в канун нового суда, ему предстояло первому принять, расположить и сопровождать в столицу главных судей. Должно быть, архиерей чувствовал себя не особенно уверенно. В случае неудачи ему вполне могли бросить обвинение, что он что-то просмотрел. Это «что-то» в силу своей

неопределенности более всего путало Иосифа и возбуждало рвение необычайное.

Все, однако, закончилось благополучно, и через Астрахань патриархи проследовали без инцидентов. Впрочем, вздохнувший с облегчением Иосиф и не подозревал, что эта, казалось бы, благополучно завершившаяся история еще отзовется в будущем. Вскоре ему придется принимать в своих архиерейских палатах Степана Разина. Грозный атаман руку на семидесятитрехлетнего владыку поднять тогда не осмелился. Но участие в суде над Никоном — «снял... с Никона патриарха сан» — разинцы ему попомнили и позднее, по «совокупности преступлений», замучили Иосифа до смерти.

Царский наказ Иосифу более походил на посольский наказ, чем на наставление архиепископу: «...И будет они, патриархи, учнут тебя спрашивать, для каких дел к Москве быть им велено, и ты бы им говорил, что Астрахань от Москвы удалена, и для каких дел указано им быть, про то ты не ведаешь». Впрочем, вкладывая в уста архиепископа эту ложь, в Москве ощущали известную неловкость — получалось уж слишком бесхитростно и несолидно. Потому Иосифу предстояло к этому географическому экскурсу об удаленности Астрахани прибавить доверительно и как бы от себя: «А чаешь де ты того, что велено им быть для того: как бывший патриарх Никон с патриаршества сшел и для иных великих церковных дел. А будет, что и иное небольшое доведетца с ними поговорить, и ты бы говорил, будто от кого что слышал, а не собою»^[323].

Поездка патриархов по Волге в столицу была выдержана царем в том же духе. Присланные для обережения высоких гостей приставы старались ограничить контакты патриархов с местными священниками. Особенно строги они были в отношении

возможных письменных пересылок с Никоном и его сторонниками. В связи с этим решено было подкупить людей из свиты, чтобы те на случай оплошности охраны тотчас предупредили и перехватили ответ. Мелентию, которому была отведена роль вербовщика в свите патриархов, было отправлено 100 золотых — 30 себе на жалованье и 70 для «промыслу» — подкупа. Высокое доверие, каким одарил царь иеродиакона, назвав его «нашим другом и приятелем», предстояло отрабатывать.

В середине октября патриархи подъезжали уже к Владимиру. Встречать их царь отрядил своего «верного раба» Артамона Матвеева.

Выбор Артамона Сергеевича — еще одно свидетельство того, насколько был обеспокоен Алексей Михайлович. «Отрывал» он от себя Артамона обыкновенно не просто для дел доверительных, но требующих большого ума и дипломатического такта. В конце концов, верных людей у царя было много, а вот ловких — наперечет. И первый среди этих немногих — Матвеев. Ему было поручено «проведывать... не явным обычаем», имели ли приезжие патриархи какие-то инструкции относительно Никона от прочих вселенских патриархов. Поскольку с приближением к столице возрастала опасность ссылок с людьми Никона, Артамону приказано было не оставлять гостей ни на миг без присмотра. Даже к благословению воевод и знатных людей он должен был «пускать при себе, а без себя никому к патриархом ходить не велеть». Расторопный Матвеев вполне справился с порученным делом. Возможно, в этом ему помогли сами патриархи, давно смекнувшие, что от них хотят.

Макарий и Паисий, ступив на московскую землю, повели себя так, будто не сомневались в близком падении Никона. Вопреки правилам, они уже по дороге стали наводить «порядок» — судить духовенство и

распоряжаться в чужой епархии. Едва ли они решились бы на подобное, имея намерение защищать опального патриарха или, по крайней мере, разобраться в тяжбе. Вообще, они составили о себе высокое мнение, будучи уверенными, что Алексей Михайлович призвал их «ко исправлению Христове церкви», и толкуя это не только в смысле каноническом, но и чисто дисциплинарном — как наведение порядка и чистоты. Вряд ли такое поведение пришлось по сердцу русским иерархам и самому государю. Однако поневоле приходилось терпеть: то было еще одно свидетельство всей пагубности «сиротства» русской церкви, на которую ее обрек упрямый Никон.

2 ноября 1666 года Макарий и Паисий добрались наконец до Москвы. Встречали их с большим почетом и поместили в Кремле, на подворье Кирилло-Белозерского монастыря. Два дня спустя их принял царь. В Грановитой палате было устроено угощение, во время которого патриархи сидели за одним столом с государем. Столование окончилось царскими подарками гостям.

5 ноября патриархи вновь были призваны к Алексею Михайловичу и оставались наедине с ним около четырех часов. Не трудно догадаться, о чем шла речь. Да и важна ли она была? По крайней мере для Алексея Михайловича, давно уже всё решившего? Скорее всего, царя интересовала не сама беседа, а намерения главных судей — готовы ли те стать на его сторону? Не станут ли защищать Никона?

Встреча рассеяла последние сомнения. 7 ноября в царской Столовой избе открылся Поместный собор. Главным обвинителем выступил сам Алексей Михайлович. Он говорил о «самовольном отшествии с патриаршего престола» Никона. Приезжим патриархам-судьям была передана «сказка» с исчислением вин патриарха и выписка из церковных правил. Формально

патриархам нужно было время для знакомства с документами, которые к тому же надлежало еще перевести. Царь предложил толмачами Крутицкого митрополита Павла и Рязанского архиепископа Илариона. Паисий и Макарий попросили в помощь одноязычного с ними Паисия Лигарида^[324]. Расторопный грек хорошо знал, чем можно было особенно раззадорить судей. Лигарид напомнил о намерении Никона добиться первенства среди Вселенских патриархов, поднявшись выше не только Антиохийского и Александрийского, но и Иерусалимского и Константинопольского патриархов. Для Паисия и Макария такое намерение было как нож в сердце. Оба изъявили горячее желание соборно испросить с Никона отчета за его прегрешения.

В ноябре, по мере знакомства патриархов с обвинением, прошло еще несколько заседаний. Итог их — грамота к Никону о его явке на суд. Тогда же перед участниками Поместного собора был оглашен свиток с «Ответами четырех вселенских патриархов». То были ответы восточных архипастырей по 25 вопросам, поставленным, по одной из версий, Алексеем Михайловичем перед константинопольским патриархом. Тишайший, конечно, предпочел бы, чтобы патриархи появились в Москве. Но и «Ответы» оказались весьма кстати, поскольку вопрос о взаимоотношении церковной и светской властей разрешался в документе так, как того хотелось Алексею Михайловичу. Нанося удар по теократическим поползновениям Никона, «Ответы» превращались в один из главных документов, осуждающих опального иерарха^[325]. Не случайно последний с момента появления свитка в Москве — его привезли еще в мае 1664 года — объявил подписи на «Ответях» подложными.

В канун открытия суда патриархи, церковные власти и бояре единодушно признали виновность Никона. Было оговорено и наказание — отлучение от патриаршества. Так что если у Алексея Михайловича оставались какие-то смутные опасения относительно исхода суда, то теперь он мог успокоиться. Разбирательство еще не началось, а Никон уже был по сути осужден [\[326\]](#).

Самого Никона привезли в Кремль ночью. Время выбрали с умыслом: обратившись в гонимого, патриарх стал страдальцем и скоро снискал сочувствие. То было прямое следствие глубокого недоверия земщины к власти, которая в сознании народа всегда преследовала безвинного. Не случайно пять лет спустя рядом с казачьими стругами Разина будет плыть черный струг с якобы примкнувшим к казакам гонителем двуперстного знамения Никоном. И это при том, что в казачьих ватагах была масса староверов! Но по народной логике, обиженные обязательно должны были стекаться к обиженным, как талые воды в ручьи и реки.

Перед Троицкими воротами поезд с опальным архипастырем был остановлен. При свете фонарей обыскали сани и наскоро опросили сопровождавших людей. Все лишнее, а лишним посчитали даже захваченную из монастыря снедь, отобрали: строптивому гордецу хотели напомнить, за кем сила... Впрочем, в подленькой мести проглядывается вся мера того страха и ненависти, которые испытывали перед почти поверженным Никоном его неутомимые гонители.

Никона поместили на Архангельском подворье близ Никольских ворот. Вокруг была поставлена многочисленная стража с крепким наказом не только никого не пускать, но и никого не выпускать со двора. Сами Никольские ворота приказано было на время суда

затворить. Но и этих мер безопасности показалось мало. На всякий случай был разобран деревянный мост через ров при Никольских воротах.

Очень скоро на Архангельском подворье стала ощущаться нехватка в продуктах. Тогда Никон вышел к стрелецким сотникам и объявил о голодной смерти, которая ждет его и его спутников. Об этом донесли Алексею Михайловичу. Тотчас было приказано отпустить припасы с Сытного и Кормового дворов. Но когда телеги подкатили к воротам подворья, Никон завернул их, объявив, что «лучше зелие есть (то есть травы. — *И.А.*) с любовью, нежели тельца упитанного с враждою». Взамен он попросил разрешения свободно выходить со двора его людям в съестные ряды. Согласие было получено, но весь инцидент, лишний раз напомнивший о неуступчивости владыки, должен был сильно уязвить Алексея Михайловича. Несомненно, посылая возы с питьем и угощением, царь руководствовался лучшими чувствами.

Предание гласит, что подворье близ Никольских ворот было выбрано для постоя Никона не случайно. Рядом, за стеной, располагался Земский двор с тюремным острогом, откуда до келий будто бы непрерывно доносились стоны и вопли истязуемых. В ночь накануне суда здесь якобы пытали келейника патриарха Ивана Шушерина, бывшего в курсе всех тайн опального архипастыря. Можно лишь гадать, насколько домысел о выборе места постоя соответствует действительности. Во всяком случае, такое было вполне в духе времени и в масштабах личности некоторых бояр, люто ненавидевших патриарха. Но надо знать Никона, которому было чем труднее, тем лучше. В обстановке всеобщей вражды, мелочного преследования и повсеместного отступничества, он ощущал себя раннехристианским мучеником. Из мученичества черпал он нравственные силы для

противостояния. Не случайно Шушерин позднее вложил в уста Никона слова, сказанные им в связи с решением Собора отобрать у него предносимый патриарший крест: «Да будет воля Господня. Если дадут приказ отобрать нашу последнюю одежду... мы не подлежим за это порицанию, но пострадаем с радостью, страдая за имя Господне»^[327].

С таким настроением вступил он на сцену, где разыгрывалось последнее действие его тяжбы с Алексеем Михайловичем.

Суд над Никоном начался 1 декабря в третьем часу дня в царской Столовой палате. Присутствовало 29 архипастырей, из которых 12 были иноземными православными архиереями. Напрасно Никон ожидал, что последние, помня о его всегдашней приязни к грекам, станут на его сторону. Напротив, греки оказались более лояльными к интересам светской власти, чем русские архиереи. Не приходилось ожидать Никону ничего хорошего и от своих. Шестеро из них заняли епископские кафедры после 1658 года и всецело ориентировались на настроение царя. Четверо из восьми епископов никонианского поставления ненавидели бывшего патриарха и горели желанием поквитаться с ним за нанесенные обиды. То были Иосиф Астраханский, Иоасаф Тверской, Иларион Рязанский и Александр Вятский. Остальные, если и испытывали какое-то сочувствие к Никону или колебались относительно каноничности суда, слишком хорошо знали, чего хочет царь. Поневоле приходилось выбирать между молчанием и опалой, которая неминуема должна была последовать за заступничеством.

Самого Никона повезли на суд в простых, не по патриаршему чину, санях. У Успенского собора Никон велел остановиться — хотел зайти в храм помолиться. Но едва он сделал несколько шагов, как двери

затворились! Памятуя о прежнем, власти так боялись какой-нибудь непредсказуемой выходки Никона, что хотели перестраховаться и предусмотреть все возможное: и в храмы не пускать, и от людей отвести, и стонами наказуемых испугать!

Удел романистов — предполагать, что пережил и о чем думал Никон, стоя перед закрытыми дверями соборной церкви. Зато подлинно известно, что он сделал: вернулся к саням и подъехал к палате, настояв, чтобы его простые сани поставили рядом с богато изукрашенными патриаршими. Никон берег высоту своего сана и ни в чем не желал уступать судьям. Поднявшись по лестнице, Никон двинулся в Столовую палату.

Здесь-то и выяснилось, что стремившиеся все предусмотреть устроители суда не учли очень важного: как встречать Никона? Пока обсуждали, двери затворили и Никона не пускали. Решено было встречать патриарха сидя. Но Никон шествовал по Кремлю с выносным крестом [\[328\]](#), тем самым, который дал повод обвинить патриарха в подражании «латынтям». А крест несли первым! Можно лишь догадываться, какой получилась эта немая сцена: крест, Никон, оцепенение сидящих судей — и тяжелая пауза. Крест заставил всех подняться. И первым это сделал царь.

Вошедший Никон поклонился — трижды Алексею Михайловичу, дважды патриархам и в обе стороны — боярам и духовенству. Вольно или невольно, но начало осталось за ним — его встретили как патриарха. Может быть, поэтому судьи поспешили ему напомнить, какой он для них патриарх: Никону было предложено сесть не вровень с греками-патриархами, а особо и ниже. Никон ответил с достоинством: «Места, где бы мне сесть, я здесь не вижу, а с собой не принес». И остался стоять. И простоял все заседание — десять часов!

Первым и главным обвинителем выступил Алексей Михайлович. Это можно рассматривать как угодно: как желание придать нужную тональность суду или в качестве поддержки колеблющихся. Но явственно ощутимо подспудное нетерпение царя, его стремление немедленно освободиться от непомерной тяжести затянувшегося дела. Для него тяжба с Никоном при всех ее изворотах — душевная рана, разрыв с некогда близким и почитаемым человеком. Воистину, то была извечная трагедия обманутого доверия: он его нашел, приблизил и возвысил в надежде обрести опору. А столкнулся с непониманием, гордыней и неблагодарностью. Так, или по крайней мере близко к тому, истолковывал для себя происшедшее Алексей Михайлович.

Обвинения, брошенные государем, не были новы. Все они прозвучали в прежних нападках на Никона. Новое было разве в добавлениях о последних, самых «свежих» проступках патриарха против государя да в самом обвинителе. До сих пор царь общался с Никоном через посредников. Теперь, подчеркивая значимость происходящего, вышел на первый план. Смотрелось это внушительно и грозно, хотя и без некоторого неудобства: великий государь обвинял; бывший великий государь и патриарх Никон, стоя, отвечал; греки-патриархи, возведенные в результате распри на роль третейских судей, сидя, слушали. Получалось, как в давние времена — ученики-русские и учителя-греки.

Царь говорил о самовольном оставлении патриаршества Никоном, когда тот, «ником не гоним», отрекся от своего сана. Никон, отвечая, в очередной раз упомянул об инциденте во время встречи грузинского царевича. Судьи стали выпрашивать присутствующих архиереев, как было дело. Те подтвердили, что от великого государя Никону никаких обид не было. «Я об обиде не говорю, я говорю о государевом гневе», —

поправился Никон, подчеркнув, что это не одно и то же. Но Макарий и Паисий не стали вдаваться в тонкости. Они вполне усвоили аргументацию противников патриарха и объявили, что, оставив престол беспричинно, Никон тем самым отрекся и от патриаршества.

Главный обвинитель напомнил Никону о его обещании навечно оставить кафедру и об анафеме. Мы помним, в защите Никона этот момент был один из самых уязвимых. Никон от заклятия отрекался, прибавив в свою пользу новый аргумент: уходя, он забрал с собой архиерейскую мантию. Следовательно, об оставлении патриаршества не помышлял: «То де на меня затеяли».

Далее Алексей Михайлович заговорил о вещах, особенно его задевших. Царь упомянул о письмах Никона к восточным патриархам, в которых на него, царя, были возведены «многия безчестья и укоризны». Судьи-патриархи про то задали вопрос Никону. «Что де в грамотках писано, то и писано, а стоял де за церковные догматы», — лаконично отвечал тот. Тогда царь потребовал спросить, в какие он, царь, в нарушение правил, «вступался во архиерейские дела». Никон уклонился от прямого ответа: писал ли о том Константинопольскому патриарху Дионисию, того не упомянул, а про примеры нарушения его архиерейских прав вообще промолчал.

Патриарх признал, что гонений на него не было и от государя никто не приходил и не требовал оставить патриаршества. Гнев же был: обидели его человека, а удовлетворение не дали. Хитрово тут же объявил, что ударил патриаршего человека не узнавши, за проступок же просил у патриарха прощения и тот его простил. И вновь собор единодушно пришел к мнению, что Никон ушел с патриаршества не от обиды, а по собственному соизволению, беспричинно, «с сердца». Формула эта

юридически звучит достаточно беспомощно, но зато какое точное психологическое попадание! Патриарх в самом деле многое делал «с сердца» и уже потом — «с ума». Для многих сидевших в Столовой палате, этот тезис был безусловен и не требовал расшифровки — они успели вдоволь натерпеться от вспыльчивого и крутого норова обвиняемого.

Тяжким стало новое обвинение Никона в том, что всех православных христиан он объявил отступниками и еретиками, от соборной церкви отлучившимися. Никон разъяснил, что имел в виду одного своего недруга, Паисия Лигарида, который носит свой сан незаконно. «Я его за митрополита не почитаю, у него и ставленные грамоты нет», — прибавил он [\[329\]](#).

Разъяснение Никона не было признано основательным. Объявили, что Никон возвел на всех православных «великие укоризны и неправды». Тут же выставлено было требование патриархам: учинить по этому тяжкому обвинению приговор «по правилам святых апостолов и святых отец».

Никон не стал доказывать предвзятость истолкования своих слов. Хотя сразу понял, какую вину пытаются теперь прибавить к его проступкам. Но сил пока хватило лишь на то, чтобы бросить упрек Алексею Михайловичу: если бы ты Бога боялся, ты бы со мной так не поступал!

Не в натуре опального патриарха было оправдываться, хотя, возможно, переступал он порог Столовой палаты лишь с этим желанием. Но слишком тяжелы были предъявленные ему вины и слишком обидны уколы, чтобы вынести такое: патриарх в конце концов не утерпел и сам перешел в наступление. Он объявил, что ныне на Москве, вопреки святым правилам, всякий церковный чин ставится по царскому указу; по указу же собираются соборы, судят и

осуждают духовных. В речах Никона царь представлен узурпатором, присвоившим себе то, что никогда ему не принадлежало, — управление церковью. Это и было, собственно, раскрытие тезиса о том, что второй Романов стал «вступаться» в церковные дела. Алексей Михайлович был задет. И отвечивал: все то делалось в период междупатриаршества. А кто создал его? И чья, выходит, вина и чье своеволие?

Никону пришлось отвечать и на множество других, больших и мелких обвинений, включая пресловутый эпизод с собачкой боярина Стрешнева, выученной изображать патриарха и подавать лапу для «благословления», за что Никон проклял царского родственника. Было признано, что сделано то опальным патриархом «напрасно, без собору».

На второе заседание Собора Никона не пригласили. А между тем он был обвинен в клевете — будто бы заявил, что все жители Московского государства, начиная с государя, склонились к латинству и от православия отстали. Обвинители, ударив челом восточным патриархам, просили от такого тяжкого поклепа их «очистить», а Никона осудить. Восточные патриархи объявили, что на Москве они повсюду видят истинную православную веру, потому Никон — пастырь, позорящий свое стадо, и за такую злую клевету достоин суда и самого тяжкого осуждения.

Затем принесены были грамоты Никона, где тот подписывался, как «бывший патриарх». Эта подпись Никона уже давно стала одним из доказательств его добровольного отречения от патриаршества. Никон в свое время выдвинул достаточно надуманное опровержение собственной неосмотрительности. Он, мол, имел в виду не отречение, а утверждение, что «царь не почитает его патриархом». Но в отсутствие обвиняемого никто, естественно, не вспомнил о его разъяснении. Затем обвинением была предъявлена

другая грамотка с протестом Никона по поводу участия митрополита Питирима в шествии на осляти. В ней «бывший патриарх» вновь подписывался как патриарх действующий. Главные судьи развели руками: если Никон так изменчив, то в чем ему вообще можно верить?

Алексей Михайлович, все еще не остывший от обиды, заметил, что в его грамотах никаких оскорбительных слов для бывшего патриарха нет и никогда не было, тогда как тот в писании Константинопольскому патриарху возвел на него «многие бесчестные и укорительные слова и причел к римскому костелу». Патриархи посочувствовали царю и поспешили успокоить его: Никон писал так, «чаючи, что все таковы, как он сам». В итоге были признаны «многие лжи» Никона и сделан глубокомысленный вывод, что выслушивать бывшего патриарха вообще нет особой надобности. С такой формулой по нашим понятиям суд обращался в судилище. Но на самом деле церковный суд вовсе не требовал присутствия обвиняемого. Формальная сторона и здесь не была нарушена. Что же касается существа дела, то Никон, как мы знаем, был осужден еще до начала суда.

На следующем заседании, которое состоялось 5 декабря в присутствии Никона, патриархи признали его виновным в своевольном и беспричинном уходе с кафедры, после чего стали читать специально подобранные правила, дающие канонические основания для осуждения патриарха. Когда дошли до правила: «Кто покинет престол волею без навета и тому впредь не быть на престоле», Никон взорвался и обрушился на своих судей: правила эти не апостольские, не вселенских и поместных соборов, отчего он их и не признает. Поднаторевшие в обвинениях патриархи тут же переспросили: «Так ты не принимаешь как канонический этот наш собор, который утвержден

против тебя четырьмя патриархами?» «Эти писания не лучше старых бабьих сказок, ибо приводят поддельные каноны», — парировал Никон^[330]. Тогда Крутицкий митрополит Павел негодуяше заметил, что эти правила признает русская церковь. Никон вновь возразил: таких правил в русской Кормчей книге нет, «а греческие де правила не прямые, те де правила патриархи от себя учинили, а не из правил. После вселенских соборов все де враки, а печатали де те правила еретики, а я де не отрекался от престола, то де на него затеяли».

Жаль, что на суде отсутствовали расколоучителя. Всей душой ненавидя Никона, они бы наверняка поддержали его в этом вопросе. По сути, Никон прибегнул к их аргументации, поставив под сомнение благочестие греков. Больше того, он поступил алогично, прямо противоположно тому, что провозглашал ранее о греческой церкви. Но было ли травимому, разгневанному Никону до какой-то логики? Он защищался. Иногда — и чаще — стараясь сохранить достоинство и авторитет богословской аргументации, иногда — реже — как мог, более раздражением и обидой, чем разумом. Однако оказавшись перед сонмом греческих иерархов-судей, людей в вере некрепких и непостоянных, совсем еще недавно заискивавших перед ним и кормившихся из его рук, Никон испытывал глубокое возмущение. Кто судим и кто судьи?! Такие судьи выводили бывшего патриарха из равновесия.

Впрочем, Никон редко безмолвствовал. Защищаясь, он часто переходил в наступление. Так, он неожиданно напомнил Алексею Михайловичу, что во время Московского бунта 1648 года тот «сам неправду свидетельствовал, а я де (не) утрашась, пошел против твоего государева гнева». Смысл фразы понятен в контексте предшествующего: Никон напоминал, что

стоял за правду даже тогда, когда пошатнулся царь, принявший «проклятую книгу» — Соборное Уложение.

Уязвленный Алексей Михайлович тут же заявил, что Никон такими словами его бесчестит: бунтом, мол, к нему никто «не прихаживал, а что де приходили земские люди, и то де не на него, великого государя; приходили бить челом ему, государю, об обидах». Парируя выпад Никона, царь лукавил и говорил полуправду. Действительно, били челом не на него (любопытно, однако, признание возможности самого такого прецедента — бить челом на царя), а на боярина Морозова. Однако принимал он земских людей, как известно, не по своей воле, а под давлением взбунтовавшихся москвичей вкупе со стрельцами. Но лукавил, в конце концов, и Никон, вовсе не безупречный в своем поведении в эти смутные месяцы. Он, между прочим, ни словом не обмолвился против Уложенной книги. За что заслужил справедливый упрек от своих противников, осмелившихся бросить ему в лицо это обвинение еще в годы патриаршего величия: «А се ты укоряешь новоуложенную книгу и посохом ея попираешь и называешь ее недоброю; а ты и руку приложил, когда ее строили; и ты в те поры называл ее доброю. А как руку приложил для земного страха, так ныне ты на соборе дерзаешь, потому что государь тебе волю дал»^[331].

Понятно, что в декабре 1666 года никто не собирався восстанавливать истину. Зато все присутствующие дружно стали пенять Никону, как он осмелился такие «непристойныя слова говорить и великого государя бесчестить».

На последнем заседании был затронут вопрос о праве патриархов судить Никона. Последний, как известно, признавал суд лишь всех вселенских патриархов. По указанию Алексея Михайловича было

предъявлено письмо о царской и патриаршей власти, подписанное восточными патриархами. В интерпретации судей это означало, что Иерусалимский и Константинопольский патриархи дали согласие на приход в Москву Паисия и Макария для суда над ним, Никоном. Никон отвечал неопределенно: руки (то есть подписи) их не знает. На соборе, в присутствии государя, сомнение в подлинности патриарших подписей звучало как издевательство. Первым подал голос Макарий, объявивший, что подписи настоящие. «Широк де ты здесь, а как де ответ дашь пред Константинопольским патриархом?» — не без иронии парировал Никон, который с ходу уловил подмену: общие рассуждения о светской и духовной властях вовсе не значили согласия Константинопольского патриарха на суд.

Выпад Никона вызвал взрыв возмущения. Со всех сторон посыпались упреки, более рассчитанные на царя (пусть приметит старание), чем на Никона: как он не боится Бога, великого государя и патриархов? Как смеет называть истину ложью?! Тут к месту вспомнили о патриаршем выносном кресте и решили навсегда отобрать его — то де заимствовано у «латыников»^[332].

Рассказывают, что во время этого заседания Алексей Михайлович подошел к Никону и тихим голосом стал упрекать его в том, что, отправляясь на суд, тот соборовался и причастился, точно перед смертью. Царь клялся, что у него и в мыслях не было отплатить злом за прежнее добро. «Благочестивый царь, — ответил Никон, — не возлагай на себя таких клятв, поверь, что мне готовят многие беды и скорби».

Царь тогда заговорил о примирении и желании разрушить возникшую вражду. Никон и на это ответил, и ответ этот, пронизанный горькой иронией, многого стоил: «Хорошее дело задумал ты, царь, но знай, что

оно не будет совершено тобою, и я должен до конца испытать на себе твой гнев».

Обращение царя кажется неуместным и бестактным. Бестактным в свете того, что произойдет по завершении суда и что, собственно, уже предрешено — «я должен... испытать на себе твой гнев»; неуместным — имея в виду место и время, когда царь завел речь о примирении. Но между тем все было сделано совершенно в духе Тишайшего. Царь в смятении, в душевном нестроении. Для него слишком мучительна ситуация, когда государь и православный человек оказываются как бы порознь. Ведь говоря о примирении, он имел в виду вовсе не прощение Никона: бывший патриарх должен понести наказание по мере своих проступков, и он, как государь, требует и желает этого. Но он же и жаждет христианского примирения и взаимного прощения. Это позднее, когда сознание долга перед Отечеством станет для правителя оправданием любого проступка и даже потеснит библейские заповеди, такое раздвоение уже не станет мучить Романовых. Совесть, усыпленная чувством честно исполненного долга, редко будет напоминать о себе. Но для Тишайшего, человека глубоко и искренне верующего, такое раздвоение томительно. Не случайно до самой своей смерти он станет испрашивать у старца Никона «прощения и разрешения». Никон уступит, лишь узнав о смерти государя. Да и уступка это будет несколько странная, скорее полууступка, полупрошение сквозь слезы и незажившую обиду: «Воля Господня да будет... Подражая учителю своему Христу, повелевшему оставлять грехи ближним, я говорю: Бог да простит покойного»^[333].

...Чтение правил и канонов завершилось обращением патриархов к епископам с вопросом о наказании Никона. Спрашивали по отдельности

греческих и русских иерархов. Греки объявили, что Никона следует канонически низвергнуть и лишить права совершать службы. Русские епископы, естественно, ответили в том же ключе: «Пусть он будет низвергнут самым полным образом, ибо он виновен во многих винах».

Затем патриархи объявили о низвержении Никона и перечислили его вины: бывший патриарх отрекся от престола без всякой законной причины; Константинопольскому патриарху писал, что русские приложились «к западному костелу» и отступились от православной веры, чем русскую церковь «обругал», всех православных христиан и самого царя обесчестил; соборные правила, по которым судили Никона, он также отверг и называл «враками», чем бесчестил уже вселенских патриархов.

Сильным и едва ли не единственным оружием защиты Никона на суде была ирония. Владел он ею если не виртуозно, то, по крайней мере, мастерски, вызывая своими едкими, саркастическими замечаниями раздражение своих противников. Досталось от него всем: и тем, кто раскрывал рот, и кто помалкивал. Великие ненавистники строптивного владыки, московские бояре, на суде больше молчали. Не только потому, что суд был церковным. Бояре успели столько намутить еще до суда, что теперь не было никакой надобности что-то говорить. Никон, однако, это красноречивое молчание заметил и прошелся по адресу своих гонителей. «Благочестивый государь, — обратился он к царю, — девять лет они готовились к этому дню, а теперь и рта не могут открыть. Прикажи уж им лучше бросать в меня камни, это они скорее могут делать».

Однако объявить Никону о низложении было полдела. Как сформулировать соборное постановление так, чтобы не просто придать ему законный характер, а

добиться признания его другими восточными патриархами? Царю пришлось даже накануне объявления приговора в продолжение нескольких часов совещаться с патриархами, чтобы предусмотреть все детали. Будущее показало, что опасения оказались чрезмерными. Константинопольский и Иерусалимский владыки признали решения собора. Но произошло это не в результате изощренной казуистики. Просто, оказавшись перед фактом, восточные патриархи посчитали за благо не ссориться с православным государем, чей гнев мог оказаться для них чувствительным во всех отношениях.

12 декабря в Крестовой палате участниками церковного собора было подписано постановление о низложении Никона. Вины были все те же: бывший патриарх «влагался в дела неприличная патриаршему достоинству и власти», отчего учинились многие «смуты». Далее речь шла о публичном его отречении от патриаршества и самовольном оставлении престола и паствы, о сопротивлении избранию нового архипастыря, клевете на царя и патриархов, об утверждении, будто русская церковь впала в ересь. К приговору были присовокуплены обвинения, «заработанные» Никоном уже на суде — сомнения в правилах, взятых из греческого Номоканона, и оскорбление патриархов.

На церемонии чтения приговора и низложении Никона царя не было. Зато присутствовали присланные им бояре, Одоевский и Салтыков, и все церковные власти. Торжествовали многие, но далеко не все. Архиепископ Симон Вологодский, сказавшись больным, попытался уклониться от сомнительной чести. Но даже с таким робким нарушением «единодушия» царь не захотел согласиться. Архиепископа принесли на носилках в церковь Благовещения, где проходила церемония, и положили в углу — плакать.

Приговор прочли сначала на греческом, затем на русском языках. Александрийский патриарх собственноручно снял с Никона клобук и панагию: «А иже кто от ныне дерзнет именовать его патриархом, да будет повинен во епитимиях святых отец»^[334].

Никон встретил приговор с редким достоинством. По описанию Шушерина, он не молчал и бросал своим судьям грозные обвинения. Жезл пастырский, напоминал бывший патриарх, получил он не по домогательству, но по желанию и слезному молению бесчисленного народа. Никон не признавал ни суда над собой, ни самих патриархов-судей — по его определению пришельцев и наемников. Если они творят справедливое дело, то почему тайно? — вопрошал он. Где государь и народ? Пойдемте в собор, где он принимал сан, снимите его прилюдно, на глазах тех, при ком он возводился в патриаршее достояние! Ему меланхолично отвечали: там или здесь — все едино, «а что государя здесь нет, в том воля его царского величества»^[335].

В заключение патриархи прочитали низложенному владыке поучение: отныне Никону предлагалось жить тихо и немятежно, патриархом не называться и не писаться — но вечно каяться в своих прегрешениях. Надо было знать Никона, чтобы сказать ему такое: он взорвался, нашел слова, полные сарказма: знаю и сам, как жить, а они бы лучше с клобука жемчуг и панагию между собой разделили...

Никону не нужно было искать причин своего падения. А ведь он знал безошибочное отечественное средство существования во власти, рецепт патриаршества до смертного часа. «Отчего это приключилось с тобой?» — задавался он позднее скорбным вопросом к самому себе и сам же находил правильный ответ: надо было только не говорить

правды и не терять дружбы — «если бы ты вечерял с ними за роскошными трапезами, то этого не случилось с тобой»^[336].

Кто скажет, что Никон был не прав?

Какие чувства обуревали Алексея Михайловича во время и после суда над Никоном?

Судя по поступкам, Тишайший, признавая свою правоту в главном, не мог забыть о собственном лукавстве. Чего только стоило утверждение, что он не держал гнева на патриарха в канун их разрыва и не являлся на патриаршие литургии за недосугом! Здесь всё всем, в том числе и царю, было ясно, хотя современники, приняв условия игры, послушно поддакивали. Легко было царю заставить говорить нужное других, но как обмануть себя?

В иные минуты Алексей Михайлович как будто готов был защитить бывшего «собинного друга». Когда выведенный из себя Мстиславский епископ Мефодий замахнулся на Никона, царь пришел в негодование. Это не ускользнуло от внимания присутствующих. Наступило замешательство, которым тотчас воспользовался Никон: «Девять лет приготавливали то, в чем хотели обвинить меня, и никто не может вымолвить ни слова, никто не отверзает уст», — торжествующе произнес он.

Нельзя не обратить внимание еще на одно обстоятельство, подчеркнутое таким исследователем и поклонником опального патриарха, как М. В. Зызыкин. На суде не было произнесено ни одного слова о том, что Никон вознамерился утеснить власть царскую. Патриарх обвинялся в самовольном оставлении престола, в превышении полномочий, оскорблении царя, патриархов и всех православных христиан, в отрицании «греческих правил». Но о вине, которая

затем станет фигурировать во всех учебниках и книгах как главная, — молчок! М. И. Зызыкин объясняет это тем, что власти просто не решились на такое, поскольку понимали, что Никон вмешивался в государственные дела настолько, насколько сам царь позволял и привлекал его^[337]. Но вероятнее иное объяснение. Царь, по-видимому, счел нецелесообразным выносить подобное обвинение на церковный суд. С лихвой хватало того, что было выдвинуто против патриарха. Да и тема была слишком острая, чтобы раздувать ее.

Сыграла свою роль и «чувствительность» Алексея Михайловича. Царь очень пекся о своем образе самодержавного государя. Чего, к примеру, стоила фраза о том, что Никон «влагался» в дела, «неприличные» его достоинству и власти? Ведь получалось, что и царь проявил «слабость», раз допустил такое.

Словом, во всем этом деле царь оказывался не без греха, и, похоже, он сам догадывался об этом. Брошенные в сердцах Никоном обличительные слова: «моя кровь и грех всех на твоей голове, царь», не давали покоя. Надо думать, что на душе у него было горько. Потому не одна только христианская этика, но и подсознательное чувство вины побуждали его испросить у Никона прощение и позаботиться о нем.

Никон еще не покинул монастырское подворье, чтобы отправиться к месту ссылки — в Ферапонтов монастырь, как Тишайший прислал к нему боярина Родиона Стрешнева за благословением. Последовал решительный отказ: боярин по сути был выставлен за дверь вместе с царскими дарами в дорогу. Царь, по-видимому, не случайно послал Стрешнева — личного недруга Никона. Он словно бы призывал старца Никона подняться над обидами, проявить христианское смирение. Но здесь коса нашла на камень.

Месяц спустя, в январе 1667 года, Никон сам вернулся к теме прощения, прислав из монастыря царю грамотку: «Ты боишься греха, просишь у меня благословения, примирения, но я даром тебя не благославлю, не помирюсь; возврати из заточения, тогда прощу...»^[338]. И адресат, и автор хорошо понимали, что стоит за словами «возврати»: возвратить — значит признать неправым весь суд и все то, что было сделано для никоновского осуждения, принять на себя вину за «сиротство церкви». Для царя, конечно, такое было абсолютно невозможно. Но насколько трудно, насколько невыносимо оказалось для него жить с чувством вины, без примирения!

Священство и царство

Никон покинул Кремль, но тень его продолжала нависать над участниками церковного собора. Осталось «наследие» Никона, обойти которое не было никакой возможности. Как же следовало выстраивать после всего происшедшего отношения между «царством» и «священством»? Очень скоро выяснилось, что многие члены собора мечтают о поправлении нарушенной симфонии. Иными словами, они не далеко ушли от низвергнутого Никона! Неутомимые гонители патриарха, Крутицкий митрополит Павел и Рязанский архиепископ Иларион отказались подписывать соборное осуждение из-за неприемлемой для них формулы о соотношении церковной и светской властей. Удар был тем более чувствительный, что царь сам двигал Павла, жесткость и решительность которого сочеталась с образованностью и знанием польского и латинского языков.

Павел и Иларион всесоборно объявили, что «степень священства выше степени царского». Мотив был слишком знакомый, чтобы не понять, откуда дует ветер. Так было еще раз подтверждено, что никоновский «бунт» был не просто бунтом одиночки: неудовольствие испытывали многие представители высшей церковной иерархии, готовой биться за дело Никона... без Никона. Вполне возможно, что их планы не простирались так далеко, как теократические поползновения бывшего патриарха, но зато они были определеннее: архиереи резко выступали против вмешательства в епархиальные дела светской власти.

В этот драматический момент и выяснилось, что не напрасно Алексей Михайлович привечал греков. Последние были равнодушны к кровным интересам

русских архиереев, не говоря уже о том, что выстраивали свои взаимоотношения с царской властью на иных началах. Потому оба восточных патриарха, под одобрительные голоса остальных греков, обвинили русских «князей церкви» в цезарепапизме и своим авторитетом помогли задавить новый бунт еще в зародыше.

Как обычно, особенно витийствовал Паисий Лигарид, поставивший своей изощренной казуистикой в неловкое положение даже самого Алексея Михайловича. В прежние времена, заявил он, архиереи были «златые по нравам, хотя служили на деревянных дисках и потирах»; ныне же епископы поведением не крепки, хотя и совершают таинства «в сосудах златых и преукрашенных». Конечно, были бы прежние святители, и тогда он, Паисий, предпочел бы их «всякому Кесарю и Августу, над землей начальствующим». Но таких нет. Оттого «царю надлежит казаться и быть выше других», соединяя в своем лице «власть государя и архиерея».

Для Паисия таковым идеальным православным государем был Алексей Михайлович. Верный своему правилу льстить без меры, «истолкователь правил» витийствовал по поводу Тишайшего: «Поистине наш державнейший царь, государь Алексей Михайлович, столь сведущ в делах церковных, что можно подумать будто целую жизнь был архиереем... Ты, Богом почтенный царю Алексие, воистину человек Божий... Вы боитесь будущего (выпад по адресу русских епископов. — *И.А.*), чтобы какой-нибудь новый государь, сделавшись самовластным... не поработил бы церковь российскую. Нет, нет! У доброго царя будет еще добрее сын его наследник. Он будет попечителем о вас. Наречется новым Константином, будет царь и вместе архиерей...»

Остается загадкой, насколько были приятны льстивые речи Лигарида слуху Тишайшего. Но то, что

они во многом расходились с русской традицией, несомненно. Царь предпочитал найти более приемлемую формулу и избежать конфликта с епископатом. Конфликт, впрочем, не нужен был никому. Дело Никона и без того сильно пошатнуло авторитет церкви. Обе стороны — власть светская и власть духовная — нуждались в стабильности и искали компромисс.

Алексей Михайлович сам вынес на Собор вопрос о взаимоотношении светской и церковной властей. В январе 1667 года было объявлено, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх — в церковных. Сотрудничество же, то есть симфония «христоролюбивых царей и благочестивых архиереев, составляет единую силу, когда дела управляются с миром, любовью». Так была определена или, точнее, подтверждена линия размежевания компетенции царя и патриарха. В загодя подготовленном ответе патриархов эта формула получила более полное толкование, вполне устраивавшее самодержавного монарха. «Царю убо быти совершенна Господа и единого быти законодавца всех дел гражданских. Патриарха же быти послушлива царю, яко поставленному на высочайшем достоинстве и отмстителю Божию...»^[339]

Согласно источнику, торжественно провозглашенная формула нашла у участников Собора всеобщее одобрение: «Все воскликнули: сие есть мнение богоносных отец! Так мыслим все!»

Этикетная формулировка скрыла от нас подлинное настроение русских иерархов. Должно быть, далеко не все из них были удовлетворены подобной «реставрацией» знаменитой симфонии. Тот же Иларион Рязанский и Павел Крутицкий продолжали жаловаться на засилье светской власти, из-за чего их пришлось

соборно смирать — обвинить в том, что они «никонствуют и папствуют», и наложить епитимью. По этому поводу Паисий Лигарид заметил, что прочие русские иерархи, отвыкшие повиноваться, «пришли в страх от сего неожиданного наказания».

Тем не менее, опираясь на решение Собора, русский епископат упрочил свои позиции. Было объявлено об упразднении Монастырского приказа, а с ним и института светских архиерейских чиновников, сильно тяготивших своей опекой высшее духовенство. А ведь Монастырский приказ был не просто проявлением новой церковной политики светской власти, но символом изменившейся государственной идеологии! Таким образом, буря, поднятая Никоном, не прошла даром. «Наступление» светской власти на позиции церкви и священства было частично приостановлено. Но только частично! Чего стоит, например, такая характерная деталь: последний Поместный собор чаще проходил в царской Столовой палате, чем в Патриаршей!

С низложением Никона можно было наконец поставить точку в затянувшейся истории с «сиротством» русской церкви. Хлебнув лиха со строптивым «собинным другом», Алексей Михайлович на этот раз совершенно определенно мог ответить, какой патриарх ему был нужен. Прежде всего покладистый и «недерзновенный», у которого не могло бы появиться и мысли вступаться в мирские дела. При этом новый владыка должен был навести порядок в церкви, унять раскольников и собственных архиереев, успевших привыкнуть за годы «бесчинного безначалия» к известной свободе. Здесь, впрочем, Алексей Михайлович оказывался в ситуации трудноразрешимой. Обуздать пораспустившихся епископов, которые стали называть себя «великими государями» и «свободными архиереями», мог лишь сильный владыка. Но сила и напор редко уживаются с «недерзновенностью». Между

тем «бунт» Илариона и Павла, которые вздумали, по определению Лигарида, «папствовать и никонианствовать», свидетельствовал, сколь упрямо держатся за свои права отечественные епископы.

Может быть, именно поэтому в числе кандидатов на патриарший престол на этот раз не оказалось ни одного епископа. Царь предпочел искать «недерзновенного», сговорчивого патриарха среди архимандритов и игуменов, не успевших проникнуться корпоративным духом «князей церкви». Выбор пал на архимандрита Троице-Сергиевского монастыря Иоасафа (1667–1672). Общение с ним позволяло надеяться, что он будет чутко прислушиваться к тому, о чем говорят в царских теремах, и уж тем более не станет выкидывать экстравагантные поступки по образу своего предшественника. Забегая вперед, скажем, что Иоасаф II вполне оправдал возлагаемые на него надежды. Времена бесконечных столкновений с архипастырем отошли в прошлое. Зато новые книги, обрядовые и литургические новшества стали утверждаться в повседневной церковной жизни. Ослушников при Иоасафе наказывали строго и, не в пример Никону, последовательно, без прежнего надрыва и бесконечных перепадов в настроении.

Избранный без промедления и без каких-либо затруднений на том же соборе, новый патриарх продолжил исправление и издание богослужебных книг. При нем Печатный двор выпустил Большой и Малый Катехизисы, Триодь цветную и Триодь постную. Благодаря этому перемены в церкви утрачивали характер новин. Тишайший, для которого церковная реформа стала кровным делом, мог, кажется, впервые за долгие годы перевести дух.

Между патриархом и царем установились ровные отношения. Они, конечно, были лишены той задушевности, которая существовала между Никоном и

Алексеем Михайловичем в конце 40-х — первой половине 50-х годов. Причем не только потому, что Тишайший, раз ожегшись, теперь готов был дуть на ледяную воду. Просто повзрослевший царь смотрел на все другими глазами и не искал с прежним рвением, к кому бы «прислониться». Иоасаф же был человеком старого закала и жил в традициях русской церковности, сторонившейся мирской суеты.

Зато царь по-прежнему продолжал активно соучаствовать в делах церкви. Правда, это участие во многом утратило ту, отчасти вынужденную прямизну, которая вызывала такое бурное негодование у Никона. Однако это вовсе не означало возвращение к дониконовским временам. Происшедшее уже нельзя было предать забвению: все знали, что случается с теми, кто противится царской воле. Соборный по инициативе царя Собор запустил «механизм» укрощения высшего пастыря, причем не так, как это случалось прежде — насильственным низложением и небрежением над уставами, а подчеркнуто законно. А это означало, что в глазах большинства право и нравственность не расходились друг с другом.

Но личный опыт иерархов — лишь одна сторона дела. Раскол, помимо воли инициаторов реформ, ослабил церковь. После 1667 года она, как никогда прежде, нуждалась в поддержке государства. Слово слишком плохо смиряло церковных «супротивников». Да и сами расколоучителя владели им ничуть не хуже своих оппонентов, отчего полная сочувствия к гонимым толпа с готовностью внимала им. Поневоле приходилось прибегать к помощи власти. Алексей Михайлович оказывал ее вполне бескорыстно, видя в том свою обязанность. Но в том-то и дело, что это бескорыстие все равно оборачивалось растущей зависимостью церкви от самодержавного государства. И никакие

постановления Соборов с этим ничего поделать не могли.

Церковная смута

Дело Никона внесло еще больший разброд в церковную жизнь и усугубило церковную смуту. Собственно, смута по-настоящему и началась с оставлением им кафедры.

Разлад находил самые разнообразные проявления. Хворь наверху церковной пирамиды привела к болезненным нарывам внизу: «безначалие» оборачивалось «всеобщей пагубой». Все мечты ревнителей о благочестивых пастырях, собирающих под своей рукою Христово стадо, растаяли как вешний снег. В среде духовенства процветали пьянство, невежество, небрежение священническими обязанностями. По недостатку авторитета местоблюстителей патриаршего престола царь принужден был постоянно вмешиваться в церковные дела и смирять нарушителей уставов. Причем нередко лиц, в церковной иерархии вовсе незначительных. Так, в 1659 году ему донесли о дурном поведении в Суздальском Покровском монастыре вдовы князя А. Хилкова. Монахиня часто беспричинно покидала обитель, вместе со старицами бражничала в келье. Алексей Михайлович велел разгулявшейся вдове вину отпустить, но далее, если не переменится, наказывать. Грамотка заканчивалась строгим внушением монастырским властям: к старице «протопопа, попов и никакова мужского возраста» не пропускать! Вообще, этот привилегированный и далекий от благочиния женский монастырь доставлял в эти годы церковным и светским властям немало хлопот. По донесению Суздальского архиепископа, в Покровском монастыре старица-игуменья за своею немощью за монахинями плохо дозирует; те же живут

«безчинно и робят родят», скрывая в своих кельях... монахов и дьяконов^[340].

Но главное, церковная смута усугублялась и ширилась старообрядческой проповедью. Удаление Никона в Новоиерусалимский монастырь было воспринято сторонниками старого обряда как благоприятный знак: ушел главный инициатор пагубных новшеств, и с ним, по их убеждению, должны были кануть в вечность и его дьявольские нововведения. Подобная логика была всем ясна и не требовала разъяснений. Ведь книжная и обрядовая «справа» прочно увязывались с именем опального патриарха. Но где был ныне Никон? И где тогда должны быть его начинания? Для огромного большинства были чужды все тонкости богословских споров никониан и их противников. Зато мысль, что во всем этом что-то нечисто, точила и смущала всех. Конечно, это не могло не отражаться на религиозной жизни, порождало всевозможные толки, уклонения и, в конечном итоге, «всякий соблазн».

Противники Никона не упускали случая поставить в связь «сиротство церкви» с делами патриарха. Неутомимый Неронов уговаривал царя скорее вернуться к истинному благочестию, поскольку проступок Никона и вовсе подорвал доверие к его новшествам, отчего многие в церковь стали редко, «по оскуду», ходить, «а инии и не ходят». Алексей Михайлович и без поучений старца был обеспокоен обрушившимися на церковь несчастиями. В 1665 году в письме Иерусалимскому патриарху он сетовал: «...В России весь церковный чин в несогласии, в церквах Божиих каждый служит своим нравом»^[341]. Но царь вовсе не собирался возвращаться к прошлому. Существовавшая будто бы связь между обрядовыми и иными новшествами и судьбой Никона, истолкованная Нероновым и его сторонниками как

несомненное доказательство их правоты, его вовсе не убеждала. Реформы Никона — это одно, его поступки и проступки — другое.

Но мало было внутреннего неприятия царем утвердившегося «многогравия» в церковной жизни. Оно все, в каждом своем проявлении, противоречило стремлению Алексея Михайловича к «устроению по мере и чину», оскорбляло не только его религиозные, но и эстетические чувства. Огромная ошибка раскольников-учителей заключалась в том, что они считали, будто реформа навязывалась благодушному государю, тогда как на самом деле он принял ее умом и сердцем. Это заблуждение тем более удивительно, что Неронов имел возможность наблюдать за государем и общаться с ним. Но, должно быть, известную «деликатность» Алексея Михайловича и его желание переубедить оппонентов словом, он и его сторонники принимали за внутреннюю неуверенность.

Царь не желал возвращения к старому уставу. Его решительное намерение довести начатое Никоном до конца проявлялось в мелочах. Даже случайная оговорка во время богослужения вызывала у государя бурю гнева: ему везде чудилось отступничество, тайное сочувствие раскольникам. Когда во время поставления в Вологодские епископы архимандрит Симеон, сам сторонник книжной «справы», произнес вместо «рождена, не сотворена» слова «рождена, а не сотворена», Алексей Михайлович едва не остановил церемонию рукоположения.

Не менее показателен инцидент, участниками которого оказались члены Поместного собора. В Великую Субботу 1667 года, во время службы в присутствии Алексея Михайловича, русское духовенство двинулось вместе с плащаницей привычным маршрутом «посолонь». Тут Иверский архимандрит Дионисий повернул в обратную сторону. Его поддержали

остальные восточные священнослужители. Последовало замешательство и молчаливая апелляция к государю. Алексей Михайлович приказал русскому духовенству следовать за греческим^[342].

Можно не сомневаться, что в борьбе с приверженцами старого обряда царем растрчивалось немало душевных сил. Не утратившие веру в благочестие царя староверы закидывали его посланиями, грамотками, поучениями. Вздохи сочувствия «вере отцов» раздавались в самом окружении. Даже юродивые не оставляли Тишайшего. Известен случай, когда юродивый Киприан бежал за царской каретой, призывая: «Добро бы, самодержавный, на древнее благочестие вступить!» Что переживал в эти минуты Тишайший — тайна. Но надо иметь в виду, сколь высоко на Руси почитались юродивые. Пренебречь их наставлениями и пророчествами значило не угодить самому Богу.

Однако приступы гнева Тишайшего, вызванные церковной смутой, даже отдаленно не напоминали то, с чем сталкивались подданные при Иване IV. Уместнее говорить о долготерпении Алексея Михайловича, а не о его гневе. Царь предпочитал словом и милосердием побуждать староверов отказаться от своих заблуждений. Самой показательной в этом смысле стала история с возвращением протопопа Аввакума.

Еще в 1664 году Неронов уговорил царя вернуть из сибирской ссылки Аввакума. При дворе помнили о неистовом нраве протопопа, который осмелился «лишние слова, что и не подобает говорить», высказать вслух. Теперь эти слова, за которые протопоп расплатился ссылкой, обернулись к его пользе. Аввакума вернули в надежде на то, что и он внесет свою лепту в борьбу с Никоном.

На Аввакума имя Никона действовало, как красная тряпка на быка. Он готов был обрушиваться на «помрачителя вселенных», «адова пса» с гневными речами в любое время дня и ночи. Собственно, он это и неустанно делал, отправив за два года до своего возвращения три послания против новоявленного Юлиана Отступника. «Аще архиереи справити не радят, поне ты, христоролюбивый государь, ту церковь от таковыя скверны почтися очистить», — поучал протопоп в одной из своих челобитных Алексея Михайловича.

Но, выступая против Никона, Аввакум вовсе не желал поступаться древним благочестием. С тем и возвращался в Москву, успевая уже в дороге, «по всем городам и селам, в церквах и на торгах», обличать никонианские новшества.

Царь тепло принял протопопа. По крайней мере так повествует о первых днях своего московского пребывания сам автор «Жития». Тишайший, не без иронии писал Аввакум, «кланялся часто со мной низенько-таки, а сам говорит: благослови-де меня и помолися о мне!». За царем тянулись бояре: «Челом, да челом: протопоп, благослови». Едва ли Аввакум преувеличивал — у Алексея Михайловича были на него свои виды. Красноречие протопопа подкупало царя, умевшего ценить таланты. Что же касается его религиозных убеждений, то, по-видимому, Тишайший не особенно верил в их крепость. В конце концов, наставлениям и уговорам поддавалось уже немало «старолюбцев». Отчего не переубедить Аввакума, перед которым отступничество открывало заманчивые перспективы? Аввакума одаривали деньгами, ему сулили духовничество у самого царя, а уж протопоп, выученник Вонифатьева, как никто должен был знать, что это значило.

Впрочем, в настроении государя явственно прослеживается недопонимание всей глубины и

последствий усугубляющегося раскола. «Русак» Алексей Михайлович (выражение Аввакума) так до конца и не ощутил, насколько оскорбительной оказалось для русского самосознания насильственное насаждение греческого авторитета и греческой мерки. Царь и его окружение посчитали, что с устранением Никона с ревнителями «древнего благочестия» можно будет легко и безуступчиво договориться. Но Аввакум не поддался на уговоры. Напротив, он сам принялся активно агитировать за старую веру, демонстрируя небрежение ко всему содеянному «проклятым» Никоном и «заблудшим» царем. То была дерзость. Очень скоро менторский тон протопопа, на который поначалу царь предпочитал не обращать внимания, стал раздражать его. Бояре тотчас уловили царскую перемену. Заискивающий тон тотчас сменился на высокомерно-угрожающий. «Ты нас оглашаешь царю, — попрекали бояре Аввакума, — в письме своем бранишь и людей учишь ко церквам, к пению не ходить».

«О сложении перстов, и о трегубой аллилуии» протопоп спорил даже с царским духовником Лукианом Кирилловым и архиепископом Иларионом, причем по обыкновению ярился, с порога отвергая все «нынешнии нововводные» догматы. Досталось и Федору Михайловичу Ртищеву, более других заступавшемуся за Аввакума. Чувствуя влечение к наукам, он поинтересовался у протопопа: стоит ли «учиться риторике, диалектике и философии?» Аввакум в ответ разразился целым посланием, которое заключил так: «Попросим с тобою от Христа Бога нашего истинного разума, како бы спастися, да наставит нас Дух Святой на всякую истинну, а не риторика с диалектиком». Ортодоксальный ответ был вполне в духе сторонников «святорусской старины». Но ведь дух этот сильно разошелся с самим временем, если в его правильности

усомнился такой истинно православный человек, как Ртищев!

Ясно, что все это должно было плохо кончиться для Аввакума. Так и кончилось — новой опалой и новой ссылкой.

В конце августа 1664 года пришедший к протопопу боярин Салтыков объявил: «Власти де на тебя жалуются; церкви де ты запустошил, поедь де в ссылку опять». Власти — это прежде всего только что вступивший с согласия царя на место местоблюстителя патриаршего престола Крутицкий митрополит Павел — поспешили избавиться от неистового протопопа. Нет сомнения, что сделано это было с ведома Алексея Михайловича, который окончательно убедился в невозможности образумить Аввакума. В итоге Аввакум, не прожив в Москве и полугода, променял благосклонность на немилость. Но зато слух о его «крепкостоятельстве» и мученичестве получил подкрепление и привлек к нему новых единомышленников.

С осени поднялась волна гонений на сторонников старого обряда. Часть расколоучителей была арестована и, в ожидании церковного суда, разослана по монастырским тюрьмам. Репрессии вызвали ответные меры. Неутомимые в пропаганде ревнители старины взялись за перья, рассылая через своих приверженцев свои писания. Духовные власти не могли справиться с этим потоком воззваний и поучений, теряли контроль над массами. Религиозное напряжение достигало черты запредельной: близился «последний» 1666 год, страшное «число зверя», сулившее приход Антихриста и конец света. Эсхатологические настроения захлестывали староверов, превращая их в носителей самых крайних и апокалиптических настроений. В своей жажде мученичества и спасения от антихристовых слуг они готовы были прибегнуть к

«запощеванию» — голодной смерти и к «огненному очищению» — самосожжению. Не случайно первые гари пришлись именно на это время. Первыми в огонь вступили чернецы-старолюбы, потом «сели в дехтярном струбе» и миряне. Изуверство еще не приняло массовый характер. Но о гарях зашептались: что могло поразить воображение больше, чем гарь и сруб? Не есть ли в этом огненном вознесении истинное искупление и спасение? И не тут ли истинная благодать, покидающая мир? Учителя раскола заполучили в свои руки страшное оружие. Оружие отчаяния отчаявшихся. И спустя десять лет они прибегнут к нему, озарив пламенем гарей весь Север страны.

Алексей Михайлович и его окружение стали склоняться к необходимости быстрых и крутых мер. На Клязьму, в Вязниковские леса, в Среднее Поволжье, в Вологодские и Костромские места были направлены команды со строгими предписаниями: выискивать и хватать проповедников, сеющих в народе смуту. Кто-то из них был выковырен из «лесных нор», схвачен, осужден и даже сожжен. Однако главным средством успокоения было признано соборное осуждение церковных мятежников.

Собор, в котором участвовали одни только русские епископы и архимандриты, работал с конца апреля до начала июля 1666 года. Несмотря на высокое положение участников в церковной иерархии, Алексей Михайлович накануне открытия беседовал с каждым из архиереев поодиночке. Затем они получали вопросы, на которые следовало ответить письменно; ответы должны были засвидетельствовать поддержку владыками церковных реформ. Ясно, что царь мог пойти на такое только потому, что испытывал сомнения в лояльности отцов собора. И его подозрения не были беспочвенны: далеко не все из епископов и архимандритов сочувствовали нововведениям. Даже настоятель его

«домашеного» Саввина монастыря Никанор, удалившись будто бы из-за телесной немощи на покой в Соловецкую обитель, встал во главе взбунтовавшейся монастырской братии и открыто отринул новые книги. Кому же тогда оставалось верить, если с ним лицемерил во всем ему обязанный человек?!

Владыки не осмелились возражать государю. По определению В. О. Ключевского, они испугались за свои кафедры: «...Все поняли, что дело не в древнем или новом благочестии, а в том, остаться ли на епископской кафедре без паствы, или пойти с паствой без кафедры»^[343]. Но на самом деле далеко не все епископы соглашались с государем из-за страха. В их среде хватало и искренних сторонников нового благочестия, и ярых противников «мятежных» протопопов, осмелившихся покушаться на авторитет епископата. Они не менее государя хотели приструнить бунтарей в рясе и унять церковную смуту.

Большинство представших перед собором расколоучителей, успевших до того вкусить увещевание, раскаялись. Некоторые даже «горько рыдали о своем согрешении» и вызывались всенародно отречься от прежних заблуждений. Устоять и вправду было трудно, если о пагубности заблуждения говорил сам Алексей Михайлович. Столкнувшись с единодушием владык, не устоял даже «столп» правоверия Иоанн Неронов. Известие о его отступничестве более всего опечалит Аввакума, брошенного в Никольском монастыре в «палатку студеную над ледником». Но для Аввакума Богу служить — о себе не «тужить». Его посещают видения — Христос и Богородица с «силами многими», наставляющие: «Не бойся, Аз есмь с тобою!»

Бесстрашный протопоп и не боялся. Он один из немногих, кто отказался оставить «древнее благочестие», за что в мае 1666 года был расстрижен,

предан проклятию и отправлен в бесконечное путешествие по монастырским узилищам. Приговор исполнялся над Аввакумом и диаконом Федором в Успенском соборе под бунташные слова осужденных. «Зело мятежно в обедню ту было», — признавался позднее расстриженный протопоп.

Впрочем, в отношении к раскаявшимся русские иерархи были непривычно мягки: скорее, их более волновало достижение «церковного благочиния» и сохранение единства, нежели категоричное осуждение старого обряда. Осуществленная Никоном правка книг признавалась правильной. Знамение советовалось трехперстное. Однако относительно старых книг не прозвучало ни проклятия, ни даже осуждения. Прежнее, при Никоне, объявление старых книг и обрядов еретическими, было тактично обойдено и забыто. Лишь громогласно упорствующим грозили сначала наказанием духовным, а затем, если и оно не образумит, — «телесным озлоблением».

Возможно, путь примирения, начертанный отцами собора, смог, если не совсем погасить, то, по крайней мере, утишить пламя разгоравшейся распри. Ведь для его одоления нужны были не только четкие и ясные вопросы, но и милосердие, увещевание и терпение. Но последнего, с появлением в Москве в связи с судом над Никоном греков, как раз и стало катастрофически не хватать. Чувствуя заинтересованность, а значит, и зависимость царской власти, греческое духовенство не упустило случая подчеркнуть свое превосходство. Для чего поспешило заговорить языком угроз и безнадежно испортило все дело.

Разумеется, было бы слишком просто обвинить в решительном разрыве одних только греков. Но ясно, что они более, чем русские участники собора, были склонны к осуждению старых обрядов и авторитетов, включая и авторитет уже более века почитаемого Стоглавого

собора. В итоге там, где требовались терапия и лекарство, засверкал хирургический нож!

По окончании суда над Никоном и избрании Иоасафа на патриарший престол русское и греческое духовенство вновь обратилось к раскольникам. По точному замечанию историка церкви А. В. Карташева, все дело старообрядческой оппозиции греками было представлено «как националистическая вражда части русских ко всему греческому»^[344]. Стараниями греков старые обряды были признаны еретическими. Их использование по неведению еще могло быть прощено. Но по «разоблачению» и соборном осуждении придерживаться обряда стало непозволительно.

Были осуждены и преданы анафеме не только старые русские обряды. Неправой была признана русская церковная старина, подкрепленная и закрепленная решениями прежних церковных соборов. Отцы Стоглава, писавшие «о знамени честного креста», о сугубой аллилуйе, с легкой руки греков, превратились в невежд: «Еже писано нерассудно простотою и невежеством»^[345]. Понятно, для чего это было сделано: в аргументации староверов ссылка на соборное освящение церковной старины была наиважнейшей.

Соборное осуждение прозвучало как пощечина. Вознегодовали все ревнители древнего благочестия. И те, кто успел покаяться и принять умеренно-примиренческую позицию русских иерархов, и те, кто этого не стал делать. Ведомый греками собор 1667 года в одночасье разрушил все то, что было достигнуто с таким трудом на прежнем соборе.

Греки торжествовали. Продиктованная ими приписка: «да творят по чину восточной церкви», появившаяся напротив многих статей соборного приговора, на самом деле вполне могла стать

эпиграфом ко всему документу. Отныне от перстосложения до покроя ряс — все надо было делать и носить по-гречески, а кто против — «да будет отлучен»!

Собор положил конец всяким надеждам на угасание церковной распри. Отлучив старообрядца, «яко еретика и непокорника», собор втянул в конфликт светскую власть. Церковь прокляла, государство — по положению и обязанности — прибегло к «градским казням», которые тотчас же в глазах народа наделили отлученных мученическими венцами. Это кинуло в объятие раскола сотни и тысячи людей. Староверы, решительно и бесповоротно порвавшие с церковью, с таким шумом хлопнули дверь, что сотряслось все здание.

Едва ли участники собора 1666-1667 годов могли предугадать ужасные последствия своих решений. Но вольно или невольно они оказались повинны в них. Повинен оказался и Алексей Михайлович. Подчеркнуто отстранившись — то дела церковные, — он, тем не менее, во многом приуготовил именно такое трагическое разрешение конфликта. Царь, столь нуждавшийся в поддержке греков в деле Никона, настолько доверился им, что поневоле придал им вес чрезвычайный. В итоге чуждое восточным архиереям дело об обряде и правке, дело по сути своей глубоко национальное, задевающее самую сердцевину русского самосознания, было отдано на их суд. Конечно, с формальной стороны русские иерархи выносили приговор вместе с греками. Но трудно было протестовать, даже высказывать какие-то сомнения, если перед началом собора Алексей Михайлович заставил всех письменно признать авторитет приехавших патриархов. А последнее слово как раз и оставалось за ними. Да и посредничали между Вселенскими владыками и русскими архиереями —

переводили с греческого на русский и с русского на греческий — те же греки: Паисий Лигарид и архимандрит Афонского Иверского монастыря Дионисий. Сочинение последнего против старообрядчества, как выяснилось по сличению текстов специалистами, легло в основу постановления собора 1667 года. При этом, разгромив невежество русских, Дионисий предложил взамен столь же произвольную и далекую от истины концепцию. «Его трактат, — замечает А. В. Карташев, — является таким же дипломом на историческое невежество, как и у его противников»^[346]. В этих условиях так и не раздались трезвые, ответственные голоса, призывающие к осторожности и умеренности. Русский епископат не решился отстаивать свой же собственный приговор, прозвучавший несколькими месяцами ранее.

Алексей же Михайлович довольствовался тем, что греки, объявив о прежнем «помрачении» московского духовенства, признали, что при нем «сия земля великороссийская просвещатися паки нача и в православие вправлятися».

Что ни говори, но Тишайший плохо выдерживал испытание лестью!

Суровые наказания последовали за соборным заклятием очень скоро. Уже в середине июля 1667 года самых упорствующих — попа Лазаря и инок Епифания, успевших до того «совершенно покаяться», а затем от того покаяния «придти в ужас», церковные власти выдали «градскому суду». В конце августа им обоим резали языки и вместе с сибирским священником Никифором и протопопом Аввакумом отправили в Пустозерск. Неистовому протопопу и здесь «повезло»: царь все еще питал слабость к красноречивому проповеднику и избавил его от клещей и топора палача.

Государь и человек

К неполным сорока годам царь Алексей Михайлович вполне преуспел на поприще государственном. Мы помним, с чего он начинал. Первые годы — почти номинальное царствование, во время которого Тишайший во всем послушно следовал за Морозовым. Но с тех пор утекло много воды. Морозов одряхлел и сошел в могилу. Царь повзрослел, возмужал. Возможно, взросление, имея в виду наклонности Тишайшего, еще больше затянулось бы, окажись рядом человек, которому он бы мог довериться с такой же, как «дядьке», безоглядностью. Тесть Илья Данилович Милославский, унаследовавший основные должности Морозова, для такой роли мало годился — корыстолюбие никак не заменяло ум. Явление Никона — лишнее подтверждение того, что молодой государь жаждал прочной опоры и пастырского наставления. Но скоро выяснилось, что Никон слишком подавляет и угнетает, чего счастливо избегал Борис Иванович, с его отеческим, хотя и не лишенным лукавства, попечением.

К тому времени, о котором идет наш разговор, с царя давно спали чары Никона. Тишайший, правда, готов был продемонстрировать уважение к патриаршему сану и явить христианское милосердие. Но он вовсе не желал возвращения Никона или возвышения владыки, ему подобного. В этом двойном отрицании — лишнее подтверждение завершения формирования личности царя Алексея. Он повзрослел как бы от противного; по складу характера ему нужен был толчок — обида, уязвленное самолюбие, подозрение в том, что ему не по силам держать яблоко царской власти (то есть державу) и скипетр.

Итак, царь предстает перед нами как сформировавшийся правитель и человек. Но много ли мы знаем о его внутреннем мире, о тех побудительных мотивах, которые толкали его к действию? Чем дышал и чем жил второй Романов? Чтобы ответить на эти вопросы, попытаемся на время оторваться от событийной истории с ее великими, не очень великими и совсем невеликими «деяниями» и окунуться в серенькую повседневность, в «трудовые» царские будни, из которых, собственно, и складывалась жизнь Алексея Михайловича. Разумеется, и ранее, в той или иной степени, приходилось говорить об этом. Но все это поневоле растворялось во множестве фактов, рассыпалось на отдельные фрагменты, из которых трудно сложить общую мозаику.

Средневековье — эпоха сословных ролей. Даже роль монарха в ней не исключение. Обрекая государя на заранее определенные поступки и предписанное поведение, эта роль была, как ни одна другая, уникальна. В этом утверждении нет противоречия. Роль монарха была особая, штучная. Типологичность в ней растворялась в индивидуальном, индивидуальное же, при определенных условиях, становилось типологичным.

Но есть ли в нашем распоряжении источники, которые позволяют более или менее полно воссоздать внутренний мир Алексея Михайловича? Для историка этот вопрос — один из самых серьезных. И дело вовсе не в том, что исследователям отечественного феодализма приходится постоянно сетовать на огромные источниковые утраты, результат которых — полные пробелов и домыслов биографические описания. Сам характер и стиль жизни в Средневековье осуждали чрезмерное проявление индивидуальности. Всякое раскрытие личности допускалось в строгих рамках статуса и чина. Конечно, особость роли монарха

вносила существенные коррективы. Однако не настолько, чтобы опровергнуть общие положения. Грубо говоря, не приходится ожидать, чтобы в голову московских правителей пришла мысль писать исповедальные дневники, повествуя о своих сомнениях и истинных мотивах поступков. Не та культура, не та эпоха.

Отечественное Средневековье не оставило нам источников, которые, по современным представлениям, позволяют лучше всего проникнуть во внутренний мир человека. Однако из этого вовсе не следует, что такая задача невыполнима. Проблема в подходе, в исследовательском инструментарии, в понимании внутреннего состояния культуры. Задача эта чрезвычайно трудная и требует от историков проникновения в семантику, в понятийный аппарат и культурные пласты изучаемого времени. При этом ясно, что сохраняются преграды неодолимые, из-за которых множество биографий останутся, строго говоря, биографиями эпох, а не людей. К этому надо быть готовыми. Однако при изучении жизни монархов и крупных государственных деятелей — теперь уже по понятным причинам — перед исследователями открываются несравненно бóльшие возможности для описания и интерпретации биографических фактов.

Особенно это верно в отношении правителей позднего Средневековья. На излете эпохи государи «позволяли» себе поступки неординарные. Они не просто правили, не просто «думали» с боярами или без них «государеву думу», миловали или казнили — они уже не сторонились пера, диктовали и писали сами. *Должное* (каким по «роли» обязан быть государь) и *сущее* (каким он оказывается по характеру, темпераменту, рождению и воспитанию) проявлялись в этих писаниях много полнее, чем в летописных и иных повествованиях. Исследователь имеет здесь дело не с

иконописным ликом, а почти с живописным портретом, скроенным из плоти и духа.

Век XVII по богатству сохранившейся источниковой базы разительно отличается от предшествующего времени. Богатство дополняется еще и непривычным разнообразием: появляются такие виды источников, которые уже по своему характеру индивидуальны. Опираясь на них, историки могут сказать, что не только в литературе XVII столетия, а и в самой жизни происходило то, что ученые назвали открытием характера.

Для изучения личности Алексея Михайловича такими источниками являются его письма и послания. Царь писал много и охотно, реализуя в своем эпистолярном творчестве не востребовавшую писательскую жилку. Благодаря этому Тишайший предстает перед нами как бы в подлиннике, со своими взглядами, настроениями, чувствами. Письма позволяют нам узнать не только то, о чем думал Алексей Михайлович, но и *как* думал, поскольку именно они лучше всего доносят до нас стиль мышления и изложения царя, а значит, — его индивидуальность.

Письма писались или диктовались Тишайшим по разным поводам. Есть такие, которые удивляют своей задушевностью и откровенностью. Именно в таких «неофициальных» письмах наиболее полно раскрываются личностные черты Алексея Михайловича, мир его страхов и радостей. Немало писем и деловых, официальных. Однако для всех свойствен единый, очень характерный стиль и слог. Этот слог во многих случаях позволяет безошибочно определить авторство — ведь написанные царем указы непривычно эмоциональны и образны. Благодаря письмам можно даже уловить изменения в состоянии Тишайшего и избежать опасности оказаться в плену какого-то одного предвзятого мнения, обязанного своему появлению

даже не мимолетному настроению царя, а просто случаю, сохранившему именно этот документ и именно это настроение.

Внутренний мир Алексея Михайловича прежде всего — это мир глубоко верующего православного человека. Но сказать так — значит почти ничего не сказать. Царь был не просто верующим человеком. Он жил и дышал верой. В его набожности не было ни грамма лицемерия. Так, бесхитростно, всем сердцем, должно быть, верили на Руси ее святители и подвижники. Да Тишайший и сам, со своим душевным настроем и религиозным пылом, мог стать одним из таких подвижников, не определили ему судьба иной путь.

Впрочем, для Алексея Михайловича судьба была всегда Провидением, и свой жребий он воспринял как приуготовленное Богом испытание. Для него царское служение было сродни ответственному и суровому служению святительскому. Он всегда помнил о том, что монарх призван охранять и строить Православное царство, весь смысл которого — путь к Царству Небесному.

Понятно, что само наставление на такое служение для человека того времени есть знак избранности. Но Алексей Михайлович был слишком православным человеком, чтобы не устрашиться подобной мысли и впасть в гордость избранного Божьей благодатью. Главная добродетель православных государей, о которой ему неустанно напоминали ревнители, — иметь в душе страх Божий — это и его добродетель. Он постоянно думает и помнит о своем долге. Укрепить царство и защитить веру, утишить «многи скорби праведных» ему надо не для обретения увядающей славы земного правителя, а для собственного спасения, ибо «широким бо путем вводится душа грешных во врата лютого ада и узким душа праведных во врата в Царство Небесное». В минуты откровения царь писал

Ордину-Нащокину: «Добиваюсь... чтобы быть не солнцем великим, а хотя бы малым светилом, малою звездой там, а не здесь».

Какие простые и бесхитростные строки, какое искреннее смирение! «Хотя бы малою звездой там, а не здесь»... В иерархии ценностей средневекового человека смирение — христианская добродетель высшей пробы. Но много ли правителей смогли устоять перед соблазнами и не впасть в «грех властолюбия»? Тишайший устоял, оставив современникам и потомкам образ кроткого и почти идеального православного государя. «...Русские его почти обожествляют...» — замечали иностранные наблюдатели^[347].

Разумеется, с современной точки зрения далеко не все поступки второго Романова безупречны. Не говоря уже о традициях советской историографии, ставившей в «вину» второму Романову расправу над участниками городских восстаний или выступления Степана Разина. Однако чаще всего подобные упреки имеют мало общего с реальной историей. Если кому и придет охота «судить» Тишайшего, то следует делать это, исходя из представления о «должном», которое существовало в его время. А в таком случае придется признать, что в Алексее Михайловиче неусыпно бодрствовал тот самый «внутренний цензор», который в просторечии называется совестью, а при обращении к истории — приверженностью к установленному закону и нравственным нормам.

Переходный характер эпохи, казалось, должен был внести в мировоззрение и мировосприятие Тишайшего двойственность и противоречивость. Ничего этого нет. Или почти нет. Культурный разлом лишь отчасти затронул Тишайшего. Его мир — это еще не расколотый и не утративший своей цельности старорусский мир. Несокрушимая вера Алексея Михайловича

«перемалывает» все новации, «вставляя» их, как картину в раму, в привычный образ мира. Новые понятия и впечатления почти всегда осмысливались и воспринимались царем в пределах традиции. Иное же, не поддающееся переосмыслению, просто отторгалось. Если Алексей Михайлович и был подвержен рефлексии, то шло это скорее не от надломленного эпохой сознания, а от неуверенности в собственных силах, из-за страха не соответствовать царскому предназначению.

Вера Алексея Михайловича была очень теплой и непосредственной. Даже расхожая тема греха под его пером утрачивала свою отчуждающую этикетность. Обрушиваясь с упреками на нерадивых воевод, Алексей Михайлович грозит им страшными муками в аду, причем ад для царя — не холодная храмовая роспись, а всамделишная мука вечная неприкаянной, заблудшей души. Благочестивому царю искренне жаль виновника, теряющего через свое нерадение путь к спасению, и он, распекая его, вопиет: опомнись, покайся, покорись... «Не люто есть вспотыкатца, люто есть вспоткнувся не поднятца или угрызнувся не умытца», — писал Тишайший Матвееву, имея в виду в перефразе Иоанна Златоуста, конечно же, душевное возрождение и покаяние [\[348\]](#).

Взгляд на свое царское служение, как служение Богу, делало для Алексея Михайловича всякое непослушание и нерадение тяжким грехом. Вот почему в его грамотах угроза царского наказания непременно соседствует с напоминанием о наказании Божьем. При этом царское наказание для Алексея Михайловича — чуть ли не средство спасения, способ образумить и наставить на путь истинный провинившегося. Не случайно, сталкиваясь со случаями «злостного» ослушания, царь публично отказывался наказывать

виновного, отнимал от него руки: теперь того уже ничто не исправит и не спасет в ответе перед самим Богом.

С детства усвоенная мысль о священном характере царской власти оборачивалась для Алексея Михайловича множеством вопросов, на которые никто, кроме него самого, не мог дать ответ. Иные из них оказывались чрезвычайно трудными, почти мучительными, но все же разрешимыми; на другие второй Романов так и не нашел ответа, спрятавшись за традиционные толкования, неполнота которых была уже очевидна для него самого. То было, если разобраться, обыкновенное бегство от действительности. Однако само «бегство», как это ни парадоксально, можно ставить в заслугу Алексею Михайловичу. Произойти такое могло из-за искренней религиозности царя, пытавшегося взвешивать свои поступки и поступки подданных на весах нравственности. Это было стремление во всем следовать Правде. При этом для царя религиозно-нравственные принципы не были просто обязательными формулами. Присказка «как, господине, без опасу жить, всегда надобе береженье», — была для него бесхитростным напоминанием того, что во всем, везде и всегда следует помнить о присутствии Бога.

Самое простое было воспринимать царское дело как Божье дело. Тем более что с XVI столетия льстивые греческие иерархи обращались к московским правителям «по чину царскому, как заступившему место Божия на земле»^[349]. Евангелическое «царево сердце в руке Божией» разрешало многие сомнения и жизненные противоречия. В повседневных делах Алексей Михайлович вполне освоился с подобным взглядом на собственные решения и поступки. И в его писаниях царское дело — Божье дело. «Иду на Божью службу», «мы на Божьей службе», — роняет он в

письмах родным. «Повелением всесильного, и великого, и бессмертного и милостивого Царя царем и Государя государем и всех всяких сил повелителя Господа нашего Иисуса писал сие письмо многогрешный царь Алексей рукою своею», — гордо провозглашает он, окончательно уверовавший в то, что его устами изрекается Божественная воля^[350]. Чувствуется, что здесь — отражение целого мировоззрения, твердого убеждения в высоком предназначении.

В понимании Алексея Михайловича Бог проявляет себя во всех его, царя, решениях, пускай даже самых незначительных. Порой дело доходило до смешного. В 1664 году, оценивая очередные предложения Ордина-Нащокина относительно перемирных статей с поляками, Алексей Михайлович сообщал: «Статьи прочтены и зело благополучны и угодны Богу на небесех, а от создания руку его и нам грешным». Далее, однако, оказывается, что есть исключения. Выясняется, что негодна Богу и «нам грешным», статья 33-я, которую, ссылаясь на Божью волю, приказано «вынять»^[351].

По убеждению Тишайшего, в основе порядка лежит необходимость добровольного и сознательного послушания. Через послушание реализуется Божественная и царская воля. При этом сама «реализация» оказывалась в прямой связи с личностью государя. Иван Грозный, в приступах деспотического изуверства творивший Страшный суд на земле, не сомневался в этом своем праве. Потом, правда, он каялся, но лишь для того, чтобы в последующем с новым усердием приняться за старое.

В деятельности Алексея Михайловича богоизбранность получала иное осмысление. Также ратуя за полное послушание, второй Романов жаждет послушания добровольного, послушания в любви, не за

страх человеческий, а за страх Божий. Отсюда и постоянный рефрен его грамоток: служить всем сердцем, с любовью. Наказание для него — мера тягостная и вынужденная, «покамест навыкнут иметь страх Божий». Такая мотивация заставляет несколько иначе взглянуть на уже не раз отмеченное стремление царя к учительству, его пристрастие к шумным угрозам, заканчивающимся прозаическим прощением и слезами облегчения. Это шло не от одного благодушия. Здесь основа мировоззренческая. «Кроткий и милостивый, он (Алексей Михайлович. — *И.А.*) лучше хочет, чтобы не делали преступлений, нежели имеет дух за них наказывать», — заметил по этому поводу Мейерберг^[352].

Впрочем, у нас есть свидетельство более авторитетное — самого царя. «Рабе Божий, — писал он в 1659 году боярину князю Ю. А. Долгорукому, — уповай, дерзай о имени Божии, устроясь ратным делом и смиренным сердцем, а к ратным буди любовен и к бедным милостив и нищелюб. Во истинну за то тебе от Спаса нашего устроятся вся благая в роды и роды. Аминь»^[353].

Та социальная заданность, которая после Смуты буквально пронизала атмосферу эпохи, нашла свое олицетворение в Алексее Михайловиче с полнотой прямо-таки устрашающей. Царь был живым воплощением идеального сакрального государя-отца, радеющего о процветании богоспасаемого Православного царства. Несмотря на то, что на годы правления второго Романова пришлись многочисленные народные выступления — а может быть, именно благодаря этому, — мечта о достижении социального мира вновь приобрела в глазах людей свою особую привлекательность.

Тишайший — не исключение. Для него каждое из сословий должно было строго исполнять предназначенное, не роптать и не покушаться на права других чинов. Так установлено Богом. Так закреплено царскими законами, прописанными на основании высших установлений. В основе общественного устройства лежит чин и порядок — общественное «устроение». Собственно, «устроение» и есть чин, воплощенный в строгое чиноповедение. Возможные же перемены определены мерой, имеющей свои пределы. Для человека Средневековья, каким был Алексей Михайлович, мера, чин, «устроение» — категории сакральные. Впрочем, основополагающий характер этих категорий не мешал царю превращать их еще и в категории эстетические. Это особенно ощутимо в знаменитом охотничьем Уряднике Алексея Михайловича. Именно там мы находим удивительную философию эстетического мироустройства, распространяемую Тишайшим равно и на вещи, и на людей.

«По его государеву указу никакой бы вещи без благочиния и без устроения уряженого и удивительного не было, и чтоб всякой вещи честь, и чин, и образец писанием предложен был. Потому, хотя мала вещь, а будет *по чину честна, мерна, стройна, благочинна* — никто же зазрит, никто же похулит, всякой... удивитца, что и в малой вещи *честь, и чин, и образец положен по мере*. А честь и чин и образец... учинен потому: честь укрепляет и возвышает ум, чин управляет и укрепляет крепость, урядство же уставляет и объявляет красоту и удивление, стройство же предлагает дело. Без чести... не славитца ум, без чину же всякая вещь не утвердитца... безстройство же теряет дело и воставляет безделье...

Что всякой вещи потреба? Мерение, сличив (то есть определение соответствия образцу. — И.А.),

составление, укрепление; потому в ней или около ее: благочиние, устройство, уряжение. Всякая же вещь без добрых меры и иных вышеписанных вещей безделна суть и не может составитца и укрепитца»^[354].

Здесь круг замыкается. По твердому убеждению царя, ничто без «чина» не может «утвердитца», «объявить» свою красоту («уряжение») и «честь». Но сам «чин» и «честь» должны быть «положены» по соответствующему «образцу», по «естеству» — «мере»; без «меры» и «чина» не может быть «чести»; в «мерности» «чина» и «чести» — красота. Но «мера», «чин», «честь» и «образец» могут проявиться только через «стройство» — действие. В тексте Урядника все эти понятия наделены сильным эмоциональным содержанием и несут, по сути, смысл онтологический.

Важно, однако, подчеркнуть, что царь уже допускает вмешательство в смысл понятий даже тогда, когда, казалось, это было недопустимо. Ведь человеку, по тогдашним представлениям, по силам лишь *выявление* меры, а не ее *изменение*. Но в том-то и выражается переходный характер эпохи, что в практическом смысле происходит изменение «мер» — ценностных ориентаций. И право на их изменение, которое понимается как правильное толкование, присваивает себе Алексей Михайлович. В исторической перспективе это — мостик в будущее, в область перемен.

По своему складу Алексей Михайлович был склонен к созерцанию. Но долг обязывал, и ежедневные «упражнения» в государственных делах превращали его в деятельного человека. В этом он, конечно, сильно уступал своему сыну. Однако если обратить взор не вперед, а назад, то надо признать, что второй Романов столь же далеко ушел от своего отца, как от него — его самый младший сын.

Для нас, однако, важно рассмотреть, на что были направлены усилия Алексея Михайловича. Практический настрой Тишайшего угасал, когда ему приходилось сталкиваться со старыми, табуированными ценностями — ценностями государственного устройства, управления, общения с подданными и т. д. Царь подозрительно относился ко всему новому. Человек переходного времени, он обыкновенно искал образец и авторитетное мнение, на которое можно было опереться.

Умственная свобода также отпугивала царя. Это хорошо видно по тем упрекам, какие он адресовал чрезмерно самостоятельному Ордину-Нащокину. Для него такой тип мышления предосудителен. В нем — пренебрежение чином и мерой. Сам крепко стоявший на земле, царь так до конца и не понял, что Ордин, при всех своих новациях, никогда не отрывался от почвы и был, что называется, «себе на уме». Но эмоции всегда захлестывали Тишайшего и, испугавшись или рассердившись, он уже не был способен к глубокому и сосредоточенному размышлению. Да и новаторство Ордина нередко ставило под сомнения традиционные ценности, то есть оказывалось за чертой, через которую второй Романов не решался переступить.

В связи с этим возникает важный вопрос: в какой мере можно говорить о «западничестве» Алексея Михайловича?

Здесь ключ к ответу — все те же ценностные приоритеты Тишайшего. Все новое, позаимствованное на Западе, Алексей Михайлович пропускал через сито традиционных ценностей. Любое заимствование для него было не просто приобретением неких вещей. Все они или почти все так или иначе несли с собой новые смыслы. И смыслы эти обязательно соотносились со старыми «текстами». При этом если что-то смущало Алексея Михайловича и его окружение, то новое почти

всегда надо было приспособить, приноровить, обрядить в «старое». Так что царь действительно никогда не переступал через черту традиционного, а просто... отодвигал ее. В конечном итоге это приведет к разрушению многих старорусских смыслов и «текстов», оказавшихся просто несовместимыми с новым типом культуры и мышления.

Но это произойдет позднее. И позднее будет осознано. Алексей Михайлович, ум которого не отличался проницательностью, а интуиция — предчувствием, равным гениальным предчувствиям-прозрениям протопопа Аввакума, конечно же, не мог преугадать подобные последствия. Он был твердо уверен, что каждым своим словом и поступком возводит величественное здание благочестивого Православного царства.

В итоге даже «латынские языцы» и «латинская ученость», которые в сознании ортодоксально настроенных русских прочно ассоциировались с отвержением веры, уже не пугали Алексея Михайловича. Он общается с Лигаридом, который открыто относил к своим достоинствам любовь к наукам: «Называют меня латиномысленным и еретиком, но я латинским повелениям не повинуюсь, общего у меня с латинами — одна наука...» Совсем недавно подобное признание могло обернуться для восточного владыки заключением в монастырь. Царь же советуется с Паисием и превозносит его ученость.

Восприятие вторым Романовым новшеств очень показательно на примере «постановки» балета «Орфей». Я. Рейтенфельс писал, что царь, узнав об играх и танцах, какие бывают при дворах для развлечения властителей, приказал «поставить какую-то французскую пляску». «Сладили» балет за семь дней. Алексей Михайлович, правда, первоначально хотел обойтись вообще без музыки, поскольку

признавал за музыку лишь духовные песнопения. Но после уговоров и заверений, что «французская пляска» без музыкального сопровождения не «пляска», сдался. Любопытны аргументы, с помощью которых удалось уговорить второго Романова (среди тех, кто приводил их, — царский духовник, протопоп Андрей Савин). Это, во-первых, ссылка на византийских цезарей, во-вторых, на современников Алексея Михайловича, европейских монархов, свидетелей подобных зрелищ. Первое объяснение «тешило» православное сознание — раз музыка звучала при дворе византийских цезарей, то, следовательно, не зазорна она и при дворе их наследников; второе объяснение, затушевывая вероисповедальные различия, выдвигало на первый план монаршую «солидарность». Быть «не хуже» — уже весомый аргумент в глазах царя. В наказе посланному за границу Гебдону (1658 год) он требовал, к примеру, достать «кружив, в каких ходит шпанский корол». Примечательно, что на этой строке Алексей Михайлович споткнулся: а почему только испанский? И приписал сверху: «и французской и цесарь»^[355]. В приписке почти подсознательно отразилось иерархическое восприятие европейских монархов — другие монархи не упомянуты, мимолетно исчислены самые главные, в «чести» которым ни в чем уступать нельзя.

На «западничество» Алексея Михайловича наложились впечатления, рожденные его пребыванием в Речи Посполитой — в Вильно, Ковно, Гродно, Полоцке, а также и под Ригой. Несомненно, все увиденное во время военного похода было так непохоже на Московию, что должно было дать обильную пищу для сравнений и размышлений. Но должно не значит дало. В письмах домой царь почти ничего не говорит об увиденном. Редкие эмоциональные всплески, которые проскальзывают в них, больше связаны с военными

действиями. Ясно, что Белоруссия и Литва, находившиеся под влиянием польской культуры, не заморозили его, как заморозили через сорок лет с небольшим его сына Петра Германия, Голландия и Англия. Алексей Михайлович «устоял» и возвратился в Москву без намерения рушить «варварские» обычаи предков. Однако он вовсе не собирался оставлять все по-прежнему.

После царских походов середины 50-х годов объем культурного и обиходного заимствования, несомненно, возрастает. Особенно в придворном обиходе. Первыми на это обратили внимание иностранцы. По их утверждению, после того как царь познакомился с обычаями и домами богатых шляхтичей, «двор его сделался более роскошным».

Руками западноевропейских и вывезенных из присоединенных областей польских, украинских и белорусских мастеров в Москве строятся новые и переделываются старые царские и боярские хоромы. Происходят перемены в интерьерах и обстановке, меняется круг повседневных вещей, мода. Вкусы и пристрастия утрачивают прежнюю простоту, а подражание уже не воспринимается как утрата самого себя. Эта привычка к подражанию, перед которой не устоял и Алексей Михайлович, сама по себе очень показательна. Ведь с ней оказалось связанным постепенно проникающее в элиту стремление к переменам.

Напор с «запада» временами становился столь сильным, что светская и церковная власти пытались поставить на его пути преграды. Царскими указами осуждается польская манера стричь волосы и бороду. Запрещено иконописание на живописный манер. Алексей Михайлович, безусловно, в лагере тех, кто негодует по поводу подобных новшеств. Но поощряется «старорусская простота» преимущественно в делах

духовных. Устоять же перед бытовыми новшествами царь уже не в силах. Они не просто удобны, они ему нравятся.

В одном из наказов Гебдону сохранились собственноручные приписки Алексея Михайловича, неудовлетворенного тем списком, который приготовили подьячие Тайного приказа. Царь обязывал своего агента приобрести среди прочих вещей «зеркал болших хоромных». Деталь примечательная: первые зеркала на Руси — предмет чисто утилитарный: посмотреться — и только. Их не выставляли напоказ и занавешивали, как икону, или устраивали «затворы», как на дорожном киоте. Но большие «хоромные зеркала» уже не закроешь. Они уже часть интерьера царского дворца, признак элитарности. Так что за царским капризом кроется свидетельство наметившихся перемен в понимании того, что достойно государя и его окружения, а что нет.

«Западничество» царя поверхностно и временами похоже на легкое недомогание. Отчасти в этом повинна сама эпоха: приветствовались не смелость, а умеренность, даже осторожность: в несомненно менявшемся мире все следовало опробовать, взвесить и соотнести с православными ценностями. Для такой цели нужен был не столько критический ум, сколько развитое нравственное чувство. Совесть Алексея Михайловича оставалась спокойной, и если он и пребывал в неустойчивом положении на границе между Средневековьем и Новым временем (определение В. О. Ключевского), то сам этого не замечал. Тем не менее именно в его царствование началось стремительное нарастание культурной массы, которая, дойдя до критического состояния, взорвется петровской модернизацией.

Свою богоизбранность Тишайший осмысливал прежде всего как ответственность за судьбу царства перед Богом. В представлении Алексея Михайловича подобную ответственность несли все помазанники. Оттого он готов был декларировать свою солидарность со всеми монархами мира. Время царствования второго Романова совпало с драматическими событиями в Англии. Казнь Карла I вызвала у Алексея Михайловича бурю возмущения. Царь, правда, не улегся с горя в постель, как это сделала получившая известие о смерти Людовика XVI Екатерина Великая сто с лишним лет спустя. Но градусы кипения были запредельные. Возмущение подогревали воспоминания о картинах недавнего народного буйства, не утративших еще в памяти второго Романова яркости красок. Англичане, члены Московской торговой компании, выставленные конкурентами горячими сторонниками мятежного парламента, были изгнаны из страны. Пока Карл II, сын казненного короля, пребывал в изгнании, Алексей Михайлович посылал ему деньги, а также передавал самые нежные пожелания «безутешной вдове достославного мученика, короля Карла I»^[356].

Интересно, что в архиве Тайного приказа хранился перевод «с печатного листа» о казни английского короля. По-видимому, сделано это было специально для Алексея Михайловича, которому чрезвычайно любопытно было знать, как вел себя король в последние часы жизни. Карл — должно быть, к большому удовлетворению царя (впрочем, едва ли иное было бы переведено) — умер образцово, как настоящий христианин и государь. Он простил вину своим подданным, которые «с прямого пути заблудились». Уже у плахи Карл пророчествовал: «...А если будете так жить как ныне злыми своими вымыслы, и Господь Бог за то вам не подаст милости своей и щастия». Причина

немилости — что с королем «разошлись». Разошлись же потому, что король не мог и не желал дать своим подданным «чрезмерную волю» (но подал бы — «и яз бы никогда к сей плахе приведен не был», — размышляет король). Алексей Михайлович был абсолютно согласен с Карлом: чрезмерная воля и на Руси пагубна и приводит к непослушанию и смуте.

Описание содержит драматические детали: король-мученик спрятал волосы под шапку, затем объявил, что оставляет «сию тленную корону» ради обретения «нетленного венца» от Бога за правду. Можно догадываться, как много находил во всех этих мелочах Алексей Михайлович для себя важного и интересного! [\[357\]](#)

Богоизбранность осознавалась Алексеем Михайловичем не только как право на неограниченную власть, но и как обязанность творить всегда и во всем справедливый суд и расправу. Тишайший — человек долга. И хотя понимание им этого долга еще сильно отлично от «секуляризованного» петровского, в истовости отца и сына можно найти много общего.

Алексей Михайлович — труженик, «люботрудник», в том смысле, в каком об этом можно говорить применительно к Средневековью с его бесконечными придворными и церковными церемониями. Правда, в начале царствования нередко звучали жалобы ревнителей на то, что любивший потешиться молодой государь сознательно устранился от дел. Позднее приступы «охотничьей горячки» также иногда приводили к застою в делах: «Их царское величество совершенно редко заседают, если не приходят чрезвычайные послы или гонцы», — жаловались иноземцы [\[358\]](#). И все же, взрослея, Алексей Михайлович все более втягивался в управление государством, постепенно овладевая этим трудным искусством.

Следы напряженной работы Алексея Михайловича разнообразны. Множество документов содержат на полях его пометки и распоряжения. Выведенные торопливым и несколько отрывистым почерком пометки: «справитца», «подумать», «ведомо», «отписать» — слабые следы той напряженной работы, которая происходила в голове царя при чтении бумаг. Причем перед нами не отписки, за которыми кроется потаенное желание поскорее избавиться от досадливых дел. Царь в самом деле справлялся, уточнял, советовался.

Яркая стилистика государя угадывается в указах, несомненно им продиктованных, а быть может, и собственноручно написанных. Чего стоит, к примеру, отповедь из Тайного приказа Дорогобужскому воеводе, который сообщил в Москву о внезапном отъезде торговых людей: те, мол, не желая продавать соль, заперли склады да и отправились восвояси. Последовала гневная тирада «с осудом»: «так пишут дураки, а не воеводы», и поучение, как должно писать: кто уехал, почему и отчего он, воевода, их отпустил? За всем этим легко угадывается раздражение самого Алексея Михайловича, не упустившего случая поворчать и поучить.

Самая распространенная помета на документах — «чтена», свидетельствующая об изустном способе знакомства царя с большинством дел. Иногда она даже получает расшифровку, свидетельствующую о реакции Тишайшего. Вот один из таких примеров: в 1656 году воевода М. Шаховской на дворе у Радзивиллов откопал две пушки, о чем немедленно — за такое только похвалят — отписал в приказ. На отписке появилась резолюция: «Государь сей отписки слушав, указал отписать: то ведомо, и то учинил добро»^[359]. Пометка «чтена» появлялась в результате совместного слушания

дел государя с боярами во время заседания думы или докладов дьяков в кабинете Алексея Михайловича.

Алексей Михайлович знакомился с бумагами не только в комфортных помещениях царского дворца. У него вошло в привычку решать дела в церкви. Архивы сохранили несколько таких дел с пометами: «Писано в церкви», «Писана сия припись на всеношной у Пресвятая Богородицы... во время едва воспели первый припев». Практика получила столь широкое распространение, что не ускользнула от внимания иностранцев. Коллинс, несомненно преувеличивая, даже написал, что «почти всегда император занимается делами в церкви»^[360].

Иноземцам же принадлежит сообщение о склонности царя работать по ночам: «Царь по ночам осматривает протоколы своих дьяков. Он проверяет, какие решения состоялись и на какие челобитные не дано ответа»^[361]. Трудно сказать, сколь долго по ночам в кабинете Алексея Михайловича горели свечи. Но вот то, что он старался проверить исполнение указов и распоряжений, — факт. Собственно, из этого стремления отчасти и вырос знаменитый Тайный приказ.

В приказных столбцах нередко встречаются пометки о пересылке грамот, воеводских отписок, статейных списков вслед отправившемуся в богомольный поход государю. Эта пересылка — одна из обязанностей оставленной на Москве боярской комиссии. Думные люди вскрывали бумаги, прочитывали их и отправляли с гонцом вдогонку за царем. Из похода бумаги возвращались с пометками, иногда короткими, иногда чрезвычайно пространными. Нередко прямо с дороги к воеводам и приказным отправлялись гонцы с царским приговором. Иными словами, Тишайшему приходилось работать на станах, а иногда прямо в пути.

Царь стремился решать дела быстро и потому требовал присылать ему информацию правдивую и своевременную. Особенно это касалось тех случаев, когда посланный им человек выполнял особое задание. Здесь уж непременно в наказе появлялось требование «писать великому государю почасту», «наспех», не дожидаясь оказии, а со специальными «гонцы». Неаккуратность в донесениях могла обернуться серьезными неприятностями даже для человека родовитого. В апреле 1655 года царь выговорил Я. К. Черкасскому за промедление: «Страдник, худяк, ни к чему не надобен, не пишешь ни одной строки, отведаешь, как приедешь и увидишь наши очи, мы тебя, страдника, не велим и в город пустить»^[362].

Упреки за промедление сыпались и на Ю. А. Долгорукого, причем в них ощутима еще и обида — мол, я к тебе всей душой, а ты как? «Если б не жалуючи, — пишет Тишайший, — и я бы с тобою Спасова образа не отпускал, и ты за мою, просто молвить, милость и всю любовь ни единые строки не писывал ни о чем»^[363].

Что уж тут говорить о людях незначительных? В апреле 1655 года царь сделал выговор Ивану Шарапову за то, что тот, «враг злодей окаянной, к нам не писывал ничево». Царь прибегнул и к более крепкому выражению, чем просто «окаянной злодей». Однако передумал и зачеркнул его. Между тем речь шла не о военных действиях, а о происходящем на сокольничьем дворе^[364].

Трудно перечислить дела, которые попадали в фокус внимания Тишайшего. Самодержавная власть оказывалась чрезвычайно тяжелой ношей для монарха, в ведении которого находилось все, что доходило до него через сито приказов и администраторов. Текучка была огромной и по большей части утомительно

однообразной. Впрочем, попадались дела, вносящие приятное разнообразие. Царь, к примеру, любил знакомиться с посольскими дарами. Но не из-за алчности, и даже не из-за любопытства, хотя, последнее, безусловно присутствовало. Царь соотносил цену подарка со своей «государской честью», заботясь о том, чтобы ей не было нанесено никакого «урона». Ведь царская честь — честь всего государства.

Столь же дотошен был царь в своих посылках иностранным государям, особенно если дары — охотничьи птицы. Так, просматривая список подарков английскому королю, Тишайший ставил крестики напротив того, что следовало посылать. Однако список и после уточнения не устроил царя, и он вписал новые подношения, среди которых оказалось семь кречетов и два «сокола летных, ястреба»^[365].

Даже посольские приемы, отводившие царю по большей части чисто представительскую роль, не становились для Алексея Михайловича пустой формальностью. Царь внимательно наблюдал за послами и слушал их речи. Разумеется, он был прекрасно осведомлен, что все дела решаются после официальной аудиенции, за столом переговоров. Больше того, из записок иностранцев известно, что переговоры часто прерывались по инициативе русской стороны — царские дипломаты, не смея сразу ответить на то или иное предложение, тут же отправлялись за инструкциями прямо к государю. Но и посольским встречам Тишайший придавал большое значение, пытаясь, по-видимому, составить собственное впечатление о послах и их подлинных намерениях.

Витсен рассказывал, что Алексей Михайлович по окончании приема прислал к ним пристава с требованием разъяснить, что значит фраза из приветственной речи посла: «Русские скоро увидят, что

это за голландцы». Послу пришлось оправдываться: у него де и в голове не было угрожать его царскому величеству. Имелась же в виду война с Англией, во время которой Соединенные провинции намерены продемонстрировать мощь своего флота^[366].

Государственная рутина была удручающе скучна. По тому, с какой быстротой Алексей Михайлович убегал из Кремлевских палат в загородные дворцы, как по несколько раз на день выезжал на охоту в поле, чувствуется, что иной раз «государево дело» надоедало ему до смерти. Но были среди государственных дел у Тишайшего дела любимые, от которых он не уставал никогда. К ним, несомненно, относились дела военные. В контексте «царского служения» они самые что ни на есть царские. Вопреки представлениям, связанным с эпитетом Тишайший, Алексей Михайлович очень часто был одержим воинственным духом.

Нам мало что известно о военных познаниях Алексея Михайловича. Понятно, что о серьезном военном образовании говорить не приходится, хотя кое-кто из иностранных наблюдателей осмелился писать: «В военном деле он сведущ и неустрашим»^[367]. Первые сведения о военном деле он мог почерпнуть, будучи еще царевичем, из своего общения с окружением. Но, перебирая состав этого окружения, мы едва ли можем назвать хоть кого-нибудь, кто обладал солидным военным опытом. Первый «дядька», боярин Б. И. Морозов, на воеводские должности назначался редко, да и по складу своему был скорее администратором. Он мог поддержать воинственные наклонности своего воспитанника, заполнить его терем потешным оружием и доспехами, но не более. Об учителях-дьяках, завсегдадаях приказных изб, говорить не приходится. Даже если они и были, как Львов, выходцами из служилых людей.

Свои познания в военном деле Алексей Михайлович черпал из самых разных источников. Первая «школа» здесь — обсуждение с думными людьми военных вопросов. Сюда же можно прибавить донесения воевод и начальных людей с описанием боев и осад, которые царь не оставлял без внимания. Еще один, едва ли не самый главный источник, — сведения, почерпнутые из переводной военной литературы и общения с иностранцами. В 1658 году царь наказывал Гебдону привезти «Книгу ратную», которая должна была, по разумению царя, осветить по крайней мере четыре проблемы: организацию и деятельность военных судов, оборону и осаду городов, организацию артиллерии и снабжения — «образцов обозов мудрых и осторожных как ставить». При этом Тишайший потребовал, чтобы все было «в лицах», то есть сопровождалось схемами и картинками. Отметим, что востребуемое царем — свидетельство того, что он был хорошо осведомлен о первейших нуждах армии. И пытался их удовлетворить, опираясь на европейский опыт.

В целом военные познания царя носили умозрительный, книжный характер. Правда, за плечами Алексея Михайловича было участие в трех кампаниях, во время которых царь живо интересовался всеми перипетиями военных действий. Но все же это был по преимуществу взгляд на войну со стороны. Достаточно вспомнить царское описание неудачного штурма Смоленска, чтобы убедиться в этом. Так что приобретенный опыт был минимальный и скорее имел отношение к вопросам снабжения и организации войска, чем к стратегии и тактике.

Конечно, в книжности Алексея Михайловича не было ничего постыдного. Едва ли при его характере и его понимании должно стоило ждать чего-то иного. Естественно и обращение к «немцу». С устройением собственных ратей на западный манер наступал период

ученичества, когда «немец» воспринимался как безусловный авторитет, а переведенная западноевропейская книга как неисчерпаемый клад премудрости.

Алексея Михайловича трудно представить в гуще сражения, под ружейным и артиллерийским обстрелом. Там, где его младший сын, не утерпев, кинулся бы в самое пекло, Тишайший оставался наблюдателем. Конечно, нетерпение и горячность Петра для государственного деятеля столь же неуместны, как и созерцательность Тишайшего. Но они, по крайней мере, обогатили Петра бесценным опытом. Он не по книжкам знал, что хорошо и что плохо, и приобрел ту необходимую долю критичности, которая обращает заимствование в творчество. Второму Романову здесь не хватало страсти и страстности.

Созерцательность Алексея Михайловича — не от трусости. Правда, у нас немного данных, позволяющих судить о поведении второго Романова в минуту опасности. В июне 1648 года, оказавшись лицом к лицу с восставшими, которые ему лично ничем не угрожали, он, несомненно, испугался. За себя ли или за «дядьку» Бориса Ивановича, но — испугался. Однако для нас интересен не испуг, а преодоление этого испуга. В 1648 году царь выпутался с ущербом для себя: вымолил, выклянчил, выплакал Морозова. Зато в 1662 году, во время Медного бунта, он поведет себя уже совсем иначе: не спасует в разговоре и с истинно восточным коварством будет тянуть время, чтобы затем, по приходе войска, жестоко расправиться с москвичами. Вот, кажется, и все известные примеры, не считая случаев на охоте, потребовавшие от Алексея Михайловича храбрости. Получается, что не трус, может овладеть собой, но опасности не ищет.

Поведение Алексея Михайловича на войне определялось его пониманием достоинства царского

сана. Он вел себя, как ему должно было вести, или, точнее, как им понималось это должное. Царь отправлялся в походы, но только в походы судьбоносные, значимые. Он не участвовал в боях — не царское то дело, но руководил с ближними людьми всем ходом войны и поучал всех без исключения воевод: то дело было как раз его, царское.

Такая модель поведения по-разному сказывалась на ходе военных действий.

Несомненно, что неустанное стремление Алексея Михайловича указывать и контролировать сильно сковывало воевод. Безынициативным, но зато послушным воеводам легче прощались поражения, чем инициативным и склонным к самостоятельности. Тут уж отповедь следовала чрезвычайно суровая, с непременным упоминанием о «непослушании». Между тем потребность в инициативе была огромная — ведь все невозможно было предусмотреть в самом пространном наказе! Для того же Ордина-Нащокина иной наказ был хуже оков — самому и шагу не ступить, а пока с Москвою сошлешься, время оказывалось упущенным. Оттого Афанасий Лаврентьевич ратовал «не во всем дожидаться государева указа: где глаз видит и ухо слышит, тут и надо промысел держать неотложно».

Алексей Михайлович был достаточно прозорлив, чтобы понять правоту Ордина. Необходимость большей самостоятельности им осознавалась. Во многих наказах читаем призыв-разрешение: «Чинить промысл со всяким раденьем, сколько милосердный Бог помощи подаст», что означало: больших отрядов неприятеля «остерегаться» и биться с ними «со всякую осторожностью и с крепостью, смотря по тамошнему делу, и что учинитца, о том писать к великому государю»^[368].

Больше того, в стратегическом плане в этом направлении был сделан важный шаг. Начав войну с Польшей по старинке, с привычным делением полков, правительство в последующем оперировало полками-разрядами, то есть повело военные действия армиями по направлениям. Но новая система так и не была дополнена решительной переменной в положении воевод, которые по-прежнему оставались ограничены в своих правах. Для решительного изменения положения нужна была не просто смелость в доверии к людям, но смелость в преодолении старых принципов. К этому Алексей Михайлович еще не был готов. Да что Алексей Михайлович! Не было готово само время. Так что не стоит удивляться, что для Тишайшего стремление к самостоятельности оставалось в большинстве случаев строго обличаемым им «возношением», «упрямством басурманским», «высокоумием». «Летось ходил дуростью, а ныне во всем желает от нас указу», — хвалит Тишайший «образумившегося» князя Ф. Н. Одоевского, ни на шаг не отступавшего от Разрядного наказа.

В деле с неудачной осадой Мстиславля князем Лобановым-Ростовским есть примечательные строки: воеводе напоминали, что от его лагеря до Москвы путь не долгий, можно было и сослаться со столицей, чтобы получить разрешение на приступ. А он не сослался и пошел на штурм самовольно, в чем и виноват. В интерпретации Алексея Михайловича невольно получалось, что воевода сидел на «столичном поводке», длина которого и была мерой его самостоятельности!

Заметим, что самостоятельность — вообще проблема наитруднейшая для абсолютизма. С одной стороны, сама масштабность решаемых задач требовала от власти дать простор исполнителю. С другой, абсолютизм — власть полная, неограниченная, воспринимаемая как прямое участие государя во всех

делах. В рамках старого сознания это противоречие было почти неразрешимо. Лишь XVIII столетие с его регламентом, фиксацией должностных обязанностей позволило частично соединить малосоединимое.

Среди несомненных «военных» заслуг Алексея Михайловича — его стремление к реформированию армии на европейских началах. Эта, на первый взгляд чисто военная перестройка, на самом деле выходила далеко за пределы военной сферы. Менялись параметры службы, характер ее обеспечения, а с ними трещала по швам вся прежняя система устройства служилого сословия с его делениями на чины, разряды, статьи, на «государев двор» и «служилые города». Подобные перемены не могли не вызвать недовольство. Давление, правда, нарастало постепенно и давало о себе знать вспышками протеста из-за перевода в солдатские и рейтарские полки, нескончаемым потоком челобитных, вопиющих о разорении и требующих прибавки к жалованью, и т. д. Всему этому надо было противостоять, чтобы заставить дворян и детей боярских привыкнуть служить по-новому. Алексей Михайлович был настойчив. Он крепко усвоил, что «рейтары на боях крепче сотенных людей».

Заметим, что в массовом историческом сознании устройство регулярных войск — заслуга всецело Петра I. Между тем еще современники прекрасно видели преемственность в военных реформах Тишайшего и его великого сына. В 1717 году на вопрос Петра о том, в чем он преуспел, а в чем отстал от своего отца, семидесятилетний князь Яков Долгорукий ответил: в военном деле царь Алексей «много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал...».

Конечно, в военных преобразованиях царская мотивация не выходила за рамки традиционных ценностей: новая организация службы доказала свое

превосходство настолько, что только болезненное стремление оставаться вечно битым могло заставить держаться за прежнее «сотенное» устройство поместного войска. Тишайший битым быть не хотел. Он видел себя в роли защитника и строителя Православного царства, пределы которого мечтал расширить громкими победами. Трудности испытывала вся структура поместного устройства армии, и нужно было, прибегая к терминологии Соборного деяния об отмене местничества, «преждебывшее воинские устройство, которое показалось в боях неприбыльно, переменить на лучшее».

Реформирование армии при втором Романове начиналось так же, как и при первом: приглашенные иноземцы наводнили Москву, чтобы составить костяк будущих полков «нового строя». Однако были и любопытные новации, связанные, впрочем, скорее не с молодым Алексеем, а с расчетливым Морозовым и самоуверенным Милославским. При Михаиле Федоровиче, в канун Смоленской войны, в московскую службу приглашали не только иностранцев-офицеров, но и рядовых. Последнее справедливо было признано накладным для казны и бесперспективным для будущего. Решено было обучать своих, причем не только солдатскому, как то было в канун Смоленской войны, но и офицерскому ремеслу. Для этого из среды московских чинов было отобрано несколько десятков человек. К чему свелось это обучение, трудно сказать. Как мы помним, у самого Ильи Даниловича Милославского были самые смутные военные познания, если не сказать, что их не было вообще.

Начавшаяся война полностью подтвердила правильность сделанного выбора. Столкновения с поляками, шведами и крымцами заставляли биться с ними строем. Строй же постепенно заставлял отказываться от хаотически атакующих поместных

сотен. Провинциальных служилых людей все чаще сбивали в рейтарские, драгунские, а уж совсем малоимущих — в солдатские полки, доля которых постоянно возрастала. Делали это не без сомнений: «И полковые службы дворяном и детям боярским впред в рейтарском строе быть ли и новоприборных рейтар больше того прибирать ли?» — вопрошали воеводы. «Быть» и «прибирать», следовал ответ, за которым слышится голос самого царя.

Но взявшись за одно звено, приходилось вытягивать остальные. На новые полки уже не поставишь начальником выборного сотенного голову, человека пускай и опытного, пороху понюхавшего, но строя не знающего. Рейтар и солдат надо сначала обучить, а для этого требовались постоянные начальные люди из своих. Во-первых, как уже отмечалось, потому что это было дешевле. Во-вторых, потому что война показала: познания и военные навыки многих начальных людей из «немцев» оказывались далекими от того, что было обещано в их патентах и рекомендациях. Авантюристов, проходимцев и невежд попадалось больше, чем толковых офицеров типа Патрика Гордона. Так что первыми несколькими десятками обученных в канун войны за Смоленск и Украину русскими начальными людьми ограничиться было никак нельзя. Стали обучать новых. Причем в самих полках.

Эти офицерские кадры восполняли свои скромные познания природной смекалкой, мужеством и тем чисто русским «надо», которое не раз вывозило страну из самых трудных положений. Имена Змеева, Косагово, Шепелева, первых русских полковников и генералов, уже с 60-х годов с уважением произносились боярами-воеводами, которые готовы были даже признать их военные дарования и заслуги, особенно если они были проявлены под их началом.

Алексей Михайлович заслуг чужих себе не приписывал. Но именно в его правление и при его прямом участии стал формироваться национальный офицерский корпус, сильный пока не знанием — какие серьезные знания без школы, — а кровью обретенным опытом. Позднее, в сражениях с османами под Чигирином, этот корпус совсем неплохо зарекомендует себя, вызвав возгласы удивления не только у друзей, но и у неприятеля.

Организация, подготовка и снабжение армии — вот те сферы, в которых присутствие Алексея Михайловича было самым ощутимым и самым полезным. Стоит вспомнить о тех усилиях, которые предпринял Тишайший для сбора и обеспечения армии накануне и в первые годы войны с Речью Посполитой. Он и позднее не оставлял эти занятия.

Источники позволяют детализировать и живописать их. Так, по традиции, состояние служилых людей накануне сражений царь проверял во время смотров. Церемония была достаточно важная, с несомненным военно-организационным и идеологическим акцентами. Алексей Михайлович получал возможность лично убедиться в боеспособности и настрое воинов и одновременно пообщаться с ними.

Смотры были продолжительными. Так, разбор московских дворян в канун войны с Речью Посполитой проходил в селе Семеновском с 19 декабря 1653 года по 12 января 1654 года. По его окончании начался смотр провинциальных служилых людей. Он занял весь февраль и март.

В Семеновском московские дворяне по вызову заходили во двор и располагались с людьми и лошадьми по правую сторону «на указанном месте». Затем их вызывали к государю, где каждый сначала кланялся иконе, затем поясно — царю и отдавал сказку — с чем и с чего (количество дворов, размеры владений)

он поднялся на службу. Затем сказки и записи в «десятиях» сверяли с «наличностью». Если с вооружением, лошадьми, «служебной снастью» и послуживцами было все в порядке, воин удостоивался царской похвалы. Расхождение требовало объяснений и грозило оплошавшему дворянину неприятностями. Смотр был монотонным и утомительным занятием: в иные дни перед государем проходили десятки людей. И так с утра до вечера, изо дня в день, с небольшими перерывами для иных государственных дел и церковных служб. Но Тишайший был терпелив, методичен и скрупулезен. Для него это занятие — обязательная часть «царского дела».

Государев смотр призван был поднять воинский дух, внушить каждому подданному мысль о неодолимом могуществе царя. Отсюда — необычайная пышность, превращение смотра в настоящую придворную церемонию. Рентенфельс, наблюдавший смотр-мобилизацию московских дворян для борьбы со Степаном Разиным, был поражен ее блеском и богатством. Шатер, трон с двенадцатью ступенями, ковры, ограждения для сдерживания толпы, пехота под знаменами, башня с трубачами — все подчеркивало необычайность происходящего. Но главное — само войско, результат неустанной заботы Алексея Михайловича. Оно «хотя и уступало в изяществе убранству, употребляемому в Европе, но зато превосходило его дороговизною тканей и азиатскою роскошью. Все зрители с изумлением останавливали взоры на всадниках, из которых исключительно состояло все это войско, не только из-за их блестящего разнообразия оружия, но и вследствие красивого вида их одежд». Рентенфельс, заметно преувеличивая, насчитал до 60 тысяч всадников, брошенных на борьбу с восставшими^[369].

Нередко царь сам расписывал дворян и детей боярских по полкам. Далеко не всегда удается уловить мотивы, которыми он при этом руководствовался. Ясно, что здесь присутствовала не одна только военная целесообразность — численность, боеспособность и т. д. Царь считался с «местнической» иерархией лиц и чинов.

Особенно много сил отнимали у Алексея Михайловича формирование и организация службы дворового полка. Государь не только правил списки сотен. Он назначал голов, указывал кому какие «шатры приказаны» и даже, к примеру, кому когда спать, а кому нести ночную сторожевую службу.

Алексей Михайлович устраивал смотры не только дворянам, но стрельцам и солдатам. Здесь он был даже взыскательнее: требовал продемонстрировать воинскую выучку, умение действовать строем. Проверялось и оружие. Царь часто наблюдал за пушечной стрельбой и испытанием новых орудий^[370].

Тишайший живо интересовался всякого рода артиллерийскими новинками и изобретениями. Полковник Бауман показывал датчанам-соотечественникам чертеж огромной мортиры, которую собирались отлить в Туле. Мортира должна была разбираться на три части и стреляла гранатами, размеры которых привели гостей в трепет. Бауман рассказал также об изобретенном им скорострельном легком орудии, которое заряжалось с казенной части и обслуживалось всего двумя пушкарями. «Полковник доказал это на опытах, предпринятых в присутствии великого князя, так как 12 подобных пушек уже готовы», — заметил по этому поводу Андрей Роде. Но и это не все: в завершение датчанам был показан «чертеж пушки, которую изобрел сам великий князь»^[371].

Если иметь в виду, что в военной библиотеке царя преобладали книги об артиллерии и «огнестрельной хитрости», то известие Роде не приходится ставить под сомнение. Так что Петровская любовь к пушкам и связанным с ними «огненным потехам» оказывается страстью унаследованной.

Информированность царя по поводу разного рода военно-технических новинок не ограничивалась только артиллерией. Своему агенту по закупке вооружения за границей Гебдону он ставил самые разнообразные и нередко очень неопределенные задачи. Чувствуется, что о чем-то он просто случайно услышал, до чего-то додумался сам. В итоге царь мог потребовать прислать то «снастей подкопных», способных одолеть за сутки 10 сажень самой крепкой почвы, то подзорные трубы: «стекло такое... чтоб в городе (осажденном. — И.А.) мочно высмотреть все», или перископы — «трубочки маленькие смотрильные: как смотрит ис шанец, и ее зажать в руку, чтоб не знат было».

Имей государь инженеров, которых, по его же определению, «во всей Еуропии других таких не будет», то, вероятно, он бы сильно озадачил их своими обширными военно-техническими фантазиями. Но возможностей и энергии у него хватило только на строительство Гранатного двора, который первоначально велся «по наряду» Тайного приказа и им же, то есть Алексеем Михайловичем, управлялся [\[372\]](#).

Царь стремился усвоить военное дело до мелочей. Это не было случайностью. По-видимому, именно детали рождали у него чувство добросовестно исполненного долга. Детально, скрупулезно — это истинно по-хозяйски, так как и должно быть. Широко известно пристрастие Романовых к военной форме. Фасон мундира, цвет сукна или какой-то его детали — все это возводилось в ранг наиважнейшего для

государя дела и утверждалось лично. Оказывается, что этой болезнью, не меньше своих потомков, был подвержен и Тишайший. 18 июля 1658 года — то есть в самый разгар скандала с Никоном — царь занимался, к примеру, тем, что определял цвет и количество киндяков для своего любимого выборного солдатского полка^[373]. Среди множества вопросов, на которые в своих заграничных поездках должен был найти ответы Гебдон, были и про военный обиход — какие войска что и как носят...

Тишайший любил пощеголять обширностью и точностью своих военных познаний. В 1660 году в грамоте Долгорукому он хвалит полк Григория Тарбеева и московские сотни, которые под началом боярина «стройством» потеснили врага. Главное для него здесь — соблюдение «стройства», то есть порядка: чтобы рейтары и солдаты «в смелстве и усердии» без приказу стрельбы не открывали, а противника подпускали как можно ближе, «в меру».

Алексей Михайлович не упускал ни одной мелочи в правилах стрельбы: стоять солдатам следовало «твердо» и стрелять «по людем и по лошадем, а не по аеру». «И полковникам и головам стрелецким надобно крепко знать тое меру как велеть запалить, а что палят в двадцать саженьях, и то самая худая боязливая стрельба, по конечной мере пристойно в десять сажень, а прямая мера в пяти и в трех саженьях, да стрелять надобно ниско, а не по аеру (то есть не целиться высоко, в глаза. — *И.А.*). И тебе бы, рабу Божию, о сем строе великое разсуждение и попечение иметь, и с ними, началными людми, поговоря, учинить строение...»

Царь давал также советы, как отражать конные атаки: здесь у него предусмотрены варианты — иногда можно расступиться и пропустить всадников, иногда —

принять удар. Наконец, можно прикрыться надолбами и пиками^[374].

Напоминая о необходимости подпускать неприятеля в «меру», Алексей Михайлович демонстрировал знание характера своих подданных. Так, он не поверил в подвиги полка Тарбеева, который будто бы «хорошо и блиско палит». Писал об этом воевода Федор Хрущов, и Тишайший не поленился в грамоте вместо первоначального «не име веры» собственноручно написать: «о том не поверили... что блиско запалил»^[375].

Наставления Тишайшего отдают не только книжностью. В них ощутима его твердая приверженность к порядку, «чину». Нарушение порядка для него — неудача, неукоснительное следование — залог успеха. Конечно, можно заподозрить царя в косности. Но не случайно в лучших армиях мира требовали строгого соблюдения каждой буквы устава. Уставы и наставления обобщали опыт, который основывался на четких, доведенных до автоматизма действиях. Побеждал тот, кто, подавляя страх, не спешил ответить на выстрелы и подпускал неприятеля как можно ближе, чтобы палить почти в упор, а потом сбить его и гнать без устали с поля битвы. Алексей Михайлович понял эту нехитрую премудрость и настойчиво требовал ее исполнения, хотя, конечно, легко было ему это делать в дремотной тишине царского терема.

Можно до бесконечности множить примеры царского участия в делах государства, из которых хорошо видно, что Тишайший столь же настойчиво чурался печати праздности, как и его знаменитый современник Людовик XIV — прозвища «ленивого короля». Однако едва ли по одному этому критерию

можно составить представление об Алексее Михайловиче как государственном деятеле. Ведь если участие в управлении государством и дает основание говорить, что государь правит, то этого совсем недостаточно для присвоения степеней превосходных — талантливый, выдающийся, великий...

Здесь следует дать четкие ответы на целый ряд вопросов — то есть оценить итоги правления, масштаб личности правителя, его истинное влияние на происходящее. В свою очередь, каждый из этих вопросов распадается на целый ряд вполне конкретных пунктов.

Прежде всего, был ли Алексей Михайлович способен выдвигать идеи и формулировать задачи, которые отвечали потребностям развития страны? Был ли он «генератором» таких идей или просто «ретранслировал» то, что ему подсказывали обстоятельства и окружение?

Несомненно, Алексей Михайлович был не лишен дарований. Иностранцы единодушно называли его умным человеком и дружно сетовали на отсутствие у него должного — по европейским меркам — образования. Иные даже писали о «необыкновенных талантах» и «редких добродетелях» Тишайшего^[376]. Для русских людей стенания относительно необразованности их государя были малопонятны. По русским меркам царь был более чем образован. Сам Алексей Михайлович вполне разделял эту точку зрения — ведь он прошел все положенные для православного человека образовательные ступени. Однако он уже понимал, что в мирских знаниях, полученных за рубежом, есть своя польза. Не случайно он приказывал искать и покупать в Европе книги по различным отраслям знаний. Новое он привнес и в обучение своих

сыновей. Их обучали тому, что было недоступно для Тишайшего, — языкам и «свободным искусствам».

Образованность Алексея Михайловича мало подходила для наступавшей эпохи. Она скорее мешала, чем помогала, побуждая пасовать перед новыми и непонятными явлениями, пришедшими из другого мира. Но другой образованности просто не было! Отсутствие знаний восполняли ум, природная трезвость, умение интуитивно почувствовать полезность. Однако далеко не всякий склад ума здесь годился. Царь был склонен к очень конкретному мышлению. Он не обладал мощным творческим интеллектом, способным на абстрагирование и обобщения. К тому же он не привык целеустремленно и долго размышлять. Систематический умственный труд требовал характера и определенного культурного уровня, которого у Алексея Михайловича не имелось. Словом, второму Романову явно не хватало глубины и широты подхода. За все годы своего царствования он так и не сумел переступить через ворох повседневных проблем и заглянуть далеко в будущее.

Здесь вновь уместно провести параллель между Алексеем Михайловичем и его сыном Петром. Последний постоянно задумывается о будущем России, осознанно интерпретируя свои неустанные труды как заботу о завтрашней величии страны. Будущее — неотъемлемая часть культуры нового времени, в котором настоящее — колыбель завтрашнего. Культура Алексея Михайловича предпочитает оперировать категориями вечности, уготованной праведной жизнью, то есть по сути жить безгреховным настоящим. Если же царь-люботрудник все-таки и содействует будущему, то скорее потому, что иначе просто нельзя — будущее помимо воли и желаний рождалось из повседневности.

Смелая мысль и дерзкий поступок не стихия Тишайшего. Он еще был способен оценить

оригинальность чужих предложений, однако рисковать и следовать за чрезмерно дерзновенными проектами ему было явно не по нутру. Отсутствие самостоятельности следует дополнить склонностью к колебаниям и рефлексии. Урок, преподнесенный во многом авантюрной войной со Швецией, надолго отучил царя от рискованных прожектов.

Ситуация усугублялась тем, что в царском окружении людей масштабных, типа Ордина-Нащокина, просто не было. Равные волей, целеустремленностью — да, но не умением перспективно думать и далеко заглядывать. Конечно, в таком окружении царь не чувствовал себя ущемленным. Но для страны ординарность царя, его привычка оценивать проблему исходя из опыта и опытности, а не широкого интеллекта были качествами не самыми лучшими. Заметим, что в данном случае Алексей Михайлович едва ли нуждается в оправдании. Интеллектуальная неординарность — вещь вообще чрезвычайно редкая, особенно там, где бал правит его величество случай — в монархических государствах. Даже самый удачливый современник второго Романова, французский король Людовик XIV, едва ли дотягивает до этих мерок. Ему, несомненно, «повезло» с королевством. Но вот повезло ли королевству с таким королем?

Не утруждая себя раздумьями о далеком будущем, Алексей Михайлович вполне справлялся с текущими проблемами. За годы царствования он научился улавливать биение пульса страны и прописывать ей «лекарство». Правда, порой, чтобы побудить его к подобным действиям, требовалось, чтобы пульс забился с частотой народного бунта. Так случилось, к примеру, с отменой медных денег. «Сердечный приступ», случившийся в Москве и селе Коломенском, образумил Алексея Михайловича, хотя само восстановление

нормального денежного обращения потребовало все равно немало времени.

Человек традиции, Алексей Михайлович правил, опираясь на Боярскую думу. Однако внешне неизменный порядок претерпел при нем заметные перемены. При Тишайшем необычайно возросло значение ближней или тайной думы, в которой оказались особо доверенные люди^[377]. В этом узком кругу принимались наиболее важные решения. В последующем, если их и выносили на заседание думы, то лишь для «протокольного» одобрения. При этом в особо доверенных ходили люди, не всегда даже достигшие высоких думных чинов или просто вхожие в думу: частное обсуждение в царских комнатах было в глазах Алексея Михайловича куда полезнее продолжительного и многословного сидения в думе.

Источники позволяют отчасти восстановить состав и порядок работы ближней думы. Так, в 1663 году ее члены — Я. К. Черкасский, И. Д. Милославский, С. Л. Стрешнев, П. М. Салтыков, Б. М. Хитрово, Ф. М. Ртищев, А. Л. Ордин-Нащокин, дьяки Ларион Лопухин и Дементий Башмаков — обсуждали посольские статьи, с какими предстояло выходить Ордину на переговоры с поляками. Были высказаны разные мнения, но ни одно из них не показалось царю достаточно убедительным. Царь составляет к этим мнениям записку и посылает ее на отзыв Матвееву. Тишайший просит Артамона Сергеевича, чтобы тот, «помысля», высказал свои предложения. Таким образом, царь принимает окончательное решение, выслушав мнения всех доверенных лиц.

Алексей Михайлович был человеком внушаемым. Это, конечно, превращало ближних людей в большую силу. Но не следует забывать, что сама мера этой внушаемости менялась. С годами царь становился все

более недоверчивым. Чтобы повлиять на него, надо было уже убеждать аргументами. И то при условии, что они не слишком противоречили сложившемуся мнению государя. Не случайно польский аристократ Потоцкий, проживший в московском плену несколько лет, в своих записках заметил: «Сверх того говорят, что сей государь не терпит советов, противных его мнению»^[378].

Решения, особенно важные, принимались царем трудно — с сомнениями, колебаниями, оглядкой назад. Но по принятии они превращались в царское решение, отчего любые отступления и промешки вызывали у Тишайшего сильное раздражение. Царь очень ревниво относился к случаям небрежения его волей. Доставалось даже первенствующему в думе князю Н. И. Одоевскому. Отправляясь во главе великого посольства на переговоры с поляками, он осмелился испросить разрешение на изменение царского же указа и боярского приговора о своих товарищах. Последние были недовольны тем, что они числились в товарищах и через Одоевского просили разрешения писаться в официальных грамотах с именем-отчеством. Алексей Михайлович с раздражением выговорил боярину, что «преж сего наши, великого государя, указы и ваши боярские приговоры бывали крепки и постоянны». Чувствуется, что намерение послов изменить прежнее решение сильно задело его. Какая самонадеянность! Значит, они считают, что с ним такое пройдет?!

Распекая Одоевского, царь проявил завидную проницательность. Он не поверил, что Одоевский на самом деле желал видеть имена послов рядом со своим именем. Тишайший убежден, что Никита Иванович просто хитрил и писал «для очистки от товарищей своих, чтоб товарищи... на тебя не досадовали». Открытие еще сильнее раздражает Алексея

Михайловича. Одоевский ссорит его с подданными! Царь не упускает случая разразиться гневной тирадой, привлекая авторитет самого Аристотеля: «А Аристотель пишет ко всем государем, велит выбирать такого человека, который бы государя своего к людям примерял, а не озлоблял!»! Есть, впрочем, у царя авторитет и повесомее: «И тому Бог будет мстить в страшный свой и грозный день, хто нас, великого государя, озлобляет к людям и кто неправдою к нам, великому государю...»^[379]

Исследователи подсчитали, что из 618 указов, принятых после Соборного Уложения до 1676 года, 588 были именные, то есть приняты одним Алексеем Михайловичем. Остальные — с боярским приговором^[380]. Эти цифры убедительнее всего свидетельствуют о падении роли думы при Алексее Михайловиче. Однако едва ли они просто иллюстрация к пробудившимся авторитарным наклонностям Тишайшего. Падение роли думы — прямой результат происходивших изменений в системе государственного управления. Старые институты с их закостенелыми «технологиями» реализации властных функций с трудом справлялись с задачами, которые ставило время. Дума не была исключением. Пройдет меньше четверти века, и боярство превратится, в устах профессионалов-управленцев типа Федора Шакловитого, в прогнившее «зяблое дерево». В самом деле, аристократический по преимуществу принцип формирования думы сделал ее прибежищем для людей малокомпетентных, деловые и личные качества которых будут далеки от тех, что требовались государству. Да и принцип соправительства в условиях формировавшегося абсолютизма должен был уступить бюрократическому принципу, несовместимому с думой. В итоге легче оказалось сломать и построить новое, чем

переделывать старое. Петр так и поступит, заменив амбициозную аристократическую думу бюрократическим Сенатом.

Разумеется, не следует забывать, что на маршруте дрейфующей государственности время Тишайшего — точка исходная. Потому дума при нем, пускай и отстраненная от принятия самых важных решений, занималась множеством текущих дел. Особенно объемной была ее распорядительно-административная деятельность. Перемены, между прочим, не ускользнули от внимательных наблюдателей. «...Царь, сохраняя за собою всю полноту царской власти, делает вид, что некоторую часть ее передает своей Думе, отсылая просьбы народа на рассмотрение ее членов...», — заметил всезнающий Мейерберг^[381].

При Тишайшем по-прежнему оставался высоким престиж думного чина. Царь жаловал его достаточно скупно. Признавал он и преимущественно аристократический характер думного чина, отчего малопородные его любимцы продвигались вверх с прохождением всех положенных ступеней. Достигших высших боярских чинов было только двое — Ордин-Нащокин и Артамон Матвеев. Их движение наверх стоит в разительном контрасте с тем, что будет происходить при ближайших преемниках Тишайшего — Федоре, Петре и Иване, когда боярские и окольные скамьи заполонят люди малопородные, стремительный взлет которых будет оскорбителен для первостепенной аристократии. Сюда же устремятся и представители знати, которые попытаются думскими скамьями отгородиться от напиравшего со всех сторон дворянства. В итоге дума разрастется до таких размеров, что эффективное исполнение ею управительствующих функций превратится в фикцию.

Более существенной переменной в системе управления государством стало создание Алексеем Михайловичем Приказа Тайных дел, или Тайного приказа.

Несомненно, одна из причин появления этого странного учреждения кроется в личности монарха. Тайный приказ — прямое порождение того стиля, который был избран царем для общения с подданными.

Два обстоятельства наложили отпечаток на манеру общения Тишайшего с подданными. Выше уже не раз подчеркивалось, с каким трепетом он воспринимал величие своего сана. Однако пора юношеских рефлексий со временем прошла. В привычках и в мыслях, в манере и в стиле обращения с людьми явились властность и внутренняя убежденность, что все, что он делает, делается по Божьему попущению. Но приобретенное — не прирожденное. Крепнувшая авторитарность Алексея Михайловича причудливо уживалась с добродушием, доходящим до благодушия — черты, быть может, и простительной для обыкновенного человека, но пагубной для правителя и его подданных. В общении с людьми благодушие оборачивалось попустительством и непоследовательностью. Царь мог грозно распекать и сурово наказывать за ничтожные упущения и одновременно легко уступать и прощать серьезные проступки. Тишайший, кажется, сам иногда укорял себя за такое поведение.

В 50-е годы встречается все больше признаков того, что Тишайший всерьез задумывался над тем, как одолеть эту свою «слабость» и как побудить «злохитростных» подданных служить без послаблений. В осуществлении этого намерения Тайному приказу отводилось центральное место. Приказ, который возглавлял сам государь, должен был подгонять, подстегивать служилого человека, порождая ощущения

постоянного царского догляда. Это не просто слова. Все знали, что появление подьячего Тайного приказа или грамотки из него означало, что делом заинтересовался государь. А значит, и милостливое слово, и наказание могли теперь последовать незамедлительно.

Интерес Алексея Михайловича мог проявляться по-разному. Чаще всего из Тайного приказа приходила грамотка или приезжал человек с изустным приказом. «Такова государева грамота послана по указу думного дьяка Семена Заборовского, а с тем указом приходил из Приказу Тайных дел подьячий Артемий... словесно», — читаем в одном из документов, который приоткрывает механику царского управления — царь не напрямую обращался к исполнителям, а через стоявший над ними приказ, в данном случае через Разряд. Нередко эти «изустные наказы» подьячие и доверенные лица Тайного приказа должны были передавать «наодине», «одному сказать тайно». В затруднительных случаях приказные дельцы напрямую обращались в Тайный приказ за указанием. Важно, однако, подчеркнуть «заочный» характер общения Алексея Михайловича с исполнителем^[382].

Царский контроль мог быть гласным и негласным. В Тайном приказе чаще всего прибегали к последнему. Для большинства служилых и приказных людей это было страшнее всего. Что проведает государь и как ему донесут?! О секретных миссиях подьячих Тайного приказа ходили самые жуткие слухи. Иные готовы были пугаться и того, чего не было. Не случайно перед посланцами Тайного приказа, людьми малородными, заискивала даже первостатейная знать. «Страшась царского гневу... тех подьячих дарят и почитают выше их меры», — должно быть, не без зависти отмечал Котошихин.

Доходило до того, что объявлялись самозванные сотрудники Тайного приказа, отличные от гоголевского Хлестакова разве только тем, что воспроизводили ситуацию бессмертного «Ревизора» не по случаю, а вполне сознательно. В такой роли выступил на Украине писарь полка Венедикта Змеева Иван Гордеев. Он привел в трепет не одного начального человека, прежде чем его поймали и отправили в Москву на расправу.

Очень скоро в представлении современников царский тайный догляд приобрел гипертрофированный характер. «Царь по ночам осматривает протоколы своих дьяков: он проверяет, какие решения состоялись и на какие челобитные не дано ответа... Дворяне у него в шпионах и шпионы повсюду», — сообщали иностранцы.

Котошихин также не обошел в своем сочинении этот вопрос. Но говорит он несколько спокойнее и точнее — то множество «шпионов», которые у иностранцев заполнили весь аппарат и армию, сокращается у него до штата Тайного приказа. По словам беглого приказного, служащие «посылаются... с послами в государства, и на посольские съезды, и в войну с воеводами для того, что послы в своих посольствах много чинят не к чести своему государю... И те подьячие над послами и над воеводами подсматривают и царю, приехав, сказывают»^[383].

Возложенные на приказ функции побуждали царя с особой тщательностью подбирать людей. В Тайном приказе собрались люди по-своему недюжие — хорошие организаторы, знающие и цепкие администраторы. Отличительной их чертой была исполнительность. Царь, готовый еще терпеть своеволие от людей родовитых, вскипал при одном только намеке на непослушание «своих» приказных. И они старались, памятуя, что при

всех царских строгостях им несказанно повезло — они были на виду.

Штат приказа никогда не отличался многочисленностью. Алексей Михайлович шел на это вполне сознательно: в сундуках и ящиках приказа хранилась столь секретная документация, что доступ к ней должны были иметь немногие люди. Особенно важными были бумаги военные и дипломатические. Именно поэтому широкое распространение получила здесь практика рассылки тайных наказов и наставлений. В этом смысле Тайный приказ возвращался к исходному толкованию «тайное государево дело», то есть дело, которое ведомо только государю и немногим особым слугам. Посылая грамотку Ю. Долгорукому, Тишайший наказывал: «И ты б, боярин наш и воевода, держал бы у себя тайно, чтоб ее никто б не ведал».

Немало документов Тайного приказа написано шифром — «тайной азбукой». Царь нередко сам составлял ее. На пожалованном в Саввин монастырь колоколе по его указу была сделана шифрованная надпись с таким завершением: «...А подписал аз, царь и государь всеа Русии самодержец своею рукою премудрым писмом своего слогу и вымыслу 12 азбуками. Лето 7161»^[384]. В увлеченности Алексея Михайловича тайнописью было что-то детское. Разумеется, сам Тишайший с негодованием отверг бы подобное предположение и сослался на необходимую разумную осторожность в делах. В самом деле, он не раз имел повод для огорчений, терпя без видимых причин неудачи за столом переговоров или на полях сражений. При этом речь идет не о банальной продаже сведений противной стороне, хотя последнее случалось, причем в неизмеримо больших размерах, чем представляется. Чтобы расстроить планы, хватало

прозаической болтливости излишне информированных дипломатов и воевод. Этим и объясняется стремление царя ограничить круг людей, имеющих доступ к государственным тайнам.

Как водится, стремление царя все засекретить имело обратную сторону, результат которой — «поруха в делах». Сообразуясь со своим пониманием обстановки, царь мог кардинально изменить первоначальный замысел, не ставя в известность всех причастных к этому лиц: в таком случае появлялся подьячий Тайного приказа с новым секретным наказом и с предписанием адресату не исполнять статьи прежнего наказа, полученного из Разряда или Посольского приказа. В результате все другие воеводы или товарищи посла, обделенные царским доверием, приходили в полное недоумение по поводу действий старшего «коллеги».

Алексей Михайлович знал, конечно, о подобных неурядицах. Но в его глазах ради быстроты решения можно было пожертвовать порядком. Царский тайный наказ наделял исполнителя чрезвычайными полномочиями и одновременно оказывался своеобразной индульгенцией: все вокруг негодовали на нарушителя государевой воли — он же мог посмеиваться, опасаясь лишь не исполнить порученного.

Тишайший превратил Тайный приказ в высший распорядительный и контрольный орган. При этом сам он выступал в роли непосредственного руководителя государева приказа. У него даже была своя «казенка» — кабинет, где он выслушивал доклады и работал с бумагами. Трудно сказать, в какой мере эта «приказная» деятельность удовлетворяла его. Во всяком случае, он не роптал. Да и общение с подданными заочно, посредством бумаги и подьячих, кажется, его вполне устраивало. На расстоянии легче

было быть грозным, то есть быть ближе к тому идеальному государю, образ которого он сам для себя создал. Деловая бумага оказывалась лучшей защитой от благодушия и жалости.

Разумеется, было бы опрометчиво выводить причины возникновения Тайного приказа из одной только рефлексии Тишайшего. Нельзя не видеть, что при абсолютизме государи постоянно создавали учреждения, посредством которых степень их личного вмешательства в управление резко возрастала. Причем все эти органы — от Тайного приказа до Канцелярии Его императорского величества Николая I — оказывались стоящими как бы вне существующих органов власти и над ними. И хотя в каждом случае появление этих учреждений было связано с вполне конкретными обстоятельствами, за ними таится нечто большее. По-видимому, абсолютизм по природе своей нуждается в постоянном подтверждении своего всевластия — во встряске приказного и чиновного аппарата, в создании «независимых» от бюрократии источников информации, наконец, в личном вмешательстве государя в управление как индивидуализированном способе обновления монархической идеи. Тишайший одним из первых русских правителей уловил эту потребность, заставив с помощью Тайного приказа куда быстрее, чем прежде, вращаться все «шестеренки» громоздкой государственной машины.

Ко времени правления Алексея Михайловича относится формирование новой «государственной идеологии», которая займет в следующем столетии бесспорно господствующее положение, — идеологии службы, поглотившей все иные идеологизированные представления о предназначении человека. Общеизвестно, кто возвел тезис службы Отечеству на пьедестал. Менее известно, что фундамент для этого

пьедестала был возведен еще первыми Романовыми, в первую очередь Алексеем Михайловичем.

Своеобразная идеология и психология службы, сложившаяся к середине XVII столетия, оказалась равно важной для обеих соучаствующих в ней сторон — власти и дворянства. Первая, персонифицированная в лице Алексея Михайловича, не без успеха приспособлявала «философию службы» к потребностям и установкам формирующегося абсолютизма. Вторая с неменьшим успехом использовала ее для предъявления сословных требований. В сознании дворянства любое ущемление их интересов интерпретировалось не иначе как посягательство на службу, и следовательно — на «государево дело». Это взаимосвязь обрела свойства стереотипа, вошла в кровь и плоть служилого человека и во многом определила его ценностные ориентации и поведение. В широком смысле служить, собственно, и значило жить. «Служить ленив, на службе не живет», — говорили окладчики, желая показать служилую несостоятельность ратного человека. Сами дворяне, подчеркивая свои заслуги, объявляли, что они, «помня Бога и совершая ко государю и ко всему Московскому государству прямую службу и раденья... живут на службе и бьются»^[385]. В челобитных и сказках служилых людей жизненный путь представлен как непрерывное служение, главные вехи которого — походы, раны и осады. Но эта связь не оставляла безучастным и Алексея Михайловича. Он только чаще говорил не об ущемлении интересов, а о лени и нерадении служилых людишек, наносивших таким образом урон его государеву делу и его государевой чести.

В «разности» акцентов — различия в трактовке службы Алексеем Михайловичем и его подданными. Служилые люди охотнее затрагивали вопросы

награждения, условий службы, — Царь настаивал на точном и неукоснительном выполнении служебных требований. В этом заочном споре неутомимое перо Алексея Михайловича в конце концов живописало образ идеального служилого человека.

Эмоциональная натура царя тяготела к оценкам этическим. Тишайший, конечно, не сомневался в том, что ему должны служить, но он требовал, чтобы ему служили чрезмерно. Положительные определения, которые обыкновенно применяли к службе, — служба «прямая», «явная», «прилежная», «храбрая», «отменная», «безо всякия хитрости» — далеко не всегда устраивали его. Он жаждал большего. Его идеал — служба «всем сердцем», «радостная», «нелицемерная». Царь без устали призывал «нераденье покрывать нынешнюю свою службу и радением от всего сердца своего и всякую высоту оставить». Служба «со всяким усердием» была для Алексея Михайловича критерием, по которому он судил о преданности служилого человека и в соответствии с которым выстраивал свое к нему отношение. В письме к боярину и дворецкому В. В. Бутурлину царь писал: «...Ведаешь наш обычай: хто к нам не всем сердцем станет работать, и мы к нему и сами с милостью не вскоре приразимся»^[386].

То, что царь придавал своим оценкам службы большое значение, свидетельствует правка грамот. Царь не разбрасывался словами — он старательно искал определения, которые бы соответствовали, по его убеждению, заслугам адресата. В милостивой грамоте боярину В. П. Шереметеву Тишайший заменил «безмерные службы» на «прилежную службу». «Принижение заслуг» вполне объяснимо: царская похвала, начавшись во здравие, заканчивалась за упокой. Похвалив киевского воеводу за службу, царь тут же выговорил ему по поводу самовольного

освобождения шляхты: «То [ты] зделал негораздо, позабыв нашу государскую милость к себе, нас, великого государя, прогневил, а себе вечное безчестье учинил: начал добром, а совершил бездельем»^[387].

Особенно часто Алексей Михайлович касался темы службы в переписке с А. Л. Ординым-Нащокиным. Для последнего служба была потребностью первой — он жил и дышал ею. «То мне в радость, чтобы больше службы», — писал он царю, и, зная биографию Афанасия Лаврентьевича, едва ли стоит подозревать его в лукавстве. Жалуя в 1658 году Ордина-Нащокина в думные дворяне, Тишайший хвалил его за то, что тот «радел о наших государских делах мужественно и храбро и до ратных людей ласков, а вором не спускаешь». Здесь же и традиционное в устах царя обещание — если новоявленный член думы станет стараться «выше прежнего», то его служба «забвена николи не будет».

Царь признавал высоту «отеческой чести» своего аристократического окружения. Но он настаивал на ее подтверждении безупречной службой. Боярская честь «совершается на деле в меру служебной заслуги», — писал он В. Б. Шереметеву. При этом царь, конечно же, не упускал случая поморализировать по этому поводу: бывает и так, замечает он, что иные, у кого родители в боярской чести, «самим же и по смерть свою не приемшим той чести»; другие же примерные слуги, много лет прожив без боярства, под старость возводятся в ту боярскую честь. Отсюда вывод — непристойно боярам хвалиться, что «та честь породная и надеятца на нее крепко не пристойно жь». Следует благодарить Бога и стараться примерною службою обратить «сердце государево ко всякой милости»^[388].

Конечно, от подобного рассуждения до знаменитой Петровской фразы: «Знатное дворянство по годности

считать» — дистанция солидная. Но нельзя не видеть несомненную симпатию Алексея Михайловича к личной заслуге — симпатию, доходящую до того, что он готов был противопоставить ее «боярской чести». Служба виделась ему как некое семейно-родовое достояние, которое следовало приумножать все той же службой.

Царь гораздо болезненнее реагировал на проступок «породного человека», чем на нерадение «худых, обышных людишек». Такая позиция — твердая уверенность в том, что, даруя великим больше прав, Бог и царь должны с них больше и спрашивать. «Князи и власти, милование и заступление и правду покажите на нищих людях... понеже суд великий бывает на великих, меньший убо прощен будет и достоин милванию есть», — призывал он в одном из своих писем [\[389\]](#).

В случае проступка знатного человека Алексей Михайлович не скупился на убийственные оценки и грозные обвинения, щедро перемешанные с занудно-пространными, а иногда и просто темными рассуждениями. В 1655 году стольник М. Плещеев, задержавший отпуск хлебных припасов из Смоленска, был уличен во лжи и приговорен думой к кнуту и ссылке. Алексей Михайлович изменил наказание, велел писать Плещеева по московскому списку с исчислением служебных качеств — клятвопреступник, ябедник и «бездушник». Нечто подобное произошло с уличенным в вымогательстве князем А. Кропоткиным. Виновного на этот раз написали по Новгороду со столь же уничижительным определением: «Вор и посульник» [\[390\]](#).

Жестоко пострадал за ложь окольниковый князь И. И. Лобанов-Ростовский, утаивший истинные цифры потерь самочинно устроенного им приступа к Мстиславлю. «От века того не слыхано, чтобы природные холопы государю своему в ратном деле в находках и в потерках писали неправдою и лгали», —

возмущался Тишайший, для которого князь в одночасье превратился в «худого» человека. Вообще, послание к Лобанову-Ростовскому чрезвычайно интересно правкой царя, отражавшей те мысли и чувства, которые испытывал он по получении известия о проступке князя. По собственному признанию, царь писал «в кручине». Воеводе ставилось в упрек, что «приступал» он к городу «без розсмотрения всякого, положа упование на свое человечество и доротство, кроме милости Божии и помощи, а Божественная писания не вспомянул».

По убеждению царя, Лобанов-Ростовский вначале должен был «сокрушить сердце свое пред Богом и восплакать горце в храмине своей тайно, пред образом Божиим о победе». Словом, воевода Бога забыл, отсюда и получается, что все им государю рассказанное — не более чем «беспутное оправдание» (это приписано царем на обороте черновой грамотки). Однако ж при строгом указании не забывать Бога Алексей Михайлович не упускает возможности сделать несколько чисто военных замечаний, не имевших ничего общего с молитвой «в храмине». Идти на приступ приказано, «утомя осадных людей стрельбою пушечною и гранатами и всякими страхи». Заключает свое послание Алексей Михайлович требованием искреннего покаяния. Если же такового не будет, «ведаю, что оставит тебе Бог (сверху рукой царя вписано: «...и великий государь». — *И.А.*) в сий век и в будущий аще же не покаешия и не сотворишь себе повинна пред Богом»^[391].

От царя доставалось даже тем, кто, несомненно, был дорог и близок ему. Выговаривая Ю. А. Долгорукому за самовольное отступление от Вильны, Алексей Михайлович писал: «Жаль, конечно, тебя: впрямь Бог хотел тобою всякое дело в совершение не во многие дни привести и совершенную честь на веки неподвижну

учинить, да ты сам от себя потерял»^[392]. Смысл царской сентенции становится понятным, если иметь в виду, что Долгорукий, призванный своим полководческим дарованием «всякое дело в совершение... привести», не просто ослушался Алексея Михайловича, а еще и попытался обмануть его: по приходе в Смоленск стал просить указа... об отступлении в Смоленск.

Царский гнев в адрес провинившегося служилого человека иногда принимал очень своеобразные формы. Иногда кажется, что Тишайший попросту сомневается в том, что провинившийся испугается его. Ситуация оборачивается многословными наворотами и убийственными сравнениями. «Врагу креста Христова и новому Ахитофелу^[393], князю Григорию Ромодановскому, — обрушивается Тишайший на воеводу, осмелившегося ослушаться его указа. — Воздаст тебе Господь Бог за твою к нам, великому государю, прямую сатанинскую службу... Якоже Июда продал Христа на хлебе, а ты Божие повеление и наш государев указ и нашу милость продал же лжею... И сам ты, треокаянной и безславной ненавистник рода христианского... и самого истинново сатаны сын и друг диаволов, впадешь в бездну преисподнюю, из нея же никто возвращался».

Грозное послание заканчивалось уже однажды процитированными словами, в которых царь есть глашатай божественной воли. «Повелением всесильного, и великого, и бессмертного и милостивого Царя царем и Государя государем и всех всяких сил повелителя Господа нашего Иисуса писал сие письмо многогрешный царь Алексей рукою своею».

Впрочем, громы, обрушившиеся на «нового Ахитофела», не были продолжительными. Погожее солнышко быстро проглядывает на омытых гневом небесах — царь прощает Г. Ромодановского. Стоит ли

удивляться, что окружение было не прочь воспользоваться снисходительностью и отходчивостью царя.

Алексей Михайлович требовал исполнять его указы быстро и еще быстрее о том доносить. Но многие и с делом не спешили, и с отписками мешкали. В конце 1658 года царь упрекал Ю. А. Долгорукого в том, что тот не писал о происходящем: «Милость Божия учинилась к тебе и нашим государевым людям такая, что от веку такая неслыхана, а к нам вести про то нет и мы от сторонних людей слушали вести добрые...» Отповедь, однако, заканчивается совершенно в духе Тишайшего — в конце грамотки царь приписал: «И тебе бы о сей грамоте не печаловатца, любячи тебе пишу, а не кручинясь»^[394].

Царь настойчиво внушал своим подданным, что всякая служба государю почетна. В контексте последующего развития утверждение подобного взгляда — условие перехода к абсолютистским принципам службы, поскольку деление дворянами службы на «честную» и «нечестную» оборачивалось для государства большими потерями. Однако идеал и реальность — вещи редко совпадающие. При всем своем благодушии Алексей Михайлович вполне усвоил эту печальную истину. Так что в повседневном общении с подданными он поневоле понижал планку требований. Похоже, известная снисходительность царя — порождение снисходительности к самому себе. Он хоть и писал родным, что «пребывает в службе», нередко позволял себе ради удовольствий послабление. В нем не было Петровской ярости и упорства, когда тот ни о чем не желал думать, кроме дела. Различие в личном отношении лишь подчеркивало различие эпох, в одной из которых монарх — земной наместник Бога, в другой — еще и созидатель.

Венчаясь на царство, молодой Алексей Михайлович воспринял происходящее в Успенском соборе как таинство, во время которого монарх обретает особую сущность. Но как соединить эту новообретенную сущность с греховной человеческой? Конечно, к услугам Алексея Михайловича было обширное богословское обоснование, призванное снять возникающие сомнения на этот счет. «Царь убо естеством подобен человеку, властию же подобен есть вышнему Богу», — утверждали богословские авторитеты. Однако сомнения рассеивали люди, никогда не возлагавшие на себя Мономахов венец. А как быть с помазуемыми на царство? Конечно, Алексею Михайловичу была по сердцу безапелляционная уверенность Грозного в божественном характере самодержавной власти и ее носителя. «Я народился на царстве Божьим изволением... Я взрос на государстве...» — эти слова царя Ивана Тишайший, кажется, мог повторять бесконечно. Но легко было уверовать царю Ивану, за спиной которого стояло множество поколений великих князей Московских! А каково было Алексею Михайловичу, государю во втором колене?

Алексей Михайлович постоянно чувствовал свою недостаточность. И постоянно пытался одолеть ее. Причем не только с помощью Тайного приказа и доверенных лиц, всецело послушных ему. Он постоянно искал то, что должно было укрепить его уверенность. Немалое значение для него имели примеры прошлого.

История для Тишайшего — живительный источник, к которому он припадал в моменты неуверенности и сомнений. Особенно благотворно на состояние царского духа влияла история Ивана IV. Грозный «прадед» для Алексея Михайловича — образец во всем. «Царь так увлекается чтением сочинений по истории Грозного и его войн, что наверняка захочет идти по его стопам», —

мрачно пророчествовали иностранцы. Пророчество сбылось ровно наполовину. Тишайший воевал не меньше Ивана Васильевича. Однако из его войны не выросли ни опричнина, ни новая смута.

Любопытно, что внутренняя рефлексия Алексея Михайловича побудила к поиску новых аргументов, которые бы подтвердили сакральную природу царской власти. Это не значит, что старые теологические построения, уподоблявшие царя земному Богу, были забыты. Напротив, их продолжали «разрабатывать», сакрализуя личность правящего государя. Царь и царица изображаются на иконах с нимбами — символами святости. Имя царя упоминают во время службы наравне со святыми. Не все приняли нововведения. «Жива человека святым не называй», — поучал неугомонный протопоп Аввакум, по своему обыкновению точнее других формулировавший ментальные представления русских людей, вошедшие в противоречие с новациями апологетов самодержавной власти. Но на самом деле нимб вполне вписывался в православную традицию — в византийской иконографии он ведь еще и символ вечной власти, идущей от Бога. Однако Аввакуму уже во всем мерещилось отступничество от старины.

Нельзя сказать, что сакрализация личности правящего государя получила законченный характер. Однако эта незаконченность проявилась вовсе не потому, что Алексей Михайлович и его преемники вняли предупреждениям раскольников. Прямые параллели резали слух и отторгались: не случайно старший сын Тишайшего, Федор Алексеевич, запретил в челобитных сравнивать царя с Богом, усмотрев в этом кощунство. Но самое главное — наступали иные времена. Процессы обмирщения уже влияли на всю систему ценностей. Прежние сакральные основания не казались безусловно достаточными для того, чтобы поддержать престиж

власти. Познающий человек апеллирует к разуму. В обращениях к власти и в законотворчестве самих правителей все настойчивее звучит тема Правды. Она, конечно же, Божественная правда, испокон веков присутствующая в писаниях книжников. Но она же и светская правда, признающая и исходящая из обыкновенного человеческого интереса. И уже Федор Алексеевич, отменяя местничество, прибегнет к чисто светским терминам: «общее добро», «общее государственное добро».

Алексей Михайлович так далеко не заходил. Но и у него уже мелькает мысль об «общем народе» и «общей пользе». А Ордин-Нащокин, отстаивая в споре с царем свою точку зрения, говорит о Правде, которая на поверку мало чем отличается от Петровской всепоглощающей «государственной пользы». И Тишайший не одергивает Ордина, а разделяет его убеждения.

Строгость, которую любил напускать на себя Алексей Михайлович, соседствовала с поступками глубоко человеческими. Собственно, именно они и дали возможность В. О. Ключевскому говорить об удивительном соединении в царе «власти и кротости». В нем не было самонадеянности, доходящей до мнительности и жестокости. Царь не забывал в себе человека, а значит, не забывал о том, что его окружают люди, которые на его государевой службе огорчаются, страдают и умирают. Одна из самых привлекательных черт личности Алексея Михайловича — его отзывчивость.

Царь не проходил равнодушно мимо чужого несчастья. В этих своих порывах Тишайший был очень искренен и очень прямодушен. Кажется, что именно здесь он таков, какой есть на самом деле, — открытый православный человек, без всякой примеси,

привнесенной вечной необходимостью быть на высоте сана.

История сохранила нам немало примеров царского сочувствия, из которых два самых примечательных связаны с князем Н. И. Одоевским и А. Л. Ординым-Нащокиным. Случилось так, что оба они оказались в роли безутешных отцов.

У князя Одоевского, бывшего на воеводстве в Казани, неожиданно умер старший сын, князь Михаил. Царь сам известил отца об утрате, рассказав о своих последних встречах с покойным. Письмо лишено пустой выпренности и избитости. Оно простодушно и в то же время пронизано тихим, сердечным сочувствием. Царь вспоминает о своем посещении имения Одоевских в Вишняках, о том, как хорошо и чинно принимали его сыновья боярина, не знавшие, как отблагодарить царя за редкую честь. «Да лошадью он да князь Федор (второй сын Н. И. Одоевского. — *И.А.*) челом ударили, и я молвил им: „По то ль я приезжал к вам, что грабить вас?“ — И он плачучи да говорил мне: „Мне-де, государь, тебя не видеть здесь; возьми-де, государь, для ради Христа, обрадуй, батюшка, и нас, нам же до века такова гостя не видать“. И я, видя их нелестное прошение и радость несуменую, взял жеребца темносера. Не лошадь дорога мне, всего лутчи их нелицемерная служба, и послушанье, и радость их ко мне...»

Царь писал, что заболел Одоевский неожиданно, что быстро и коварно болезнь одолела молодого, князя: «А болезнь та ево почала разжигать да и объявилась огневая». Умирал Михаил Никитич чуть ли не на глазах царя и смерть его в отличие от того, что писал царь про кончину патриарха Иосифа, была благой и светлой. Причастие он принял «ничево не молвия, как есть уснул; отнюдь рыдания не было, ни терзания».

Алексей Михайлович сочувствует старому боярину, потерявшему наследника: нельзя «не поскорбеть и не прослезиться», но делать это надо «в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать». Царь заканчивает свое послание простодушно и даже как-то неловко. Но за этой бесхитростной неловкостью стоит незамысловатая правда жизни, с которой Никите Ивановичу придется жить дальше, без старшего сына: «...А твоего сына Бог взял, а не враг (то есть дьявол. — *И.А.*) полатою придавил. Ведаешь ты и сам, Бог все на лутчие нам строит»^[395].

По обыкновению царь несколько раз правил письмо. Каждый новый экземпляр после таких «чернений» превращался в черновик. Дошедший до нас последний экземпляр наконец удовлетворил Алексея Михайловича и был переписан начисто. Однако в конце царь все же не удержался и приписал к утешительному посланию несколько слов: «Князь Никита Иванович! Не оскорбляйся, токмо уповай на Бога и на нас будь надежен!» Собственноручная царская приписка многого стоила: в то время царская рука на бумаге еще не успела превратиться в норму.

Эпизод с Ординым-Нащокиным был иного свойства. В феврале 1660 года сын Нащокина Воин бежал с дипломатическими документами и казною к полякам. Афанасий Лаврентьевич был безутешен. Казалось, исполнились самые мрачные пророчества. Он потакал сыну, брал ему в учителя поляков — вот и получил «изменника», отвергшего царские милости. С точки зрения закона и нравственности поступок Воина хуже смерти. Алексей Михайлович, собравшись утешить Ордина-Нащокина (тот с горя запросился в отставку, которую Тишайший не принял), написал об этом прямо: «Тебе, думному дворянину, болше этой беды вперед уже не будет: болше этой беды на свете не бывает!»

Однако в отличие от многочисленных недругов Афанасия Лаврентьевича, для которых случившееся — повод избавиться от худородного псковского выскочки, Алексей Михайлович не желает падения Ордина. Он ищет и находит слова сочувствия и даже... оправдания молодого Нащокина. Если вдуматься, ситуация уникальная. Царь Иван казнил «всеродно» за мнимые измены. Царь Алексей отказывается наказывать за измену явную, которую Ордин прозевал, в чем, конечно, виновен не меньше сына. Это плохо вяжется с тем, что называется самодержавием и самодержцем. Но, оказывается, бывает разное самодержавие, что и доказывает Тишайший. Царь начинает с того, что щедро рассыпает в адрес Афанасия Лаврентьевича похвалу. Он у него и «христоролюбец», и «трудолюб», и «всякому делу доброму ходатай». Весь этот бальзам — для успокоения Ордина-Нащокина. Царь чтит, дорожит и ценит его. Тут же сочувствие и супруге Афанасия в ее «великой скорби и туге».

Далее в письме следуют рассуждения по поводу поступка Воина. Это, конечно, зло. Но зло без злого умысла, от «простоты» и «дурости», с исходом ясным — побеждает, помянется и вернется. «А тому мы, великий государь, не подивляемся, что сын твой сплутал: знатно то, что с малодушия то учинил. Он человек молодой, хочет создания Владычня и творения руку Его видеть на сем свете; якоже и птица семо и овамо и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает: так и сын ваш вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от Святого Духа во святой купели, и к вам вскоре возвратится!»

Слова утешения, излитые на бумагу, показались царю недостаточны. Отправив со своим письмом к Ордину подьячего Ю. Никифорова, Алексей Михайлович наказал ему еще и словесно успокоить обманутого отца. Этим, однако, дело не ограничивается: печаль —

печалью, но следует задуматься о последствиях поступка Воина. Был он у отца в большом доверии и много о чем ведал. Да что отец, Алексей Михайлович также доверял изменнику, который бывал у него «тайно... не по одно время»! Царь настаивает, чтобы Ордин-Нащокин всячески «промышлял» о возвращении сына, сманивая даже деньгами: «...сулить и давать 5, 6 и 10 тысяч рублей». Если же с этим ничего не выйдет, то тогда уж можно и... извести. Последняя жестокая мера, впрочем, приемлема только с согласия Афанасия Лаврентьевича, на что тот в крайности готов был пойти. «О сыне печали у меня нет и его не жаль, а жаль дела», — объявил он в ответ, отказываясь от денег.

«Изводить» Воина не пришлось. Слова царя про возвращение перелетной птицы оказались вещими. То ли недовольный обхождением с ним на чужбине (ждал большего!), то ли в самом деле затосковав по родине, но Воин покаялся. В 1665 году он получил в Риге царскую грамоту, в которой Алексей Михайлович уведомлял его о разрешении вернуться и о прощении: «Челобитье твое приняв милостиво, прощаем и обнадеживаем целу и без навету быти. Родитель же твой, зря нашу милость, близ нас пребывают»^[396].

Дело Воина дает много для характеристики Алексея Михайловича. Конечно, царь не лишен был хитрости, однако искренняя и чуткая натура «перевесила» то, что можно было признать за обыденное поведение монарха, столкнувшегося с изменой. Тут много проще было пойти по проторенному пути — найти и наказать. Тишайший выпадает из «нормы». Ему по плечу оказываются милосердные порывы.

Подчеркивая душевные качества второго Романова, не лишне напомнить, что они очень часто отрицательно сказывались на нем как на государственном деятеле. Как человек Алексей Михайлович нередко торжествовал

над собою же как монархом. Благодушному и доброму царю недоставало в делах твердости. Не той, которая достигается опалами и казнями. А той, которая исходит от самой природы, от того, как смотрит, как говорит, даже как молчит правитель. Такая твердость не была дана ему. И этому не могли помочь ни грозные филиппики, ни тычки, ни даже кулаки. В гневливости царя было так много театрального, вычурного, что это не особенно пугало тех, кто хорошо знал его. Даже иностранцы отмечали, что царь «никогда не позволяет себе увлекаться дальше пинков и тузов».

Конечно, царь еще мог произвести впечатление своим гневом на какого-нибудь полковника Волжинского, распорядившись при его назначении «пошуметь на него гораздо за то, что он ево государевых дел делать ленитца». Но близких людей, раскусивших царскую натуру, гнев Тишайшего не мог обмануть. Он как шампанское: бурно пенился, но градуса был не самого крепкого. Это не Николай I, который не часто повышал голос, но зато мог посмотреть так, что чиновники обморочно закатывали глаза и верноподданно падали на пол. В отечественной истории Алексей Михайлович со времен славянофилов так и остался невольной альтернативой своему сыну Петру Великому: какой царь лучше — суровый и великий или добрый, но не реформатор.

Постоянное возвышение души к Богу, особенно в часы молитвенного обращения, было свойственно Алексею Михайловичу. Потому и исполнение утомительных обрядов и постов никогда не было ему в тягость. В этой поистине стоической приверженности царя к обрядам проявлялись черты, свойственные московскому типу религиозности вообще. Однако из этого вовсе не следует, что царь был приверженцем формального благочестия. Как человек

одухотворенный, он ратовал за преобладание внутренних, духовных мотивов. При этом внешнее, обрядовое, никогда не противопоставлялось внутреннему. Для него это просто неразделимо. Это и есть вера.

Заезжие греки были поражены знанием царя всех литургических тонкостей. Он мог поправлять во время службы священников и поучать архиереев. Но еще более поражала греков набожность государя. «Усердие москвичей к посещению церквей велико, — писал Павел Алеппский, — царь и царица ведут внутри своего дворца более совершенный образ жизни, чем святые: все время в посте и молитве... Не успели мы сесть за стол после обедни, как ударили ко всенощной... Вошли в церковь в 3 часа, а вышли в 10 часов... Мы вышли из церкви, умирая от усталости... Во время службы русские стоят, как статуи — молча, тихо, делая непрерывно земные поклоны... Они превосходят своим благочестием подвижников в пустыне»^[397].

Это описание стоической приверженности к обряду царя и его подданных не единственное. Павел Алеппский щедро заполняет ими свои записки. «О благополучный царь, — восклицает потрясенный грек. — ...Монах ты или подвижник?» И как итог, как некое пожатие плечами пред такой необъяснимой набожностью московитов: кто хочет сократить свою жизнь, пусть отправляется в далекую Россию...

В своей религиозной жизни Алексей Михайлович редко позволял себе послабления. Даже болезнь не всегда могла нарушить строгий порядок. Ежедневные молитвенные «упражнения», суровое постничество, горячее и искреннее покаяние, словом, неустанный и непрерывный душевный труд — вот что заполняет значительную часть жизни Тишайшего. Коллинз сообщал, что во время постов царь обедает всего три

раза в неделю, а остальное время довольствуется куском черного хлеба с солью, соленым грибком или огурчиком и выпивает кубок легкого пива. Великим постом он ест рыбу лишь дважды и постится семь недель. Словом, ни один монах так рьяно не блюдет часы молитв, как царь — посты. «Можно считать, что он постится восемь месяцев в год»^[398].

Иногда кажется, что жизнь Алексея Михайловича текла по двум, абсолютно непохожим друг на друга руслам. Одно — линейное, как сама жизнь, от рождения до смерти; жизнь, где происходят изменения, жизнь, которая, собственно, и есть история с ее происшествиями, переменами и событиями. Другое русло — круг, где все повторяется, и каждый день в году похож на такой же в прошлом и должен быть похож на такой же в будущем. Такая жизнь течет как бы вне истории и вне времени, отчего в однообразии своем превращается почти в вечность. Да, собственно, это и есть вечность: вечность библейских сюжетов, повторяющихся в годичных циклах; вечность Православного Царства, каждый день живущего одной и той же благочестивой жизнью прежних, настоящих и будущих времен.

Для современного читателя подобное существование может показаться монотонным и маловразумительным. Но для Алексея Михайловича и его современников в нем как раз и заключалась истинная жизнь, полная божественного смысла, аллегорий и символов. Жизнь, где небесное, горнее признавалось несравнимо выше земного, тленного. Жизнь как приуготовление к жизни вечной, как шанс на спасение, где каждый спасается, исполняя ему предначертанное. Именно так смотрел на церковные церемонии царь Алексей.

Но это лишь одна сторона дела. Существовала и другая, не менее актуальная для нашего героя. Обожествление царской власти было неразрывно связано с идеей священного характера самого Православного царства. Вписываясь в общую религиозную систему, царский сан становился особой формой церковного служения. Вот отчего чин и порядок приобретали здесь столь важное значение: ведь в противном случае нарушалось не просто действие, а почти священослужение!

Неудивительно, что Алексей Михайлович, человек долга и живой веры, смотрел на свое участие в церковных и придворных церемониях как на нечто, предначертанное ему свыше, по долгу царскому и христианскому. Своим *явленным* благочестием он спасался сам и спасал свое царство. Это было *прямое* царское служение, не менее важное, чем обережение границ или справедливый суд.

Понятно, что при таком понимании придворный и церковный церемониал приобретал системообразующее значение. Каждым жестом и словом он объединял и расставлял людей согласно их «чину», подтверждал существующий порядок и традиционные ценности. И чем слабее оказывались позиции последних, тем сильнее проявлялась приверженность первых Романовых к церемониалу и этикету. Неизменный церемониал — это как сохраненный текст, отраженный зеркально. Его невозможно прочесть. Зато его содержание угадывается с одного взгляда. Угадавшись же, наделяется «священным смыслом», отчего любая попытка изменить этикет и церемониал воспринимается как покушение на устои.

Церемониал весь проникнут символами и образами-действиями. Его сила — в эмоциональном воздействии. Но это не просто эмоции. За эмоциями стоит смысл, или, точнее, они соединяются, срастаются со смыслом. В

отличие от потомков участники церемоний легко «прочитывали» происходящее. Каждая перемена в слове и жесте, в порядке и направлении движения, в одеянии и его цвете, в количестве участников и их расположении, словом, во всем, из чего складывалась церемония, имела для них смысл и значение. Все маркировано, все символично и оттого «говорливо». Хотя очень часто сам «разговор» был лишен слов. Оттого все предельно выразительно и эмоционально запоминаемо.

Алексей Михайлович — неперемный участник главнейших церковных церемоний и праздников. Именно он придавал им особый блеск и торжественность, являясь, по меткому определению В. О. Ключевского, перед народом земным богом в «неземном величии»^[399]. В этом благочестивый царь старался, по-видимому, следовать примеру византийских и московских государей. Однако сохранность отечественных источников такова, что в большинстве случаев именно по описанию церковных торжеств и служб с участием Алексея Михайловича историки могут воссоздать церемониал московского двора и предположить, как он происходил в более ранние времена.

Но надо признать, что едва ли такая «реставрация» будет точной. Колоссальное духовное напряжение, ставшее отличительной чертой века, побуждало царя и его приближенных осмысливать все свои усилия как устройство Москвы — «Нового Иерусалима», символа присутствия и благословения Божьего, куда «спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою»^[400]. Такое понимание обязывало во всем соответствовать мессианской предназначенности. Эта и была, условно говоря, «генеральная идея», пронизывающая

идеологию Царства и ее церемониальное и обрядовое оформление. В своем реальном исполнении сама идея тотчас обрастала дополнительными «сюжетами», требующими незамедлительного ответа в силу их злободневности. Так, весь опыт Смуты побуждал Романовых с особым рвением подчеркивать священный характер царской власти и богоизбранность новой династии. События середины века актуализировали мысль о православном государе как едином и справедливом представителе Божественной власти в православном государстве. Именно поэтому в правление Алексея Михайловича придворные и церковные церемонии получили наиболее полное выражение, свидетельствуя, с одной стороны, о благочестии и смирении Московских государей, верных сынов церкви, с другой — о недостижимой высоте царского сана, столь полно воплощенной в торжественном шествии Царя Земного к Царю Небесному. Последнее имело даже явную тенденцию к преобладанию: московский государь все более представал перед подданными в роли защитника и покровителя церкви, единого священного представителя Божественной власти, потеснившего даже патриарха. Одним словом, отталкиваясь от прошлого, церемониал XVII века, несомненно, приобретал новые черты и краски. Однако далеко не всегда можно определить, где все же поверх поблекших красок легли новые мазки...

Для самого Алексея Михайловича церемония — одно из самых ярких воплощений столь почитаемого им порядка и чина. Документы не позволяют во всей полноте воссоздать его деятельность в этой области. Но даже те фрагменты, которые сохранились, дают основания говорить, что вопросы «устроения» церемониала горячо волновали царя. Он буквально упивался посольскими встречами, выходами, крестными

ходами, церковными службами. И если царское служение обязывало его подавать пример величия и благочестия, то, по убеждению Алексея Михайловича, это должно было быть сделано выразительно, торжественно и поучительно. Потому царь вмешивался в ход церемоний, составлял речи, распределял роли и даже занимался их «оформлением». Во всем этом легко уловить пристрастия и вкусы Тишайшего, его тяготение к чрезмерной пышности и великолепию. Стиль второго Романова — это очень державный, очень многословный и тяжеловесный стиль, в котором *казаться* всегда преобладает над *быть*.

Правление Алексея Михайловича стало временем расцвета придворного и церковного церемониала Московского царства. Со смертью Тишайшего все клонится к закату, утрачивает прежнюю монументальность и знаковый смысл. Наследники Алексея Михайловича реже участвуют в торжествах. С отсутствием же в церемонии монарха все блекнет и теряет высокое звучание. Оказывается, что в отличие от патриарха, место которого мог занять местоблюститель патриаршего престола, царя заменить некем, и это обстоятельство обернулось для старомосковского придворного и церковного церемониала утратой невосполнимой.

Произошло это, конечно, не сразу. Царь Федор еще пытался поддержать дух прежнего царствования. Кое в чем он даже превзошел отца. Но на большее не хватило ни физических сил, ни отпущенного времени жизни. Младший, Петр, пока не оперился и не научился поступать по-своему, участвовал в отдельных церемониях и торжественных царских выходах. Но очень скоро стало ясно, что он предпочитает шествию на осляти триумфальное прохождение с войском по улицам Москвы. Пьяный гомон Всешутейшего собора и огни фейерверков быстро заменили ему разноцветье

брошенных под ноги кафтанов и возгласов «Осанна». Восторжествовал иной тип культуры, иная модель взаимоотношений с церковью, иной, убийственный для прошлого, стиль публичного времяпрепровождения. Возможно, не потеряй так рано Петр отца, все могло пойти по другому сценарию. Но будущий преобразователь не успел напитаться благочестивым примером. Наставление же словом, да еще словом для него неавторитетным, не царским и не отцовским, оказалось совершенно бесполезным. Петр вырос духовно чуждым к тому, к чему так был привержен Алексей Михайлович.

Следует различать церемонии церковные и придворные. Одно из главных различий между ними — в сценарии. Придворные церемонии строились по принципу постепенного и последовательного иерархического приближения к государю — высшему земному совершенству, а затем движения вниз, по нисходящей, от царя к подданным, внимающим монаршую волю. Показательнее всего в этом отношении посольские аудиенции: первая, вторая, третья встреча, причем чем ближе к государю, тем знатнее и выше встречающие, богаче и великолепнее их окружение. Апофеоз — встреча с Алексеем Михайловичем, приветственные речи и подношение посольских даров. Царь, как солнце, в ответ одаривал теплом — приветливым словом, или, напротив, прятался за тучу — оставался холоден и сдержан. Церемониал предусматривал множество способов проявления этого волеизлияния: от обстановки на встрече до подарков и числа блюд, посланных с государева стола послам и их свите.

Сценарий церковных празднеств имел свои особенности. В них Тишайший принужден был несколько потесниться: рядом с ним появлялись новые «герои». Царь возносил молитвы к Богу, Богоматери,

святым. В шествии участвовали патриарх, духовенство. Царь выступал в роли послушного сына церкви, наглядно выстраивая в отношениях с патриархом то, что называется «симфонией властей».

Существовали «обыкновенные» царские выходы к обедне и богомольные выходы в праздничные дни. Вне зависимости от их значения царя всегда сопровождали придворные. Выходы Алексей Михайлович чаще всего совершал пешком. Иногда, в непогоду или зимою, ему подавали карету, сани, на которых он мог вернуться во дворец по окончании церемонии или добраться до места праздника, если он происходил далеко от дворца. Впрочем, в официальной терминологии царь все равно не ехал — «шел саньми».

Участие царя в церковных праздниках и в придворных церемониях придавало им высокий смысл. Мелочей не было. Если царь принимает шествие в крестном ходе, то «благовест в Ревут», нет — «ино в Лебед»^[401]. Уже само облачение Алексея Михайловича и число смен платья свидетельствовали о «ранге события». На целый ряд праздников — Новолетие, Богоявление, Воскресение Христово, Троицын день, в день Входа Господня во Иерусалим — Тишайший предстал перед своими подданными в Большом наряде. Для подданных, получавших возможность увидеть Алексея Михайловича во всем великолепии и блеске царского наряда, это и было, собственно, лицезрение Царя Земного.

Иногда Алексей Михайлович облачался в Большой наряд в самой церкви. Тогда это было уже не просто облачение, а возложение царского сана, напоминание о сакральной природе власти государя, обретенной под церковными сводами в день венчания. Снятие же знаков царской власти по окончании службы — поучительная демонстрация кротости и смирения.

Второй Романов, проникнутый чувством благоговения, всенародно покидал храм, умерив свой блеск и величие. Наконец, само шествие с патриархом, властями, духовенством, «честными крестами», мощами и святыми иконами, в сопровождении придворных — все это зримо и осязаемо соединяло в одно целое атрибуты царской власти с атрибутами священного происхождения.

Пытаясь типологизировать царские выходы, историки еще в XIX веке разделили каждый из них на три части. Самая торжественная и великолепная — первая — шествие царя из дворца в церковь. Вторая часть — пребывание в самой церкви, где кроткий царь земной смиренно склонял голову пред Царем Небесным. Заключительная часть — торжественное, но часто уже лишенное прежнего величия возвращение во дворец. Примечательно, что этот сценарий был отличен от византийского. Василевсы не были склонны поступаться даже пред Богом, не говоря уже о византийском духовенстве, занимавшем в их шествиях куда более скромное положение в сравнении с московским^[402].

Божественное и высокое соседствовало в праздниках с приземленным, «низменным», имеющим прямое отношение к прозе придворных буден. При этом современники, умевшие прочитывать заключенный в обрядах смысл, тотчас делали необходимые для себя выводы. В этом плане церемонии, или, точнее, сбои и казусы в них, служили своеобразным барометром атмосферы при дворе со всеми положенными в таких случаях на шкале делениями от «спокойно» до «переменно» и «бури». Достаточно вспомнить, что в канун открытого разрыва Алексея Михайловича с Никоном государь не явился на праздник Казанской Божией Матери. Отсутствие царского выхода в день, когда по обыкновению выход случался,

свидетельствовало о многом. Ведь в праздник службы справлял сам патриарх, к тому же накануне по традиции звавший царя с боярами к себе. Царь же не явился, проигнорировал приглашение! Здесь уж самому неискушенному стало понятно, что над головой Никона сгустились грозные тучи.

Нет ни необходимости, ни возможности описать все царские выходы Тишайшего. Остановимся лишь на самых главных, чтобы можно было хотя бы в общих чертах представить, из чего «складывался» год жизни Алексея Михайловича.

Январь открывался праздником Богоявления, который отмечали с большой торжественностью и почти с ежегодным участием в нем царя и патриарха. Центральный момент праздника — крестный ход 6 января на Иордань. При Алексее Михайловиче шествие отличалось особым великолепием и многолюдством. Едва ли когда-нибудь тема сакральности и величия царской власти и ее носителя утверждалась с такой полнотой и видимой убедительностью, как в этот день.

Государь выходил из покоев около 4 часов дня (то есть, по нашему времяисчислению, около 12 часов), о чем возвещали колокольным звоном с Ивана Великого. Затем Алексей Михайлович шел в придел Димитрия Солунского Успенского собора, где менял платье. То было, как уже отмечалось, ритуальное облачение в наряд Большой казны с провозглашением многолетия и молитвами перед иконами и святыми мощами.

В Успенский собор вместе с царем входили только высшие чины — думные и ближние люди. Остальные придворные ожидали царя и патриарха на площади. После службы патриарх и духовенство, выйдя из западных ворот, начинали ход на Иордань. Алексей Михайлович присоединялся к шествию, покинув храм через южные ворота.

Ход открывали стрельцы, отобранные из Стремянного и других полков числом до 600 и более человек. За ними двигалось духовенство, расставленное по степеням — младшие впереди старших. Одних приходских священников и дьяконов в иные годы набиралось до пятисот человек! Еще величественнее выглядело шествие архиереев и архимандритов, возглавляемое самим патриархом. Следом шел царь с придворными. Все были одеты чрезвычайно богато — шубы, бархатные и «в золотах» кафтаны. Огромным было стечение народа. Иностранцы, явно преувеличивая, вели счет в сотни тысяч. Толпу разрезал двойной строй стрельцов, по которому двигалась процессия. Строй змеился от Успенского собора, мимо Ивана Великого и Архангельского собора, к воротам под церковь Черниговских Чудотворцев и далее к Тайницкой башне, напротив которой, на льду Москвы-реки, и устанавливалась специальная сень — искусно сделанная беседка с крестом. По углам сени располагались изображения евангелистов, внутри — апостолов и Крещения Господня. Здесь же была прорубь — Иордань. Для Алексея Михайловича и патриарха делались особые места. Сени и царское, и патриаршее места обносились решеткой, а все пространство покрывалось красным праздничным сукном^[403].

По пришествии государя к Иордани патриарх осенял крестом царя и его окружение, раздавал всем свечи, кадила и совершал водоосвящение по чину. По освящении патриарх наполнял святой водой специальную государеву стопу для дворца — из нее впоследствии брали воду и окропляли все внутренние покои; затем, взойдя на свое место, здоровствовал Алексея Михайловича, давал целовать крест и кропил святой водой. Затем к кресту прикладывались и

окроплялись все остальные участники церемонии. Одновременно два архимандрита отправлялись кропить святою водою всех православных — войска и народ. Вода, освященная в день Богоявления, ценилась особо. Считалось, что благодать Святого Духа нисходит на нее в этот день в несколько раз сильнее, чем в день простого, так называемого «малого» освящения воды.

За годы царствования Алексея Михайловича «сценарий» шествия не претерпел существенных перемен, лишь приобрел большую торжественность и величие. Свои поправки вносили события придворной жизни: после удаления Никона водосвятие совершали иерархи, занимавшие место патриарха. В 1667 году, по низложению Никона и в отсутствие собственного патриарха, водосвятие и литургию совершали патриархи Макарий и Паисий. Случалось водосвятие и с оглядкой: в 1649 году ходили слухи, что стрельцы вознамерились во время церемонии расправиться с вернувшимся в Москву боярином Б. И. Морозовым.

С Иордани Алексей Михайлович обыкновенно возвращался в Кремль в санях. Если ход случался до обедни, шел на Троицкое подворье, в церковь Богоявления. Торжества заканчивались столом у государя, за которым Алексей Михайлович одаривал своих гостей — духовных властей и придворных.

Приближение Великого поста — времени суда над всеми делами и помышлениями человеческими — Тишайший встречал в напряжении всех своих душевных сил. Для него это были дни особых благочестивых упражнений, призванных отрешить человека от житейских страстей и вселить в душу покаянное настроение. Сам царь должен был в этом служить всем примером. В «неделю мясопустную», то есть в воскресенье перед Масленицей, Алексей Михайлович задолго до рассвета отправлялся в обход тюрем и богаделен. Он собственноручно раздавал деньги

узникам и колодникам, а некоторых тут же отпускал на свободу.

Заметим, что христианские добродетели — нищелюбие и милосердие — приводили Алексея Михайловича в эти мрачные места по несколько раз в году. В Дворцовых разрядах, Дневальных записях и просто в делопроизводстве приказов то и дело упоминаются случаи выходов Алексея Михайловича «со своим государевым жалованьем» к нищим, в богадельни и тюрьмы. Все это было делом обыкновенным и необходимым для благочестивого и богобоязненного жития, нравственной потребностью, приближающей Алексея Михайловича к тогдашнему идеалу добродетельного монарха. Чаще всего подобные царские ходы случались по большим церковным праздникам, в канун царских именин и в поминальные дни. Облегчение колодникам приносили радостные или, напротив, печальные события в царской семье — смерти и рождения. Раздача обыкновенно начиналась очень рано: царь подымался за два-три часа до рассвета и в сопровождении нескольких лиц отправлялся с милостыней.

Эти раздачи, как по сумме затраченных средств, так и по числу людей, «пожалованных милостью», достигали цифр очень внушительных. Приведем несколько примеров. 4 июля 1669 года на Тюремном дворе царь «пожаловал» 766 человек, на Земском дворе — 231, в приказах — еще 87. Не прошел Тишайший в этот день и мимо монастырских богаделен: здесь милость получили еще 1274 человека. Это — не считая поджидавших царя нищих. Тех было «безщетно»^[404].

В 1664 году, в Рождественский сочельник, царь ходил по тюрьмам. Источник перечисляет места и приказы, где находились тюремные сидельцы: «А роздано... в опальной поляком 98 человеком по рублю, в

барышкине 98, в заводной 120, в холопе 68, в сибирке 79, в розбойном 160, в татарке 87, в женской 27, тюремным сторожем 8, всего 647 человек по полтине». Далее Алексей Михайлович заглянул к пленным на Английский двор. Людей здесь было меньше, зато траты оказались значительнее, поскольку царь, строго говоря, уже не нищелюбствовал, а «жаловал» — здесь сидело немало знатных пленников. Полковнику было дано 40 рублей, остальным офицерам — в соответствии с чином. При этом самым низшим — гайдукам, челядникам, черкасам и прочим — досталось по полтине. Но зато таких набралось 407 человек.

Затем Алексей Михайлович принялся одаривать раненых солдат полка Агея Шепелева. Одновременно в Китае и Белом городе от имени государя стали раздавать милостыню нищим. Обошлось в этот день царское нищелюбие в немалую сумму — 1131 рубль и 4 алтына^[405].

Но, пожалуй, особенно опустошительным для казенных сундуков были раздачи в Великий пост, прежде всего в Страстную неделю, а также на Пасху, когда отворялись двери острогов и тюрем и сидельцам объявляли: «Христос воскрес и для вас». От царского имени всех одаривали пасхальными яйцами, одеждой и милостыню для разговенья. Понятно, что в такие великие дни нельзя было раздавать меньше или наравне с обычными днями. Суммы стремительно росли, особенно если государственные дела шли неудачно или в царском семействе кто-то хворал. Подобное воспринималось Тишайшим как наказание за прегрешения, требующие искупления и молитвенного заступничества.

Милостыню щедро раздавали и во время богомольных походов Тишайшего. Здесь перепадало не столько московской, сколько провинциальной нищей

братии, поджидавшей царя на дорогах и в местах ночевки. Вот краткое описание октябрьского похода Тишайшего в Троицу в 1674 году: до Братюшина царь одарил 63 человека, до Воздвижения — 100, до Убитикова оврага — еще 30. Итого 193 человека, каждый из которых получил по алтыну. В местах остановок были устроены кормления опять же с денежной раздачей. Сто нищих получили «по дву денежному колачю», чарке вина, кружке меду и одному алтыну. В самом монастыре царь несколько раз устраивал кормления для обитателей богаделен и нищих^[406].

Деньги, которые Алексей Михайлович раздавал лично, назывались «порушной милостыней». Обыкновенно царь одаривал всех одинаково. Алексей Михайлович однажды сам объяснил, почему так следует поступать. Будучи душеприказчиком патриарха Иосифа, он столкнулся с необходимостью раздать на помин души патриарха келейные деньги усопшего. Однако прижимистый Иосиф на этот счет не оставил никаких указаний. Пришлось царю самому принимать решение. Деньги приказано было раздавать нищим равно с указанием: «Потому и милостыня нарицается, что всем равна».

Царь мог, впрочем, и рассердиться на нищих, если те в своем вымогательстве преступали всякую меру. В 1672 году велено было нищего Успенского собора Савву Чумичева со всей семьей выслать за «невежливое челобитье» в Ростов и «без указу его к Москве не отпускать». Этот случай приоткрывает еще одну особенность во взаимоотношениях царя с нищей братией. Для Алексея Михайловича нищелюбие еще и государственная обязанность. Ведь при отождествлении личности государя и государства молитва нищего о благополучии царя есть молитва о

благополучии всего царства. Не случайно по официальной терминологии милостыня Алексея Михайловича есть *пожалование*, как бы обязывающее нищих и убогих своею молитвою «служить» государю, как служат пожалованные денежными и земельными окладами дворяне.

Столь сильная «нужда» общества в нищих делала попрошайничество профессией. Как всякая профессия, она имела своих мастеров, подмастерьев и учеников. Несомненно, настоящими мастерами были «верховые нищие», составляющие постоянный штат «личных нищих» Алексея Михайловича. Некоторые из них обитали во дворце, часто общались с царем, а главное, ощущали его постоянную заботу. Расходы на них шли по ведомству Тайного приказа, который сохранил в своем делопроизводстве записи типа: куплено верховым нищим в январе 1673 года по царскому указу «сапоги телятинные и барановые».

Но вернемся к кануну Великого поста. Из острогов и тюрем Алексей Михайлович шел к воскресной заутрене. По ее окончании на Ивановской площади совершался молебен перед образом Страшного суда. Центральным событием здесь было чтение Евангелия от Матфея о Страшном суде. Чтение совершали с четырех аналоев на все четыре стороны света. Начинал сам патриарх, стоявший лицом на восток, по окончании стиха его повторяли диаконы. Иногда ограничивались двумя «чтецами» — патриархом и протодиаконом. Смысл, однако, оставался прежний: напоминание всем православным о Страшном суде, когда «настанет страх и ужас, каких никогда еще от начала мира и до сего дни не было и не будет» (слова святого Ефрема Сирина). Чтение завершалось тем, что патриарх отирал губкою образ Страшного суда и другие иконы, затем осенял крестом и кропил святой водой царя, властей духовных и светских, стоявший внизу народ.

По окончании действия Алексей Михайлович отправлялся слушать обедню в Благовещенский собор, а патриарх с крестным ходом возвращался в Успенский собор. В это время в Столовой, а иногда и в Золотой палате шли необычайные приготовления. Накрывался и уставлялся яствами огромный стол для нищей братии. Дело в том, что в канун поминания угодников и усопших родных тема нищелюбия вновь приобретала особое звучание. Алексей Михайлович принимал нищих как самых высоких гостей, жалую из своих рук кормом и деньгами.

Устраивались царем столы для нищих и в другие дни. Так, 10 апреля 1665 года, в неделю жен-мироносиц, царь усадил 60 нищих за стол в Передней палате и в Комнате, то есть в своих личных покоях. Потчевали нищих в дни семейных торжеств. При этом Тишайший не просто подавал детям пример нищелюбия. Он приучал их к этому. В 1667 году, по объявлении Алексея Алексеевича наследником, в Передней палате был устроен от имени царевича стол для убогих.

Подобные угощения были делом обычным для православной Руси. Напротив, долгое время именно петровское преследование нищих, прекращение их кормления воспринималось как отступление от благочестивой традиции. Согласно Евангелию, благотворя нищим и убогим, христианин в их лице благотворит Христу. Милостыня — один из путей к искуплению и спасению. В этом смысле нищие были так же необходимы богатым, как сами богатые — нищим.

Разумеется, и до Петра об этой христианской добродетели нередко забывали. Но если Петр видел в потворстве нищим, способным работать, вред государству, то отказ нищелюбствовать в XVI–XVII веках объяснялся жестокосердием и скупостью. Еще Стоглав писал о нищих, что они «всякую скорбь терпят и не

имеют, где главы подклонити», и что им не сочувствуют и не милосердствуют — «езде их гнушаются». Второй царь из дома Романовых зарекомендовал себя великим милостником и нищелюбом. Риторический вопрос Стоглава: «На ком грех взыщется?» — за гибель нищих от «недозора» и «глада», он отнес к себе и в своей щедрости к убогим превзошел всех московских государей.

...На Масленице, во вторник и в четверг, в Успенском соборе совершалось поминовение усопших святителей московских — патриархов и митрополитов. С этих панихид начинались Прощеные дни. Алексей Михайлович открывал их объездами по монастырям и монастырским подворьям. Начинал он с кремлевских и заканчивал загородными монастырями. Объезды занимали несколько дней — со среды до пятницы. Особенно торжественно было посещение Новоспасской обители, куда Алексей Михайлович ходил прощаться на могилы своих предков.

В Прощеное воскресенье, перед Великим постом, к царю приходил прощаться патриарх. Обряд совершался в Столовой палате. После патриарха к царю подходили прощаться духовенство и придворные. Царь жаловал к руке сначала членов Боярской думы, затем, по нисходящей, представителей московских чинов. Церемония была утомительна и требовала огромного терпения — перед государем проходили сотни человек, произносивших прощенье слова и припадавших к руке. Кажется, в этом смысле утомительнее для царя были лишь пасхальные дни.

Обряд включал еще один важный момент — принятие прощальных чаш и тайное прощание царя и патриарха. Церемония проходила в Крестовой или Столовой палате Патриаршего дворца. По указу государя стольники подносили в трех кубках патриарху романею, рейнское и бастру. Приняв кубки, владыка

отливал из каждого для себя, а затем подносил Алексею Михайловичу «всех питей по три кубка». Государь пробовал из каждого и отдавал кубки стольникам, которые несли их назад в сени, где находился принесенный с Сытного двора питейный поставец. После этого стольники тем же порядком вносили кубки для бояр и думных людей, пришедших с государем.

Вся церемония «тем же обычаем» повторялась с красным медом — государю три ковш, боярам по одному, причем ковш был золотой. Затем наступал черед для белого меда, который разносили в серебряных ковшах. После прощальной чаши наступало время сокровенной беседы царя и патриарха — напоминание всем о духовном предназначении великого архипастыря. Все покидали Крестовую, оставляя Алексея Михайловича с глазу на глаз с патриархом. Беседа включала ряд уставных вопросов: как царь держит христианскую веру и не склонен ли к ереси? С верою ли поклоняется иконам и с чистым ли сердцем кается и держит духовное послушание?^[407]

Алексею Михайловичу пришлось вести такие беседы с пятью патриархами, из которых троих — Иосифа, Иоасафа II и Питирима он пережил, одного — Никона — низвергнул, а последний, Иоаким, пережил его. Едва ли эти «тайные беседы» выходили за рамки традиционных исповедальных расспросов. Исключение мог составить лишь Никон, да и то в первые годы патриаршества, когда его духовное влияние на Алексея Михайловича было чрезвычайно сильным.

Обряд прощения повторялся в Великую среду Страстной недели, по окончании великопостных служб. Происходил он в Успенском соборе, где царь, патриарх, власти и придворные взаимно испрашивали прощение. Алексей Михайлович упоминал об этом обряде в своем

рассказе Никону о последней встрече с патриархом Иосифом. Патриарх из-за болезни не был ни у заутрени, ни у обедни. Тогда царь сам отправился к владыке. «И посидя немного, я встал и ево поднял, и так ево почало знобить, не смог и достойно проговорить славу, проговорил с отпуском насилу. Да почел ко мне прощения говорить, что говорят в среду на Страстной. И я ему отвещал по уставу, да сам почел прощение к нему творить да поклонился в землю ему, а он малой поклон сотворил»^[408].

Обряд прощения в Великую среду включал не только традиционные увещание и ответы «по уставу», но и важные обрядовые действия. Во время службы патриарх без митры, стоя у амвона, творил молитву «Владыко многомилостиве»; присутствующие в соборе, включая царя, склонялись в большом поклоне. По окончании молитвы патриарх испрашивал прощение у духовенства. Затем к патриарху подходил Алексей Михайлович, просил вслух прощение и получал благословение. Следом просили прощения у владыки духовные власти, бояре и остальные присутствующие в порядке своего чина.

На первой неделе Великого поста, в воскресенье, совершалась еще одна церемония, призванная с особой силой выразить православный характер Московского царства. Это было «действие Православия», или Торжество Православия. В Московскую Русь оно пришло из Византии и было связано с окончательной победой над иконоборцами. В Царьграде празднество включало торжественное шествие в Святую Софию, которая тем самым как бы навсегда отбиралась у иконоборцев^[409]. На русской почве «действие Православия» приобрело более широкое толкование. Оно должно было символизировать торжество церковных установлений и норм в жизни всей православной Руси.

Церемония проходила на площади перед Успенским собором, для чего заранее устраивался помост с местами для патриарха и царя. Алексей Михайлович, всегда пекшийся о великолепии подобных зрелищ, особенно заботился о красоте помоста. Известно, что в 1673 году по царскому распоряжению такой помост был «зело добре устроен», для чего на него не пожалели ни красных сукон, ни ковров, ни даже стекол. Из дворца для чудотворных икон принесли «кресла, или подмости».

Благовестные воскресные колокола, сменяясь «валовым» звоном, созывали православных. Действо начиналось крестным ходом «сверху». Из царских покоев и Верховых соборов — Благовещенского, Спасского за Золотую решеткою, Рождественского на сених — выносили особо почитаемые иконы. Следом появлялся в Большом наряде Алексей Михайлович. Патриарх встречал иконы и государя против Грановитой палаты. После молебна процессия направлялась к помосту. Под пение канона размещали иконы, после чего следовало поучение о чести святых икон — прямое напоминание о корнях праздника. При этом во время возглашения «аще кто не почитает и не кланяется святым иконам, да будет анафема», Алексей Михайлович сходил со своего места и прикладывался к иконам. Следом за ним прикладывались патриарх, власти, светские чины.

Особое место в церемонии занимало «возглашение» синодика, совершаемое протодиаконом. Пение вечной памяти сменялось провозглашением анафемы еретикам и неправоверующим. Все они объявлялись врагами церкви и государства. При Алексее Михайловиче к прежним обидчикам церкви прибавились Разин и раскольники.

По-видимому, на уровне повседневных представлений анафема затмевала иной смысл

происходящего. Когда Витсен, чье любопытство не знало предела, поинтересовался о значении праздника, то получил такое разъяснение: это день, «когда проклинают всех нечестивых», включая католиков и протестантов, «всех, кто желал и желает зла этой стране»^[410].

Для второго Романова происходившее наполнялось более глубоким, сокровенным смыслом. Среди тех, кому возглашалась вечная память, были и государи, и все «мужественно боровшиеся и погибшие за православную веру». В этом перечне имен как бы воспроизводилась сама история Московской Руси, превращавшаяся в рассказ о торжестве не только Православия, но и православного царства. Здесь даже анафема напоминала о том же: то были имена поверженных врагов веры и государства.

Именины Алексея Михайловича падали на время Великого поста. 17 марта праздновали святого и праведного Алексея, человека Божия, и преподобного отца Макария Калязинского. День начинался с поездки в Алексеевский девичий монастырь, где царь с придворными и высшим духовенством слушал праздничную литургию. Выезд отличался богатством нарядов и многочисленностью участников, в чем, конечно, легко усмотреть вкус Тишайшего. Он не просто любил всякое «урядство» и «чин», а именно очень пышное «урядство» и очень величественный чин.

Современники оставили несколько описаний царских именин. Все тот же неугомонный Витсен, сумевший побывать и на выезде царя в монастырь, записал: Алексей Михайлович ехал в высокой черной лисьей шапке и в кафтане, украшенном драгоценными камнями. Просители в великом множестве протягивали царю челобитные, которые, «если он прикажет», принимали придворные. Все кланялись до земли.

Витсен, затесавшийся в толпу в русской одежде, принужден был тоже поклониться.

По возвращении во дворец Тишайший угощал близких именинным пирогом. Как выражение особого уважения, он иногда отправлялся с именинным пирогом к патриарху. Боярам и прочим придворным именинные пироги раздавались в Столовой или в Передней Теремного дворца^[411].

В дни Великого поста именинный стол устраивался довольно редко. Обычно Алексей Михайлович предпочитал жаловать столом и кормами. Перепадало и иностранцам. Несмотря на пост, пища, по уверению Витсена, отличалась большим разнообразием и была «красиво оформлена».

Царские именины — день праздничный, когда все работы были запрещены, торговые ряды замкнуты, а в церквях не играли свадеб и не отпевали покойников.

В шестую неделю Великого поста праздновалось Вербное воскресенье. Центральным событием праздника было воспоминание о входе Спасителя в Иерусалим. Для этого устраивалось шествие на ослиати, где главными фигурами становились патриарх, символизирующий Христа, и царь, смиренно ведущий патриаршию лошадь за повод во «Святой Град». Действие это пришло на Русь из Византии. Известно, что оно совершалось в Константинополе и в Иерусалиме. Однако происходило оно без участия светских лиц. Да и трудно представить, чтобы императорская власть в Византии снизошла до такого публичного унижения перед властью духовной.

В самой Москве «цветоносное действо» также возникло не сразу. Историки считают, что первоначально оно появилось в Новгороде. Известно, что церемонию эту совершал «на цветоносный день» архиепископ Геннадий на рубеже XV–XVI веков.

И. Е. Забелин пишет, что ход совершался «от Софии Премудрости Божией до Иерусалима, також и назад». Затем, при митрополите Макарии, церемония перекочевала в Москву^[412]. К этому времени греческий обряд был уже перетолкован на русский лад — осла (точнее, лошадь) стало вести не духовное, а светское лицо. Это соединение светского и церковного начал попытался, объяснить Б. А. Успенский. Известный исследователь связывает перемену в обряде с влиянием на него «Сказания о вене Константиновой», то есть дарственной грамоте, будто бы выданной императором Константином папе Сильвестру. В «Сказании» Константин венчает папу белым венцом и в знак почтения к его сану берет его коня под уздцы, повелевая делать то же самое своим преемникам. «Сказание» легло в основу «Повести о белом клобуке», широко распространенной в Новгородской земле. Ну а симпатии митрополита Макария к традициям новгородской церковной жизни хорошо известны^[413].

Примечательно, что Соборное определение 1678 года упоминает о шествии на ослята как о церемонии, появившейся достаточно поздно. По утверждению авторов, сам ход возник «не от древних век, но мало прежде нашего жития, во время мятежное, бывшу во государстве сем смятению великому, сие действие воведеса во церковь и доньне хранимо бывает безпрепятно»^[414]. По-видимому, «время мятежное» — это боярские смуты в малолетство Ивана Грозного, а также Московское восстание 1547 года, последовавшее за знаменитым пожаром.

Шествие в Вербное воскресенье было чрезвычайно популярно в народе. В 1611 году поляки, опасаясь беспорядков из-за огромного стечения народа, объявили об отмене шествия. Это вызвало всеобщий ропот. Москвичи кричали, что «лучше умереть всем, чем

отказаться от празднования этого дня». В итоге ход все-таки разрешили^[415].

Характерно, что в первой половине столетия произошли перемены в «сценарии» шествия. Если раньше царь вел лошадь от самого Успенского собора до Покровского собора (один из приделов которого был посвящен Входу Господню в Иерусалим) и обратно, то теперь государь шествовал до Покровского собора обычным ходом — «со кресты и иконами» и лишь потом, по выходе из церкви, подходил к Лобному месту, где патриарх садился «на ослята».

Не совсем ясно, когда произошла перемена в сценарии и чем она была вызвана. Б. А. Успенский связывает ее с Никоном. Исследователь обратил внимание на то, что в 1655 году Павел Алеппский наблюдал ход по-старому; на следующий же год перемена зафиксирована в описании патриаршего выхода. Произошедшее Успенский объясняет стремлением Никона и Алексея Михайловича сблизить обряд с греческим (причем не Константинопольской, а Иерусалимской церкви). Здесь же можно увидеть стремление актуализировать «ассоциации Кремля с Иерусалимом»^[416]. По Павлу Алеппскому, придел Покровского собора уподоблялся русскими Вифании, а Кремль — Иерусалиму. Переосмысление обряда побудило к большей точности — Кремль превращался в Святой город, куда въезжает Христос.

К середине века шествие стали устраивать и в других городах. Уже упомянутое Соборное определение осудило умножившиеся шествия на ослята, когда каждый местный архиерей и воевода осмеливались выступать в несоответствующих их чину ролях. При этом особо подчеркивалось, что такое умножение — прямое следствие междупатриаршества, когда «архиереи также действие совершати обыкоша».

Воеводам же было указано на дерзость их поступка, когда они «царское лице образуяще... осляти предводителие сотворяются». Определение запрещало ход во всех городах, кроме «царствующего града» Москвы.

Интересно, впрочем, в этом документе другое — отзвуки конфликта Тишайшего с Никоном. Его авторы подчеркивали, что «благочестивейшие самодержцы», смиряя высоту свою царскую, «скипетрокрасными руками» к узде осляти прикасаются и ведут его до соборного храма. Так царь в лице патриарха «служительствует Христу Господу» и показывает народу «образа смирения своего». Это «похвально, ибо мнози толиким смирением царя земнаго пред Царем Небесным умиляются и внутрь себя дух сокрушения стяжавше от Бога, ко глубине душеспасеннаго смирения нисходят...». При этом признается, что государи «благочестия ради», позволяют себе «попустися» в своем царском сани. В своей красноречивости Соборное определение, вышедшее из недр патриаршей канцелярии, явно перегибает палку. В нем ощутим полемический задор: по-видимому, в царском окружении уже раздавались голоса, ставившие под сомнение необходимость участия государя в столь «уничижительном» обряде.

Документы не позволяют сказать точно, сколько раз Алексей Михайлович участвовал в шествии. Тем более трудно судить, какие он испытывал при этом чувства и испытывал ли сомнения относительно того, что приходилось «попустися» в царском чине. Известно, что впервые он принял участие в церемонии в 1645 году, заменяя своего заболевшего отца. По восшествии на престол он, судя по данным о царских выходах, стремился без нужды не пропускать участия в шествии, считая это делом совершенно необходимым.

Накануне шествия к Алексею Михайловичу приходил патриарх и звал его к «торжеству... чтобы, еси, государь его пожаловал в сию приидущую неделю (то есть в воскресенье. — *И.А.*) под святым Евангелием и под животворящим крестом ося вел». В Вербное воскресенье, после ранней обедни, Алексей Михайлович приходил в Успенский собор в праздничном выходном платье. Отсюда и начинался ход. В нем принимали участие высшие духовные власти и едва ли не все столичное духовенство. Так, в 1675 году за крестами шел патриарх, три митрополита, два архиепископа, один епископ, более 20 архимандритов и игуменов, 15 протопопов, 300 священников.

Шествие через Спасские ворота подходило к Покровскому собору. Царь и патриарх удалялись в придел Входа Господня в Иерусалим. В церкви патриарх молился и облачался. Алексей Михайлович также переодевался в царское платье и менял посох на царский жезл. В это время на Лобном месте ставили аналой, покрытый зеленою пеленою. На него водружали Евангелие, иконы Иоанна Предтечи, Николая Чудотворца, иногда Казанской Божией Матери. У Лобного места ставили «осляти» — лошадь под белым сукном каптуро (род попоны, покрывающей голову лошади). Здесь же в санях стояла кадушка с вербою. Иногда сани устраивались на колесах. Вербу наряжали — вешали специально купленные по такому случаю фрукты, чаще всего яблоки. «Чиновник» Успенского собора упоминает «винные ягоды», изюм, грецкие орехи, финики и нити с деньгами. Оставил описание вербы и Адам Олеарий: «Впереди, на очень большой и широкой, но весьма низкой телеге, везли дерево, на котором было нацеплено много яблоков, фиг и изюму. На дереве сидели 4 мальчика в белых сорочках, певшие: „Осанна“»^[417].

Вербу особенно богато нарядили в 1668 году. В тот год празднество отмечали 15 марта с участием трех патриархов — судий Никона Макария и Паисия и только что избранного Иоасафа. Само празднество проходило по прежнему чину, но вербу по указу Алексея Михайловича устроили «благоепно... а не тако просто, якож в минувших летех, токмо земный овощь имела: яблока, и ягоды, изюм, и винныя, и рожцы, и орехи обещены. Ныне же вся зеленуется, якоже бы сейчас разцвела... И около вербы перила учинены, столбики писаны разными красками, и сукном одеяна, где годно, и шесть впряжено коретных добрых лошадей». Так царь праздновал благополучное завершение беспатриаршества, поражая греков красотой и благолепием московской церковной жизни.

Верба и сани строились «большим нарядом» в 1672 и в 1674 годах. На этот раз для того, чтобы произвести впечатление на польских и шведских послов. При этом Алексей Михайлович, недовольный тем, как приготовили вербу патриаршие люди, велел наряжать ее на обширном дворе умершего боярина Н. И. Романова. Для этого привлекли знаменитого иконописца Ивана Безмина и «иноземку» Катерину Ивановну. Последняя особо славилась умением украшать «санное вербное дерево». Но оплачивались расходы по традиции все равно из патриаршей казны. В 1672 году сумма получилась весьма солидная, в хороший боярский оклад, — 476 рублей.

По ходу шествия выстраивались ратные люди. Они должны были склоняться перед «Христом» — патриархом и государем и приветствовать их. Для слаженности действия на одну из кровель Верхнего Овощного ряда обычно залезал начальный человек. Он подавал «ясачным знаменем» сигналы для стрельцов и солдат.

Уже сам выход патриарха и царя из Покровского собора к Лобному месту отличался большим великолепием: «Кресты, хоругви, иконы, книги и много церковной утвари несли впереди. Каждого митрополита вели два человека, так же и царя... Позади шли самые знатные, все одетые в богатое платье, украшенное драгоценностями из жемчуга и бриллиантов... Царь был в золотой короне, наверху которой — крест из бриллиантов. Вокруг шеи — воротник сплошь из драгоценных камней, полагаю, в 60 тысяч рублей... В правой руке он держал скипетр, не менее ценный. Под звуки пения он поднялся на помост...»

Патриарх и митрополиты первыми восходили на Лобное место, где и встречали царя. В 1665 году, когда за церемонией наблюдал Витсен, царя благословлял вместо отсутствующего патриарха митрополит. «Царь три раза перекрестился перед Евангелием... — описывал увиденное путешественник, — отдал свой скипетр и снял корону, которую положили на золотое блюдо; после благословения митрополит дал ему в руки иерусалимскую ветвь (то есть пальмовую, вайю. — И.А.)»^[418]. Известно распоряжение Алексея Михайловича от 1666 года, чтобы ключарь вручил ему сначала вербу, а уже потом вайю. Трудно сказать, чем эта перемена была вызвана. Быть может, этим подчеркивался «народный характер» праздника — верба предназначалась и была доступна всем, пальмовая же ветвь — немногим. Во всяком случае ясно, что за поступком царя стоял не простой каприз.

Высшее духовенство и ближние люди также получали пальмовые ветви — символы «чиновной» принадлежности, а также не столь экзотические ветви вербы, черенки которой были стянуты полосками бархата. Остальные придворные, не говоря уже о простом народе, обходились одной только вербой.

По окончании действия на Лобном месте патриарх спускался вниз и по приставленной лестнице садился бочком на лошадь. При этом в правой руке он держал крест, в левой — Евангелие. Учитывая почтенный возраст большинства владык и то, что обе их руки были заняты, понятно, что шествие требовало немалых усилий от патриарха. У смертельно болевшего патриарха Иосифа в 1652 году церемония отняла, кажется, последние силы. «На злую силу ездил на осляти», — роняет в своем сочинении Алексей Михайлович. Это при том, что для патриарха специально подбирали самую смиренную лошадь, которую в канун хода еще и не кормили.

Патриарх, прежде чем сесть, благословлял стоявших на площади. В этот миг подавался «ясачным знаменем» сигнал, и все падали ниц. «Это было странное зрелище, видеть, как целые полки лежали ниц, покрывая своими телами базарную площадь», — замечает Витсен^[419].

Шествие открывали «золотчики» — младшие придворные, наряженные в богатые золотные (золоченые) кафтаны. За ними везли нарядную вербу. Следом с иконами, горящими кадилами, рипидами шло духовенство и придворные с пальмовыми листьями. Затем появлялись стольники, которые несли государевы жезл, вербу, свечу и полотенце. Алексей Михайлович в наряде Большой казны следовал за ними. Поддерживаемый двумя придворными, он вел лошадь за конец повода. За царем, держась за середину повода, шел еще один боярин. Патриарх сидел на осляти, осеняя народ крестом. За ним чинно двигалось духовенство, патриаршие слуги. Шествие завершали гости.

По всему пути процессии стрельцкие дети расстилали перед государем и патриархом сукна

разных цветов, на которые еще кидали кафтаны и однорядки. Чтобы сукна не сбились, «молодые люди, лежащие ниц, придерживали края ковров» (Витсен). Если при первом Романове к ходу привлекалось до 100 подростков, то при Алексее Михайловиче их число достигло уже 800 человек. Федор Алексеевич, подхватив «почин» отца, довел число до 1000 человек, из которых 800 раскатывали сукна, а остальные стлали под ноги кафтаны. По традиции именно дети приветствовали царя-помазанника. Так власть демонстрировала свое почтение к патриарху.

Через Спасские ворота под колокольный звон шествие вступало в Кремль. Ход останавливался перед западными дверьми Успенского собора; вербу ставили напротив южных. В соборе протодиакон дочитывал Евангелие, после чего патриарх, приняв от государя вайю, благословлял царя и целовал его в десницу. Алексей Михайлович, в свою очередь, целовал патриарха в *мышцу* (предплечье). Это был один из немногих случаев публичного склонения светской власти перед властью церковной, пускай символично и вознесенной до образа Христа. Заметим, что в этот день Алексей Михайлович подчеркнуто являл себя послушным сыном Церкви, уступая первенство патриарху. Во время службы царь «того дни на своем царском месте не стоит, а стоит у другого столпа близ патриарха». Патриарх, встречая царя, сходит со своего места, «поступив мало с ковра» и т. д. Такое «умаление» царской власти позднее осмысливалось как демонстративное подчинение Церкви. Но, по-видимому, для самого Алексея Михайловича и его предшественников важен был эсхатологический смысл обряда, отодвигавший проблему первенства на второе место. Актуализируя такие стороны власти, как кротость и смирение, Тишайший заявлял о своей готовности вести подданных, ожидающих Второе

Пришествие, к Спасению. Для второго Романова важна демонстрация своей богоизбранности, причастности к Христу^[420]. Отмена обряда в 1697 году Петром I свидетельствовала об изменениях в иерархии ценностей и типе мышления. При светском взгляде на мир символическое толкование обряда утрачивало свою актуальность. Оттого Петр видел в обряде лишь явное и для него неприемлемое преклонение царской власти перед патриаршей.

По окончании святого действия Алексей Михайлович возвращался во дворец, где в одной из церквей слушал литургию. Одновременно шла патриаршая литургия в Успенском соборе. По ее завершении вербу и весевшие на ней «гостинцы» разбирали — что-то относили во дворец к государю и его семейству, что-то забирали себе власти и придворные. Затем за дело принимались стрельцы, которые снимали с «санной» вербы все, что осталось, — от «плодов» до «листьев» и «цветов». Растаскивали даже сукна, которыми укрывали сани. Это, однако, не осуждалось, а входило в обычай.

Шествие на осляти было одним из самых торжественных и внушительных в череде церковных праздников. Оно воочию показывало, над кем простирается Божественная благодать. На иностранцев шествие производило сильное впечатление. Это хорошо видно из их записок и сочинений.

Службы и крестные ходы Страстной седмицы не оставляли времени для занятий государственными делами. Затворенные двери приказов, непрочитанные воеводские отписки, лежавшие без движения бумаги — обратная сторона того, что, начиная с Великого понедельника, почти не прерываясь и не оставляя времени для суетных мирских дел, продолжалось до самой кульминации — Казни, Смерти и Воскрешения Христа.

В Страстную пятницу царь отправлялся в Успенский собор «из смирения... очень плохо одетый». «Он шел с обнаженной головой, волосы не причесаны и повязаны красной лентой... Его поддерживали под руки; он держал в руке посох, шагал медленно...» — писал Витсен, наблюдавший Алексея Михайловича в этот скорбный для православных день [\[421\]](#).

Пасха, Воскресение Христово — самый светлый праздник средневековой Руси. Алексея Михайловича в эти дни не покидало приподнятое настроение. Он был светел, добр и весел. «У нас Христос воскрес, а у вас?» — писал он в одном из своих писем, и в этой шутке ощущается вся та радостная умиротворенность, какую он испытывал после того, как, заново сопережив страсти и смерть Христа, дожид до его Воскресения. Все позади, все в вешней радости и в просторе торжества. Отчего же не пошутить: у нас воскрес, а вы так же крепко веруете, что воскрес ли у вас?!

Смерть патриарха Иосифа в канун Светлого воскресенья в 1652 году ужаснула Алексея Михайловича. Он так описал свое состояние. В Великий четверг во время службы ему сообщили, что патриарха «не стало». «А в ту пору ударили в Царь-колокол три кратно. И на нас такой страх и ужас нашел, едва петь стали, и то с слезами. А в соборе певчие и власти все со страху и ужаса ноги подломились, потому что хто преставился да к таким дням великим...» [\[422\]](#)

В навечерие Светлого праздника Алексей Михайлович отправлялся слушать полунощницу в Престольную комнату Теремного дворца. По окончании службы в Престольной совершался обряд царского лицезрения. Та простая мысль, положенная в иерархическое устройство монархии, что высота статуса выражается в степени близости к государю, находила свое полное и бесхитростное выражение

именно в этом ритуале. В Престольную «видеть его государевы пресветлые очи» допускались лишь немногие высшие думные и придворные чины. Из остальных, занимавших в придворной иерархии более скромные места, допускались те, к кому царь особо благоволил. Их пропускали в Комнату по двое, по особому списку, стоявшие у «крюка» — входной двери — стольники. Ударив челом, придворные возвращались на свое место. Это была высшая милость, кредит царского доверия, оказанного, впрочем, не просто так, а за преданность и радетельную службу.

Как все, что было связано с придворным церемониалом, обряд царского лицезрения был полон символического смысла. Подобно тому, как первые христиане получали счастье видеть воскресшего Спасителя, так и подданные — своего царя. Но только это пасхальное лицезрение имело сильный иерархический привкус. Не попавшие в Комнату могли также удостоиться радости видеть царя. Но не в Престольной, а в иных, менее значимых покоях, — палатах, сенях и на лестницах, через которые царь шествовал в Успенский собор.

Праздничная пасхальная заутреня завершалась христосованием, которое начиналось в алтаре, где патриарха поздравляло духовенство. Затем владыка выходил на середину собора и становился лицом к западу. Первым к нему подходил поздравлять и христосоваться Алексей Михайлович. Далее царь христосовался с архиереями и жаловал к руке священнослужителей низшего ранга. При этом каждый одаривался пасхальными яйцами.

Похристосовавшись с духовенством, Тишайший удалялся на свое царское место. Замечательно, что он, демонстрируя свое смирение, не был облечен знаками царского достоинства. К нему, строго по чину, подходили придворные. Церемонию открывали ближние

бояре и заканчивали дворяне московские, все в золотных кафтанах, которые служили в этот день своеобразным пропуском для входа в храм. Алексей Михайлович, сообразуясь со знатностью, чином и личным отношением к каждому, давал куриные, гусиные или даже точеные деревянные яйца в разных количествах. Пасхальные яйца подносил царю ближний стольник, приносчик, в ведении которого было с десяток человек жильцов, подносчиков.

По окончании церемонии Тишайший шел в Архангельский собор и «христосовался с родителями» — кланялся гробам предков и возлагал на гробницы пасхальные яйца. Затем царь отправлялся в обход кремлевских соборов и монастырей, прикладывался к иконам и иным святыням и одаривал тамошнее духовенство яйцами. Первым всегда оказывался Благовещенский, главный «домашний» собор. В нем царя встречал его духовник, благовещенский протопоп. Особость их духовной связи подчеркивалась тем, что Алексей Михайлович целовался с ним в уста. Возвратясь во дворец, Алексей Михайлович христосовался с родными.

Перед обеднею, часов в 7 утра, во дворце появлялся патриарх: он славил Христа и звал Тишайшего к службе. Алексей Михайлович встречал владыку в сенях и, получив благословение, провожал в Золотую палату. Здесь патриарх произносил речь, адресованную государю, где желал ему здравствовать многие лета со своим семейством, синклитом и всеми подданными. По окончании речи царь отправлялся в Успенский собор на торжественное служение. Наступала череда праздничных пасхальных дней с посещением больниц и богаделен, с разъездами по московским монастырям, с торжественными выходами в церкви.

Участвовать в пасхальных службах и поздравлять государя с Воскресением Христовым обязаны были все

придворные без исключения. Среди обвинений, выдвинутых еще при первом Романове против князя Хворостинина, не признававшего воскресения из мертвых, фигурировало и такое: «К государю на праздник светлого Христова Воскресенья не приехал и к заутрени и к обедни не пошел...»

На Светлой неделе, чаще всего в среду, Алексей Михайлович принимал в Золотой палате патриарха с властями, которые приходили к нему с приношением. Патриарх благословлял царя образом и золотым крестом, подносил кубки, дорогие материи, три сорока соболей и 100 золотых. Дары получали все члены царского семейства. Те из иерархов, которые не могли участвовать в церемонии, обязательно направляли из своих областей дары — благословляли образами, пасхальными яйцами и также присылали принос — «великоденский мех» (мех меда) и золотые. Дары привозили также и из всех крупных монастырей. Обыкновенно они включали все тот же «великоденский мех» и образ того святого, во имя которого была устроена обитель.

Этим, однако, церемония не ограничивалась. В эти дни крестным ходом к царю приходило московское белое духовенство и монастырские власти. Принос их был — хлеб и квасы.

С приносом — символической данью царю золотыми монетами — у Алексея Михайловича появлялись также гости и торговые люди. Размеры подношений зависели от состава царского семейства. В 1628 году, когда все царское семейство состояло из нескольких человек, поднесено было 216 монет. В 1675 году разросшееся семейство Алексея Михайловича получило 2359 золотых^[423].

Принос распространялся только на неслужилых людей и взыскивался очень строго. Если подноситель не

присылал всего положенного, в приказных дворцовых росписях появлялось многозначительное «донять». Это определение хорошо раскрывает истоки обычая, восходящего к урочной дани.

В городах и уездах, между прочим, в эти дни на принос претендовали судьи, воеводы-администраторы, приказные. Принос — не взятка, а закрепленная обычаям форма почести. Причем почесть не столько воеводе, сколько государю, его приславшему. Ведь все они — «государевы холопы». Впрочем, к середине столетия грань между прозаической взяткой и традиционным приносом стала стираться. «Не ходи к воеводе с носом, а ходи с приносом», — горько шутили по этому поводу московские люди.

В продолжение пасхальных дней государя посещали сотни людей из разных сословий и чинов. В большинстве случаев они, торопливо кланяясь, прикладывались к руке и получали пасхальный подарок. В иную Пасху одних только крашеных яиц для раздачи царю требовалось до 37 тысяч! Иногда раздача превращалась в подлинное столпотворение. В 1670 году Алексей Михайлович пожаловал деньги сторожу конюшенной санной казны Ваське Носу, поскольку тот «росшиб бровь о голову товарища своего, в то время, как они были у него, великого государя, у руки». За записью стоит, по-видимому, прозаическая история, несколько нарушившая утомительную церемонию: допущенных до государя так торопили, что кинувшийся к царской руке Васька Нос ткнулся в голову распрямляющегося товарища.

На пятидесятый день после Пасхи церковь празднует Троицын день — день сошествия Святого Духа на апостолов. Праздник имел особенность: во время чтения молитв на вечерне вся паства стояла на коленях на полу, устланном травами. Обычай украшать в этот день церковь «древесными цветами» и травами,

уподобляя храм Сионской горнице, восходит к глубокой древности. В этом обычае слились воедино символика и воспоминания о библейской истории: нисхождение Божественного Духа воспринималось как время обретения благодати, цветения. Впрочем, существовала и более прямая аналогия, которую англичанин Самуэль Коллинс воспринял, по-видимому, в общении с русскими: «Все уверены, что Святой Дух нисходит на эти листы, как манна на листы дубовые»^[424].

Для украшения церквей накануне праздника листву «щипали» и «теребили» — освобождали от ветвей и устилали ею пол. Кроме этого, цветы и душистые травы связывали в веник, с которым молящиеся шли в церковь. Приготовления были нешуточные, и к началу праздника из патриарших и дворцовых сел в Москву катили десятки телег, нагруженные ветвями и вениками.

Выход царя к обедне в Троицын день по своему великолепию и пышности превосходил даже иные крестные ходы. В этот день Алексей Михайлович трижды менял свои одежды. Выйдя из покоев, он шел в Золотую палату, где делал первую перемену, облачаясь в наряд Большой казны. В этом наряде царь шествовал в Успенский собор. В конце обедни, в приделе Димитрия Солунского, он менял свое платье на более простое.

В царских архивах сохранились доскональные описания смен царской одежды. Так, в Троицын день в июне 1661 года царь вышел из своих государевых хором в «ферези холодной, сукно скорлат ал, с широким круживом» (украшения вдоль пол и по подолу); в ферези «отлас виницейской по алой земли травки мелкия серебрены, испод пупки собольи»; в зипуне «тафта бела, без обниси» (ожерелье, стоячий воротник, обнизанный жемчугом); «в бархатной шефрановой шапке с драгоценными запонами и с индийским

посохом, венчанном камнем большим». В Золотой палате этот наряд был сменен на наряд Большой казны. Но вечерню царь слушал уже в более скромном платье — в ферези «объяр (шелковая ткань с золотой или серебряной нитью. — *И.А.*) по белой земли травы редкия золотныя» и в шапке «обнизная по черному бархату». Уже говорилось, что смена платья имела для современников символическое значение, побуждая смотреть на Алексея Михайловича то как на смиренного сына церкви, склоняющегося вместе со всеми перед Богом небесным, то как на всемогущего монарха, равного которому нет во всей поднебесной. Был, однако, за всем этим и вполне прозаический момент: парадное платье — наряд Большой казны — весил не один пуд, и долго находиться в нем было утомительно.

В Троицын день ближние стольники несли перед Алексеем Михайловичем ковер с веником и листом. Во время вечерни, когда пели стихиру «на славу», ключари подносили царю лист от патриарха. Этот лист смешивался с царским листом, после чего им устилали царское место. Государевым же «неперемешенным» листом посыпали места для патриарха и архиереев. Не вполне ясно, какой смысл вкладывался в подобные действия. Возможно, сохранение за монархом «своего листа» — подчеркивание доминирующей роли царской власти в «симфонии властей».

Во время службы Алексей Михайлович преклонял колена на благовонном листе (лист предварительно опрыскивался розовой водой — гуляфной водкой), или, по официальному выражению, «лежал на листу»: «...А после обедни слушал великий государь вечерни и лежал на листу в том же платье, в чем шол государь в собор».

Но Алексей Михайлович далеко не всегда встречал Троицын день в столице. Часто царский поезд в канун праздника покидал город и отправлялся в Троице-

Сергиев монастырь. И хотя торжества в обители не были столь пышными, традиционный порядок, включая положенные смены платьев, выдерживался. Когда в мае 1649 года внезапные холода внесли в торжества свои коррективы, в разрядах последовало даже разъяснение: государь у обедни был в том же платье, что у всенощной, а «для того на государе было то платье, что был снег того дни».

Поразительно, что даже в сугубо консервативной атмосфере обряда заметны перемены в мироощущениях современников, не исключая и самого Алексея Михайловича. Их можно связать с проявлением ощущения полноты, сочности жизни, столь характерного для культуры эпохи барокко. Церковные торжества сопровождались такими «светскими» деталями, которые едва ли были уместны в первые годы царствования Тишайшего, когда, казалось, труднее было сыскать ревнителя взыскательнее, чем сам государь. Так, праздник Происхождения честных древ Честного и Животворящего Креста Господня (1 августа) обычно сопровождался крестным ходом на воду и малым водоосвящением. Алексей Михайлович накануне отправлялся в Симонов монастырь, где стоял вечерню, а в самый праздник — заутреню. Затем царь шел на Иордань, устроенную на Москве-реке против крепостных стен обители. В отличие от праздника Богоявления, августовская Иордань нередко заканчивалась «погружением» в воду царя и всей его свиты.

Любопытно, что некоторые придворные нарочно запаздывали с приездом в Симонов монастырь, за что «наказывались» под смехи свиты благодушно настроенным государем погружением в Иордань. Понятно, что в таком обрамлении купавшиеся едва ли исполнялись благодати. Важнее оказывались вещи

чисто мирские — опаздывали, чтобы повеселить государя и запомниться...

15 августа отмечали храмовый праздник первопрестольного Успенского собора — день Успения Богородицы. Готовились к нему с особым старанием, начищая до блеска соборную утварь или даже меняя ее на более богатую. Накануне, перед малой вечерней, весь пол собора устилался мелко рубленным сеном. На царское, патриаршее и царицыно места обильно сыпали благовонные травы, приправленные розовым, мятным и укропным маслами. Во время службы надгробное пение совершал сам патриарх. Затем, по выходе патриарха из алтаря, начиналось каждение аналоя с иконой Успения и всего собора. Царь в это время оставлял свое царское место, подходил к патриарху и, по окончании пения «ублажения Пресвятой Богородицы», первым прикладывался к праздничной иконе.

Богородничный праздник Успения считался «патриаршим». Поэтому по окончании обедни в Патриаршей палате устраивался стол для царя, бояр и церковных властей. Накануне патриарх вместе с иерархами ходил «на верх» звать царя к службе и праздничному столу.

Во время трапезы поднимались тропарные чаши — Богородичная, святая, царева и патриаршия. Богородичную чашу поднимал сам Алексей Михайлович, заздравную чашу в честь царя провозглашал патриарх. Чашу за патриарха «действовал» не царь, а самый старый из митрополитов. Этот штрих показателен и свидетельствует о иерархическом положении государя и патриарха.

1 сентября Алексей Михайлович принимал участие во встрече Нового года. То было одно из самых пышных торжеств, соединявших церковное действие с гражданским празднованием. Главные события разворачивались на Соборной площади. Против

Красного крыльца воздвигался помост с тремя аналоями (для двух Евангелий и иконы Симеона Столпника Летопроводца), а также царским и патриаршим местами. При Алексее Михайловиче царское место стало превосходить размерами, высотой и богатством убранства патриаршие.

По окончании службы патриарх через западные ворота Успенского собора восходил на помост. Перед ним несли иконы, среди которых видное место занимали образа Богородицы письма митрополитов-чудотворцев Петра и Ионы. Примечателен для характера праздника был вынос и иконы «Моление о народе».

Алексей Михайлович подымался на помост после патриарха. Ближние думные и придворные чины в парчовых платьях становились по правую сторону и за государем. Так же за патриархом располагались церковные власти. На площади к этому моменту давно уже стояли московские дворяне в золотых и цветных платьях, за ними стрельцы, а далее посадский люд, тоже по возможности приодевшийся.

Как и все подобные церемонии, празднование Симеона Летопроводца было наполнено глубоким смыслом. То было зримое выражение самого существа Православного царства с его подчеркнута патриархальным единением людей всех чинов и званий вокруг государя; почти кичливая демонстрация благочестия, силы и славы. Не случайно посмотреть на церемонию приглашались иностранные послы, для которых отводилось специальное место на паперти Архангельского собора. Торжества таким образом приобретали определенный политический подтекст. Впрочем, если бы иноземные наблюдатели ведали о том, что желает в новолетие патриарх государю, они бы наверняка призадумались. Речь шла об одолении

«видимых и невидимых врагов», возвышении царской десницы «над бусурманством и над латынством»^[425].

По окончании чина следовали поздравления с началом нового года и пожеланиями государю и его семейству «здравствовать». Первыми поздравляли друг друга царь и патриарх. От бояр и вельмож к Алексею Михайловичу обращался с речью старейший из ближних бояр. Обычно это был князь Н. И. Одоевский. Царь, в знак уважения и приязни, слушал эту речь, сняв шапку. Любопытно, что одновременно и старейший из митрополитов поздравлял с пришествием нового года патриарха. Подчеркнутая двойственность и параллелизм в сценарии, были, по-видимому, не случайны: в том находила свое выражение идея симфонии властей.

По окончании речи боярина и епископа все присутствующие склонялись до земли перед государем и многолетствовали Алексею Михайловичу. Царь, в свою очередь, отвечал низким поклоном народу. «Это была самая трогательная картина благоговейного почтения венценосцу», — замечал по этому поводу секретарь имперского посольства Адольф Лизек (Лисек), наблюдавший действие летопроеждения в последний год жизни Тишайшего^[426].

Церковные праздники с участием царя поневоле приобретали некий «государственно-политический привкус». Этот «привкус» более всего ощутим в церемониях, которые своим появлением были обязаны недавнему прошлому. К ним можно отнести крестный ход в праздник иконы Казанской Божией Матери. Совершаемый 22 октября, он напоминал всем об очищении Москвы от поляков и литвы в 1612 году. Для Романовых освобождение столицы стало прелюдией к восхождению на престол. Оттого и праздновался этот день с особой торжественностью. В 1649 году своим

именным указом Алексей Михайлович повелел отмечать 22 октября «во всех городах по вся годы».

В этот день царь с иконой Спасителя выходил из дворца к Успенскому собору, где его ожидал патриарх с мощами апостола Андрея и святого Иоанна Златоуста. Молебен с осенением иконой Богоматери всех четырех сторон света совершался на Лобном месте, после чего ход двигался к Казанскому собору на Красной площади. После службы в соборе начинался грандиозный крестный ход по Москве. Точнее сказать, было несколько ходов вокруг Кремля, Белого и Земляного города, в которых участвовали процессии, возглавляемые архиереями и протопопами. И. Е. Забелин пишет, что царь с патриархом ходили с мощами апостола Андрея по кремлевским стенам^[427]. В другие дни царь оставался в соборе слушать обедню, которую служил патриарх. По окончании хода царь и патриарх через Никольские ворота возвращались в Кремль. При этом у ворот архипастыря и государя поджидали сошедшие вместе участники крестных ходов по Москве. Зрелище было очень величественное.

В декабре, в неделю Праотец, во время заутрени в Успенском соборе устраивалось «Пещное действо». В церкви разыгрывался эпизод из Книги пророка Даниила, когда три отрока отказались поклониться золотому истукану и по приказу вавилонского царя Навуходоносора были брошены в огненную печь. Посланный Богом ангел вывел трех отроков из огня целыми и невредимыми. Популярный в литературе и искусстве ветхозаветный сюжет для православных людей был близок не только видимым проявлением силы Божьей. Здесь важной становилась демонстрация силы веры, которая одна и может спасти любого человека. Алексей Михайлович появлялся в Успенском соборе следом за «халдеями», которые шли с

пальмовыми ветвями. В соборе царя уже поджидали власти и... «печь», в которую предстояло шагнуть трем отрокам по приказу злого царя. «Печь» напоминала решетчатый фонарь, в ячейках которого горело до 400 свечей. «Халдеи» заводили отроков в «печь». Затем ключарь спускал сверху в печь «с великим шумом» пергаменного «ангела», который спасал отроков. Отроки при этом пели многолетие патриарху, певчие — государю.

В рождественские дни с участием царя происходило действо многолетия, во время которого соборный архиерей *кликал* многолетие государю и всему царскому семейству по именам. По совершении действия патриарх с властями здоровал государю, то есть говорил титулы и многолетствовал. Государь, в свою очередь, поздравлял с Рождеством патриарха и властей. Затем государю желали многолетия все придворные. По традиции речь произносил первенствующий из бояр, после чего царь поздравлял придворных и народ.

Восходящие к языческим временам коляды и усенеи были неизменными спутниками рождественских торжеств. Благочестивый Алексей Михайлович, следуя наставлениям ревнителей, попытался бороться с этими «пагубными» суевериями. В 1649 году по городам были разосланы грамоты, в которых велено было местным властям учинить «...заказ крепкой, чтобы ныне и впредь... коляд и усеней не кликали и песен бесовских не пели». Однако запреты ни до, ни после 1649 года ни к чему не привели. Церкви приходилось мириться с сомнительными традициями или «переиначивать» их. Так, колядование соединялось с христианским обычаем славения Христа и пожалования славленщиков медом.

В пятом часу после вечерни соборные попы и певчие станицы приходили во дворец славить Христа. Алексей Михайлович принимал их в Передней или Столовой

избе, жаловал медом и давал *славленное*. Царь очень ценил хорошее пение и нередко давал певчим славленное особо, из своих рук. К этому в царской семье приучали с самого детства: царь Михаил — царевича Алексея, царь Алексей — своих сыновей и дочерей.

В самый праздник Рождества Христова, после заутрени, царь принимал в Столовой или в Золотой палате патриарха с властями. Для этого в переднем углу ставили государево место, а подле — место для патриарха. Патриарх появлялся в сопровождении соборных ключарей, которые несли крест и святую воду. Следом за владыкой славить Христа и поздравлять царя с праздником шло высшее духовенство. Алексей Михайлович встречал его в сенях. После обычных молитв певчие пели царю многолетие, а патриарх поздравлял с Рождеством Христовым. Посидев в палате, патриарх оставлял Алексея Михайловича и отправлялся с поздравлениями к царице и царскому семейству.

В это время Алексей Михайлович готовился к выходу в Успенский собор. Выход обставлялся необычайно пышно, как и следовало в Господский праздник. Царя облачали в Большой наряд. Сопровождавшие его придворные шествовали в золотных платьях. Одежда в таких случаях приобретала особый, «государственный» смысл. Она не только свидетельствовала о сословной и чиновной принадлежности человека, но и символизировала богатство государя и одновременно подчеркивала патриархальный характер его власти — не случайно золотое и цветное платье выдавалось из казны и в казну возвращалось. Кажется, именно эта частность в устройстве шествия ярче всего характеризует функциональную направленность церковных и придворных церемоний, призванных стать мерилom православно-имперского великолепия и величия московских государей. Этой цели подчинялись

все или почти все церемониальные символы и образы-действия.

В свое время замечательный историк и философ Л. Карсавин отмечал, что материальное для историка становится важным тогда, когда оно «выражает, индивидуализирует и нравственное состояние общества, и его религиозные и эстетические взгляды, и его социальный строй». При таком подходе, например, изысканные наряды в Бургундии при Карле Смелом, помпезная процессия испанского самодержца в спальню супруги-королевы или дамская мода в эпоху Директории по принципу: минимум материи — максимум эффекта есть квинтэссенция самой эпохи^[428]. Псевдовизантийская пышность московского двора Алексея Михайловича — из этого ряда. По крайней мере, в ней — самовыражение власти.

Число царских выходов впечатляет. В книге царских выходов за 1646 год числится 72 выхода, а еще четыре были связаны с приемами гонцов, посланников и греков; в 1647-м эти цифры, соответственно, — 98 и 11 (включая встречи с литовскими и шведскими послами); в 1649-м — 93 и 7; в 1652 году — 98 и 2.

К сожалению, полную статистику трудно выстроить: в книге царских выходов существуют пробелы как по годам, так и по отдельным месяцам. Но средняя цифра — около 85 церемоний в год — все равно получается внушительной, даже с учетом того, что в последние годы жизни из-за осложнений со здоровьем царь стал пропускать некоторые церковные праздники и крестные ходы.

Пройдет не так много времени, и столь истовая религиозность уже не будет рассматриваться как нечто обязательное для монарха. С легкой руки Петра для государя найдется немало иных дел, искупающих его недолгое пребывание в церкви. Но это в будущем. Для

современников же Алексея Михайловича его неперменное и обязательное участие во всех церковных церемониях было необходимым подтверждением благочестивого характера Московского царства. В шествующей к Богу власти прежде всего виделась прочность.

Человек и государь

Если церковные церемонии подчеркивали благочестивый характер православного Московского государства и его правителей, то придворные церемонии прежде всего были призваны продемонстрировать могущество и величие царей. Придворным церемониям мы чаще всего обязаны появлению описаний внешности Алексея Михайловича. Ведь именно на них послы и члены их свиты — будущие авторы сочинений — получали возможность лицезреть московского государя вблизи. Естественно, потом случались новые встречи, описание дополнялось новыми деталями, но эти первые, эмоционально самые сильные впечатления оставались преобладающими. Тем более что весь посольский обряд был нацелен на то, чтобы поразить гостей образом государя. Алексей Михайлович оставался в центре всей церемонии. Образ его слагался из окружения, интерьера, наряда, внешности, жеста, строго регламентированного поведения. На каждой аудиенции Алексею Михайловичу приходилось играть трудную роль под общим названием Державность и Величие. Справлялся он с ней совсем неплохо, благо внешний вид немало тому способствовал. «Алексей статный муж, среднего роста, с кроткой наружностью, бел телом, с румянцем на щеках, волосы у него белокурые и красивая борода; он одарен крепостью телесных сил, которой, впрочем, повредит заметная во всех его членах тучность... Теперь он на 36-м году жизни» — так описывал второго Романова Августин Мейерберг.

А вот описание голландца Витсена: «По фигуре царь очень полный, так что он даже занял весь трон и сидел будто втиснутый в него... Царь тоже не шевелился, как

бы перед ним не кланялись; он даже не поводит своими ясными очами и тем более не отвечал на приветствия. У него красивая внешность и очень белое лицо, носит большую круглую бороду; волосы его черные или скорее каштановые, руки очень грубые, пухловатые и толстые». На пухлые руки, между прочим, обратил внимание и Роде. Он вспоминает: целовали «мягкую и пухлую руку царя».

Уроженец Курляндии Яков Рентенфельс: «Росту Алексей... среднего, с несколько полным телом и лицом, бел и румян, цвет волос у него средний между черным и рыжим, глаза голубые, походка важная, и выражение лица таково, что в нем видна строгость и милость...»

В отличие от дипломатов, Самуэль Коллинс имел возможность близко общаться со вторым Романовым, причем нередко это было общение врача с пациентом. Поэтому его воспоминания вызывают особый интерес. Царь, писал Коллинс, «красивый мужчина, около 6 футов ростом, хорошо сложен, больше дороден, нежели худощав, здорового сложения, волосы светловатые, а лоб немного низкий. Его вид суров, и он строг в наказаниях, хотя очень заботится о любви своих подданных».

Коллинс не ограничился одним описанием. В его сочинении встречаются детали, дополняющие набросанный им портрет: «Наружность императора красива; он двумя месяцами старше короля Карла II и здоров сложением; волосы его светло-русые, он не бреет бороды, высок ростом и толст; его осанка величественна; он жесток во гневе, но обыкновенно добр, благодетелен, целомудрен, очень привязан к сестрам и детям, одарен обширной памятью, точен в исполнении церковных обрядов, большой покровитель веры»^[429].

Итак, первое, что бросалось в глаза современникам второго Романова, — его полнота и дородность. Эти описания вполне совпадают с сохранившимися портретами и парсунами Алексея Михайловича. Причем многие из этих изображений выполнены в «живописной» манере. Этим мы обязаны переходному характеру эпохи, которая превратила «писание с живства» — позирование художнику — в занятие, вполне достойное государя. К сожалению, большинство портретов и парсун, написанных русскими и западноевропейскими художниками, до нас не дошли. А те, что сохранились, появились, судя по всему, уже после смерти второго Романова. Однако нет сомнения, что художники при их создании использовали недошедшие прижизненные царские «персоны». Тем более что это были художники, начавшие работать в Оружейной палате еще при Алексее Михайловиче.

Замечательно и то, что портреты даже иконописные изображения государя. В 1668 году знаменитый «государев иконник» Симон Ушаков написал для церкви Троицы в Никитниках икону Владимирской Божией Матери, или «Насаждение древа Московского государства». В основании древа государственности «государев иконник» поместил Успенский собор, на ветвях — овалы медальоны с ликами князей, царей и святых. В центре поливают древо Иван Калита и митрополит Петр. По краям иконы — Алексей Михайлович с царицей и семьей, в царских одеждах, с нимбами вокруг голов. Царь узнаваем не только по титулу и одеждам — по внешнему облику.

Понятно, что портреты и парсуны, при различии в технике исполнения, подчинялись определенному канону. Это были парадные светские изображения, а не психологические портреты. Алексей Михайлович на них не обуреваем никакими страстями и мыслями. Под стать недвижимой душе — недвижимая, застывшая поза.

Оттого столь ощутима полнота, даже тучность Тишайшего. Рассматривая изображения, трудно поверить, что этот человек был неутомимым охотником, часами не покидавшим седло. Может быть, именно поэтому историки находили и находят в одутловатом облике царя признаки нездоровья. Но едва ли современники подобным образом воспринимали царскую «персону». Эстетические вкусы были таковы, что одутловатость скорее трактовалась как дородность — черта, стоявшая ближе к красоте, нежели к болезненности.

Во всех изображениях второго Романова присутствует некая суровость. Брови чуть сведены. Взгляд исподлобья. Трудно сказать, отражали ли в данном случае художники выбор, сделанный самим царем. Но, несомненно, извечная борьба природного благодушия с потребностью быть строгим и даже суровым накладывала свой отпечаток на царя. Тот же Коллинс говорит о взыскательности и требовательности государя. И все же большинство авторов отмечают кротость и милостливость царя, его редкие добродетели. Если даже он порой гневен и недобр, то потому, что его окружают доносчики и бояре, «которые направляют ко злу его добрые намерения», что препятствует ему стать «наряду с добрейшими государями».

Из светских церемоний более всего Алексей Михайлович любил приемы послов, встречу или проводы войска. Пройдет не так много времени, и при Петре триумфальные шествия станут главными церемониями царствования. Образ императора как военного вождя, богоподобного завоевателя выступит на первый план^[430]. Алексей Михайлович и в светских церемониях по-прежнему будет выступать как образ святости. Однако саму эту «святость» дополнит внушительная

«имперская риторика», которая, несомненно, была по душе Тишайшему. Встречи и проводы войск, призванных символизировать могущество православного монарха, здесь занимали центральное место.

Посольская встреча, особенно встреча великих послов, облеченных особыми полномочиями, — зрелище завораживающее как для хозяев, так и для гостей. Любознательный Алексей Михайлович не упускал случая поглазеть на послов в самых различных случаях. Причем за долгие годы было выработано множество приемов, призванных удовлетворить любопытство государя.

Самое простое — взгляд на посольский поезд еще до въезда в столицу. Трудность, однако, заключалась в том, что государь должен был оставаться невидимым для послов и сопровождавших их людей. Именно это приводило к довольно комичным ситуациям. Имперский дипломат А. Лизек рассказывал, как у подмосковной деревни Мамоново в их поезд затесалось несколько придворных, изображавших из себя охотников. Сделано это было, по-видимому, для того, чтобы замедлить движение послов. Вскоре дворяне, как пишет Лизек, «отстали от нас и втерлись в кустарник, где, как после мы узнали, находился его величество и смотрел на нас в подзорную трубу»^[431].

Но, конечно, такое поверхностное знакомство не могло удовлетворить Алексея Михайловича. Да и не было в нем того, что хотелось увидеть: послы и посольская свита ехали в путевых платьях, с дарами, упакованными в дорожные сундуки. Куда занятнее была официальная аудиенция, на которую послы являлись во дворец во всем великолепии. Тишайший взял за правило наблюдать за въездом великих послов из специального помещения в Воскресенских воротах

Китай-города. Пройти туда можно было прямо из кремлевских покоев, по стене через Арсенальную башню. В Разрядах появилась даже новая «разновидность» выхода — «выходы смотреть послов». Все эти выходы совпадали с приездами в Москву великих посольств.

Страсть царя к зрелищам нередко выходила послам боком. Посольский поезд в зависимости от того, где находился государь, двигался урывками. Витсен, ехавший в свите голландского посла Бореля, рассказывал: расстояние, которое можно было пройти за 3 часа, они проехали за 6. При этом дипломаты, не привычные к московской зиме, жестоко продрогли. Причина опоздания — Алексей Михайлович не прибыл вовремя в Кремль, и «его еще не было во дворце, а он всегда наблюдал из башенки за прибытием послов»^[432].

Алексей Михайлович со своей тягой к «стройству» и «урядству» старался строго придерживать каждой буквы придворного церемониала. Однако жизнь брала свое, и диапазон изменений простирался от небольших вольностей до крупных нововведений. Тот же Витсен, который писал о величавой неподвижности Алексея Михайловича во время посольской встречи, обронил: когда один из придворных в ответном слове от имени царя не сумел выговорить сложный титул Штатов, все заулыбались. Не устоял и Алексей Михайлович: «Сам царь закрыл рот рукой, чтобы не видели, что он смеется». Маленькая вольность — проявление человеческого чувства, но как много она дает для уяснения атмосферы царского двора!

Тишайший постоянно вмешивался в церемониал и нередко вносил в него свои коррективы. Как правило, они носили мелочный характер. Но для Тишайшего не существовало мелочей! Так, например, чтобы не уронить «царскую честь», Алексей Михайлович готов

был чуть ли не собственноручно распределять протазаны — особые копья с длинным и плоским наконечником, служившие оружием для телохранителей царя. В 1658 году по его указу все имевшиеся в наличии протазаны были отобраны у стрельцов и отданы стрельцам двух «ближних полков» — Матвеева и Полтева. При этом у 60 лучших Протазанов по распоряжению царя рукояти были обтянуты сукнами с шелковыми кистями. Даже число ударов колокола во время царских выходов не оставалось без внимания Тишайшего, который не упускал случая распорядиться: когда, как и сколько раз бить.

Алексей Михайлович находился в постоянном движении. Бесчисленные перемещения, переезды, походы — чаще не особенно далекие, в подмосковные дворцовые села и охотничьи угодья — в Коломенское, Хорошево, Остров, Чертаново, Воробьево, Преображенское, Покровское, Измайлово; реже — более отдаленные, куда добираться надо было несколько дней — вот что заполняет многие недели его жизни. Ближние поездки обыкновенно были связаны с дворцовыми селами, дальние — это преимущественно богомольные походы в монастыри.

Вот описание традиционного сентябрьского похода царя в Троицу 1659 года, которое мало чем отличается от всех предшествующих и последующих. Пошел царь в Троицу через Петровские ворота вечером 21 сентября и в 3 часу ночи пришел в село Тайницкое. На следующий день царский богомольный поезд добрался до села Братошино, причем по дороге Алексей Михайлович не утерпел и потешился «красною соколиною охотою». 23 сентября двинулись из Братошино в село

Воздвиженское и, наконец, 24 сентября, «за полчаса до ночи» прибыли в Троицу^[433].

В Троице царь гостил несколько дней — стоял службы, трапезничал, раздавал милостыню монахам и нищим. Алексей Михайлович был искренен в своей любви к обители преподобного Сергия. Но мы вряд ли ошибемся, если скажем, что сердце его все же сильнее билось при виде другого монастыря — Саввино-Сторожевского.

Очень живое и очень непосредственное религиозное чувство Алексея Михайловича, его подлинное одухотворение верой с наибольшей полнотой выразилось в отношении к этому монастырю. Своему пристрастию он сумел придать своеобразную камерность и задушевность, которые, в соединении с повседневными хлопотами и заботами об обители, очень важны для понимания религиозности второго Романова.

Саввино-Сторожевский монастырь и до Тишайшего не мог пожаловаться на невнимание московских правителей. Но именно при нем обитель расцвела и заняла одно из первенствующих мест среди православных монастырей. Это первенство, правда, не было закреплено иерархически. В списках монастырей Саввина обитель по-прежнему шла во второй полусотне. Но куда важнее оказывалась близость к государю. Царь настолько проникся интересами «Дома святого Саввы», что превратился в строгого игумена и щедрого ктитора одновременно.

В пристрастии Романова к монастырю есть известная доля случая. Царя, конечно, пленяли дивные звенигородские места. Здесь царь искал уединения и отдохновения в том, что особенно было мило его сердцу. Он молился и охотился, обретая и в том, и в

другом столь ценимое им душевное равновесие. Но мало ли в Подмоскovie подобных мест и обитателей?

Дело, по-видимому, еще и в том, что в выборе царя присутствовал известный расчет. Новая династия с ее подчеркнутым благоговением перед «старыми» святыми очень нуждалась и в «новом» святом, культ которого в сознании народа был бы прочно связан с именем Романовых. Преподобный Савва, ученик Сергия Радонежского, спасший по преданию от смерти самого Алексея Михайловича, вполне подходил на такую роль. Его почитание в народе было широко распространено. Алексей Михайлович придал этому почитанию общероссийский статус. Были открыты и освидетельствованы его чудотворные мощи, изданы Житие и служебник. Обращает внимание быстрота и размах, с какими была проделана эта работа.

По инициативе и на средства Алексея Михайловича в монастыре разворачивается большое строительство. Оно было столь значительным, что вызывало нездоровое удивление и темные толки. Монастырский служка Никифор Автомеев обвинил тогда еще молодого царя в том, что «в Звенигороде де государь монастырь строит, а иные разоряет». Любопытно, что обвинение прозвучало не в годы раскола, когда старообрядцы готовы были приписать царю Алексею и не такие вины, а в 1651 году. По-видимому, склонный «к иступлению» служка пересказывал ворчание позавидовавших счастьем чужой обители монахов. Впрочем, в его словах слышны и глухие отзвуки монашеского недовольства Уложением 1649 года и деятельностью Монастырского приказа.

Для своих нужд и нужд семьи царь начал возводить в монастыре дворец. Само здание сохранилось и поныне, однако внешний облик его сильно отличается от того, что видел в свое время Тишайший. Уже при Софье произошли значительные изменения: то ли

продолжая замысел отца, то ли руководствуясь собственным вкусом, регентша приказала надстроить второй этаж. Некоторые исследователи считают, что царевна при этом преследовала и политические цели: строительство призвано было лишний раз напомнить, кто из наследников Тишайшего является истинным продолжателем дела Алексея Михайловича [\[434\]](#).

С Саввиным монастырем связана история с казначеем Никитой, много дающая для понимания натуры Тишайшего. Сама эта история в водовороте государственных дел кажется совершенно ничтожной. Старец выгнал из монастыря стрельцов, поставленных на постой по распоряжению царя и с согласия престарелого архимандрита. При этом Никита так разошелся, что пришиб посохом десятника и раскидал оружие и имущество стрельцов. Как оказалось, это была не единственная вина старца. Вскрылись и другие проделки, которые тот позволял себе, — пьянство, брань, притеснение монастырских крестьян. Алексей Михайлович был возмущен необычайно. Кажется, ни в каком другом случае Тишайший не выказывал такой горячности, как на этот раз. Оказалось, что благодушного монарха можно было довести до вулканического кипения.

Узнав про проступок, царь послал в обитель для розыска стольника А. Мусина-Пушкина с обширным посланием, адресованным «врагу Божию, и богоненавистцу, и христопродавцу, и разорителю чудотворцова дому, и единомысленнику сатанину врагу проклятому ненадобному шпыню и злему пронырливому злодею казначею Миките».

Столь пространное вступление не остудило гнева автора, и он продолжал исчислять аналогии с поступком Никиты:

«Уподобился ты сребролюбцу Иуде: яко же он продал Христа на тридесять сребрениц, и ты променил, проклятой враг, чюдотворцов дом да и мои грешные слова на свое умное и збоиливое пьянство и на умные на глубокие пронырливые вражые мысли; сам сатана в тебя, врага Божия, вселился; кто тебя, сиротину, спрашивал над домом чюдотворцовым да и надо мною, грешным, властвовать? Кто тебе сию власть мимо архиморита дал, что тебе без его ведома стрельцов и мужиков моих, Михайловских, бить? Воспомяни евангельское слово: всяк высокосердечный нечист пред Богом. О враже проклятый! за что денница с небесе свергнута? не за гордость ли? Бог не пощадил. Да ты жа, сатанин угодник, пишешь друзьям своим и вычитаешь бесчестье свое вражье, что стрельцы у твоей кельи стоят: и дорого добре, что у тебя, скота, стрелцы стоят! Лутче тебя и честнее тебя и у митрополитов стоят стрельцы, по нашему указу, которой владыко тем жя путем ходит, что и ты, окаянной».

Обвинения Алексея Михайловича приоткрывают подоплеку инцидента. По-видимому, Никита, предугадывая грозу, поспешил оправдаться и разослать друзьям грамотки про стрельцов, заполонивших обитель. Попытка не осталась незамеченной Тишайшим. «И дороги ль мне твои грозы? — ярился Алексей Михайлович. — Ведаешь ли ты, что, oprичь Бога и Матери Его, владыче нашей Пресвятой Богородицы, и света очию моею чюдотворца Савы, и не имею, oprичь той радости, никакой и надежды; то моя радость, тег мое и веселье и сила и на брани против врагов моих, и не твои мне грозы, и своего брата, государя, и те грозы яко пучину вменяю, потому: Господь — просвещение мое и спаситель мой — кого убоюся? Да за помощию Пресвятой Богородицы и за молитвою чюдотворца Савы ничье грозы не страшны.

Ведай себе то, окаянной: тот боитца гроз, которой надежду держит на отца своего сатану, и держит ее тайно, чтоб никто ее не познал, а перед людьми добр и верен показывает себя. Да и то себе ведай, сатанин ангел, что одному тебе и отцу твоему, диаволу, годна и дорога твоя здешняя честь, а содетелю нашему, Творцу небу и земли и свету, моему чюдотворцу, конечно, грубны твои высокопроклятые и гордостные и вымышленные твои тайные дела; ей, не ложно евангельское речение: не может раб двема господиному работати, а мне, грешному, здешняя честь аки прах, и дороги ль мы пред Богом с тобою и дороги ль наши высокосердечные мысли, доколе Бога не боимся, доколе отвращаемся, доколе не всею душою и не всем сердцем заповеди Его творим, ведаешь ты, окаянной, сам твори заповеди Божия с небрежением, проклят и горе нам с тобою и нашему збоиливому и лукавому сердцу и злой нашей и лукавой мысли, и люто нам будет в день ярости Господа Саваофа, не пособят нам тогда наши збоиливые и лукавые дела и мысли.

Ведай себе и то, лукавый враг, как ты возмутил ныне чюдотворцевым домом да и моею грешною душою: ей, до слез стало, чюдотворец видит, что во мгле хожу от твоего збоиливого сатанина ума, возмутит тебя и самово Бог и чюдотворец. Ведай себе то, что буду сам у чюдотворца милости просить и оборони на тебя со слезами, не от радости буду на тебя жаловатца, чем было тебе милости просить у Бога и у Пречистой Богородицы и у чюдотворца и со мною прощатца в грамотках своих, и ты вычитаешь бесчестие свое, и я тебе за твое роптание спесивое учиню то, чего ты век над собою такова позору не видал. Ты променил сие место чюдотворцево на свое премудрое и лукавое и на пьяное сердце и на проклятые мысли, а меня, грешного, тебе не диво не послушать здесь, потому что и святое место продаешь на свой злой нрав, а на оном веце

рассудит Бог нас с тобою, а опричь мне того, нечем с тобою боронитца; да и то тебе возвещаю, аще не чистым сердцем покаешия к чюдотворцу и со мною смирися в злых своих роптаниих, ведай, что без проказы не будешь, яко Наман утаился от Елисея пророка, так и тебе тожа будет аще едину мысль утаиши у чюдотворца да по сем буди Богом нашим, Иисусом Христом, и Пречистой Его Материю и чюдотворцем Савою и мною, грешным, буди прогнан и изриновен и отлучен со всяким бесчестием и бесстудием от сего места святого и чюдотворца дому...»^[435]

Послание любопытно не только своей горячностью, а удивительной смесью человеческого и царского в Алексее Михайловиче. Автор прямо пишет, что «хриstopродавец» Никита покусился на власть царскую и архимандритскую — задумал «над домом чюдотворца да и надо мною, грешным, властвовать». Тут же следуют угрозы, призванные напомнить, кто такой Никита, а кто — царь. Однако Алексей Михайлович спохватывается и зовет казначея на суд Божий, то есть уравнивается с ним, как всякий смертный. Здесь уже все получается наоборот: угрозы Никиты в неблагочестии царя становятся реальными угрозами, да только Тишайший уверяет, что он за помощью Богородицы и за молитвою Саввы их не боится!

Происшедшее страшно огорчило царя. Быть может, потому, что на самом деле Никита лишь озвучил уже знакомые нам обвинения, что «власть царская вступается во власть духовную». От стрельцов, заплонивших святую обитель, до Уложения, ограничившего юрисдикцию владык. Для Тишайшего, искренне верившего, что все, что он делает, он делает во благо церкви, такое обвинение — от «лукавого» и прегордого сердца. И еще — сердца неблагодарного после всего того, что он сделал для монастыря.

Полагаясь на Божий суд, царь, однако, осудил зарвавшегося казначея своим собственным судом. Мусину велено было вычитать царское послание перед собором и наложить на Никиту «чепь на шею, а на ноги железа».

Алексей Михайлович был человеком любознательным и увлеченным. Однако ни одно из его увлечений не может сравниться по силе и постоянству с увлечением охотой. Здесь он не знал удержу. В соколиной охоте царь находил радость, вдохновение и сердечную отраду. Он вглядывался в стремительный полет соколов и кречетов с той же жадностью, с какой царь Петр несколько десятилетий спустя примется рассматривать корабельные чертежи. В этом отец и сын похожи друг на друга. И, одновременно, разительно отличны, как отличны их царствования. Петр изначально придал своим увлечениям и досугу государственный характер, совместил «удовольствие» с «пользой». Из его «потешных» выросла гвардия, из ботика — флот, из собрания «уродцев» — первый музей.

От увлечения Алексея Михайловича осталось иное — упоминания иностранцев, царские письма и известный «Урядник сокольничего пути». Это тоже немало, но, конечно, не идет ни в какое сравнение с содеянным Петром. Алексей Михайлович, увлекаясь, развлекался, Петр — созидал. Это сказано вовсе не в упрек нашему герою. Просто различны масштабы личностей и различны эпохи, в которые они жили.

Сам Алексей Михайлович называл себя «охотником достоверным», вкладывая в это определение несколько больший смысл, чем просто «настоящий охотник». Это значит охотник истый, завзятый, не просто знающий до тонкостей охотничье дело, но сумевший поднять охоту до уровня эстетического наслаждения.

Алексею Михайловичу было с кого брать пример. Большим любителем охоты был его отец. Правда, Михаил Федорович более жаловал охоту звериную, в первую очередь травлю медведя и лося. В первые годы своего правления, когда царская псарня являла собой жалкое зрелище, Михаил Федорович даже дерзнул отобрать охотничьих собак у московской знати. Для зимней и летней охоты царя в заповедных лесах ловили зверя и везли ближе к столице, в устроенные для того «лесные рощи». И горе было тому, кто пытался промышлять в заповедных угодьях или сечь лес.

Тишайший довольно быстро «изменил» отцовским пристрастиям. Охота на зверя отошла на второй план, уступив место иной страсти — «красной птичьей охоте». В окружении молодого Алексея Михайловича был еще один любитель птичьей охоты, пример которого, быть может, оказался заразительнее отцовского. Адам Олеарий сообщает, что охотничьих птиц держал Борис Иванович Морозов. Нет сомнения, что он поощрял своего воспитанника, причем не без корысти для себя: сгоравший охотничьим энтузиазмом молодой государь больше думал об охоте, чем об управлении, что, естественно, еще более развязывало руки всесильному Морозову. Правитель, замечает Олеарий, «очень часто увозил его (Алексея Михайловича. — *И.А.*) на охоту и на другие увеселения».

В юности Алексей Михайлович охотился на медведей, лосей, волков, «осочил» лисиц. Все это требовало неутомимости, ловкости и силы, что, казалось бы, не слишком вяжется с обликом царя. Между тем молодой Романов в самом деле неплохо владел охотничьей снастью, был неутомим и отправлялся в поле или лес при первой возможности. Даже сыграв свадьбу 16 января 1648 года, он уже 21 января, оставив двигавшийся на богомолье в Троицу поезд с молодой царицей, отправился на охоту.

Охотничьи пристрастия государя были хорошо известны подданным, которые не упускали случая воспользоваться царской страстью, чтобы привлечь к себе внимание и заслужить награду. Впрочем, попадались и такие, кто делал это с известной долей бескорыстия, что называется, из любви к искусству. Смоленский шляхтич Станкевич перевел изданный в 1635 году в Риге «Регул (то есть устав. — И.А.), принадлежащий до псовой охоты». Перевод был послан Алексею Михайловичу с подкупающим признанием человека, разочарованного в людях. «Ваше величество! — писал шляхтич. — Живу на свете 63 года, а веселости ни в каких забавах не нахожу, кроме псов». Шляхтич сетует на «бездельные порядки», то есть непорядки, которые он усмотрел в псовой охоте на Руси, и ратует за ее исправление для устройства истинной забавы для дворянства.

В отличие от обычной охоты, в которой удачливость и мастерство охотника определяются количеством и размерами добытых трофеев, в птичьей более всего почитались красота полета и выучка птицы. Нет сомнения, что «красная потеха», начиная с обучения птиц и кончая самым главным действием — охотой, более всего отвечала эстетической натуре Тишайшего. Он приходил в восторг, когда наблюдал за полетом сокола или челиги, и столь же искренне огорчался, когда птица не оправдывала надежд, подводила. Переполюнявшие его чувства иногда были столь сильны, что требовали немедленно излить их на бумагу. Адресатом царя чаще всего оказывался Афанасий Матюшкин, не менее ярый поклонник «красной потехи». Алексей Михайлович мог быть уверен в том, что главный ловчий не только поймет все его — даже невысказанные — мысли, но и испытает настоящее наслаждение от одного описания охоты. Понять же

было немудрено — в безмерной любви своей к охоте Алексей Михайлович был необычайно выразителен.

Примеров тому множество. Однажды, отправившись «отведывать» (опробовать) птиц за Суцовой к Напрудному, царь наехал на «прыск» — залитое весенним паводком мелкое место. Прыск был небольшой, шесть сажений на два, и острый глаз царя тотчас приметил все преимущества. «Да тем хорош, — пишет он Матюшкину, — что некуда утечь, нет иных водиц близко». Тотчас пустили любимого царского сокола Мадина, но он «не слез» — не спустился за добычей. Следом подбросили дикомыта (птицу, обученную «не с гнезда», прирученную уже взрослой) ловчего Семена Ширяева. Дикомыт не подвел, и царь в восторге не поскупился на превосходные степени: «Так безмерно какво хорошо полетел, так погнал да осадил в одном конце два гнезда шилохвостей»; затем одно «утя... как мякнет по шее, так она десетью перекинулась»^[436].

В своих письмах царь — настоящий поэт птичьей охоты. Созданный им знаменитый «Урядник сокольничего пути» — подлинный гимн этому царскому увлечению. Чего стоит одно только вступление к Уряднику, написанное в один выдох, в полноте чувств. «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя, и забавляет веселием радостным, и веселит охотников сия птичья добыча!» — восклицает автор, приглашая читателей усладиться особенностью и красотой полета каждой птицы. «Безмерна славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и утешительна и челига кречатья добыча. Угодительна же и потешна дермлиговая переласка и добыча. Красносмотрительно же и радостно высокова сокола лет... До сих же доброутешна и приветлива правленых ястребов и

челигов ястребьих ловля; к водам рыщение, ко птицам же доступание».

Каждая строка предисловия не просто красива — содержательна. Царь знает, о чем пишет. Красота полета сокола — в высоте и в стремительном, почти неуловимом для глаза, падении на добычу, ударе и в новом крутом подъеме, новой «ставке». Сокол «с великим верхом» (то есть высотой полета) — лучший сокол, оттого и «красносмотрителен... высокова сокола лет». Дермлиги (разновидность мелкого сокола), не давая опомниться своей добыче, атаковали ее сверху и снизу. То и была «дермлигова переласка», которая в суете и неутомимости своей могла казаться даже потешной...

Исследователи литературы охотно включают Урядник в число литературных памятников Древней Руси. В нем видят начала эстетические, художественные. Но Урядник — это еще и целое мировоззрение, царский проект устройства мерного и благочинного мира. Это особенно ощутимо, когда выпренный тон «Предисловия и сличения» сменяется вполне конкретным описанием церемонии посвящения в сокольничий чин. Для царя и его современников в строгом, соразмерном распорядке церемонии, когда каждый знает свое место и делает свое дело, и таится подлинная красота и честь для каждой вещи и каждого чина. Потому Урядник вовсе не утрачивает своей праздничности — «красоту и удивление». Он лишь несколько меняет тональность.

Вся церемония предполагает особое уготовление, вбирающее в себя всю символику «красной охоты». В передней избе к приходу государя стелется «ковер диковатой» (серо-голубого цвета), на который кладется подушка, набитая пухом диких уток. Против подушки-изголовья ставятся четыре нарядных стула для четырех лучших, первостатейных птиц — соколов и кречетов.

Между стульями кладется крытое попоной сено, где будут наряжать новопоставленного в чин. Сено и попоны — символы коня: нет сокольничего без птицы, но нет настоящей птичьей охоты и без коня!

Все это вместе названо местом. И люди, и птицы, расставленные по месту, — все должны быть в лучших платьях и в «большом наряде». Сам нововыборный должен стоять одетым «в государево жалованье» — новый суконный кафтан с золотыми и серебряными нашивками «х какому цвету какая пристанет», в фerezее и шапке, обязательно надетой «искривя» — лихо набок. Это и есть уряд и устрой по чину.

Далее следует церемония пришествия царя и приветствия начальных сокольников и рядовых. Затем наступало время «объявлять образец и чин». Начиналось все с «наряжания» птиц. Это было не обычное одевание обнасцов, колокольцев, клубучков и прочего, но настоящее священнодействие, исполненное глубокого смысла. Не случайно оно открывалось фразой подсокольничего: «Начальные, время наряду и час красоте».

Поразительны определения, которые предшествовали каждому следующему движению участников. Посвящаемому в чин вручают рукавицу, которую он должен «вздевать тихо и стройно». Одевши же, «пооправся», «поучиняся» и перекрестясь, он брал челига. Урядник требовал, чтобы сделано это было не просто так, а «премудровато», то есть умело и «оброзсцовато». По Тишайшему, это и есть столь любимое им «стройство» — умение вести себя так, как должно и положено каждому чину.

К самому государю надо было подступать «благочинно, смиренно, урядно»; подойдя, остановиться «поодоле» от царя, но не просто так, а «человечно, тихо, бережно, весело»; кречета при этом следовало держать «честно (достойно. — И.А.), явно, опасно

(осторожно. — *И.А.*), стройно, подправительно (исправно, по образцу. — *И.А.*), подъявительно (напоказ. — *И.А.*) к видению человеческому и к красоте кречатье». Так Урядник связывал воедино те центральные понятия, которые объявлены в Предисловии — через «строительство» — действие — являл урядство, красоту, честь и меру.

Средневековое общество корпоративно. Царь создает избранную корпорацию, корпорацию сокольничих, особость которой закреплялась особостью действия, приравненного чуть ли не к обряду. И снова невольная параллель: подобную игру со своим Всешутейшим и Всепьянейшим собором затеет позднее Петр. Но насколько отличны оба «строительства»! Петр осмеивал, издевался, выворачивал наизнанку то, что испокон веков было неприкосновенно — обычаи предков, жизненный уклад, священнический сан. Словом, расшатывал устои. Алексей же Михайлович упрочивал их. И пускай это упрочивание происходило в миру почти особом, созданном царским увлечением, в сознании Тишайшего по этой мере и по этим принципам должен был выстраиваться весь благочинный мир.

Все в Уряднике должно было культивировать сознание корпоративности и особости царских сокольничих. Даже язык их выстраивался непонятно для непосвященных. «Врели горь сотело?» — спрашивает подсокольничий у государя после посвящения. «Сшай дар», — отвечает царь, и все это значит: «Время ли, государь, совершать дело?» — «Совершай дар».

Все это преследовало задачу вполне прозаическую: побудить сокольничих к добросердечной, старательной службе. Обряд наряжания нововыборного, к примеру, предполагал чтение письма-наставления о послушании. Отныне он должен был «во всем добра хотеть от всея души своя, и служить и работать верою и правдою, и

тешить нас, великого государя, от всего сердца своего до кончины живота своего». Царь определял смысл истинного служения-послушания, доведенного до уровня повседневного регламентированного поведения. Послушание значит «во всякой правде быть постоянно и твердо», слушаться «однослову», отступаться от всякого «дурна» и о «плутовстве» и непослушании доносить, обязанности свои выполнять «прилежно и безскучно», своих товарищей «любить что себя». Перед нами — кодекс служебной чести, образец, или точнее, типикон идеальной службы.

До сих пор остается открытым вопрос об авторстве Урядника. Принадлежал ли он перу одного Алексея Михайловича или был результатом творчества нескольких человек? В самом тексте легко уловить интонации Тишайшего, именно ему присущие стилистические обороты и выражения, свободу мысли, которую мог позволить себе только государь. Оканчивая часть первую Урядника, автор писал: «О славные мои советники и довереннии и премудрии охотники! Радуйтеся и веселитесь, утешайтесь и наслаждайтесь сердцами своими, добрым и веселым сим утешением в предъидущие лета. Сия притча душевне и телесне; правды же и суда и милостивыя любве и ратного строю николи же позабывайте: делу время и потехе час».

Здесь многое выдает руку Алексея Михайловича. — Само обращение — «славные мои советники»; особенно любимый им прием завершать мысль присказкой или притчей. Обращает на себя внимание форма изложения, в первую очередь вступление к Уряднику, которое смахивает на очередное царское поучение-наставление. Но главное — мысли. Надо помнить о правде, творить суд, милостыню, служить всем сердцем, памятуя о воздаянии за свои дела и помышления, — все это звучит очень знакомо, совершенно по-царски, если вспомнить

то, о чем без устали писал Тишайший в своих посланиях.

Само произведение сохранилось в двух списках, один из которых неполный и, по-видимому, представляющий последний рукописный вариант^[437]. Оба списка содержат приписки, сделанные рукой Алексея Михайловича. Но надо ли отнести их на счет царя-редактора или на счет царя-автора, сказать трудно. Царь привык чернить бумаги, подготовленные ему дьяками и подьячими. Но он чернил по нескольку раз и свои собственные письма, выступая в роли требовательного писателя, который озабочен не только точностью мысли, но и выразительностью. Так что работа над Урядником вполне укладывается в манеру царя писать собственные произведения.

Страсть автора Урядника к церемониалу посвящения в сокольничий чин также свидетельствует в пользу авторства Алексея Михайловича. Достаточно сравнить написанное с церемониалом отпуска полка Трубецкого в 1654 году. Параллели явные — от прямых повторений до подробно расписанного сценария, за которым легко проглядывается отличительная черта царя — любовь к деталям.

Заметим попутно, что планы автора Урядника были несколько пространнее того, что оказалось зафиксировано на бумаге. Едва ли царь, заказывая Урядник, удовлетворился бы подобным исполнением порученного. Да и осмелился ли кто-нибудь не выполнить государеву волю? Скорее всего сам Тишайший, по обыкновению наметив обширные планы, исполнил меньшее и тем довольствовался — то ли за недосугом, то ли по иным, неизвестным нам причинам.

Вместе с тем нельзя не признать, что перечисленные доводы в пользу авторства Алексея Михайловича все же оставляют вопрос открытым.

Окончательную ясность может принести лишь прямое указание источников, например царский автограф. Пока же следует ограничиться признанием безусловного участия Тишайшего в работе над текстом.

Заядлый охотник, Алексей Михайлович готов был отправляться на охоту в любое время. Не случайно в Уряднике провозглашено, что для «достоверного охотника... всегда время и погоды в поле». В 1650 году царь указал Матюшкину записывать, «в который день и которого числа дождь будет» и как «носят и отлетают» его птицы. Так появился погодный дневник царя. Сохранился он не за все годы. Но и то, что осталось, впечатляет, позволяя более отчетливо представить «охотничьи будни» второго Романова.

Алексей Михайлович был неугомоним. Особенно часто он охотился в 50-е — первой половине 60-х годов. Стоило делам нарушить в эти годы привычный ритм охоты, как следовал горестный вздох. «Не ходил на поле тешитца июня с 25 числа июля по 5 число, и птичий промысел поизмешался», — жаловался он своему ловчему, единственному человеку, способному оценить «жертвенность» царя. Но такое случалось редко. Чаще было обратное — бесконечные отъезды в поле.

В иные месяцы царь выезжал в поле до 15–20 раз, причем иногда по два раза на день — до и после обеда! Так что можно усомниться в правдивости известной сентенции Алексея Михайловича о деле, которому время, и потехе, которой час. У Тишайшего иной раз получалось все наоборот: потехе — время, а делу — час, причем слово «час» здесь следует толковать в прямом смысле.

Царь овладел охотничьим ремеслом до тонкостей. Его трудно было обмануть, он входил в каждую мелочь, но при этом не упускал того, что ему так не хватало в делах управления — главного. Быть может, этим он

невольно доказывал, что одного чувства долга для успеха в делах государственных мало. Нужны еще и талант, и любовь — все то, что он с лихвой демонстрировал в своем охотничьем увлечении.

С одного взгляда Алексей Михайлович угадывал качество птицы. «Видитца как бы тяжел», — замечает он про полет одного сокола, а о другом пишет: «добр добре будет». Часто ошибавшийся в подборе помощников для дел государственных, царь был точен в оценке деловых качеств своих сокольничих. Здесь он редко ошибался и был необыкновенно, даже жестоко требователен. Будь он так же деловит, требователен и прозорлив в общении со своими думными и придворными чинами, дела государственные, несомненно, складывались бы куда удачнее, а успехи были бы много весомее.

Случалось, что необходимость заставляла второго Романова перепоручать управление кречатней доверенным лицам, прежде всего Матюшкину и Голохвастову. Делал он это всегда с большой неохотой и не упускал случая потребовать подробного отчета. Бедному Матюшкину приходилось отвечать царю про все «подлинно», по статьям, не оставляя «ни одной строки, против которой к нам не отписать». И если полковые и городовые воеводы сплошь и рядом могли увернуться от царского допроса, то Матюшкину со товарищи не приходилось надеяться на монаршую забывчивость. Алексей Михайлович помнил обо всем и строго взыскивал за «небрежение».

Служба в сокольничих была и привлекательна, и трудна. Царь жаловал их с непривычной для провинциального служилого люда щедростью и быстротой. Но и с наказанием не задерживался. По царскому слову сокольничих без промедления вразумляли батожками, а за тяжелые проступки

изгоняли из чина, ссылали в солдатскую службу^[438]. Это была неприятная, хотя и неизбежная сторона близости к царю. Особенно туго приходилось тем, кто попадался Алексею Михайловичу под горячую руку. Разгорячить же царя было чрезвычайно легко: хватало одного известия о плохом самочувствии любимого кречета, не говоря уже о таких серьезных проступках, как утрата или гибель птицы. Тут уж благодусный государь наливался гневом и метал в провинившегося громы и молнии. Доставалось даже Матюшкину и Голохвастову. «Вы на меня не встречайте», то есть не пеняйте, писал им Алексей Михайлович, заранее предупреждая, что безжалостно взыщет за непорядки.

Но более всего за недогляд и небрежение перепадало простым сокольникам. Иван Ярышкин как-то не вставил как следует окончину в кречатне. Ветер выбил раму и та, падая, зашибла сибирского кречета Мальца. Об увечье доложили Матюшкину. Тот нарядил целое следствие и виновного, «чтоб вставлял окончину крепко и кречетов государевых берег», жестоко побили батогами. Этим, однако, дело не ограничилось. После доклада царю незадачливому сокольнику указано было еще добавить — в назидание остальным.

В 1656 году Алешка Багач без разрешения напустил на живую птицу сокола. Сделал он это в дороге, должно быть, от острого желания узнать, чем увенчались его беспрестанные труды. Сокол улетел. Последовавшее наказание лучше всяких слов передает всю тяжесть царского гнева. Алешку ободрали кнутом и посадили на шесть недель на «чепь» с внушением, стилистика которого выдает руку Алексея Михайловича: «Чтоб на то смотря, дуровать иным было неповадно»^[439]. Зато уж если случай возвращал улетевшую птицу, Тишайший приходил в прекрасное настроение. Как-то один рязанский сын боярский поймал улетевшего сокола.

Довольный Алексей Михайлович тотчас отписал о том Матюшкину, не упустив случая подтрунить над ним: вы теряете, мы находим.

Царь хорошо знал своих кречетников, сокольников и ястребников. Он собственноручно, по памяти, вписывал и поправлял их имена в приказных списках. Так, «потешив» царевича Федора «красною охотой», государь на следующий день чернил роспись сокольничих, которые «вчерашнего дни были на поле». При этом он с тщательностью провизора, составляющего важное лекарство, выискивал правильное соответствие наград служебному рвению каждого из участников «потехи» — кому по киндюку «лучшему», кому по «среднему», а кому поплоше — просто по киндюку.

Царь привычно делил служилых людей на «чины» и «статьи». Но в общении со своими сокольничими он находил, что этого мало. Ему еще нужны были их нравственные качества — рвение, старание, честность. Среди кречетников, сокольников и ястребников царь выделяет тех, «у которых добрые птицы бывают и сами добры». Они составляют в царском реестре «первую статью». «Другая (вторая. — *И.А.*) статья» слуг — «которые поплоше». И уж совсем для него плоха «третья статья», потому что люди в ней «худы». Принцип деления прост и несокрушим: «добрые» — те, у кого птицы лелеяны и всегда пригодны к делу, «худые» — кто к птицам невнимателен. При этом в оценке способностей кречетников царь прозорлив. Во вторую статью занесен некто Федор Григоров, против которого помета: «Молод, а чаёт, что будет добр». Замечание многообещающее — царю угоден!^[440]

Второй Романов был убежден, что особое положение обязывает сокольничих служить ему с великим старанием. Он даже в обращении к ним подчеркивал их

особость: «Избранным нашим и верным сокольникам». Пренебрежение чином сокольника воспринималось Тишайшим как личное оскорбление. Когда сокольник Борис Бабин «погнушался... нашему государеву соколничью чину и стал считаться с Михеем Тоболиным, что он по городу служит», то Алексей Михайлович повелел виновного бить батогами и вымарать из чина сокольников, после чего Бабин три недели «волочился», выпрашивая прощение. Царь простил «наполовину»: Бабина назад не взяли, а написали стремянным конюхом к грузинскому царевичу. В этом назначении была своя полуприкрытая насмешка, побуждавшая остальных сокольничих к еще большему рвению.

Проступок Бабина побудил Алексея Михайловича написать «избранным сокольникам» целое послание. Как водится, царь несколько раз правил его, чтобы найти более язвительные определения. Алексей Михайлович не удовлетворился просто словом «погнушался» и приписал перед ним «нашею милостию», в результате чего получилось: «нашею милостию погнушался нашим государевым милостивым соколничьим чином». Сам проступок был объяснен «беспутной дуростью» Бабина. Если в первой редакции Алексей Михайлович призывал сокольничих «наипаче прежнего простиратца и служить», обещая, что «служба ваша николи забвена не будет», то в новой редакции прибавлены были и «грозы»: теперь царь приказывал «дурны всякие обычаи прежнии отставить». Все это было написано в июле 1655 года близ Шклова, в разгар военных действий. Тем не менее происшедшее так задело государя, что он нашел время дважды вернуться к этой теме — штрих незначительный, но вместе с тем и показательный^[441].

Однажды сокольники, не получившие вовремя жалованья, ударили челом государю. Царь посчитал это

челобитье чуть ли не «заговором». В гневной отповеди он писал, что на днях собирался их пожаловать и жалованье было даже готово, но «вы того не дождались и завели воровски челобитье». «Вспомните, — обращался царь к начальным, не досмотревшим за сокольниками людям, — кто каков был и каков пришел, и каков ныне стал... за милость Божию и за ево государево жалованье можно бы и унять».

Сыск выявил «заводчика» Федора Кошелева, которому приказано было отсечь левую руку и положить ее на челобитье. Остальных высекли кнутом.

И все же статус сокольничих оставался чрезвычайно привлекателен. Показательно, что появлялись даже люди, самозвано возводившие себя в этот чин.

Царское увлечение было дорогим удовольствием. Алексей Михайлович имел несколько зверинцев. Самый большой находился в селе Семеновском. Здесь было много медведей: и «дворных» — прирученных, и диких, отловленных в лесах. Всех их держали для боев, травли и иных увеселений. Но главное, конечно, были птицы, содержащиеся на Соколином дворе в том же Семеновском. Сам двор был подведомствен Тайному приказу. Уже одно это придавало ему особый статус. Денег на кречатню не жалели. Постройки, принадлежавшие двору, были образцово отстроены и производили впечатление даже на иностранцев.

Не каждый имел возможность попасть на территорию Соколиного двора. Даже Николаасу Витсену это не удалось сделать — а ведь он, как мы помним, ухитрился дойти до Никона! Не помогли даже деньги, обычно делавшие слуг покладистыми. Сторожа отказались взять их, заявив, что не пропустят немца без разрешения и за мешок денег ^[442].

Царь превратил саму возможность взглянуть на его любимых птиц в знак особой милости. Августин

Мейерберг рассказывал, как царь «из расположения к своему любезнейшему брату, цезарю Римскому Леопольду», прислал к ним шесть сокольников, одетых в дорогие кафтаны. Все они держали на правой руке кречетов, которые «были в новых колпачках из великолепной ткани». Лучшего кречета украшало золотое кольцо с рубином. Впрочем, если бы Алексей Михайлович был осведомлен относительно истинных чувств, какие испытали при виде сокольников великие послы, он был бы разочарован. «Такая потраченная попусту торжественность... располагала к смеху, и дух, затронутый забавною картиною этого пустого чванства, разразился бы хохотом», — записывал позднее Мейерберг^[443].

Штат Потешного двора был огромен. Одних сокольников насчитывалось около ста человек. Число птиц превышало три тысячи. Здесь были соколы, кречеты, челиги, копчики, ястребы и, по всей видимости, даже орлы. В кречатне имелись экзотические красные и белые ястребы. Кроме хищных птиц, на дворе жили лебеди, гуси, журавли, цапли.

Чтобы прокормить множество хищных птиц, приходилось держать до ста тысяч пар голубей. Но и этого было недостаточно. Царь в своих письмах сетовал, что нередко случалось так, что «птицы поспедали», а голуби «исходились». В поисках выхода Тайный приказ даже наложил на подведомственных ему крестьян «голубиную повинность», обязав ежегодно доставлять на Потешный двор этих птиц.

На Потешный двор возами везли зерно и мясо. Все это вводило казну в огромный расход, который по подсчетам исследователей составлял около 75 тысяч рублей в год. Добыть такие деньги по силам было одному Тайному приказу, который по государеву указу

до самого донышка опустошал сундуки четвертных финансовых приказов.

В поисках птицы помытчики рыскали по всем уголкам царства. Особенно ценилась птица, добытая в Сибири и на Двине. За добытыми птицами из Москвы отправляли доверенных лиц с обстоятельными наказами, какие не всегда получали полковые и городовые воеводы. Отправившемуся в 1662 году за кречетами в Тюмень Елизару Гаврилову было приказано возвращаться с великим бережением и старанием, чтоб ни одна птица не погибла. Подьячие Тайного приказа, которым были ведомы все слабости и пороки русских людей, предупреждали: «А буде... нерадением и небрежением без призрения птицы великого государя кречаты истеряются, или с голоду помрут... или кормить станут не во время, или от их пьянства... и ото всякого их небрежения над птицами учинитца какое-то дурно... за то быти от великого государя в великой опале, что о том государь укажет»^[444].

Зная о пристрастии государя к «красной охоте», не упускали случая отличиться жители далеких уездов и местные воеводы. Со всех сторон в Москву летели грамотки с сообщениями, имеющими отношение к «красной охоте». Из Нижнего Ломова сообщали о прижившихся здесь нескольких парах лебедей. Тотчас была отписана грамота воеводе — лебедей кормить и беречь для «птичьего промысла на государев обиход».

Выезд царя на охоту — часть придворного церемониала, красочное и завораживающее действие. Все тот же Витсен в апреле 1665 года оставил зарисовку такого выезда: Алексей Михайлович ехал в карете, запряженной шестеркой лошадей. Дорогу перед ним выметали стрельцы. Сопровождающих было «наверное, тысячи человек». При этом у многих всадников были привязаны маленькие клеточки^[445].

Соколиная охота была любимым развлечением многих монархов. Алексей Михайлович не упускал случая порадовать их. Среди подарков, отправляемых с послами и посланниками, нередко числились соколы и ястребы. Особенно много посылок в Персию, Турцию и Крым. В последнем случае охотничьи птицы входили в реестр так называемых «поминков», дальнего отзвука ордынского «выхода», с помощью которого Москва надеялась хоть как-то удержать крымского царя от разбойничьих набегов. Обыкновенно хану слали пять кречетов и два ястреба.

Сохранился необычайный наказ, «как тешить шах Аббасово величество», который получил отправленный вместе с послами в Персию сокольничий Парфен Тоболин. Примечательно, что царь, снаряжая очередное посольство, не удосуживается заглянуть в посольский наказ. Зато правит наказ Тоболину. Охотник побеждает в Алексее Михайловиче государя — его мало интересуют цели посольства, зато сильно волнует, как воспримет его подарок шах, сумеет ли насладиться красотой лета и «рыщения» его соколов.

Наказ определяет порядок представления птиц шаху. Для того следовало выехать на охоту и, выпустив первого сокола, попросить шаха подойти ближе к воде, «чтоб мочно было видеть». Здесь Тоболину надлежало известить посла Милославского, что «сокол стал в лету и ждет убою». Посол, в свою очередь, должен был получить у шаха разрешение начать охоту — «гнать» птицу. Если же «Бог даст, убьет сокол утя», послу и сокольничему предписывалось спросить у шаха, «живьем ли отымать или сокола потешить, дать загрысть»^[446].

Царствование «достоверного охотника» стало временем расцвета «красной охоты». С его смертью все быстро приходит в упадок. Царь Федор, быть может, и

находивший после уроков отца в полете соколов и кречетов вдохновение, из-за физической немощи редко мог позволить себе подобное удовольствие. Петр же остался совершенно равнодушен к этому занятию. Постройки Потешного двора ветшали, птицы гибли, многочисленный штат истаивал. Кое-кто из сокольников принужден были сбросить яркие охотничьи кафтаны и облачиться в Преображенские и семеновские мундиры. Смена платья и здесь оказывалась символичной. Новая эпоха диктовала и новые моды.

Если в Коломенском Алексей Михайлович охотник, то в Измайлове — помещик. Здесь Алексей Михайлович реализовал другое, быть может, не столь страстное, но не менее сильное увлечение — занятие хозяйством. Измайлово служило царю местом для хозяйственных опытов. В своем подмосковном владении Алексей Михайлович завел образцовые поля и сады (целых четыре), где пытался разводить виноград, арбузы и даже тутовые деревья. Нельзя сказать, что большинство этих экспериментов были удачны. Удовольствие выращивать виноград в Подмосковье оказалось занятием слишком уж дорогостоящим, чтобы всерьез говорить о хозяйственной прибыли. Но в отличие от обыкновенных помещиков Алексею Михайловичу разорение не грозило. Между государственным и дворцовым «карманами» не было большой разницы — все нашито на одно платье. Оттого «прогоравшее» в своих рискованных экспериментах хозяйство Измайлова продолжало процветать, получая при этом солидные денежные инъекции из приказных сундуков.

Разорительные опыты с разведением шелковичных червей и выращиванием экзотических плодов в Измайлове и иных местах более всего интересны с точки зрения личных качеств Алексея Михайловича. Он

верен себе: тяга к прочному домостроевскому укладу жизни, где все в достатке и в изобилии, сочетается в нем с интересом к необычному, новому, если, конечно, это новое не покушается на неоспоримые в глазах Тишайшего православные ценности. Диапазон интересов и увлечений государя широк, но есть предметы, которые пребывают в центре его внимания постоянно. Хозяйственные — одни из них. Будучи «вотчинником» всей Руси, он, по-видимому, испытывал потребность быть подлинным, во все вникающим и действительно всем распоряжающимся хозяином в своей «собственной» вотчине. Так что к своему «личному» Тайному приказу и «келейному» Саввино-Сторожевскому монастырю Алексей Михайлович добавил несколько десятков сел и деревень, в которых он — истинный вотчинник, прочно осевший на землю.

Измайлово перешло в собственность царя в 1655 году, после смерти бездетного Никиты Ивановича Романова. Усадьба и место ее расположения приглянулись царю. Подкупило, по-видимому, то, что новое владение можно было организовывать как законченный хозяйственный комплекс. Алексей Михайлович энергично взялся за дело.

Царь старался вникнуть в мелочи и не гнушался даже выступить в роли простого приказчика, отправляясь в страду в поле понаблюдать за полевыми работами. Кроме полеводства и садоводства царь заводит в Измайлове обширное огородничество, скотные, птичьи, пасечные дворы. В хозяйственный комплекс входят постройки, которые мог себе позволить только крупный владелец. На запруженных речушках вода крутит водяные колеса семи мукомольных мельниц. Чтобы напор воды был постоянен, создана система из 37 прудов. Для хранения урожая отстроены каменные риги. Но верх размаха —

льняной и стеклянный заводы. Продукция последнего идет даже на продажу.

Для Алексея Михайловича лучшее хозяйство — это и лучшие работники. Их разыскивали по всей стране и сманивали из-за рубежа. Льняники были найдены в Пскове, скотники — на Украине. Садовники были выходцами с Нижнего Поволжья. В исключительных случаях приглашались иноземцы. Причем иногда за огромные деньги. Так, иноземцу Гуту был положен оклад в 144 рубля. Впрочем, когда тот не оправдал доверия и не привел сад «в совершенство весь», его наказали убавкой в 44 рубля. Стекольных мастеров пришлось также нанимать за границей.

Но основная масса работников была просто переведена из других дворцовых волостей в Измайлово. Казалось, подобная перемена в жизни должна была их обрадовать. Однако на деле все обернулось иначе. В Измайлове бремя повинностей и объемы работ оказались настолько непосильными, что крестьяне очень скоро затосковали по прежнему доизмайловскому быту. Уже после смерти второго Романова выяснилось, что из 664 переселенных крестьянских семей 481 семья ударилась в бег! Те же, кто остался, «наготове бежать, мало не все». Косвенно о размере «изделия», которое выпадало на долю измайловских крестьян, можно судить по тому, что в страдную пору приказчики были принуждены нанимать жнецов со стороны. В урожайные годы цифра наемных работников переваливала за 700 человек!

Как водится, царь, если речь шла о его увлечениях, был нетерпелив и капризен. Обширные хозяйственные планы побуждали его беспрестанно понукать подьячих Тайного приказа, в ведении которых находилось Измайлово. Хорошо знакомые приписки в грамотах воеводам и послам делать все «на скоро», «не спустя времени», «безо всякого мотчанья» столь же

характерны и для хозяйственной документации Тайного приказа. И горе было тому служилому человеку или приказчику, который сделает что-то спустя рукава. В ином приказе такое могло сойти, а если и не сходило, то ничтожно малы были шансы, что о промашке станет известно государю. Здесь же рассчитывать на снисхождение не приходилось. Подьячие, дорожа царским доверием, спуска не давали. Да и опасно было давать — царь был в своих увлечениях мелочно внимателен.

Но царь не только мелочен и капризен, но и упорен. Во второй половине 60-х годов Алексея Михайловича захватила идея производить свой шелк-сырец. Для ее реализации надо было не только подыскать «толковых заводчиков», но и развести тутовые сады. В 1666 году астраханским воеводам приказано было найти и описать сады, где росли тутовые деревья. Дело шло туго. К тому же вскоре на Астрахань обрушилась напасть пострашнее «шелковичных червей» — Стенька Разин. О поручении царя забыли. Однако едва закончился бунт, как царь напомнил о своем плане. В 1672 году он обязал нового астраханского воеводу боярина князя Я. Н. Одоевского, как «астраханское дело успокоится и на мере станет», вновь заняться поиском садовников, которые могли бы завести тутовые сады на Москве. На крайний случай боярин должен был приискать «самых добрых садовников» за морем. Одновременно продолжались поиски «виноградных и арбузных садовников» для Измайлова.

Замечательно, что в этом случае Тишайший преследовал цели, выходящие за границы личного пристрастия. Царь мыслил шире — производство шелка могло стать важной статьей дохода для казны и промышленных людей. Не случайно, что опыты с туковыми деревьями и переговоры с армянской Джульфинской компанией, привозившей шелк-сырец из

«шаховой области», совпали по времени. Алексей Михайлович явно сознавал связь между мерой уступок армянским купцам и собственным налаженным производством шелка-сырца. Опыты, несмотря на настойчивость царя, окончились неудачей. Пришлось мириться с тем, что компания осталась монополистом на ввоз шелка-сырца в страну. Армянские коммерсанты не остались в долгу и преподнесли Алексею Михайловичу алмазный трон. Богатый дар, впрочем, был с прицелом на будущее: купцы надеялись получить от государя новые привилегии — право провоза сырца и других восточных товаров в Архангельск, Псков, Новгород, Смоленск и «за море в Немецкие земли». Смысл задуманного — лишить русских купцов доходов за посредничество. Естественно, русское купечество решительно воспротивилось подобным притязаниям, и царь вместе с ближними боярами признал справедливость их аргументов.

Подьячие Тайного приказа обязаны были доносить царю обо всех хозяйственных новостях. В 1665 году тамбовский воевода писал о появлении «от виноградных прутьев отраслей». Тотчас о том было доложено Тишайшему. Тогда же в августе посадили арбузные семена. Дьяк Башмаков сделал помету: прочли о том царю, и царь указал написать тамбовскому воеводе, чтобы тот об арбузах «промышлял впредь со всяким раденьем неоплошно»^[447].

Реализуя свои замыслы, Тишайший невольно выступал в роли осуждаемого им же самим «сильного человека». Хозяйственная деятельность побуждала его к округлению владений. Царь бросал алчные взгляды на соседние с дворцовыми селами земли. Тайный приказ, выполняя царскую волю, предлагал их владельцам обменять или продать эти деревни и села. Делать это велено было с известной деликатностью: доверенным

лицам предписывалось говорить «собою, а не государевым указом, чтоб они тех своих помесных земель поступились», с обещанием дать взамен, к примеру, земли «на Украине, где они приищут»^[448].

Понятно, что никому в голову не приходило противиться этому произволу, пускай и прикрытому законностью сделки. Все понимали, от чьего имени говорит «собою» доверенное лицо, тем более что последний, заинтересованный в успехе своей миссии, едва ли скрывал истинную подоплеку дела. Старым владельцам ничего не оставалось, как молча соглашаться, радуясь полученному, а иногда и вовсе довольствоваться одними обещаниями, поскольку приказные прекрасно знали, кого можно «поволочить», а кого и просто вытолкнуть вон. Эти злоупотребления обнаружились уже после смерти Алексея Михайловича, когда с упразднением Тайного приказа множество обиженных ударили «челом о взятых своих поместьях и вотчинах». Алексей Михайлович при всем своем благодушии знал, конечно, о природных ухватках приказной братии, но не удосужился вникать в подобного рода дела, будучи вполне доволен докладами об очередных прибавках к Измайлову и иным дворцовым владениям.

Хозяйственная деятельность царя простиралась далеко за пределы Измайлова. В сфере его внимания были и другие дворцовые владения, находившиеся в ведении Тайного и Хлебного приказов. Сюда входили крупные волости, города и села, среди которых были города Скопин, Романов, Гороховец, села Петровское, Алексеевское, Котелники, Либерицы, Черкизово, Чашниково, Лысково, Мурашкино (два последних в Курмышском уезде). Всего владения раскинулись в 14 уездах. Были здесь и рыбные промыслы — Астраханский, Черноярский и Яицкий, и бортничьи села.

Строго говоря, этим не исчерпывался список дворцовых земель. Немало их оставалось под управлением Приказа Большого дворца. Но царь тяготел именно к тем землям, которые были в ведении Тайного и Хлебного приказов. Похоже, царь смотрел на них, как на свою личную собственность, разделяя дворцовые земли примерно так, как владыки разделяли келейную и кафедральную казну. Первое — владение частное, пребывающее в полной воле владельца, второе — равно принадлежащее епархии, епископу здравствующему и его преемникам.

Кроме рыбных промыслов царь владел соляными варницами, железноделательными заводами в Звенигородском (здесь была молотобойня и «сверлильный амбар») и Каширском уездах, сафьяновым заводом в Москве. Продукция последнего шла на царский и придворный обиход. Перепадало и стрельцам. В 1672 году стрелецким десятникам и капралам полка Кравкова было дано 1108 сафьянов. Причина царской щедрости — рождение царевича Петра.

Алексей Михайлович был домовит и бережлив. Но он никогда не был скуп. Не случайно, оказавшись в роли исполнителя воли покойного патриарха Иосифа, царь был потрясен скаредностью покойного. «А какое... к ним (вещам. — *И.А.*) строение было у него... в ум мне, грешному, не вместится», — замечал государь. Такая любовь патриарха к вещам — для него крайность. И она уязвляет Тишайшего. Царь, разумеется, может любоваться и любит вещи. Но он всегда помнит о переходящем, временном характере владения ими.

Охотой и интересом к хозяйствованию не исчерпываются увлечения Алексея Михайловича. Царь равно получал удовольствие и от чтения, и от шахмат, и даже от грубоватой и незамысловатой придворной потехи.

К последней Алексея Михайловича приучали еще с детства, когда окружили его целым штатом дворцовых потешников. Правда, с его воцарением положение потешников пошатнулось — скоморохи, гусельники, скрипотчики, домрачеи под воздействием проповедей ревнителей оказались не у дел. Пощадили, кажется, только сказочников-бахарей. Молодой государь не мог устоять перед желанием послушать сказки и рассказы бывалых людей. Бахарей, впрочем, стали скрывать под благочестивым определением «нищие» или даже «верховые нищие».

Надо заметить, что второй Романов любил расспрос. Интересная беседа для него — занятие увлекательное, питавшее его природную любознательность. Но еще более удивительна реакция Алексея Михайловича на все новое, необычное. Он весь — человек своего времени, не принимающий нового в том случае, если оно явно противоречит привычному, старому. «Критический градус» новизны Алексея Михайловича в этом отношении минимален. Как-то царь поинтересовался у врача Энгельгардта, откуда известно о строении человеческого тела. Врач рассказал о вскрытии мертвых тел. Алексей Михайлович возмутился. «Сам царь сказал этому доктору, что не допустит подобных вещей, и если бы в его стране такое случилось, то отучил бы от этого»^[449]. Если вспомнить о петровской хирургии, опасной, между прочим, для жизни окружающих, то разность двух эпох — отца и сына — становится особенно показательной. Алексей Михайлович с порога отвергает богомерзкую анатомию, не ведая, что его сын станет посещать анатомический театр с такой же увлеченностью, с какой он — театр придворный.

Много времени Алексей Михайлович проводил за шахматами. Рентенфельс писал, что в царских комнатах

в шахматную игру «играют ежедневно и очень искусно, развивая ею свой ум до удивительной степени»^[450].

Любил Алексей Михайлович слушать церковные песнопения. Церковные распевы, и без того чрезвычайно популярные на Руси, с его легкой руки получили самое широкое распространение. Особенно после того, как, потеснив привычное хамовое пение, на Русь пришло украинское мелодичное пение. Алексей Михайлович настолько увлекся новым стилем — партесным многогласием, что Никон создал хор из киевских выходцев. Произошло это еще в бытность Никона новгородским митрополитом, так что в частых наездах в столицу хор для услады царского слуха сопровождал владыку. Позднее Алексей Михайлович сам стал писать тексты распевов. Исследователи даже выдвинули предположение, что Богородичен распев «И с тебя Пресвятая Богородице дево» написан Тишайшим в память царицы Марии Ильиничны^[451].

Попасть в царский хор было чрезвычайно трудно. Сюда принимали лучших из лучших — обладателей отменных голосов, отработанной вокальной техники. Основу хора составляли станицы, к которым присоединялись работавшие на поденном корму еще несколько десятков певчих. При Алексее и его сыне Федоре общая численность царского хора достигала 170–180 человек.

Помимо участия в церковных службах станицы участвовали в различных светских торжествах. Нередко хор звучал во время царских обедов, причем с музыкальным сопровождением. Понятно, что певчие превратились в неперемный «атрибут» многих церемоний и должны были одним своим видом символизировать благополучие всех тех, кто служит государю. Алексей Михайлович щедро жаловал свои станицы не только денежным и кормовым жалованьем.

Певчие были одеты в богатые кафтаны любимого царем алого или вишневого цвета, с богатой отделкой.

Алексей Михайлович не прочь был «потешиться» и тем, что можно условно назвать светской музыкой. Так что изгнание потешников из царских палат не было слишком продолжительным. По мере того как влияние ревнителей сходило на нет, во дворец возвращались привычные развлечения. Это возвращение «светской музыки» до некоторой степени символично: ведь без подобной «эволюции» невозможны были театральные комедии, даже шире — всякое движение вперед.

Москва в XVII столетии была, между прочим, довольно густо «заселена» музыкантами. Гусельники, рожешники в первой половине столетия равно развлекали и знатных жителей столицы, и черный люд. Более высоким статусом обладали трубачи — исполнители на духовых инструментах, среди которых первыми шли гобой и валторна. Спрос на музыкантов был столь высок, что в 60-е годы на Поварской улице открылся «Государев съезжий двор трубного учения».

Памятуя о музыкальных пристрастиях Алексея Михайловича, для него постоянно разыскивали музыкантов. Были случаи, когда их переманивали на государеву службу из посольских свит. Так, в ноябре 1675 года «обездолили» имперское посольство, пригласив за солидное жалованье в 60 рублей и корм двух музыкантов.

При дворе звучал и орган. Исследователи не пришли к единому мнению относительно степени его распространения. Казалось бы, сложность этого инструмента делала его доступным лишь для узкого круга ценителей, куда, естественно, входили обитатели царских покоев. Но, по-видимому, орган был знаком не одним только придворным. Уже Стоглав осуждает органную музыку, звучавшую во время народных

гуляний. Разумеется, речь идет о достаточно простых, передвижных органах.

Алексей Михайлович слушал органы, которые, по-видимому, насчитывали десятки и сотни труб. Органист входил в штат Потешной палаты. Тешили первых Романовых приезжие органисты из Польши, Саксонии, Голландии.

Наслаждаясь органной музыкой, Алексей Михайлович готов был разделить удовольствие с другими царствующими особами. Выше уже упоминались случаи, когда царские послы везли в подарки охотничьих птиц. Но Тишайший додумался посылать в подарок инструменты, музыкантов и... музыку. Отправляя в Бухару посольство в начале 70-х годов, он включил в него органиста. И все потому, что ранее царские органисты уже услаждали слух персидского шаха, от которого бухарский правитель ни в чем не желал отступить.

Органы, между прочим, были сделаны в Москве, в мастерской Симона Гуковского. Предприятие было достаточно серьезным: так, заказанный царем в подарок шаху Аббасу II орган состоял из 500 труб^[452].

Был и еще один род исполнителей, особо опекаемых царем — военные музыканты, всевозможные трубачи и литаврщики. Едва ли военная музыка всерьез затрагивала царское сердце. Позднее, при сыне Алексея Михайловича, секретарь австрийского посольства Иоганн Корб писал по поводу подобной музыки: она навевает тоску и скорее походит на погребальную^[453]. За четверть века вряд ли что-то серьезно изменилось. Однако полковая музыка в обрамлении военной атрибутики, соответствующих декораций и людей с оружием пробуждала воинственный дух, что, несомненно, сильно бодрило благодушного царя.

Сторонник строгого церемониала и этикета, Алексей Михайлович старался не нарушать его не только во время публичных церемоний, но и в частной жизни. Для второго Романова была немыслима «революция» в общении, которую устроит два десятилетия спустя его младший сын. Трудно даже представить, чтобы Тишайший мог произнести слова, прозвучавшие из уст раздосадованного Петра: «С какой это стати одних только царей подчиняют бесчеловечному закону ни с кем не общаться?» Тем не менее под напором времени в царском быту и манере поведения произошли заметные изменения. В том повинны были многие обстоятельства: впечатления, вынесенные из походов 1654–1656 годов, постепенное падение влияния ревнителей и Никона, мечтавших об «оцерковлении» всех сторон жизни; наконец, здоровая натура самого Алексея Михайловича, жадного до развлечений и диковинок. Во дворец вновь возвращаются смех и веселье. Но решительные перемены произошли после второй женитьбы царя на Нарышкиной. О главном из них — театре, речь впереди. Но дело этим не ограничилось. Развлекая молодую жену, царь словно наверстывал упущенное в юности время и не пропускал ни одной мало-мальской забавы.

Молодая Наталья Кирилловна всячески поощряла супруга. Даже иностранцы обратили внимание на то, что царица, «хотя и не нарушает никогда отцовских обычаев... склонна пойти иным путем, к более свободному образу жизни, так как, будучи сильного характера и живого нрава, она отважно пытается внести повсюду веселие»^[454].

Алексей Михайлович не упускал ни одного случая, чтобы потешить жизнерадостную супругу. Когда императорское посольство в 1675 году покинуло столицу, ему вдогонку послали генерала... за

фокусником, о котором узнали с опозданием. Фокусника привезли во дворец, где он демонстрировал свое искусство перед царем и царицей.

Царь был охоч до шутки, причем нередко грубой. Он мог приказать напоить гостя, чтобы посмеяться над ним; известно и про царское «купание» опоздавших, доставлявшее, надо полагать, удовольствие далеко не каждому. Витсен сообщает о шуточках царя во время торжественных приемов (ему про них явно рассказал кто-то из русских). Алексей Михайлович сам подавал приближенным ковш, и «нередко он в шутку выплескивает вино на их бороду и одежду, мимо рта». Шутка сомнительная, даже грубая, вызывавшая у окружающих бурю восторга: «Знать необузданно шумит и орет»^[455]. Яркий пример того, как свита делает короля!

Тишайший — образцовый семьянин. Сначала семья царя — его сестры. После женитьбы — еще царица и дети. Кажется, царица не всегда ладила с новыми родственницами. Судя по письмам, Алексею Михайловичу приходилось улаживать возникавшие в семье трения. Неизвестно, как он это делал в личном общении — тихим словом или грозным окриком. Но в письмах он верен себе — деликатен, терпелив и взывает к любви и благоразумию, с каким старшие сестры должны опекать молодую царицу и своих племянников. Так, в 1655 году он, должно быть, отвечая на какое-то послание с жалобой, наставляет родных: жить надо «в совете; не опечальте меня до конца».

Выше уже не раз цитировались письма, отправленные Тишайшим домой во время его военных походов. Писал он часто, чуть ли не с каждого стана, где ему приходилось останавливаться. При этом писал сам или на продиктованных подьячему посланиях собственноручно делал приписки. Царь настолько

приучил сестер к своей руке, что принужден был оправдываться и объясняться в том случае, если на послании не появлялась соответствующая приписка: «Да не покручинтеса, государины мои светы, что не своею рукою писал, голова тот день болела...»; «Да не покручинтеса, что не своею рукою писал: ей, недосуга и дела многия...»

Особенно почитал Тишайший старшую сестру Ирину. Его послания очень часто начинались с обращения к «матушке, благоверной царевне и великой княжне Ирине Михайловне». Уважение, какое питал Алексей к Ирине, обязательно было и для подданных. В 1655 году именины Ирины Михайловны застали царя в Смоленске. Естественно, в Москву полетела «поздравительная» грамотка: «Многолетствуй, матушка моя, в новой год и с нами и я с вами со всеми». Брат сообщал, что по случаю ее именин все «радостно пировали», и лишь одно навевало на него грусть, что «лицем к лицу не видилися, но духом всегда нераздельни николи же»^[456].

Беспрестанно посылая письма, Тишайший требовал от родных такого же внимания. Пишите «ко мне про свое здоровье почаству», — наставляет он сестер. Неизвестно, как часто радовали царя своими посланиями родные, но, получив весточку, он радовался чрезвычайно. В 1654 году, получив известие о том, что спасавшиеся от чумы царица с сестрами будто бы уже едут к нему в Вязьму, признался: «...Жду вас, светом, как есть слепой свету рад». На следующий год, получив на Пасху от сестер крашеные яйца, Алексей Михайлович совсем расчувствовался: «...Зело обрадовался и целовал с радостными слезами вместо самих вас»^[457].

Впрочем, надо-признать, что в частых царских посланиях ощущается известная торопливость: иные письма почти пусты — сам здоров, здоровы ли вы? Иногда кажется, что Алексей Михайлович не знает о чем

писать: чтобы делами «светов» обременять — такое и в голову не приходило, но тогда о чем же сообщать? Сообщал об увиденном, поразившем, случившемся: то об изменнике, который побегал предупредить поляков о царском приходе под Смоленск: его поймали и четвертовали; то о «немерном» разливе Днепра под Смоленском, таком обильном, что «горы захватило» и мост залило^[458].

Сохранившиеся письма относятся ко времени военных походов. Когда царь находился в Москве или кружил по подмосковным монастырям и дворцовым селам, надобность в посланиях отпадала. Но не пропадала тревога царя за родных. Поэтому царь предпочитает посылать близких людей справиться об их здоровье. Это и «честно», и не столь хлопотно.

Царевны — «государины светы» — не оставались равнодушными к заботам царственного брата. Они требовали положенное и обижались, если по каким-то причинам Алексей Михайлович обходил их. Дело доходило до комичного: будучи на малом водосвятии у Донского монастыря, Алексей Михайлович спохватился, что забыл в посылке справиться про сестер. Похоже, это было особенно опасно на фоне внимания царя к царице. Исправляя оплошность, Тишайший написал Матюшкину, который на этот раз остался дома: «Нарядись в ездвое платье (то есть изобрази, что послан от царя. — *И.А.*) да съезди к сестрам, будто ты от меня приехал, да спросай о здоровье»^[459].

Как ни странно, писем, адресованных царице, не сохранилось. Но это не значит, что Алексей Михайлович был менее внимателен к супруге и детям. Так, благодаря его неустанным заботам, стало меняться содержание обучения царевичей и даже царевен. Ясно, что приглашение Симеона Полоцкого для обучения

царевны Софьи могло случиться лишь с ведома и согласия Тишайшего^[460].

Жизнь царских детей не была скучной. Детей баловали, одаривали игрушками, устраивали катание на санях, лошадях, стрельбу из лука. Не всегда ясно, какое участие в забавах принимали сами царицы и царевны. Во всяком случае, если женская половина дворца все еще оставалась для царских дочерей клеткой, то клеткой золоченой. Впрочем, и в этой клетке вскоре зашаталась прутья.

Бесконечная война

Внутренние трудности шли рука об руку с трудностями внешними. К 1658 году стали очевидными все промахи, допущенные русской дипломатией, переоценившей слабость Речи Посполитой, прочность своих позиций на Украине и готовность Швеции к уступкам. На деле получилось все наоборот, и Московское государство вынуждено было возобновить борьбу в крайне невыгодных для себя условиях, которые к тому же имели тенденцию к дальнейшему ухудшению.

В начале 1658 года с немалыми для себя потерями Речь Посполитая заключила военный союз с Империей и Бранденбургом против Швеции. Потенциально этот дипломатический успех короля оборачивался против Алексея Михайловича: теперь Польша могла ужесточать свою линию в отношениях с Московским государством. Благоприятно складывалась для Речи Посполитой и обстановка на Украине. Отныне даже возобновление войны не было столь страшно, как два года назад, когда страна, казалось, была на грани гибели.

В конце июля 1657 года умер Богдан Хмельницкий. Для Украины настала эпоха, которую сам народ точно окрестил Руиной. Раздоры, смуты и междоусобица охватили страну, и без того уставшую от долгой «казацкой войны» за независимость. Даже вчерашние противники были поражены переменой, происшедшей с казаками, еще совсем недавно способными к общему единому порыву. Теперь верх взяли честолюбцы, жаждущие власти и богатства. Они пеклись прежде всего о собственных, эгоистических интересах — и толкали страну в *Руины*.

Преемником Хмельницкого стал Иван Выговский, человек неглупый и склонный к интриге. В казаках он оказался случайно. Будучи шляхтичем, Выговский боролся с казаками и угодил в плен, где приглянулся Хмельницкому своей ловкостью и преданностью. Он быстро продвинулся и в последние годы занимал должность войскового писаря. Богдан, по-видимому, надеялся, что писарь поможет удержать гетманскую булаву его сыну Юрию. И ошибся. Выговский не страдал от избытка благодарности и считал, что тяжелая булава более подходит ему. Пока грозный батька был жив, Выговский заискивал и трепетал, но едва тот сомкнул очи — принялся интриговать, тотчас запамятовав о клятве относительно молодого Хмельницкого, и в конце концов оттеснил его от гетманства.

Как ни ловок был Выговский, он не имел ни авторитета, ни влияния Богдана. Больше того, в этом он уступал даже многим полковникам: казаки помнили о его близости к шляхте и о том, как он, не вынимая сабли, «добыл» свои прежние должности. Зато в руках войскового писаря находились все тайные нити: он знал, с кем и как говорить, кого с кем сталкивать и кому что обещать. Здесь он превзошел всех своих соперников. Наконец, он не случайно склонял спину перед царскими посланцами, заверяя их в своей безграничной преданности и послушании. В Москве твердо считали, что войсковой писарь больше чем свой — он весь свой.

Выговский стал гетманом, не заручившись поддержкой большинства казачества, как ставленник части старшины. Тотчас же явилась оппозиция. Казацкие полки, тесно связанные с Запорожьем, выдвинули против Выговского полтавского полковника Мартына Пушкаря. Пушкарь принялся забрасывать Москву известиями об изменнических замыслах гетмана. Но все было напрасно. Алексей Михайлович и

его окружение сделали выбор. К тому же Выговский ловко оправдывался и чернил своего главного противника, поднявшего «мятеж».

Все это, конечно, говорило не в пользу зашоренных московских политиков, исходивших из собственных симпатий, а не из фактов. Правда, за привязанностью к Выговскому стоял еще и расчет (как оказалось, ошибочный): новый гетман казался сторонником порядка, столь почитаемого в Кремле, в противовес беспорядку, который олицетворял Пушкарь. Кроме того, из «замятии» надеялись извлечь выгоду: воспользовавшись слабостью гетманской власти, навязать ей новые договоры и заставить безусловно исполнять прежние. С точки зрения Москвы, умерший гетман не раз преступал пожалованные ему права, особенно в части дипломатической. Но то — Хмельницкий. Памятуя о его заслугах и силе, с ним считались и на многое закрывали глаза. С Выговским казалось все проще. Уж он-то будет покладистым и не станет выступать от имени всей Украины! Сам Выговский давал повод так думать. Чтобы выбить из-под ног обвинение в незаконном захвате гетманской булавы, он испросил у царя разрешение провести новые, «правильные» выборы. Подобное обращение за разрешением много стоило — не случайно некоторые историки именно с этого момента и начинают отсчитывать историю «постепенного угасания украинской государственности»^[461]. Разумеется, столь верноподданнический шаг был высоко оценен Алексеем Михайловичем, и Выговский, заручившись полной поддержкой Москвы, упрочил свое положение.

Парализовав на время Москву, новый гетман с помощью татар подавил выступление оппозиции и разбил Пушкаря. Но что его ждало далее? В известной степени последующие шаги Выговского были

определены чувством самосохранения. Именно переметнувшись на сторону Речи Посполитой, он получал возможность поторговаться и повысить свою цену — ведь Варшаве он оказывался более нужен, чем Москве.

Однако, столкнувшись с шатанием казачества и старшины, Москва все чаще задумывалась о необходимости упрочения царской власти в Малороссии, для чего считала нужным ввести гарнизоны в крупные города. Это не было оговорено в переяславских статьях, потому правительство медлило, старательно прощупывало настроения казаков, старшины, городского населения. Выговский умело воспользовался ситуацией. Сам писал о царских войсках в украинских городах, столь нужных для обуздания своевольников, и одновременно пугал Войско потерей всех вольностей, обращением в холопов. Особенно веской стала его аргументация после появления царских воевод в семи украинских городах. Не по сердцу пришлись старшине и настойчивые расспросы царских посланников о войсковых расходах. Москва не покушалась на собираемые налоги, но требовала, чтобы деньги исправно шли на выплату жалованья казачеству. Старшина усматривала в этом посягательство на свои права.

Вообще случилось то, что должно было случиться: переяславскую эйфорию сменили повседневные будни. Москва подходила ко всему со своими мерками и менталитетом, вкладывала свой, нередко отличный от украинской стороны, смысл в договорные статьи. Защищая Малороссию, она вовсе не желала нести на себе всю тяжесть борьбы и требовала от казаков соучастия, жертв материальных и физических. Ей не нравилось и то, что гетман пытается говорить от лица всех украинских подданных, вовсе не желавших этого и даже страдавших от произвола старшины. Но то, что не

нравилось Москве, вполне устраивало старшину. В итоге многие из гетманского окружения стали оглядываться назад и вздыхать о прежней воле, тем более что эти настроения старательно вскармливали королевские доброты.

По мере того как росли антимосковские настроения, набирался храбрости Выговский. Возвратившись после победы над Пушкарем, гетман открыто высказал свое недовольство царскому посланнику Скуратову. Узнав о появившихся воеводах, Выговский в сердцах объявил, что те явились в города «бунты заводить». Скуратов возразил: не делом де гетман сердится, сам писал, чтоб были царские воеводы по городам. Выговский ответил: нужны те были, чтобы справиться с мятежниками, теперь нужда отпала. «Вам надобен такой гетман, чтоб, взявши за хохол, водить», — выговаривал он Скуратову, многозначительно прибавив, что при польском короле им было лучше, вольготнее. Правда, спохватившись, тут же рассыпался в преданности государю. Это было совершенно в духе преемника Хмельницкого: говорить одно, делать совершенно другое.

Появление царских воевод заставило Выговского поторопиться с окончательным выбором. Недоброжелателей было предостаточно, и при помощи царских воевод вместо одного Пушкаря могло явиться несколько. В сентябре 1657 года гетман со своими сторонниками подписал Гадячский договор о возвращении Малороссии в подданство Речи Посполитой. Реестр Запорожского войска определялся в 60 тысяч человек с секретным обязательством Выговского ограничиться вдвое меньшим числом. По представлению гетмана король мог возводить старшину в шляхетское достоинство. Сенаторские места от Киевского воеводства закреплялись за православной шляхтой, от Брацлавского и Черниговского воеводств сенаторы избирались попеременно — от католиков и

православных. Сам гетман оставался первым киевским воеводой и сенатором и управлял на территории гетманщины. Случившееся же при Хмельницком предавалось «вечному забвению».

Гадячский договор был испечен в большой спешке и с большими пробелами. Правовая неопределенность в вопросах суда, налогов, взаимоотношений с центром открывала возможности для широкого и произвольного толкования статей. Толковать же их на свой лад собирались те, у кого имелась сила, — магнаты и шляхтичи.

Бесспорно, что «Гадячская уния» была привлекательна в глазах старшины. По крайней мере той, которая придерживалась польской ориентации. Однако уния мало или совсем не учитывала интересы остальных слоев населения, особенно крестьянства, оказавшегося перед перспективой восстановления шляхетского владычества и возвращения части владений польским и литовским феодалам, католической церкви. Последнее затрагивало религиозные чувства и интересы новых владельцев, успевших обосноваться и разделить магнатско-шляхетскую собственность.

Договор предусматривал военные действия против прежнего государя — московского царя. Отныне казаки должны были бить царя не только на Украине, но и в Белоруссии. При этом стоявшему в Белоруссии стороннику Выговского чаусскому полковнику Ивану Нечаю были обещаны имения с крепостными, а старшине — нобилитация, то есть обращение в шляхетство.

Замечательно, что даже после заключения договора хитрый Выговский продолжал лукавить перед московскими воеводами и дьяками: заверял их в верности Алексею Михайловичу и... рассылал по

Украине универсалы с призывом бить царские гарнизоны в городах.

Но если отдаленную Москву можно было водить за нос, то с московскими воеводами на Украине было много труднее. Они, конечно, улавливали перемены в поведении казачества. Когда же «измена государю» выплыла наружу, воеводы первыми попытались разобраться в происходящем. Василий Шереметев, в частности, писал, что рядовые казаки затее Выговского не привержены и ждут лишь явного обнаружения государевой силы, чтобы отстать от изменников. Прегордый московский воевода на этот раз был не особенно далек от истины: по мере того как на Украине становились известны статьи заключенной с королем унии, появлялось все больше ее противников. Не только потому, что договор удовлетворял интересы лишь части населения — это было привычно и естественно: Войско, сражаясь, издавна отстаивало на переговорах прежде всего права казачества и православной церкви. Но существовало укоренившееся недоверие ко всякого рода договорам и обещаниям, раздаваемым королем и сенатом. Недоверие это, возвращенное многочисленными королевскими нарушениями, не было лишено оснований и на сей раз, поскольку в Речи Посполитой в самом деле существовали могущественные силы, для которых Гадячский договор служил лишь вынужденным маневром, способом выиграть время, чтобы затем все вернуть к прежнему состоянию. Сами сенаторы, утверждая унию на сейме, говорили о необходимости возвращения к временам, предшествующим появлению Хмельницкого.

Скоро стала сколачиваться оппозиция Выговскому. Одним из первых подало голоса против унии духовенство. Правда, и здесь не было единодушия. Киевский митрополит Дионисий поспешил в Чигирин, под защиту гетмана, тем самым объявив о своей

поддержке. Зато с осуждением выступил епископ Черниговский Лазарь Баранович. Более же всех протестовал нежинский протопоп Максим Филимонович. Его протест отражал позицию приходского духовенства, тесно связанного со своими прихожанами.

Открыто выступила против разрыва с Москвой и большая часть казачества. Возможно, противники Выговского смогли бы объединиться и парализовать его действия много успешнее, поддержки их сразу и решительно Москва. Но Алексей Михайлович был точно в ослеплении. Кровь уже пролилась, известие о соглашении с королем достигло Москвы, а он и его приближенные надеялись, что все уладится само собой.

Конечно, разобраться в противоречивой информации было необычайно трудно. Однако в контексте неудачного решения о перемирии с Польшей и войны со Швецией эпизод с Выговским уже не выглядит случайным просчетом. Перед нами одна из длинной череды ошибок. Ошибок, выстроенных с неумолимой и пагубной закономерностью. Выше уже отмечалось, что быстрые и относительно легкие успехи 1654-1656 годов привели к переоценке сил и возможностей Московского государства. Склонный к отвлеченным рассуждениям, Алексей Михайлович все более пребывал в мире, каким он желал его видеть, а не в том, каким он был на самом деле. Этому немало помогало окружение, которое ориентировалось на настроение и характер Алексея Михайловича и соответствующим образом окрашивало все происходящее: ошибки копились, неудачи множились.

Переместившись в новую систему «координат», царь принялся совершать шаги ошибочные, но тем не менее логически вытекающие из искаженного представления о сложившемся положении. Польша слаба, жаждет видеть Алексея Михайловича на своем престоле, ненавидит Швецию, а значит, в конце концов

поступится всем потерянным. И потому надо, пользуясь моментом, унять Швецию. Казацкая старшина издавна между собой живет недружно — то дело обычное, унаследованное от «ляхов», но Выговский верность свою доказал при Богдане и если иной раз «шатается», то по необходимости, унимая противников. Человек же он разумный и черту не переступит, царю не изменит, да и сами новые подданные должны быть послушны и безмолвны. В рамках подобного самообмана одно действие вытекало из другого и было им обусловлено. Поскольку же главным виновником такой политики был сам Алексей Михайлович, лицо неподсудное, то для обретения благоразумия, возвращения к реальности, необходимо было сильное потрясение, отрезвляющие неудачи.

Они пришли достаточно скоро, хотя начало военных действий, как и в 1654 году, было обнадеживающим.

В 1658 году на Виленских переговорах, призванных превратить перемирие в «вечное dokonчание», польско-литовские представители переменили тон. В их голосах почувствовалась твердость, от которой царские послы успели отвыкнуть. В избрании на польский престол Алексею Михайловичу было отказано. Литовская сторона стала уклоняться от разговоров о титуле Великого князя Литовского. С заключением Гадячского договора, который напрямую нарушал условия перемирия, отпала необходимость даже в дипломатической игре. Послы потребовали возвращения к границам Поляновского договора. Иными словами — вели дело к войне. Чтобы не оставалось никаких сомнений относительно такого поворота событий, оба литовских гетмана — Сапега и Гонсевский — еще до официального разрыва в конце сентября двинулись к Вильно.

Ответ русских воевод оказался неожиданно быстрым. 11 октября, воспользовавшись тем, что плохо

ладившие между собой литовские гетманы встали порознь, Ю. А. Долгорукий ударил по Гонсевскому. Сражение при селе Верки сразу приняло ожесточенный характер. Особенно хорошо показали себя солдатские полки, сдержавшие гусарские хоругви — лучшую часть конницы противника. Исход дела решили два отборных полка, которые предусмотрительно приберег Ю. А. Долгорукий. Удар свежих войск заставил неприятеля отступить. «А ратных людей его, гетмана Гонсевского, полку побили наголову. И твои ратные люди его, гетмана Гонсевского, ратных людей секли на 15 верстах», — доносил в Москву победитель. Среди пленных оказался сам литовский гетман. П. Сапеге ничего не оставалось, как поспешно отступить по Новогрудской дороге к Неману.

Неудача постигла и И. Нечая. Его попытки изгоном взять Могилев не имели успеха. В октябре против казацкого полковника двинулись воеводы Г. Козловский и С. Змеев. Нечай выступил навстречу и близ села Петровичи прижал царских воевод к реке, оба берега которой представляли великую топь. Казалось, поражение неминуемо. В отчаянии малочисленная русская рать выстроилась в боевой порядок и ударила по противнику. И произошло неожиданное. Казаки и белорусская шляхта были сбиты с позиций и поспешно отступили.

Но в целом, несмотря на успехи в Литве и Белоруссии, положение осенью и зимой 1658/59 года оставалось опасным. Шляхта изменяла. Ее отряды шныряли по Белоруссии, «перенимали» дороги. Старый Быхов, Чаусы, а затем Мстиславль, Рославль и ряд других городов передались на сторону короля.

Весной 1659 года пришлось направить воевод для возвращения потерянных городов. Был вновь взят Мстиславль, сильно потрепан под Рославлем И. Нечай. В конце июня воевода И. Лобанов-Ростовский осадил

Старый Быхов, чрезвычайно важный стратегический пункт на юго-востоке Белоруссии. Гарнизон города активно сопротивлялся, и крепость пала лишь в самом конце 1659 года. Это был важный успех. Но его значение несколько поблекло из-за неудач в районе Ковно — Гродно.

Возобновившиеся с конца 1658 года военные действия заставили Ордина-Нащокина поторопиться с переговорами в Валиесари, завершившимися подписанием трехгодичного перемирия. Одновременно встал вопрос о движении царских войск на Украину, чтобы парализовать враждебные действия изменившего гетмана.

Весной 1659 года основные силы располагались в Севске под командованием боярина князя А. Н. Трубецкого. Их было достаточно, чтобы изменить общее положение в пользу Алексея Михайловича. К тому же к заслуженному воеводе примкнули выступившие против Гадячского договора казаки под началом временного гетмана Ивана Беспалова. Однако на этот раз Трубецкой оказался не на высоте положения.

Быстро менявшаяся ситуация требовала не только опыта и осмотрительности, но прежде всего инициативы, которой всегда не хватало русским воеводам. Боярину было наказано «уговаривать черкас, чтобы они в винах своих государю добились челом» и только в противном случае, если они «государю не добьются челом... идти на них войною». Трудность заключалась в том, чтобы отличить затянувшуюся игру казаков от искреннего желания вернуться «под высокую руку государя». Трубецкой находился в постоянном сомнении. Он все время опаздывал и вместо того, чтобы диктовать ход событий, вынужден был следовать за ними. Подобная линия не могла принести успех.

Выговский, положение которого значительно ухудшилось бы, начни Трубецкой активные действия, выскользнул из-под удара и с нетерпением стал ожидать помощи — подхода чуть ли не стотысячной татарской орды и десятитысячного польского войска, обещанного королем по договору. Стремление Выговского выиграть время разгадал киевский воевода В. Б. Шереметев, предлагавший Трубецкому не мешкая идти всеми войсками на гетмана. Но Трубецкой игнорировал эти призывы, предпочитая с апреля «томить» полки в вялой осаде Конотопа, где засели сторонники гетмана под началом полковника Гуляницкого.

Это позволило Выговскому собраться с силами и самому перейти в наступление. 27 июля казаки и татары атаковали часть царских полков, осаждавших Конотоп. Они прибегли к старому, испытанному приему, который казаки переняли у татар и успешно применяли при Богдане против поляков — бешено кинуться в атаку, а затем искусно оборотиться в бегство и заманить неприятеля в заранее подготовленную засаду. Об этом приеме знали все противники казаков. Тем не менее каждый раз попадались.

Не оказался исключением и опытный Трубецкой. Он посчитал, что перед ним все полки Выговского и, когда тот начал отступление, бросился в погоню. Сотнями дворянского ополчения командовали два князя, С. Р. Пожарский и С. П. Львов. Пожарский был человеком деятельным и чрезмерно азартным: вознамерившись пленить самого хана, он забыл о всякой осторожности. Дворянское ополчение переправилось через речку Сосновку и... угодило под удар казаков Выговского и татар. Очень скоро упорное сражение превратилось в избиение цвета русского дворянства. Ожесточение было такое, что крымские татары, высоко ценившие «ясырь», какое-то время в

плен никого не брали — резали и вырезали до пяти тысяч человек. Оба князя были захвачены в плен израненными, с оружием в руках. Пожарского приволокли к хану. Гордый князь отказался склонить голову и «по московскому обычаю» выбранил хана, плюнув ему в глаза. Выходка стоила князю жизни. Мухаммед-Гирей был взбешен и приказал тут же снести Семену Романовичу голову.

Затем победители кинулись добивать оставшуюся часть войск Трубецкого. Однако разорвать цепь повозок и рогаток, которыми огородились русские, им не удалось. Преследование прекратилось, когда Трубецкой перевалил реку Семь. Торжествующий Выговский и хан повернули назад, царские воеводы отступили к Путивлю.

Конотопское поражение оставило глубокую зарубку в памяти российского дворянства. Пройдут десять, двадцать лет, и дворяне, исчисляя в челобитных заслуги своего рода, очень часто будут упоминать Конотоп, где погибли, получили раны, сгинули их сородичи.

Конотоп сильно повредил и репутации Алексея Никитича Трубецкого, до того считавшегося «в воинстве счастливым и недругам страшным». С этого времени его станут теснить другие воеводы, более молодые, счастливые и удачливые.

Известие о Конотопе заставило Алексея Михайловича облачиться в траурные одежды. Печаль была великая и непритворная — ведь щедрая жатва на этот раз не обошла и московское дворянство. Многие погибшие были поименно известны Тишайшему. В окружении опечаленных придворных царю оставалось лишь горестно вздыхать и заказывать ежедневные панихиды. Впрочем, печаль печалью, но надо было срочно думать о последствиях неудачи. Как водится, после жестокого поражения возможности и силы

неприятеля стали казаться во сто крат больше, чем они были на самом деле. В ожидании прихода татар принялись даже латать обветшавшие московские укрепления. Испуг, однако, скоро прошел. Стало ясно, что разговоры про московский приход у хана с гетманом — не более чем бравада.

Как ни странно, Конотоп породил неожиданные трудности для победителей. В первую очередь для Выговского. Мухаммед-Гирей оказался опасным союзником, и его строптивость стояла в прямой зависимости от военных успехов. К тому же новый гетман был не чета старому, умевшему приструнивать крымцев. Воюя против «москвитов», татары не упускали случая поживиться за счет населения Украины. Особенно активно они стали заниматься этим после отступления Трубецкого. От орд не отставали наемники, нанятые на гетманские деньги. Настроение на Украине менялось. Низы, казачество отворачивались от Выговского.

Первый тревожный сигнал Выговский получил из Гадяча, где был заключен договор о возвращении в королевское подданство. Миргородский полковник Павел Апостол, выступивший против разрыва с Москвою, дал отпор гетману. Следующее тревожное известие пришло из непокорного Запорожья: кошевой атаман Иван Серго погромил улусы, оставленные ханом без защиты. Крымцы, чрезвычайно болезненно относившиеся к подобным диверсиям, переполошились. Хан с подозрением стал следить за Выговским — не с его ли тайного одобрения устроены эти вылазки? Тут как раз пришли вести о появлении донских стругов у берегов Крыма. Хан, оставив с гетманом 15-тысячную орду, поспешно двинулся назад в Крым. Гетман же снял осаду с Гадяча и повернул к Чигирину.

Вскоре под Киев пришел брат гетмана Данила Выговский с 20 тысячами казаков и татар. У киевского

воеводы боярина В. Б. Шереметева войска было около пяти тысяч. Однако попытка взять Киев окончилась полной неудачей: полки Шереметева не только отбили слабые приступы, но захватили знамена, орудия и часть обоза. Сам Данила едва ушел — переправился через Днепр на одной из немногих уцелевших лодок. Все пленные казаки были отпущены: отчасти из стремления подобным милосердием поколебать остальных, отчасти из-за явного нежелания казаков следовать за гетманом.

Сражение под Киевом приостановило военные действия. Началась ожесточенная борьба гетманских универсалов и царских грамот. Но если в начале выступления Выговскому удалось заручиться поддержкой казаков, то теперь он все чаще сталкивался с осуждением. От него отреклась даже часть старшины, некогда горячо приветствовавшая Гадячский договор. Переяславльский полковник Тимофей Цецура повел переговоры с Шереметевым о возвращении Войска в московское подданство.

Не чувствуя себя в безопасности даже в собственной столице, Выговский поспешил к Белой Церкви, где с отрядом поляков стоял Андрей Потоцкий и брат гетмана Данила. Вскоре рядом, в Германовке, появился Юрий Хмельницкий. Одно его имя завораживало казаков, воспринималось как символ прежних удач и могущества. К Хмельницкому потянулись казацкие полки. От Выговского потребовали выдачу гетманских клейнот. Бунчук и булаву на круг привез Данила Выговский. С условием, что Запорожское войско останется верным королю. Гетманские знаки передали сыну Богдана.

Но Юрий Хмельницкий был совсем не той фигурой, которая могла объединить и повести за собой казачество. Наверх его вынесла слава и авторитет «грозного батьки». Это придавало ему вес, но не заменяло ни ума, ни воли, без чего нельзя было

обойтись в дальнейшем. Он взял ношу не по себе. И быстро превратился в марионетку в руках старшины, а затем султана.

Важные перемены, происходившие на Украине, не сразу становились известны в Москве и в приграничных городах, где стояли воеводы. В конце августа Трубецкой намеревался двинуться к Севску, старому доперемыславльскому рубежу. Это показательно: в Москве, по крайней мере на тот момент, считали, что большинство малороссийских городов потеряны и отражать Выговского и татар следует на старых, привычных рубежах. Трубецкой уже выступил из Путивля, когда прискакали гонцы от нежинского протопопа Максима и полковника Василия Золоторенко с известием о падении Выговского и настоятельной просьбой скорее двинуться на Украину, подкрепить сторонников московского государя. Просьба была уважена. Полки повернули к границе.

В октябре 1659-го в Переяславль, где остановился Трубецкой, прибыл прилуцкий полковник Петр Дорошенко с 14-ю статьями о правах и вольностях, по которым Войско изъявляло согласие вернуться в царское подданство. Эти статьи заметно отличались от прежних, заключенных Богданом Хмельницким. Договор предусматривал, что царские воеводы должны стоять только в Киеве; что гетман сносится со всеми государствами, отсылая в Москву лишь копии заключенных договоров; что Киевская митрополия остается по-прежнему зависимой от Константинопольского, а не Московского патриарха; что в Москве, наконец, не должны принимать ни одной грамоты с Украины без подписи гетмана.

Смысл задуманного старшиной был понятен: расширение власти гетмана и старшины, рамок автономии. Легко угадывалось и средство достижения этих целей — угроза переметнуться на

противоположную сторону, маневрирование между тремя могущественными силами — Москвой, Польско-Литовским государством и Крымским ханством, за спиной которого зримо вырисовывался грозный облик воинственной Турции.

17 октября 1659 года близ Переяславля состоялась рада, на которой Юрий Хмельницкий был объявлен гетманом обеих сторон Днепра. Затем читали статьи договора, но не новые, привезенные Дорошенко, а старые, с несколькими новоприсоединенными, которые обязывали гетмана участвовать в царских походах, не раздавать полковничьи булавы без рады, держать русских ратных людей в шести городах. Таким образом, Алексей Михайлович сумел не поступиться своей властью, чего нельзя было сказать о власти гетманской. Маятник переменчивых казацких настроений сильно качнулся в сторону Москвы, и старшина не осмелилась настаивать на отринутых Москвой условиях.

После клятвоцелования по обычаю старшина и начальные русские люди собрались на пиру у Трубецкого. Праздновалось окончание «великой шатости», одоление Руины. Но пройдет немного времени, и тех, кто соединял заздравные чаши за боярским столом, вновь разделит вражда. То было не окончание, а лишь начало долгого хождения по мукам.

Распределив часть сил по гарнизонам, Трубецкой двинулся домой. В обозе он вез Данилу Выговского, выданного казаками. Самого изменившего гетмана пленить не удалось. После Конотопа фортуна вновь улыбнулась старому воеводе, и он возвращался домой как победитель. Довольный Алексей Михайлович щедро наградил ближнего боярина. Причем щедрость эта была из ряда вон выходящая, «не в пример другим». Князю была пожалована бывшая «родовая столица» Трубчевск с уездом и с повелением именоваться «державцем Трубчевским».

Ход дел на Украине во многом зависел от того, как пойдет возобновившаяся война с Речью Посполитой. Первые столкновения не дали ни одной из сторон решительного преимущества. Но что будет дальше? Успех складывался из многих факторов, связанных или совсем не связанных с волей и действиями московских правителей. В стране постепенно росли социальная напряженность, усталость; исчерпывались людские и материальные ресурсы. В 1661 году заканчивалось Валиесарское перемирие: нетрудно было предугадать, что преимущество на переговорах получит та сторона, которая раньше освободится от войны с Речью Посполитой, упрочит свой тыл. Перспективы для Москвы здесь были самые мрачные: судя по всему, Польша лишь начинала новый тур войны и не думала о ее окончании.

Алексей Михайлович пытался упредить события, поручив в конце 1659 года Ордину-Нащокину превратить перемирие со Швецией в вечный мир на условиях Тявзинского мира 1595 года. Но шведы не собирались поступаться Ингерманландией и остались тверды в своем намерении вернуться к условиям Столбовского мира. К тому же Ордин-Нащокин при всех своих талантах был не той фигурой, которая могла бы успешно вести переговоры. Решительный противник Швеции, он противился неизбежным уступкам настолько, что царь принужден был одергивать своего дипломата.

Между тем Ян Казимир при посредничестве Франции договорился о прекращении войны со Швецией. В апреле 1660 года стороны подписали в местечке Оливе близ Гданьска тяжелый для Польши мир. Ян Казимир окончательно отказался от своих прав на шведскую корону, Речь Посполитая потеряла значительную часть своих прибалтийских владений. Но

зато высвободила силы для борьбы с казаками и Москвою.

Известие о замирении Польши и Швеции произвело гнетущее впечатление в Москве. Даже последние зимние успехи в Белоруссии, где И. Хованский нанес поражение польскому полковнику Обуховичу и взял наконец Брест, померкли перед мрачными перспективами, связанными с Оливским миром. Первыми их узрели царские воеводы, когда им пришлось столкнуться с воодушевившимися литовскими войсками и освободившимися коронными частями, чьи боевые возможности были много выше поветовых шляхетских ополчений.

18 июня недалеко от Ляховичей, в местечке Полоне, жестокое поражение от гетмана П. Сапеги и Чарнецкого потерпел боярин князь И. А. Хованский. Русская пехота была рассеяна, один из воевод убит, обоз потерян. Хованский с остатками войска бежал к Полоцку. Однако ждать, пока неприятель подступит к Полоцку, князь не пожелал. Он предпочитал осаде сражение в поле. Сесть в осаду, замечал князь Иван Андреевич, значит «неприятелю дать простор... Да и сидеть, государь, в Полоцку незачем: в 3 дня все будут без лошадей, кормить нечим».

Известие о неудаче Хованского вывело Алексея Михайловича из себя. Но удручен он был не столько тем, что враг осилил воеводу, сколько неосмотрительностью и безрассудством князя. В письме Матюшкину царь так объяснил поражение Хованского: то было наказание «за ево беспутную дерзость»: кинулся на неприятеля «з двумя тысячами конными да с тремя приказы московскими противу двадцати тысяч и шел не строем, не успели и отыкатца (то есть поставить рогатки. — *И.А.*), а конные выдали — побежали, а пеших лучших людей побили з две тысячи человек»^[462].

Ранней осенью польско-литовское войско подошло к Борисову, однако не стало утруждать себя долгой осадой и двинулось к Могилеву, пункту несравненно более важному в стратегическом отношении. По дороге гетман П. Сапега и Стефан Чарнецкий рассылали отряды для промысла. Они-то и заняли Мстиславль и Кричев.

Из Смоленска на помощь гарнизону Могилева выступил Ю. А. Долгорукий. Ему удалось заставить литовского гетмана снять осаду. Но судьба кампании на этот раз решалась не в борьбе за города, не в осадах и обороне, а в поле. П. Сапега, подавшись назад, собрал все силы и крепко стеснил Долгорукого, переправившегося через Днепр. Неожиданно со стороны Полоцка по полякам ударил И. Хованский. Гетман повернул, отбросил боярина, но зато из блокады выскользнул Долгорукий. Второго Конотопа удалось избежать.

Но особо тяжелые неудачи ждали Москву в 1660 году на Украине. Объединенные русско-украинские войска представляли собой внушительную силу: шесть казацких полков в 20 тысяч человек под началом наказного гетмана Тимофея Цецуры, показавшего верность присяге, но обиженного и обойденного царем, и 15 тысяч человек московской рати, в составе которой были неплохо зарекомендовавшие себя полки нового строя. Командовал войсками В. Б. Шереметев, «добронадежный архистратиг», по определению самого Алексея Михайловича. Против Шереметева на этот раз выступили оба коронных гетмана С. Потоцкий и Е. Любомирский с 30-тысячным, не в пример прежним временам хорошо вооруженным и обученным войском, прошедшим тяжелую шведскую школу. К ним на помощь спеищл союзник — 40-тысячное татарское войско.

В. Б. Шереметев был плохо осведомлен о расположении и намерениях противника и даже не попытался воспрепятствовать соединению поляков с крымцами. Беспечность, столь несвойственная этому лучшему царскому воеводе, отчасти объяснима — он полагался на Юрия Хмельницкого, который должен был с оставшимися казацкими полками примкнуть к нему в районе Слободищ. Однако гетман и не думал двигаться навстречу Шереметеву. При этом он не только умалчивал о своих планах, но и усердно побуждал боярина в одиночку напасть на поляков. Против этого решительно выступал Г. А. Козловский. Он предлагал не покидать позиций до выяснения сил противника и намерений казаков, шатания которых вновь стали ощутимы в канун решающих схваток. Но Шереметев не посчитался с мнением второго воеводы и выступил в конце августа из Котельны к Межибожу.

4 сентября в волынском местечке Любара произошло то, что позднее военные стали называть встречным боем. К вечеру выяснилось превосходство коронных гетманов, и царские воеводы стали в спешном порядке, под дождем, в темноте огораживаться обозом, рыть окопы и валы. Наутро поляки безуспешно пытались сбить русских с оборонительных рубежей. Убедившись в неудаче, гетманы принялись в свою очередь возводить укрепления. Шереметев оказался в блокаде.

Положение осложнилось. Не хватало провианта, фуража. Особенно досаждали татарские отряды, перехватывавшие гонцов и фуражиров. Боярин надеялся, что конные полки Хмельницкого отгонят татар, но запорожский гетман так и не появился. Слова об измене уже не сходили с уст русских, тем более что казаки Цецуры перебежали к полякам толпами.

16 сентября на рассвете Шереметев двинулся в прорыв в направлении на Чудново. Семнадцать рядов

телег, между которыми шли полки и сотни, с даточными людьми впереди, вырубавшими просеки и мостившими дорогу, — все это напоминало настоящую крепость на колесах, извергающую огонь и обращавшую в бегство конные массы противника. Польские хоругви совершили обходное движение и атаковали русских во фронт, но неудачно. Однако в пяти верстах от Чуднова колонна наткнулась на заболоченную местность. Движение резко замедлилось, и это позволило полякам подтянуть артиллерию и пехоту. Положение сразу стало катастрофическим. Громоздкий «табор» был еще неплох против конницы, особенно татарской, но малополезен против пушек и ружейного огня. Все было скучено, лишено всякого маневра. Треть сил оказалась отрезана, рассеяна, пленена. Тем не менее Шереметев продолжил движение, пока смертельно уставшая, павшая духом рать не встала лагерем на берегу речки Тетерев близ Чуднова. Место было из рук вон плохое — болотистое и гнилое. К тому же воевода замешкался и не занял выгоревший Чудновский замок. Он господствовал над местностью и давал возможность беспрепятственно обстреливать русский лагерь.

27 сентября верстах в пятнадцати от лагеря, в Слободищах, объявился долгожданный Юрий Хмельницкий. Шереметеву было дано знать, что неприятель мешает соединению. На самом деле соединяться в ставке гетмана не спешили — вели переговоры с коронными гетманами. Ждать, что предпримет Юрий Хмельницкий, стало совершенно невозможно. От бескормицы падали лошади, над лагерем распространялось страшное зловоние. Русские и украинцы терпели большую нужду. Тогда Шереметев решился на новый прорыв в Слободищи, к своему союзнику. Он все еще таил призрачную надежду найти помощь там, где ее уже, по сути, быть не могло.

Выступление 4 октября не было тайной для противника. Атаковать пришлось заранее подготовленные и выстроенные польские войска. Тотчас же на русских обрушились ответные удары притаившихся хоругвей. Остатки полков были сбиты с дороги, прижаты к лесу. Татары прорвали центр, ворвались в оставленный лагерь и принялись грабить. Не утративший крепости духа Шереметев решил воспользоваться этим моментом и предпринять очередную попытку прорыва. Поредевшие части были выстроены в боевые порядки. Из-за почти полного отсутствия пороха атаковали одним холодным оружием. В отчаянной рукопашной схватке противник был отброшен.

Наступившая ночь развела врагов. Русские наскоро укреплялись, возводили в очередной раз «стены» из уцелевших, плотно составленных телег. В этом импровизированном лагере Шереметева застало известие об очередном «перелете» казаков и старшины. 8 октября Юрий Хмельницкий подписал договор о возвращении Войска в подданство короля. Цецура, получив это известие, с восемью тысячами казаков покинул Шереметева. Но далеко не все последовали его примеру: в лагере остались трое полковников с частью казаков.

Упрямый Шереметев предпринял еще одну отчаянную попытку вырваться из блокады. Однако ему не удалось далеко уйти. Положение складывалось трагическое. К прежним несчастьям прибавились ночные заморозки. 15 октября воевода вступил в переговоры с коронными гетманами. 23 октября обе стороны заключили договор, согласно которому царские полки не только складывали оружие, но и признавали, что из «черкасских городов» должны уйти русские гарнизоны. Начальные люди и воеводы оставались заложниками до исполнения условий.

Конечно, по московским понятиям, Шереметев с товарищами, затронув вопрос о малороссийских городах, превысил свои полномочия. В Киеве воеводы наотрез отказались выполнять требование оставить город. Такое было просто немыслимо и при самодержавном характере Русского государства могло быть определено одним словом — измена. «Много в Москве Шереметевых!» — презрительно отвечал князь Барятинский на предложение выполнить условия самоуправного договора.

Между тем одной капитуляцией русских войск под Чудновым дело не кончилось. Капитуляция оказалась лишь прологом к подлинной трагедии. Едва русские ратные люди сложили оружие, как в лагерь ворвались татары и стали вязать их арканами. Обезоруженные ратники отбивались как могли. В ответ крымцы принялись рубить пленных. Как полагают, погибло до двух тысяч человек, остальные восемь тысяч были схвачены и разделены для продажи. В истории дворянства Чудново стало вторым Конотопом, с той разницей, что на этот раз под молот войны угодила преимущественно провинциальный люд.

Польская сторона не препятствовала побоищу и пленению. Позднее было объявлено, что Шереметев первым нарушил условия — города не были очищены. Да и чем-то надо было расплачиваться с алчными союзниками... Для того нурадыну выдали В. Б. Шереметева — в обеспечение 150 тысяч ефимков, обещанных за помощь королем. Вернулся Шереметев на родину из крымского плена лишь в 1681 году^{2}.

Ян Казимир достиг большого успеха на Украине. И тут же поспешил воспользоваться ситуацией, повторив ту же ошибку, что и Алексей Михайлович: от украинской самостоятельности в очередной раз отрезался большой кус. Старшина принуждена была подписать усеченный

вариант Гадячского договора, где не было самого главного — упоминания о Великом княжестве Русском.

Несмотря на все успехи, королю не хватило сил подчинить всю Малороссию. Военное могущество Московского государства не было сломлено. Далеко не вся старшина, не говоря уже о казачестве и мещанстве, послушно следовала за Юрием Хмельницким. Власть польского короля восстановилась на большей части Правобережья. Но Левобережье и Киев оставались в московском подданстве.

Зима, прервав широкомасштабные военные действия на Украине, в Белоруссии и Литве, не прервала войну агитационную. По всей Литве и Белоруссии ходили королевские универсалы. Православная шляхта, мещанство заколебались, стали переходить на сторону Яна Казимира. Подавались назад не просто так — старались заслугами обрести полное прощение. В феврале 1661 года в Могилеве вспыхнул мятеж. Почти все русские ратные люди были перебиты, воеводы Горчаков и Полуектов отосланы в кандалах в Варшаву.

В 1661 году польско-литовские войска заняли Себеж и разбили И. А. Хованского при деревне Кушликовы Горы. После этого Хованскому пришлось, опасаясь за московские рубежи, отойти к Великим Лукам. Конец года ознаменовался потерей Вильно, добывать который явился сам Ян Казимир. Совсем недавно завершился Варшавский сейм, в очередной раз продемонстрировавший паралич власти и социальный эгоизм верхов. Сейм окончился безрезультатно, слабые попытки усилить королевскую власть были отвергнуты. Именно тогда вдоволь хлебнувший «панского лиха» Ян Казимир произнес пророческие слова о трагическом будущем страны: скорых ее разделах между абсолютистскими монархиями, причинами которых станут своеволие шляхты и эгоизм магнатов. Тогда,

впрочем, это мрачное пророчество никем не было принято всерьез. Считалось, что в короле говорит обида и разочарование — те самые чувства, которые позднее заставят несчастливого монарха отречься от престола и удалиться во Францию, чтобы окончить свои дни аббатом...

Впрочем, между Варшавским сеймом 1661 года и аббатством в жизни короля произошло немало событий. Вильно, куда устремился Ян Казимир, оборонял стольник князь Д. Е. Мышецкий, человек мужественный, смелый и жестокий. Защищался он до последнего, и даже известие о неудачной попытке деблокировать город не поколебало его решимости. Накануне последнего штурма оттесненный в Виленский замок Мышецкий решил взорвать себя и оставшихся защитников. Были сделаны соответствующие приготовления, в подпол опущено десять бочек пороху. Но героическая смерть вовсе не входила в планы офицеров-наемников. Случилось то, что не раз происходило в истории войн, когда для служилых иноземцев дело принимало плохой оборот, — они изменили. Князь был схвачен, закован «в железа», а ворота замка отворены перед Яном Казимиром.

Мышецкий был обвинен в жестоком обращении с горожанами и шляхтой и приговорен к смерти. Возможно, у него были шансы, раскаявшись, спастись. Но он повел себя дерзко и не стал молить о пощаде. Перед казнью воевода отправил родным письмо, в котором не без гордости писал, что сидел в осаде «без пяти недель полтора года» и отбил от пяти приступов; что осталось у него к концу осады только 78 человек, но семь человек изменили, отчего в замке завелась «шатость большая» — хотели замок сдать, а он противился, пока его не взяли силой; что, наконец, король, как сообщал князь, «мстя мне за побитие

многих польских людей на приступах и за казнь изменников, велел казнить меня смертью».

Долгая война вызвала у сторон ожесточение: мстили за погибших, за разорение, за приверженность к иной вере.

В продолжение всего этого времени не прерывались дипломатические контакты со Швецией. Еще до истечения перемирных лет представители обеих сторон съезжались для переговоров о вечном мире или, точнее, для того, чтобы понять всю меру уступок, которые можно выторговать у противной стороны. Алексею Михайловичу чрезвычайно хотелось зацепиться за Балтику пускай не пятью, но хотя бы одним-двумя городами, даже ценой уступки при этом Ливонии. Ордин-Нащокин на это не без резона возражал, что за удаленностью от Пскова прока от этих новообретенных мест не будет — станут приходить поляки и с попустительством шведов их разорять. То было проявление все той же линии московского дипломата, который считал, что ради мира с Польшей — а значит, войны со Швецией — стоит поступиться не ливонскими, а малороссийскими городами. Измены казаков дали ему новые аргументы. Ордин предлагал вернуть Украину польскому королю, поскольку, «не уступивши черкас, миру не сыскать». Сделать это надо было еще и потому, что приняли казаков «для единой православной веры» и покуда они были «от великого государя неотступны», их полагалось защищать; ныне же они беспричинно изменяют и передаются к неприятелю. «Так из чего за них стоять?» — риторически вопрошал русский дипломат. Ради мира можно даже пожертвовать Полоцком и Витебском — «прибыли от них никакой нет, а убытки большие». Зато мир будет прочный и для Речи Посполитой не обидный. В противном же случае конфликт может возобновиться: Польша и Литва «не за морем, причина к войне скоро найдется». Зато все эти

жертвы искупятся выгодами, приобретенными с удержанием важной части Прибалтики.

Афанасий Лаврентьевич, как обычно, был логичен и убедителен. Однако на этот раз его убедительность имела изъяны: война с Польшей уже покатила по проторенной кровавой колее, которая совсем не совпадала с пограничными рубежами, умозрительно им очерченными. Алексей Михайлович и его московское окружение, в противоположность Ордину-Нащокину, стояли на более твердой почве и из тех же фактов делали иные выводы. «На черкас надеяться никак невозможно, — соглашался с Афанасием Лаврентьевичем царь, — верить им нечего: как трость ветром колеблема, так и они: помянут на время, а если увидят нужду, тотчас русскими людьми помирятся с ляхами и татарами». Однако Алексей Михайлович при этом вовсе не считал, что надо отказываться от «переменчивых черкас» — тогда мир с поляками можно будет сыскать разве только по поляновским рубежам. Мир более необходим со Швецией, с которой война еще не возобновилась, чем с Польшей, с которой уже идет жестокая борьба. Потому-то царь был готов даже отказаться от заветных городков на Балтике.

В марте 1661 года в Кардиссе, что между Юрьевом и Ревелем, открылся съезд уполномоченных. Царское посольство возглавлял боярин князь И. С. Прозоровский. Ордин-Нащокин отсутствовал. Трагедия в семье — бегство сына Воина к польскому королю — побудила щепетильного «Афонку Нащокина» бить челом об отставке от шведского посольства. Челобитье его было удовлетворено, тем более что Ордин мало подходил для того, чтобы ладить договор с ненавистным ему западным соседом.

Три месяца шел отчаянный торг сторон. Прозоровский требовал от представителей нового шведского короля Карла XI «прямого, настоящего дела»

и искренне возмущался готовностью шведов уступить то, «чего у них в руках нет». Но все искусства и красноречие русских дипломатов пропали даром. Шведы, имея за плечами мир с соседними государями и свежее войско, стояли твердо. Куда труднее было Прозоровскому с товарищами, зная, что на Украине, в Литве и Белоруссии поляки вновь берут верх, а казаки в очередной раз изменяют. Пришлось в конце концов ладить договор по шведским меркам.

Кардисский мир был подписан 21 июня и предусматривал возвращение всех завоеваний, сделанных в 1650-х годах. Мир был тяжелым и унижительным. Все усилия и жертвы шли прахом. А что могло быть более убедительным для признания ошибочности и бесплодности прежней политики, чем вид русских ратных людей, покидавших завоеванные крепостицы и города? Такой мир со смертельной обидой одной из сторон таил в себе зародыш новой войны. Пускай не сейчас, а десятилетия спустя.

Была, впрочем, и непосредственная, прямая, порожденная суровой необходимостью выгода от Кардисского докончания. Угроза нового столкновения взамен прежнего, неосмотрительно допущенного в 1656 году, снималась. Стороны, заключив «вековечный мир», обязывались «друг другу во всяких мерах всякого добра хотеть, лучшего искать и во всем правду чинить». Это означало, что Швеция не станет помогать Речи Посполитой в войне с Россией и оспаривать спорные территории в Литве и Белоруссии, за которые шла борьба между Москвой и Варшавой. Этим отчасти нейтрализовались антирусские статьи Оливского мира 1660 года.

Теперь можно было сосредоточить все силы против Речи Посполитой и Крыма. Одна беда: этих сил становилось все меньше и меньше. После Конотопа и Чуднова Москве приходилось уже скрестить по сусекам. В

феврале 1661 года, к примеру, указали губным старостам «за то, что они не служили многое время», ехать в полки и служить. Губные старосты обыкновенно были людьми немолодыми, отставленными от службы. Да и было их в уездах — по пальцам перечесть. Тем не менее принялись и за них.

Под метелку угодили городовые воеводы, сыщики. На воеводство «кормиться» велено было отправлять только тех ратных людей, которые страдали от ран и болезней. Здоровые должны были воевать. В сыщики же и губные старосты указано было выбирать людей, совершенно непригодных для службы. Дело доходило до курьезов. Отставной ярославец Алексей Тихменев был отправлен искать по уезду нетчиков — беглецов со службы. С заданием своим сыщик справился плохо да еще будто бы написал воеводе князю Ф. Ф. Долгорукому непристойную отписку. Пришлось Тихменеву оправдываться: мало того, что он просто не знал, как писать отписку, ибо никогда у «государевых дел не бывал», как еще и оказался «в большой древности» — 78 лет, отчего «умом своим мешается тому третий год».

Нехватка дворян и детей боярских побуждала перекладывать военную повинность на представителей тягловых сословий. Так, при Алексее Михайловиче происходили перемены в раскладе повинностей. В 1659, 1660 и 1661 годах один за одним провели три сбора в солдатскую службу. Брали в службу одного человека с 20 дворов. Это дало в распоряжение правительства около 50 тысяч человек, большая часть которых пополнила поредевшие солдатские формирования. Чисто военная мера, к которой правительство второго Романова прибегло по необходимости, имела далеко идущие последствия. Тягловыми сословиями она воспринималась очень болезненно, как еще одно бесспорное доказательство намерения верхов

притеснить их. Ведь проливать кровь — обязанность служилых людей.

Одна из самых острых проблем тех лет — нехватка толковых полковых воевод, способных действительно руководить боем, а не просто кидаться очертя голову в гущу неприятеля. Пока война шла успешно, прежние воеводы оказывались на высоте. Поражения же выявили их неспособность командовать формированиями, наполовину составленными из полков «нового строя». Строй требовал тактики и стратегии, отличной от той, что применялась в армии, сколоченной из полков поместного ополчения. Но откуда было взяться таким военачальникам в Москве с ее поместными сотнями? Алексей Михайлович по необходимости должен был обратиться в сторону Запада. Он надеялся приискать на службу военачальника с солидной репутацией, которому «генеральская служба не в обычай». Кто-то порекомендовал английского генерала «Шарлуса Ергапта». Но тут возникло одно неудобство: после реставрации «Карлуса Карлусовича» — Карла II, генерал был приближен ко двору. Поэтому Гебдон предложил искать иного кандидата. Но в Москве близость к Карлу восприняли как лучшую рекомендацию генералу и решили продолжить попытки его привлечения на русскую службу.

Гебдон, снабженный соответствующими инструкциями, был принят Карлом II. Только что взошедший на престол король рассыпался в комплиментах по адресу царя и завел разговор об утраченных его подданными привилегиях. В ответ резидент заговорил о разрешении найма во владениях короля солдат и рейтар. Король «с бояры своими о том сидели и приговорил для любви тебя, великого государя, поволил те полки с начальными людьми

отпущати». Карл оказался настолько любезен, что изъявил готовность расстаться с генералом Шарлусом: тому было разрешено самому решать, что ответить на предложение царя. Возможно, это была и отговорка. Но отговорка, свидетельствующая о нежелании Лондонского двора даже мимоходом бросить тень на русско-английские отношения.

Затея с генералом окончилась неудачей — уж очень много тот запросил. Речь шла о выделении «под ригиментом генералисимуса за большой государственной печатью» корпуса в 15 и более тысяч человек; о праве самому нанимать на службу генералов и начальных людей, какие ему покажутся годными, и т. д. К таким запросам в Москве не привыкли, и Алексей Михайлович отказался от услуг несостоявшегося русского «генералисимуса»^[463].

Не получилось и с наймом рядовых и начальных людей. Когда посчитали во что это обойдется — начиная с первых выплат и кончая фрахтом 25 кораблей для перевозки людей и вооружения, то получилась астрономическая цифра — 276 692 ефимок. Такой суммы, конечно, не было. Но размах поражает.

Вообще финансы становились постоянной головной болью для властей. Конца войны не было видно, зато давно уже виднелось дно опустошенных казенных сундуков. Тот же Гебдон, получая все новые и новые заказы на покупку оружия и найм начальных людей, резонно спрашивал о деньгах — одними обещаниями трудно было уговорить торговцев и наемников. Отчасти проблему удавалось решить с помощью голландских купцов, дававших деньги под правительственные гарантии на приобретение в будущем в Архангельске товаров — поташа, пеньки, хлеба и прочего — по льготной цене. Покупались мушкеты и «на соболи». Однако этого было явно недостаточно. Потому поневоле

приходилось обращаться к традиционным источникам пополнения государственных финансов — к регалии и налогам. Но этот способ был не безупречен. Он во многом основывался на терпении, а оно имело свойство истощаться даже у такого терпеливого народа, как русский.

«Медный бунт»

В истории России войны, особенно войны неудачные, не раз приводили к серьезным внутривнутриполитическим осложнениям и вызывали перемены существенные и даже революционные. Отчасти это связано с тем, что самодержавная власть московских государей при ограниченных материальных возможностях как в никакой другой стране позволяла себе подчинять жизнь и достаток своих подданных, «холопишек и сирот», интересам войны. Если требовались жертвы чрезвычайные, власть легко шла на них, побуждая население к жертвам, едва ли возможным в других странах. Привыкнув повиноваться, тягловые слои мирились с этим, и так продолжалось до тех пор, пока правительство не преступало все возможные границы. Тогда происходил бунт. За отсутствием иных радикальных механизмов социального регулирования, при полной глухоте правящих кругов к челобитным, восстания оказывались действенным рычагом обретения общественного равновесия.

В годы русско-польской войны оказалась задействованной еще одна модель социального регулирования. Война, помимо воли и желания правящих кругов, ставила их в большую зависимость от дворянства, чем прежде. И чем прочнее становилась эта зависимость, нередко выражаемая просто поведением дворянских сотен на поле боя, их желанием сражаться и терпеть всевозможную «нужу», тем внимательнее нужно было быть окружению Алексея Михайловича к требованиям и чаяниям служилого люда. Законодательной щедростью, социальной уступчивостью приходилось заново завоевывать лояльность помещиков, для которых война представляла

не в виде новых тягот и поборов, а в самом своем кровавом естестве, в муках и в смерти. Иными словами, за Конотоп, Чудново и прочие удачные и неудачные сражения и стычки надо было платить. В этом дворянство видело реализацию своего коренного, законного права награждения за «радетельную службу». Причем плата эта мыслилась ими не только в щедрых денежных и земельных пожалованиях, окладах, дачах и чинах, но и в упрочении дворянского статуса в целом, в удовлетворении нужд социальных.

С 50-х годов XVII века в социальных устремлениях дворянства произошли важные перемены. Для помещиков первой половины столетия была свойственна несколько наивная вера во всемогущество справедливого закона, который должен был унять всех их многочисленных обидчиков и притеснителей. Все мечтали о равной (в рамках одного сословия) «расправе» и справедливом суде, против которого изворотливое «приказное семя» ничего не сумело бы измыслить. Соборное уложение 1649 года, казалось, воплотило эту мечту в главы и статьи. Но здесь выяснилось, что важна не только юридическая норма, а и ее исполнение. Помещик мог сколько угодно торжествовать по поводу отмененных урочных лет, но если крестьянин все же уходил от него, а он не мог его найти — все его торжество очень скоро уступало место невеселым размышлениям о своем достатке перед брошенными крестьянскими избами. От такой отмены урочных лет и крестьянского закрепощения проку было мало. Неудивительно, что постепенно центр тяжести в социальных требованиях дворянства перемещается в сторону практическую, прежде всего нацеленную на совершенствование сыска беглых крестьян и людей. Именно решение этой проблемы должно было создать условия для реализации всех остальных крепостнических статей Уложения: перед реальной

угрозой потери земледельца помещик и вотчинник поневоле принуждены были сдерживаться в своих аппетитах и запросах.

Война обострила эту проблему. В оставленных без присмотра имениях участились крестьянские побеги и «воровство», сопровождавшиеся нередко разграблением имущества землевладельцев и расправой над их семьями. Попытки же вернуть беглых наталкивались на активное сопротивление, когда, по словам дворян, разысканные крестьяне своих старых владельцев «с их людишками до смерти побивали».

Реакция дворянства была болезненной и вызвала к жизни коллективные челобитные, которые посыпались на правительство «повсюгодно», как из рога изобилия. При этом их авторы, несомненно, усвоили, что интересы служилых людей первостепенны для правительства. Конечно, до сословного апломба благородного дворянства XVIII столетия здесь еще очень далеко — перед нами лишь начало движения по этому пути. Тем не менее уверенность, что с ними должны считаться, уже присутствует и питается аргументами вполне убедительными и весомыми. С ними в самом деле считаются. Правительство Алексея Михайловича отреагировало на челобитные 50–70-х годов целой серией указов и конкретных мер, призванных успокоить душевладельцев.

В 1658 году по городам были разосланы заповедные грамоты, запрещающие прием беглых и извещавшие о посылке в уезды сыщиков. Мера, перекладывающая тяжесть сыска с помещика на сыщика и воеводу, пришлась по вкусу дворянству. Два года спустя оно просит направить в уезды новых сыщиков с правом «автоматического» сыска беглых. Постепенно при Алексее Михайловиче и его наследниках посылка сыщиков превращается чуть ли не в норму, утверждая

ту мысль, что сыск — дело государства и представителей местной власти.

Совершенствовался и сам сыск. Уложение лишь предусматривало взыскания с виновных «владения» и не имело статей, которые бы наказывали беглых. Новое законодательство стало вводить санкции за побег и за прием беглого. Наказание крестьянина перестало быть делом частным. «Пущих воров», совершивших в момент выхода тяжелые уголовные преступления, велено было «казнить смертью». Побег, таким образом, приравнивался к «воровству», которое в глазах правотворцев было тяжким государственным преступлением. Само же государство приступило к созданию карательного законодательства, где страх становился главным средством и способом наведения порядка. Такая направленность нормы была придана стараниями дворян-челобитчиков, которые настаивали учинить указ, «чтоб они, людишка наши и крестьянишка и бобылишка, впредь во всех людех за то свое воровство и за побег знатны были и чтоб им впредь неповадно было воровать, и бегать, и нас, холопей твоих, разорять...». Крепостное право ужесточалось, перенимая многое из права холопьевого, традиционно более тяжелого, а потому и более привлекательного в представлении имущих.

В 1661 году в ответ на очередное дворянское обращение последовал указ, который предусматривал усиление ответственности помещика за прием беглого. Отныне ему приходилось платить не только «зажилые деньги», но и отдавать в качестве дополнительного наказания собственного «наддаточного» крестьянина.

Законотворческая деятельность не прекращалась и в последующие годы. Под давлением дворянства частный сыск, столь характерный для конца XVI — первой половины XVII столетий, превращался в государственный со всеми присущими ему атрибутами:

сыск постоянно действующий, обезличенный, с привлечением власти. Последствия этого трудно переоценить. Борьба за рабочие руки сильно рознила между собой дворянство — теперь эта рознь преодолевалась, постепенно формировалось еще одно условие для консолидации дворянства, превращения его в единое сословие. Заметим, что это наблюдение впервые было высказано не историками, а самими дворянами, которые оказались способными в своих обращениях к правительству подняться до высот социального обобщения. В челобитной 1658 года дворяне «розных городов» настаивали, чтоб «государев крепостной устав в сем деле вовеки был неподвижен», видя в том гарантию от «лютова и многолетнова разорения и межусобства нашего греха и брани».

Еще одно следствие Соборного уложения — неуклонное увеличение феодальной ренты, в первую очередь ренты отработочной — барщины. Это касалось всех категорий зависимых земледельцев — дворцовых, патриарших, монастырских и помещичьих крестьян, хотя сами темпы в каждом отдельно взятом случае несколько разнились. Происходило это на глазах одного поколения крестьян и, дополненное ростом государственных повинностей, воспринималось как ухудшение жизни. Старина казалась привлекательнее настоящего, будущее же представало в еще более мрачных, унылых красках. Подобное мировосприятие было питательной почвой и для раскола, и для разинщины, и для иных форм недовольства — в зависимости от того, как поворачивались события.

Затянувшаяся война опустошила казну. Потребность в деньгах была огромной, источники поступлений — недостаточными. В поисках выхода из финансовых затруднений правительство второго Романова прибегло к обычному средству — усилило фискальный гнет. Резко возросли налоги. Помимо обычных налогов, стали

взирать и чрезвычайные, напоминавшие посадским людям о достопамятных смутных временах — «пятинные деньги». Вновь, как в канун 1648 года, засвистели батоги, выбивавшие недоимки с тягловых «черных людишек».

Существовал еще один способ пополнения казны — перечеканка (порча) серебряной монеты с понижением ее веса. Московские дельцы пошли еще дальше и в дополнение к испорченной серебряной монете стали выпускать монету медную. При этом при разнице в рыночной цене на серебро и медь (почти в 60 раз) они имели одинаковую номинальную стоимость. Это должно было дать — и давало — прибыль баснословную: из одного фунта (400 грамм) меди стоимостью 12 копеек с Монетного двора получали медных денег на сумму в 10 рублей. По некоторым оценкам, только в первый год подобные денежные махинации принесли прибыль в 5 миллионов рублей. Всего же за десять лет — с 1654 по 1663 год — в обращение поступило медных денег на сумму, которую Мейерберг, быть может, и преувеличивая, определял в 20 миллионов рублей.

Было бы не совсем справедливо сводить денежную реформу, затеянную правительством с началом войны с Польшей, исключительно к «своекорыстным интересам» казны. Война здесь скорее — и причина, и толчок, поскольку потребность в денежной реформе была вызвана многими обстоятельствами. Правительство постоянно испытывало дефицит платежных средств. Средние и крупные номиналы существовали лишь как счетные единицы. При выдаче жалованья в несколько сот рублей приходилось собирать в дорогу подводу под тяжелый сундук, забитый копейками и полушками. Но несколько сот рублей — еще полбеда. А как быть, если речь шла о тысячах? Приходилось считаться также с тем, что война могла привести к «вымыванию» собственной серебряной монеты. Ведь ратные люди,

приобретая на территории Украины и Белоруссии продукты, должны были расплачиваться серебром взамен меди, имевшей здесь хождение^[464].

Правительство надеялось чисто административным указом сделать новые «медные номиналы» — полуполтину — полноценными средствами платежа. Медная монета была уравнена с серебряной. Но население изначально отнеслось с большим недоверием к «красной» монете и предпочитало вести расчеты серебром. Уже весной 1655 года правительство вынуждено было признать, что и в Москве, и в других городах медные полтинники идут плохо: их «не емлют и торговые люди ими не торгуют». Осенью 1655 года чеканку новых номиналов пришлось прекратить. Зато во всю принялись чеканить на новосозданном Денежном дворе медную копейку.

Поначалу медные копейки шли наравне с серебряными и их неплохо принимали. Но власти сами вмешались в сферу расчетов и принялись скупать у населения на медные деньги серебряные. Одновременно уплата налогов и пошлин происходила только серебром. Благодаря такой, с позволения сказать, «дальновидной политике» и без того хрупкое доверие к медным деньгам быстро рухнуло. Денежная система пришла в расстройство. Медные деньги перестали брать, и они начали стремительно обесцениваться. На рынке появились две цены: на серебряные и медные деньги. Разрыв между ними увеличивался погодно и к моменту отмены составил 1 к 15 и даже 1 к 20. Следствием этого стало повышение цен.

Свою лепту внесли фальшивомонетчики, не упустившие случай быстро обогатиться. Ходили упорные слухи, что даже тесть царя, боярин

И. Д. Милославский, не брезговал прибыльным промыслом^[465].

Вскоре положение стало просто невыносимым. Торгово-промышленная деятельность переживала упадок. Особенно туго приходилось посадским и служилым людям. «Великая нищета и гибель большая чинится хлебной цене и во всяких харчах дороговь великая», — стонали челобитчики. Цена на курицу в Москве достигала двух рублей — суммы невероятной для прежних, «домедных» времен. Дороговизна, растущая разница между «красной» и «белой» копейкой стремительно приближали социальный взрыв, который при всей своей стихийности ощущался современниками, как неизбежное бедствие. «Чаят быть на Москве смятенью», — говорил один дьячок в канун июльских событий.

Известия об очередном сборе «пятой деньги» еще более прибавили страсти. Население столицы горячо обсуждало условия сбора, когда на Сретенке, Лубянке и в других местах стали появляться «воровские письма». К сожалению, текст их не сохранился. Известно, что они обвиняли многих думных и приказных людей в «измене», которая в соответствии с существующими представлениями трактовалась довольно широко: и как злоупотребления, и как «нерадение государю», и как сношения с польским королем. 25 июля 1662 года вспыхнул «Медный бунт».

Чтение листов и призыв «стоять всем на изменников» вызвали волнения среди москвичей. Всё пришло в движение. На колокольнях ударили в набат. Оставшиеся ведать в отсутствие государя Москву думные люди растерялись. Когда дворянин С. Ларионов и дьяк Аф. Башмаков попытались увезти с собой один из «листов», их едва не растерзали. «Вы де то письмо везете к изменникам, а государя на Москве нет, а то де

письмо надобно всему миру!» — кричали им из толпы, демонстрируя своеобразие сознания простого люда — правду можно сыскать только у государя или у «мира»!

В конце концов письмо у Ларионова и Башмакова было отобрано, а они, изрядно помятые, скрылись за Спасскими воротами.

Но главные события разыгрались за пределами столицы, в селе Коломенском. Сюда рано утром отправилась толпа в четыре-пять тысяч человек, состоящая из посадских и приборных служилых людей — стрельцов и солдат Выборного полка Агея Шепелева. Появление их в царском селе было полной неожиданностью. Стоявшие на охране стрельцы попытались остановить толпу, но она попросту смяла их и вломилась в дворцовое село.

Алексей Михайлович со всем семейством слушал обедню по случаю дня рождения сестры царя, царевны Анны Михайловны. Растерянный государь выслал для переговоров с народом бояр. Толпа их отвергла. Пришлось выйти самому Алексею Михайловичу. Раздались крики негодования: пришедшие требовали выдачи бояр-изменников «на убиение», а также снижения налогов. Среди тех, чьей крови жаждала толпа, был дворецкий, окольник Ф. М. Ртищев, человек по душевному складу и религиозному настрою очень близкий к государю. Тишайший приказал ему вместе с остальными спрятаться на женской половине дворца — в палатах царицы. Запершись, все царское семейство и ближние люди «сидели в хоромах в великом страхе и в боязни». Ртищев, слишком хорошо знавший, чем может закончиться разговор с «гилевщиками», исповедался и причастился.

На приказном языке того времени всякое обращение к царю — челобитье. То, что происходило утром 25 июля в Коломенском, тоже было отнесено к этому «жанру» с выразительным добавлением тогдашнего

делопроизводства: «Били челом з большим невежеством». Сам Алексей Михайлович уже сталкивался с подобным «невежеством» 14 лет назад, когда разгневанные толпы москвичей вламывались в Кремль в надежде расправиться с Б. И. Морозовым. Тогда царю ценой унижения удалось вымолить жизнь своему воспитателю. Старый опыт пригодился и на этот раз — царь знал, что слепой ярости толпы можно противопоставить либо силу, либо смирение. Московский посадский человек Лучка Жидкой вручил царю челобитную. Стоявший рядом нижегородец Мартьян Жедринский настаивал, чтобы государь тут же, не откладывая, «перед миром» вычел ее и велел привести изменников.

Толпа «с воплем и многим безчинием» поддержала своих челобитчиков. По свидетельству всезнающего Г. Котошихина, Алексей Михайлович в ответ принял уговаривать народ «тихим обычаем», обещая «учинить розыски и указ». Царскому слову поверили не сразу. Кто-то из толпы даже крутил пуговицы на царском платье и дерзко вопрошал: «Чему де верить?» Наконец Алексей Михайлович уговорил толпу и — живая деталь — с кем-то, в знак согласия, ударил по рукам — «дал им на своем слове руку». Со стороны картина, конечно, выглядела впечатляюще: напуганный, хотя и не утративший, как в июне 1648 года, своего достоинства царь — и неизвестный дерзкий посадский, рукопожатием скрепляющие свое соглашение о сыске изменников.

Одновременно в стрелецкие и солдатские слободы погнали дворян с приказом срочно вести служилых людей для защиты государя. Ю. Ромодановский отправился за иноземцами в Немецкую слободу. Меры в глазах царя были необходимые: волнения захватили власти врасплох. Около полудня в Коломенское вновь ворвались восставшие: среди них были те, кто еще

утром вел переговоры с царем, а теперь повернул обратно, встретившись на полдороге с новой, идущей из столицы возбужденной толпой. Она еще в Москве захватила сына одного из «изменников», гостя Василия Шорина, причастного к финансовым операциям правительства. До смерти перепуганный юноша готов был подтвердить все что угодно: он объявил о бегстве отца к польскому королю с какими-то боярскими листами (на самом деле Василий Шорин прятался во дворе князя Черкасского в Кремле). Свидетельство ни у кого не вызвало сомнения. Страсти вскипели с новой силой. На этот раз перед царем предстало около девяти тысяч человек, настроенных как никогда решительно. На переговорах царю угрожали: если добром бояр не отдашь, сами их возьмем по своему обычаю. При этом подбадривали друг друга криками: «Тепере де пора, не робейте!»

Но время восставших уже вышло. Пока шли переговоры, через задние ворота в Коломенское вошли стрелецкие полки Артамона Матвеева и Семена Полтева. Алексей Михайлович ненапрасно привечал и прикармливал стрельцов. Они не поддержали, как это случилось в 1648 году, выступление посада. Потому и события развивались по другому сценарию. Едва Алексею Михайловичу доложили о приходе войск, он сразу переменялся и приказал «сечь и рубить без милости». Известно, что в минуты гнева царь себя не сдерживал. Один из источников вкладывает в уста Тишайшего еще более резкие слова: «Избавьте меня от этих собак!» Получив царское благословение, стрельцы с завидной прытью — легко иметь дело с безоружными — кинулись избавлять государя «от собак».

Расправа была кровавой. Сначала рубили и топили, позднее хватали, пытали, рвали языки, отрубали руки и ноги. В дни бунта и в розыске, по некоторым данным, погибло около тысячи человек. Многим на вечную

память о мятеже положили на левую щеку огненные «буки» — «б» — бунтовщик. Но напряженность не проходила. Иностранцы и год спустя писали про повсеместный ропот жителей. В 1663 году Алексей Михайлович отменил медные деньги. Указ был выразителен в своей откровенности: «чтоб еще чего меж людьми о денгах не учинилось», велено деньги отставить.

Главный лейтмотив «Медного бунта» — боярская измена. В глазах народа одно это делало их выступление справедливым. Но на самом деле «изменники» и медные деньги сфокусировали недовольство всем течением жизни, стиснутой прямыми и чрезвычайными налогами, произволом и дороговизной. Симптом весьма тревожный — всеобщая усталость от войны. В правительственных кругах многие желали бы ее прекратить. Но прекратить достойно, с прибытком. А это уже зависело не только от Москвы, но и от Варшавы.

На путях к Андрусовскому перемирию

Попытки начать переговоры в 1661 году не окончились ничем: посольский съезд попросту не состоялся. Начавшиеся в 1662 году переговоры также успеха не принесли — условия, выдвигаемые каждой из сторон, оказывались неприемлемыми. Было ясно, что Польша, получив преимущество после возобновления войны, надеется полностью восстановить прежнее могущество. И хотя движение Речи Посполитой к старым границам никак нельзя было назвать триумфальным, территория, подвластная второму Романову, продолжала сжиматься. Мир по-прежнему приходилось искать не на посольских съездах, а на полях сражений и в осадах городов.

Очередной поворот Юрия Хмельницкого, признавшего подданство Яна Казимира, не получил повсеместной поддержки. Левобережье, где сильны были позиции сторонников прежнего курса, где прислушивались к голосу православного духовенства и где стояли царские ратные люди, не передалось на сторону короля. Положение тем не менее оставалось чрезвычайно сложным. Главный нерв войны на Украине пролегал через Запорожское войско: тот, за кем оно шло, получал немалые преимущества. Но Войско шло за своим гетманом. Алексей Михайлович уже дважды ожегся в их выборе после смерти Богдана Хмельницкого. В третий раз ошибиться было боязно.

Два года Восточная Украина жила в неопределенности и борьбе нескольких претендентов на гетманскую булаву. Несколько раз в это соперничество пытался вмешаться Юрий Хмельницкий, ставший, по сути, правобережным гетманом. В июне

1662 года он переправился через Днепр и двинулся на наказного гетмана Самко к Переяславлю. Самко, подкрепленный полками князя Г. Г. Ромодановского, заставил Юрия Хмельницкого отойти к Каневу. Здесь, в укрепленном лагере, Юрий был настигнут и разбит. Успех был полный. Правобережный гетман оказался даже без охраны: бежали все, кто мог бежать. И только спрятавшись в лесу, Юрий счастливо избежал плена. Однако попытка Ромодановского развить успех не удалась. Его арьергард в конце концов был вытеснен татарами и правобережными казачьими полками.

Вскоре стало известно, что Юрий Хмельницкий, окончательно утративший влияние и, по-видимому, тяготившийся гетманством, отослал от себя булаву и принял постриг. Это еще более обострило борьбу за гетманство. Москва настаивала на том, что выборы должны проходить по всем правилам, на большой раде, с участием рядового казачества. Но в кипении страстей о правилах забывали и полагались более на силу.

В июне 1663 года собранная под Нежином рада обернулась кулачными побоищами между сторонниками Самко и запорожского гетмана Ивана Брюховецкого. Считалось, что последнего поддерживала основная масса казачества — в нем якобы видели человека, способного приструнить возгордившуюся старшину. Брюховецкий одолел своих противников. Представитель Алексея Михайловича на раде князь Д. С. Гагин утвердил выбор. Этим подчеркивалась готовность Москвы считаться с мнением казачества и уважать их волю. Тем более что Брюховецкий казался человеком московской закваски: не зря же он, сочиняя донос на своих соперников, подписывался «верный холоп и нижайшая подножка престола вашего». Позднее выяснится, что московское правительство просчиталось и на этот раз: Брюховецкий доставил много хлопот и бед.

Первым делом новый гетман с помощью войскового суда и при попустительстве Москвы расправился со своими соперниками. Самко и нежинский полковник В. Золотаренко, один из самых авторитетных сторонников союза с царем, были обвинены в измене и поспешно казнены. В истории украинской Руины этот произвол и беззаконие — едва ли не самая печальная страница. Мало кто думал о родной стороне. Бал правили корысть и властолюбие. И если победитель легко расправлялся со своими противниками из старшины, то что говорить о простых казаках, мещанах и сельских жителях? Жизнь дешевела с каждым поворотом междоусобства с его бесконечными обращениями к татарам, которые чувствовали себя на Украине как в завоеванной и выданной на разграбление стране. В прошлое уходили времена, когда казаки сами «неприятелей гоняли», а малороссийские жители прибывали «во всяких покоях и зажитках».

Первоначально Брюховецкий старательно поддерживал союз с Москвой. Опираясь на ее помощь, он надеялся отобрать булаву у гетмана Правобережной Украины Тетери, который сменил Юрия Хмельницкого. Однако по мере того, как в Кремле крепла мысль, что всю Украину в подданство вернуть уже не удастся и следует стоять лишь за Левобережье и Киев, надежда Брюховецкого подчинить себе правобережные полки становилась все более призрачной. Военное же решение проблемы Брюховецкому оказалось не под силу.

В 1663 году Ян Казимир, собрав войско и присоединив к нему правобережные казачьи полки и татарские отряды, предпринял широкое наступление на Восточную Украину. С Яном Казимиром шли лучшие польские военачальники, в том числе будущий король, «бич турок», Ян Собеский. Время вторжения было выбрано не самое удачное — поздняя осень, хлябь и

ненастье. Но король принужден был руководствоваться не целесообразностью, а благоприятной ситуацией: в наличии имелись деньги на выплату жалованья и поддержка сената и шляхты.

Король вел себя как государь, готовый простить заблудших подданных. Он выкупал у татар украинцев и отпускал их, удерживал татар от разбоев и строго взыскивал со своих, если кто нарушал дисциплину и творил насилия. Чем бы ни руководствовался Ян Казимир, это мало помогало — в справедливость короля плохо верили. Правда, после переправы через Днепр на его сторону перешло сразу 13 городов. Но потом дела приняли другой оборот. Пришлось томить войска в осадах и расходовать в приступах.

В январе король застрял под Глуховом, слабые укрепления которого относили его к городкам, простодушно окрещенным народом «курятниками». Ян Казимир мог и обойти Глухов: его небольшой гарнизон не представлял большой опасности для тылов польской армии. Однако на короля напало неожиданное упрямство, и он во чтобы то ни стало решил преодолеть обледенелые валы города. Но глуховские казаки и русский отряд под началом Авраамия Лопухина, отца первой жены Петра Великого Евдокии, оказывали отчаянное сопротивление. Во время осады стало известно о выдвигении Г. Г. Ромодановского и Брюховецкого. Сражение в «поле» окончилось неудачей для Яна Казимира. Ему пришлось поспешно отводить свое голодное войско за Десну, и только нерасторопность князя Я. К. Черкасского, который не успел перерезать пути отступления поляков и их союзников, спасла Яна Казимира от больших неприятностей.

Еще один удар воинственным планам короля нанесли события на Правобережье. Потребовалось немного времени, чтобы освежить антипольские

воспоминания. Маятник казацких настроений вновь качнулся в сторону царя. В московское подданство подались несколько правобережных полков. Заинтриговал даже Иван Выговский, кровно обиженный неблагодарностью короля: гетманскую булаву ему так и не возвратили. Бывший гетман решил на этот раз разыграть антипольскую карту. Он побуждал к восстанию, но был схвачен и в марте 1664 года расстрелян. На подавление восстания послали лучшего полководца Стефана Чарнецкого. Он прошелся по Украине огнем и мечом, затоптал угли разгоравшегося народного возмущения, но при штурме небольшого городка Ставищи получил рану, которая вскоре свела его в могилу.

Москва слабо поддерживала восставших, воздерживаясь от крупных операций на польской стороне Днепра. Впрочем, известный парадокс заключался в том, что чем меньше Москва вмешивалась в события, тем сильнее привлекала к себе. Не случайно гетман Правобережья Павел Тетеря, которого никак нельзя было заподозрить в симпатиях к Алексею Михайловичу, признавал в письме к королю, что «...вся Украина решила умереть за имя царя Московского».

Провал кампании 1663/64 года и восстание на Западной Украине сильно повредили сторонникам бескомпромиссной борьбы с Московским государством. Становилось ясно, что надеждам добиться решительного военного перевеса над противником не суждено сбыться. Ситуация складывалась патовая. Конечно, вопли разоренных, потерявших на Украине и Смоленщине маютности панов не умолкали. Однако их слушали без прежнего энтузиазма и сочувствия. Разоренные Польша и Литва жаждали мира не меньше, чем Московское государство. Тем более что в 1665 году страну охватило очередное междоусобие — рокош гетмана Любомирского.

Переговоры между сторонами начались в июне 1664 года и сразу же приняли затяжной характер. Малейшие перемены — успехи или неудачи в стычках, взятые или утраченные города — сильно сказывались на их течении. По-прежнему важнейшими оставались малороссийская тема и ход дел на Украине.

В события на Украине все более втягивалась могущественная Турция. Она внимательно приглядывалась к переменам на Правобережье, тая захватнические планы и выискивая тех, на кого можно было бы опереться. В это время на Правобережье выдвинулся умный и энергичный Петр Дорошенко. Опираясь на помощь хана, он пресекал все попытки казаков пристать к Москве. Затем Дорошенко оборотил свой взгляд на Левобережье в надежде объединить обе стороны под своей булавой. Положение гетмана Брюховецкого сильно осложнилось. В сентябре 1665 года он отправился в Москву, где ему была уготована ласковая встреча.

Алексей Михайлович отличил приехавших по-своему. Неизбывную тягу старшинства к шляхетству в Москве перетолковали на свой лад. Войсковая старшина была пожалована в московское дворянство, а сам гетман получил боярскую шапку. Сказано было боярство Брюховецкому 22 октября 1665 года, во время Казанского крестного хода. Этим подчеркивалась особая расположенность государя к гетману.

Услуга оказалась поистине медвежьей. Высокий в глазах московского служилого человека думный чин для казачества, напротив, казался уничижительным. Старшине же пришлось не по вкусу уступки Брюховецкого, которые вели к утрате контроля над сбором налогов и передаче его царским воеводам. В 1666 году, закрепляя «совершенное подданство», власти провели на Левобережье перепись тяглового населения. Эта мера, прочно связанная в сознании с

несвободой и новыми тяготами, усилила брожение низов.

Петр Дорошенко ловко воспользовался трудностями Брюховецкого. Утвердившись в старой гетманской резиденции Чигирине, он закидал Левобережье своими универсалами, запугивая казачество скорой утратой всех природных прав и вольностей. Брюховецкий при этом фигурировал в роли царского потакальщика, что и доказывать не нужно было — на «воре» боярская шапка горела!

Левобережье пошатнулось. Запорожье отступило от Брюховецкого и послало свою станицу — посольство — в Чигирин. Однако Дорошенко не стал искать покровительства в Варшаве и оборотился к третьей силе — Крыму и Турции. Такая ориентация правобережного гетмана создала принципиально новую ситуацию, с которой должны были считаться участники русско-польских переговоров.

Последствия событий на Правобережье первыми ощутили в Варшаве. Разбив под Межибожем поляков, Дорошенко с татарами осенью 1666 года разорил часть Южной Украины. Все эти события естественно сказывались на позиции сторон во время переговоров.

Переговоры проходили в деревне Андрусово Смоленского уезда. Все большую роль в них начинал играть А. Л. Ордин-Нащокин. До своего назначения послом он успел побывать в опале — воеводой в Пскове, поскольку оказался заподозренным в связи с Никоном. Однако думный дворянин сумел оправдаться, да к тому же в царском окружении было слишком мало талантливых дипломатов, чтобы рассылать их по дальним и ближним воеводствам. Весной 1665 года Афанасий Лаврентьевич получил звание окольного и вскоре был назначен на посольство.

Первое время, будучи на вторых ролях, Афанасий Лаврентьевич терпел обидные уколы от

Н. И. Одоевского и Ю. А. Долгорукого. Именно в этот период из-под его пера вышли горькие сентенции относительно судьбы незнатного служилого человека, который, не жалея сил и не взирая на лица, «радеет» о государевом деле. «Они службишке нашей мало доверяют... У нас любят дело и ненавидят, смотря не по делу, а по человеку», — жаловался он царю, намекая на препятствия, чинимые его аристократическими товарищами.

Алексей Михайлович в эти месяцы всячески поддерживал Афанасия Лаврентьевича. Делал он это по-разному, одергивая недругов или ласковым словом привечая окольного. Было бы слишком наивно считать, что этим Тишайший демонстрировал свои «демократические» симпатии. Для него аристократические оппоненты и противники Ордина — фигуры не менее значимые. Тот же извечный враг Афанасия Лаврентьевича князь И. А. Хованский, получивший из-за Ордина от царя не один обидный выговор, — один из главных полководцев царствования второго Романова. И, между прочим, не самый худший. Но царю Ордин был очень нужен. На излете нескончаемой войны с Польшей очень пригодилась та репутация, которую он имел не столько при Московском, сколько при Польском дворе.

Для Ордина-Нащокина, давнего приверженца русско-польского сближения, идеальным результатом был даже не мир, а тесный союз двух стран, в результате которого «турок будет здержан», а хан принужден «держаться дружбу». Подобные планы казались маловыполнимыми: мира желали многие, но на Польшу за долгие годы войны привыкли смотреть как на врага кровного, закоренелого. Дальнейшие события показали, что правы были и окольный, и его оппоненты. Первый, потому что предугадал, что в обстановке растущей экспансии Турции в Восточной

Европе русско-польское сближение станет неизбежным. Скептики же — потому что не ошибались относительно огромных трудностей такого союза: слишком сильна была инерция недоверия, чтобы сразу освободиться от нее, растопить глыбы льда, намороженные многовековой враждой. Цена же, которую Ордин-Нащокин предлагал за союз с Польшей, вообще представлялась непомерно высокой, даже невозможной: ради «вечного мира» отказаться от завоеваний на Украине. По-прежнему острыми были противоречия, для преодоления которых требовались воля и новый взгляд на давнего противника-соседа. Очень скоро выяснилось, что затруднительно вести разговоры даже о мире. Реальностью могло стать лишь перемирие, когда каждая из сторон лелеяла надежду со временем повернуть ситуацию в свою пользу.

Переговоры шли тяжело. Особенно неуступчивыми были польские комиссары, прибегавшие к проволочкам, угрозам и военным демонстрациям. Камнем преткновения, как и ожидалось, сначала стали левобережные города, затем Киев. О его будущем никак не могли столковаться. Но когда на поляков реально надвинулась угроза с юга и определилась антипольская позиция Дорошенко, дело сдвинулось с мертвой точки. Сказалась и позиция Алексея Михайловича, на этот раз достаточно точно определившего меру уступок. Сам Афанасий Лаврентьевич готов был пойти на большее.

В январе 1667 года, на 31-м съезде послов наконец пришли к соглашению по самым спорным статьям. Перемирие заключалось на 13 с половиной лет, во время которых не возбранялось вести переговоры о «вечном мире». За Москвою оставались Смоленское и Черниговское воеводства, Стародубский повет и Северская земля. Полоцк, Витебск и другие белорусские города, где еще стояли царские гарнизоны,

возвращались Литве. На Украине граница проходила по Днепру, а Киев с небольшой округой на два года оставался за царем — для подготовки его передачи королю. Запорожье объявлялось общим владением, «на общую их службу от наступающих басурманских сил».

В Москве были чрезвычайно обрадованы окончанием многолетней войны. Завершилась она далеко не так, как это виделось в середине 50-х годов, на вершине успехов, когда часть Белоруссии и Украина величали Алексея Михайловича государем. И все же успех был крупный, упрочивший западные рубежи страны, хотя и несоизмеримый с пролитой кровью и затраченными усилиями.

Вернувшееся посольство встречали с большим торжеством. Радоваться было чему — Андрусово закрывало целую историческую эпоху. Еще совсем недавно неуютно чувствовавшие себя на престоле Романовы пытались упрочить позиции династии, заявляя о царском достоинстве своих предков. Однако достаточно быстро идея родоначалия отошла на второй план. Избрание Михаила Федоровича объяснялось Божественным вмешательством. Промысел Божий находил свое проявление во всем, что отмечено успехом, главный из которых — расширение и торжество Православного царства. Андрусово здесь — аргумент наиважнейший. Не случайно с 1667 года Большая государственная печать, подготовленная при участии австрийского герольдмейстера Лаврентия Хурелича, получила новое очертание: крылья двуглавого орла подняты, как на печати Священной Римской империи. Орел держит державу и скипетр, над головами три короны — три царства. Московская Русь уходила в прошлое, уступая место самодержавной России.

Ордин-Нащокин к неудовольствию и зависти недругов 2 февраля был пожалован в бояре. Вскоре

последовало его назначение главой Посольского и Малороссийского приказов в звании «Царственных и государственных посольских дел боярина». Получили награды и его товарищи по посольству.

Щедрые награждения заставляют еще раз внимательно присмотреться к манере общения Алексея Михайловича со своими подданными. Если вдуматься, царь отличил человека, не просто во многом с ним несогласного, но такого, которого пришлось переубеждать и даже приводить в чувство строгим окриком. Добро б еще царь не занимался делами и мечтал взвалить непосильный груз переговоров на одного Ордина. Но нет, Тишайший пристально следил за ходом переговоров и, безусловно, осуществлял общее руководство. Возможно, именно это и спасло Афанасия Лаврентьевича от монаршего гнева. Вникая в суть переговоров, Алексей Михайлович как никто другой мог оценить и понять все трудности, с какими приходилось сталкиваться послу в посольском шатре. Так, по крайней мере в общении с Ординым-Нащокиным, царь сумел подняться над несущественным и второстепенным ради главного и существенного.

Часть шестая
На склоне жизни

Стенькино время

Крепостничество и крепостной гнет упрочивались в центре, восстания же приходили с окраин, начинались чаще не там, где тяжелее, а там, где свободнее. Эта логика крупных социальных движений, столь часто повторявшаяся в XVII-XVIII столетиях, побуждала многих исследователей более пристально присмотреться к жизни окраин России. Подмечено, что сюда уходили самые динамичные, социально активные элементы, по тем или иным обстоятельствам не принявшие крепостнического уклада или вступившие с ним в конфликт. Это непокорство в море всеобщей покорности, тяга к воле при господстве неволи складывались здесь в некое множество, способное на поступок. Окраины легче загорались, жарче полыхали, решительнее действовали. На окраинах вольготнее дышалось, и этим дорожили, за это стояли и этого не желали терять.

«Оказывается, для того, чтобы восстать, чтобы начать, уже нужна известная свобода, которой не хватает помещицкому рабу», — заметил историк Н. Я. Эйдельман, обратившись к истокам пугачевщины — заговору яицкого казачества. Но эти слова можно адресовать и веку семнадцатому. Разинское движение также началось с пожаров на окраинах Московского государства и затем по Волге, как по запалу к пороховой бочке, подобралось к крепостническим уездам центра.

Свободы больше всего было на Дону, там, где раскинулась область Войска Донского. Здесь наступал предел царской власти в обычном смысле этого слова и начиналась власть казацкая, с войсковым кругом и избранными атаманами и есаулами — казацкой

старшиной. Войско строилось во многом от противного — как отрицание крепостнического уклада, восторжествовавшего в Московском государстве. Казацкий Дон, к примеру, долго не занимался земледелием. По глубокому убеждению казаков, это было чисто мужицким занятием, которое вместе с хлебушком возвращало помещика и московские «злостренные» порядки. Эта убежденность иной раз дорого обходилась казакам. Власти при необходимости перекрывали все каналы получения хлеба, переставали платить «хлебное жалованье» и таким образом пытались голодом образумить своевольное казачество. Войско давление выдерживало, но давалось это с каждым разом все труднее и труднее.

Издавна Войско отвоевало себе «право убежища». Подобно тому, как воздух средневекового европейского города делал зависимого человека свободным, так и Донская земля обращала в ничто всю крепостническую силу писцовых и кабальных книг. «С Дона выдачи нет»; «мы к себе никого не призываем, но никого и не выдаем», — с этими казацкими правилами по необходимости было вынуждено считаться московское правительство.

В Москве имели немало рычагов воздействия на «Великое Войско». Кнут и пряник — репрессии и пожалования — должны были включить донское казачество в орбиту московской политики. Помимо хлеба, Войску необходимо было «свинцовое и зелейное жалованье» — порох, свинец, оружие, получаемое из государевой казны. Многие, впрочем, казаки добывали сами, отправляясь в походы и морские экспедиции. Военная добыча — зипуны — позволяла не только выжить, но и почувствовать себя действительно независимыми от властей.

При первых Романовых Войско достигло исключительного положения. «Вся земля нашему

казачьему житию завидует», — похвалялись казаки, чьи посольские станицы зачастили в Первопрестольную. Но Романовы обихаживали казачество вовсе не бескорыстно. Выросшее в сравнении с XVI веком Войско стало играть большую роль в защите южных рубежей и в дипломатических комбинациях Москвы, особенно во взаимоотношениях с Крымом и Турцией. Кроме того, от Войска исходила социальная напряженность. Уже одним своим существованием Донская область представляла собой некую угрозу, которая в трудах историков XIX века определялась как антигосударственное, разрушительное начало. Все это побуждало правительство к тому, чтобы крепче привязать к себе Войско, втянуть его в ареал своей политики и, найдя себе социальную опору, ослабить исходящую угрозу.

Казачество не оставалось однородной массой. При том что личные качества: удаль, сила, смелость — по-прежнему высоко почитались в их среде, в XVII столетии важную роль стали играть факторы социальные. К середине века уже отчетливо выделились домовитое казачество и голутвенное — пришлая голытьба. Первые, окружив хуторами войсковую столицу Черкасский городок, к привычным военным занятиям добавили промыслы, торговлю, даже ростовщичество. Из их среды выходила войсковая старшина, на «низ» шло государево жалованье, милостливое или гневливое царское слово. Слово равно «делилось» на всех, жалованье же — в соответствии с положением и причастностью к Войску, которое начинало свой подсчет обыкновенно с понизового, старого казачества.

Казачество всегда пополнялось людьми пришлыми. Войско вбирало их, как пересохшая земля воду: полнолюдие было необходимо, чтобы с казаками считались, видели в них силу. В 50-60-е годы Дон был переполнен беглыми. «Низ» уже с трудом принимал их.

Пришлые селились выше по реке и по ее притокам — на Северском Донце, Хопре, Медведице. Это верховое, малообустроенное казачество становилось одним из самых беспокойных элементов Войска и доставляло немало хлопот правительству. Старшина, впрочем, умела извлекать из этого выгоды. Иногда открыто, чаще тайно, она подталкивала голытьбу на походы «за зипунами», умело обращая военные предприятия в доходные. Снабжая участников походов стругами, оружием и припасами, домовитые входили в долю и, далеко не всегда рискуя головой, претендовали на участие в разделе военной добычи — «дуванили зипуны». Воистину, это была своеобразная форма эксплуатации кровью, возмущавшая голутвенное казачество в конце удачного похода и вполне устраивавшая его в начале, во время поисков снаряжения.

Походы «за зипунами» со временем приобрели еще одну функцию: они давали выход неумеренной, разрушительной энергии, копившейся на Дону. В первой половине столетия эта энергия обыкновенно обращалась на юг, к Черному морю. Казаки ходили «под турецкие города и под крымские села», громили ногайские улусы. Эти опустошительные набеги и тщательно подготовленные военные экспедиции, подобно захвату Азова в 1637 году, заставили турецкое правительство всерьез обеспокоиться защитой своих городов. Устье Дона было укреплено артиллерией, каланчами и даже перекрыто цепями, отчего «учала на Дону быть скудость большая». Потребность в добыче побудила казаков перенести свои набеги на Каспий.

В условиях возрастающей социальной напряженности переориентация активности казачества имела важные последствия. Ведь Каспий — это еще и Волга с ее прибрежными городами и торговыми караванами. Разбойничьи походы поэтому легко

обращались в «воровские», приобретали привкус социальный, антигосударственный, который приходился по вкусу голытьбе. Прежние обиды, нанесенные приказными и помещиками, были еще свежи в ее памяти, и «поворовать» в имениях было для них так же соблазнительно, как и «пошарпать» в персидских владениях.

Поход Василия Уса в 1666 году на «государеву службу», сопровождавшийся погромами помещичьих владений, убедительно показал, что на Дону скопился избыток «голутвенного материала», ищущего выход для своей энергии. Нужен был лишь вождь, авторитетный и удачливый, способный повести за собой. И он скоро появился.

История — всегда непрерывная цепь событий, сплетение людских судеб. В 1665 году пересеклись пути Степана Разина и боярина князя Ю. А. Долгорукого, в будущем главного усмирителя разинского движения. У воеводы под началом были отряды донских казаков. Атаман Иван Разин, старший брат Степана Тимофеевича, вопреки воле Долгорукого якобы отпустил одну из станиц домой. Боярин нарядил погоню, казаков вернул, а дерзкого атамана велел казнить.

Каждый из них верил в свою правду. Иван Разин с товарищами считали себя вольными казаками, которые служили государю по доброй воле, собственному хотению, а не принуждению; Долгорукий же увидел в их поступке измену, бегство с поля боя. Он, собственно, творил не произвол, а соблюдал Соборное уложение.

Расправляясь с атаманом, князь вряд ли что-то ведал о его брате, Степане Разине. Зато Степан Разин хорошо знал про Долгорукого. Вражда оказалась смертельной, кровью искупаемой. Современники, для которых обычные человеческие мотивы поведения были понятнее и ближе, чем фигурирующие в нашей

историографии закономерности, увидели в Разине мстителя за старшего брата. Едва ли стоит сомневаться в побудительной силе подобного мотива. Во всяком случае, в XVII веке он признавался достаточно серьезным.

Когда в 1690 году власти проведали о словах сына Степана Тимофеевича, казака Афоньки: «все крови отца своего отолью сего лета», они изрядно переполошились. Еще раньше, в мае 1682 года, расправившись с сыном Ю. А. Долгорукого, боярином Михаилом Юрьевичем, стрельцы пришли к старому боярину просить прощения. Содрогавшийся от злобы Долгорукий вину им для видимости отпустил, но едва стрельцы удалились, многозначительно бросил вслед присказку про щучьи зубы, которые остались. Холопы неосторожное боярское слово тотчас донесли стрельцам, те вернулись и учинили расправу над Долгоруким. Сейчас не столь важно, что это лишь одна из версий гибели знатного боярина. Обращает на себя внимание, что и здесь фигурирует месть, или точнее — опасение мести.

Об эпизоде с казнью Ивана Разина, естественно, упоминали в серьезной исторической литературе. Но парадигма поведения грозного атамана, втиснутая в жесткое русло крестьянской войны и классового противостояния, все же выстраивалась иначе: все было почти predetermined, и Степан Тимофеевич издавна проникся духом сострадания к угнетенным низам. Вряд ли такое объяснение удачнее прежнего. Фигура Разина столь сложна, а сведения о нем столь отрывочны, неполны и внутренне противоречивы, что едва ли вопрос о том, что имело решающее значение в выборе его жизненного пути — стремление к мести, сострадание или честолюбивое желание первенствовать всегда и во всем — будет когда-либо окончательно решен.

К началу движения Степану Разину было около сорока лет. Он был старше и известнее другого знаменитого народного вожака — Емельяна Пугачева. Впрочем, последнему известность была как раз и не нужна. Она бы помешала его роли «амператора Петра Федоровича», которую он себе выбрал. Известность Разина, возможно, и объясняет тот необычный факт, что в век самозванства в его выступлении самозванство сыграло роль незначительную, второстепенную. Властолюбивый атаман еще мог примириться со статистами-самозванцами, но не с теми, кто должен был, согласно интриге бунта, претендовать на заглавные роли. Здесь Разин был тверд и лидерства не хотел ни с кем делить.

Несравненно богаче, чем у Пугачева, был жизненный опыт атамана. Происходил он из среды домовитых казаков. Отец, Тимофей Разя, по всей видимости выходец из Воронежа, имел связи со старшиной. Крестным отцом Разина был влиятельный на Дону Корнило Яковлев. Разин трижды за небольшой срок — с 1652 по 1661 год — побывал в Москве, причем один раз в составе войсковой станицы, присланной бить челом о нуждах Дона. Неизвестно, участвовал ли Разин в переговорах, но уже само включение его в состав посольства — свидетельство прочности позиций и влиятельных связей.

Добирался Степан Разин и до самого севера — Соловецкого монастыря, чтобы преклонить колена перед почитаемыми соловецкими святителями. То было выполнение обета отца, возможно, данного во время знаменитого «Азовского сидения», в котором Тимофей Разя принимал участие. Отец умер, и исполнить его обещание выпало на долю среднего сына. Такое паломничество было в обычай. В архивах сохранилось множество челобитных и проходных грамот к воеводам с указанием пропускать богомольцев, не задерживая.

Дважды по поручению круга и властей Разин вел переговоры с калмыцкими тайшами о совместных действиях против крымцев. Этот опыт общения позднее ему пригодится. Наконец, Разин уже атаманил, и атаманил успешно. Весной 1663 года у Молочных Вод он с донскими и запорожскими казаками и калмыками разбил отряд татар, взяв одними пленными 350 человек.

Несомненно, что с 60-х годов Разин на виду. Он из тех, кто подпирает старых атаманов, чтит вольности и права Войска и не спорит с Москвою. И вдруг — излом, «голутвенное атаманство», «воровство». Нельзя не отметить хронологического совпадения, близости этого излома с казнью его брата. Впрочем, чем бы ни были вызваны такие повороты, нельзя не видеть их соответствия характеру атамана. Несомненно, Разину ближе порыв, безудержный разгул, чем упорная и долгая работа сердца. Он грешит, грабит, затем истово молится, но лишь для того, чтобы начать этот круг по новой и даже двинуться дальше в осуществлении дерзостной своей мысли — потряхнуть царством.

И здесь возникает вопрос, равно волнующий и историков, и литераторов — почему за ним пошли? Бесспорно, личность Степана Разина оказалась созвучна тому образу бунтаря, народного заступника, который сложился в представлении низов. Все в нем соответствовало понятиям удалой, удачливой, буйной головушки. Предприимчивый, своевольный, Степан Тимофеевич из тех, кто живет без удержу. Он спешит погулять, погрешить, покаяться. Это и есть в его понимании истинная воля, которая вовсе не синонимична понятию свободы. Свобода — это еще и ответственность, следовательно, несвобода. Здесь есть что-то глубоко родственное с самодержавным сознанием, когда и Иван Грозный был дико волен в своей чудовищной безграничной власти. Разин

подавлял простого человека, потому что в его глазах он был, собственно, уже и не человек, а что-то стихийное, неодолимое, сродни грому и молнии, каким и должен быть праведный гнев против мирских обидчиков.

Нельзя не отметить противоречивости разинской натуры. Он весь как бы сшит, скроен из крайностей. Но разве крайности — не черта, импонирующая национальному характеру? Больше того, своим поведением Разин закрепил в представлении масс именно такой образ народного заступника. Он обязательно щедр и грозен. Его не берут ни сабля, ни пуля. Он чародей, человек вещей, колдун и притом — атаман-батюшка. Здесь все так крепко переплетется, что 100 лет спустя Пугачеву придется выказывать удаль и свойства, равные разинским.

Однако едва ли следует путать Разина из легенды с Разиным истинным. Слащавый официоз, который старательно приписывает атаману-бунтарю то, чего не было и быть не могло, так же далек от правды, как и истолкование разинщины единственно в свете бессмысленного разрушения.

Непосредственной причиной, побудившей казаков идти «добывать зипуны», стали трудности с хлебом на Дону. Так, по крайней мере, оправдывалась «голь» в своих посланиях в Москву. Нет никаких оснований не верить им. Так же, как и преувеличивать этот фактор. Брожение на Дону достигло той степени, когда нужен был лишь один толчок, чтобы все выплеснулось через край. «Хлебная скудность» вполне подходила для первотолчка. Но не было б ее — нашелся другой повод. Не нашелся бы — хватило и одного призыва.

Поход начался с неудачи. Домовитые казаки не пропустили ватагу к устью Дона. Сделано это было не столько из-за строгого запрета Москвы «не задирать» турок и татар, сколько из-за опасения мести, ответных действий азовцев. Разин повернул вверх по реке.

Следом была наряжена погоня. Решено было отговорить казаков от «воровства». Но разинцев погоня не настигла. Об этом и отписал в Москву Корнило Яковлев.

Скорее всего старый атаман лукавил: домовитые вовсе были не прочь избавиться от задиристой голытьбы, а Яковлев — помочь крестнику. Позднее из Черкасского городка в Москву полетят грамотки, где оправдывающийся Яковлев станет расписывать «большое непостоянство» голутвенных казаков, которые «творят непослушание государевым указам». Это, однако, не помешает ему пособить Разину припасами.

Разинцы встали «на буграх», вблизи так называемого Паншина городка, отгородившись от всяких неожиданностей «полою водою». Место было выбрано не случайно: отсюда легче было совершить прыжок на Волгу. Первостепенным делом стала организация и вооружение казаков. Разин решал ее на свой манер: явившись в Паншин городок, он поотнимал у местных жителей воинскую снасть.

Между тем известие о «воровских казаках» достигло воевод. Не осталось тайной даже намерение атамана идти на Каспий и добыть Яицкий городок. Подобный сценарий с небольшими отклонениями уже проигрывался в прежних походах казаков «за зипунами». Необходимо было не пропустить ватагу на море, уговорить, удержать, заворотить силой. Однако ничего из этого у воевод не получилось. Не хватило ни сил, ни решимости. Да и привычнее было выжидать до государевых грамот. Впрочем, скоро эти грамоты разослали по поволжским городам. Воеводам наказано было «жить в великом бережении», всячески проведывать о разинцах и при необходимости «чинить над ними промысел». В Астрахань же были назначены новые воеводы — боярин князь И. С. Прозоровский, стольники князя М. С. Прозоровский (брат первого

воеводы) и С. И. Львов. Появились они в городе не просто в окружении многочисленных слуг, с ними прислали солидное подкрепление — четыре стрелецких приказа и солдат. Все эти меры были оправданы и правильны. За одним исключением: они все время запаздывали. Пока грамоты писали, пока их везли, пока воеводы осматривались и скребли затылки, казаки действовали.

В начале мая 1667 года разинцы числом около тысячи человек объявились на Волге. Здесь, в урочище Каравайные Горы, они совершили свой первый «подвиг» — пограбили большой судовой караван, в котором имелись струги, принадлежащие царю и патриарху. Сопровождавшие караван стрельцы почти не сопротивлялись налетевшим казакам. Вольница расправилась с начальными людьми, приказчиками на свой манер: била, пытала, вешала. Сам Разин за какую-то провинность «переломил руку у монаха патриаршего». Ссылных людей расковали и приняли в свою рать, остальных отпустили. Степан объявил, что идет против бояр, но никого не неволит и силой не понуждает.

В конце мая «воровские» струги подступили к Царицыну. Позднее здешний воевода Унковский уверял, что казаки хотели «зажечь подметом» город, однако «убоявшись отпора... побежали на низ». Сами же разинцы говорили, что прошли мимо Царицына вполне спокойно. Гарнизон, правда, навел пушки, но ни одна из них не выстрелила. По другой версии, к запальным отверстиям поднесли огонь, да «запалом весь порох выходил». Безучастность царицынского гарнизона потребовала объяснения. Тотчас явилась легенда о неуязвимости атамана. В народном представлении заговоренный — значит, знающий слово, обладающий сверхчеловеческой силой: аргумент, что и говорить, притягательный.

На самом деле Унковский, по-видимому, просто не осмелился препятствовать замыслам Разина. Он даже выслал по требованию атамана кузнечную снасть. Позднее, уже на обратном пути, Разин оттащил трусоватого и потакавшего казакам воеводу за бороду. Зато воевода уцелел, чего нельзя сказать о его преемниках.

Смелость, граничившая с дерзостью, или дерзость, требовавшая невероятной смелости, — характерная черта казацкого атамана. При этом Разин головы не терял и соизмерял силы, возможности и степень риска. То, что он позволил себе в отношении слабого Царицына, не подходило против сильной Астрахани. Там никакое его слово не помогло бы — ядра пушек в щепы разметали бы струги. Потому от Черного Яра казаки повернули в Бузань-реку — один из волжских протоков, который позволял обойти Астрахань.

Оказавшись на Каспии, струги двинулись в устье Яика, к Яицкому каменному городку.

Этот городок, построенный в свое время купцами Гурьевыми, сильно досаждал местным казакам, не давая добыть на Каспии вождеденную казну. Крепость была для яицкого казачества наподобие пистолета, приставленного к виску, — приходилось многое терпеть. Правительство скоро оценило все значение Яицкого городка и перекупило его у купцов. Ежегодно сюда из Астрахани посылали отряд стрельцов-годовальщиков.

Разин был неплохо осведомлен о положении в крепости и вокруг нее. Он еще на Дону получал грамотки от «старого вора», казака Федора Сукнина, который усиленно зазывал его сесть на Яик. Вскоре 35 казацких стругов вошли в реку. Но никакой осады и приступа не было — городок взяли хитростью. Разин уговорил стрелецкого голову Яцына пропустить его с товарищами помолиться в церковь. Вошло человек

сорок, однако этого хватило, чтобы отворить ворота для остальных.

Казачья учинили кровавую расправу над сдавшимися стрельцами. В яму уложили 170 трупов. Остальным предложили на выбор: уходить или показаться. Но на этот раз атаман не был столь добродушен, как у урочища Каравайные Горы. Понуро бредущих в Астрахань стрельцов настигли конные казаки. Лишь немногие вышли живыми из этой кровавой переделки, укрывшись в плавнях.

Первые успехи Разина всколыхнули весь Дон и Волгу. Со всех сторон шли известия о намерении низов и голутвенных казаков пристать к атаману. Приходили к Разину целыми отрядами. Весной с Дона явился Сережка Кривой, погромивший в Бузанской протоке большой стрелецкий отряд.

Между тем правительство в спешном порядке пыталось узнать о намерениях казаков. Сведения были самые противоречивые. Белгородский воевода сообщил о разинской станице гетману Правобережной Украины Петру Дорошенко. Зачем, для чего? Поговаривали о походе казаков на Азов и даже... на Москву. Тамбовский воевода озадачил Разряд неожиданным вопросом: биться или нет с Разиным, если «учнет силой проходить» мимо города?

В ворохе воеводских отписок многоопытные приказные дельцы пытались найти правдоподобную информацию. Однако очень скоро и это стало почти невозможно. Дело в том, что 23 марта 1668 года, в ночи, погрузив на струги легкие пушки с яицких башен, Разин с товарищами ушел к берегам персидского шаха. Ушел и, как ножом отрезал, надолго оставив астраханских воевод пребывать в безвестии. Едва ли те опечалились этим обстоятельством. Однако надеждам на то, что разинцев разметает буря или они сгинут в персидской земле, не суждено было сбыться. Скоро разинцы

объявили о себе, да так, что встряхнулась вся Астрахань.

Каспийский поход Степана Разина — поход разбойничий, кровавый и жестокий. Силы вольницы по мере присоединения других отрядов быстро возрастали и достигли нескольких тысяч человек. Правда, богатая добыча стоила немалых трудов и крови; изобилие, особенно в конце 1668-го — начале 1669 года, сменялось нуждой, удачи — поражениями. Неудач, впрочем, оказалось меньше. Разбойничий атаман был осмотрителен, смел и даже коварен.

В 1668 году разинцы разорили ряд городков и селений от Дербента и Баку до Решта. Правда, в Гилянском заливе, под Рештом, их подстерегала неудача. Жители, нарушив договоренность, врасплох напали на казаков и перебили до четырех сотен человек. Зато под Фарабатом атаман отплатил им той же монетой. Стороны начали не со столкновений, а с обмена товарами. Разин выждал подходящий момент и тронул колпак — дал сигнал к выступлению. Вольница поыхватывала оружие и кинулась на персов.

С самого начала похода перед казаками встала проблема базы. Требовалось спокойное и безопасное место, где можно было подлатать струги, сложить награбленное, перевести дыхание. С приближением осени эта проблема вышла на первый план. Конечно, можно было вернуться в Яик. Но кто знает, чем он их встретит — радостными криками сторонников или ружейной стрельбой новых стрельцов-годовальщиков? Да и боязно было вспугнуть удачу, прерывая поход.

По прошлому опыту казаки знали, сколь сокрушительный урон может нанести неудачная зимовка. В 1660/61 году зимовавший на острове атаман Паршика уложил в песчаную землю до пяти сотен товарищей. Чтоб получить «крепкий остров», Разин еще весной пошел на уловку. Он стал вести переговоры о

подданстве и даже послал в шахскую столицу Исфаган посольскую станицу. Шахское правительство раздумывало. Сомнения, если они и были, рассеяло царское посольство. Москва дорожила персидским торгом и дружественными отношениями с шахом. Потому приехавшие посланцы «воровской замысел» разоблачили и уверили в ненадежности казаков. Вся их станица по приказу шаха была казнена. Таким образом, голытьбе объявлялась беспощадная война. И царь был готов помочь в этом. Любезность Алексея Михайловича простиралась до того, что он включил в состав посольства шотландца на русской службе полковника Пальмера. Под его присмотром шахское правительство должно было строить суда против казаков.

Казаки зазимовали на полуострове Миян-Кале. Весны дожидались с нетерпением — место оказалось гнилое, плохо было с водой и съестными припасами. Весной 1669 года в надежде подкормиться поплыли к туркменскому побережью Каспия. Но теперь все давалось труднее — везде их поджидали шахские войска и враждебное, готовое постоять за себя население. В одной из схваток погиб атаман Сергей Кривой.

Разин принужден был отойти к западному побережью. Более двух месяцев казаки простояли на Свином острове, южнее Баку. В июле 1669 года сюда подошла шахская флотилия под командою Мамед-хана — около полусотни судов, 3700 гребцов и воинов. Разин стал уходить в море. Преследуя казаков, Мамед-хан соединил свои суда цепями. Он, по-видимому, собирался вылавливать разинские струги, как рыбу, — неводом. Этот неудачный маневр, сковавший в прямом смысле слова шахские суда, обернулся катастрофой. Разин тотчас воспользовался малой подвижностью противника: развернулся и навалился на неприятельские корабли. Из шахского флота уцелело

лишь три корабля, на одном из которых бежал Мамедхан. Казакам досталась богатейшая добыча, много пленных, среди которых оказался сын хана и, по преданию, его дочь — персидская княжна, которую Стенька якобы бросил в Волгу, потакая зароптавшим товарищам.

Победа, однако, дорого стоила. Пора было всерьез подумать о возвращении домой.

В августе 1669 года 22 казацких струга неожиданно появились в устье Волги. Они встали в урочище Четыре Бугра с намерением выяснить обстановку. Это, впрочем, не мешало им заниматься прежним промыслом: казаки разбили патриарший учуг (участки для ловли рыбы) и взяли два персидских буса с товарами, среди которых оказались даже шахские подарки Алексею Михайловичу.

Едва известие о разинцах достигло Астрахани, как навстречу им выступил воевода князь С. Львов. Увидев приближавшуюся царскую струговую рать, казаки побежали в море. Следом за ними на легком суденышке погнался сотник с «милостливой» грамотой. Для вольницы это оказалось приятной неожиданностью. Им было невдомек, что Москва мерила происходящее на свой аршин. Конечно, было бы соблазнительно поквитаться с ворами-казаками в полной мере — застенком и топором, в назидание всем остальным. Однако этот устрашающий принцип уступил место соображениям иного порядка: в условиях непрекращавшейся «шатости» на Украине и нараставших трений с Турцией приходилось думать о возможной реакции Дона. Милосердие, которое ведет к раскаянию и смирению, было признано лучшим средством, чем казни и опала. Так посчитали в Москве. Разин же, по-видимому, усмотрел в этом не только очередной счастливый поворот судьбы, а и слабость правительства. Оно ему потакает, оно его боится!

Переговоры со Львовым окончились челобитьем казаков, которые просили «вины их им отдать» и «на Дон их отпустить с пожитками», а там-де они станут верно служить государю. По прибытии в Астрахань Разин обещал выдать все орудия, а в Царицыне и струги. «Зипуны» и «ясырь» оставались у казаков. Наконец, вольница не распускалась, а сохранялась как войско. Последнее вызвало в Москве большое неудовольствие. Но легко было столичным думным и приказным чинам упрекать астраханских воевод в слабости, когда те имели дело с сотнями чувствующих свою силу и поддержку казаков. К тому же Разин хорошо знал законы обхождения с воеводами и при первой встрече богато одарил любостязательного С. Львова. В Москве, уже во время разинщины, заговорят о «князе Семенове братстве с вором Разиным», что вызовет настоящий приступ гнева у Алексея Михайловича. Царя не умилюет даже гибель князя, и он прикажет конфисковать у наследников Львова часть его имений.

В двадцатых числах августа Степан Разин в знак смирения положил к ногам боярина Прозоровского бунчук походного атамана и десять знамен. Отдал и орудия. Однако далеко не все условия относительно выдачи пленных и оружия были соблюдены. Астраханские власти бранились, но нажимать на вольницу опасались — боялись новой «шатости». Такая снисходительность приносила большой вред. Низы почувствовали, что на волжском берегу, у казацких стругов, объявилась сила, перед которой заискивают даже воеводы.

Поход за зипунами многого стоил. Хорошо стала видна повадка и удаль Степана Разина. Отныне все знали цену друг другу: казаки — Разину, Разин — казакам. Воровская вольница свалилась на Астрахань как снег на голову — обогатившаяся, дерзкая,

задиристая. Казаки ходили в богатом платье, карманы были набиты драгоценными каменьями. Разина величали батюшкой и кланялись, точно знатному боярину или даже царю — поясно, в ножки. Про струг атамана катилась молва, что канаты на нем шелковые, а паруса — камчатные. В глазах голытьбы Стенька обретал силу богатырскую, возможности неограниченные. Еще совсем недавно вольница била и «сажала в воду» начальных людей, а теперь все им было прощено и забыто. Получалось: один раз попробовали — удалось, отчего не попытаться в другой раз?

В советской историографии поход казаков в 1667–1669 годах обыкновенно рассматривался как первый, подготовительный этап к крестьянской войне. Отсюда — поиск некоторого организующего начала, антикрепостнической идеологии. Едва ли это оправдано. Удача и безнаказанность — вот два притягательных момента для участников и современников похода. Позднее, помноженные на ненависть к изменникам-боярам, они оказались достаточными, чтобы привести под знамена Степана Разина сотни и тысячи людей. Все надеялись на удачливость и силу Степана Тимофеевича, все видели в нем грозного мстителя за обиды и унижения.

4 сентября атаман покинул Астрахань и двинулся на Дон. На волжских просторах казаки повели себя так, будто никаких вин за собой и не признавали. Разбивали встречные торговые струги, принимали в свои ватаги охотников. Прозоровский попытался было урезонить казаков — послал вдогонку дворянина с увещеваниями. «Скажи своему воеводе, что он дурак и трус, — отвечал Степан Тимофеевич, невольно выдавая свои потаенные думы. — Я сильнее его и покажу, что не боюсь не только его, но и того, кто выше! Я рассчитаюсь с ним и научу их, как со мной разговаривать!» Слова эти оказались

пророческими. Как в плане личной судьбы астраханского воеводы, так и в смысле дальнейшего развития событий.

Выше Царицына буйная ватага повернула на Дон. Но не для того, чтобы разойтись. Близ Кагальницкого городка они нашли остров и сели в «земляных избах» ждать весны следующего, 1670 года. Надо было иметь авторитет Степана Разина, чтобы удержать отягощенную добычей вольницу в одном месте. Атаману это, кажется, вполне удалось. Больше того, к нему со всех сторон стекались люди — показаться и «поворотать». «Без воровства, конечно, не будет», — сокрушались приказные люди, ошибавшиеся не в содержании, а в масштабах будущего «воровского завода».

Разин, отправившийся в Черкасский городок, вел себя независимо и открыто перечил старшине. На войсковом круге натравленное им казачество расправилось с царским посланцем, жильцом Герасимом Евдокимовым, которого атаман объявил боярским лазутчиком. «Владей своим войском, а я буду владеть своим», — якобы пригрозил Степан Тимофеевич Корниле Яковлеву, вздумавшему упрекнуть его в самоуправстве. Конечно, подобными поступками и заявлениями Разин решительно обрывал нити, которые связывали его с домовитым казачеством. Он шел безоглядно, напролом, как прирожденный лидер. Но он мог себе позволить это: за ним были безоговорочно преданное, послушное голутвенное войско и образ удачливого вождя. Немало и сочувствующих вокруг: на Дону и Хопре «во многих городках казаки, которые одинакие и голутвенные люди, Стеньке с товарищи гораздо ради, что они пришли на Дон».

Однако если сила атамана опиралась на вольницу, то и вольница, в свою очередь, диктовала атаману свои условия. Было бы напрасно представлять их в форме

какой-то четкой социальной программы. Здесь несколько иное: собравшееся близ Кагальницкого городка войско требовало постоянного движения. Продолжительная остановка, неподвижность были для него равносильны гибели. Но для самого движения требовались вполне ясные, объединяющие всех цели.

Эта внутренняя логика развития была вполне по сердцу динамичному Разину. Он — само движение. Но куда идти? Долгое время в Москве ломали голову о намерениях вольницы: было лишь известно, что атаман приказывает казакам быть наготове, но «какая у него мысль, про то и казаки немного сведают». Ближе к весне картина стала проясняться. В апреле на кругу сторонники атамана отмалчивались, когда заговорили о походе на Азов. Зато возликовали, когда сказано было про Волгу. Разин уточнил, оборонив «программную фразу»: он идет не только для «шарпанья» торговых караванов, но и для того, чтобы «с бояры повидатца»!

В мае Разин с пятитысячным отрядом вновь объявился на Волге. Первым большим успехом стало взятие Царицына. Гарнизон города почти не сопротивлялся. Лишь воевода Т. Тургенев с немногими людьми, укрывшись в башне, стоял до последнего. Разин сам повел казаков на штурм и кончил жаркое дело. На следующий день Тургенева прокололи копьем и утопили.

Следом настала очередь тысячного отряда стрельцов под началом головы И. Лопатина. Ни о чем не подозревая, они шли сверху на помощь низовым воеводам. Разин подстерег отряд севернее Царицына и в одночасье покончил с ним. Половина стрельцов была перебита, остальные посажены на струги гребцами, под присмотр казаков.

После этого настало время расправиться с астраханской струговой ратью, которой командовал старый знакомец Разина, князь Львов. Атаман, не

мешкая ни минуты, посадил семь сотен казаков на коней — они пошли берегом, а сам водою устремился навстречу князю. До сражения, впрочем, дело не дошло. Не зря в своем непродолжительном «астраханском сидении» грозный атаман и его товарищи смущали ратных людей. Те еще по дороге, едва скрылись стены Астрахани, решили передаться «батюшке». Так что при одном виде разинцев астраханские стрельцы похватили сотников и ударили челом Степану Тимофеевичу. Произошло это 5 июня 1670 года под Черным Яром. Голландец Фабрициус, плененный в этот день казаками, донес до нас выразительные зарисовки происшедшего: все обнимались и целовались, клялись стоять друг за друга душой и телом, чтобы, «сбросив с себя ярмо рабства, стать вольными людьми». Начальные люди и иноземцы были перебиты. Уцелели немногие, и среди них князь С. И. Львов, за которого вступился сам атаман.

Астрахань в преддверии появления разинцев бурлила. Источники сообщают, что жители были сильно смущены зловещими знамениями, которые сулили беды и потрясения. 13 июня караульные стрельцы донесли митрополиту Иосифу об искрометном граде. Три дня спустя еще одно знамение — три радужных столба с венцами в небе. Все эти знамения, осмысленные уже задним числом, после всего происшедшего, вполне укладывались в систему мировосприятия того времени. Весь город, от первого воеводы до последнего посадского, жил в ожидании взрыва. Голландец Ян Стрейс писал: кругом только слухи про «мятежные сговоры, большей частью тайные».

В начале двадцатых чисел июня Разин подошел к Астрахани. К воеводам были посланы парламентарии с требованием открыть ворота. Прозоровские поступили с ними как с заведомыми ворами — казнили, подтвердив свою решимость сражаться. Астраханский митрополит

Иосиф стал обходить стены крестным ходом, укрепляя дух защитников города. Старания были напрасны. Стрельцы, вытребовавшие у воеводы жалованье, хотя и клялись в верности, оказались так же ненадежны, как и их товарищи, ушедшие со Львовым. Еще враждебнее была настроена чернь, многозначительно кричавшая: «Пусть только все повернется, и мы начнем!»

Но начал и повернул все Разин с товарищами, а не они. 22 июня казаки двинулись на штурм Белого города и кремля. Среди защитников города началось смятение. Одни из них под строгим присмотром начальных людей сражались, другие протягивали разинцам руки и помогали вскарабкаться на стены. Вскоре казаки уже были в городе. Пал, сраженный выстрелом, второй воевода, окольный князь Прозоровский. Его брат, астраханский наместник И. С. Прозоровский, тяжело раненный, был отнесен в соборную церковь. Сюда же, под защиту церкви, бежали все те, у кого не осталось надежды уцелеть во взятом и восставшем городе. Но гражданские войны тем и отличаются от обычных, что в своем ожесточении легко преступаются все нравственные и религиозные преграды. Иосиф исповедовал и причастил Прозоровского под аккомпанемент казацких ударов в створы церковных дверей. Храм не стал убежищем. Казаки выволокли всех укрывшихся на суд и расправу. Судил Разин. Прозоровского под руки вывели на раскат и столкнули вниз. Остальных приказных, начальных и служилых людей перебили и свезли в Троицкий монастырь для погребения. Монахи потом насчитали 441 тело. Всего же погибло более полутысячи человек.

Торговые дворы, склады, дома воевод и лучших людей были разграблены, захваченное имущество поделено. Пострадали даже церкви. Все бумаги из воеводской избы сложены в кучу и преданы огню. То было не просто сожжение — ритуальный акт

освобождения. В глазах низов каждый свиток из сундука и короба, каждая книга были олицетворением неволи, могущества крючкотворцев-приказных и их покровителей. Разин, наслаждаясь пожаром, якобы грозился так же сжечь все дела наверху, у самого государя.

Три недели простоял Разин в Астрахани. Не как гость — хозяином. То было странное и противоречивое время. Привычное городское устройство было сломлено и взамен его введено казачье. Впрочем, верховодил не круг — атаманы во главе со Степаном Тимофеевичем. Никто из имущих не чувствовал себя защищенным. Грозный атаман творил суд и расправу, часто обрекая на смерть людей, имевших несчастье угодить ему под пьяную руку. Наступили так называемые царские дни — именины царевича Федора, и Разин появился во дворе Иосифа. Астраханский митрополит хорошо знал, сколь опасно перечить казакам. Восемилетним мальчиком он стал свидетелем расправы казаков Заруцкого над архиепископом Феодосием. Потому он принимал разинцев поневоле и в надежде отвести их от лютости.

Но заздравные чаши в честь государя и царевича только разожгли атамана. Он ушел со двора митрополита, забрав укрывшихся там двух княжичей, сыновей И. С. Прозоровского. Старшего, шестнадцатилетнего княжича, расспрашивали про отцовские «животы» — пожитки. Тот не запирался, да и запирается, собственно, было не в чем — все и без того начисто пограбили. Раздосадованный атаман приказал повесить детей погибшего воеводы на стене за ноги. Наутро старшего сбросили со стены, младшего, восьмилетнего, едва живого, выпороли и отдали обезумевшей от страха матери.

Характерно, что в дореволюционных работах рассказ о судьбе Прозоровского и его семьи, как свидетельство необыкновенной кровожадности Разина

и разинцев, обыкновенно присутствовал, тогда как позднее его, напротив, чаще всего опускали. Но, по-видимому, существенно здесь иное — не личные качества атамана, а отношение к происходящему низов. Они могли ужасаться кровавому разгулу, осуждать чрезмерность в его проявлении, но при этом они его поддерживали. В сознание простого народа прочно вплеталась мысль о родовой и чиновной ответственности правящих и имущих: изводили воевод и бояр — начальствующих; разоряли купцов и верхи посада — имущих обидчиков; расправлялись с семьями, со всем родом и чином — чтобы не произрастали новые поколения властвующих и притесняющих. На батоги, дыбу и виселицы бояр-изменников следовало отвечать раскатом, водою, саблей, по принципу: око за око, зуб за зуб. То был роковой круг русской истории, когда праведный гнев угнетенных выливался в ничем не оправданную жестокость, которая, в свою очередь, порождала жестокость ответную, не менее кровавую. И последняя ступень жестокости для одних становилась первой ступенью для последующих поколений бунтарей и карателей. В итоге право могло даже смягчаться, нравы же и привычки — нет.

Покинув Астрахань, Разин двинулся вверх по Волге. Армия восставших перевалила за десять тысяч человек и теперь уже ни один городской воевода и в мыслях не имел на-, мерения помериться силами с Разиным. Молились, чтоб атаман не тронул, прошел стороной. Но «князь волжской вольницы» (так назвал Разина Н. И. Костомаров) после того, как река стала вся его, «казачья», не собирался оставлять позади себя царские гарнизоны.

Саратов и Самара не осмелились сопротивляться десятитысячному войску Разина — защитники почти полностью передались на сторону восставших. Движение, набирало силу, вольница, по выражению

С. М. Соловьева, опрокинулась на государство. Атаман рассылал во все стороны отряды и «прелестные грамоты», призывая бить и выводить всех государевых неприятелей и изменников.

Обычно в этом видят проявление наивного монархизма восставших. Но такое объяснение не многое проясняет. Скорее, это даже уход от проблемы, от выяснения мотивов и механизмов поведения низов. Наивный монархизм — это и мироощущение, и модель поведения, свойственные всем слоям населения. Едва ли взгляд провинциального дворянина, объясняющего все свои невзгоды злыми слугами, отличен здесь от взглядов посадского или крепостного крестьянина.

Глубоко сакральное восприятие царской власти побуждало низы искать в государе справедливого защитника. Он — свой, в отличие от мирских притеснителей и кровопийц, которые — чужие. Правда, история дала и другой вариант развития событий — самозванство, когда царствующий монарх превращался в чужого, в узурпатора и самозванца; самозванец же, напротив, становился государем истинным, своим, богоданным. Разинщина пошла по другому, более традиционному пути. Но основание здесь общее. Для того чтобы примкнуть к движению, нужна была не одна, привычно кочующая из книги в книгу ненависть крепостного крестьянина к помещику, угнетенного — к угнетателю. Социальное недовольство не исключает, а, напротив, предполагает поиск внутренней справедливости, религиозно-нравственного обоснования и оправдания поступков, которые укладывались бы в мировоззренческие рамки. Восставшие шли освободить царя от злых слуг, плотная стена которых отгораживает государя от мирской правды. В силу сакрального характера власти это было делом не просто справедливым — праведным, угодным Богу. Если присмотреться внимательно, многое

в действиях разинцев подчинялось этой внутренней логике. Прозоровского казнили люто, но еще и позорно, как и подобает казнить изменника, который «не радеет государю» и «утесняет» народ.

Рядом со Степаном Разиным на стругах плыли «царевич Алексей» и «патриарх Никон» — страдальцы от «злых бояр», которые сумели сыскать правду лишь в казацком войске. Тех немногих дворян и детей боярских, воевод, которые готовы признать «правду» батюшки Степана Тимофеевича иногда оставляли в живых: они, в отличие от «злых», — «добрые» слуги. При этом в целом преобладало почтительное отношение к государю. В мае на кругу в Паншином городке, после того как было принято решение «вывести» всех изменников и «чорным людям дать свободу», Степан Разин обнажит саблю и громогласно объявит, что на царя «итти и руки поднять не хочу. Лутче мне тою саблею голову отсеките».

В начале сентября Разин подошел к Симбирску. За короткий срок состав его армии существенно изменился. Донское казачество, составлявшее в начале похода не только ядро, но и большую часть войска, оказалось сильно «разбавлено» жителями поволжских городов и уездов. Вообще, сам Разин неустанно призывал «кабальных и апальных», обещая жалованье и «зипуны», а «кто не пойдет, и тех людей порубить всех на голову». Но количество не заменяло качество. Показаченные, наскоро сбитые в ватаги посадские и уездные люди по своей психологии и воинским навыкам сильно уступали старым товарищам атамана. Разин будто бы скоро начал даже жалеть, что пошел по Волге, а не западнее, сухопутьем, прибирая привычных к оружию людей в городах на засечной черте. Росла и рознь между «природными казаками» и новопроставшими. Первые вовсе не считали себя обязанными проливать кровь и защищать вторых.

В таких условиях развернулись бои под Симбирском. Воеводой в этом важном стратегическом пункте сидел родственник царя по жене И. Б. Милославский. К нему на помощь должен был подойти боярин князь Ю. А. Долгорукий, которому отдавалась главная роль в подавлении бунта. Но формирование его частей затянулось, и лишь 1 сентября он выступил из Москвы. Единственно на кого мог надеяться Милославский, так только на князя Ю. Н. Барятинского. Однако и тот был сильно ограничен в силах — в его отряде было два полка рейтар и несколько сотен дворянского ополчения. «А с таким малолюдством, — жаловался князь, — ... промыслу учинить нельзя». В итоге Разин оттеснил Барятинского к Тетюшам. Князь простоял там весь сентябрь почти в бездействии, с нетерпением поджидая подкрепления.

Начало осады ознаменовалось успехом восставших. Посад был взят быстро, при поддержке низов. Но кремль, где укрылся воевода со стрельцами и дворянами, держался крепко. На милосердие казаков защитникам рассчитывать не приходилось, и они были готовы сражаться до последнего.

Разин спешил со взятием Симбирска из опасения оказаться между молотом — полками Барятинского и Долгорукого — и наковальней — Милославским. 10 сентября восставшие приступили к крепости, но их «из города повыбили». Три дня потребовалось, чтобы привести отряды в чувство и решиться на новый приступ. На этот раз Разин атаковал ночью, с намерением зажечь кремль. Снова неудача. Многолюдство позволило атаману прибегнуть к другому, крайне трудоемкому способу осады: был насыпан вал вровень со стенами. С вала стали «метать» дрова, стараясь зажечь деревянные постройки кремля. Милославский, спасаясь от огня, развешивал на стенах полотнища, которые защитники поливали водой.

Наконец на помощь осажденным двинулся Барятинский. 1 октября князь встал на берегу реки Свяги, в двух верстах от города. Против Барятинского выступил сам Разин с казаками. Бой длился с небольшими перерывами несколько дней и отличался редким упорством: «Люди в людях мешались и стрельба ружейная и пушечная были в притин (упор. — *И.А.*)».

Царским воеводам удалось соединиться, но и тогда исход сражения оставался неопределенным. Правительственным войскам помогла хитрость. В ночь с 3 на 4 октября Барятинский направил к Свяге один из своих полков и велел давать им сигналы — «окрики». Дважды раненный в предыдущих боях Разин не сумел разобраться в обстановке и решил, что со стороны Казани подходят свежие царские рати. Было бы несправедливо все списывать на ошибку атамана и его окружения. Пришла усталость, пошатнулась вера, иссякло воодушевление. Казачья вольница способна была на порыв, сверхъестественное напряжение. Но долгая и напряженная работа, осада без видимой надежды на успех оказались ей не по нутру.

Военная хитрость удалась. Казаки страшно испугались за струги, поставленные на прикол. Лишиться их — значило утратить быстроту передвижения, способность наносить сокрушительные удары и уходить от ответных. Разинцы вместе со своим атаманом бросились к берегу. Оставшейся «пешей рати» было объявлено, что казаки на судах подымутся вверх по реке и обрушатся на неприятельские подкрепления с тыла. Была ли то заведомая ложь или Степан Разин в самом деле намеревался это сделать, неизвестно. Но струги двинулись совсем в другую сторону. Сражение за Симбирск было проиграно. Лишенная лучшей своей части армия восставших уже не могла противостоять Милославскому и Барятинскому. Последовал разгром и кровавые

расправы торжествующих победителей, которые с лихвой квитались за пережитые страхи.

Велик соблазн обвинить Разина в слабодушии и даже предательстве. Но делать так — значит сильно упрощать прошлое, примерять нынешние ценности к тому времени, когда существовали иные представления о чести и бесчестии. Разин оставался в первую очередь казацким атаманом, с природной казацкой психологией. Судьба сделала его вождем огромного народного движения. Осознать эту перемену было трудно. Еще труднее перемениться внутренне. Чернь, даже показаченная, но не «выварившаяся» в огромном котле Войска Донского, в глазах казаков оставалась казачеством неполноценным и сомнительным. И если они не сбились в крепкие ватаги, не обзавелись стругами и не оторвались от насиженных мест — кто в том виноват? Казаки испокон веку поступали так, как поступили в октябре 1670 года: противник одолевал, и они, спасая жизнь и добро, стремительно и быстро уходили, чтобы при случае вернуться и отплатить.

В этом не было ничего зазорного. Конечно, казаки оставили новоприставших, оставили не без обмана, но и новоприставшие столь же легко оставляли их, едва казачьи отряды выходили за пределы освобожденных ими уездов. Близость и даже общность психологии и психологического склада участников движения вовсе не предполагает полного тождества. Социальная психология казачества при всем том отличалась от социальной психологии крестьянства.

Неудача под Симбирском оказала огромное влияние на развитие движения. Тем не менее и до, и во время осады, и даже после симбирского поражения восстание продолжало распространяться, охватывая все новые и новые уезды Московского государства. В пламени бунта оказалось все Поволжье, лесное Заволжье, многие юго-восточные и центральные уезды, Слободская Украина.

Против местных властей выступили крестьяне, городские низы, приборные люди. В движение вовлекались мордва, татары, чувашаи, марийцы. Громили не только местных воевод и приказных, но и «мирских кровопивцев». В одночасье излились все накопившиеся обиды, праведный и неправедный гнев, зависть к удачливым и ненависть к богатым.

От основного войска расходились казачьи отряды, много способствовавшие распространению восстания. Из-под Симбирска на северо-запад устремился атаман Максим Осипов, на юго-запад — казак Михаил Харитонов. В середине сентября были заняты Алатырь и Саранск. Из Алатыря Осипов двинулся к казанским пригородам — Цивильску, Курмышу, Ядрину. В начале октября был занят Козьмодемьянск, откуда восстание «кинуло» за Волгу. В сентябре же поднялись крестьяне сел Лыскова и Мурашкино, которые издавна враждовали с властями Макарьевского Желтоводского монастыря. Против него и был направлен гнев восставших. Вскоре здесь появился Осипов, объединивший крестьян и осадивший монастырь. Борьба шла с переменным успехом, пока в середине октября обитель не была взята и разграблена. Волнения подбиралась к Нижнему Новгороду. Казацкие лазутчики сильно смущали низы посада. Однако Нижний устоял, и это была большая удача для правительства.

После взятия Саранска Харитонов двинулся по засечной черте, приводя в ужас местных воевод. Тамбовские казаки и рейтары отказались выступить навстречу вораи, причем объяснения их сильно обеспокоили власти: как де «им биться со своей братьей» и «Бог весть, чьи мы будем». По-разному вели себя и воеводы: один, как в Нижнем Ломове, утек из города в одной рубашке, а другой, как в Керенске, в надежде заслужить милость, выпустил всех тюремных сидельцев. Пенза, Нижний и Верхний Ломов, Керенск

сдались без боя. Лишь под Шацком рейтары дали отпор разинцам. Восставшие появились в Темникове, Кадоме и даже заглядывали в Арзамасский уезд, где находился с войсками сам Ю. А. Долгорукий.

К этому времени правительство уже успело провести мобилизацию, позаботившись о создании войска боеспособного и социально устойчивого. В лексику обычных грамот, зазывавших дворян на службу, были внесены даже необходимые коррективы. Дворянам напомнили, в частности, что проливать кровь им на этот раз придется и «за свои дома». Против Степана Разина направили сотни замосковского дворянства и «выборные» солдатские полки Шепелева и Кравкова — лучшее, чем располагало в это тревожное время правительство. В продолжение нескольких дней царь проводил смотр войскам, насчитывающим, по сообщению Рентенфельса, 60 тысяч человек.

Постепенно воеводам удалось перехватить инициативу и начать планомерное наступление на отряды восставших и захваченные ими уезды. Долше всех продержалась Астрахань, которую удалось усмирить лишь в ноябре 1671 года. Порядок восстанавливался твердо и беспощадно. Людей гроздьями развешивали на виселицах, сажали на колья, четвертовали. Это торжество победителей кажется еще более мерзким, чем расправы Разина и разинцев.

Сам Степан Тимофеевич в последние месяцы движения находился на Дону. Он надеялся вновь собраться с силами и еще раз потрянуть царством. Однако по мере того как на Дон приходили вести о неудачах движения, домовитое казачество упрочивало свои позиции. Сторонники Разина даже решились на отчаянный шаг — расправиться с К. Яковлевым. Но заговор не удался, его участников круг приговорил к смерти. В феврале 1671 года Разин явился к Черкасску. Старшина не решилась арестовать его. Но у нее

хватило влияния, чтобы уговорить круг не впускать его в войсковую столицу. Этим казачество как бы отмежёвывалось от «воровства». Яковлев использовал ситуацию, чтобы выпросить помощь против своего непокорного крестника. Москва ответила большим: в неделю Православия Степану Разину пропели анафему. 14 апреля Яковлев и казаки ворвались в Кагальский городок и схватили Степана Разина вместе с братом Фролом. Старые казаки вполне оправдались в глазах властей, особенно после того, как, откупившись головою Степана Разина, сделали им еще одну уступку: отныне Войско присягало государю. Четыре дня бушевал возмущенный круг, пока домовитые не уломали молодых казаков и не заставили их целовать крест Алексею Михайловичу.

В июне братья Разины были привезены в Москву. Пытали их в Земском приказе, при боярах. Допросы продолжались несколько дней с четырех часов утра до трех-четырех часов дня. Царь пристально следил за следствием и задал несколько собственных вопросов — «статей». Он остался верен себе: царя более всего интересовали детали, помогавшие ему разобраться в поведении отдельных людей. Остались ли верны ему и клятвоцелованию те или иные дворяне? Не было ли среди них отступничества или измены? Алексей Михайлович требует от бояр расспросить мятежника «о князе Иване Прозоровском и о дьяках: за што побил и какая шуба?». Последнее свидетельствует о том, что и до царя дошли слухи о знаменитой шубе, которую будто бы вымогал Прозоровский у Разина по возвращении грозного атамана из персидского похода. В народном сознании эта шуба потом долго сопровождала Степана Тимофеевича: тот будто бы «пожаловал» жадного воеводу ею, сопроводив дар словами: «Бери шубу, лишь бы не было бы шуму». Но подарок оказался с изъяном, поскольку в народной молве та шуба потом «зашумела

по Волге». Алексей Михайлович, конечно, был далек от подобной интерпретации подарка атамана. Ясно, однако, что после всего случившегося этот случай бросал тень на память Прозоровского, и Тишайший хотел окончательно выяснить для себя, что стоит за слухом.

Другой вопрос: «По какому умыслу, как вина смертная отдана, хотел их побить и говорил?» — выдает возмущение царя тем, что по возвращении из «воровского похода» и получении милостивой грамоты, в которой казакам «вина смертная отдана», те все же учинили бунт. Из десяти царских «статей» это, кажется, единственная, где Алексей Михайлович пытается подойти к вопросу о причинах учиненного гиля — «по какому умыслу»?

Несколько вопросов имели отношение к Никону. В частности, Алексей Михайлович упорно пытался допытаться до правды о связях разинцев с опальным патриархом. Должно быть, до конца не избавившись от ощущения вины перед бывшим «собинным другом», царь усматривал в предосудительном поведении Никона возможность для собственного самооправдания. Чего стоило, к примеру, обвинение Разина в том, что он «Никона хвалил, а нынешнева (патриарха Иоасафа. — *И.А.*) бесчестил»? В глазах царя после соборного приговора хвалить Никона преступно. Но, главное, царя интересует, что ответил подсудимый на вопрос о никоновских посылках к нему из Ферапонтова монастыря. Имели ли они место? Приходил ли старец Сергей от Никона на Дон «по зиме нынешней»? Точно неизвестно, что показал Степан Разин. Уже после смерти Алексея Михайловича, перед переводом Никона в более суровое заточение в Кирилло-Белозерский монастырь, был учинен сыск о проступках бывшего патриарха. В нем, в частности, вновь прозвучал вопрос о связях Никона с разницами. «Как Стенька Разин

привезен к Москве, и в то время в роспросе у пытки и со многих пыток и с огня сказал: приезжал к Синбирску старец от него, Никона, и говорил ему, чтоб ему идти вверх Волгою, а он, Никон, с свою сторону пойдет для того, что ему тошно от бояр; да бояре же переводят государские семена». К этому Разин еще добавил, что Никон, по словам старца, собирался идти навстречу атаману не просто так, а с «готовыми людьми», которых было до пяти тысяч человек.

То, что в ответах Разина было много надуманного, — несомненно. Но нет дыма без огня. По-видимому, атаман и патриарх обменялись посланиями. Во всяком случае, власти в этом не сомневались. В 1676 году Никону прямо было объявлено, что он «совет имел с ворами и изменниками Московского государства»^[466]. Однако сам Алексей Михайлович оставил этот факт без последствий. Кажется, для него важнее было уличить Никона, чтобы потом простить его.

Степан Разин перенес все мучения с необычайным мужеством. Он умер, несмирившийся, непокоренный, страшный для властей одним своим именем и народной памятью. Истлевшие останки атамана зарыли на Татарском кладбище: отлученный от церкви, он не имел права на честное погребение.

Спор о русском бунте — его причинах, итогах и последствиях — нескончаем. Он по-своему разрешался в советской исторической литературе, для которой была характерна крайняя идеологизация и идеализация движения Разина. Именно в этом русле шла разработка проблемы, концепционная ограниченность которой восполнялась доскональным изучением хода крестьянской войны. Далеко не всегда убедительно выглядят построения, предлагаемые постсоветскими историками. Следом за дореволюционными исследователями они подчеркивают разрушительный

характер крестьянских войн, консерватизм и косность сознания их участников, невероятную жестокость. Крестьянские войны в такой интерпретации — это прежде всего доказательство отсталости общества. Все это справедливо, но, кажется, несколько односторонне. Знаменитый «бессмысленный и беспощадный» русский бунт (слова А. С. Пушкина) и в самом деле часто бывал бессмыслен и беспощаден. Казацкие идеи равенства неизменно менялись в условиях Дона и рушились в масштабах страны. Стремление уравнять и разделить приводило к насилию и жестокостям. Торжествовала кровавая утопия. Однако в бессмысленности и беспощадности был свой смысл, пускай и скованный действительной неразвитостью общественных отношений. При почти полном бесправии масс с них драли три шкуры помещики, их притесняли воеводы, обманывали приказные. Но если бы не вспышки необузданного и страшного гнева, то, несомненно, драли бы и обманывали вдвое, а то и втрое больше. В памяти власть имущих бунт как бы очерчивал грань, через которую было опасно переступить. Годы и алчность ее стирали, и тогда наступала пора напоминания, время топора и красного петуха — нового крестьянского бунта.

Накануне нашествия

Андрусовское перемирие не прекратило, а усилило брожение на Украине, придав ему новую направленность и окраску. Разделение Украины ущемило национальное чувство. «Никто о целостности нашего народа не заботится», — вздыхали в Запорожье, адресуя свой упрек царю, который «не хочет нас, птенцов своих, под крылами держать»... Упрек, однако, был не совсем справедлив: в Андрусовском исходе русско-польского противостояния во многом было повинно само казачество. За шатость, непостоянство дорого платить приходилось всем. Тем не менее раскол Украины был явлением трагичным и ненормальным.

Москва старалась не упускать ничего происходящего на обеих сторонах Днепра. Особенно внимательно она наблюдала за деятельным и влиятельным правобережным гетманом Петром Дорошенко, от которого зависело спокойствие в Восточной Украине. По мысли А. Л. Ордина-Нащокина, самое лучшее было привлечь Дорошенко на царскую сторону и оторвать его от татар, которые в свое время помогли ему освободиться от власти короля. В перспективе это могло объединить обе стороны Днепра под одной гетманской булавой, послушной Москве.

Но линия Ордина-Нащокина успеха не принесла. Честолюбивый Дорошенко вовсе не собирался послушно следовать советам «посольских дел оберегателя», как теперь пышно титуловался Афанасий Лаврентьевич. Гетман вел свою игру, причем очень умело и ловко, используя и патриотические настроения рядовых казаков, и трения между могущественными соседями, интересы которых сошлись в Малороссии. Потому заигрывать с Дорошенко — все одно, что пытаться

огнем тушить огонь: Москва была заинтересована в стабилизации положения на Левобережье, а Дорошенко, напротив, мог извлекать для себя выгоды, только раскачивая Украину. Так, от Москвы Дорошенко требовал полного гетманства с отставкой Брюховецкого. При этом он делал все, чтобы Брюховецкому стало известно о грозившей ему опасности: так он ссорил его с Москвой и заставлял соперника усомниться в прочности царской приязни.

Одновременно Дорошенко интриговал против Алексея Михайловича в Варшаве, под власть которой гетман вернулся в 1667 году. Эмиссары Дорошенко внушали полякам, что стоит гетману бросить клич, как обе стороны Днепра пойдут за ним, а значит, и за королем. Понятно, что питая такие надежды, он подталкивал короля к нарушению только что заключенного перемирия.

Наконец, ведя переговоры с Варшавой и Москвой, Дорошенко рассылал универсалы, пугая казаков якобы существующими в Андрусовском договоре тайными статьями о полном искоренении Войска. Он подбивал казаков отложиться от обоих государей и искать нового, хотя бы «султаново величество».

Дорошенко не упускал ни одной возможности для достижения своих замыслов. В 1668 году стало известно о намерении Алексея Михайловича отправиться в Киев помолиться местным святыням. Ордин-Нащокин, как глава Малороссийского приказа и ближний боярин, должен был явиться с ратными людьми в город для оберегания государевой особы. «Оберегателя», памятуя о его полонофильстве, на Украине не любили и считали повинным в разделе страны. Дорошенко поспешил внести свою лепту в разжигание страстей. Пошли слухи, будто боярин идет отдавать Киев полякам и упразднить Войско. Напрасно киевский воевода успокаивал горячие головы, уверяя,

что это дело «нестаточное». Толки множились, казаки волновались, сельское и городское население не знало, к кому пристать и чему верить. Тут стали вспоминать о царских воеводах в малороссийских городах, о московских сборщиках и писцах, которые действовали, как действовали везде: помимо дела государева занимались делом своим, вымогали, притесняли. Недовольство и обиды полились широкой рекою.

Но, кажется, более всех был озадачен Брюховецкий. Ему всерьез приходилось опасаться за свою булаву, выслушивая упреки товарищей и посланцев Дорошенко, что он «продает» казацкие вольности. Дорошенко призывал его подняться против царя, обещая, что с началом восстания он сам ради единства отдаст ему свою гетманскую булаву.

Сильно навредил левобережному гетману кровавый инцидент, случившийся в апреле 1667 года в Запорожье. Возбужденные сторонники все того же неугомонного Петра Дорошенко злодейски расправились с царским посланником к крымскому хану, стольником Лодыженским. Тень была брошена на Брюховецкого, и с тех пор Ордин-Нащокин стал смотреть на него с великим подозрением. Доброжелатели сообщили гетману о тайных сношениях Москвы с Дорошенко — уж не для того ли, чтобы сменить его, Брюховецкого? Положение осложнилось. Гетман уподобился человеку, нежданно угодившему в болото: куда не ступишь, везде топко. Надо было выбираться на твердую землю. Путь избран был уже проторенный и опробованный Выговским — измена.

В январе 1668 года Брюховецкий призвал полковников. Собравшиеся смотрели друг на друга с большим подозрением, потому начали с клятвы, после чего решено было «выводить» Москву — бить в городах воевод с царскими людьми, гнать откупщиков-мещан и объединяться с Правобережьем. Вскоре об объединении

толковали и в Чигирине, куда прибыли посланцы Брюховецкого. Утвердив соединение обеих сторон, договорились об уплате дани татарам. Те должны были защищать казаков от царя и ходить с ними набегами на московские окраины. На совещании присутствовал монах Гедеон — Юрий Хмельницкий, который грозился откопать все отцовские клады и отдать их крымцам — лишь бы не быть во власти царя и короля. Таким образом, заговор созрел совершенно. Оставалось лишь запалить огонь.

Москва, отчасти предупрежденная, отчасти почуявшая недоброе, попыталась образумить Брюховецкого. Ему писали с большим упреком про казацкое и его, гетмана, непостоянство: горланы, мол, кричат о намерении царя отдать Киев полякам, а сами хотят податься с Киевом и всей Украиной к татарам. Многие из того, в чем корили Брюховецкого, било не в бровь, а в глаз. Но время наставлений прошло. Когда из Москвы увозили царскую грамотку в Гадяч, там уже обильно лилась русская кровь.

Выступление Брюховецкого и его сторонников оказалось неожиданностью для царских воевод. Еще вчера пировали за одним столом, сегодня, не объяснившись, мятежная старшина вламывалась в дом с саблей. Многие оказались застигнуты врасплох и убиты. В Гадяче, Сосницах, Прилуках, Батурине, Глухове, Новгороде-Северском и Стародубе гарнизоны были частично истреблены, частично пленены. Но в Чернигове, Переяславле, Нежине и Остре отбились. Сохранен был и Киев.

Вот тогда-то и выяснилось, что выступление не имело глубоких корней. Началось с того, что Брюховецкий рассорился с Дорошенко, который, заручившись поддержкой части левобережных полковников, потребовал от него гетманскую булаву. Возмущенный вероломством, Брюховецкий клейнот не

выдал, все отношения с Дорошенко прервал и погнал своих людей в Бахчисарай и Константинополь хлопотать о подданстве. Но было поздно. Правобережный гетман переиграл своего незадачливого конкурента. Когда Дорошенко появился на левом берегу Днепра, от Брюховецкого отступились все его сторонники. Союз был скреплен разграблением гетманского скарба, а затем и убийством Брюховецкого. Случилось это 1 июня 1668 года.

Провозгласив себя гетманом обеих сторон Днепра, Дорошенко выступил против князя Г. Ромодановского. Но до сражения дело не дошло — стороны ограничились мелкими стычками. Ромодановский двинулся к Чернигову, где ему было дано знать, что наказной атаман Демьян Многогрешный со старшиной хотят отстать от бунта и вернуться под «высокодержавную царскую руку».

В канву событий 1668 года нередко вплетают историю почти романтическую: в самый разгар войны, когда Дорошенко двинулся к Путивлю против князя Г. Ромодановского, он получил известие об измене собственной жены. Бросив войско на Многогрешного, гетман устремился в Чигирин — разбираться в семейных неурядицах. Едва ли есть смысл гадать, как бы повернулось дело, останься Дорошенко при полках. Зато с определенностью можно говорить, что не один случай в лице супружеской измены и ревнивого супруга вмешался в ход событий. Повторилось то, что уже случалось в разных вариантах украинской Руины — далеко не все население Малороссии горело желанием поддержать Дорошенко, сомневаясь в тех выгодах, которые он сулил. За долгие годы смуты население сел и городов разуверилось в своих гетманах и в их обещаниях: пришли усталость и стремление к стабильности, хотелось уже не польского или турецкого журавля в небе, а московскую синицу в руках. Москва

избавляла от национального и религиозного утеснения, сохраняла местную автономию, наконец, защищала, обладая неизмеримо большим потенциалом, чем Войско, так что все эти соображения, суммируясь, оказывались аргументами достаточно весомыми. Да и не вызывало у старшины восторга обещанное покровительство султана: в этом интуитивно чувствовали зло, горше которого трудно сыскать. Наконец, не вся Украина — казачество. Царских воевод и писцов можно было не любить, но своя старшина в самоуправстве и корыстолюбии нередко оказывалась еще хуже.

С конца 1668 года между левобережными казаками и Москвой начались пересылки об условиях замирения и возвращения в подданство. В казацких отписках всю вину валили на царских воевод, а выступление объясняли утратой исконных войсковых прав и вольностей. Вольности же потеряли якобы из-за Брюховецкого, зачинателя кровопролития. Он за Войско не стоял и государю о недовольстве казаков не писал. Мертвый гетман был фигурой чрезвычайно удобной, и на него теперь валили все вины без разбору.

В марте 1669 года в Глухове в присутствии боярина князя Г. Ромодановского и царского любимца А. С. Матвеева состоялась черная казацкая рада. Несколько дней продолжались препирательства, главной темой которых было воеводское управление и царские гарнизоны в малороссийских городах. Москва согласилась восстановить прежнюю систему управления, которая возвращала старшине все ее преимущества. Из отписок украинского духовенства царь знал, что это решение не вызовет прилива энтузиазма у населения. Но события показали, сколь болезненно реагировала старшина на стеснение ее прав и уменьшение доходов.

Однако в вопросе о гарнизонах в городах московская сторона проявила решительность. Было предложено сохранить своеобразное статус-кво: в тех немногих городах, в которых во время выступления Брюховецкого воеводы отбились и отсиделись, они должны были остаться. Многогрешный с этим не согласился, потребовав полного очищения страны. Ромодановский же, человек вспыльчивый и прямодушный, разразился гневной отповедью, в которой было немало горькой правды: «И прежде были договоры, перед святым Евангелием душами своими их крепили, и что ж? Соблюди их?.. Видя с вашей стороны такую измену, чему верить?.. Какую вы дадите поруку, что вперед измены никакой не будет?»

Против такого возразить было трудно. Оппоненты боярина смекнули, что это предел уступок и дальше наученные горьким опытом воеводы пятиться не станут: клятвы — клятвами, а сила — силой. Когда договорились о гарнизонах в городах, легко решили и остальное. При этом условились, что гетман, хоть и выборный, не может быть смещен без согласия царя, одной радой или старшиной. Это вполне устраивало метившего в гетманы Многогрешного: он даже готов был поступиться старыми вольностями в надежде прочнее обосноваться на гетманском месте — ведь при случае он мог противопоставить казацкому и старшинскому волеизлиянию нерушимую царскую волю. Расчет оправдался. Рада избрала Демьяна Игнатовича в гетманы левой стороны Днепра, а Ромодановский царским именем вручил ему гетманские клейноты.

В 1668 году произошло еще одно событие — на сентябрьском сейме в Варшаве Ян Казимир отрекся от престола. Это отречение возродило прежние мечты царя о польской короне. Хотя бы для сына, царевича Алексея. Однако на сей раз даже такой полонофил, как Ордин-Нащокин скептически отнесся к этой идее.

Попытка утвердиться на польском престоле влекла за собой огромные расходы, сулила же сомнительные прибыли: вечного мира все равно сыскать было нельзя, а «корону перекупят, как товар, другие». К тому же поляки, кроме вероисповедального вопроса, который всегда был камнем преткновения для сторон, требовали возвращения Смоленска.

Царь внял совету главы Посольского приказа. Но наступали времена, когда к словам Ордина-Нащокина прислушивались без прежнего рвения. На московском небосклоне его звезда медленно тускнела, уступая место новым, в первую очередь звезде А. С. Матвеева. По-видимому, в этом был отчасти повинен сам Алексей Михайлович: в своей привязанности он выдавал настолько большие авансы, что со временем начинал тяготиться ими и подозревать своих приближенных в излишнем властолюбии. Наступало охлаждение. «Ты меня вывел, так стыдно тебе меня не поддерживать, делать не по-моему», — совершенно по-никоновски укорял Ордин-Нащокин царя, страшась царского несогласия и утраты своего влияния. Впрочем, в этом была и другая сторона, характеризующая Тишайшего. Трудно представить, чтобы кто-то осмелился обратиться с такими словами к Ивану Грозному. Алексей Михайлович был терпимее, хотя выработал правило выслушивать мнения всех, чтобы сделать окончательный выбор самому.

Однако и царское терпение было небеспредельно. Умный и самостоятельный боярин немало своевольничал, что с годами в глазах Тишайшего становилось качеством, достойным сурового осуждения. Раздражали Алексея Михайловича и учительские замашки Ордина-Нащокина. Царь сам любил поучать — чего же ему было слушать другого?

Как водится, царскую перемену быстро заметили окружающие, тем более что недоброжелателей у

Афанасия Лаврентьевича хватало. «Сильных не боюсь, умираю в правде», — твердил Ордин-Нащокин, с редкой талантливостью восстанавливая против себя всех сильных людей из царского окружения.

Нараставшие трения с главой Посольского приказа касались части уступок Речи Посполитой. Ордин-Нащокин, по замечанию В. О. Ключевского, был из тех «совестливых дипломатов», которые не терпят неправды в исполнении обещанного, а потому выступал за полное соблюдение Андрусовских статей. Можно, конечно, сомневаться относительно совестливости боярина: человек практичный, он руководствовался вполне обыденными соображениями. В преддверии столкновения с Турцией и Крымом боярин ратовал за тесный союз с Речью Посполитой. Он даже настаивал на возвращении королю Киева, чтобы «успокоение между народы разорвано не было». Такая позиция не устраивала Алексея Михайловича, которому казалось кощунством отдавать православный Киев католикам. Но кощунством было и нарушение крестного целования. Московская сторона старательно собирала все аргументы, которые можно было бы противопоставить польским обвинениям в нарушении перемирных статей о Киеве. И с легкой руки Дорошенко в этом преуспела. Царские дипломаты заявляли, что король сам нарушал перемирие, позволив правобережным казакам воевать левобережные города. Когда же Дорошенко подался на сторону султана, было объявлено, что смирившиеся с этим поляки отступились не только от Киева — от всей Украины. «Уступим вам Киев, а турок войдет на Украину, и Киев делается гнездом для турецких войск», — парировали бояре все претензии поляков в посольских пересылках.

Ордин-Нащокин противился такой политике. Андрусово было для него средством противостояния Порте. Последняя, заключив в 1669 году победоносный

мир с Венецией (к Порте отошел Крит), а еще ранее, в 1664 году, — мир с Империей, развязала руки для того, чтобы возобновить давление на Речь Посполитую. Бедственное положение казны не смущало, а, напротив, служило новым стимулом для правителей Блистательной Порты. Турция принадлежала к тем державам, которые издавна кормились войною. Робкие попытки остановить экспансию, присоединив Турцию к Андрусовскому перемирию, окончились полной неудачей. Договор не стал трехсторонним. Наоборот, Стамбул делал все, чтобы детище Ордина-Нащокина рухнуло, благо недовольных по обе стороны Днепра было предостаточно.

Положение Ордина-Нащокина осложнялось еще и тем, что он как глава Посольского и Малороссийского приказов был ответствен за политику на Украине. А эта политика вовсе не выглядела удачной. Череду постоянных провалов и измен свидетельствовала о неумении разбираться в людях. Часто обижали и отталкивали тех, кто тянулся к Москве, и, напротив, привечали ее тайных недругов, которые только и ждали случая, чтобы перекинуться на сторону противников Тишайшего. Афанасий Лаврентьевич не один был повинен в такой политике. Близорукостью страдал сам Алексей Михайлович. Но отвечать за промахи все же кто-то был должен, а они копились, складывались один к одному, подтачивая положение боярина.

Особая позиция Ордина-Нащокина сделала в конце концов невозможным его пребывание во главе внешнеполитического ведомства. В марте 1671 года Афанасия Лаврентьевича отстранили от посольских дел, а затем и «от всемирские суеты». В 1672 году он принял постриг в Крыпецком монастыре (близ Пскова). Впрочем, деятельная натура новоявленного инок Антония и под монашеской одеждой так и не нашла полного успокоения. В келье смиренного старца,

поклонника учености, была не только религиозная литература, но и списки с посольских документов и договоров.

Ордин написал нечто вроде автобиографических записок — «Ведомство желательное людям», где пространно рассуждал о прошедшей русско-польской войне. Он докучал царю челобитными и в конце концов, при царе Федоре Алексеевиче, вновь появился в Москве, чтобы принять участие в переговорах с представителями Речи Посполитой. Попытка, однако, окончилась неудачей: в услугах Ордина-Нащокина очень скоро перестали нуждаться, и он вторично и уже навсегда вернулся в Крыпецкий монастырь.

В окружении Алексея Михайловича А. Л. Ордин-Нащокин был фигурой едва ли не самой яркой. И в известной мере трагичной в своей не востребованности. Ему по плечу были дела Петровские. Но в тесных, еще скованных традициями, рамках царствования Тишайшего Афанасию Лаврентьевичу было не развернуться. Он устроил почтовое сообщение между Москвой и Ригой, реформировал посадское самоуправление в Пскове, разработал таможенные и торговые правила в Новоторговом уставе, словом, имел и смелость, и вкус к реформаторству и нововведениям, однако все это было достаточно мелко и почти всегда сопряжено с сопротивлением и непониманием. Ордин-Нащокин нуждался в поддержке царя-реформатора, а не царя-молитвенника. Но — судьба. Он «промахнулся» с эпохой: когда Ордин-Нащокин стал боярином, Петр еще даже не появился на свет, когда сошел в могилу, будущему реформатору шел только восьмой год. Поистине, Ордин — преждевременный человек...

В июне 1669 года, после затянувшегося на этот раз бескоролья, королем был избран Михаил Вишневецкий. Новый король был сыном знаменитого Иеремии Вишневецкого, владельца огромного

«панства» на Украине; одно его имя приводило в трепет малороссийских казаков. Выбор Вишневецкого свидетельствовал о том, насколько острым оставался для шляхетства вопрос об Украине и как сильны были надежды на возвращение утраченного.

Впрочем, Варшаве впору было думать не о реванше, а о сохранении своих земель на востоке. Дорошенко недолго оставался в подданстве короля. Некто Суховейко, молодой писарь из Запорожья, при поддержке крымцев и сечевиков выступил против правобережного гетмана. К новоявленному гетману, «протеже» крымского хана, пристал кое-кто из полковников. Дорошенко оказался в большом затруднении. Он попытался получить помощь от Польши, затем, затеяв разговоры о подданстве, — от московского государя. Но Польша была занята выборами, Россия же опасалась вмешиваться в дела по ту сторону Днепра. Тогда гетман обратился к турецкому султану с просьбой взять Правобережье под свое покровительство. Турция, еще не завершившая войну с Венецией, не могла прислать войска. Однако и без того ее вмешательства оказалось достаточным, чтобы склонить чашу весов в пользу Дорошенко. По приказу султана татары отстали от Суховейко. Тому пришлось передать гетманскую булаву уманскому полковнику Ханенко.

Гетман Михаил Ханенко присягнул Польше. Но это уже не было восстановлением прежнего положения на Правобережье. Теперь здесь было два гетмана, «польский» и «турецкий», причем позиции энергичного и авторитетного Дорошенко были предпочтительнее. Дорошенко одолел своего соперника и даже пленил примкнувшего к нему бывшего монаха Гедеона — Юрия Хмельницкого, который, сбросив монашеское платье, вознамерился вновь искать удачу в казацких распрях. Хмельницкий был отправлен в Константинополь.

Предусмотрительный визирь не стал выставлять его голову на потеху черни — вдруг пригодится? И в самом деле, через несколько лет пригодился. Но какое падение, какая разительная судьба в сравнении с судьбой отца! Юрий, получивший от султана булаву, был не более чем марионеткой, предназначенной для разорения собственной страны.

Перемены на западной стороне Днепра сильно обеспокоили правительство Алексея Михайловича. Ожидали новых осложнений. Особенно настораживала возможность вмешательства Турции. Осенью 1669 года в Мигновичах сошлись русские и польские уполномоченные. Для Ордина-Нащокина это была последняя посольская служба — тучи уже сгустились над боярской головой. Главным вопросом обсуждения должен был стать вопрос о совместной борьбе с Дорошенко и турецкой угрозой. Но его заслонила проблема Киева, а затем и неожиданное требование поляков вернуть все: новый король Вишневецкий продемонстрировал свою твердость перед шляхтой.

Выше уже отмечалось, что в вопросе о Киеве Ордин-Нащокин был готов пойти на уступки. Но не готов к тому был Алексей Михайлович, прекрасно понимавший: Киев — ключ ко всей Украине. Царь заставил боярина ужесточить позицию. Причем не только суровыми выговорами. В Мигновичах Афанасий Лаврентьевич узнал об утрате им Малороссийского приказа, который передали в ведение А. С. Матвеева. Назначение, как, впрочем, и смещение, было с подтекстом: Артамон Сергеевич имел репутацию «доброхота» и заступника казачества и, понятно, был ярким противником всех разговоров о возвращении Киева. Не случайно на Левобережье его назначение встретили с облегчением.

Ничего путного из польских требований в Мигновичах не вышло. Разве только усилились взаимная подозрительность и недоверие. Столкнувшись с

неуступчивостью Москвы, королевские уполномоченные вынуждены были отложить вопрос о Киеве. Не подверглись ревизии и другие статьи Андрусовского перемирия. Стороны возобновили обоюдное обещание стоять заодно против басурман. Однако эта была скорее декларация о намерениях: помогать всерьез друг другу ни в Варшаве, ни в Москве не собирались — действовала старая, отточенная десятилетиями логика — чем хуже дела у соседа, тем лучше для меня.

Весной 1671 года Дорошенко открыл боевые действия против поляков. На этот раз гетман опирался на поддержку не только Крыма, но и Стамбула. В Порте к этому времени окончательно убедились, что надежды на разрыв русско-польского соглашения маловероятны. Выжидательная политика была оставлена. Военная машина вновь стала набирать полные обороты.

История иной раз делает странные повороты в человеческих судьбах. Дед Петра Дорошенко, тоже гетман, участвовал в знаменитой битве под Хотинном в 1621 году, в которой польско-казацкое войско разгромило бесчисленные орды Османа II. Полвека спустя Дорошенко в своих безуспешных попытках сохранить единую Украину подался под власть Порты, оказавшись, по выражению султанской грамоты, в числе «невольников порога нашего». Теперь «невольник» наводил на польского короля и гетмана Ханенко татар и турок. И шли эти орды по все той же многострадальной Украинской земле.

В начале 1672 года войска Магомета IV вторглись в пределы Речи Посполитой. За короткое время почти 200-тысячная турецкая армия затопила Подолию и Заднепровье. Пал Каменец, почитавшийся за неодолимую твердыню польского владычества в Западной Украине. Султан в сопровождении хана и Дорошенко торжественно въехал в город. Колокола молчали. Одновременно подвергались жестокому

разорению десятки других украинских городов и местечек.

Тревожные события на Правобережье отозвались на московской стороне неожиданным образом. В канун турецкого нашествия нервно, непредсказуемо повел себя левобережный гетман. Он беспрерывно докучал Москве, опасаясь возвращения королю Киева, стеснения войсковых вольностей и гетманских прав. Рефлексия Демьяна Многогрешного была объяснима: слишком много нашлось искателей гетманского достоинства, слишком сильна была оппозиция старшины. Неприродный казак, «мужицкий сын», «человек простой и неграмотный» — все это ставилось в упрек Демьяну Игнатовичу. Впрочем, с этим старшина еще могла смириться: она сама не блистала образованностью и аристократизмом, знала на своем веку и гетманов из «неприродных» казаков.

Батуринский правитель вызывал опасения своим поведением и политикой. Большой любитель крепких напитков, он бил, пинал, даже рубил саблей окружавших так, что иные из его гостей едва успевали унести ноги. Но и трезвым гетман был не лучше. Московский доглядчик сообщал о жалобах старшины: гетман — порох, сердится на всех, кто молвит слово против; никому не дает спуска. При том Многогрешный произносил «досадительные» монологи о государе. Генеральный писарь Самойлович, сообщая о гетманских речах в одном из доносов, сделал даже такое выразительное вступление: «Слыша (речи Многогрешного. — *И.А.*) и теперь пишучи, члены наши трясутся».

Многогрешный и ранее, когда только получил гетманскую булаву, жаловался на всеобщую нелюбовь к себе. Ему всюду мерещились заговоры, которые он пытался нейтрализовать смещением неугодных лиц, запретами и слезкой. В ответ следовали доносы

старшины в Москву о сношениях Многогрешного с Дорошенко и намерении склониться к «султановой прелести».

Известия с Левобережья для Москвы давно уже не были новостью. За годы подданства гетманы жаловались на старшину, старшина — на духовенство, и все вместе — на гетманов. Ложь так густо перемешивалась с правдой, что разобраться во всем было необычайно трудно. Не только современникам — потомкам. В исторической литературе нет полного единодушия, в какой мере измена Многогрешного была инспирирована его окружением и Петром Дорошенко, в какой исходила от самого отчаявшегося гетмана, а в какой была порождена неловкими действиями Москвы, которая вполне успешно восстанавливала против себя Демьяна Игнатовича.

Развязка наступила неожиданно и напомнила по сценарию дворцовый переворот на казацкий манер. В начале марта 1672 года старшина объявила царским посланникам об измене гетмана, который собрался передаться на сторону султана. Злой замысел вот-вот должен осуществиться, но они, верные слуги, готовы «повязать... волка». 13 марта обещание было исполнено с обезоруживающей легкостью. За Многогрешного в его гетманской ставке никто не вступился. Больше того, на низвергнутого «Демку» со всех сторон посыпались жалобы. Даже мещане не остались в стороне, объявив, что ни один гетман их так не «тяжелил», как жадный Многогрешный. Легко было упрекать поваленного. Но в жалобах низов была своя правда. Они не случайно выступали против отстранения царских воевод от суда и управления в городах. Опасения вполне оправдались. Давил не один гетман, вся старшина, алчная, разнуздавшаяся, которая, по определению челобитчиков, «обогатясь, захочет себе панства и изменяет».

Обвинения против Многогрешного были сведены в 38 пунктов. Самым тяжким был первый: «Безпрестанно он списывался и братство и дружбу имел великую с Петром Дорошенко, и хотел он же поддаться турецкому салтану». Одного этого хватало, чтобы понести суровую кару и уж тем более потерять гетманскую булаву.

В Кремле, несмотря на явное нарушение договоренности — без указа с гетманства не смещать, — со случившимся смирились. Был проведен строгий розыск. Многогрешный был признан виновным и вместе со своим братом, черниговским полковником Василием, осужден на смерть. У плахи было объявлено о царской милости — топор заменялся Сибирью.

Следом за братьями в Сибирь угодил кошевой атаман Иван Серко, гроза татар и турок. Воспользовавшись ситуацией, он вздумал было добиваться гетманского достоинства. Но Серко был силен в делах воинских и слаб в интригах. Громкая слава кошевого, снискавшая ему уважение всего казачества и особенно низового, запорожского, вмиг объединила его противников. Воспользовавшись излишней доверчивостью Серко, его схватили, обвинили в изменнических замыслах и отправили в Москву. Оттуда Серко поехал в Тобольск, впрочем, ненадолго. Никто за последние годы лучше и удачливее его не сражался с турками и татарами. И когда крымцы и турки возобновили войну, о Серко сразу вспомнили. Уже в марте 1673 года Серко был привезен в Москву. Правда, отпуская его в Запорожье, царь не избавился до конца от подозрительности — слишком устойчивой была репутация кошевого атамана как человека независимого и самостоятельного. С Серко взяли клятву верно служить государю, причем царь его увещевал, а патриарх грозил церковным проклятием в случае измены.

В том же злополучном 1672 году, в июне, казаки собрались на раду в местечко Казачья Дубрава недалеко от Путивля. Выборы проходили в присутствии белгородского воеводы, боярина князя Г. Г. Ромодановского. На этот раз в гетманы угодила «попович», генеральный судья Иван Самойлович, более других интриговавший против прежнего батуринского владыки. Как водится, после выборов, присяги, вручения знаков гетманского достоинства и молебна у боярина устроили пир. Ромодановский был столь любезен, что усадил рядом с собой старшину, чем сильно оскорбил московское дворянство. Здесь же, на обеде, было объявлено о рождении 30 мая царевича Петра Алексеевича. Этикет требовал явить радость по случаю прибавления в царском семействе. Но, подымая чаши, мало кто подозревал, что родился человек, в жизненный путь которого тесно вплетутся и их судьбы.

Между тем в московских приказах с тревогой вскрывали грамотки от порубежных воевод и посольских людей. Известия были пугающие. Война Турции с Польшей шла по непривычному сценарию. Казалось, что продвижение турок в Волыни и Подолии уже ничто не остановит. Был осажден Львов. Король Михаил Вишневецкий тщетно взывал к патриотизму шляхты. Шляхта не спешила сесть на коней, явно предпочитая шумные схватки на сейме и сеймиках кровавым столкновениям в поле. Не помогали даже случаи бесчинства иноверцев над католическими святынями, обыкновенно сильно будоражившие поляков и литовцев.

В обстановке всеобщего разброда и уныния решено было искать мира любыми средствами. Понятно, какой это мог быть мир. В октябре 1672 года в Бучаче, в лагере, где стоял сам султан, был заключен договор, горше которого Речь Посполитая, кажется, еще не знала. Подолия и Украина отходили к Турции. Король

признавал Дорошенко подданным султана. Характерно, что речь шла о всей Украине, передаваемой Вишневецким Магомету IV. Со стороны Польши это было прямое нарушение Андрусовского перемирия — король распорядился не своим. Бучачский договор был настолько унижительным и позорным, что сейм отказался признать его.

Теперь приходилось ожидать самого худшего: султан, помирившись с королем, мог по весне прийти на Левобережье и на Киев. Тогдашние публицисты неустанно призывали Алексея Михайловича готовиться к войне, чтобы защитить родную землю и заодно освободить украинцев, томившихся «под супостатом»^[467]. Царь не остался равнодушным к подобным призывам. К столкновению с Турцией вела не одна только логика политического противостояния в Восточной Европе. Привыкнув смотреть на себя, как на защитника и устроителя Православного царства, Алексей Михайлович считал себя обязанным вмешаться в события. Разумеется, для этого нужно было ощущение собственной силы. Четверть века, в продолжение которых Тишайший занимал престол, не прошли даром. Явились спокойная уверенность и ясность. При этом та тщательность, с которой Москва стала готовиться к предстоящим боям, свидетельствовала об опытности второго Романова. Царь предпочитал преувеличить возможности турок и крымцев, нежели недооценить их.

Алексей Михайлович и его окружение решились на акцию беспрецедентную. Решено было попытаться сколотить антитурецкую лигу. Как некогда Владислав IV вдохновлялся идеей общехристианского похода против турок, так теперь и Алексей Михайлович, оставив религиозную неприязнь, звал христианских монархов на борьбу против гонителей веры. В 1672–1673 годах к европейским дворам устремились русские

посольства. Но инициатива Москвы не получила поддержки. Да и не могла получить, поскольку с 1672 года в Европе вспыхнула новая война между Францией, Англией и Швецией, с одной стороны, и Империей, Испанией, Голландией и Пруссией — с другой. Этим странам было не до новых «крестовых походов». Московскому государству и Речи Посполитой пришлось оставаться один на один со своими проблемами и противниками.

Тем не менее акция не пропала даром: московские дипломаты получили возможность более обстоятельно вникнуть в европейские дела. Царь был вовсе не таким наивным, каким кажется на первый взгляд со своей идеей антитурецкого союза христианских государств. В Посольском приказе достаточно хорошо усвоили формулу, которую позднее дипломаты выразят предельно кратко: в политике нет друзей, но есть интересы. Посольская эпопея 1672–1673 годов позволила более полно определиться в интересах европейских держав. Русские послы привезли назад не одни только слова сочувствия. Сильно продвинулись отношения со странами антифранцузской коалиции, особенно с Империей Габсбургов. Последняя была заинтересована в ослаблении Швеции, традиционного союзника французских монархов. Крепки были антишведские настроения и в Москве. Правда, памятуя о печальных уроках 1650-х годов, Тишайший вовсе не собирался разрывать Кардисский договор. Но враждебность Москвы сдерживала воинственный пыл шведов, отчего, по позднему определению русских дипломатов, курфюрст Бранденбургский мог «свободно... промысл и отпор чинить, что и учинено». Взамен император обязался по окончании войны помогать Московскому государству против турок. Сдерживала Империя и воинственные настроения тех кругов в Речи Посполитой, которые жаждали реванша и

готовы были даже помириться с султаном ради того, чтобы возобновить борьбу с царем.

Все это свидетельствовало о возрастании возможностей Москвы в международных отношениях. Отныне она могла претендовать на место в системе государств Восточной Европы более значительное, чем занимала ранее. Москва потеснила даже Польшу, которая постепенно утрачивала статус первостепенной державы. Навсегда уходили в прошлое послесмутные времена, когда интересы Русского государства были для европейских правительств все одно, что карта Московии — белое пятно с извилистыми линиями рек и редкими точками городов. Теперь международный расклад, по крайней мере в Восточной Европе, требовал учета интересов Москвы и поправок на ее возможную реакцию. В противном случае могло ничего не получиться...

Страх перед нашествием переполюшил всю Восточную Украину. Духовенство с мольбой взывало к Артамону Матвееву: «Бога ради, заступай нас у царского пресветлого величества, не плошась, прибавляйте сил». Царское правительство тоже не желало «плошать». В 1672 году было даже объявлено о намерении царя идти с войском на защиту Киева. Если иметь в виду, что после неудачи под Ригой в 1656 году Алексей Михайлович вновь стал отдавать явное предпочтение охотничьим и богомольным походам перед походами ратными, то станет ясен символический смысл подобного жеста. До похода дело все же не дошло. Успешно повоював с польским королем, султан ушел за Дунай, хан — в Крым, а Дорошенко — в Чигирин. Левобережье на этот раз избежало губительного «потопа».

Но как повернется дело дальше? Султан возжелал всю Украину. Было ясно, что столкновения не избежать. «Мы решили, не щадя своей казны, послать на защиту

Украины конные и пешие полки», — извещал города и веси Алексей Михайлович в своих грамотах.

Это не было декларацией. Провели чрезвычайные сборы. Понукаемые грозными грамотами, воеводы принялись проводить смотры и разборы ратных людей, высылать их на службу. Уже в феврале 1673 года боярин князь Ю. П. Трубецкой выступил к Киеву. В апреле был объявлен сбор «десятой деньги» — свидетельство масштабности военных приготовлений правительства^[468]. Словом, все пришло в движение, вылилось в неброские, но вполне реальные дела, действенный смысл которых особенно был ощутим в сравнении с тем, что происходило по ту сторону Днепра. Перед лицом грозного нашествия становились явными все преимущества выбора, сделанного сторонами в Москве и в Переяславле в 1653–1654 годах: русско-украинские полки готовились совместно защитить Левобережье. Это, конечно, не исключало сохранения трений и взаимных обид. Тот же Трубецкой двигался на защиту православной святыни, Киева, на манер татар — насильно забирая подводы, возчиков и кормы. При этом дворяне драли казаков за чубы и называли то мужиками, то изменниками.

Военные и дипломатические усилия не были напрасны. По сути между Турцией и Крымом, с одной стороны, и Московским государством, с другой, с 1673 года началась необъявленная война^[469]. Столкновения носили характер ожесточенных схваток-набегов, в которых первоначально принимали участие небольшие силы. Так, Москва, отвечая на враждебные действия крымцев, напустила на них донских казаков. Летом — в начале осени 1672 года казаки промышляли в Азовском море и подступали к Азову^[470].

На следующий год в низовья Дона для подкрепления казаков из Воронежа выступил почти

восьмитысячный отряд И. С. Хитрово и Г. И. Косагова. Солдаты, стрельцы и казаки с боем подступили к азовским укреплениям и даже разрушили одну из башен, преграждавшую выход в устье Дона^[471]. Одновременно на Крым напали калмыки, ногайцы и черкесы. Им удалось прорваться через Перекоп и освободить большое число пленных. Царской похвальной грамотой были отмечены запорожские казаки, которые под предводительством бесстрашного Серко промышляли под Очаковом^[472].

Столкновения продолжились в 1674 году. Отряды Хитрово и Косагова вновь штурмовали азовские укрепления. Тогда же на юге появился князь П. И. Хованский, которому было поручено руководство всеми боевыми действиями в районе Дона, а также строительство крепости в устье Миуса, чтобы «к Азову ни с чем кораблей и каторг не пропускать». Затея, впрочем, окончилась ничем: постоянное военное присутствие царских войск в низовьях Дона вызвало противодействие дончаков. Большие трудности возникли и со снабжением войска — коммуникации находились под постоянным ударом крымских и азовских татар.

В 1673 году на Левобережье стали проникать слухи, что положение Петра Дорошенко сильно пошатнулось. Генеральный есаул Яков Лизогуб звал Самойловича и Ромодановского к Каневу, обещая сдать город при первом движении полков через Днепр. Он писал, что все люди, натерпевшись от татар и турок, ныне Дорошенко клянут и «всякое зло мыслят». Предложение было чрезвычайно заманчиво и сулило немалые выгоды: соблазнительно было встретить султана юго-западнее, соединившись со всем Запорожским войском, тем более что гетман Ханенко, обиженный поляками, просился под царскую руку.

Однако в Москве крепко боялись казацкого непостоянства: погнавшись за большим, легко было потерять нынешнее, с великим трудом и кровью достигнутое — покой на Левобережье. К тому же и Польша, заявляя, что с отказом подписать договор с султаном она осталась верна условиям Андрусовского перемирия, резко противилась появлению русских войск на своей, по сути утраченной, стороне Днепра. Осторожность брала верх. Тому же гетману Ханенко, как подданному короля, было предложено сначала изгнать своего соперника Петра Дорошенко, а уже потом «официально» бить челом Алексею Михайловичу о покровительстве. Ханенко войну начал, но управиться с Дорошенко, конечно же, не сумел — слишком неравны были силы. Москва при этом не оставляла попыток склонить Дорошенко на сторону государя. Эти попытки сильно пугали Самойловича. Он опасался, что ради объединения могут пожертвовать им самим и его булавою. Однако столкнуться с Дорошенко оказалось совершенно невозможно, хотя именно он поднимал вопрос о подданстве. Дорошенко требовал пожизненного гетманства, а также присяги войсковым правам и вольностям со стороны Алексея Михайловича. По всей видимости, Петр Дорофеевич мечтал о самостоятельной гетманской власти при протекции царя, подобно той, что он добивался от Турции. Но в отношении с Москвой это заведомо не проходило. Переговоры превращались в дипломатическую игру, желание выиграть время.

Наконец, к великой радости Самойловича, Тишайший окончательно уверился в лукавстве и неискренности Дорошенко и решился на войну. Зимой 1674 года Ромодановский и Самойлович переправились через Днепр и стали брать один город за другим. Лишь под Чигирином дело застопорилось. С налету взять хорошо укрепленную гетманскую столицу не удалось.

Наступившая же распутица, а затем слухи о татарских отрядах, спешивших на выручку, заставили повернуть назад. Против Дорошенко и его приверженцев были оставлены небольшие отряды. Но и они действовали вполне успешно. В начале марта был разбит и пленен брат гетмана, Григорий Дорошенко. На сторону царя стали переходить полковники, ранее поддержавшие гетмана. Вскоре почти все Правобережье добило челом государю. Больше того, в стане Ромодановского объявился Ханенко, сложивший с себя гетманское достоинство.

В середине марта 1674 года в Переяславле собралась очередная рада. Объявлено было о выборе правобережного гетмана. Но старшина и казаки объявили, что им нужен один гетман — гетман обеих сторон Днепра. Тут же выкрикнули и имя — Иван Самойлович. Последний с большим искусством отказывался от великой «чести» и был приведен к присяге чуть ли не силой.

Однако трудно было считать такое гетманство прочным, пока в Чигирине сидел лукавый Дорошенко. За годы своего гетманства он не раз уже падал, но, как птица феникс, вновь поднимался и валил соперников.

Не подымет ли и на этот раз?

Много сил ушло на уговоры Дорошенко положиться на волю Божию, царскую милость и отказаться от гетманства. Дорошенко ставили в пример его же полковников, покоровшихся и передавших государю. «А что теперь старшина и полковники перешли в подданство великого государя, так это только для соболей, не вечно, после изменят», — мрачно пророчествовал гетман. Сам он говорил, что в свое время хотел податься в царское подданство, но его условий не приняли, а теперь поздно, покровитель его — турецкое величество.

И в самом деле, все надежды Дорошенко были связаны с турками и татарами, поскольку собственных сил у него хватало только на то, чтобы удержать несколько городов. Он снарядил в Крым и Стамбул посольство во главе с писарем Иваном Мазепой. Но решительно удача отвернулась от него. Кошевой атаман Иван Серко перехватил посольскую станицу вместе с Мазепой и листами к хану и визирю. В Сечи послания Дорошенко были прочитаны перед кругом и вызвали взрыв возмущения. Мазепу едва не растерзали — спасло заступничество Серко. Писаря забили в кандалы, а грамоты отправили к Самойловичу для передачи царю. Судьба или случай, но только с этого нежданного пленения жизненный путь Мазепы совершил крутой поворот и началось его новое восхождение близ Самойловича. Иван Мазепа обладал талантом нравиться людям, от которых зависел. Он сумел так угодить Серко, что тот просил сохранить его для отчины. Понравился он и Самойловичу — «человек он ученый, меж высокими людьми бывал», — отмечал тот. Гетман заступился за посланца Дорошенко перед царем и Ромодановским. В Москве Мазепа сумел обольстить Матвеева и, явившись пленником, отпущен был назад награжденный соболями. Да, видно, никакой случай не может спасти от предательства, если душа к тому склонна: в 1674 году он отступился поневоле от Петра Дорошенко, поведав о его замыслах, и заодно — в угоду Самойловичу — очернил в Москве Серко; в 1687 году он обвинил в измене уже Самойловича, и незадачливый воевода, князь В. В. Голицын, чтобы оправдать свою неудачу в первом Крымском походе, сделал вид, что это правда; отсюда уже недалеко до Карла XII и «ордена Иуды», которым Петр Первый мечтал «наградить» Мазепу за его измену в 1708 году.

Между тем Самойлович горел желанием захватить Чигирин. В конце июля вместе с царскими воеводами он

подошел к городу. Петр Дорошенко сел в осаду в крепком верхнем замке, но на этот раз едва ли отбил, если бы не крымский хан и визирь, которые выступили ему на помощь. Их движение заставило Ромодановского и Самойловича отступить за Днепр.

В это время в Речи Посполитой произошли важные перемены. В ноябре 1673 года коронный гетман Ян Собеский разбил турецкие войска под Хотинем. Полякам, однако, не удалось полностью использовать плоды этой победы и вытеснить турок из Подолии. Накануне Хотина во Львове умер король. Тотчас началась предвыборная борьба. Среди прочих имен литовским гетманом Пацом было названо и имя царевича Федора Алексеевича. В надежде, что такой выбор обезопасит восточные границы и создаст союз против Турции, была даже создана сильная партия. Но вольно было литовцам строить планы — была еще и московская сторона, которая никак не могла согласиться на предложения сторонников кандидатуры царевича. Последние требовали, чтобы тот принял католичество и вернул назад утраченные в предыдущей войне города.

В середине мая 1674 года сейм провозгласил королем Яна Собеского, выдающегося полководца, только что пережившего хотинский триумф. Правда, в год своего избрания Собескому не пришлось особенно отличиться. Весной-летом 1674 года султан разорил Правобережье и с огромным полоном благополучно ушел за Дунай.

Летом следующего года многочисленное войско Ибрагим-паши с присоединившимся к нему ханом вновь появилось на Украине. У Яна Собеского было слишком мало сил, чтобы успешно противостоять грозному противнику. Подо Львовом он сумел поразить неосторожно приблизившихся к нему крымцев. Но этим все и ограничилось.

Правда, была еще одна возможность противостоять туркам — соединиться с царскими войсками, тем более что Андрусовские статьи предусматривали такой союз. Была даже достигнута договоренность, что на случай прихода султана Самойлович и Ромодановский должны идти на соединение с поляками. Однако взаимное недоверие было столь сильно, что одна только мысль о союзе вызывала активный протест. Первыми воспротивились казаки: они объявили, что поляки о соединении просят «лукавым сердцем», поскольку ведут за спиной Москвы переговоры в Константинополе. Стороны в самом деле интриговали и искали сепаратные варианты разрешения конфликта с Турцией. Да и само осознание общности интересов меркло перед привычной враждебностью, благо и поводов для нее было предостаточно. Неудивительно, что, когда турки и крымцы возобновили активные военные действия против Речи Посполитой, царь вместо посылки полков ограничился сочувствием и вылазками против татар и Дорошенко. Особенно громкой оказалась посылка запорожцев, донских казаков и стрельцов под Перекоп. Соединенный отряд, предводительствуемый Серко, стольником Леоновым и атаманом Фролом Минаевым, вторгся сухопутьем в Крым, вызвав настоящую панику и захватив богатую добычу.

В 1676 году Ян Собеский заключил в Журавне мир с Турцией. Речь Посполитая получала долгожданную и очень дорогую передышку. Москва, напротив, такой передышки лишалась: отныне не оставалось сомнений, куда нанесет Турция следующий удар.

К этому времени сошел со сцены Петр Дорошенко. Он уходил, окруженный всеобщей ненавистью за союз с ханом и султаном, печальные последствия которого были воочию перед уцелевшими. Правобережье лежало в пепелище, опустошенное, разграбленное. От

Дорошенко отступились казаки. Его проклинали крестьяне и горожане.

Теснимый Самойловичем и Ромодановским, гетман решил присягнуть Алексею Михайловичу. Для этого он даже призвал в конце 1675 года Серко в Чигирин. Но Москва слишком натерпелась от изолгавшегося Дорошенко, чтобы удовлетвориться подобной клятвой. От правобережного гетмана потребовали поездки в Батурин, к Самойловичу и Ромодановскому, и присяги по всем правилам. Дорошенко сильно опасался Самойловича и поэтому предпочел заручиться гарантиями в самой Москве. Именно сюда, для оправдания и объяснения, направились его посланцы. Заканчивалась долгая эпопея с Петром Дорофеевичем уже при сыне Алексея Михайловича, царе Федоре. Дорошенко сложил гетманскую булаву и был оставлен под строгим доглядом в Москве. Самойлович избавился от грозного соперника. Однако едва ли он полностью был удовлетворен таким избавлением. Дорошенко держали, как туза в рукаве, — на всякий случай...

Завершалось царствование Тишайшего подготовкой к войне против Турции. Алексей Михайлович страшился ее и одновременно упорно шел к ней. Связано это было не только с тем, что на берегах Днепра, в Подолии и Галиции пересеклись и столкнулись интересы Речи Посполитой, Порты и Русского государства. Царем, как уже отмечалось, двигала идея: он мыслил себя освободителем православных, создателем Вселенского православного царства.

В декабре 1675 года был разработан план похода русских войск в Крым. По масштабам планируемое вторжение ничем не уступало более поздним походам В. В. Голицына — под знамена Г. Ромодановского и И. Самойловича весной 1676 года должно было собраться 100-тысячное войско. Но смерть Алексея Михайловича разрушила эти намерения. Поход, а с ним

и война были отложены. Тем не менее можно говорить, что последние годы правления Алексея Михайловича открыли целую эпоху во внешней политике России — эпоху бесконечных Русско-турецких войн, когда страна двинулась к югу.

Последние годы

XVII столетие — это все еще культ старины, которая по-прежнему почиталась, ибо она священна сама по себе, от рождения, своим восхождением к старине библейской. Но при этом обычай уже утрачивал свое обаяние, а привычная колея общественного поведения не прельщала новые поколения. Они норовили соскользнуть на иной, неведомый путь и, подобно герою из популярной в то время повести «О Горе и Злосчастии», вкусить запретные плоды жизни. В самой повести герой в конце концов оказывался на краю гибели и лишь монастырские стены, не высотой своей, а благочестием иноков спасали его от горя-злосчастья — дьявола-искусителя. Но то — скорее мечтания, чем действительность, назидательное воздыхание по поводу утраты прежнего образа жизни, которому не устоять под напором нового, греховного.

Перемены ощущались и в самой повседневности. Толпы пленных поляков и литовцев в свою очередь «пленяли» русскую знать манерами шляхетского «политеса». Польское влияние уже при Алексее Михайловиче заметно на общественных нравах, интересах и вкусах, а при его первых преемниках оно обратилось уже в настоящее бедствие. Не случайно чуткие ко всяким новшествам ортодоксы увидят в этом еще одно несомненное доказательство отступления от святорусской старины.

В монолите культуры обиходной, по самой своей основе тяготеющей к постоянству и устойчивости, появились многочисленные трещины. В толпе московского дворянства уже мелькают царедворцы, одетые и подстриженные на польский манер. Это — мода и одновременно вызов, перемена знаковая. Не

случайно русские архиереи осуждали и запрещали покусение на бороду, которое приравнялось почти к святотатству. Но мы знаем, что запреты не особенно помогали — при царе Алексее ножницы уже оттачивали, при Федоре ими стригли, при Петре возвели брадобритие в ранг государственной политики, в символ перемен.

Перемены проникают в быт. В царских и боярских теремах рядом со старинными скамьями и лавками появляются кресла и стулья. Кое-где на стенах мерцают настоящие зеркала, которые вешают очень часто, как киоты, — по углам. В 1659 году Алексей Михайлович усаживается на новый трон, сделанный на польский манер с польскими надписями. Почитаются комфорт, приветствуются заботы вполне земные. Прежний аскетический тип жизни, который ставился в образец, вдруг тускнеет и блекнет. Он утрачивает монополию идеала.

Душеспасительное чтение, когда книгу «вкушают», уживается отныне с чтением утилитарным, удовлетворяющим вкусам низменным и потребностям светским. Книга уже источник не только душевного просветления, но и простого знания, «внешней мудрости»; книга становится развлечением, предметом досуга. Житийная и богословская литература соседствуют с сюжетными мирскими, авантюрными, историческими произведениями, в которых и не разглядеть того «благодатного закона, чтобы очистить душу от греха».

Продукция Печатного двора не залеживается. Но не сдает свои позиции и рукописная книга. Она быстрее откликается на спрос, отзывчивее к читательскому вкусу. Рукописные сборники составляются по запросам и наклонностям высших и средних слоев населения, играя своеобразную роль нынешних «толстых журналов».

Литература, своя и переводная, школа, пока только своя, в своем развитии уже вошли в столкновение с исключительно церковным характером древнерусской образованности. И так во всем и всюду: в домашней обстановке и в быту, в учении и искусстве, в культуре событийной и обиходной мы видим новации, связанные с западным влиянием, перенятые, переосмысленные (или, напротив, отторгнутые) на отеческой основе. В конечном счете под воздействием начавшихся процессов секуляризации сознания зашаталась и затрещала вся прежняя система православных ценностей и стала выстраиваться система новая. В духовном плане это и было одним из самых важных завоеваний века.

Старое и новое раскалывало не только сам век, но и человека, живущего в нем. Это сочетание порой оборачивалось настоящей жизненной драмой, приводило к крайностям и порождало такие яркие типы, как протопоп Аввакум или боярыня Морозова. Впрочем, для общества был, по-видимому, характерен другой тип, который воплотил в себе царь Алексей Михайлович. Это был тип переходный; по образному определению В. О. Ключевского, «в этом лице (в лице Алексея Михайловича. — *И.А.*) отразился первый момент преобразовательного движения, когда вожди его еще не думали разрывать со своим прошлым и ломать существующее. Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении»^[473].

Действительно, начинал свое царствование второй Романов вполне традиционно. Примыкая к ревнителям, он поддерживал их стремление к оцерковлению всего

быта и склада русской жизни, наведению духовного «порядка» в обществе. Атмосфера же конца правления Тишайшего во многом была иной. Разумеется, царь по-прежнему оставался глубоко верующим человеком. Но век утрачивал свойственную средневековой культуре и сознанию монолитность, и с этой утратой менялись сами люди.

Алексей Михайлович — не исключение. Со второй половины XVII столетия все Московское государство медленно стало сворачивать на путь европеизации. Было бы неправильно считать, что современники не замечали происходящих перемен. Но в сознании того же Тишайшего новшества воспринимались и трактовались как дальнейшее развитие традиций, как верность принципам. Потому и нападки сторонников старины воспринимались как оскорбление, бунт, невежество. Да и происходило все крайне медленно: старого было много больше, чем нового, а само новое, укореняясь, исподволь меняло форму, отчего не резало слух и не бросало в жар. Конечно, для традиционалистов вся эта «прельщающая пестрота» была совершенно неприемлема и оскорбительна. Там, где новаторы наслаждались «дивным узорочьем» и красотой, они видели отступление и отступничество. Для них это не развитие — гибель, крушение святорусской старины.

Новшества по-разному входили в жизнь царя. Чаще всего — как увлечения, которым он предавался всем сердцем. К таким увлечениям последних лет жизни Тишайшего по праву можно отнести придворный театр.

Впервые Алексей Михайлович попытался создать театр еще в 60-е годы. Позднее Я. Рентенфельс уверял, что новому увлечению царь обязан иностранным послам, от которых он узнал, что «перед европейскими государями часто дают театральные представления с хорами и иные развлечения ради препровождения

времени и рассеяния скуки», и «как-то неожиданно приказал представить ему образчик сего»^[474]. Однако трудно представить, чтобы во время официальной церемонии послы осмелились вести разговор о театральных представлениях. Скорее всего, первые сведения о сценических «потехах» царь получил из посольских отчетов собственных дипломатов. Так, вернувшийся от тосканского герцога Фердинанда (1659) посланник В. Б. Лихачев в следующих выражениях описывал увиденное: представление было устроено в палате «в шесть перемен (интересен термин из «обеденного» церемониала, к которому вынужден был прибегнуть Лихачев за отсутствием в древнерусском языке понятия действие. — *И.А.*); да в тех же палатах объявилось море, колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди... Да спущался с неба сед человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица, а аргамачки под каретами как есть живы, ногами подрягивают... А в иной перемене объявилось человек пятьдесят в латах и почали саблями и шпагами рубиться и ис пищалей стреляти и человека с три как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса и танцуют, и многие диковинки делали...»^[475].

Памятуя о любознательности Тишайшего, не приходится сомневаться, что подобные сообщения должны были живо интересовать его. Однако в 60-е годы обзавестись собственным театром не удалось — многочисленные заботы, обрушившиеся на Алексея Михайловича, на время погребли всю затею.

К мысли о «комедийных потехах» вернулись только в 1672 году, возможно, потому, что Алексею Михайловичу очень захотелось потешить свою молодую супругу Наталью Кирилловну Нарышкину. Организация

театра легла на плечи А. С. Матвеева, который как никто другой подходил для новой затеи и по своей должности начальника Посольского приказа, и по горячему интересу ко всему необычному. В мае 1672 года полковнику Николаю фон Стадену приказано было ехать к курляндскому герцогу и приискать среди прочих мастеров двух человек, «которые б умели всякие комедии строить». В случае неудачи следовало привести «режиссера» из Швеции или Пруссии^[476].

Поиски фон Стадена закончились неудачей: нужные люди не были сысканы, так что поневоле пришлось обратиться к «своим» иноземцам. Было названо имя протестантского пастора Иоанна Готфрида Грегори, которому предстояло выступить в роли сочинителя и постановщика пьес. Это вовсе не обрадовало пастора, но деваться было некуда. По словам очевидца и помощника Грегори, саксонца Л. Рингубера, желание царя «забавляться комедией» для всех равнялось закону^[477]. Грегори приказали «учинити комедию, а на комедии действовать из Библии Клигу Есфирь». Так появилось знаменитое «Артаксерксово действо» — переводная немецкая пьеса^[478], ставшая в истории русского театра первой.

Вместо профессиональных «комедиантов» на сцене стали играть «иноземцывы дети» из школы пастора^{3}, а в последующем — жители Новомещанских и иных московских слобод. Если вдуматься, это вполне закономерно. Иностранная труппа с ее чисто светским репертуаром, привычкой играть «вольно... пред всякими людьми», едва ли могла подойти царскому двору. К этому была просто не готова публика. Причем дело не только в языковом барьере. «Потеха» адресовалась великому государю и изначально соотносилась с его знаниями и вкусами. А вкусы эти были достаточно консервативны и могли «переварить» пьесу лишь на

сюжет религиозный, отвечающий идейным и эстетическим привязанностям Алексея Михайловича. Да и понималась «потеха» прежде всего как служба, то есть в рамках, привычных для общения подданных с государем: актеров при необходимости заставляли разучивать роли «денно и ночью за караулом»; темы пьес определяли государевым указом; наконец, сама постановка должна была смахивать на некую, привычную русскому человеку смесь из церковной службы и придворного церемониала. Сомнительно, чтобы приезжая труппа сумела бы соответствовать всем этим непривычным для нее требованиям. Здесь надо было начинать с чистого листа, заново диктуя свои правила игры.

Премьера состоялась 17 октября 1672 года. Первыми зрителями «Артаксерксова действия» были Алексей Михайлович, придворные, царица и царевны — дочери и сестры Тишайшего. Последние, впрочем, следили за происходящим на сцене из-за особой решетки, которая заслоняла их от взглядов придворных. Конечно, лучшего символа положения женщины в переходную эпоху трудно придумать: новому внимали, сидя в... клетке, прутья которой, впрочем, были уже надломлены!

Несмотря на всем известный библейский сюжет, зрители испытывали определенные трудности: условность театра сталкивалась с привычным, сакральным восприятием библейского текста. Происходящее на сцене казалось не иллюзией жизни, а самой жизнью, явственно воскресшим прошлым. Грегори пришлось прибегнуть даже к обширному предисловию, чтобы подготовить зал, разъяснить условность связи прошлого с настоящим. Пьеса имела ощутимый нравоучительный подтекст, и зрители должны были лишний раз убедиться, «как гордость сокрушается и смирение венец приемлет». Для Алексея

Михайловича, который всю свою жизнь осуждал «гордость» своих подданных, эта мысль была по сердцу, и он, несомненно, горячо аплодировал бы ей, если бы был знаком с подобным способом поощрения актеров.

Были в пьесе вещи совершенно необычайные и непривычные. Ряженный царь Артаксеркс воспылал любовью к гордой красавице Астини. Зрители увидели все перипетии его любовных переживаний. Царь требовал, чтобы спальники привели царицу: «Аз ее желаю, ее, взирая, лобзати»; оставшись же в одиночестве после ее изгнания, он мучается: «Аз ныне в едине на вдовем одре лежу, чрез всю долгую ночь, не обретаю же покоя, услаждения, ниже любви». Затем любвеобильное сердце Артаксеркса открылось для Эсфири. Это была уже чисто мирская любовь, осуждаемая в прежней литературе, а теперь вынесенная на зрительский суд.

Замечательно, что в пьесах, поставленных для царя и его окружения, утверждались взгляды новые, непривычные. Актеры декламировали со сцены:

Наконец-то настал тот желанный день,
Когда и нам можно послужить тебе,
Великий государь, и потешить тебя!

Для современников само сочетание высокого «послужить» с низменным «потешить» резало слух. Но вот они, перемены, затронувшие святая святых, государеву службу: отныне она раздвигала свои рамки, побуждая подданных усваивать новый, абсолютистский смысл. Театр вслед за царем провозглашал, что всякая служба почетна, лишь бы была службой государю. Жизнь показала, что без такого взгляда трудно было бы одеть природного дворянина, с презрением взиравшего

на приказных, в партикулярное или иное какое, не военного образца, платье. Новое зрелище таким образом изначально не отрывалось от нужд государственных и было призвано укреплять царскую власть.

Первая пьеса открывалась славлением Тишайшего:

О, великий государь, пред ним же христианство
припадает,
Великий же и княже, иже выю гордого варвара
попирает!
От силы бо твоего скипетра все страны севера,
востока и запада
Трепещут и смиренно твоему державству себя
повинуют.
Ты самодержец, государь, и обладатель россов,
Еликих солнце весть, великих, малых и белых,
Повелитель и государь Алексей Михайлович!

Пьеса, не прерываясь, продолжалась десять часов. В этом она более походила на привычную церковную службу с той разницей, что царь не стоял, а сидел. Происходящее на сцене уместно сравнить с любительской постановкой, в которой главные действующие лица — «неискусстные и несмысленные» актеры-«отрочата». Тем не менее «комедия» имела успех. Фридрих Госенс, единственный взрослый среди актеров, был возведен за исполнение роли царя Артаксеркса в чин... прапорщика. Утвержденная Алексеем Михайловичем мера поощрения также отражала взгляд на новую забаву как на разновидность службы государю.

Следом за первой пьесой появились другие — «Иудифь», «Жалостная комедия об Адаме и Еве», «Иосиф». Преемник умершего пастора Грегори Гивнер

поставил «Темир-Аксаково действо» («Повесть о Баязете и Тамерлане»). Стефан Чижинский, преподаватель Киево-Братской духовной школы, сочинил комедию «Давид и Голиаф». С придворным театром оказались связаны две пьесы Симеона Полоцкого. Правда, сведения об их постановке отсутствуют. Но тексты с правкой автора сохранились.

Все пьесы имели общие черты, продиктованные уровнем зрителя, — библейский сюжет, незамысловатая фабула, подчеркнутый пафос и грубая шутка, оформленная «словесным озорством». Во всех пьесах авторы и актеры не уставали восхвалять Алексея Михайловича. Царь — Бог земной («О, царь вселенная, ты Бог еси земный»); царь — «столп мудрости»; он строг и милостив — гордость сокрушает и смирение поощряет. Верный себе Симеон Полоцкий привнес в театр немалую толику назидательности. Его драматургия носила учительный характер: взывала к зрителю, включая и самого важного из них — государя; стремилась исправить настоящее, дать некий образец для него.

Кроме пьес, Алексей Михайлович увидел балет «Орфей» — переработку виттенбергского балета «Орфей и Эвридика». Как уже упоминалось, он вызвал немалые сомнения у благочестивого Тишайшего. Впрочем, несмотря на отдельные шероховатости, новая забава доставляла Алексею Михайловичу огромное удовольствие. Театр, как диковинная игрушка, увлек и захватил его. При этом Тишайший оставался верен себе. Дни и место представлений часто зависели от царского настроения и каприза. Захотел царь «потешить» себя или семью — тотчас объявлялось представление. За год для «комедий» отвели и отстроили три помещения — палаты в доме покойного И. Д. Милославского и в Аптекарском приказе, а также хоромину в Преображенском (на нее пошло 542 бревна, каждое в

четыре сажени длиной). Декорации кочевали по этим помещениям, точно цыганский табор. Причем случилось так, что следовало перевезти их и установить на новом месте за один день. Такая поспешность оборачивалась порчей декораций, но разве подобная мелочь могла помешать стремлению услужить государю?^[479]

Разнообразнее становились формы поощрения актерского рвення. На Масленой неделе 1673 года актеры, сыгравшие в новой пьесе «Иудифь», были допущены к руке Тишайшего. Это было столь необычно, что подьячие поспешили особо отметить происшедшее: «А наперед сего из Посольского приказа пасторы и иноземческие дети великого государя у руки не бывали». В оговорке подьячих — вся мера восторга Алексея Михайловича. Ведь он допустил к руке служителей «лютого» Лютера.

Со смертью Алексея Михайловича «потешная хоромина» быстро пришла в запустение. «Комедии минулись», труппа распалась, а главный устроитель зрелищ, боярин Матвеев, отправился в ссылку. Но едва ли кто-то осмелится утверждать, что театр царя Алексея остался пустоцветом.

Атмосфера последних лет царствования Алексея Михайловича может быть определена как предреформенная. Изменения касались главным образом верхов страны, политической и интеллектуальной элиты — прослойки немногочисленной, но чрезвычайно влиятельной, — ведь именно в этой среде формировался и реализовывался правительственный курс. Было бы ошибочно преувеличивать глубину и темпы преобразовательного движения. Но несомненны два результата, превращавшие правление второго Романова в стартовую площадку для грядущих перемен.

Во-первых, элита постепенно свыкалась с мыслью, что новое, пришедшее с Запада, совсем необязательно ведет к гибели. Возможные перемены перестали вызывать отторжение и страх. Или, по крайней мере, дополнились чувством любопытства и стремлением заглянуть в будущее.

Во-вторых, стали обсуждать возможные варианты перемен. В конце 60-х годов в Москве сложились две враждебные партии. Грекофильская, старомосковская, во главе которой оказался монах Епифаний Славинецкий, и западническая, возглавляемая Симеоном Полоцким. Представители киевской учености — оба были выпускниками Киево-Могилянской академии, — они тем не менее принадлежали к двум разным поколениям, которых разделяли не только годы, но и культурная ориентация. Епифаний, при всей своей учености и знании языков, православно-традиционен. Симеон Полоцкий закончил школу уже после того, как митрополит Петр Могила придал ей выраженную латинскую окраску, и потому не чурался католической культуры. Он — латинист и полонофил.

Латинствующие уже не страшились привнести в придворный обиход новые ценности, усвоенные и перенятые на Западе. Полоцкий, завоевав себе звание первого поэта, прививал двору вкус к польской культуре и знакомил верхи с культурой барокко. Первый общеевропейский стиль, появившийся на Руси, был усвоен достаточно быстро, поскольку многие старые ценности были созвучны барочным. И прежде всего идея Бога как первопричины и цели земного существования. Но барокко, возрождая идеалы Средневековья, не разрывало с традициями эпохи Возрождения. И именно эта сторона пересаженного на русскую почву стиля позволила ему выполнить здесь еще одну, пропущенную в культурном развитии страны функцию — ренессанса. Русская культура при Алексее

Михайловиче открывала для себя *человека*. В том смысле, что человек этот стал ей интересен сам по себе, как личность. К личности адресует свои назидательные силлабические вирши Полоцкий; личность вглядывается в нас с картин «парсунного письма» — еще не портретов, но уже и не икон; она страдает, взывает к помощи и горько смеется в безымянных сатирических произведениях «бунташного столетия».

Примечательно, что для раскольников равно плохи и Епифаний, и Симеон. «Блюдитесь, правовернии, злых делателей: овчеобразные волки Симеон и Епифаний», — ярится протопоп Аввакум, который не принимает ни греческого, ни тем более латинского направления — для него и то и другое опасно и чуждо.

Полоцкий объявился в Москве почти одновременно с Аввакумом. Последний только что приехал из сибирской ссылки; первый принужден был оставить Полоцк. При удивительном умении приспособиться Симеон понимал, что приветственные вирши — «метры», когда-то им сочиненные и оглашенные перед Алексеем Михайловичем, не будут забыты вернувшимися литовскими властями. В поисках спасения и удачи он удалился в Москву. Он приехал сюда учительствовать. Но не в том высоком смысле, как это делали ревнители — это именно школьное учительство. Потому Полоцкий поначалу скромн и невзыскателен — прожить бы как-нибудь. Аввакум, напротив, весь в нетерпении и ожидании. Он прибыл «взыскать» с царя старое «благочестие» и ощущает себя почти пророком. «Яко ангела Божия прияша мя государь и бояря, — все мне рады», — вспоминал он в «Житии».

Это совпадение не осталось незамеченным для самих героев. Позднее Аввакум примется иронизировать по поводу искательства «Семенки-чернеца». Сам-то протопоп, которого прочили в царские

духовники и перед которым ломали шапки, напротив, покровительства не искал и на искушение — отступить от древнего русского благочестия и за то возвыситься — не поддался. Итог известен: для Аввакума вскоре начался новый круг страданий. «Нам де с тобой не общно», — объявил в 1667 году непокорному протопопу Артамон Матвеев, окончательно отчаявшийся сломить Аввакума. Симеон Полоцкий, напротив, быстро пошел вверх. Ему даже доверили уговаривать Аввакума. Старец, конечно, для этого совсем не годился. Не только потому, что для него раскол — одно невежество и пустое упорство. Он исходил из других ценностей, и мысль его вращалась в иных областях. «Острота, острота телесного ума! да лихо упрямство; а се не умеет науки!» — якобы сказал Полоцкий протопопу, совсем не понимая, что тем самым сильно польстил ему. Для Аввакума ведь наука старца ничего не стоила — «бесовское мудрование римского костела».

В Москве Полоцкий нашел свое призвание — и как поэт, и как наставник. В Литве он так бы и остался скромным учителем «братской школы», автором виршей, которые после его] кончины скорей всего отправились бы в печь. «Ума излишком, аж негде девати, купи, кто хочет! а я рад продати», — сетовал старец, записавший себя в неудачники. Но ему повезло, царский двор оказался как раз тем заветным «покупателем ума», о котором столь страстно мечтал постриженник Богоявленского монастыря. И главным почитателем — или покупателем — его таланта стал Алексей Михайлович.

Надо, однако, отдать должное и самому Полоцкому. Он; сразу сообразил, что от него ждут, и если Аввакум всю жизнь «работал Богу», то Полоцкий, не мудрствуя, «работал I царю», создавая идеальный образ монарха. Уже в самых ранних его стихах царь — это солнце,

которое всех «согревает, блюдет, освещает, як отец питает».

Характерно, что «латинства» Полоцкого, который появился в Москве всего через 16 лет после Епифания Славенецкого и других киевских старцев, мало кто сторонился. Напротив, он делает стремительную карьеру. Алексей Михайлович доверяет ему обучение своих детей. Все это ново и совершенно немыслимо для первой половины столетия. Такого подозрительного православного монаха, ходившего слушать лекции в Виленскую иезуитскую академию, не только не пустили бы в царский терем, но, пожалуй, отправили бы в северный глухой монастырь на исправление.

Полоцкий работал много и прилежно, заслужив репутацию «мужа благоверного, церкви и царству потребного». Придворная культура и обиход ему многим обязаны. С его именем связаны даже перемены в придворном церемониале, когда к привычным молитвам и торжественным обедам прибавились разнообразные «диалоги», «декламации», «приветства» (панегирики) и иные речи. Поэзия становится проявлением хорошего тона, и уже члены царской фамилии, подражая своему поэту-дидаскалу, увлеченно занимаются ею. Правда, для них это не более чем развлечение, тогда как для Полоцкого — почти профессия. Но это, конечно, не мешает ни ему, ни его последователям формировать настоящую идеологию абсолютизма, во многом унаследованную Петром. Симеон настойчиво проповедовал мотивы общественного блага, а это значит, что для современников Петра любимая тема царя-реформатора не стала совершеннейшей новостью. Поучая от имени уже умершего Алексея Михайловича царя Федора, Полоцкий станет требовать суда равного, нелицемерного. Монарх, по Полоцкому, — олицетворение и воплощение закона, он «правосудом...

мир возвеселиши». И здесь также — невольный спор с Аввакумом, объявляющим равенство всех перед Богом.

Речи Полоцкого назидательны, книги душеполезны. Это связывает их с приятнью боголюбов к проповеди. Но одновременно его произведения по-светски познавательны и по-государственному необходимы, они формируют новую эстетику и новое сознание. Поэтому даже в конце XVII века, когда латинствующие подверглись гонению, едва ли можно было признать торжество грекофилов полным. В обществе уже укоренилась тяга к гуманитарным и культурным ценностям западного образца. Другое дело, что с началом Петровской эпохи и латинствующие стали восприниматься достаточно ортодоксально. То, что при Алексее Михайловиче казалось безумно смелым, стало вполне заурядным. Иные времена требовали иных форм.

Во второй половине 60-х годов в царском окружении выдвинулся Артамон Сергеевич Матвеев. Он и до этого был человеком, близким государю, лицом доверенным, к которому царю незазорно было обратиться с ласковым «друг мой, Сергеевич». Ему государь верил как самому себе. «Приезжай поскорее, — взывал он к Артамону, перемешивая в своих письмах титулярные формы обращения с чувством искренней дружбы, — мои дети осиротели без тебя. Мне не с кем посоветоваться».

Многие годы Артамон Сергеевич занимал должности второстепенные, теряясь в обществе людей родовитых, первостатейных. Он долго тянул лямку стрелецкого головы и стольника, прежде чем добрался до чинов заметных. В 1669 году, по возвращении с Глуховской рады, ему поручили Малороссийский приказ. Уже тогда многим было ведомо, что Артамон, хоть и числился товарищем при после Г. Ромодановском, был истинным «умиротворителем» очередной казацкой

замятии. Он и с казаками умел столкнуться, чего нельзя было сказать об Ордине-Нащокине.

Два года спустя Матвеев получил Посольский приказ и стал думным дворянином. Кроме того, под его начало перешли Стрелецкий и Казанский приказы. Царь ценил Артамона за исполнительность, вкрадчивость и умение не перечить.

Надо вспомнить, что Алексей Михайлович крепко натерпелся от своих фаворитов, переходя от восторженного к ним отношения к разочарованию. Морозов по возрасту не слишком годился в друзья и при всех своих заслугах отличался большим сребролюбием. Никон из «собинного друга» обратился, перефразируя Алексея Михайловича, в «собинного врага». Ордин-Нащокин годился более в советчики: душевной теплоты с ним никогда не было. Другом был Федор Ртищев, но его крепко — крепче, чем самого царя — подкосила смерть воспитанника, царевича Алексея Алексеевича. После 1670 года он отошел от государственных дел, которые всегда были для него ношей обременительной, отвлекающей от главного — милосердия. Был еще стольник Афанасий Матюшкин, сверстник и родственник, такой же страстный поклонник «красной птичьей охоты», как и Алексей Михайлович. Мы видели по письмам сильную привязанность Тишайшего к двоюродному брату. Но Матюшкин, хотя и уселся на думную скамью вместе с Матвеевым, в государственных делах ему, несомненно, проигрывал — не тот ум и не та хватка.

Артамон Сергеевич был интересен в повседневном общении, проявляя именно здесь неожиданно большую смелость и энергию. В придворной среде долгое время процветали грубые развлечения, неумеренность, склонность к пьянству. В доме Матвеева были заведены другие порядки. Гости являлись не напиваться, а общаться. Хозяйка дома, шотландка Гамильтон — по-

русски Евдокия Григорьевна — потчевала гостей не только первой чаркой, но и разговором. В. О. Ключевский не без иронии назвал матвеевские приемы «журфиксами»: зная интересы хозяина, можно предположить, что беседы здесь велись преимущественно светские, отличные от жарких богословских споров ревнителей в доме Федора Ртищева.

Матвеев завел музыку, некогда решительно изгнанную как развлечение бесовское, скоморошье, и развлекал гостей игрой на органе, фиоле и «скрипицах».

Как в свое время Морозов, Матвеев сильно продвинулся в связи со второй женитьбой царя. Частые роды расшатали здоровье первой жены Алексея Михайловича — царицы Марии Ильиничны. Тем не менее ей приходилось вести обычный образ жизни, следуя за государем, который много разъезжал по подмосковным дворцовым селам, ближним и дальним монастырям.

26 февраля 1669 года царица родила дочь Евдокию. Роды были тяжелые. Младенец не прожил и трех дней. Следом, 4 марта, скончалась царица. Скорбь на этот раз надолго обосновалась в царских покоях: в мае того же года умер четырехлетний царевич Симеон. Алексей остался с двумя хворыми сыновьями, Федором и Иваном, и шестью дочерьми, Евдокией, Марфой, Софьей, Екатериной, Марией и Феодосией, которые в отличие от царевичей отличались отменным здоровьем и энергией.

Сорокалетний Алексей Михайлович не собирался долго ходить во вдовцах. Уже осенью было объявлено о намерении государя жениться. Это значило, что пришла пора свозить лучших невест в Москву для царского выбора.

Сам обычай выбора, по мысли историка И. Е. Забелина, возник тогда, когда высоко поднявшиеся

московские князья уже не могли сыскать себе православную невесту среди равных из-за упразднения суверенных русских княжеств и крушения последних православных царств. Оставалось выбирать жену среди собственных подданных. Но это имело неудобство — возвышение одного аристократического рода превращало его «в совместника самодержавному роду» (определение И. Е. Забелина). Для московских государей, еще хорошо помнивших о временах удельных, это было слишком болезненно. Выход нашли в придании выбору «всенародного характера», когда в учет бралось не происхождение, а только личные достоинства соискательниц, их дородность, красота и здоровье, столь необходимые для главного «призвания» царицы — чадородия. Понятно, что приискивая сыну Василию жену среди 1500 дворянских девиц, Иван III совсем не собирался осматривать каждую. Но формально участвовали все, кто имел на то основания. В итоге и люди вельможные, и малопородные уравнивались в своем бесправии, и никто не мог похвастаться тем, что предпочтение отдано высоте его рода в ущерб другому.

Подобные соображения, может быть, и утратившие к XVII столетию свою остроту, были вполне усвоены Романовыми. Это хорошо видно и по смотринам царских невест, и по печальной судьбе царских дочерей, которых выдавать за своих «холопов» было зазорно, а на сторону, за иноверческим окружением, — нельзя. Здесь царевны могли позавидовать дворянским и боярским дочерям. Тем — семейный удел, им — келейное прозябание.

Сохранился список девиц, избранных красавиц, удостоившихся чести с поздней осени 1669 года до весны 1670 года участвовать в смотринах. В ноябре — 28-го и 30-го числа — государь изволил лицезреть 12 девиц, среди которых была дочка князя Г. Долгорукого

и две внучки печатника, думного дьяка Алмаза Иванова; 4, 12, 17, 20, 29 декабря к смотру были приглашены еще 19 красавиц; 3 января перед царем предстали две девицы. Затем последовал почти месячный перерыв. В феврале смотрины возобновились. 1 февраля в числе четырех «соискательниц» во дворец была привезена и будущая царица — воспитанница Артамона Матвеева Наталья Кирилловна Нарышкина. Всего же в феврале (1-го, 11-го и 27-го числа) перед царем прошло 13 девиц. 11, 12, 17 марта к этому списку прибавилось семь дворянских дочерей, а в апреле (1-го, 5-го, 13-го, 17-го числа) — еще 17, причем почти все — из провинциальных городов: Великого Новгорода, Владимира, Рязани, Суздаля, Костромы. В последний день из Суздальского Вознесенского девичьего монастыря приехала Авдотья Беляева, главная соперница Нарышкиной^[480]. Ее сопровождали родной дядя Иван Шихарев и бабка, старица Ираида, под присмотром которой, по-видимому, девушка-сирота воспитывалась в обители.

Приглянувшихся Алексею Михайловичу дворянских дочерей забирали на Верх — женскую половину царского дворца — до окончательного решения. Среди других оказалась здесь Наталья Нарышкина. Позднее завистники и недоброжелатели царской избранницы пустили слух, что по бедности при отце своем, служившем одно время в Смоленске стрелецким головою, Наталья Кирилловна бегала по городу в лаптях.

Конечно, это преувеличение. Однако дворянский род Нарышкиных не мог похвастаться ни высоким положением, ни чинами. Нарышкины издавна тянули службу, и их родословное дворянское древо было щедро украшено ветвями тупиковыми, обрубленными — сгинул, умер от ран, убит. Дед Натальи Кирилловны

(прадед Петра Великого), Полуект Борисович, вместе со своим братом Поликарпом благополучно пережил Смуту. В 20-е годы Полуект значился по тарусской десятне со средней дачей выборного дворянина в 414 четвертей. Погиб он под Смоленском, в полках М. Б. Шеина, успев записать своих детей жильцами. Угодив в московский список, Нарышкины могли несколько быстрее двигаться по служебной лестнице. Дед Петра, Кирилл Полуектович, до счастливой перемены в своей жизни — свадьбы дочери — дослужился до оклада в 38 рублей и 850 четвертей земли. По московскому списку он числился в стольниках, и это, скорее всего, было бы венцом его карьеры, и без того довольно успешной благодаря покровительству Матвеева. Но судьба сложилась иначе, и Кириллу Полуектовичу уготовано было боярство «по кике».

Старшая дочь стольника, девятнадцатилетняя Наталья Кирилловна, по преданию, еще ранее приглянулась овдовевшему царю. Будущая царица жила в доме Артамона Сергеевича, где ее якобы в один из наездов и углядел Алексей Михайлович. Однако царь все же решил соблюсти приличия и от традиционного смотра не отказался.

Существует и иная версия. По свидетельству Рентенфельса, царь «потаенным ходом» ходил в дом к Матвееву и из тайника (!) наблюдал за собранными у Артамона Сергеевича для смотра девушками. При этом его интересовали не только внешний вид возможных избранниц, но и их поведение и духовные качества. Нарышкина царю понравилась, и он, «будучи проницательного ума, без проволочек с первого же раза избрал [ее] себе в сожительницы». Сама свадьба для невесты, ее покровителя и родных якобы была полной

неожиданностью и свершилась тотчас по объявлению царской воли^[481].

Однако представлять себе все дело так, как его живописал Рентенфельс, — значит совершенно не знать московские традиции и царя Алексея. Наиболее вероятных «претенденток» брали не в дом Матвеева (это означало отдавать их на заклание сопернику), а, как уже говорилось, на женскую половину дворца. Царь, хотя и прислушивался к Артамону Сергеевичу, но все же не до такой степени, чтобы путаться в том, кто особенно пришелся ему по душе. Это в 1647 году он мог, поддавшись внушению Б. И. Морозова, забыть Всеволожскую и отдать платок Милославской. В 1670 году такое бы не прошло. Скорее всего верно другое: царь, даже после знакомства с Нарышкиной, все еще колебался — ведь он действительно имел дело с настоящими красавицами!

Но и это не все! Существует еще одна, прямо-таки романтическая версия знакомства царя с Натальей Кирилловной, якобы рассказанная академику Якобу Штелину, автору «Подлинных анекдотов о Петре Великом», графиней М. А. Румянцевой — внучкой А. С. Матвеева.

Начало этой версии совпадает с сообщением Рентенфельса. Первая встреча царя с Нарышкиной состоялась в доме Матвеева. Тишайший заметил девушку, когда она вышла к гостям, чтобы по традиции приподнести чарку с водкой. Алексей Михайлович вступил с ней в беседу, и бойкая Нарышкина, не особенно смущаясь, — вот они, последствия матвеевских «журфиксов»! — учтивыми и разумными ответами расположила государя к себе. Прощаясь с Матвеевым, царь поинтересовался: не ищут ли родители мужа для этой девицы? Артамон Сергеевич ответил положительно, посетовав на то, что небольшое

приданое отпугивает женихов. Алексей Михайлович прозрачно намекнул, что есть еще люди, которые красоту и достоинство девушки ставят много выше размеров приданого, и пообещал помочь своему любимцу в поисках.

Царь и дальше не утратил интереса к Нарышкиной. Когда Матвеев пожаловался ему на молодых людей, которые, что ни день, приходят полюбоваться красотой воспитанницы, не помышляя при этом о женитьбе, Алексей Михайлович успокоил его: «... Я оказался удачливее тебя и нашел жениха, который, возможно, придется ей по вкусу. Это весьма почтенный человек и мой добрый знакомый... Он полюбил твою подопечную и хотел бы жениться на ней и составить ее счастье. Хотя он еще не открыл ей своих чувств, она его знает и, надо думать, не отвергнет его предложение».

В полном соответствии с жанром «подлинных анекдотов» и галантного «политеса» осьмнадцатого столетия умница Матвеев и тут продемонстрировал невероятную недогадливость. Воспитанница ведь захочет узнать имя посватовавшегося, и «против этого, по-моему, трудно возражать», объявил он. Царь был наповал «сражен» столь веским аргументом и сдался: «Что ж, скажи ей, что это я сам...»

Бессмысленно в этом семейном предании пытаться отсеять вымысел от правды. В том, как его со слов графини записал Штелин, слишком много от XVIII века и очень мало от века XVII. Как мы видели, все было куда будничнее и прозаичнее.

Замечательно, что «бескорыстие» Алексея Михайловича — тема не только семейного предания, но и народного восприятия Тишайшего. В одной из народных песен об Алексее Михайловиче царское окружение, включая самого Никона (!), не советует ему брать в жены Наталью Кирилловну, поскольку ее отец «не знатно он, не богато живет», у него «земля не

богатая, не фамильная». Алексей Михайлович отвечает как истинный добрый молодец, которого не интересуется богатство: «Мне не нужно богатства, а нужна его доченька Наташенька...» В итоге все кончается благополучно — свадебным пиром^[482].

18 апреля 1870 года на Верху прошел второй смотр. Царь, однако, никому не отдал платок, и девицы были отпущены. Любопытно, что после этого во дворец вторично призвали Авдотью Беляеву. Ее дядя этим был чрезвычайно обрадован. Он вообще много суетился и очень неуклюже — откуда опыт-то взять — подталкивал дело. Кто-то ему шепнул, что боярин Хитрово нашел у его племянницы «изъян» — худые руки. Расторопный Шихарев попытался столкнуться с «дохтуром Стефаном», чтобы тот опроверг столь опасное мнение. Он даже придумал, как доктор узнает при осмотре Беляеву. Девица должна была «перстом за руку придавить, потому ее и узнаешь». Для верности Шихарев подпустил слезу: племянница его «беззаступная» сирота.

В Российском государственном архиве древних актов сохранился список участниц последнего государева смотра с небольшим потускневшим крестиком напротив имени Натальи Кирилловны. Зная о всех последующих переменах в царской семье, невольно приписываешь этой «бюрократической пометке» смысл мистический: царь кивнул, дьяк сделал пометку, год спустя родится Петр — история в самом деле кажется сотканной из случайностей!

Случайностей действительно было много. Потому что тотчас, как стало известно о намерении Алексея Михайловича избрать Нарышкину, была составлена интрига с подметными грамотками. 22 апреля во дворце были подняты два «воровских» письма. Текст писем не сохранился. Приказные предпочли передать

содержание иносказательно, как часто делалось при изложении «воровских», «непригожих» слов о государе. «Такого воровства и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоромах, а писаны непристойные [слова]...» (окончание утрачено)^[483].

Грамотки явно были обращены против Нарышкиной. Это видно из того, какое направление приняло следствие и как близко принял к сердцу все дело Алексей Михайлович.

Первое подозрение пало на Ивана Шихарева. Тем более что в его доме при обыске нашли травы — это извечное «ботаническое» проклятие российской истории! Царь приказал учинить расспрос боярам. Шихарев отрицал свою причастность к письмам. Но тут выплыли все проделки с проталкиванием Авдотьи и хвастовство Шихарева, что его племянницу уже взяли на Верх, а Нарышкину, напротив, с Верху свезли. Характерно, что эти речи были произнесены им в доме царского духовника Андрея Савиновича (Постникова), человека, способного повлиять на настроение государя.

Расспросы Шихарева ясность не внесли. Тогда подозреваемого приказано было пытаться. Его приводили к огню и били кнутом, но он держался крепко и свою причастность к подметным письмам решительно отрицал. Следствие зашло в тупик. Однако грамотки «с измышлениями» столь сильно задели Алексея Михайловича, что он попытался раскрутить дело с другого конца. 24 апреля стали сличать почерки подьячих и дьяков с грамотками. Для этого всем грамотеям велено было написать несколько слов, взятых из подметных писем. Строчки специально подобрали, чтобы не раскрывать содержание писем. Тем не менее кое-что уловить можно. Надо было написать: «...Рад бы я сам объявил и у него письма

вынул и к иным великим делам». Следовательно, подметчик намекал на еще какие-то известные ему преступления, помимо уже объявленного «великого дела» (о царской женитьбе?), причем не голословно — для доказательства имелись некие документы — письма.

Но кому тогда в подметных грамотках отведена роль злодея? Приказным надо было написать еще одно слово: «Артемошка». Не оно ли и есть ключ к интриге? Ведь «Артемошка» — это скорее всего Артамон Сергеевич. Значит, целясь в Наталью Кирилловну, палили по Матвееву, не без оснований опасаясь усиления его позиций после царской женитьбы. Позднее, будучи в ссылке, Артамон в своем письме к Федору Алексеевичу вспоминал про воровское послание с намерением учинить «препону» ко второму браку Тишайшего. Несклонные к разнообразию подметчики упомянули все те же «коренья», которыми Матвеев будто бы одурманивал и привораживал «несчастливого» Алексея Михайловича. По Матвееву, все это подметчики-воры «умышляли» для того, чтобы оттеснить его от Тишайшего.

Сличение почерков успеха не принесло. Признано было, что иные «почерком понаходят», но «впрямь» ни один «не сходится». Смятение не улеглось. Всем было ясно, что дело здесь нечистое и замешаны люди самые высокие, вхожие в государевы комнаты. Ясно и то, что в передрагу под названием царские смотрины со своими раскрасавицами дочерьми без сильного заступника лучше не соваться — затопчут. Петр Кокорев в сердцах даже посоветовал всем дворянам дочерей своих «в воду пересажать, нежели их Верх к смотру привозить»^[484].

Между тем рассерженный Алексей Михайлович не хотел оставлять дело незаконченным. 26 апреля прибегли к последнему средству. С Красного крыльца

московским дворянам были показаны подметные послания и объявлено о большой награде тому, кто назовет или приведет их автора. Но и эта мера не принесла успеха. Так дело и повисло, перейдя в разряд неразрешенных.

Некоторые историки не без основания подозревают в причастности к письмам Богдана Матвеевича Хитрово, большого мастера по части интриг и заговоров. Понятны и мотивы, которыми мог руководствоваться дворецкий: зависть к Матвееву. Трудно сказать, насколько это догадка верна. В ходе расследования судьи вышли на некоего кузнеца Василия, который донес о речах человека Артамона Матвеева Кирилла. Тот при нем, будучи в гостях, объявил: есть де у Артамона племянница и возят ее в Верх для сочетания брака за великого государя и той де девице за великим государем в супружестве не бывать. Не бывать в Верху и боярину Богдану Матвеевичу Хитрово.

Для осуществления своего замысла холоп Кирилл с неким монастырским служкой Василием сотворили «воровское письмо». Казалось, что извет кузнеца наконец-то выводил на авторов злополучных грамоток. Началось быстротечное расследование. Алексей Михайлович не посчитал за труд самому расспросить подозреваемых и даже устроил «следственный эксперимент» — велел отправиться на место преступления, требуя, чтобы холоп показал, где именно он подкинул письма. Если вспомнить, что год спустя, при всей заинтересованности в выяснении целого ряда обстоятельств движения Степана Разина (в частности, связи с Никоном), царь все же посчитал свое личное присутствие при допросе грозного атамана необязательным, то легко представить, сколь сильно он был задет в 1670 году.

Участники процесса вели себя по-разному. Дворовый человек заявил, что в гостях только и сказал, что

Артамон Сергеевич девицу замуж отдает, а куда, за кого, а также про Хитрово и про «подметное письмо» — ничего не говорил. Кириллу дали 30 ударов кнутом и подпалили огнем — он повинился, что сам, никем не подученный, написал и подбросил две грамотки. Сделал же то, желая «от Артемона отбыта от холопства». А на Хитрово в той грамотке писал для того, что они с Матвеевым «живут в совете».

Расследование осложнялось тем, что кузнец объявил, что воровское письмо при нем писали Кирилл с монастырским служкой Иосифом. Он даже опознал письмо, когда следователи предъявили его в качестве доказательства. Но приведенный к расспросу и пытке монастырский служка держался твердо: ничего они с холопом Матвеева не писали. Между тем Кирилл в очередной раз привел следствие в замешательство. 3 мая, после того, как он показал царю и боярам места, куда «подметывал грамотки», Кирилл от своих слов отказался: оговорил себя напрасно.

С точки зрения феодального права, признание подозреваемого в своей вине — доказательство безусловное. Но Алексей Михайлович и этим не удовлетворился. Ему нужна была правда. По приказу государя вторично провели экспертизу почерка Кирилла и Иосифа. На этот раз почерки сравнивали и выясняли, могли ли подозреваемые писать «руками обеими и назад письмо». Иосиф объявил, что пишет одною рукою, а другою рукою и ногами (!) не пишет.

Удивительно, но дело окончилось ничем, и подозреваемых отпустили. Правда, при этом изрядно поджарив и ободрав кнутом. Показания Кирилла были признаны оговором. Главное, почерки подозреваемых не подошли, да и дворовый человек, как оказалось на месте, подметывал грамотки не туда, куда надо [\[485\]](#). Так что и это следствие не позволяет приоткрыть страшную

тайну «подметных писем». Тем не менее нельзя сказать, что это «пустое» для исследователей дело. Оно подтверждает тот факт, что царь проявлял интерес к Нарышкиной еще до того, как официально было объявлено о государевом выборе. Во всяком случае, об этом, как об общеизвестном и бесспорном, говорил Кирилл.

Кажется, история с подметными письмами еще более укрепила чувства стареющего Алексея Михайловича. Препятствия разжигают. А здесь выстраивали препятствие явное, с «корешками» и клеветами. Однако в результате свадьба оказалась отложенной на целых девять месяцев, до 22 января 1671 года.

Рентенфельс пишет, что о венчании было объявлено неожиданно не только для Натальи Кирилловны, но и для Матвеева. Невесту поутру просто разбудили и повезли под венец, облачив в драгоценное платье столь тяжелое, что она изнемогла в нем. Скорее всего, и здесь Рентенфельс причудливо перемешал реальные события с вымыслом. Но при этом он довольно точно передал обстановку кануна свадьбы. Все, включая самого Алексея Михайловича, пребывали в напряжении, страхуясь и перестраховываясь.

Венчал молодых в Успенском соборе царский духовник. После венчания последовал шумный пир «без мест» (то есть без соблюдения местнических норм). Посаженым отцом стал князь Н. И. Одоевский, посаженной матерью — его супруга Авдотья Федоровна. Артамон Матвеев стоял у сенника — почивальни новобрачных — место скромное (он был товарищем боярина И. А. Воротынского), но показательное по степени доверия государя.

Рентенфельс донес до нас описание Нарышкиной, сделанное два-три года спустя после свадьбы. Но и тогда оно свидетельствовало в пользу царской

избранницы: «Это — женщина во цвете лет, роста выше среднего, с черными глазами навывкате, лицо у нее кругловатое и приятное, лоб большой и высокий, и вся фигура красива... голос, наконец, приятно звучащий, и все манеры крайне изящны»^[486].

30 мая 1672 года у Натальи Кирилловны родился первенец — будущий царь Петр I. Обрадованный Алексей Михайлович отпраздновал это событие большими пирами и милостями. Среди остальных был отличен А. С. Матвеев, вместе с отцом царицы пожалованный чином окольничего. А два года спустя, в октябре 1674 года, по случаю крестин царевны Феодоры, Артамон Сергеевич получил высший думный чин. Накануне этого события произошло еще одно, несравненно более важное: был объявлен народу наследник престола, царевич Федор Алексеевич. Эта важная процедура не случайно приурочивалась к 1 сентября — началу нового года. Подчеркивалась непрерывность обновления — возобновление династии отражалось в повторении годовых циклов.

В семье Алексея Михайловича это уже был второй случай. Первым был объявлен царевич Алексей Алексеевич. Воспитанник Ф. Ртищева, он много обещал — был образован и хорошо подготовлен к царствованию. Но в январе 1670 года наследник скончался. Теперь настал черед Федора Алексеевича. Во время церемонии царевич произнес речь, поздравляя царя и патриарха с новым годом. Затем наследника показали иноземцам. «Вы видели сами государя царевича пресветлые очи и какого он возраста: так пишите об этом в свои государства нарочно», — объявил при этом боярин Хитрово, имея в первую очередь целью пресечь всяческие «самозванческие» слухи и домыслы.

Однако приобщение наследника к государственным делам — участию в разного рода придворных церемониях — получалось плохо. Федор Алексеевич отличался слабым здоровьем. Его царствование обещало быть смутным, с острым соперничеством боярских партий при государе, который не то что взлететь, расправить крылья не имел сил. И это царствование наступило неожиданно скоро.

После патриарха Никона во главе церкви оказывались люди иного масштаба и устремлений. Они были из породы тех, кто «поваден», — послушны и бесконфликтны. Если уж им и приходилось демонстрировать властность, то в первую очередь в отношении к церковным раскольникам — староверам. После решений церковного собора 1666–1667 годов гонения на раскольников усилились. Тому немало способствовали события в Соловецком монастыре, братия которого наотрез отказалась служить по новым исправленным книгам.

В борьбе с раскольниками патриарху Иоасафу II не удалось снискать больших лавров. Еще менее успешным оказалось правление немощного Питирима (1672–1673). Поставленный на патриарший престол скорее из сочувствия — Питирим всю жизнь безуспешно тянулся к посоху святого Петра — он просто не имел уже сил ни жить, ни править. Кажется, подобное слабосилие архипастырей вполне устраивало Алексея Михайловича. «Синдром» Никона настолько тяготил его, что он долго предпочитал скорее мириться с неустройством в церковной жизни, чем терпеть сильного и самостоятельного патриарха. Отчасти это давало возможность «саботировать» некоторые решения собора 1667 года. Так, несмотря на обещание, продолжал функционировать Монастырский приказ и

его приказные по-прежнему вмешивались в имущественные и финансовые дела церкви.

Однако очень скоро Алексей Михайлович столкнулся с неприятным последствием ослабления позиций первостоятеля: о своих правах во весь голос заявили русские архиереи. «Бунт» русских святителей на соборе 1667 года свидетельствовал о том, что, избавившись от Никона, архиереи вовсе не собирались отказываться от его идеи о господствующем месте церкви в жизни государства и общества. Алексей Михайлович поневоле должен был задуматься об ограничении власти русского епископата.

Стеснить его можно было, проведя административно-территориальную реформу в церкви, увеличив число епархий и усложнив систему управления. Умножение числа епархий делало архиереев поневоле более покладистыми и зависимыми от власти; им труднее было столкнуться, выступить единым фронтом. Да и финансовое положение епархий и их владык оказывалось уязвимее.

Об учреждении новых епархий и усложнении системы церковного управления толковали еще на соборе 1667 года. Инициаторами тогда выступили греческие владыки. Они предложили учредить восемь новых епархий. Однако русским архиереям удалось провалить эти планы. Противодействие епископата побудило Алексея Михайловича отступить. Но отступить — не значит отказаться. Наступившее после смерти Иоасафа межпатриаршество позволило царю в 1672 году созвать собор для учреждения Нижегородской епархии. Новая епархия создавалась в основном за счет «отчуждения» земель из патриаршей области. Поскольку предложение непосредственно никого из архиереев не затрагивало, согласие на учреждение Нижегородской епархии было получено [\[487\]](#).

После смерти в апреле 1673 года Питирима Алексей Михайлович склонился к мысли о необходимости избрания деятельного патриарха. Возможно, в личном плане это было связано с тем, что болезненные воспоминания о патриархе Никоне, «затеснившем» царскую власть, поблекли. Зато острее стала нужда в первосвятителе, способном найти управу как на раскольников, так и на чрезмерно самовластных архиереев. Таким стал новый и последний в жизни второго Романова патриарх Иоаким (1674–1690).

Это была незаурядная личность. Происходил Иоаким из дворянского рода Савеловых. До тридцати лет он исправно нес полковую дворянскую службу. Крутой поворот в судьбе будущего патриарха произошел в 1652 году, когда, потеряв жену и сыновей, Иван Савелов принял постриг в Киевском Межигорском монастыре. По всей видимости, на Украине же, в Киевской Духовной академии, он пополнил свое богословское образование. Выдвинулся он в годы правления Никона. Патриарх сманил его в Москву, сделав строителем Новоиерусалимского монастыря. К счастью для Иоакима, его общение с Никоном не перешло ту черту, когда его стали бы считать человеком патриарха. Возможно, именно тогда Алексей Михайлович и обратил внимание на закаленного воина. Далее последовали пребывание в Иверском и Новоспасском монастырях, настоятельство в Чудовом монастыре, поставление на Новгородскую митрополию (1672) и, по сути, управление церковными делами при изнемогающем Питириме. Не приходится сомневаться, что избрание Иоакима произошло с согласия Алексея Михайловича.

Однако за сильного патриарха приходилось «расплачиваться». Лояльность Иоакима имела известные пределы. Новый патриарх начал с того, что потребовал исполнения решений собора 1667 года —

закрытие Монастырского приказа. Правительство на этот раз подчинилось.

Одновременно Иоаким стал твердой рукой наводить порядок в церкви и упрочивать свое положение. Он был немало обеспокоен отношением царя к опальному Никону. Алексей Михайлович постоянно интересовался его положением, через своего духовника получал грамотки и челобитные Никона, посылал ему дары. С этим еще можно было мириться. Однако вызывающе вел себя сам Никон. Чего стоил один только крест, который Никон воздвиг на каменном острове близ Ферапонтова монастыря. Надпись на нем гласила: «Никон, Божию милостию патриарх, поставил сей крест Господний, будучи в заточении за слово Божие и за святую Церковь на Белеозере в Ферапонтовом монастыре в тюрьме»^[488]. Иоаким приложил немало усилий, чтобы обуздать непокорного старца. Он потребовал ужесточения режима, «чтобы положить конец злым замыслам и противным делам Никона». Предложение осталось без ответа. По-видимому, этому воспротивился Алексей Михайлович. Пришлось Иоакиму смирять старца «по своей линии», выговорив властям Ферапонтова монастыря за попустительство бывшему владыке. Лишь после смерти Алексея Михайловича Иоаким получил возможность хотя бы отчасти поквитаться с Никоном. Тот был переведен «на исправление» в Кирилло-Белозерский монастырь, условия пребывания в котором отличались большой суровостью.

Одновременно Иоакиму пришлось обуздывать епископов, привыкших при слабых патриархах к известной вольности. Очень показательна история с Коломенским архиепископом Иосифом. Это дело — одно из последних в царствование Алексея Михайловича. Сколь ни своеобразна фигура Иосифа, эта история

наглядно показывает, во-первых, насколько сильны были теократические настроения в среде высшего русского духовенства, и, во-вторых, как критически оно относилось к Алексею Михайловичу. Здесь было мало уважения, мало страха, мало желания понять.

Иосиф был чрезвычайно высокого о себе мнения. Он требовал, чтобы перед ним несли крест «по чину святейшего патриарха», и ездил не в санях, а в «избушке» — карете. По отзывам современников, Иосиф был «горд, яко древний фараон, и велеречив». Авторы доноса передавали слова архиепископа о самом себе: «То-то де высокий разум дал Бог». На церковном соборе 1675 года, где вновь был поднят вопрос о неподсудности духовенства светским властям, по словам Иосифа, защищал интересы архиереев только он и нижегородский митрополит Филарет: «...А патриарх де, только бороду уставя, сидел, ничего не знает». Про остальных также говорить не приходилось — «все шушера, и скоты, и трусы».

Доставалось от Иосифа и царю. Речи архиепископа были столь дерзновенны, что следователи, прежде чем пересказать их, давали им следующее определение: это были «злословныя, неистовыя, бранныя, поносныя, грубныя, непристойныя, хульныя, нелепые слова ругательныя, некоторыми глаголы умом невозможно вместити».

Что же такого говорил коломенский владыка?

По словам доносителей, он «жестко» критиковал Алексея Михайловича: «Великий государь — глуп и болван, и дурак; не имеет де в царстве никакие разправы собою чинить: люди де им владеют, а он де лишь ездит; прежняя цари святые места снабдевали, а он де разоряет, емлют всякие подати лишние большие, а бояре де хамов род, государь де того и не ведает, что они делают». В итоге Тишайший, слушая бояр, «землю всю запустошил».

Архиепископ не оригинален, да и обвинения не новы. Подобные упреки в адрес Тишайшего не раз раздавались из уст и Никона, и старообрядцев. Несколько неожидан лейтмотив о неумении государя «чинить расправу» — управлять царством. Он перекликается с обвинениями, звучавшими 30 лет назад, в начале правления Алексея Михайловича, когда им «владел» боярин Морозов.

Несомненно, главная причина неудовольствия велеречивого Иосифа — церковная политика царя. Даже те уступки, которые под давлением высшего духовенства позволил Алексей Михайлович, не смягчили его. Впрочем, «высокоумие» архиепископа толкнуло его на куда большие обобщения. Он отказывает Алексею Михайловичу во всем — в уме, воле, таланте правителя. Нет нужды останавливаться на выяснении обоснованности «претензий» архиепископа. Дело интересно в ином плане — проявлении менталитета, присущего части элиты русского общества. По сути она признает только один аргумент — грозу. Добросердечие Алексея Михайловича принимается за слабость, «умеренный» авторитаризм Тишайшего подвергается уничтожающей критике. В запале Иосиф объявил, что он не боится царя, «и говоря, плюнул и ногою подтер...».

Донос не сразу имел последствия. «Почитая архиерейский чин», царь велел сначала провести тщательный розыск. Обвинения были подтверждены. В декабре 1675 года перед церковным собором Иосиф должен был признать свои вины. В марте, уже после смерти Тишайшего, отправленному в монастырь Иосифу указано было молиться для поминовения души Алексея Михайловича [\[489\]](#).

Но если в случае с заносчивым и недалеким Иосифом правда все же оказалась на стороне Алексея Михайловича, то в истории с Соловецким монастырем дело обстояло далеко не так просто. Разумеется, с точки зрения феодального права происходившее под стенами обители Святых Зосимы и Савватия было вполне законным подавлением настоящего мятежа. Старцы были сами виноваты в случившемся. Сначала они отринули новопечатные книги и выбили из монастыря никонианского игумена. Затем довели распрю до вооруженного сопротивления, пускай и оказанного в ответ на силу. Но силу царскую, отчего их сила превращалась в силу мятежную. Тут, бесспорно, — бунт, монастырская тюрьма и виселица.

И все же положение царя оказывалось двойственным. Ведь одно дело — церковная распря, другое — ядра, летящие в обитель Божью. В этом смысле архимандриту Никанору, одному из вождей мятежа, было куда легче кропить на стенах святою водою «матушек-галаночек» — монастырские орудия, которым предстояло палить в царское войско. Сам этот символический акт превращал осаждавших в нечестивое антихристово воинство, а царя, наславшего его, — во врага церкви^[490].

Связав борьбу с защитой истинной веры, соловецкие иноки естественным образом выдвинули вперед проблему немоления за царя, поддержавшего церковные реформы. Если доводить до конца их толкования, то благочестивый Алексей Михайлович превращался в царя-антихриста, вдвойне опасного из-за своего внешнего, ложного благочестия. Мы ничего не знаем о реакции Тишайшего на подобного рода заключения. Можно предположить, что она была бурной — даже у в общем-то благодушного Тишайшего мера

терпения была не столь безгранична, чтобы пережить такую обиду.

Конфликт развивался неровно. То тлел углями, то озарялся пламенем старообрядческого радикализма. Долгое время в монастыре надеялись, что государь образумится и вернется к старому обряду. Резкие перемены произошли тогда, когда монастырь по указу лишился части своих владений. Алексей Михайлович определил свою позицию к бунтовщикам. Бунтовщики, в ответ, определили свою — они отменили общеобязательную молитву за царя. Со стен обители в адрес царя с тех пор стали раздаваться такие непристойности, что воевода Мещеринов отписал, что «не толко те их злодейственные непристойные речи написать, но и помыслить страшно». Формула, между прочим, обычная: выпады против государей часто прятались за неопределенные выражения типа «непристойные», «неистовые», «воровские» слова. Но когда добавляли, что «помыслить страшно», то это уже точно был край.

В 1669 году из молитвы было изъято конкретное имя — Алексея Михайловича — и восстановлена привычная формула моления о «благочестивых князьях», как это и было до Никона. Немоление превращало Алексея Михайловича в царя-антихриста. Ведь можно было, согласно Апостолу, молиться за царя неверного, но нельзя молиться за царя-антихриста или его службу^[491]. В декабре 1673 года, когда радикализм достиг самого высшего градуса, немоление за царя дополнилось отказом и от заздравной чаши за царя и членов его семейства. Дело дошло до того, что из Синодика выскребли имя царицы Марии Ильиничны.

Правда, соловецкая братия не была столь единодушна в этом решении. Известны и отступления. Так, в последний год жизни Тишайшего, в день его

именин, в Успенской церкви пели о царском здравии. В тот же день в трапезной случился пожар, который тут же был истолкован истовыми староверами как наказание за отступничество. Охотников именно так истолковать происшедшее, по всей видимости, оказалось с избытком. Не случайно старец Аввакум показывал: как на отпуске запоют многолетие за Алексея Михайловича, половина монахов из церкви выходит [\[492\]](#).

Взятие и разорение Соловецкой обители положило конец колебаниям — ибо колебаться попросту стало некому. Но зато радикализм, усиленный слухами о страданиях соловецких мучеников, щедро выплеснулся за монастырские стены. Антиправительственные настроения среди старообрядцев резко усилились. Хронологическое совпадение двух событий — смерти Тишайшего и взятия царскими войсками Соловецкого монастыря — тут же было истолковано соответствующим образом. Смерть Алексея Михайловича «в канун дня Страшного суда» — Божье наказание неблагочестивого царя, царя-отступника...

Мятежные Соловки — лишь одна из «заноз», которую пришлось с мясом вырывать Алексею Михайловичу в последние годы своей жизни. Еще одна, не менее неприятная и болезненная, — боярыня Феодосия Прокофьевна Морозова. Происходила она из второразрядного московского рода Соковниных и была в родстве с царицей Марией Ильиничной Милославской, которая к ней всячески благоволила. Благоволил к ней и Алексей Михайлович: ведь Феодосия Прокофьевна была супругой младшего брата его «дядьки», боярина Глеба Ивановича Морозова.

Боярыня Морозова стала яркой противницей церковных нововведений. Овдовев в 1662 году, она —

завидная и богатейшая невеста — не стала вторично выходить замуж и предалась подвигам благочестия. Ее дом превратился в прибежище для всех сторонников старой веры. Вернувшийся из сибирской ссылки протопоп Аввакум несколько месяцев жил у своей духовной дочери, почитавшей и во всем слушавшей своего духовника. Несомненно, именно протопоп привил боярыне ту истовость и фанатизм, с какими она стала отстаивать «правые догматы».

В Кремле смотрели сквозь пальцы на чудачества Морозовой. Во-первых, из-за царицы, во-вторых, из-за памяти, которую царь питал к Морозовым, в-третьих, из-за того, что Феодосия Прокофьевна была, по-видимому, не одна такая: при дворе имелись и другие приверженцы двуперстия. Требовалось, однако, соблюдение некоего приличия — не бравировать своими убеждениями, не кичиться ими, на людях по-старому открыто не молиться. Морозова до поры до времени так себя и вела. Но после ссылки на Мезень Аввакума она осмелилась бросить открытый вызов церковным властям и двору. Перестала являться на службы, причем ссылаясь не на нездоровье — вот лазейка! — а на то, что службы служат никоновские попы.

По царскому слову вразумлять строптивую вдовицу были посланы архимандрит Чудова монастыря Иоаким (будущий патриарх) и Петр ключарь. Морозова не исправилась, и летом 1665 года указано было отписать на царя часть вотчин вдовы. Жесткая мера, по-видимому, внесла известный диссонанс в семейную жизнь Алексея Михайловича. Во всяком случае царица не отказалась от мысли заступиться за свою боярыню. Подходящий момент наступил в октябре 1666 года, когда только что разрешившаяся от бремени царевичем Иваном Мария Ильинична попросила вернуть Морозовой часть московских вотчин ее мужа. Алексей Михайлович не посмел противиться, и просьба была уважена.

Особые отношения с царицей удерживали Феодосию Прокофьевну от крайних шагов. Она даже «приличия ради... ходила к храму». Но смерть царицы развязала ей руки. Не стало заступницы, способной умерить гнев Тишайшего. Но отпала окончательно и необходимость таиться и сдерживать себя. В конце 1670 года Морозова приняла тайный постриг. Теперь под пышной одеждой боярыни она носила жесткую власяницу.

Постриг, пускай и тайный, ко многому обязывал. Пространство для компромисса сузилось до размера дома. Но «верховая» боярыня — боярыня придворная, и ей невозможно замкнуться за стенами своей усадьбы.

22 января 1671 года Морозова отказалась присутствовать на второй свадьбе Алексея Михайловича, где ей предстояло «в первых стояти и титлу царскую говорити». От царского недовольства не спасла и ссылка на недуг. Отказ был воспринят не просто как вызов, но как демонстративное оскорбление государя. И все же Тишайший еще сдерживался, пытался образумить закосневшую раскольницу внушением и игрою на любви к сыну — ведь от ее строптивости могла пострадать карьера единственного сына Ивана.

Напрасно. Морозова непреклонна. Она сделала свой выбор. Терпение царя лопнуло. В ночь на 16 ноября 1671 года Морозова была взята под стражу вместе с сестрой, княгиней Е. П. Урусовой. В Чудовом монастыре власти учинили допрос сестрам. Обе стояли на своем и наотрез отказались причащаться по Службникам новой печати. Настало время мучений и мытарств по тюрьмам.

Мучения Морозовой — особая статья. Для сторонников старой веры пытки и мучения — основания уподобить боярыню христианским первомученикам. Вот почему известная старообрядческая «Повесть о

боярыне Морозовой» не скупится на их описание. Устрашить заблудшую овцу готовы все — и все отступаются, сокрушенные твердостью ее духа и веры. Сам патриарх Питирим, посрамленный боярыней, приказывает тащить вдовицу, «яко пса, чепию за выю», и ее тащат под надрывный крик патриарха: «Утре страдницу в струб! (то есть в костер, в сруб, в котором сжигают раскольников. — *И.А.*)», да так, что она «все степени (ступени. — *И.А.*) главою своею сочла».

Судьба Морозовой мало кого оставила равнодушной. Народ был поражен. Если богатая боярыня, один выезд которой «на аргамаки многи» сопровождали сотни слуг, «отрясла прах» богатства и роскоши ради старой веры, то не это ли лучшее доказательство истинности древнего благочестия? Морозова превращалась в героиню раскола, которой не хватало лишь мученического ореола — праведной смерти.

Толки о Морозовой беспокоили Алексея Михайловича. Боярыня становится не просто постоянным источником беспокойства в стране и в семье. Она — личный недруг государя, неблагодарная, закосневшая в своем упрямстве вдовица, забывшая о всех его благодеяниях. А мы уже знаем, сколь болезненно переносил Тишайший именно неблагодарность!

Этим отчасти и можно объяснить столь несвойственную Алексею Михайловичу жестокость. Он холодно и последовательно преследует боярыню. Ходатайство царевны Ирины Михайловны смягчить участь Морозовой решительно отклонено. В 1674 году Морозову и Урусову увозят в Боровский острог с наказом держать узниц в строгости и изоляции. Когда же в Москве узнают о послаблении режима и о посещении сестер близкими людьми, следуют новые меры. У заключенных отбирают книги, иконы и одежду. В остроге учиняют глубокую земляную тюрьму с тем,

чтобы держать сестер в «тме несветимой» и «задухе земной». Под страхом смерти охране запрещено давать узницам питье и пищу.

Первой умирает Урусова. Следом, в ноябре 1675 года уходит из жизни Морозова. «Повесть о боярыне Морозовой» так описывает ее кончину. Изнемогая от голода, она обращается к охранявшему ее стрельцу:

— Помилуй меня, дай мне калачика...

— Нет, госпожа, боюсь...

— Дай хлебца...

— Не смею...

— Дай немного сухариков...

— Не смею...

Стрелец ничего не посмел — только по просьбе боярыни постирал ей перед смертью сорочку. Когда же «малое оно платно» стирал, «лицо свое омываше слезами, помышляючи прежнее ея величество, а нынешнюю нужду, како Христа ради терпит»^[493].

Скорее всего, эти строки — вымысел автора, этикетное превознесение героини. Как и признание Алексея Михайловича относительно его распри с Морозовой: «Тяжко ей братися со мною — един кто от нас одолеет всяко». Совершенно прав был известный исследователь древнерусской культуры А. М. Панченко, усомнившийся в том, что самодержец мог «хоть на миг допустить, что его „одолеет“ закосневшая в непокорстве боярыня... В данном случае вымысел — это глас народа. Народ воспринимал борьбу царя и Морозовой как духовный поединок... и, конечно, был всецело на стороне „поединщицы“»^[494].

Надо признать, что и в реальной жизни, и в исторической перспективе Алексей Михайлович проиграл поединок Морозовой. Если та сумела проявить в противоборстве с царем свои лучшие качества и привлекала на свою сторону симпатии народа, то

Алексей Михайлович выглядит в этом конфликте далеко не лучшим образом: он оказался неожиданно злопамятен и мелок.

Кончина Тишайшего

Кончина Алексея Михайловича кажется неожиданной. Достигнув по тогдашним временам зрелого возраста, царь, по своему умеренному образу жизни и строгому постничеству, должен был жить и жить. Между тем проблемы со здоровьем возникли у Алексея Михайловича уже в 60-е годы. Царь страдал от повышенного давления. Может быть, именно этим объясняется его особое пристрастие к состоянию государевой аптеки. Он, не любивший переплачивать, готов был пойти на большие расходы, чтобы заполучить очередное чудодейственное лекарство, сулящее избавление от болезней.

Николаасу Витсену, не упускавшему случая разузнать все о жизни московских государей, удалось в феврале 1665 года расспросить царского «лейб-медика» Энгельгардта о состоянии здоровья Алексея Михайловича. Энгельгардт находился в этот момент в немилости, поскольку имел неосторожность заявить, «что царь такой же человек, как другие, что исцеление должно прийти от Бога, а от него зависит лишь применение того или иного лекарства». Ситуация с опалой, между прочим, очень русская: при том, что для русского человека была свойственна твердая вера в Божественный Промысел, иноземцев постоянно подозревали в намерении утаить свои истинные знания. В данном случае — в нежелании лечить по-настоящему. Опала и немилость должны были привести немца в чувство и побудить его к эффективному врачеванию.

Энгельгардт был обижен и не без оснований обвинял коллег в интригах. В таком состоянии он оказался необычайно разговорчив, хотя и знал, что тема царского здоровья может очень пагубно сказаться на

здоровье собственном. От Энгельгардта Витсен узнал, что царь редко показывается докторам: «Они хотят, чтобы медицинские предписания давали, не осмотрев больного!» Иноземный лекарь даже привел случай, когда ему с величайшими предосторожностями показали царевича (по-видимому, Алексея Алексеевича), «однако лишь для того, чтобы в случае его болезни назначить лечение без его осмотра»^[495].

Документы Аптекарского приказа подтверждают слова Энгельгардта. Врачи действительно часто лечили членов царского семейства заочно, исходя из словесного описания недуга, прежних знаний о болезни и осмотра «вод» — мочи больного. В такой странной манере лечения отражался особый статус двора, закрывавший от всех, в том числе и от докторов, частную жизнь монарха. Правда, бывали и исключения, вызванные личностью государя и силой недуга. Сильно болевший царь Борис Годунов не только расширил штаты Аптекарского приказа, но и приказывал селить приехавших докторов поближе ко двору, чтобы они всегда были под рукой^[496]. Многие зависело еще и от доверия, которое царственный больной питал к доктору. Известно, что Энгельгардта сильно потеснил англичанин Коллинс. Он не только лечил Алексея Михайловича, но и переводил царю газеты, присылаемые из Англии. Словом, был в «фаворе», если, конечно, это понятие применимо к данному случаю.

По свидетельству иностранцев, на Руси избегали лекарств. Предубеждение отчасти распространялось и на царя с придворными, хотя они, вкусив «блага цивилизации», не были столь упрямыми. При этом предпочтение отдавалось средствам, сулившим быстрое избавление. Не случайно в ходу было «рудометание» — кровопускание. Энгельгардт прежде часто прибегал к этому средству. Он даже хвастался

щедрыми наградами, которые получал от царя за то, что удачно «открывал кровь».

Сам Алексей Михайлович, испытавший на себе это чудодейственное средство борьбы с гипертонией, тотчас прописал его придворным. Известно, что отказ престарелого Стрешнева от подобного лечения обернулся вспышкой царского гнева. Царь посчитал, что если он пожертвовал своей кровью, то боярам и подавно не следует привередничать. На бедного Стрешнева обрушились тычки. Но не следует спешить с обвинением Алексея Михайловича в жестокости. На самом деле в этом казусе больше невежества и... доброты. Иноземные врачи отмечали, что у русских было в обычае требовать себе лекарство, которое на их глазах принесло кому-то избавление. Убедить их в том, что болезни имеют разную природу и, следовательно, лечатся по-разному, было чрезвычайно трудно. Неистребимая вера в сверхъестественное, свойственная русскому типу религиозности, играла в этом роль немаловажную. Все были убеждены в возможности создания универсального средства против всех хворей и болезней разом. Так что Алексей Михайлович поступал в полном соответствии с ментальностью русского человека. Кровопускание принесло ему облегчение — пускай и придворные незамедлительно испытают это чувство!

Но если кровопускание и молитва не приносили облегчения, приходилось лечиться всерьез. Доктора прописывали рецепты, на основании которых в Аптекарском приказе готовили лекарства. В документах эти лекарства для царя фигурировали без указания имени больного. По-видимому, все по той же причине: о царском нездоровье не принято было говорить вслух. Можно и нужно было подымать заздравные чаши, желая многолетия царю и его семейству^[497]. Распускать

же язык и рассуждать о хворях государя было смертельно опасно.

Закрытость темы была вызвана разными причинами. Боялись сглазу — ведь слово тоже наводило порчу. Опасались за стабильность в государстве: нездоровый и уж тем более умирающий государь — соблазн! Нужны были действительно веские основания — серьезная болезнь царя, чтобы, как последнее средство, прибегнуть к всенародному молению о государевом выздоровлении.

Приготовленное в Аптекарском приказе лекарство относилось «в Верх к государю в хоромы», как это было, к примеру, 25 января 1665 года^[498]. Дата для нас примечательная. Не только потому, что по стечению обстоятельств она совпала с расспросами, учиненными Витсенем Энгельгардту (тот расспрашивал его в начале февраля). Важнее другое. За пять дней до того, 20 января, царю был представлен перевод с латинского письма доктора Самуэля Коллинса. Письмо появилось не случайно. Оно — ответ на запрос Алексея Михайловича. Царь недомогал уже так часто, что был сильно обеспокоен состоянием своего здоровья. Потому искал первопричину недуга. Больше того, похоже, что он сам определил тему для ученых рассуждений Коллинса — тучность, с которой Романов интуитивно связывал свои болезни.

Действительно, как уже говорилось, Алексей Михайлович был склонен к полноте. Между тем никто и никогда не мог обвинить его в чревоугодии. «Царь умерен в пище, пьет очень немного вина, иногда только пьет коричневую воду (квас. — *И.А.*) или легкое пиво...» — пишет Коллинс. Ему вторят греки: «Монах ты или подвижник?»^[499]

Пока Алексей Михайлович был полон сил и энергии, полнота нисколько не беспокоила его, напротив,

свидетельствовала — по крайней мере в представлении русских людей — о его здоровье и красоте. Но с середины 60-х годов царь стал прихварывать, и вот тогда-то тучность стала превращаться из красоты в болезнь.

Свой ответ царю Коллинс начал с перечисления типов полных людей. «По Гипократову разумению, — писал он, — тонких природ человецы, не толико склонны суть к болезнем, якоже людия густых и тучных слияний, и самая убо тучность за недуг приняться может, которая есть сугуба, здравая и болезненная. Здравая яже естественных и подобающих умерений не преходит, не точию тучности и расположению чувства, и телесе ко укреплению взимается».

Далее врач переходит к описанию нездоровой полноты — к следствию и одновременно причине многих недугов человека. «Болезненная, яже от действия телесе повреждает, к праздности принуждает и сонною тяжестью чюства и движенья творить примрачны. Сего растворения действия суть одышка, тоска, ослабление, очесь, тяжесть, главоболение, насморк, удар, водяная болезнь, спячка, по расположению веществ к стечению». Едва ли мы ошибемся, предположив, что именно эти недомогания более всего беспокоили второго Романова.

Далее в письме Коллинса следовали рекомендации относительно образа жизни, который следовало вести Алексею Михайловичу. Они сводились к следующему: «Извлечение, или паче предохранение состоит во умерении ядения и питиа, во обучении и лекарстве». Иначе говоря, Коллинс предложил царю достаточно жесткую диету. Не ужинать, избегать молочное и «жесткие яди». Запретил есть свинину — она «повреждает». Мясо — только вареное, без чеснока и соли, причем предпочтение отдается птице — «рябчика, курятка, молодые журавлики, лебедки» и речной рыбе.

Кроме того, Коллинс советует больше двигаться, меньше спать днем («умеренный сон») и принимать лекарства, которые «мокроту изсучают»^[500].

Трудно сказать, насколько тяжелой была болезнь Алексея Михайловича. Однако, бесспорно, именно этот недуг сократил дни второго Романова. Подтачивал он его исподволь, то отступая, то напоминая о себе приступами слабости и боли. Причем случались они достаточно часто. В июне 1673 года царь приказал доставить в Преображенское травники. Едва ли Алексей Михайлович собрался изучать их только из любопытства. Похоже, у него имелись для этого более веские основания. Царь, судя по всему, разуверился в лечении и сам пытался найти составы, которые должны были принести ему облегчение. Не случайно же в последние годы жизни он постоянно возил за собой большой сундук с лекарственными травами^[501].

Еще один достаточно точный показатель царского самочувствия — частота его участия в церковных праздниках и охотничьих забавах. В последние годы жизни Алексей Михайлович стал проводить больше времени дома. Наблюдавший царя Рентенфельс пишет про «достоверного охотника»: «Довольно редко выезжает он на охоту в поместья, то есть в загородные дворцы». Большинство своих поездок царь предпочитал совершать теперь не верхом, а в карете.

И все же смертельный удар оказался неожиданным. Его Тишайшему нанесла прозаическая простуда. Конечно, между общим состоянием здоровья — а оно, несомненно, ухудшалось — и простудой существовала связь. Организм был ослаблен и уже не так, как прежде, сопротивлялся болезни.

Ничто не предвещало трагического исхода. Шел январь 1676 года. Царь был весел и здоров. Он принимал послов из Голландии, слушал с царевнами и

придворными музыку. 23 января явились первые признаки нездоровья. Царь лечился сам. Во всяком случае, доктора позднее утверждали, что государь отказался от их услуг. Собственное же лечение было своеобразным, если не сказать что самоубийственным. Весь в жару, царь требовал холодного кваса. На живот клал толченый лед. Через неделю положение стало безнадежным. По тогдашнему выражению, настало время «нашествия облака смертного», когда правитель «оставляет царство временное и отходит в жизнь вечную».

29 января царь собороновался и благословил на царство сына Федора. Одно из последних и традиционных волеизъявлений умирающего — освободить из темниц узников и уплатить долги за должников. В ночь с 29-го на 30-е наступили агония и смерть.

Поутру гроб был отнесен в Архангельский собор. За гробом в кресле несли Федора Алексеевича. Новый царь серьезно недомогал, так что придворные не были уверены в том, что им не придется вскоре повторять печальное шествие.

В траурной церемонии участвовала царица. Ее по традиции несли на носилках, устроенных по подобию саней.

По совершении литургии придворные простились с усопшим. Он был погребен на правой стороне собора подле гроба царевича Алексея Алексеевича.

Мы точно не знаем, насколько страдал Алексей Михайлович и какие мысли терзали его перед смертью. Когда-то он брался за перо и находил слова утешения для князя Н. И. Одоевского, потерявшего сыновей. Царь скорбел и одновременно радовался благочестивой кончине молодых людей, напоминал Одоевскому, что скорбеть следует в меру, чтобы не прогневить Бога. В конце января эти давно сказанные им слова пришло

время произносить другим — и уже по его поводу. Наверное, они и были произнесены — слова, призванные заглушить страх и вселить надежду, дарованную каждому верующему человеку, когда смерть есть не тьма, а новый свет встречи со Спасителем.

Согласно официальным источникам, царь умирал смертью благой, доброй — в просветлении и покаянии. Но покаяние — это еще и воспоминания о прегрешениях, которые не получили искупления^[502]. Воспоминания о неискупленных грехах томили душу Алексея Михайловича: как здесь не вспомнить, с какой настойчивостью он выпрашивал прощение у Никона? Видно, что для него здесь было нечто большее, чем просто христианская обязанность, — сокрытое, неостывающее чувство вины.

Скорбели ли о царе в народе? «Когда опечаленный народ увидел это похоронное шествие, то раздались такие ужасные, исполненные всенародной скорби вопли, что, казалось, уши раздирает какой-то пронзительный звон колоколов», — писал Рентенфельс^[503]. Но была ли эта скорбь искренней, а не этикетной? Едва ли в поиске ответа на этот вопрос нас устроит ни к чему не обязывающая ссылка на традиционное почтение и всеобщую любовь к Тишайшему. Вернее иное: народ, перевертывая последнюю страницу этого царствования, скорее всего был озадачен пугающей неизвестностью — что-то будет?

Переживания придворных, живших более тридцати лет при покойном государе, были куда разнообразнее и определеннее. Наступало время перемен. Одни придворные в эти дни дышали надеждою. Родственники, свойственники, знакомцы близких к Федору Алексеевичу людей не без основания

рассчитывали выдвинуться вперед. Других пугали забвение, угроза оттеснения от трона. Потому скорбь при дворе была всегда адресной, с диапазоном от скорби-радости до скорби-потрясения.

Иные чувства бушевали в стане староверов, окончательно изменивших свое отношение к Тишайшему с началом осады Соловецкого монастыря. «В муках он сидит, — слышал я от Спаса», — писал Аввакум, отправляя «благочестивейшего из царей» прямехонько в ад. Царь у протопопа умер, наказанный Богом. Свершен суд за разорение обители и казни соловецких мучеников — не случайно царь заболел на следующий день после падения Соловков, а скончался в канун дня Страшного суда^[504].

Рука Аввакума вывела слова совсем уничижительные для Тишайшего: «Бедной, бедной, безумное царишко! Что ты над собою зделал?.. где багряноносная порфира и венец царской, бисером и камением драгим устроен?.. Ну, сквозь землю пропадай!..»

Иначе воспринял известие о смерти царя Никон. Он расплакался. Но что в действительности стояло за этим старческим проявлением чувств? Искренняя печаль или надежда на счастливую перемену в судьбе? Что бы там ни было, бывший «собинный друг» своего низложения усопшему не простил и полного прощения не дал. «Воля Господня да будет, если государь здесь на земле перед смертью не успел получить прощения с нами, то мы будем судиться с ним во второе пришествие Господне; по заповеди Христовой я его прощаю и Бог его простит, а на письме прощение не дам, потому что при жизни своей не освободил нас от заточения».

Воцарение четырнадцатилетнего Федора Алексеевича прошло спокойно. Об этом сообщал в своих отписках датский резидент в Москве Монс Гэ. «Тотчас

после смерти государя (Алексея Михайловича. — *И.А.*), в тот же вечер, бояре посадили нового царя на отцовский престол, по принятому обычаю пригласили его целовать крест, затем приняли от него распятие и также поцеловали, присягнув на верность»^[505]. Все произошло очень быстро, так что далеко не все еще знали о смерти старого государя, а двор уже присягал новому. Подобная поспешность не была чем-то из ряда вон выходящим: именно так и следовало присягать, обеспечивая преемственность власти и правопорядок. Напротив, опасным было бы промедление — свидетельство о сомнениях.

Позднее появились толки о намерении посадить на престол младшего царевича Петра, сына Натальи Нарышкиной. Инициатором якобы выступал Артамон Матвеев, уговаривавший умирающего царя пойти на этот шаг. Предлог — царевич Федор очень болен и мало надежды на его жизнь. При том, что Милославские, родня наследника престола, всем порядком надоели и их вторичное явление ко двору едва ли могло обрадовать боярские кланы, не приходится всерьез говорить, что кто-то собирался обойти Федора Алексеевича. Царевич Федор — не слабый на голову царевич Иван, будущий соправитель Петра. Да и ситуация начала 1676 года — не ситуация апреля 1682 года, когда многое решалось придворными партиями, взявшими большую силу. Так что если в 1676 году подобная мысль кого и посещала, то очень робко, и провести ее в жизнь не представлялось возможным. Права объявленного наследником Федора Алексеевича были бесспорными.

Но слухи о физической немощи Федора, несомненно, муссировались в эти дни. Как и до смерти Алексея Михайловича, когда его старший сын ходил в наследниках, так и после. По свидетельству князя

Б. И. Куракина, Федор Алексеевич был «отягчен болезнями с младенчества своего». «Есть также большая вероятность, что теперешний царь, с детских лет совсем больной и меланхоличный, долго не проживет», — доносил в Копенгаген датский резидент [\[506\]](#).

Физическая немощь молодого царя вносила серьезные поправки в жизнь двора. Она делала монарха сильно зависимым от окружения. И одновременно упрочивала положение думы, возвращала ей позиции, утраченные при Тишайшем. Тело второго Романова еще не успело остыть, как началась борьба за передел сфер влияния. Эта борьба не прекращалась и в дальнейшем, исподволь подготавливая сценарий апрельских и майских событий 1682 года.

С уходом второго Романова завершалась огромная эпоха. Кончалась Московская Русь — начиналась Россия Нового времени. И хотя между Петровскими реформами и смертью Алексея Михайловича осталось еще место для нескольких лет царствования Федора и регентства царевны Софьи, в массовом сознании выстроилась именно такая последовательность: царь Алексей — император Петр. Конечно, подобная последовательность не точна хронологически, но она верна по существу.

Старшие дети Алексея Михайловича готовы были пойти много дальше своего отца, и уже это обстоятельство позволяет высказать крамольную мысль, что в последние годы жизни Тишайший невольно препятствовал реформам. Страна нуждалась в переменах структурных, коренных. Алексей же Михайлович скользил по поверхности, поощряя преимущественно новшества бытовые и военные. Второй Романов не мог решительно и безоглядно

оторваться от родной православной старины. Он — сын своего времени и остался этому времени верен. Парадокс, однако, заключается в том, что, оказавшись мало пригодным для роли радикального реформатора, Алексей Михайлович во многом эти реформы подготовил.

Историки могут много и справедливо говорить об экономической отсталости страны. Тем не менее в середине — второй половине столетия был создан потенциал, который оказался достаточным для преобразований, хотя бы на первых этапах. Да, приступая к строительству кораблей, Петр не мог обойтись без мастеров иностранных. Но руководили они рукастыми русскими мастерами и использовали изделия преимущественно отечественные.

Приказная система, достигшая расцвета при царе Алексее, оказалась совершенно непригодной к нуждам петровского времени. Приказной строй явно изживал себя и требовал полной переделки. Однако от отца великий реформатор унаследовал власть неограниченную, которая позволила ему модернизировать страну, включая ту же систему управления. При слабости сил общественных абсолютная власть оказывалась тем самым пресловутым рычагом, каким можно было перевернуть Россию.

Век XVII дал Петру «материал», без которого он бы не сумел и шага сделать вперед. Это — крестьяне, посадские и служилые люди. Царь мог сколько угодно сетовать по поводу их косности, невежества и инертности. Но он должен был радоваться их выносливости, терпению и готовности, надрываясь, безропотно тянуть лямку реформ. В этом проявились не только особенности русского национального характера. Весь стиль и нормы жизни XVI-XVII веков делали людей такими. Попробовал бы Петр провести преобразования

своими методами и темпами с образованным и избалованным екатерининским дворянством, которое любило за штофом порассуждать о величии царя-императора! Попробовал бы — и наверняка столкнулся бы с неприятием, о котором насмерть расшибся его правнук Павел I, вздумавший было ущемить благородное сословие. Ибо для екатерининских дворян права, неотъемлемые и навечно дарованные первенствующему сословию, превратились уже в категорию, через которую даже цари не должны были преступать. Сословный эгоизм был уже иного порядка, чем, скажем, в XVII столетии.

Петровские реформы справедливо связываются с выходом к Балтийскому морю. Но опыт показал, что прежде чем бороться за Балтику, следовало одолеть опасность с юга и разрешить противоречия с Речью Посполитой. Это и было во многом сделано в годы правления Тишайшего и его старшего сына. Оба предшественника развязали Петру руки.

При внешней самостоятельности Петр двигался в направлении, которое задали первые Романовы. Модернизация не мыслилась без европеизации. Первым ступил на эту дорогу Алексей Михайлович. Ступил и остановился, с тоской и страхом оглядываясь назад. Конечно, его легко упрекнуть в нерешительности. Но насколько он, обремененный грузом недавнего прошлого, мог вообще быстро двигаться вперед?

Петру и его окружению было легче в том смысле, что они росли в другой атмосфере. Будущий реформатор уже вдыхал воздух реформ. При дворе, в верхах общества уже не редкость было встретить «западника» масштаба В. В. Голицына.

Атмосфера 30–40-х годов была совсем иной, и именно при Алексее Михайловиче начали формироваться новые представления и настроения. Причем на всех уровнях сознания, с изгнанием того

внутреннего страха перед иноверческим Западом, который некогда душил всякое обращение к Европе. То, что для людей Петровской эпохи становилось обыденным и привычным, должно было быть прежде освоено и преодолено через душевное напряжение и староверческий надлом.

Время Алексея Михайловича не только во многом определило направление последующего развития. Оно одновременно и ограничило полет будущего Преобразователя. Окончательно утвердившись на пути несвободы, крепостной зависимости, XVII век определил крепостнические основания и крепостнические методы реформ. Привычный посвист батога и кнута, долгое время сопровождавший все великие российские перемены, пришел из тех времен. Реформаторы иначе и не мыслили обновленную страну, как страну крепостническую. В исторической перспективе это означало, что вырастающая из предыдущего столетия петровская модернизация, естественно, была ограничена и неполна: европеизация без коренной модернизации, европеизация традиционного общества, без принятия всех основ европейской цивилизации, самодержавная модернизация, настоянная на всеобщей несвободе.

Но вот что удивительно. Оказавшись в тени могучей фигуры Петра, царь Алексей Михайлович раз за разом противопоставляется своему сыну-реформатору. Противопоставляется в одном из самых насущных вопросов в истории и практике развития: какие реформы лучше — радикальные или умеренные? Какая модернизация более успешная — в немецком платье, в один прыжок или в долгополом платье, мелкими шажками, вдогонку за уходящей Европой?..

Если Петр — подлинно первый российский монарх Нового времени, то Алексей Михайлович — последний государь российского Средневековья. Он — сакральный

правитель, прилежный строитель Православной Руси, радеющий о спасении подданных. Алексей Михайлович — итог, завершение Московской Руси. При нем русская старина отлилась в такие законченные образы и формы, высказалась столь красноречиво, что после уже трудно было сделать что-то более убедительное. Да и кому это было делать? Превзойти поэзию древнерусской жизни мог только старший сын Федор. Но он не успел высказаться. Потому его правление — лишь вскрик, лишь набросок вчерне. Федор, по выражению одной из надписей на его парсуне, успел лишь все «преизрядно обновить». И только. Петр уже не хотел ничего обновлять. Он строил заново.

Петр вечно в дороге, в пороховом дыму, в строительстве. Царь Алексей тоже в дороге, но в дороге на богомолье, тоже в дыму, но в дыму каминов. Между тем сказать, что Петр — труженик, а Алексей Михайлович — ленивец, — значит сказать неправду. При известной схожести у них существенны различия в понимании того, что должен делать монарх и какими событиями должно быть отмечено его царствование.

Событийность Петра — это событийность внешней жизни, шумная история строительства Империи. Событийность Алексея Михайловича — событийность внутренней жизни, сосредоточенное размышление о душе и вечное движение к Богу. Отец и сын несопоставимы ни по масштабам своей личности, ни по силе воли и глубине ума. Алексей Михайлович — человек средних дарований. Но в одном он, бесспорно, превзошел своего великого сына. В Тишайшем больше сострадания к людям, больше душевности и больше души. Благодаря этому время Алексея Михайловича, не менее бурное, чем время Петра, кажется более теплым, как кажется более теплой Москва в сравнении с холодным и чопорным Петербургом.

Список сокращений

ААЭ — Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией императорской Академии Наук.

АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией императорской Академии Наук.

АМГ — Акты Московского государства.

АЮЗР — Акты Южной и Западной России.

ДАИ — Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией императорской Академии Наук.

ДР — Дворцовые разряды.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.

Записки — Записки Отдела русской и славянской археологии Императорского Российского археологического общества. Т. 2. СПб., 1862.

МОИДР — Московское Общество истории и древностей российских.

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея.

ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси.

ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи (Первое).

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.

РГАДА — Российский государственный архив древних актов.

РИБ — Русская историческая библиотека.

СГГД — Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел.

ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы
Института русской литературы.

ЧОИДР — Чтения в императорском Обществе
истории и древностей российских.

Чт. ОЛДПр — Чтения в Обществе любителей
духовного просвещения.

Основные даты жизни и деятельности Алексея Михайловича

1629, 19 марта — рождение царевича Алексея Михайловича, старшего сына царя Михаила Федоровича.

1644-1645 — дело «королевича Вальдемара».

1645, 13 июля — смерть царя Михаила Федоровича. Вступление Алексея Михайловича на русский престол.

28 сентября — венчание Алексея Михайловича на царство.

1646-1648 — правительство боярина Б. И. Морозова.

1646 — составление переписных книг.

Появление в Москве будущего патриарха Никона. Его знакомство с Алексеем Михайловичем и назначение архимандритом Новоспасского монастыря.

1648, январь — женитьба Алексея Михайловича на Марии Ильиничне Милославской.

Июнь — восстание в Москве, падение правительства Б. И. Морозова.

1648, сентябрь — 1649, январь — составление Земским собором и Уложенной комиссией Н. И. Одоевского нового Уложения. Участие Алексея Михайловича в работе собора. Принятие Соборного уложения 1649 г.

1648, октябрь — возвращение боярина Б. И. Морозова из ссылки в Москву.

1649, январь — столкновение протопопа Стефана Вонифатьева с патриархом Иосифом по вопросу единогласия на церковном соборе. Поддержка царем протопопа. Избрание Никона новгородским митрополитом.

1650 — восстание во Пскове и Новгороде.

1652, апрель — смерть патриарха Иосифа.

Июль — избрание патриархом Никона.

1653, весна — начало проведения церковных реформ патриархом Никоном.

1 октября — решение Земского собора о принятии Украины в русское подданство.

Около 1654 — возникновение приказа Тайных дел.

1654-1667 — русско-польская война.

1654, январь — Переяславская рада, принявшая решение о вхождении Украины в состав Московского государства.

1654 — первый поход Алексея Михайловича против Речи Посполитой. Участие в осаде и взятии Смоленска.

1654, лето — зима — чума в Москве.

1655 — второй поход Алексея Михайловича против Речи Посполитой.

1656-1658 — русско-шведская война.

1656 — участие Алексея Михайловича в осаде Риги.

Ноябрь — перемирие с Речью Посполитой.

1658 — разрыв Алексея Михайловича и Никона. Удаление Никона в Новоиерусалимский Воскресенский монастырь.

Октябрь — возобновление русско-польской войны.

Декабрь — Валиесарское перемирие со Швецией.

1659, июль — поражение русских войск под Конотопом.

Август — поражение гетмана Выговского и его свержение.

1661 — Кардисский мир со Швецией.

30 мая — рождение царевича Федора Алексеевича.

1662, 25 июля — «Медный бунт».

1666-1667 — участие Алексея Михайловича в работе церковного собора. Суд и низложение Никона. Соборное осуждение старообрядцев. Начало раскола.

1666, 27 июля — рождение царевича Ивана Алексеевича.

1667, январь — заключение Андрусовского перемирия с Речью Посполитой.

1669, 4 марта — смерть царицы Марии Ильиничны.

1670, 17 января — смерть царевича Алексея Алексеевича, наследника престола.

1670-1671 — восстание Степана Разина.

1671, 22 января — вступление Алексея Михайловича в брак с Натальей Кирилловной Нарышкиной.

1672, 30 мая — рождение царевича Петра. Первые театральные представления.

1673-1681 — Русско-турецкая война.

1676, 29 января — смерть царя Алексея Михайловича.

Иллюстрации



Царь Михаил Федорович. Портрет из «Титулярника» 1672 г.



Патриарх Филарет.
Портрет из «Титулярника» 1672 г.



Старица Марфа (Ксения Ивановна Романова). С портрета из Романовской галереи.

Палаты бояр Романовых. Фото 1880-х гг.





Царь Михаил Федорович.



Царица Евдокия Лукьяновна
Стрешнева.

Царь Михаил Федорович и его отец патриарх Филарет. Миниатюра из рукописного «Описания бракосочетания царя Михаила Федоровича и Евдокии Стрешневой». XVIII в.





Патриарх Иоасаф.
Портрет из «Титулярника» 1672 г.



Патриарх Иосиф.
Портрет из «Титулярника» 1672 г.

Свадебный пир царя Михаила Федоровича. Миниатюра из рукописного
«Описания бракосочетания царя Михаила Федоровича и Евдокии
Стрешневой». XVIII в.



Детский доспех. 1634 г.
Предположительно был
изготовлен для царевича
Алексея Михайловича.



Панорама Кремля. Крестный
ход во время празднования
Вербного воскресенья.
1630-е гг. Из книги А. Олгария.





Царская моленная
в Теремном дворце.



Село Коломенское
в XVII в.
Литография XIX в.



Царь Михаил Федорович и Алексей Михайлович.
Икона Новоспасского монастыря. XVII в.



Красная площадь во второй половине XVII в. Картина А. М. Васнецова.

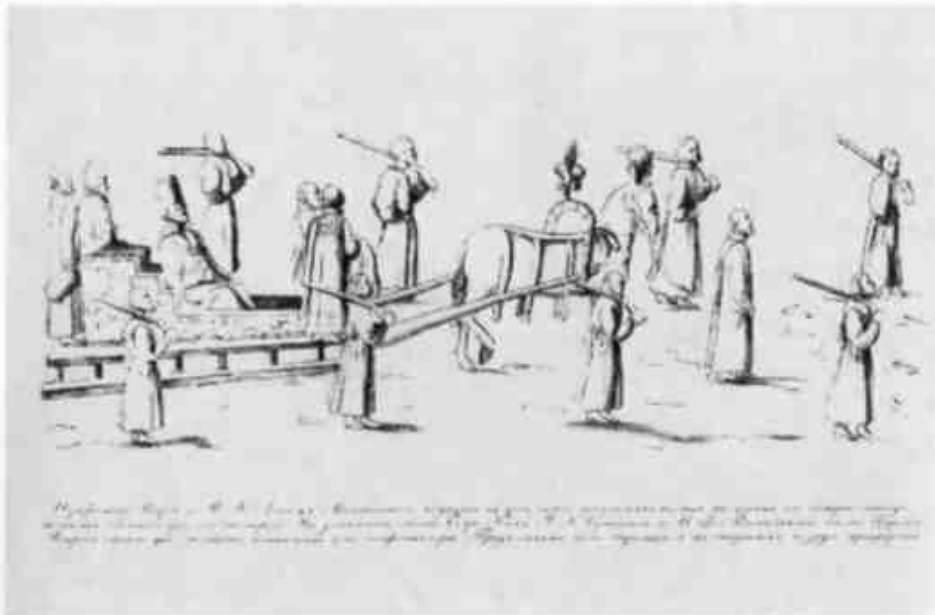




Поход царя на богомолье. С картины М. В. Нестерова.

Обряд великого водоосвящения у стен Кремля. Гравюра из книги И. Г. Корба «Путешествие в Московию (1698 и 1699 гг.)».

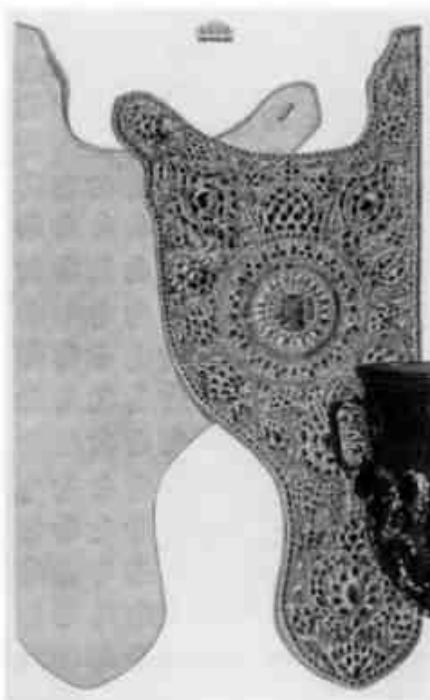




Царь Алексей Михайлович в санях.
Рисунок XVII в.

Царский дворец Саввино-Сторожевского монастыря.
Фото нач. XX в.





Саадак царя Алексея Михайловича.

Чаша царя Алексея Михайловича.



Кабинет царя Алексея Михайловича в Теремном дворце.
С рисунка Г. Косякова.





Сокол, использовавшийся для «красной птичьей» охоты. Рисунок к книге А. Мейерберга «Путешествие в Московию». XVII в.

Любимый кот царя Алексея Михайловича.



Сокольничие царя Алексея Михайловича. С картины А. Литовченко.





Царица Мария Ильинична
Милославская.



Царица Наталья Кирилловна
Нарышкина.

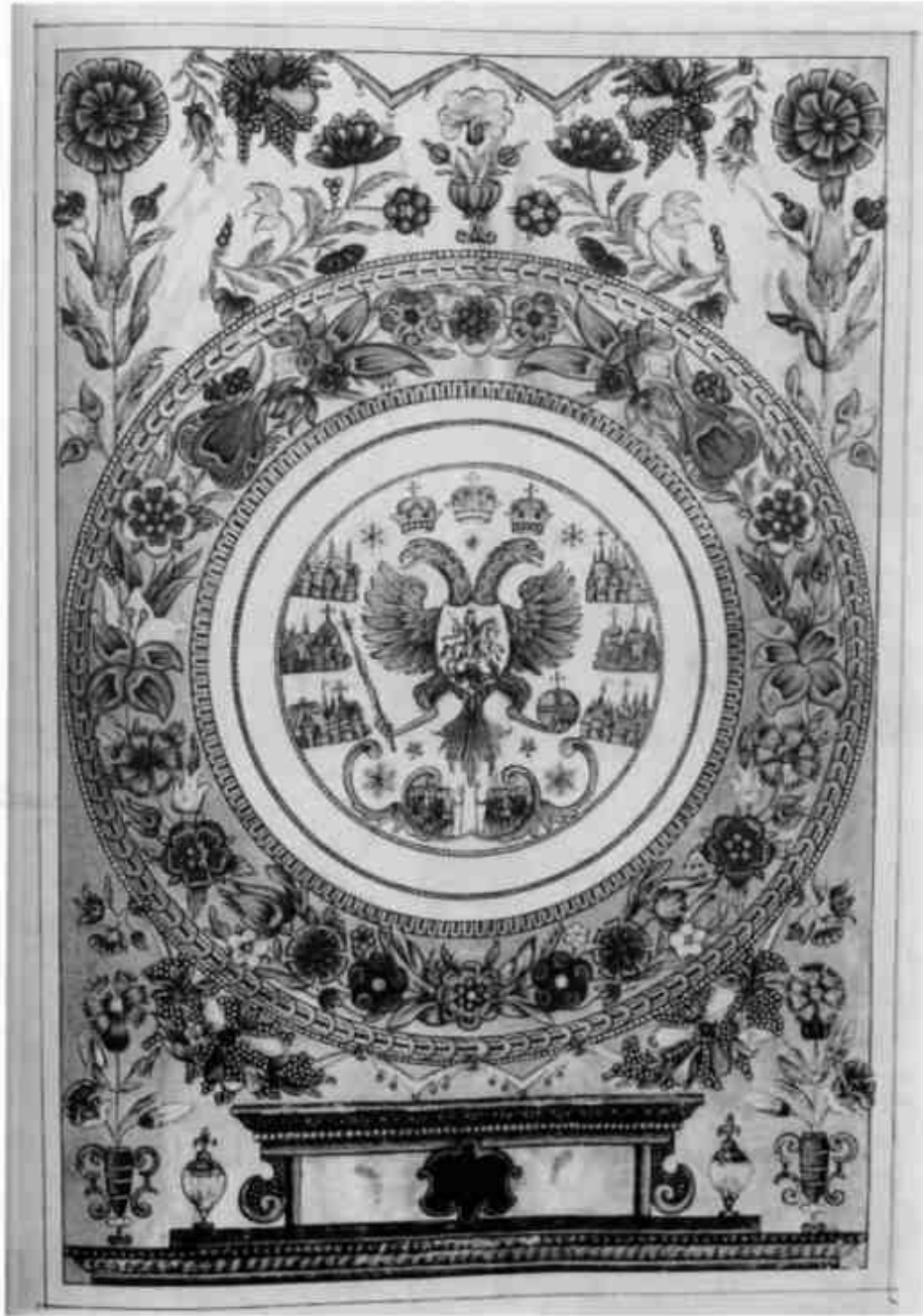
Опочивальня царя Алексея Михайловича.





ALEXIO MIHAILOVICH GRAN DVCA DI MOSCOVI
RE' DI CASAN, DI ASTRACHAN, DI SIBIRIEN, &C.

Царь Алексей Михайлович.
Гравюра К. Мейссена. 1670 г.



Герб Московского государства.
Миниатюра из «Титулярника» 1672 г.



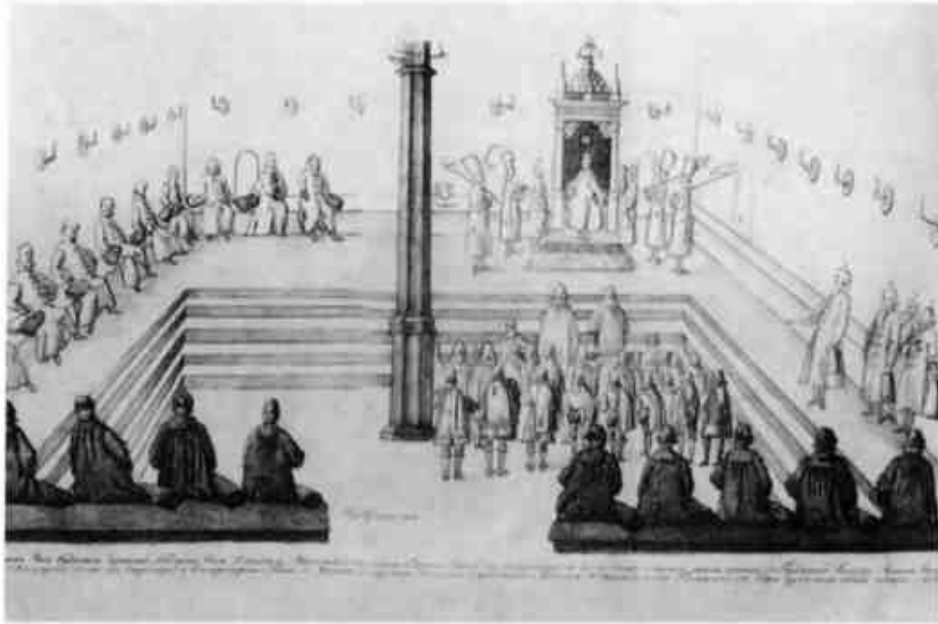
Царь Алексей Михайлович.
Портрет из «Титулярника» 1672 г.



Свиток Соборного уложения 1649 г. в ковчеге.
Хранится в Российском государственном архиве древних актов.

Русская знать. *Из книги А. Оллария.*





Аудиенция иностранного посольства у царя Алексея Михайловича. Рисунок к книге А. Мейерберга «Путешествие в Московию». XVII в.



Печать с грамоты бранденбургского курфюрста. 1655 г.

Посольский двор. Рисунок к книге А. Мейерберга «Путешествие в Московию». XVII в.





Боярин Артамон Сергеевич
Матвеев.



Боярин Афанасий Лаврентьевич
Ордин-Нащокин.

Прием посольства. Рисунок к книге А. Мейерберга
«Путешествие в Московию». XVII в.





Корабль «Орел». Деталь гравюры «Астрахань»
из книги Я. Стрейса, изд. 1676 г.

Смотр войск царя Алексея Михайловича. С картины В. Сверчкова.



In dem mahl
uß gegeben
urch

Olearius



Jahr
56

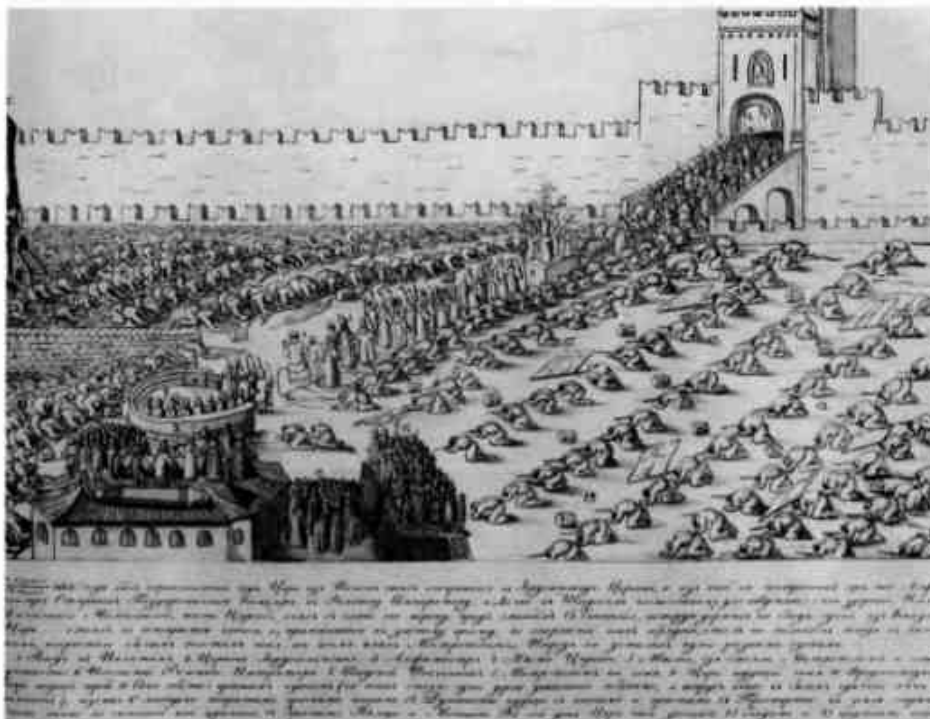
Русские бояре. Из книги А. Оlearия.



Теремной дворец Московского Кремля.

Крестный ход на Вербное воскресенье у стен Кремля.

Рисунок к книге А. Мейерберга «Путешествие в Московию». XVII в.





Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон у гроба
святого митрополита Филиппа. С картины А. Литовченко.



Саккос патриарха Никона.



Патриарх Никон
в обыденной одежде.
*Рисунок к книге
А. Мейерберга
«Путешествие
в Московию».*
XVII в.

Личные вещи
патриарха Никона.



Патриарх Никон. Картина Д. Вухтерса. Около 1660 г.

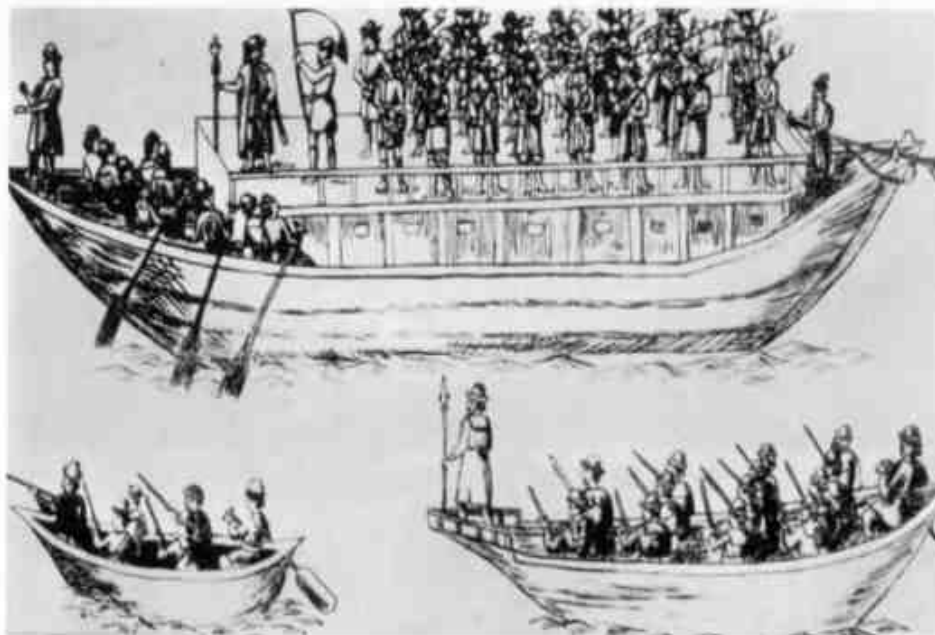


Степан Разин. Гравюра 1672 г.



Въезд Степана Разина в Москву. Рисунок XVII в. Фрагмент.

Отправление царских войск против Степана Разина.
Рисунок XVII в.





Царь Алексей Михайлович. *Неизвестный художник.*
Конец 70-х — нач. 80-х гг. XVII в.



Трон царя Алексея Михайловича.



Царь Федор Алексеевич.

Цари Иван (в профиль) и Петр Алексеевичи.





Царь Алексей Михайлович. *Неизвестный художник. XVII в.*



Икона святых Константина и Елены с предстоящими царем Алексеем Михайловичем, царицей Натальей Кирилловной и патриархом Никоном. XVII в.

notes

Примечания

1

Временник МОИДР. М., 1853. Кн. 17. С. 204.

Плдр. XVII век. Книга первая. М., 1988. С. 504.

3

В сибирских челобитных и отписках Алексей Михайлович и в августе 1676 г. фигурирует как живой, без скорбной приписки «блаженный памяти...». См.: ДАИ. Т. 7. Подборка документов № 3.

Панченко А. М. Юродивые на Руси // О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 341.

5

АИ. Т. II. СПб., 1842. С. 51.

6

Гиршберг А. Марина Мнишек. М., 1908. С. 144.

См.: Эскин Ю. М. Человек Смуты // Знание — сила.
1994. № 2.

Вовина В. Г. Патриарх Филарет (Федор Никитич Романов) // Вопросы истории. 1991. № 7-8. С. 67.

Новомбергский Н. Слово и дело государевы: Процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 г. М., 1911. Т. 1. № 30.

Подробности дела М. Хлоповой и двух браков Михаила Федоровича на Долгорукой и Стрешневой см. в новейшей работе Л. Е. Морозовой: *Морозова Л. Е. Михаил Федорович // Преображенский А. А., Морозова Л. Е., Демидова Н. Ф. Первые Романовы на Российском престоле. С. 110-117.*

Соловецкий патерик. М., 1991. С. 92-93.

Новомбергский Н. Указ. соч. № 44.

Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Т. I. Ч. II. М., 2000. С. 10-12; *Он же.* История города Москвы. М., 1990. С. 303.

Забелин И. Е. Домашний быт... С. 18.

Там же. С. 21.

Новомбергский Н. Указ. соч. № 61, 57, 74; РГАДА. Ф. 6. № 2. Л. 1-7.

Зерцалов А. Н. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском 1648, 1662, 1771 гг. М., 1890. С. 196.

РИБ. Т. X. С. 135. О смерти царевича Василя: Там же. С. 166.

Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906. С. 4.

Морозова Л. Е. Указ. соч. С. 118.

Коллинс С. Нынешнее состояние России // Утверждение династии. История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII-XX вв. М., 1997. С. 192.

ЧОИДР. 1882. Кн. 2-3. С. 653.

Там же. С. 595.

ЧОИДР. 1883. Кн. 2. С. 654.

Забелин И. Е. Троицкие походы русских царей. М., 1847. С. 25-26; *Собрание писем царя Алексея Михайловича.* М., 1856. С. 76.

РГАДА. Ф.27. № 119. Л. 184-185.

ЧОИДР. 1882. Кн. 2-3. С. 634-638.

Там же. С. 632.

Забелин И. Е. Троицкие походы русских царей. С. 31.

Забелин И. Е. История Москвы. С. 57; ЧОИДР. 1882.
Кн. 1. С. 17, 22-23, 59, 65 и др.

Относительно его участия в обучении царевича см.:
Кошелева О. Е. Детство и воспитание царя Алексея Михайловича // Свободное воспитание. Вып. 3. М., 1993. С. 59.

Мейерберг А. Путешествие в Московию // Утверждение династии. С. 118.

См.: *Спасский И. Г.* Московская математическая рукописная книга середины XVII века и ее первый владелец // Археографический ежегодник за 1979 г. М., 1981. С. 70-71.

Сборник Муханова. СПб., 1866. № 144. С. 213.

Забелин И. Е. Домашний быт... Т. I. Ч. II. С. 103.

Мейерберг А. Указ. соч. С. 121.

Кошелева О. Е. Детство и воспитание царя Алексея Михайловича. С. 61.

Былинин В. К, Посошенко А. Л. Царь Алексей Михайлович как мастер распева // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1987. М., 1988. С. 131-136.

Временник МОИДР. Кн. 17. С. 205.

РГАДА. Ф. 6. Д. 1. Л. 8.

Цит. по: *Соловьев С. М. Сочинения. М., 1991. Кн. VI. С. 542-543.*

См.: ЧОИДР. 1883. Кн. 2. С. 16, 34-35, 73, 78, 124, 127, 166, 197-203 и др.

Там же. С. 713. У И. Забелина стрелец назван Андрей Крох.

Забелин И. Е. Домашний быт... Т. I. Ч. II. С. 62.

Там же. С. 63-64.

См.: Культура Византии. Вторая половина VII–XII вв.
М., 1989.С. 28–30.

ДР. Т. II. СПб., 1851. Стб. 681; СГГД. III. № 177.

Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епархиальном хранилище. Вологда, 1903. Вып. 6. С. 58, 121.

Масса А. Краткое известие о начале и происхождении современных войн и смут в Московии. — О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 59.

СГГД. М., 1822. Ч. 3. № 117.

51

РГАДА. Ф. 375. Д. 9.

См.: *Кошелева О. Е.* Приговор князю Ивану Никитичу Хованскому // *Архив русской истории.* М., 1994. Вып. 5. С. 139-144.

История неудачного сватовства «королевича Вальдемара» и религиозных диспутов, с ним связанных, подробно изложена в работах: Два сватовства иноземных принцев к русским великим княжнам в конце XVII ст. // ЧОИДР. 1867. Вып. 4.; *Голубцов А.* Прения о вере, вызванные делом королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны. М., 1891; *Кошелева О. Е.* Лето 1645 года: смена лиц на российском престоле // Казус 1999. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1999.

Выходы государей царей и великих князей. М., 1844.
С. 117, 119.

Материалы для истории медицины в России. СПб., 1881. Вып. 1. № 235. С. 120-122, 123; *Герман Ф. Л.* Как лечились Московские цари. Киев, 1895. С. 112-120.

См.: *Кошелева О. Е.* Лето 1645 года: смена лиц на российском престоле. С. 155-157.

Новомбергский Н. Н. Указ. соч. № 184. С. 330.

См.: *Бахрушин С. В.* Политические толки в царствование Михаила Федоровича // Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма. М., 1987; *Лукин П. В.* Народные представления о государственной власти в России XVII в. М., 2000.

РГАДА. Ф.210. Приказный стол. №. 170. Л. 92-106.

Смирнов П. П. Челобитные дворян и детей боярских всех городов в первой половине XVII в. М., 1915. С. 69.

РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 82. Ч. 2. Л. 4-14;
Новомбергский Н. Н. Указ. соч. № 211. С. 370. Дело было рассмотрено очень быстро и не вызвало сколько-нибудь серьезных опасений у правительства. Ушаков был возвращен в холопство Пушкину с указанием Пушкину: «Бить и увечить ево не велели».

Котошихин Г. Указ. соч. С. 4-5.

Смирнов П. П. Указ. соч. С. 70.

АМГ. СПб., 1892. Т. II. № 246. С. 154.

Там же. № 249, 254.

«Повесть о внезапной кончине... государя Михаила Федоровича» // ЧОИДР. 1892. Кн. 2. С. 13.

Два сватовства иноземных принцев к русским великим княжнам... С. 60.

РГАДА. Ф. 27. № 99. Л. 1-2.

Богданов А. П. Московская публицистика последней четверти XVII в. М., 2001. С. 20-22.

См.: *Барсов Е. В.* Исторический очерк чинов венчания на царство // ЧОИДР. 1883. Кн. 1; Чин постановления на царство царя и великого князя Алексея Михайловича / Сообщил архимандрит Леонид // Памятники древнерусской письменности. СПб., 1882. Вып. 16. Вообще известно несколько списков чина венчания Алексея Михайловича. См.: *Богданов А. П.* Указ. соч. С. 20-21. Прим. 21, 24.

71

РГАДА. Ф. 210. Московский стол. №. 82. Ч. 2. Л. 15-16.

Мейерберг А. Путешествие в Московию... С. 119.

Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. Вып. 6. С. 94-95.

Есипов Г. В. Люди старого века. СПб., 1880. С. 3-5.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М., 1996. С. 186.

Царская грамота псковичам с ответом на их челобитную 1650 г. // *Тихомиров М. Н.* Классовая борьба в России XVII в. М., 1969. С. 254.

Олеарий А. Указ. соч. С. 260.

Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. С. 100.

Записки. С. 711-713. В некоторых случаях публикация требует уточнения. См.: РГАДА. Ф. 27. № 54. Л. 4-4а (листы перепутаны, начало письма — 4а). Записки послужили основой для новой (неполной) публикации писем Алексея Михайловича, более всего доступной для современного читателя. См.: *Царь Алексей Михайлович. Сочинения // Московия и Европа. История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII-XX вв.* М., 2000.

Житие милостиваго мужа Федора, званием Ртищева
// *Козловский И. Ф.* М. Ртищев. Историко-
биографическое исследование. Приложение. Киев,
1906. С. 159.

Курц Б. Состояние России в 1650-1655 гг. по донесениям Родеса. М., 1914. С. 103.

См.: *Коллинс С.* Нынешнее состояние России. С. 191;
Путешествие в Северные страны Де-Ламартиньера. М.,
1911. С. 133-134.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. М., 1996. С. 17-22. Репринтное воспроизведение издания: Сергиев Посад, 1909.

Коллинс С. Указ. соч. С. 219.

ДАИ. Т. V. № 26.

Мейерберг А. Путешествие в Московию... С. 119.

Богданов А. П. Царь Федор Алексеевич // Филевские чтения. М., 1994. Вып. VI. С. 4.

Форстен Г. Сношения Швеции и России во второй половине XVII века // ЖМНП. 1898, май. С. 74.

См. подробнее: *Кошелева О. Е.* Коллективные челобитные дворян на бояр (XVII в.) // Вопросы истории. 1982. № 12.

Родионов И. А. Тихий Дон. СПб., 1994. С. 120-125.

См.: *Вернадский Г. В.* История России. Московское царство. Ч. 1. Тверь; М., 1997. С. 342.

РГАДА Ф. 210. Владимирский стол. № 138. Л. 49-50.

Этот посвист доводил людей до самоубийства. Так, вдова Марфа просила разрешить похоронить ее мужа, который в 1648 г. в феврале пошел собирать «государевы кабацкие напойные деньги и боясь правезу в тех недобрых деньгах, бросился... в проруб». Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. Вып. 2. Вологда, 1900. № 385. С. 16.

Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Л., 1986. № 310. С. 213.

См.: *Вольф Ю.* «...Об утверждении богоугодного равенства на вечные времена...» // Все начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир. М., 1992.

Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. Вып. 6. С. 103.

Русское народное поэтическое творчество. М.; Л.,
1953. Т. 1. С. 434.

Зерцалов А. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском, 1648, 1662 и 1771 гг. С. 230; Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. Вып. 6. С. 120.

Водарский Я. Е. Правящая группа светских феодалов в России в XVII в. // *Дворянство и крепостной строй России XVI-XVIII вв.* М., 1975. С. 93, 97.

См.: *Зольникова Н. Д.* «Нарымское дело» 1642–1647 гг. // Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. Новосибирск, 1982; *Зерцалов А.* О мятежах в городе Москве... С 185–186.

Олеарий А. Указ. соч. С. 263.

Форстен Г. Сношения Швеции с Россией в царствование Христины // ЖМНП. 1891. VI. С. 371.

Внутренняя политика правительства Б. И. Морозова подробно разобрана в капитальных работах П. П. Смирнова. См.: *Смирнов П. П.* Правительство Б. И. Морозова и восстание в Москве 1648 г. Ташкент, 1929; *Он же.* Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. II. М.; Л., 1948.

Описание московского восстания 1648 г. в Архивном сборнике / Публ. В. И. Буганова // Исторический архив. 1957. № 4. С. 228.

РИБ. Т. 13. СПб., 1909. С. 931.

Зерцалов А. Н. К истории мятежа 1648 г. в Москве и других городах. М., 1896. С. 32–33.

107

РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 227. Л. 18-19.

См.: *Флоря Б. Н.* Иван Грозный. М., 1999. С. 26–28.

Городские восстания в Московском государстве XVII в. М.; Л., 1936. С. 37; *Якубов К.* Россия и Швеция в первой половине XVII в. М., 1897. С. 408.

Якубов К. Россия и Швеция в первой половине XVII в.
С. 389.

111

AA3. T.4. № 29.

Новомбергский Н. Указ. соч. № 116.

Более полный и исправный текст Большой челобитной опубликован М. В. Шахматовым: *Шахматов М. В.* Челобитная «мира» московскому царю Алексею Михайловичу 10 июня 1648 г. // *Vestník kralovské beske společnosti nauk. Trída Filosoficko-Historická. Ročník. 1933. Praha, 1934. С. 11-20.* Текст челобитной достаточно сильно отличается от текста Поммерининга, который был известен П. П. Смирнову и С. В. Бахрушину. См. публикацию двух вариантов челобитной: *Материалы по истории СССР. М., 1989. Вып. 3. С. 140-150.*

Тихомиров М. Н. Указ. соч. № 4. С. 243, 247.

Смирнов П. П. Несколько документов к истории Соборного Уложения и Земского собора 1648-1649 гг. // ЧОИДР. 1913. Кн. 4. С. 7.

Северный архив. 1825. Ч. 17. № 20. С. 297.

Зерцалов А. О мятежах в г. Москве и в селе Коломенском // ЧОИДР. 1890. Кн. III. С. 18.

119

ОПИ ГИМ. Ф. 440. № 382.

Заозерский А. И. Царская вотчина XVII века. М., 1937.
С. 199.

Зерцалов А. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском, 1648, 1662 и 1771 гг. С. 193-207. Жена И. Юсупова — племянница князя Б. А. Репнина, близкого к Я. К. Черкасскому и Н. И. Романову.

Якубов К. Указ. соч. С. 427.

Городские восстания в Московском государстве. С.
41.

См.: *Шмелев Г.* Отношение населения и областной администрации к выборам на Земские соборы в XVII веке // Сб. статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909; *Кабанов А. К.* Организация выборов на земские соборы XVII в. // ЖМНП. 1910. № 9; *Смирнов П. П.* Несколько документов... С. 11-12; *Он же.* О начале Уложения и Земского собора 1648-1649 гг. // ЖМНП. 1913. IX.

Ундольский В. М. Отзыв патриарха Никона об Уложении царя Алексея Михайловича // Русский архив. 1886. № 8. С. 610-611.

Цит. по: *Чистякова Е. В.* Народное движение в России в середине XVII в. Дисс. на звание д. и. н. М., 1966. С. 604.

Смирнов П. П. Посадские люди... С. 216.

Пустозерская проза. М., 1989. С. 133.

129

РГАДА. Ф. 233. № 24/675. Л. 12 об. — 19 об.

131

Там же. № 33.

Козляков В. Н. Служилый «город» Московского государства XVII века (От Смуты до Соборного уложения). Ярославль, 2000. С. 108–116.

Городские восстания в Московском государстве. С.
86-92.

См.: *Яковлев А. И.* Безумное молчание // Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909. Ч. II.

ПСРЛ. Т. 14. СПб., 1910. С. 76.

Субботин Н. Материалы для истории раскола за первое время его существования (Далее — Мат. для истории раскола...). Т. 1. М., 1875. С. 260-261.

Там же. С. 266-267.

Лобачев С. В. К вопросу о ранней биографии патриарха Никона // Средневековая Русь. СПб., 1995. С. 55.

Мат. для истории раскола... С. 257-258.

Поньрко Н. В. Обновление Макарьева
Желтоводского монастыря // ТОДРЛ. 1990. Т. 43. С. 65.

Рождественский Н. В. Челобитная нижегородских попов в лето 7144 // ЧОИДР. 1902. Кн. II. Отд. V. С. 1-34.

См.: *Шульгин В. С.* Движения, оппозиционные официальной церкви в 30-60-х годах XVII века // Московский университет. Серия история. М., 1967. С. 213.

Виршевая поэзия (первая половина XVII века). М., 1989. С. 279.

Белокуров С. А. Арсений Суханов. М., 1891. Ч. 1. С. 66, 170; Леонид (Кавелин), архимандрит. Сведения о славянских рукописях. М., 1887. Вып. 2. С. 208.

Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913. С. 253.

Челобитная царю Алексею Михайловичу патриарха Иосифа и всего освященного Собора на благовещенского протопопа Стефана Вонифатьева // ЧОИДР. 1887. Кн. 3. Отд. 5. С. 79-80.

ААЭ. Т. 4. СПб., 1836. № 19, 321.

АИ. Т. 4. № 35; РГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. № 270. Л. 609-612; № 288. Л. 82-88; Ф. 210. Книги Приказного стола № 5. Л. 141-146.

Белокуров С. А. Деяния Московского церковного Собора 1649 г. Вопрос о единогласии в 1649–1651 гг. // ЧОИДР. 1894. Кн. 4. Отд. 3. С. 44.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 101-105.

Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. 6.
М., 1996. С. 365-366.

Румянцева В. С. Ртищевская школа // Вопросы истории. 1983. № 5. С. 182–183. Впрочем, некоторые исследователи предлагают осторожно говорить о намерении открыть школу в конце 40-х гг. См.: *Харлампович К. В.* Малороссийское влияние. С. 132–134; *Он же.* Ртищевская школа // Богословский вестник. 1913. Апрель.

См.: *Каптерев Н. Ф.* Характер отношений России к Православному Востоку в XVI и XVII стол. М., 1885.

Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви.
М., 1991. Т. 2. С. 124-132.

Там же. С. 121.

Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 63.

Гунн Г. П. Патриарх Никон и Елеазар Анзерский // Древнерусская книжность. По материалам Пушкинского Дома. Л., 1985.

Шушерин И. Извещение о рождении и воспитании и о житии святейшего патриарха Никона // Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. М., 1997. С. 18.

См. подробнее: *Лобачев С. В.* К вопросу о ранней биографии патриарха Никона. С. 60–66.

Шушери И. Указ. соч. С. 21.

Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991.
С. 26.

См.: *Румянцева В. С.* Народное антицерковное движение в России в XVII веке. М., 1986. С. 33.

163

Макарий. Указ. соч. С. 362.

164

Описание актов собрания графа А. Уварова. М., 1905.
№ 204, 200-201.

Субботин Н. И. Дело патриарха Никона. М., 1862. С. 117.

166

СГГД. Т. III. № 135. С. 447.

Сумцов Н. Ф. К истории южнорусской литературы семнадцатого столетия. Харьков, 1885. Вып. 1. С. 44-45.

Московия и Европа. История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII-XVIII. М., 2000. С. 518.

Тихомиров М. Н. Указ. соч. С. 152-153.

170

Там же. С. 65-66.

171

Там же. С. 114.

Болховитинов Е. А. (Митрополит Евгений).
Сокращенная Псковская летопись. Псков, 1993. С. 75.

Курц Б. Состояние России в 1650-1655 гг. по донесениям Родеса. С 28.

174

РГАДА. Ф. 210. Приказный стол. № 272. Л. 207-211.

26 июня царь слушал с боярами отписку воеводы князя И. Н. Хованского о бое с псковичами у Снетной горы. Государь слушал и велел боярина с ратными людьми похвалить «и на до псковскими изменниками промышляти». РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 227. Л. 7-8.

Тихомиров М. Н. Указ. соч. С. 162.

См.: *Успенский А. И.* Саввин Сторожевский монастырь // Художественные сокровища России. 1904. № 5. С. 64-65.

Досифей. Историческое описание Соловецкого монастыря. М., 1836. Ч. I. С. 140–144.

См.: *Полознев Д. Ф.* Канонизация митрополита Филиппа в идейной борьбе за упрочение авторитета церкви в середине XVII в. // *Церковь, общество и государство в феодальной России.* М., 1990. С. 284.

Гиббинет Н. Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1884. Ч. 2. С. 495.

ПлДР. XVII век. Книга первая. С. 500; *Карташев А. В.*
Указ. соч. С. 137.

182

РГАДА. Ф. 27. № 91. Л. 35; Московия и Европа. С. 505.

Каптерев Н. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 126.

Николаевский П. Путешествие Новгородского митрополита Никона в Соловецкий монастырь за мощами святителя Филиппа. СПб., 1885. С. 23.

ААЭ. Т. IV. С. 86-87.

Николаевский П. Указ. соч. С. 37.

187

РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. № 382.

См.: *Клибанов А. И.* Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 29.

Московия и Европа. С. 507-509.

190

ААЭ. Т. IV. № 57, III.

Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 38.

Выходы царей и великих князей, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, всея Руси самодержавцев с 1632 по 1682 год. М., 1844. С. 261.

Макарий. Указ. соч. Кн. 7. С. 19; Христианское чтение. 1882. Ч. 2. С. 287–320.

Забелин И. Е. История города Москвы. С. 505, 506;
Жизнь святейшего Никона патриарха Всероссийского.
Изд. Воскресенского нового Иерусалима монастыря. М.,
1879. С. 32.

195

См.: ААЭ. Т. IV. № 88; ПСЗ. I. № 271.

См.: *Милюков П. Н.* Очерки по истории русской культуры. Т. 2. М., 1994. С. 45.

Зеньковский С. Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века. М., 1995. С. 220.

Зеньковский С. Указ. соч. С. 206-207.

Пустозерская проза. С. 47; См. также письмо Неронова к Вонифатьеву от 13 июля 1652 года со словами: «Иоанне, дерзай, и не убойся до смерти; подобает ти укрепить царя о имени Моем. Да не постраждет днесь Русь якоже и юниты». Материалы для истории раскола... М., 1875. Т. 1. С. 99-100.

Материалы для истории раскола... Т. 1. С. 44, 47.

Материалы для истории раскола... Т. 1. С. 47-49.

202

Там же. С. 23.

203

Там же. С. 89, 91, 106.

Зеньковский С. Указ. соч. С. 215-216.

Справщик — одна из ключевых фигур на Печатном дворе. Он больше чем просто «редактор». По своему положению он приближается к автору-составителю. Не случайно Аввакум после ссылки отказался от духовничества самому царю и пожелал стать справщиком: «А се посулили мне... сесть на Печатном дворе книги править, и я рад сильно — мне то надобно лутче и духовничества».

Зеньковский С. Указ. соч. С. 219.

Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария... М., 1898. IV. С. 136-137.

Там же. III. С. 138, 147.

Там же. IV. С. 123.

Мат. для Истории раскола... Т. 1. С. 147.

211

Там же. С. 154.

212

Чт. ОлДПр. 1889. С. 363.

Флоря Б. Н. К истории переговоров о русско-польском антиосманском союзе в сер. 40-х гг. XVII в. // Славяне и их соседи. М., 1900. Вып. 3. С. 52-56.

Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в XVII веке. М.; Л., 1948. С. 365–367.

Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996. С. 33.

См.: *Флоря Б. Н.* Древние традиции и борьба восточнославянских народов за воссоединение // *Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства.* М., 1982; *Вернадский Г. В.* История России. Московское царство. Ч. 1. Тверь; М., 1997. С. 305–306.

Голубуцкий В. Запорожское казачество. Киев, 1957.
С. 158.

Ульянов Н. И. Указ. соч. С. 33.

Впрочем, в науке высказано предположение, что Ислам-Гирей протянул руку Хмельницкому вовсе не из-за стремления защитить своего «сюзерена». Напротив, в Бахчисарае в союзе с казаками видели способ обретения независимости и создания своего государства, вбивавшего богатые украинские земли. Трудно сказать, насколько эти предположения соответствуют действительным намерениям крымского властителя: каждый из участников развертывающейся драмы держал про запас несколько сценариев развития, которые при определенном раскладе легко превращали тайное в ложное. Однако в любом случае подобные намерения свидетельствуют о том, насколько сложной и запутанной оказывалась дипломатическая игра сторон.

Костомаров Н. Русские инородцы. М., 1996. С. 453.

221

АЮЗР. Т. III. № 201. С. 213.

222

РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 226. Ч. 1. Л. 10-12, 445-513.

Курц Б. Состояние России в 1650-1655 гг. по донесениям Родеса. С. 93.

Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария... IV. С. 158, 170-171.

См.: «Око всей великой России». Об истории русской дипломатической службы XVI–XVII вв. М., 1989. С. 99.

Мат. для истории раскола... Т. 1. С. 89.

Коллинс к этой характеристике прибавлял: «...Ныне царствующий император имеет дух воинственный...». См.: Нынешнее состояние России // Утверждение династии. История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII-XX вв. М., 1997. С. 200.

228

См.: *Заозерский А. И.* Указ. соч. С. 240; РГАДА. Ф. 27.
№ 85. Л. 1-5.

Коллинс С. Указ. соч. С. 206.

230

РГАДА. Ф. 27. № 83. Л. 8.

Курц Б. Указ. соч. С. 110; Архив русской истории. Вып. 6. М., 1995. С. 123.

232

РГАДА. Ф. 210. Владимирский стол. № 151. Л. 128;
Московский стол. № 227. Л. 41, 70.

Курц Б. Указ. соч. С. 67–68. Родес писал о старшем брате: «Это весьма коварная голова» и сравнивал с иезуитом; *Веселаго Ф.* Очерки русской морской истории. Ч. 1. СПб., 1875. С. 100.

234

Олеарий А. Указ соч. С. 291.

История внешней политики России. Конец XV–XVII
век. М., 1999. С. 281.

236

РГАДА. Ф. 27. № 86. Ч. 1. Л. 262.

Форстен Г. Сношения Швеции и России во второй половине XVII века // ЖМНП. 1898, июнь. С. 316.

238

Записки. С. 716.

См.: *Карпов Г.* Переговоры об условиях соединения Малороссии с Великой Россией.

История внешней политики России... С. 286–289.

История внешней политики России. С. 298, 300.

См.: *Смирнов В. Д.* Крымское ханство под верховенством Оттоманской порты до начала XVIII века. СПб., 1887. С. 555-556.

См.: *Литаврин Г. Г.* Геополитическое положение Византии в VII-XII вв. // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. СПб., 1999. С. 17.

244

РГАДА. Ф. 27. № 86. Ч. 1. Л. 264-266, 267.

245

Записки. С. 713-715.

246

Письма царя Алексея Михайловича, б/м. б/д. № 3;
Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856.
С.12.

Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. V. М., 1896. С. 3; Письма царя Алексея Михайловича. № 2.

Орловский И. И. Смоленский поход царя Алексея Михайловича в 1654 году. Смоленск, 1905. С. 14.

249

Там же. С. 21.

250

Письма царя Алексея Михайловича. № 2. С. 3.

Письма русских государей... Т. V. С. 11-12.

252

Орловский И. И. Указ. соч. С. 34.

Цит по: *Высоцкий Н. Ф.* Чума при Алексее Михайловиче. Казань, 1879. Подборка материалов по чуме опубликована в ДАИ. Т. III. № 119. С. 453-521.

254

Записки. С. 429.

255

РГАДА, Ф. 210. Приказный стол. № 153. Л. 394.

256

РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. № 389.

257

ДАИ. Т. III, № 119. С. 448.

Письма русских государей... Т. V. С. 15.

259

Записки. С. 725.

260

Записки. С. 725–726; РГАДА. Ф. 27. № 100. Л. 7.
№ 6798.

261

ДАИ. Т. III. С. 508-511.

Мейерберг А. Указ. соч. С. 125.

263

Материалы для истории медицины в России. СПб.,
1881. Вып. 1. № 265. С. 157.

264

ДАИ. Т.IV. № 9, II.

265

РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. № 386.

266

Записки. С. 723; РГАДА. Ф. 27. №. 100. Л. 20.

Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Москву в XVII веке. СПб., 1898. С. 115-118.

Санин Г. А. Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII в. М., 1987. С. 151-152.

269

РГАДА. Ф. 27. № 101. Л. 9.

270

Письма русских государей. Т. V. С. 17.

271

Письма царя Алексея Михайловича. № 36.

Письма русских государей. Т. V. № 43.

Письма царя Алексея Михайловича. № 41. С. 42.

274

РГАДА. Ф. 27. Д. 94. Л. 4 об.; ПСЗ. Т. 1. № 106.

275

Письма русских государей. Т. V. № 44. С. 38–39.

276

Письма Алексея Михайловича. № 47, 50.

Путешествие цесарского посольства из Вены в Москву в 1655 г. // Русский вестник. 1869. Т. 83. Кн. 9. С. 137, 149.

См.: *Каптерев Н. Ф.* Характер отношений... С. 365-366.

279

ПСЗ. Т. 1. № 134, 164, 167; АМГ. Т. II. № 707.

См.: *Энглунд П.* Полтава. Рассказ о гибели одной армии. М., 1995. С. 36.

История внешней политики России. С. 304; Санин Г. А. Указ. соч. С. 74–79. См. также: Мальцев А. Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века. М., 1974; Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. М., 1981; Он же. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа. М., 1994.

Форстен Г. Сношения Швеции и России во второй половине XVII века // ЖМНП. 1898, апрель. С. 323, 326. № 4297, 4299.

Документи Богдана Хмельницького. Київ, 1961. С. 370; История внешней политики России. С. 291.

Записки. С. 100; Московия и Европа. С. 536–537.

285

АМГ. Т. II. № 664. С. 410.

286

Осада Риги царем Алексеем Михайловичем в 1656 году / Сост. В. Борисов, П. Папенгут. б/м, б/д. С. 2.

Материалы для истории медицины в России. СПб.,
1884. Вып. 3. № 777.

290

Мейерберг. Указ. соч. С. 66.

Витсен Н. Путешествие в Московию 1664-1665.
Дневник. СПб., 1996. С. 34-35.

Там же. С. 33.

293

Записки. С. 592.

294

Мейерберг А. Указ. соч. С. 51.

295

РГАДА. Ф. 27. № 109. Л. 1-23.

Форстен Г. Сношения Швеции и России во второй половине XVII века // ЖМНП. 1898, апрель. С. 338.

ЧОИДР. 1892. Кн. 3. С. 17; *Мейерберг А.* Указ. соч. С. 72.

РИБ. СПб., 1907. Т. 21. С. 927.

Форстен Г. Указ. соч. С. 340; Сборник Муханова.
СПб., 1866. № 158.

300

Акты, относящиеся к истории Земских соборов. М., 1909. С.46.

301

Главинич С. О. О происшествиях московских. М., 1875. С. 6-7.

Иоанн Экономцев. Православие. Византия. Россия.
М., 1992. С. 149.

Иконников В. С. Новые материалы и труды о патриархе Никоне. Киев, 1888.

Лукин П. Представления старообрядческих писателей XVII в. о «правилах поведения» царя в отношении церкви // Русское средневековье. М., 1997.

Соловьева Т. Земельная политика патриарха Никона
// Русское средневековье. М., 1997. С. 62.

Николаевский П. Ф. Патриаршия область и русские епархии в XVII веке. СПб., 1888. С. 7-9.

Лебедев Л. Москва патриаршия. М., 1995. С. 115.

Первые Романовы. С. 269.

Роде А. Описание второго посольства в Россию датского посланника Ганса Ольделанда в 1659 г.// Утверждение династии. С. 25.

Гиббенет Н. История исследования дела патриарха
Никона. Т. 1. С. 31.

Впоследствии Никон изложил содержание этого письма. Но оно уже противоречило тому, что показывал, пересказывая слова патриарха, Трубецкой. В письме Никон прямо объявлял: «Се вижу на мя гнев твой умножен без правды, и того ради и соборов святых во святых церквах лишаеши. Аз же пришлец есмь на земли, и се ныне, поминая заповедь Божию, дая место гневу, отхожу от места и града сего. И ты имаши ответ перед Господом Богом о всем дати». Едва ли стоит удивляться таким переменам: на протяжении дела Никон неоднократно менял тактику «обороны».

312

Макарий. Указ. соч. Кн. 7. С. 166.

313

РГАДА. Ф. 27. Д. 119. Л. 146, 164.

Гиббинет Н. История исследования дела патриарха
Никона... Т. 1. С. 168.

Успенский Б. А. Царь и патриарх. Харизма власти в России. М., 1998. С. 447.

Гиббинет Н. История исследования дела патриарха
Никона... Т. 1. С. 53.

Первые Романовы. С. 274-275.

318

Витсен Н. Указ. соч. С. 128.

319

Там же. С. 154-155, 158.

320

Мат. для истории раскола... Т. 4. С. 287, 289-290.

321

См.: *Мокарий*. Указ. соч. Кн. 7. С. 240-242.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т.2. С. 490.

323

Там же. С. 325-326.

324

Макарий. Указ. соч. С. 338-339.

325

СГГД. Т. 4. С. 93-118.

Материалы Собора 1666–1667 гг., включая и разбирательства дела Никона, опубликованы и рассмотрены в целом ряде изданий: Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1876. Т. 2 (сюда вошли, в частности, «Деяния московского собора», включая подготовленное Симеоном Полоцким по заказу царя «Сказание о святом соборе»); *Прот. Шаров*. Большой Московский собор 1666–1667 // Труды Киевской духовной академии. Киев. 1895. № 1–5; *Гиббенет Н.* Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1882–1884; *Смирнов П. С.* История русского раскола старообрядства. СПб., 1895; *Зызыкин М. В.* Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. М., 1995.

327

ЗЫЗЫКИН М. В. Указ. соч. С. 143.

Позднее этот крест хранился в Воскресенском соборе Новоиерусалимского монастыря. После разрушения собора отступавшими гитлеровцами последний, кто видел эту реликвию, был историк и искусствовед В. А. Десятников. См.: Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. М., 1997. С. 9.

329

ЗЫЗЫКИН М. В. Указ. соч. С. 125.

330

Там же. С. 140.

331

Мат. для истории раскола... С. 48.

Каптерев Н. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 348–349;
Зызыкин М. В. Указ. соч. С. 143; ДАИ. Т. 5. № 26.

Бриллиантов И. Патриарх Никон в заточении на Белеозере. СПб., 1899. С. 102.

СГГД. Т. IV. С. 182-186; *Гиббенет Н.* Указ. соч. С. 1093-1097.

Архимандрит Апомос. Начертание жития и деяний Никона, патриарха Московского и всея России. М., 1859. С. 83-84. № 8329.

336

Бриллиантов И. Указ. соч. С. 12.

ЗЫЗЫКИН М. В. Указ. соч. С. 132.

338

Там же. С. 155.

339

Карташев А. В. Указ. соч. С. 214, 216.

340

Описание актов собрания графа Уварова. М., 1905.
№ 160, 229.

341

Зеньковский С. Указ. соч. С. 261.

Зеньковский С. Указ. соч. С. 268; *Каптерев Н. Ф.*
Указ. соч. Т. 2. С. 377-411.

Ключевский В. О. Сочинение в девяти томах. Курс русской истории. Ч. 3. М., 1988. С. 298.

344

Карташев А. В. Указ. соч. С. 177.

345

Мат. для истории раскола... Т. 2. С. 221.

Карташев А. В. Указ. соч. С. 178. Сочинения Дионисия см.: *Каптерев Н. Ф.* Указ. соч. Т. 2. Приложения. С. XIV-LX.

347

Витсен Н. Путешествие в Московию. С. 150.

348

Записки. С. 100; РГАДА. Ф. 27. № 100. Л. 26.

Сношения России с Востоком по делам церковным.
Т. 1. С. 168.

350

Записки. С. 770-771.

351

Там же. С. 100; *Заозерский А.* Указ. соч. С. 256.

352

Мейерберг А. Указ. соч. С. 120.

353

Записки. С. 200; Московия и Европа. С.526.

354

Плдр. XVII век. Кн. 2. С. 286.

355

РГАДА. Ф. 27. № 118. Ч. 2. Л. 1-6.

356

Масси Р. Петр Великий. Смоленск, 1996. Т. 1. С. 26.
Примечание.

357

РГАДА. Ф. 27. № 64. Л. 1-12.

Курц Б. Состояние России в 1650-1655 гг. по донесениям Родеса. С. 59-60.

359

AM Г. Т. 2. № 836.

РГАДА. Ф. 27. № 93. Л. 13, 15; № 99. Л. 38; Московия и Европа. С. 524; *Заозерский А. И.* Царская вотчина XVII в. С. 237; *Коллинс С.* Указ. соч. С. 189.

361

Путешествие в Северные страны Де-Ламартиньера.
М., 1911. С. 175.

362

Записки. С. 751; Европа и Московия. С. 517.

363

Записки. С. 757.

364

РГАДА. Ф. 27. Д. 100 а. Л. 7. № 6793.

365

Там же. Л. 18. № 200.

366

Витсен Н. Указ. соч. С. 173.

Рентенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу
Тосканскому Козьме Третьему о Московии //
Утверждение династии. С. 288.

368

РИБ. СПб., 1889. Т. XI. С. 198, 280-281 и др.

369

Рентенфельс Я. Указ. соч. С. 334-335.

РГАДА. Ф. 27. № 82. Л. 2; № 86. Ч. 1. Л. 233-235, 246;
Белокуров С. А. Дневальные записки приказа Тайных
дел 7165-7183 гг. М., 1908. С. 13, 286. (Далее —
Дневальные записки.)

371

Роде А. Указ. соч. С. 25-26.

372

Заозерский А. И. Указ. соч. С. 248.

373

РГАДА. Ф. 27. № 119. Л. 173.

374

Московия и Европа. С. 527-528.

375

РГАДА. Ф. 27. Д. 150. Л. 5.

Сказание Адольфа Лизека о посольстве от императора Римского Леопольда к великому царю Московскому Алексею Михайловичу в 1675 году. СПб., 1837. С. 55.

Гурлянд И. Я. Приказ великого государя тайных дел.
Ярославль, 1902. С. 327-328.

378

Отечественные записки. СПб., 1829. Ч. 37. С. 91.

379

РГАДА. Ф. 27. № 127. Л. 31-33.

Ерошкин Н. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. С. 59.

381

Мейерберг А. Указ. соч. С. 151.

382

АМГ. Т. III, № 157,191, 664; *Заозерский А. И.* Указ. соч.
С. 254.

383

Котошихин Г. Указ. соч. С. 85; Утверждение династии. С. 77.

384

Записки. С. 400. См. также: Московия и Запад. С. 524..

Сторожев В. Тверское дворянство в XVII в. Тверь, 1895. Вып. 3. С. 82; РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 80. Л. 111-114а.

386

Записки. С. 732, 749; Московия и Европа. С. 518.

РГАДА. Ф. 27. № 92. Л. 1-6; Записки. С. 736. По наказу В. П. Шереметев мог отпустить шляхту в том случае, если она сдалась сразу, не оказывая сопротивления. Но этого не случилось.

388

Записки. С. 351–352; Московия и Европа. С. 544.

389

Записки. С. 771.

390

ПСЗ. Т. 1, № 123, 154, 170.

391

Записки. С. 743–745; Московия и Запад. С. 537–542;
РГАДА. Ф. 27. № 150. Л. 35–38, 40, 45.

392

Записки. С. 757–758; Московия и Запад. С. 525.

393

РГАДА. Ф. 27. № 93. Л. 5.

394

Там же. № 305. С. 6.

Переписка царя Алексея Михайловича с боярином князем Н. И. Одоевским. М., 1850. С. 200; Записки. С. 702-706; Московия и Европа. С. 507-509.

Московия и Европа. С. 529–532; *Кошелева О. Е.* Побег Воина // Казус 1996. М., 1997; *Кузнецов Б.* Возвращение блудного сына // Мир истории. 2001. № 4. С. 26–28.

См.: *Павел Алеппский*. Указ. соч. Ч. II. С. 100. Ч. III. С. 94, 119-120, 138, 194.

398

Коллинс С. Указ. соч. С. 224.

См.: *Ключевский В. О.* Петр Великий среди своих сотрудников. В кн.: Сочинения в девяти томах. М., 1990. Т. 8. С. 377.

400

Откр. 21: 2, 23-24.

Голубцов А. П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы патриарха Никона. М., 1908. С. 161. «Ревун» и «Лебедь» — названия двух колоколов на колокольне Ивана Великого.

Марковин Н. Богомольные выходы древних русских царей по сравнению с такими же выходами Византийских императоров // Христианские древности (Приложение к журналу «Русские древности»). 1872. Т. 1. С. 18.

Забелин И. Е. Домашний быт русских царей. Т. 1. Ч. 1. С. 411-416.

См.: Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов 1613-1725 / Сост. А. Викторов. М., 1883. Вып. 2. С. 564-566; Дневальные записки... С. 131 и др.; РИБ. СПб., 1904. Т. 21. Кн. 3. С. 27.

405

Забелин И. Е. Указ. соч. С. 406.

406

РИБ. Т. 21. Кн. 3. С. 138-144.

Забелин И. Е. Указ. соч. С. 420–421; Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве. Сост. Г. Георгиевский. М., 1995. С. 46–47.

408

Плдр. XVII век. Кн. 1. С. 505.

Тафт Роберт Ф. Византийский церковный обряд.
СПб., 2000. С. 68.

410

Витсен Н. Указ. соч. С. 118.

411

Забелин И. Е. Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 31.

412

См.: *Флайер Майкл С.* Расшифровка кода: образ царя в обряде Вербного воскресенья в Московском государстве // Американская русистика. Изд-во Саратовского ун-та, 2001.

Розов Н. Повесть о новгородском белом клобуке как памятник общерусской публицистики XV в. // ТОДРЛ. М., 1953. Т. 9. С. 218–219; *Забелин И. Е.* Указ. соч. Ч. 1. С. 435; *Успенский Б. А.* Царь и патриарх. Харизма власти в России. М., 1998. С. 440, 451–453.

414

ААЭ. Т. IV. № 227.

Буссов К. Московская хроника. 1584-1613 // Хроники
смутного времени. М., 1998. С. 149-150.

416

Успенский Б. А. Указ. соч. С. 443.

417

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. С. 147.

418

Витсен Н. Указ. соч. С. 145.

419

Там же. С. 146.

Голубцов А. П. Чиновники Московского Успенского собора... С. 105, 106; *Успенский Б. А.* Указ. соч. С. 445-446; *Флайер Майкл С.* Указ. соч. С. 214-216.

421

Витсен Н. Указ. соч. С. 148, 149-150.

422

Плдр. XVII век. Кн. 1. С. 507-508.

423

Забелин И. Е. Указ. соч. Т. 1. 4.1. С. 445.

424

Коллинс С. Указ. соч. С. 189.

425

Голубцов А. П. Чиновники Московского Успенского собора... С. 150.

426

Забелин И. Е. Указ. соч. Т. 1. 4.1. С. 401.

427

Забелин И. Е. Указ. соч. С. 403.

Карсавин Л. П. Философия истории. Берлин, 1923. С. 100-101.

Коллинс С. Указ. соч. С. 200, 221. См. также: Мейерберг А. Указ. соч. С. 120; Витсен Н. Указ. соч. С. 96; Роде А. Указ. соч. С. 15; Рентенфельс Я. Указ. соч. С. 389.

430

Уортман Ричард С. Сценарии власти. С. 70-71.

Сказание Адольфа Лизека о посольстве от императора Римского Леопольда к великому царю Московскому Алексею Михайловичу в 1675 году. СПб., 1837. С. 343 (ЖМНП. 1837. № 11. С. 343).

См.: *Лаврентьев А. В.* Воскресенские ворота Китай-города. В кн.: *Лаврентьев А. В.* Люди и вещи. М., 1997. С. 154-155; *Витсен Н.* Указ. соч. С. 86.

433

Дневальные записки... С. 33. См. также: С. 105, 154, 193, 227 и др.

См.: *Пустовалов В.* Дворец царя Алексея Михайловича в Саввино-Сторожевском монастыре. В кн.: Царские и императорские дворцы. М., 1997. С. 220.

435

Цит. по: *Соловьев С. М.* Сочинения. М., 1991. Кн. 6. С. 589–590; Записки. С. 684–689.

436

Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856. С. 70; Сборник Муханова. СПб., 1866. С. 223.

437

РГАДА. Ф. 27. № 52. Ч. 1,4.

438

РГАДА. Ф. 210. Приказный стол. № 346. Л. 245-247.

Кутепов А. Царская охота на Руси царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. XVII век. СПб., 1894. Т.2. С. 84, 93.

440

РГАДА. Ф. 27. № 52. Ч. 5. Л. 1-2; Ч. 7. Л. 10-12.

441

Там же. № 53. Л. 1-4.

442

Витсен Н. Указ. соч. С. 150.

443

Мейерберг А. Указ. соч. С. 147.

444

ДАИ. Т. IV. № 127.

445

Витсен Н. Указ. соч. С. 161-162.

446

Записки. С. 369; РГАДА. Ф. 27. № 52. Ч. 6.

447

РИБ. Т. XI. С. 248, 324.

Заозерский А. И. Царская вотчина XVII века. С. 36.

449

Витсен Н. Указ. соч. С. 105.

450

Рентенфельс Я. Указ. соч. С. 298.

451

Былинин В. К., Посошенко А. Л. Указ. соч. С. 131-136.

Молева Н. Москва. Дорогами искусства. Век XVII —
век XX. М., 2000. С. 14-22.

Корб И. Дневник путешествия в Московское государство // Рождение империи. История России и дома Романовых в мемуарах современников. XVII-XX. М., 1997. С. 199.

454

Рентенфельс Я. Указ. соч. С. 297.

455

Витсен Н. Указ. соч. С. 119.

456

Письма русских государей и других особ царского семейства. С. 3, 17, 28-29.

457

Там же. № 31.

458

Там же. № 29.

459

Московия и Европа... С. 495.

460

Линдси Х. Царевна Софья. СПб., 2001. С. 56-57.

См.: История внешней политики России. Конец XV-XVII в. С. 314.

462

Сборник Муханова. № 160. С. 221-222.

463

РГАДА. Ф. 27. № 118. Ч. 1. Л. 24-25, 39, 213-217;
№ 118. Ч. 4. Л. 282-286.

См.: *Лаврентьев А. В.* Денежная реформа 1654–1663 гг. в освещении летописцев XVII в. // *Монеты, медали, жетоны. Сборник статей.* М., 1996. С. 40–41.

465

См.: *Векслер А., Мельникова А.* Российская история в московских кладах. С. 152–155.

466

Буганов В. И. Разин и разинцы. М., 1995. С. 123-128.

Пушкарев Л. Н. Общественно-политическая мысль России: Вторая половина XVII века. М., 1982. С. 206.

468

ПСЗ. Т. I. № 547.

В литературе обыкновенно говорится о Русско-турецкой войне 1677-1681 гг. Необходимость пересмотреть хронологические рамки конфликта убедительно показал в своих многочисленных исследованиях А. П. Богданов. См. напр.: *Богданов А. П.* Московская публицистика последней четверти XVII в. М., 2001. С. 115. Прим. 12.

470

О военных действиях см.: *Костомаров Н.* Руина. М., 1995; *Загоровский В. П.* Изюмская черта. Воронеж, 1980.

Фаизов С. Ф. Участие России и Крымского ханства в польско-турецкой войне 1672-1673. С. 102-103;
Загоровский В. П. С. 82-83.

472

СГГД. Т. 4. № 86.

473

Ключевский В. О. Указ. соч. С. 300–301.

474

Рентенфельс Я. Указ. соч. С. 301.

475

См.: *Гуревич Л. Я.* История русского театрального быта. Т. 1. М.; Л., 1939. С. 7.

476

Богоявленский С. К. Московский театр при царях
Алексее и Петре. М., 1914. С. 1.

477

См.: *Брикнер А. Лаврентий Рингубер* // ЖМНП. 1884, февраль.

Едва ли пьеса могла иметь такой успех, если бы она звучала со сцены на немецком языке. Большинство историков считают, что она была поставлена на русском языке. См.: Артаксерксово действо. Первая пьеса русского театра XVII в. М.; Л., 1957. С. 71. А. Н. Робинсон предлагает несколько более осторожное определение: в пьесе преобладали «элементы живого русского языка». Связано это с тем, что Грегори принужден был подстраиваться под сознание зрителей и существенно перерабатывать текст. См.: *Робинсон А. Н.* Борьба идей в русской литературе XVII века. М., 1974. С. 118, 122.

479

Богоявленский С. К. Указ. соч. С. 30-31;
Робинсон А. Н. Указ. соч. С. 120.

См. список: *Забелин И. Е.* Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 2001. Т. II. С. 252-253; РГАДА. Ф. 27. № 287. Л. 1-9.

481

Рентенфельс Я. Указ. соч. С. 294-295.

Соколова В. К. Русские исторические песни XVI-XVIII вв. М., 1960. С. 153-154.

483

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 254.

484

Там же. С. 256-257.

485

РГАДА. Ф. № 5. 1670. Л. 1-12.

486

Рентенфельс Я. Указ. соч. С. 297.

Николаевский П. Ф. Патриаршая область и русские епархии в XVII в. СПб., 1882. С. 31-32.

Варлаам. О пребывании патриарха Никона в заточении по актам Кирилловского монастыря // ЧОИДР. 1858. Кн. 3. Отд. 1. С. 201.

489

ТИТОВ А. А. Иосиф, архиепископ Коломенский (Дело о нем 1675–1676) // ЧОИДР. 1911. Кн. 3.

См.: *Чумичева О. В.* Соловецкое восстание 1667-1676 гг. Новосибирск, 1998. С. 119-125.

491

Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе... С.
105.

492

Чумичева О. В. Указ. соч. С. 124.

493

Повесть о боярыне Морозовой. Л., 1979. С. 182.

Панченко А. М. Боярыня Морозова — символ и личность. В кн.: Повесть о боярыне Морозовой. С. 11-12.

495

Витсен Н. Указ. соч. С. 105.

496

Мирский М. Б. Медицина России XVI-XIX веков. М., 1996. С. 24.

В частности, соловецкие иноки во время восстания отказывались поднимать заздравные чаши не только в честь Алексея Михайловича: келарь Нафанаил отказался отпустить мед за здоровье Софьи Алексеевны в день ее ангела. См.: *Чумичева О. В.* Указ. соч. С. 124.

498

Материалы для истории медицины в России. СПб., 1883. Вып. 2. С. 295-296.

Витсен Н. Указ. соч. С. 96; *Коллинс С.* Указ. соч. С. 206; Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Москву в XVII в. С. 137.

Материалы для истории медицины в России. СПб., 1884. Вып. 3. С. 787-788.

501

ДАИ. Т. VI. № 94.

См.: *Кошелева О. Е.* Смерть: эмоциональный подтекст завещаний и переписки русского боярства XVII в. — Человек и его близкие на Западе и Востоке Европы. М., 2000. С. 194-207.

503

Рентенфельс Я. Указ. соч. С. 303–304.

См.: Бубнов Н. Ю., Демкова Н. С. Вновь найденное послание из Москвы в Пустозерск «Возвешение от сына духовнаго ко отцу духовному» и ответ протопопа Аввакума. — ТОДРЛ. Л., 1981. Т. 36.

505

Из донесений первого датского резидента в Москве
// ЧОИДР. 1917. Кн. 2. Отд. 2. С. 40.

506

Архив кн. Ф. А. Куракина. СПб., 1890. С. 43; Из донесений первого датского резидента. С. 41.

comments

Комментарии

Алексею Михайловичу посвящена обширная библиография, простое перечисление которой займет не одну страницу. Помимо классических трудов С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова, Н. И. Костомарова назовем из дореволюционных изданий превосходные работы А. И. Заозерского, А. Е. Преснякова, И. Я. Гурлянда (см.: *Заозерский А. И.* Царская вотчина XVII века. М., 1937 (первое издание появилось в 1917 г.); *Пресняков А. Е.* Царь Алексей Михайлович // *Российские самодержцы*. М., 1990 (очерк написан в 1913 г.); *Гурлянд И. Я.* Приказ великого государя Тайных дел. Ярославль, 1902). Не утратило свое значение обстоятельное исследование Д. И. Иловайского (*Иловайский Д. И.* История России. Сочинения. Алексей Михайлович и его ближайшие преемники. М., 1905. Т. 5).

Личность второго Романова привлекает внимание и новейших исследователей. См., например: *Преображенский А. А.* Алексей Михайлович // *Преображенский А. А., Морозова Л. Е., Демидова Н. Ф.* Первые Романовы на Российском престоле. М., 2000; *Талина Г. В.* Царь Алексей Михайлович: личность, мыслитель, государственный деятель. М., 1996.

По возвращении из плена В. Б. Шереметев вскоре умер и был погребен в подмосковном селе Чиркино, которое он завещал своему племяннику, фельдмаршалу Б. П. Шереметеву. В 1889 году в связи с ремонтом Васильевской церкви в присутствии графа С. Д. Шереметева был вскрыт склеп В. Б. Шереметева. «Перед нами лежал Василий Борисович Шереметев, весь окутанный в саван и обвитый берестой с ног до головы, — писал граф С. Д. Шереметев. — ...Когда и ее (бересту) освободили, то открылась голова, и что же? Ясно, отчетливо видно было лицо Василия Борисовича, и черты его врезались неизгладимо в памяти. Легкое покрывало было на нем, и все черты так же отчетливо отпечатались на этом покрывале. Я видел глаза, довольно близко отстоящие один от другого, продолговатые в виде миндалин, и длинный, сгорбленный нос... Все невольно переглянулись... Когда же подняли пелену, то увидели пустой череп!»

3

Чтобы дети из лютеранской школы могли выступать со сцены, им специально преподавали «славянский язык».